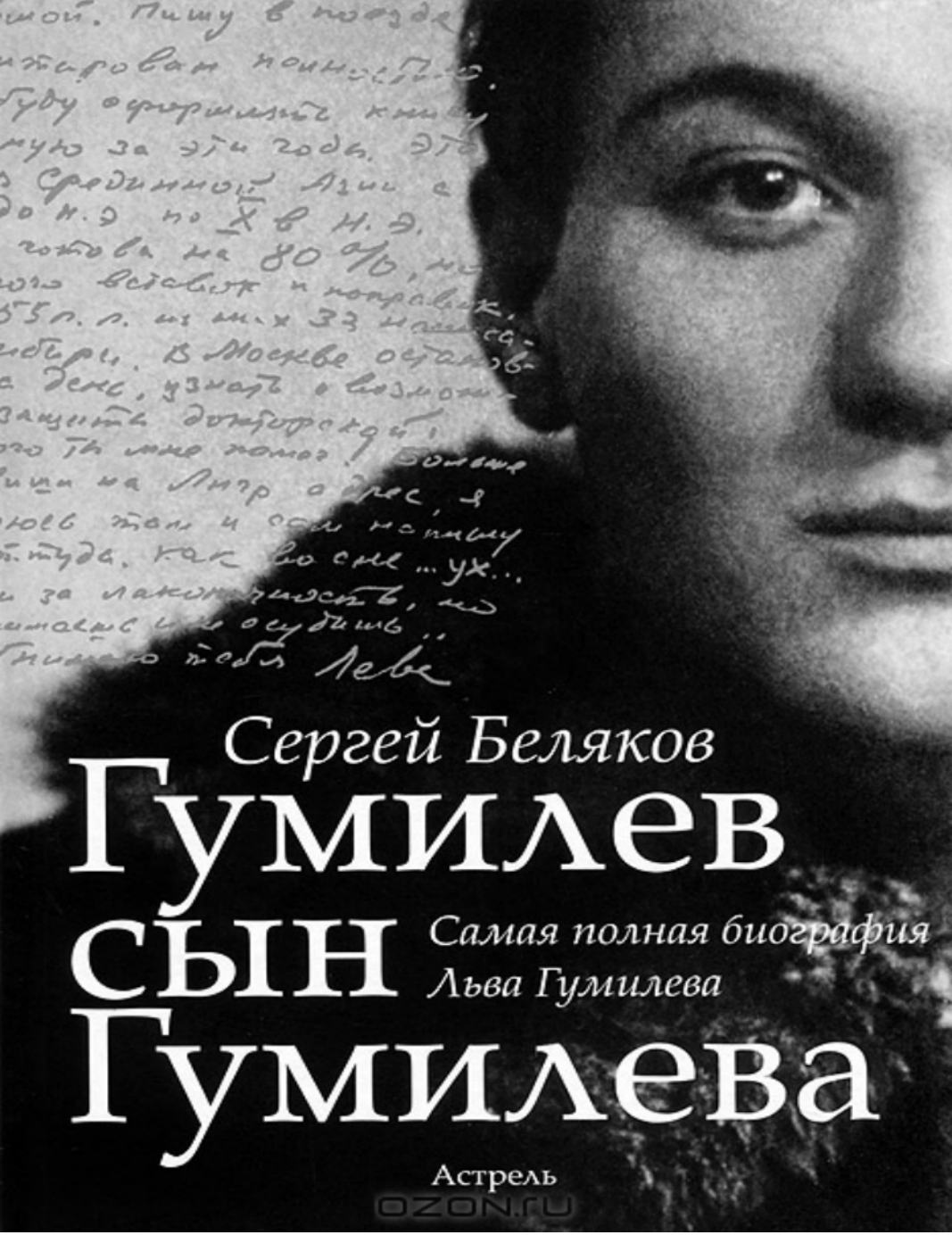


Сергей Беляков

Гумилев сын Гумилева

Самая полная биография Льва Гумилева

Астрель

OZON.ru

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сергей Беляков – историк и литературовед, специалист по биографии и научному наследию Льва Николаевича Гумилева. Около двадцати лет занимается изучением созданной ученым пассионарной теории этногенеза.

Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, узник Норильска и Камышлага, переживший четыре ареста и два лагерных срока, солдат Великой Отечественной, участник штурма Берлина, Лев Николаевич Гумилев – историк с уникальной судьбой и странной, полной тайн и загадок личной жизнью. Гумилев писал в основном о Древнем мире и Средних веках, но созданная им теория лучше других объясняет сегодняшний день и позволяет прогнозировать будущее России и Европы, Китая и мусульманского мира. "Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы", — говорил Лев Гумилев. Его идеи необходимы нам сегодня, в эпоху нового переселения народов, во времена банкротства мультикультурализма и толерантности.

Эта книга – самая полная биография русского историка, основанная на обширном собрании документов и материалов, в том числе не публиковавшихся ранее.

- Сергей Станиславович Беляков
- Вместо предисловия
- Часть I
  - ГНЕЗДО НА ВЕТРУ
  - В ПЕТРОГРАДЕ
  - БЕЖЕЦК
  - ВОСПИТАНИЕ ДОФИНА
  - ТРИ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТ В БЕРЕЗОВОЙ АЛЛЕЕ
  - ФОНТАННЫЙ ДОМ
  - ПУНИН
- Часть II
  - ПЕРВЫЙ БЕСТИОН
  - ХАМАР-ДАБАН
  - ТАДЖИКИСТАН
  - В МОСКВЕ
  - «УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛ НАМ ЕНГЕЛЬС…»
  - СТАРАЯ ПРОФЕССУРА
  - СТУДЕНТЫ
  - ДВОРЯНЕ И БОМБЫ
  - ДРУЗЬЯ ГУМИЛЕВА

- АРЕСТ 1935
- К СЧАСТЛИВОМУ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ
- «МОЙ ПРЕДОК БЫЛ ТАТАРИН КОСОГЛАЗЫЙ…»
- МОЛОДОЙ ВОСТОКОВЕД
- ДАР СЛОВ

- Часть III
  - БОЛЬШОЙ ТЕРРОР И АРЕСТ 1938
  - ВТОРОЕ СЛЕДСТВИЕ, ПЕРВЫЙ СРОК
  - ПЕРВЫЙ ЛАГЕРЬ
  - «СПАСИТЕ СОВЕТСКОГО ИСТОРИКА…»
  - ПАССИОНАРНОСТЬ И ПАСИОНАРИЯ
  - ШПЕНГЛЕР И ГУМИЛЕВ
  - ШОПЕНГАУЭР И КАМАРИНЫЕ ПЕСНИ
  - «Я БЫЛ ОДИН ПОД ВЕЧНОЙ ВЬЮГОЙ…»
  - ГЛАЗАМИ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА
  - ПИСАТЕЛЬ ГУМИЛЕВ
  - НОВОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
  - ГОРОД ЖЕНЩИН
- Часть IV
  - БРИТВА И СТРАШНЫЙ СУД
  - ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ
  - ДВЕ ВОЕННЫЕ ЗАГАДКИ
  - «ЕВРОПА НАДОЕЛА ДО ЧЕРТИКОВ»
- Часть V
  - ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД
  - ОСЬМИНОГ
  - ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
  - ДВОЙНИК ГУМИЛЕВА
  - ГУМИЛЕВ И ЕГО ДАМЫ
  - УДИВИТЕЛЬНЕЙШАЯ ИЗ ПТИЦ
- Часть VI
  - АРЕСТ 1949
  - СТАРИЧОК ПРОФЕССОР
  - ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
  - ИСТОРИЯ СРЕДИННОЙ АЗИИ
  - ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
  - «НА ЛЮТНЕ ТРУНА…»
  - ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
  - ПОЧТОВЫЙ РОМАН
  - ЭММА
  - КОНФУЦИАНСКИЕ ПИСЬМА
  - НЕКОНФУЦИАНСКИЕ ПИСЬМА
  - НА ПУТИ К «ЗАМКУ»
- Часть VII

- НЕВСТРЕЧА
- БЕСМЫСЛЕННО И БЕСПОЩАДНО
- ВЕРСИЯ ГУМИЛЕВА
- ВЕРСИЯ АХМАТОВОЙ
- ПЛОДОНОСЯЩАЯ СМОКОВНИЦА

- Часть VIII
  - В ЦВЕТНОМ МИРЕ
  - СОВЕТСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ
  - САВИЦКИЙ
  - ХУННУ
  - КТО ВИНОВАТ?
  - ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ
  - НАВОЗ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ,или ГЕНИЮ ВСЁ ДОЗВОЛЕНО
  - АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР
- Часть IX
  - СТРАШНАЯ ТАЙНА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
  - ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ
  - ОТКРЫТИЕ ХАЗАРИИ
  - ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
  - ИТИЛЬ И СЕМЕНДЕР
  - ВРЕМЯ, НАЗАД!
  - ПОЧЕМУ ГУМИЛЕВ НЕ ПОПАЛ В «АННАЛЫ»?
- Часть X
  - ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ
  - ЗАВЕЩАНИЕ АХМАТОВОЙ
  - «КАКОЕ ЗЛОДЕЙСТВО…»
- Часть XI
  - ТРОЯН КАК УЧ ЫДУК
  - ГЛАВА № 13
  - ПЕРФЕКТОЛОГИЧЕКИЙ РОМАН?
  - ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО
  - СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
  - НЕСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК
- Часть XII
  - ЧТО ТАКОЕ ЭТНОС?
  - ЭТНОС КАК СИСТЕМА
  - ЭТНИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ В ТЕОРИИ ГУМИЛЕВА
  - ЭТНОГЕНЕЗ
  - ФАЗЫ ЭТНОГЕНЕЗА
  - ФАЗЫ ЭТНОГЕНЕЗА ПО ОСНОВНЫМ СОЧИНЕНИЯМ Л.Н.ГУМИЛЕВА
  - ПАССИОНАРИИ, ГАРМОНИЧНЫЕ ЛЮДИ, СУБПАССИОНАРИИ

- ПАССИОНАРНОСТЬ В ЭТНОГЕНЕЗЕ
- ПАССИОНАРНОСТЬ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
- МЕЖДУ ЗУБРОМ И ЛЬВОМ
- ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ
- «НАДВОЕ РАССЕКИТЕ ПРИЗНАЮЩИХ ДВА ЕСТЕСТВА!»
- ЛАНДШАФТ И ЭТНОС
- ТРАМВАЙНЫЙ АНЕКДОТ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

- Часть XIII
  - САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА ГУМИЛЕВА
  - ХИМЕРА НА ХУАНХЭ
  - МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ХИМЕРА
  - «РАСПАЛСЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОБРУЧ…»
- Часть XIV
  - КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ
  - СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАСЫ И АРКОЛЬСКИЙ МОСТ
  - ВТОРАЯ ДОКТОРСКАЯ
  - СКАНДАЛ В МУЗЕЕ ЭТНОГРАФИИ
  - УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
- Часть XV
  - ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА
  - ПРАВОСЛАВНЫЙ ЕРЕТИК?
  - ГУМИЛЕВ И ДЕМОНЫ
  - ЛУЧШИЙ ДРУГ САТАНЫ
  - АНТИСИСТЕМА
  - ГУМИЛЕВ, ФИЛОНОВ И ЗАБОЛОЦКИЙ
  - ЛЕКЦИИ ГУМИЛЕВА
  - НАЧАЛО ПОПУЛЯРНОСТИ
- Часть XVI
  - НОВАЯ КВАРТИРА БЕЗ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ
  - ВЕРНЫЙ УЧЕНИК
  - МАЛЫЙ ДВОР
  - «МЕРА ВСЕМУ ЧЕТВЕРТИНКА»
- Часть XVII
  - МАРКСИСТСКАЯ МЫСЛЬ
  - РУССКАЯ ПАРТИЯ
  - «ЗИГЗАГ ИСТОРИИ»
  - ГУМИЛЕВ И ЕВРЕИ
- Часть XVIII
  - МИРОЛЮБИВЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ
  - КАК УБИВАЮТ ГОСТЕЙ
  - «ВЕЛИКИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ РЕЙД»
  - «ПАМЯТЬ»

- ПИСАТЕЛЬ ПРОТИВ СОЧИНИТЕЛЯ
- ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО
- НЕЧТО ПОЛОСАТОЕ
- ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА И СВЕТЛЫЙ МИФ, ИЛИ НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА
- АРСЛАН-БЕЙ

- Часть XIX
  - ГЛУХИЕ ГОДЫ
  - БАРМАЛЕЙ
  - ДВЕ ТЕОРИИ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЛАГИАТЕ
  - О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ
  - СМЕРТЬ С ГАЗЕТОЙ В РУКАХ
  - ИЗ-ПОД ГЛЫБ
  - МЕЖДУ ЮБИЛЕЯМИ
  - ВЫСОКИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
  - ВРЕМЯ ГУМИЛЕВА
- Часть XX
  - «ОТ РУСИ ДО РОССИИ»
  - ЕВРАЗИЙСТВО
  - ГУМИЛЕВ И ЕВРАЗИЙЦЫ
  - ЗМЕЙ ТУГАРИН
  - ЕВРАЗИЙСКОЕ БРАТСТВО
  - БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
  - ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ
  - РОССИЙСКИЙ СУПЕРЭТНОС И СРЕДНЯЯ АЗИЯ
  - МОНАРХИСТ И ДЕМОКРАТ
  - НЕВЗОРОВ
- Часть XXI
  - ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ
  - ГУМИЛЕВ И ЖИВОТНЫЕ
  - ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
- Часть XXII
  - БЕЗ НАСЛЕДНИКОВ
  - А ГДЕ ЖЕ НАУКА?
  - ДУГИН И ГУМИЛЕВ, ИЛИ ФАЛЬШИВЫЙ НАСЛЕДНИК
  - НИЩЕТА ФИЛОСОФИИ
  - КОМЕДИЯ ОШИБОК
  - ИСТОРИКИ И ГУМИЛЕВ
  - ГУМИЛЕВ И ЗАПАД
- Эпилог
- Именной указатель
  - А
  - В
  - Г

- Д
- Е
- Ж
- З
- И
- К
- Л
- М
- Н
- О
- П
- Р
- С
- Т
- У
- Ф
- Ц
- Х
- Ч
- Ш
- Щ
- Э
- Ю
- Я

- Библиография
- Содержание
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

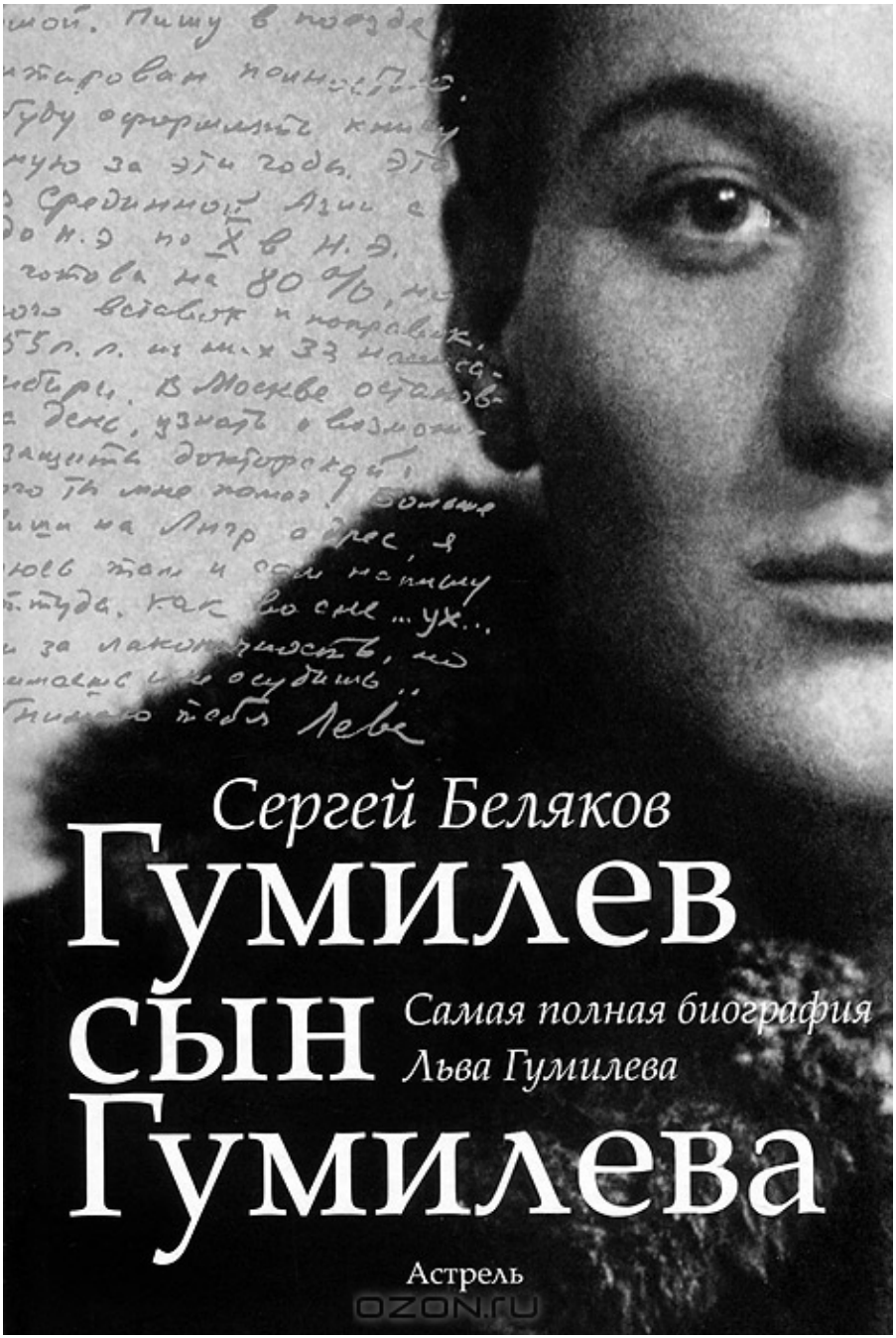
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

Сергей Станиславович Беляков
Гумилёв сын Гумилёва

Выражаю сердечную благодарность всем, кто помогал мне в работе над этой книгой.

В первую очередь должен назвать Гелиана Михайловича Прохорова, старшего ученика Льва Николаевича, и Марину Георгиевну Козыреву, создателя и хранителя музея-квартиры Л.Н.Гумилева. Без материалов, собранных и опубликованных ими, эта книга многое бы потеряла. Выражаю свою признательность Нине Ивановне Поповой, директору Музея Анны Ахматовой, и сотрудникам – Ирине Геннадьевне Ивановой и Марии Борисовне Правдиной, предоставившим в мое распоряжение уникальные материалы из архива ученого. Большое спасибо поэту и математику Владимиру Губайловскому и биологу Елене Наймарк за научные консультации.

От души благодарю Ольгу Геннадьевну Новикову, хотя и понимаю, что эта книга не понравится ни ей, ни многим ученикам и последователям Льва Гумилева.



Сергей Беляков

Гумилев сын Гумилева

Самая полная биография Льва Гумилева

Астрель

OZON.ru

Вместо предисловия

Сохранившиеся фотографии Льва Гумилева озадачивают. Кажется, что иногда вместо него фотографировались совсем другие люди. Мемуарные свидетельства не объясняют, не рассеивают этого странного впечатления.

«Лева так похож на Колю, что люди пугаются. Моих черт в нем почти нет», — не раз говорила Ахматова. С ней соглашалась Лидия Чуковская, несколько дополняя портрет молодого Льва: «В последний раз я видела Леву, если не ошибаюсь, в 32 году <…> Это был юноша лет 17-19, некрасивый, неловкий, застенчивый, взглядом сильно напоминающий отца».

«Как вы похожи на отца», — с этих слов началось лагерное знакомство физика Сергея Штейна, будущего писателя-фантаста Сергея Снегова, и Льва Гумилева. Гумилеву-младшему вообще очень льстило, если другие находили в нем сходство с отцом. На фотографиях 1926-1927 годов, сделанных Пуниным, подросток Лев и в самом деле очень похож на Николая Степановича.

На студенческой фотографии 1934-го его сразу не узнать. Аккуратно одетый и хорошо причесанный молодой человек с почти детским лицом. Повзрослевший Левушка-Гумилевушка с фотографии 1915 года. Чистый, неиспорченный мальчик. Эмма Герштейн назвала лицо Гумилева «детским», значит, фотограф в 1934 году не исказил его облика.

В 1936-м Руфь Зернова, студентка филфака ЛГУ, описывала Гумилева как светловолосого молодого человека «с аккуратным бледным лицом». Монгольская аспирантка Очирын Намсрай жав запомнила его «молодым, красивым сероглазым юношей».

Домашний мальчик, воспитанный бабушкой-дворянкой, в сталинском Советском Союзе выжить не мог. Он должен был исчезнуть. И он исчез.

Зимой 1987 года в ленинградскую квартиру доктора исторических наук Гумилева пришел корреспондент казанского журнала «Чаян» Гафазль Халилуллов. На звонок дверь открыл сам Лев Николаевич, человек «среднего роста, крепкий, с лицом и телом старого гладиатора».

К сожалению, многие фотографии не сохранились, а в мемуарах – пробелы. Сейчас уже не восстановить утраченные звенья, ведь все, кто знал Льва Гумилева в молодости, давно ушли из жизни.

Передо мной фотография, сделанная осенью 1944-го для военкомата в Туруханске. Это совсем другой человек, ироничный и грустный. Не только постаревший, это понятно: он уже пережил

тюрьму и лагерь, — а именно другой. Криминалист, сопоставляя фотографии 1934-го и 1944-го, и тот, верно бы, запутался и приписал их разным людям.

Новая черта – горбинка на носу – сразу сделала Льва похожим на мать. Гумилев после войны рассказывал всем знакомым, будто горбинка – что-то вроде фронтового ранения: во время немецкого минометного обстрела разнесло какуюто дощатую постройку, отлетевшей доской ему и перебило нос. О фронтовом ранении дружно сообщают все знакомые Гумилева, но, судя по фотографии, нос ему перебили не на войне, а в лагере. В Норильске или еще раньше, в Белбалтлаге, а еще вероятнее – в кабинете следователя.

Лев Николаевич «обладал очень выразительным, красивым лицом, крупными серыми глазами, в небольшой степени раскосыми, носом с очень небольшой горбинкой, красивой формой рта…» – вспоминала Елена Херувимова (Вигдорчик), работавшая с Гумилевым в экспедиции на Хантайском озере в 1943 году.

После войны Гумилев еще несколько раз поменяет свою внешность. С фотографии декабря 1949 года (из следственного дела) на нас глядит довольно молодое лицо кавказской национальности, бритоголовый абрек. Два года спустя (фото из лагеря под Карагандой) Гумилев напоминает старика-узбека или казаха.

За этими чужими, как будто непохожими на Гумилева лицами – потерянные годы тюрем и лагерей, вынужденное, не по его воле, отступление от избранного пути. Несколько раз он пытался переломить судьбу. И в 1944-м, когда из тылового Туруханска ушел добровольцем на фронт, и в 1948-м, когда вопреки обстоятельствам все-таки защитил диссертацию, и в 1953-1956-м, в лагерные еще годы, когда нашел в себе силы вернуться в науку.

Николая Гумилева невозможно представить старым. Лев Гумилев, старея, терял сходство с оставшимся навеки молодым отцом. Зато всё отчетливее в его облике проступали ахматовские черты. Впервые на сходство матери и сына обратил внимание художник Александр Осмеркин еще зимой 1938 года: «У него капризная линия рта, как у Анны Андреевны».

В конце пятидесятых его сходство с матерью замечали все.

Свидетельство Н. И. Казакевич, сотрудницы библиотеки Государственного Эрмитажа, вторая половина 1950х: «Сходство Л.Н. с матерью было несомненным, но он был лишен ее величавости».

Свидетельство А. Н. Зелинского, участника Астраханской

археологической экспедиции, август или начало сентября 1959-го: «…внешность… менее всего вязалась с легендарным образом Николая Гумилева. Среднего роста, может быть, даже ниже среднего, плотного телосложения, с горбатым ахматовским носом, с покатой, сутулой спиной, он сидит против меня и непрерывно курит».

Из дневниковых записей Георгия Васильевича Глекина, биолога, биофизика. 1 октября 1959-го: «Вчера был у А.А. Познакомился с Львом Николаевичем. Очень странно, когда, пожимая вам руку, говорят: "Гумилев"… Он невысокого роста человек, с приветливыми, но очень грустными глазами. Чертами лица скорее напоминает мать».

Из мемуаров Аллы Демидовой: «Лев Николаевич Гумилев – абсолютная Ахматова, он к старости очень стал на нее похож».

Гумилев в старости напоминал Анну Андреевну не только внешностью, но и голосом, у него был почти такой же тембр, что и у матери. Все, кто слушал записи Ахматовой и смотрел видеолекции Гумилева, со мной наверняка согласятся.

Последние тридцать лет жизни Гумилева фотографировали часто, на всех фотографиях сходство с Ахматовой очевидно, только вот оно совсем не радовало Льва Николаевича.

Часть I

ГНЕЗДО НА ВЕТРУ

Это был долгожданный ребенок. Брак старшего сына Дмитрия, к огорчению Анны Ивановны Гумилевой, оказался бездетным. К осени 1912 года в семье младшего, Николая, ждали наследника. Почемуто все были уверены, что родится мальчик. Николай Степанович, узнав о беременности жены, повез ее в Италию от сырой весны, от пронизывающих балтийских ветров. Итальянское солнце казалось панацеей от телесных и душевных недугов. Об этой поездке сведений почти не сохранилось, только маршрут: Генуя – Пиза – Флоренция. Из Флоренции Николай Степанович один отправился в Рим и Сиену, потом вернулся, и они с Анной посетили Болонью, Падую, Венецию.

Вопреки надеждам, итальянское солнце холодноватых отношений между супругами не согрело.

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный…

Под этими строчками Ахматовой дата: 1912, май, Флоренция.

В эти же майские дни появились стихи Ахматовой, необъяснимые, поразительные своим трагическим диссонансом с реальностью, казалось бы, вполне благополучной.

Тихий дом мой пуст и неприветлив,
Он на лес глядит одним окном,
В нем кого-то вынули из петли
И бранили мертвого потом.

Был он грустен или тайно-весел,
Только смерть – большое торжество.
На истертом красном плюше кресел
Изредка мелькает тень его.
<…>
И, пророча близкое ненастье,
Низко, низко стелется дымок.
Мне не страшно. Я ношу на счастье
Темно-синий шелковый шнурок.

Что это? Просто литературный сюжет? Но откуда эти

мрачные видения? Может быть, предчувствие будущей трагической судьбы? Век войн и революций уже надвигался, и мирной жизни было отмерено всего два года.

В Россию возвращались через Вену, Краков и Киев. В Киеве Анна Андреевна осталась погостить у матери. Потом отправилась в Литки (Подольская губерния), имение своей кузины. Николай Степанович поехал в Петербург, затем – в Москву, по литературным делам. Но в начале июня он уже был у матери, в Слепневе, откуда писал жене: «…мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок…»

Вторую половину июля и начало августа Николай и Анна провели в Слепневе. Тогда за Ахматовой внимательно наблюдала двенадцатилетняя Елена, внучатая племянница Анны Ивановны Гумилевой. По ее воспоминаниям, Ахматова была «укутана в шаль и ходила тихими шагами со своей очень симпатичной бульдожкой Молли. Держалась она очень уединенно». Анна своих привычек не меняла, вставала поздно, строгому распорядку слепневского дома не следовала. Но все относились к ней доброжелательно, оберегали, в буквальном смысле на руках носили. Ей трудно было подниматься по крутой лестнице, и Анна Ивановна поручила Коле-маленькому, если Коли-большого рядом не будет, носить Анну вверх и вниз на руках. Коля-маленький, племянник Николая Степановича, был тогда рослым и сильным юношей; не пройдет и года, как оба Николая отправятся в Абиссинию.

Даже слепневские крестьяне стали не только свидетелями, но и участниками больших ожиданий в господском доме. На сельском сходе им обещали простить долги, если родится наследник. Забегая вперед, скажем, что Анна Ивановна Гумилева обещание сдержала.

Мальчик увидел свет 18 сентября (1 октября по новому стилю) 1912 года в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Васильевского острова. Через несколько дней ребенка перевезли в Царское Село, в дом Гумилевых на Малой, 63. В семье был праздник, пили шампанское за счастливое событие.

Ребенка крестили в Екатерининском соборе Царского Села 7 октября по старому стилю. Ему дали имя Лев.

Жена Дмитрия Гумилева, тоже Анна Андреевна, в девичестве Фрейганг, утверждала, что ребенок с первого дня был «всецело предоставлен» бабушке, она его «выходила, вырастила и воспитала». Всетаки не с первого дня, а постепенно – естественно, с молчаливого согласия родителей. Тут стоит внимательно прочитать воспоминания Валерии Сергеевны Срезневской,

подруги Ахматовой с гимназических лет, когда они были еще Аней Горенко и Валей Тюльпановой. Считается, что мемуары отредактированы самой Ахматовой, если не написаны под ее диктовку. Во всяком случае, это версия Ахматовой, и она кажется убедительной.

Из воспоминаний Срезневской: «Рождение сына очень связало Анну Ахматову. Она первое время сама кормила сына и прочно обосновалась в Царском». Но понемногу «Аня освобождалась от роли матери в том понимании, которое сопряжено с уходом и заботами о ребенке: там были бабушка и няня».

Так было принято среди женщин их круга. Кроме того, Анна уже тогда была Ахматовой. В марте 1912 года вышел сборник ее стихов «Вечер» и принес ей известность. Ахматова прислушивалась к себе, к своему дару и очень быстро вернулась к жизни литературной богемы Петербурга.

Возможно, Ахматова стала матерью слишком рано. В двадцать три года. Она не захотела менять привычный образ жизни.

Из биографической прозы Анны Ахматовой. «Смешили мы (Ахматова и Осип Мандельштам. – С.Б.) друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на "Тучке" (комната Гумилева в Петербурге, в Тучковом переулке, 17, кв. 29. – С.Б.) и хохотали так до обморочного состояния, как кондитерские девушки в "Улиссе" Джойса».

Позднее, в двадцатые годы, Ахматова будет забавлять маленькую еще Иру Пунину, звонить ей от имени собаки Тапа и лаять (Ира сначала не сомневалась, что звонил именно Тап). В тридцатые Анна Андреевна много занималась с соседскими детьми, Валей и Вовой («шакаликом»). В сороковые стала нянчиться с Аней Каминской. Но эти дети росли рядом, а Лева почти всегда оказывался далеко.

Николай Степанович тоже был доволен, вспоминает Срезневская, что «его сын растет под крылом, где ему самому было так хорошо и тепло». Так будет и дальше. Забегая вперед, приведем фрагменты писем Ахматовой Николаю Гумилеву лета 1914 года. Еще не началась война.

«Милый Коля, 10-го я приехала в Слепнево. Нашла Левушку здоровым, веселым и очень ласковым. <…> В июльской книге "Нового слова" меня очень мило похвалил Ясинский. Соседей стараюсь не видеть, очень они пресные. <…> Целую, твоя Аня». К письму приложены стихи: «Моей наследницею полноправной будь…» и «Целый год ты со мной неразлучен…» (13 июля 1914 года).

«Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще

пишу стихи. <…> Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. <…> Хорошо, если с "Четок" что-нибудь получим <…> С недобрым чувством жду июльскую "Русскую мысль". Вероятнее всего, там свершат надо мною страшную казнь Valere <…> Будь здоров, милый! Целую. Твоя Анна. Левушка здоров и всё умеет говорить». К письму приложено стихотворение «Подошла я к сосновому лесу» (17 июля 1914 года).

Перед нами письма поэта. Обращается Ахматова тоже к поэту, а не к отцу своего ребенка.

Роль бабушки в жизни Левы так велика, что необходимо сделать небольшое отступление. В год рождения Левы Анне Ивановне Гумилевой исполнилось пятьдесят восемь лет. Она была «хороша собой, — пишет биограф Ахматовой В.А.Черных, — высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими добрыми глазами…». Анна происходила из мелкопоместных дворян Львовых. Лев Гумилев в конце жизни утверждал: «…Гумилевы, каста военных, были священники, но в основном военные, морские и сухопутные офицеры и разведчики». На самом деле его слова относились скорее к семье Львовых. Степан Яковлевич Гумилев, дед Льва Николаевича, был военным в первом поколении.

Анна Львова провела детство, юность и молодость (до замужества) в Слепневе (Тверская губерния), родовом имении Львовых. В семье была младшей. Рано потеряла родителей. Ей было восемь лет, когда умер отец. А через три года умерла мать. Образование получила домашнее, с гувернанткой. Очень любила родной дом, кабинет отца, где на стенах висели географические карты, а в шкафу стояли книги с описаниями военных кораблей и морских сражений. Библиотека в доме была замечательная, собиралась несколькими поколениями Львовых. Анна много читала, больше всего – русские и французские романы. Французским языком владела свободно. Любила гулять по слеп невскому парку и окрестностям усадьбы. Возможно, на ее характер, спокойный и уравновешенный, неизменную доброжелательность повлияла окружающая природа. Повзрослевший внук Анны Ивановны, Лев Гумилев, установит связь между психологическим состоянием человека и ландшафтом, он же отметит умиротворяющий характер природы Тверского края: «…этот якобы скучный ландшафт, очень приятный и необременительный, эти луга, покрытые цветами, васильки во ржи, незабудки у водоемов, желтые купальницы – они некрасивые цветы, но они очень идут к этому ландшафту. Они незаметны, и они освобождают человеческую душу».

Брак Анны Львовой и Степана Яковлевича Гумилева

мемуаристы называют неравным: двадцатидвухлетняя потомственная дворянка и сорокалетний корабельный врач, сын сельского дьячка, вдовец с дочерью семи лет. Между тем Анна Львова послушала совета своего старшего брата (Лев Иванович познако мил ее с Гумилевым) и приняла решение, о котором никогда не жалела. Этот тип женщины любим русской литературой: пушкинская Татьяна, тургеневские девушки. Анна никогда не тяготилась сельским уединением, не любила праздности, была лишена кокетства. Она сочувствовала семейному горю Степана Яковлевича, жалела его осиротевшую дочь. С сострадания, желания помочь и началась любовь.

Анна Ивановна легко вошла в роль хозяйки дома. Степан Яковлевич надолго уходил в плавание, после отставки часто и тяжело болел. Так получилось, что дом держался на ней. Все, кто знал Анну Ивановну, называли ее властной и умной. Она умела разбираться в людях. Казалось бы, ей, воспитанной в патриархальных традициях, невозможно принять характер и образ жизни Ахматовой. Между тем Ахматову не приняли как раз ее ровесницы. Довольно неприязненно пишет об Ахматовой А.А.Гумилева (Фрейганг): «В дом влилось много чуждого элемента». Как успела дворянка за несколько лет усвоить советскую фразеологию! Ей вторит соседка Гумилевых, Вера Андреевна Не ведомская: «…в семье мужа она чужая».

Анна Ивановна, несмотря на разницу в возрасте и воспитании, приняла Ахматову как родную дочь. Между ними всю жизнь сохранялись родственные сердечные отношения.

Из писем Анны Гумилевой к Анне Ахматовой: «Анечка, дорогая моя», «я рада, что ты поправилась, моя родная», «голубчик», «горячо любящая тебя мама».

Из писем Анны Ахматовой к Анне Гумилевой:

«Дорогая мама, эти деньги исключительно для того, чтобы ты наняла человека для работы по дому и сама больше ни с чем не возилась».

«Дорогая мамочка! Не надо ли прислать чего-нибудь в посылке (муки, сахара, чая, мыла), может быть, какое-нибудь лекарство Левушке? Твоя Аня».

Наконец, слово самому Льву Гумилеву: «Бабушка была ангелом доброты и доверчивости и маму очень любила».

Первые шаги маленького Левы связаны с царскосельским домом Гумилевых. Анна Ивановна купила его летом 1911 года. Дом был деревянный, двухэтажный, с небольшим палисадником.

«Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. Два этажа, обсыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри – тепло, просторно, удобно. Старый паркет

поскрипывает, в стеклянной столовой розовеют большие кусты азалий, печи жарко натоплены. Библиотека в широких диванах. Книжные полки до потолка… Комнат много, какие-то всё кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли…

Тишину вдруг прорезывает пронзительный крик. Это горбоносый какаду злится в своей клетке. Тот самый:

А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

"Розовый друг" хлопает крыльями и злится», — вспоминал поэт Георгий Иванов.

На первом этаже были комнаты Николая Степановича и Ахматовой, Дмитрия и его жены, а также гостиная, столовая и библиотека. На втором этаже жили Анна Ивановна, Александра Степановна Сверчкова, дочь Степана Яковлевича Гумилева от первого брака, с детьми Николаем и Марией. Здесь же, на втором этаже, устроили детскую для Левы и его няни.

Из воспоминаний А.А.Гумилевой (Фрейганг): «Коля был нежным и заботливым отцом. Всегда, придя домой, он прежде всего поднимался наверх, в детскую, и возился с младенцем».

А вот Лев Николаевич в поздних интервью с сожалением утверждал, что своих родителей в детстве почти не видел. В этом нет противоречия. Если Николай Степанович бывал дома, он охотно играл с ребенком. Ему даже не надо было делать над собой усилия, как многим взрослым, временами он чувствовал себя ребенком. В 1919-1921 годах со своими студийцами, молодыми поэтами, с удовольствием играл в жмурки. Когда Лева немного подрастет, они будут играть в войну, в индейцев, в путешественников. Только вот свободного времени у Николая Степановича было немного. Осенью 1912 года он возобновил занятия в университете. Чтобы не ездить каждый день в Петербург из Царского Села, снял комнату в Тучковом переулке на Васильевском острове. Николай Степанович и Ахматова обычно не пропускали интересных вечеров в «Бродячей собаке», где собиралась литературная богема Петербурга. Только за последние три месяца 1912 года состоялось около десятка заседаний «Цеха поэтов». Иногда заседания «Цеха поэтов» проходили в доме Гумилевых. Случалось, что Лева, убежав от няни, неожиданно появлялся перед поэтами. В фольклор царскосельских поэтов Ахматова и Лева вошли под именами Гумильвица и Гумильвенок. Весной 1913 года Николай

Степанович с племянником отправились в Абиссинию. На пути в Африку, из Одессы, Гумилев писал Ахматовой 9 апреля 1913 года: «Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить "папа"».

Из письма Николая Гумилева Анне Ахматовой 25 апреля 1913 года: «Леве скажи, у него будет свой негритенок, пусть радуется».

Насчет негритенка Николай Степанович, конечно, пошутил. Но привез живого попугая, светло-серого, с розовой грудкой.

Первый этаж дома Гумилевых украшали шкуры леопардов, африканские браслеты, картины абиссинских художников. Особенно сильное впечатление на гостей производило чучело пантеры в нише между столовой и гостиной.

Из воспоминаний А.А.Гумилевой-Фрейганг: «Было совсем темно, только яркая луна освещала стоящую черную пантеру. Меня поразил этот зверь с желтыми зрачками. Первый момент я подумала, что она живая. Коля был бы способен и живую пантеру привезти».

Лева рос среди этих необычных предметов. Рассказы отца об Африке, картины, шкуры, экзотические птицы развивали и без того богатое от природы воображение. На сохранившейся фотографии маленький Лева сидит на леопардовой шкуре среди игрушечных зверей.

Оказавшись за пределами дома, Лева увидел тот же мир, что и маленькая Аня Горенко двадцать лет назад: «Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков…»

Нянька возила Левушку на санках, а «городовой грозил пальцем и говорил: "Плакать нельзя"». На прогулке в парке он однажды увидел царевича на сером ослике (запись секретаря Ахматовой Павла Лукницкого). Может быть, все-таки на пони?

В Царском Селе Гумилевы жили с сентября по май. На лето семья уезжала в родовое имение Львовых Слепнево, а дом на Малой сдавали дачникам, чтобы окупить его содержание и ремонт.

После смерти Льва Ивановича Львова (1908) имение перешло к его сестрам: Варваре, Агате и Анне. Агата умерла в 1910-м. Варвара Ивановна была очень немолода. Настоящей хозяйкой Слепнева стала Анна Ивановна.

Из автобиографии Анны Ахматовой: «Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это неживописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, "воротца", хлеба, хлеба…»

«Воротца» – характерная примета тверских селений и усадеб,

они играли роль не защитную, а скорее декоративную. На звук колокольчика прибегали деревенские ребятишки и открывали воротца, за что господа одаривали их конфетами и пряниками. Это превратилось в своеобразный ритуал. В целом же устройство усадьбы и быт Слепнева типичны для мелкопоместного дворянства. Этот образ жизни хорошо известен читателям Тургенева и Бунина.

Дома косые, двухэтажные.
И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.

В садах настурции и розаны,
В прудах зацветших караси, —
Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

Н.Гумилев. Старые усадьбы

Дом Гумилевых в Слепневе был одноэтажным, с крестообразным мезонином. С террасы можно было спуститься в цветник и дальше в парк, где росли акации, липы и одинокий старый дуб, который сохранился и в наши дни. Усадьбу разделял почтовый тракт. По одну сторону дом, по другую – фруктовый сад и огород.

В Слепневе сохранялись патриархальные традиции. Когда вся семья собиралась к столу, ждали Варвару Ивановну, самого старого человека в доме. Она чем-то напоминала Екатерину II и очень любила, когда это сходство замечали. «Пока Варвара Ивановна не сделает особый знак рукой, за стол никто не садится. <…> Анна Андреевна называла эти традиции "китайской церемонией и XVIII веком"», — вспоминает родственница Гумилевых Е.Б.Чернова.

Летом в хорошую погоду стол накрывали прямо перед домом. Собиралось человек десять, а то и пятнадцать: сестры Львовы, их дети и внуки – Гумилевы, Лампе, Кузьмины-Караваевы, Оболенские.

За столом младшие (не только внуки, но и дети сестер – Николай и Дмитрий) разговора не начинали, а только отвечали на вопросы старших. Если Ахматова относилась к патриархальным обычаям дома иронично, то Николаю Степановичу они скорее нравились. Особенно он любил церковные праздники и старался всегда провести их с семьей. На

Пасху вся семья шла в царскосельскую дворцовую церковь.

В Тверском крае сохранялись старорусские православные традиции. На Петров день монахи из Николаевской Теребенской пустыни привозили чудотворную икону Николая Мирликийского. Ее отправляли в Бежецк по реке Мологе на украшенной по такому случаю лодке. По преданию, икона еще с XV века берегла город от моровой язвы.

Порою крестный ход и пение,
Звонят во все колокола,
Бегут, – то значит, по течению
В село икона приплыла.

Лев Гумилев усвоит православную веру еще в раннем детстве, религия станет для него частью жизни, необходимым элементом бытия. Он сохранит веру во времена воинствующего безбожия. Даже в страшные тридцатые годы будет посещать храм. Со временем Гумилев приведет к вере своих учеников и многих друзей.

Из воспоминаний Льва Гумилева: «Помню себя в Слепневе. Тепло, сад, собаки, речки, где можно купаться…»

В Слепневе Ахматова и Лева встретили известие о начале мировой войны. Россия вступит в войну 1 августа 1914 года. Ахматовой дано было предвидеть будущее. Еще 20 июля она записала:

Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил,
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил».

Предчувствия сбылись. 21 июля Дмитрия Гумилева призвали из запаса в 146-й пехотный Царицынский полк. Николай, освобожденный от военной службы медицинской комиссией еще в 1907 году, начал хлопотать о призыве в армию. Решил пойти добровольцем, как тогда говорили: «охотником».

Из записной книжки Анны Ахматовой: «…вечером вся жизнь вдребезги. (Недоумевающий Лева повторял: "Баба Ана – пачет,

мама – пачет, тетя Хуха[1] – пачет". И завыли бабы по деревне)».

Николай и Дмитрий Гумилевы и Николай Сверчков ушли на фронт.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.

Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

Между тем с начала войны дворянская идиллия Слепнева постепенно разрушалась. Имение уже не давало прежнего дохода. Весной 1916-го дом в Царском Селе пришлось продать. Правда, наступающий 1917 год встречали еще по старинке. На Рождество приехала Ахматова: «Все как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в Пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега». Но уже несколько месяцев спустя жить в Слепневе станет опасно. Весной и летом 1917 года дворянские усадьбы горели по всей России. Революция разбудила вековую ненависть к помещикам.

Мемуаристы и тверские экскурсоводы утверждают, будто бы крестьяне плакали, когда «добрая барыня» Анна Ивановна уезжала из Слепнева в Бежецк. Реальную картину событий, развернувшихся в тех краях (да и по всей России), оставила нам Анна Ахматова.

Из писем Анны Ахматовой к Михаилу Лозинскому, июль 1917 года: «Мужики клянутся, что дом (наш) на их костях стоит, выкосили наш луг, а когда для разбора этого дела приехало начальство из города, они слезно просили: "Матушка барыня, простите, уж это последний раз!" Тоже социалисты! <…> Вообще тьма кромешная царит в умах».

«Приехать в Петербург тоже хочется и в Аполлоне побывать! Но крестьяне обещали уничтожить слепневскую усадьбу 6 августа, пот<ому> что это местный праздник и к ним приедут "гости". Недурной способ занимать гостей».

Усадьбу тогда не уничтожили. Но как-то летом 1917-го в парк пришел слепневский мужик Михаил Зубов и прямо на глазах Анны Ивановны начал рубить березу. После этого случая она решила уехать. Осенью 1917 года Гумилевы покидали Слепнево, уезжали на двух подводах. Лева не понимал, что происходит.

Небольшое путешествие его только развлекало. Анна Ивановна еще раз оглянулась на оставленный, еще не разоренный дом, где прошла почти вся ее жизнь. О чем она тогда подумала? Догадывалась ли, что самые страшные потери ждут ее впереди?

Последней уезжала Александра Степановна Сверчкова. Крестьяне позволили ей забрать библиотеку, часть мебели и половину запасов хлеба. По воспоминаниям жительницы села Н.И.Приваловой, после отъезда хозяев мужики Зубарев и Соболев «взломали замок, вошли в барский дом и взяли оставшиеся там вещи».

Слепневский дом, задуманный и построенный на долгую счастливую жизнь, еще много лет будет служить людям. Там устроят начальную школу. В середине тридцатых годов, когда детей в селе останется мало, дом разберут и перенесут в соседнее село Градницы, в нем будет восьмилетняя школа, а позднее сельская библиотека и музей.

В ПЕТРОГРАДЕ

В Бежецке семья Гумилевых обосновалась осенью 1917-го, а год спустя, в самом конце августа 1918-го, Анна Ивановна с внуком приехали в голодный Петроград.

Из автобиографической прозы Ахматовой: «Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином Дворе можно было собрать большой букет полевых цветов».

Николай Степанович решил: в трудное время надо держаться всем вместе.

В мае 1918-го Николай Гумилев поселился в квартире издателя и редактора журнала «Аполлон» С.К.Маковского по улице Ивановской, дом 20/65, угол Николаевской, в квартире 15. Хозяин еще весной 1917-го уехал в Крым и оставил квартиру «Аполлону». Анна Ивановна с Левой поселились там в конце августа, а Дмитрий Гумилев с женой – в сентябре.

Главным добытчиком в семье был Николай Степанович. Дмитрий Гумилев в Первую мировую войну дослужился до поручика, был награжден четырьмя боевыми орденами, получил тяжелую контузию, после которой остался инвалидом (медицинская комиссия признала 80 процентов потери трудоспособности). Дмитрий переживет брата только на три года. Умрет в нищете в городе Режице в 1924 году (по другим данным – в 1922-м).

Николай Степанович читал лекции в Институте живого слова, состоял в редколлегии издательства «Всемирная литература», переводил европейских поэтов для этого издательства, вел занятия в нескольких поэтических студиях, в том числе в студии Балтфлота. Деньги тогда обесценились, платили чаще всего продуктами.

Из воспоминаний Корнея Чуковского: «С утра мы с Николаем Степановичем выходили на промысел с пустыми кульками и склянками. <…> Гумилев видел даже какую-то прелесть в роли конквистадора, выходящего всякий день за добычей».

Николай Степанович удивлял знакомых жизнелюбием, жизнестойкостью, а главное, необходимыми для выживания в это голодное и холодное время ловкостью и сноровкой. «…Мускулы у него были железные. В этом я не раз убеждался, любуясь, с каким профессиональным искусством действует он тупым то пором, рубя на топливо <…> уцелевший каким-нибудь чудом деревянный забор…» – вспоминает Чуковский.

Однажды после лекций Чуковский и Гумилев везли на санках

мешки с мукой. Они увлеклись спором о ненавистных Гумилеву символистах и не заметили, как вор срезал прикрученные к санкам мешки. Чуковский был в отчаянии, а Гумилев, «не теряя ни секунды на вздохи и жалобы, сорвался с места и с каким-то диким и воинственным криком ринулся преследовать вора».

Несмотря на все усилия, прокормить семью и согреть огромную сырую квартиру было очень трудно. Побывавшему на Ивановской Владиславу Ходасевичу квартира с чужой мебелью показалась очень неуютной, зато он оставил портретную зарисовку шестилетнего Левы: «…из боковой двери выскочил тощенький бледный мальчик, такой же длиннолицый, как Гумилев, в запачканной косоворотке и валенках. На голове у него была уланская каска, он размахивал игрушечной сабелькой и что-то кричал».

Эту сабельку и барабан упоминают многие мемуаристы. Отец и сын продолжали играть в войну, несмотря на занятость Николая Степановича. Отец читал сыну стихи. Многие Лева запомнил тогда с отцовского голоса, в том числе и поэму «Мик», посвященную ему отцом.

К Рождеству Николай Степанович совершил почти невозможное: достал пушистую новогоднюю елку. Пригласили гостей. Для них приготовили угощение и детские книжки. На этой елке побывали Коля и Лида Чуковские. Пятнадцатилетнего Колю игры малышей не интересовали. Но его поразило, что «в комнате было тепло, сверкала разукрашенная елка, в камине пылали настоящие дрова. <…> Вокруг елки бегал и прыгал семилетний Лева. <…> Николай Степанович поглядывал на него с нежностью».

В теплые дни отец и сын гуляли по городу. После тихого Царского Села и провинциального Бежецка Петроград ошеломил Леву: каналы, дворцы, мосты, трамваи. Трамвай Лева увидел впервые в жизни. «Он всю дорогу смотрел, не отрываясь, в окно и вдруг спрашивает: "Папа, ведь они все завидуют мне, правда? Они идут, а я еду!"» – рассказывал Николай Степанович Ирине Одоевцевой.

Иногда Гумилев, отправляясь по своим литературным делам, брал сына с собой. Лева не был избалованным, не мешал взрослым, пока они разговаривали. Таким его запомнила Лида Чуковская: «Левушка-Гумилевушка <…> мальчик с золотыми волосами, кудрявый <…> у нас в столовой сам с собой играл в индейцев, прыгая с подоконника на диван».

Весной 1919 года Николай Степанович водил Леву к Ахматовой. Она тогда жила в квартире востоковеда В.К.Шилейко во флигеле Шереметевского дворца. К этому времени сам Лев

Николаевич будет относить первое увлечение историей. Слушая разговоры взрослых, Лева обратился к Владимиру Казимировичу: «Научите меня по-вавилонски». «Маленький Левка бредил Гильгамешем», — говорил Шилейко.

Лев Николаевич вспоминал, как бабушка читала ему «Илиаду». Возможно, Гомера ему читал и отец. «Илиада» была настольной книгой Николая Степановича. Получается, увлечение историей Льва Гумилева начинается с Гомера и Гильгамеша. Почему бы и нет. В конце концов, это тоже история, пусть и сильно мифологизированная.

В тридцатые годы Гумилев будет рассказывать Руфи Зерновой, будто бы он еще в возрасте четырехшести лет просил у отца толстые и сложные книги по истории. Когда девушка усомнилась, неужели четырехлетний малыш может прочитать толстую книгу, Лев самодовольно усмехнулся: прочел и все понял.

4 апреля 1919 года семья переехала на улицу Преображенскую, дом 5/7, квартира 2. Здесь 14 апреля родилась дочь Николая Степановича и Анны Николаевны Энгельгардт (в замужестве Гумилевой) Елена.

Летом Анна Ивановна, Анна Николаевна и дети уехали в Бежецк. Николай Степанович на деньдва, но довольно часто ездил навестить семью: «Левушка <…> водит гулять Леночку, как взрослый, оберегает ее и держит ее за ручку. Смешно на них смотреть, такие милые и оба мои дети. Левушка весь в меня. Не только лицом, но такой же смелый, самолюбивый, как я в детстве. Всегда хочет быть первым и чтобы ему завидовали», — писал Гумилев Одоевцевой.

В последний раз отец и сын виделись в Бежецке в мае 1921 года, тогда Николай Степанович забрал в Петроград жену и дочь. Лева и Лена встретятся в Ленинграде только в марте 1928 года.

Из записей Павла Лукницкого: «Лена не узнала брата, но когда ей сказали, очень обрадовалась. Трогательно болтала с ним в течение часа, показывала ему книжки, игрушки».

11 марта 1938-го сотрудник внутренней тюрьмы НКВД со слов арестованного Гумилева заполнял анкету. Там, в частности, записано: «Гумилева Елена Николаевна, 18, учащаяся, ул. Бассейнова (так в тексте. – С.Б.) — ул. Некрасова (точного адреса не знает)».

В самом ли деле не знал или просто пытался отвести беду от сестры? Конечно, второе. Гумилев вспоминал, что не раз встречался «с Леночкой», когда уже окончательно обосновался в Ленинграде. Более того, изредка заходил к ней в гости: «…мы были в самых дружеских отношениях, хотя встречались,

естественно, редко – она была много моложе меня».

Родственников у Льва Николаевича было немного, но он их ценил, дорожил связью с ними. Он легко оставлял друзей и возлюбленных, но до конца дней поддерживал отношения с Орестом Высотским, своим единокровным братом.

В конце тридцатых годов актриса и художница О.А.Гильдебрандт-Арбенина встретила на улице свою бывшую гимназическую подругу Аню Энгельгардт, в то время уже вдову Гумилева, «с дочкой Леночкой – высокой, белокурой, с размытыми бледно-голубыми, косящими глазами – акварельной, хорошенькой дочкой Гумилева».

Скромная и стеснительная Елена Гумилева перед войной работала в кукольном театре. Она умерла от истощения 25 июня 1942 года в блокадном Ленинграде. Незадолго перед этим она потеряла свои хлебные карточки.

Еще раньше, в апреле, от голода умерла Анна Николаевна Энгельгардт.

БЕЖЕЦК

Бежецк расположен в 130 километрах к северо востоку от Твери на правом берегу реки Мологи при впадении в нее реки Ос тречины. Город очень старый, он возник еще в XIII веке (до второй половины XVIII назывался Городецко). Хотя к концу XIX века в городе работали двадцать шесть небольших заводов (глав ным образом по обработке льна, а также свечные, кожевенные, маслобойные, винокуренные), реки еще были чистыми, а городские окрестности славились густыми зарослями малины. Куст малины в серебряном поле украшает герб Бежецка.

«Там белые церкви и звонкий, светящийся лед…» С этой ах матовской строчки начинаются теперь все рассказы о Бежецке. В городе было тринадцать церквей, в том числе и очень старые: Воздвиженская и Введенская – обе XVII века. «И город был полон веселым рождественским звоном».

Лева успел еще застать и не разрушенные церкви, и колокольный звон. От церквей пошли названия многих улиц: Рождественская, Воздвиженская, Введенская. Центр Бежецка украшали купеческие особнячки, двухэтажные, каменные, с портиками, эркерами и даже кариатидами. Город был чистым, зеленым, уютным. Гумилевы сняли квартиру у М.Ф.Знаменской на Рождественской улице, 68/14. Дом был двухэтажным, деревянным на каменном фундаменте. Очень скоро улицу переименуют в Гражданскую (современное название – Чудова).

Сначала Гумилевы вместе с родственниками Кузьминым и Караваевыми снимали весь второй этаж. Когда Караваевы уехали, у Гумилевых осталось три комнаты. Потом началось «уплотнение». В конце концов Анна Ивановна и Александра Степановна остались в одной угловой комнате. К этому времени Лева уже уехал в Ленинград.

Когда и как в Бежецке узнали о гибели Николая Гумилева? В записках Павла Лукницкого сохранилось очень странное свидетельство: «В Бежецке ни Анна Ивановна, ни Лева не знают о смерти Н<иколая> С<тепановича>. У них существует мнение, что он сейчас в Африке <…> на Мадагаскаре. <…> Когда Лева ленится, ему говорят: "А что ты папе покажешь, когда он вернется?"»

Но Лев Николаевич утверждал совсем другое: «Конечно, я узнал о гибели отца сразу: очень плакала моя бабушка, и такое было беспокойство дома. Прямо мне ничего не говорили, но через какоето короткое время из отрывочных, скрываемых от меня разговоров я обо всем догадался».

Самым убедительным представляется свидетельство А.С.Сверчковой. Александра Степановна писала, что о гибели брата узнала из газет. Советские газеты читали все грамотные люди, так что утаить известие о расстреле участника контрреволюционного заговора было просто невозможно. Но некоторое, очень недолгое время могли скрывать от Левы.

Другое дело, что Анну Ивановну, по свидетельству Сверчковой, кто-то уверил, что «Николай Степанович не такой человек, чтобы так просто погибнуть, что ему удалось бежать, и он, разумеется, при помощи своих друзей и почитателей проберется в свою любимую Африку. Эта надежда не покидала ее до смерти».

Анне Ивановне особенно трудно было принять новую жизнь и новую власть, которой она не простила гибель сына. Среди ее знакомых преобладали люди «из бывших»: священник отец Иоанн (Постников), учитель А.М.Переслегин. И восприятие времени у нее было дореволюционным – в письмах к Ахматовой она датирует события по церковному календарю: на Страстной, на третий день Пасхи, на шестой день поста.

Анна Ивановна с недоверием относилась даже к достижениям советской власти – к бесплатному образованию и медицине. «Доктор и лекарства у нас безплатныя, вероятно на этом основании мы все и хвораем». В то же время она понимала, что Леве придется жить при большевиках. Анна Ивановна просила Ахматову «выправить» Леве метрику: «…если он записан сын дворянина, то похлопочи, попроси, чтобы заменили и написали сын гражданина или студента, иначе и в будущем это закроет ему двери в высшее заведение…».

Анна Ивановна сделала для внука все, что было в ее силах. Но жизнь младшего Гумилева наладится слишком поздно, слишком поздно придут к нему слава и успех. Анна Ивановна умрет в 1942 году в Бежецке, так и не дождавшись возвращения внука из лагеря.

Все годы жизни в Бежецке рядом с Левой была Александра Степановна Сверчкова, тетя Шура. Ее образ в биографической и мемуарной литературе создан прежде всего усилиями Павла Лукницкого. А Павел Николаевич находился под влиянием Анны Ахматовой, он совершенно принял ее сторону. Анна же Андреевна Александру Сверчкову откровенно не любила. Это была упорная и совершенно иррациональная неприязнь.

Из записей Павла Лукницкого:

«АА расстроена. Ей грустно, что такой эгоистичный и с такими мещанскими взглядами на жизнь человек, как А.С.Сверч кова, воспитывает Леву. АА опасается, что влияние Сверчковой на

Леву может ему повредить».

«А.С.Сверчкова: *лживая, лицемерная, тщеславная, глупая и корыстная женщина. Ее влияние, несомненно, исключительно вредно. <…> Страшно и больно, что такой человек, как А.С.Сверчкова, находится в непосредственной смежности с Левушкой и старается на него влиять*».

Авторитет великого поэта любую ложь превращает в истину, но справедлив ли суровый приговор Ахматовой и Лукницкого?

Александра Сверчкова прожила жизнь долгую и тяжелую (1869-1952). В раннем детстве она потеряла мать, умершую от чахотки, воспитывалась в пансионе для благородных девиц. В тридцать два года осталась вдовой с восьмилетним сыном и шестилетней дочерью. В ноябре 1918-го в двадцать два года умерла ее дочь Маруся. В марте 1919-го умер двадцатипятилетний сын Николай. Он ушел на мировую войну вольноопределяющимся, был тяжело контужен, отравлен газами.

Лева заменил ей сына, Сверчкова даже хотела его усыновить, дать свою фамилию. Льву Сверчкову было бы намного легче поступить в университет. Фамилия Сверчков не привлекла бы внимание следователя, оперуполномоченного, заведующего спецчастью.

После гибели Николая Степановича скромное жалованье тети Шуры (62 рубля), учительницы начальных классов железнодорожной школы Бежецка, было основным источником существования всей семьи. Еще каждый месяц посылала 25 рублей Ахматова из своей пенсии. Но пенсию иногда задерживали. Выручал огород. Он находился за городом, отнимал много времени и сил.

У себя в бежецкой школе Сверчкова ставила музыкальные спектакли и сама сочиняла пьесы для детей.

Однажды Александра Степановна написала революционную пьесу для детей и привезла ее в Ленинград, решила показать Ахматовой. Мы не знаем, хороша ли была пьеса. Скорее всего, нет. Но в желании посоветоваться с Ахматовой нет ничего предосудительного. Всетаки они были свойственники. Настоящее представление разыгралось в Фонтанном доме. Анна Андреевна пробовала воспротивиться, знакомиться с творчеством Сверчковой было выше ее сил. Но Сверчкова не сдавалась. Тогда Ахма това призвала на помощь верного Лукницкого, тот явился незамедлительно по телефонному звонку и увел Сверчкову.

Вспомним бессмертную чеховскую «Драму». Антон Павлович просто оправдывает убийство графомана. Вот она, ненависть таланта к посредственности!

Литературный талант не связан с душевными свойствами

человека. Недавно опубликованные письма Сверчковой к Ольге Николаевне Высотской совершенно разрушают образ, созданный Ахматовой и Лукницким. Перед читателем появляется добрая и бескорыстная женщина.

Из письма Александры Сверчковой к Ольге Высотской от 8 марта 1946 года:

«Дорогая моя, я очень рада нашему с Вами не только знакомству, но и родству. Вы – моя невестка, и Орик[2] — мой племянник, такой же, как и Лева, только Леву я воспитала, а Ори ка неожиданно нашла. <…> Нас всех соединяет любовь к брату, моему любимому брату, который был для меня и учителем, и другом».

Ей семьдесят шесть лет, она совершенно одинока. Она ничего не просит у племянника, не попрекает, напротив, только сочувствует ему.

«Милый мой мальчик! Воображаю, как много приходится ему заниматься, чтобы сдать государственный экзамен! Как он, бедный, устал после всего пережитого и только что вернувшись с фронта. Я рада, что Вы послали ему деньги, а я ничем, к сожалению, помочь ему не могу…»

И эту женщину Лукницкий с Ахматовой упрекали в корыстолюбии?! Письма Сверчковой отправлены до ждановского постановления, Ахматова еще в славе. Ее печатают газеты, литературные журналы. Сверчкова все это знает, но даже не пытается воспользоваться родством с известным человеком. Ей, «тщеславной» и «корыстной», даже в голову не приходит такое! «С Ан<ной> Анд<реевной> я никогда близка не была. Она слишком "велика" для меня и недоступна».

Лев Гумилев до поры до времени писал Сверчковой. Она сожалела, что пишет он мало, очень кратко, но тут же и оправдывала его: «Конечно, все это глупости, пережиток старины, есть ли ему время писать старой тетке?»

«Старая тетка» воспитывала Леву с шести до семнадцати лет, до самого его отъезда в Ленинград. За это время Ахматова лишь дважды навестила Леву в Бежецке – на рождество 1921 года и летом 1925-го. Последний визит не был долгим.

У Анны Ахматовой и Николая Пунина были так называемые разговорные книжки, где они по очереди делали записи.

Из разговорной книжки: 21 июля 1925 года: «Завтра утром уезжаю в Бежецк <…> Когда меня здесь не будет, пусть и тебе не приходят дурные мысли, ты знаешь, как всегда горька мне разлука с тобой».

Из Бежецка Ахматова вернулась уже 26 июля. Я даже комментировать это не решаюсь. Пусть родственники сами

выясняют отношения.

Анна Ивановна Гумилева никогда не жаловалась, что Ахматова не навещала Леву. Зато Инна Эразмовна Горенко мягко упрекала дочь. 15 октября 1924 года она пишет Ахматовой из поселка Дережня Подольской губернии, где жила у сестры: «Спасибо, Аничка, за обещание приехать сюда, но извини, детка, совсем ему не верю. Если в Бежецк ты подолгу не можешь собраться, то тем паче в такую глушь не заедешь». Она предлагает дочери на Пасху съездить в Бежецк вместе, повидать Левушку. Поездка не состоялась. Возможно, просто не нашли денег. Инна Эразмовна вместе с сестрой Анной Эразмовной жили почти без средств, натуральным хозяйством, к тому же сестры были немолоды. Тем не менее бабушка старалась порадовать внука, отправляла небольшие посылки.

Из письма И.Э.Горенко Анне Ахматовой 5 сентября 1925 года: «Дорогая моя детка! Поздравляю тебя, Аничка, с Днем рождения Левушки. Дай Бог ему здоровья и сил для учения. Послала ему вареных в сахаре груш, сушеных вишен и черешен. Не знаю, будет ли доволен?»

Ахматова в письмах к матери все больше рассказывала о себе:

«Осень я провела в Царском, много гуляла в парке, чудесно отдохнула. Возможно, после рождества опять поеду туда на всю зиму. <…> Лева писал мне, что получил твое письмо и орешки».

Эгоцентризм гения, сосредоточенность Ахматовой на себе отмечали ее современники.

Из дневника Корнея Чуковского. 24 декабря 1921 года: «…я впервые увидел, как неистово, беспросветно, всепоглощающе она любит себя. Носит себя повсюду, только и думает о себе – и других слушает только из вежливости».

Взаимное непонимание, отчуждение матери и сына намечается уже в двадцатые годы. Тогда Лева очень любил мать, нуждался в ее ласке, в заботе. Он ждал ее, каждый раз просил приехать хотя бы на Пасху и на Рождество. В холодности Ахматовой он винил только себя. Из письма Левы Гумилева Павлу Лукниц кому, конец 1925 года: «Мама мне не писала с моего приезда, верно, я что-нибудь сболтнул, и она во мне разочаровалась».

Почтительность, удивительная для тринадцатилетнего подростка.

ВОСПИТАНИЕ ДОФИНА

С первых лет жизни маленький Лев оказался в центре внимания поэтов и поклонников Ахматовой и Гумилева. Уже тогда его называли «Левушка-Гумилевушка», «Гумильвенок» и «дофин».

Из статьи Владислава Ходасевича «Гумилев и Блок»: «Гумилев тотчас отослал его – тоном короля, отсылающего дофина к его гувернерам. Чувствовалось, однако, что в сырой и промозглой квартире нет никого, кроме Гумилева и его сына».

Гувернеров у Левы Гумилева никогда не было. Волшебное царскосельское детство мальчика на леопардовой шкуре осталось в прошлом. «Жили мы бедно, сами возделывали грядки. <…> Я помогал бабушке: поливал и собирал навоз для удобрения», — вспоминал Гумилев.

У Коли Гумилева в детстве было много игрушек: рыцари, солдатики, сабли, мечи. В его комнате жили еж и морские свинки. Чтобы сыновья росли здоровыми, Степан Яковлевич купил имение Березки в Рязанской губернии. Митя и Коля Гумилевы ездили верхом, катались на велосипедах (редкость для тех лет), у них была малокалиберная винтовка «монтекристо».

Лева о собственном велосипеде и «монтекристо» только мечтал. В руках, правда, держать ружье приходилось и даже стрелять. Но не более того. Хотя в чем-то детские игры отца и сына были похожи.

«Я увлекаюсь индейцами. И у нас создалось племя из четырех человек, в котором я состою колдуном, я вылечил вождя и тетю Шуру. Мы устраиваем индейскую войну солдатиками, которых делаем сами», — писал Лева Ахматовой.

Лева устроил свой «музей естествознания». Ребята собирали для него камни, ракушки, листья, насекомых, скелеты рыб. В маленьких городках у детей есть свои радости. Летом Лева целые дни проводил на реке: плавал за кувшинками, нырял с плотов за ракушками, загорал. Зимой катался с крутых горок на санках и ходил на лыжах, воображая себя путешественником, исследователем Севера.

Кроме бабушки, тети Шуры и редко освещавшей своим сиянием тверское захолустье Ахматовой Леву воспитывал еще один человек. С его именем мы уже встречались.

Павел Николаевич Лукницкий до революции учился в Александровском кадетском корпусе, тогда же успел побывать во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, Дании, Греции.

Его отец – военный инженер, будущий доктор наук, еще в

царской армии дослужился до полковника. Полковник царской армии – это почти что статья уголовного кодекса. Казалось бы, при советской власти Лукницких ждала незавидная судьба лишенцев. Но Николай Николаевич Лукницкий в СССР сделал карьеру – преподавательскую и военно-инженерную. А Павел Николаевич поступил на факультет общественных наук Ленинградского университета и, получив приличное гуманитарное образование, стал вести жизнь исключительно интересную, хотя и несколько странную. Он писал стихи, прозу, путевые очерки, а, главное, уже в двадцатые годы стал путешественником. Во второй половине двадцатых и все тридцатые годы он почти не пропускал экспедиционных сезонов. Сначала были горный Крым и Кавказ, потом Туркмения и, конечно, Памир, где Лукницкий даже открыл горную вершину, Заполярье, Казахстан, Сибирь и вновь Памир. Многие из этих экспедиций наводят на размышления. На Памире Лукницкому приходилось бывать в пограничной зоне. Таджикистан тогда кишел басмачами. Попасть в экспедицию мог профессионал, допустим, геолог или врач, но Лукницкий был поэтом. Возможно, в научных экспедициях Павел Николаевич вел особую, скрытую для его товарищей работу.

В конце шестидесятых Гумилев уже был уверен, что Лукницкий служил в «органах». Его подозрения подкрепила этнограф Т.А.Крюкова, давний друг Льва Николаевича. Будто бы Лукницкий был следователем НКВД и допрашивал ее в 1925 году. На самом деле в 1925 году Татьяна Крюкова жила в Праге, училась в Карловом университете. Арестуют ее только в 1928 году. И НКВД в 1925-м еще не существовал, тогда было ОГПУ. Но подозрения все-таки не рассеиваются. Рассказ Крюковой сохранился в передаче Натальи Викторовны Симоновской-Гумилевой, жены Льва Николаевича. Она могла перепутать и название спецслужб, и даты, но вряд ли перепутала бы фамилии. В 1928-м Лукницкий вполне мог допрашивать Татьяну Александровну. Наконец, бывший генерал КГБ Олег Калугин прямо назвал Павла Лукницкого «агентом ОГПУ» и сослался на его донесения.

Но все это откроется только много лет спустя. А тогда, в двадцатые годы, Павел Николаевич стал другом, помощником, наставником Левы. Молодого Гумилева Лукницкий не мог не привлекать: человек умный и отважный, поэт, путешественник, друг Ахматовой, уже в двадцатые годы собиравший материалы о жизни Николая Гумилева. А Леве, окруженному исключительно женским обществом, не хватало мужчинынаставника. Лукниц кому казалось, что Лева слишком робок, мягок, стеснителен, и

Павел Николаевич пытался как-то помочь ему. Видимо, не без успеха. Когда Лева вырастет и станет Львом Николаевичем, ни один друг, знакомый или коллега не найдет в нем и следа детской нерешительности и робости.

Лева дорожил мнением Лукницкого, присылал ему свои новые сочинения. Лукницкий, в свою очередь, показывал Леве Ленинград, водил в Эрмитаж, в театры, в кинематограф, на спортивные соревнования. Они катались на лодке и на велосипеде. Сравним: иногда кажется, будто Ахматова просто не знала, что ей делать с повзрослевшим сыном, как с ним разговаривать.

В июне 1926 года Анна Ивановна с Левой приехали в Ленинград. Остановились, как обычно, у Кузьминых-Караваевых на Фурштатской, 11. Пришли навестить Ахматову, которая жила тогда еще в квартире В.К.Шилейко, в служебном корпусе Мраморного дворца. Ахматова очень обрадовалась дорогим гостям, но уже пять минут спустя Лева ушел с Лукницким в музей.

Конечно, Анна Андреевна любила Леву, но не умела помочь ему в жизни. Поэтому она впадала то в одну, то в другую крайность. Иногда испытывала необъяснимый, панический страх за него. Както Лева попросил у нее разрешения (он всегда просил разрешения у мамы или у бабушки) покататься с Лукницким на лодке. Из записей Павла Лукницкого, 17 июля 1926 года: «АА дико восстала – каждый день столько тонет. Вы сумасшедший…»

С другой стороны, она сыну не потворствовала и приучала к мысли: надо рассчитывать только на себя. В ноябре 1934 года, когда молодой Лев несколько лет как жил в Ленинграде, Ахматова оставила сыну записку: "*Una salus nullam sperare salutem. A. (ad usum delphini)*" («Единственное спасение – не надеяться ни на какое спасение. А. (дофину для пользования)». Мы не знаем, чем была вызвана записка – жалобами ли Льва на трудности в университете, или чем-то еще, не в этом главное. Ахматова принципиально не баловала сына.

Была еще одна болезненная история, разделившая Леву и Ахматову. Стихи. Ими был переполнен дом Гумилевых в Царском Селе. Лева услышал их, наверное, раньше колыбельной песни. Как и отец, Лева начал сочинять очень рано и, конечно, отцу подражал. Ахматовой не нравилось увлечение сына экзотикой. Пусть пишет не о пиратах, не о древних греках, не о норманнах. Ахматова хотела, чтобы сын увидел поэзию в окружающем мире, в русской природе. Ей ведь и поэзия Николая Гумилева не нравилась по той же причине. Ахматова не увидела в стихах младшего Гумилева большого поэтического дара. А судьбы

посредственного поэта она ему, конечно, не желала. Ахматова поставила диагноз верно, а для лечения, очевидно, выбрала радикальное средство.

Из письма Льва Гумилева Павлу Лукницкому (получено 5 января 1926 года): «Мне как начинающему особенно было интересно узнать, какого мнения о них мама, но из ее слов я понял, что из меня ничего хорошего не выйдет. Видя, что в поэты я не гожусь, я решил со стихами подождать, я сам понимаю, что я должен писать или хорошо, или ничего».

В начале шестидесятых, когда к Ахматовой, давно признанному живому классику, обращались многочисленные графоманы, она щадила их самолюбие.

Анатолий Найман в «Рассказах об Анне Ахматовой»: «…она старалась не обидеть и говорила что-нибудь необязательное, что из ее уст могло быть воспринято как похвала. <…> "В ваших стихах есть чувство природы". <…> "Белые стихи писать труднее, чем в рифму". <…> "Это очень ваше". <…> "В ваших стихах слова стоят на своих местах"».

Но это были чужие люди, а Левато свой, и она думала о его будущей судьбе.

ТРИ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТ В БЕРЕЗОВОЙ АЛЛЕЕ

Двадцатые годы XX века – смутное время для отечественного школьного образования. Разрушали старую дореволюционную систему, насаждали смелые эксперименты вроде комплексного обучения или бригадного. Но вопреки разгулу опасных стихий педагогического свободомыслия детей все-таки учили географии, арифметике и родному языку.

Лева учился в трех школах Бежецка. Сначала во 2-й советской. Она занимала половину двухэтажного красно-кирпичного здания бывшей женской гимназии. В другой половине разместили педагогическое училище. После реорганизации Бежецкого реального училища во 2-й советской оказалось много бывших «реалистов», известных в городе буйными нравами. В школе, по воспоминаниям одноклассницы Левы Дины Флейшман, стало «очень страшно». Ей запомнились «буйствующие мальчишки», от которых она даже пряталась за печку.

Можно себе представить, как относились малолетние соловьи-разбойники к домашнему мальчику, который девочек называл на «вы». Кроме того, на нем уже было клеймо сына расстрелянного контрреволюционера: «В школе положение было сложным, ибо началось гонение на людей с "происхождением", но это еще не "травля", а просто неодобрение», — записывал Лукницкий.

Вскоре, однако, травля началась: «Плохо было очень в школе, просто убивали меня», — вспоминал Гумилев. Лев Николаевич даже назвал имя обидчика, от которого ему больше всего доставалось, — Колька Москвин. К несчастью для юного Левы, учитель Кирсанов встал на сторону обидчика, так что Гумилеву не приходилось уповать и на помощь взрослых.

Эти события скорее всего относятся к учебе в шестом классе, потому что именно в это время тетя Шура перевела племянника в железнодорожную школу, где сама работала. Однако и там отношения с одноклассниками у Левы не сложились.

«Держался Лева особняком. Мы все были пионеры-комсомольцы, он никуда не вступал, на переменах, когда все играли, стоял в стороне. Через 2-3 месяца тетка перевела его в другую школу», — вспоминал бывший одноклассник Гумилева Б.П.Тарасов.

С 1926-го по 1929-й Лева учился в 1-й советской школе. Дети стали старше и умнее. Теперь одноклассники могли оценить

редкие способности Левы Гумилева, его начитанность, прекрасную память и литературный талант.

Для школьной газеты «Прогресс» Гумилев писал фантастические и приключенческие рассказы: «Ужас лунной ночи», «Тайна морской глубины». За последний Гумилев даже получил денежную премию ШУСа (школьного ученического совета).

Кроме того, Лева был прилежным читателем бежецкой библиотеки. Несомненно, эта библиотека была одним из самых любимых его мест в Бежецке. Много позже он напишет в эссе «Биография научной теории, или Автонекролог»: «К счастью, тогда в маленьком городе Бежецке была библиотека, полная сочинений Майн Рида, Купера, Жюля Верна, Уэллса, Джека Лондона и многих других увлекательных авторов. <…> Там были хроники Шекспира, исторические романы Дюма, Конан Дойла, Вальтера Скотта, Стивенсона. Чтение накапливало первичный фактический материал и будило мысль».

Лев Гумилев в библиотеке даже выступал с докладами о современной русской литературе и руководил литературной секцией в Клубе друзей книги. Известны дата и тема его последнего доклада. Присутствовало шесть человек.

Из протокола собрания Клуба друзей книги от 21 июля 1929 года:

«Повестка дня

1. Литературные течения XX в. докл. т. Л.Гумилева».

Льву тогда задали один вопрос: «К какой группировке принадлежит поэзия Мандельштама?»

У молодого Гумилева были и замыслы романов: «Атлантида», «Подземное царство», «Новый астероид». Он не успел их написать – не хватило времени. Если стихи Гумилев будет писать еще очень долго, то к прозе вернется только в 1941 году, в Норильском лагере.

В 1-й советской у Гумилева появился еще один наставник – преподаватель литературы и обществоведения А.М.Переслегин. Переслегин и Сверчкова тогда дружили, так что пути Левы и Александра Михайловича пересеклись неизбежно. Переслегин преподавал и в железнодорожной, и во 2-й советской. С Левой он занимался и вне уроков. Подобно древним перипатетикам, Переслегин и молодой Гумилев беседовали о философии и литературе во время прогулок. В березовой аллее Александр Михайлович читал лекции своему ученику. Переслегин был человеком не только широко образованным, но и увлеченным. Б.П.Тарасов, простой советский парень, будущий шофер, вспоминал Переслегина с уважением: «Всем в своей жизни я

обязан Александру Михайловичу Переслегину <…> он зажег во мне искру Божию».

«Александр Михайлович был европейски образованным человеком. Им мог бы гордиться любой университет», — говорил Лев Гумилев, к тому времени уже защитивший две докторские диссертации.

У Льва Гумилева были известные учителя: член-корреспондент Академии наук Якубовский, профессора Кюнер и Артамонов, — но рядом с ними надо поместить имя скромного учителя бежецкой школы, ведь он оказал на Гумилева влияние в самые важные, драгоценные для учебы годы. Лекции в березовой аллее Гумилев еще не раз вспомнит: «Этих незабываемых бесед мне хватило не только на сдачу экзаменов по философии в университете и в аспирантуре, но и на всю оставшуюся жизнь».

Гумилев сохранил о Переслегине добрую память. В шестидесятые Лев Николаевич будет посылать ему в Бежецк оттиски своих статей. Их переписка продлится до самой смерти Александра Михайловича (в 1972 году) — случай необычайный для Льва Николаевича, ведь он нередко забывал о старых друзьях и помощниках.

Вкус к литературным занятиям Гумилев унаследовал от родителей. Первые знания о философии принес ему Переслегин. Интерес к исторической науке был у Гумилева природным.

«Это от Бога», — не раз говорил Лев Николаевич.

Любовь к истории заметна даже в самых ранних стихотворениях Льва Гумилева. Впрочем, слово «любовь» здесь не совсем на месте. История – это воздух, которым он дышит. Это способ мировосприятия. Даже в стихах о речке Мологе у Гумилева появляются хазары, татары, монголы, древние финны:

Здесь лося бил из лука финн,
Не сеял здесь ржаное семя
Лесов дремучих властелин.
Бывало, из варяг в хазары
К далеким чуждым городам
Купцы везли свои товары
По разливным твоим водам…

Гумилев писал о битве при Йорке и битве при Гастингсе, а еще раньше, в 1924 году, одиннадцатилетний Лева пытался написать «нечто вроде драмы в стихах из рыцарских времен в Бретани». В это время одноклассники Левы не то что средневековой Бретанью, но и современной Британией вряд ли интересовались. Им просто неоткуда было узнать о Харальде

саксонском и Вильгельме Завоевателе, о Карле Мудром и Дюгеклене. Историю в школе не преподавали, ее заменяло обществоведение.

Историю Лева учил самостоятельно, по гимназическим учебникам. Они были подробными, а вся прелесть истории – не в схемах, а в исторических фактах. Сумасбродства Карла Безумного и ярость Фридриха Барбароссы, мудрость Филиппа Августа, мнимые или подлинные преступления тамплиеров – что может быть интереснее?

С первых школьных лет Леве совершенно не давалась математика. Чрезвычайно любопытны его письма к Ахматовой. Они оригинальны, образны, художественны: «Только арифметика мой враг, и с ним сражаюсь, бывают мелкие стычки и большие бои. Сегодня я выиграл бой, но проиграл несколько стычек!»

Из письма Льва Гумилева Павлу Лукницкому от 20 декабря 1926 года: «Дела мои по школе вовсе не блестящие: у меня два незачета, по геометрии и по физике. <…> Признаюсь, поленился и жестоко наказан».

В начальной школе с Левой занимались тетя Шура и бабушка, но в старших классах они уже не могли ему помочь. Ахматова как-то даже отправила 15 рублей, чтобы Лева мог взять хоть несколько частных уроков математики.

Практичная тетя Шура советовала Леве после школы поступать в Бежецкий педагогический техникум, но Ахматова об этом и слышать не хотела: только университет или педагогический институт.

Гумилев еще не раз вспомнит город своего детства добрым и недобрым словом. А тогда, в 1925-м, он уезжал к матери в Ленинград с легким сердцем и большими надеждами.

ФОНТАННЫЙ ДОМ

Образ Фонтанного дома в мемуарах неизменно двоится: Шереметевский дворец, «сиятельный дом», «Дом поэта» и просто ленинградский адрес: Фонтанка, 34, кв. 44, скромное жилище в миру Анны Андреевны Ахматовой. Здесь, в южном флигеле дворца, в служебной квартире своего гражданского мужа, искусствоведа и сотрудника Русского музея Николая Николаевича Пунина она прожила много лет. Пройдя через кружевные чугунные ворота и вестибюль дворца, посетитель попадал во внутренний двор, где росли старые, еще шереметевские липы, «будто из ее стихов или пушкинских». И вдруг… обшарпанный флигель. «Я поднялась по черной, трудной, не нашего века лестнице, где каждая ступенька за три <…> ободранности передней, где обои висели клочьями, я как-то совсем не ждала <…> Кухня, на веревках белье, шлепающее мокрым по лицу <…> Коридорчик после кухни и дверь налево – к ней», — вспоминала Лидия Чуковская.

Тот же контраст впечатлений остался в памяти Руфи Зерновой: «"Фонтанный дом". Это получалось вроде Бахчисарайского фонтана, загадочно, красиво, с нежным поворотом полугласных "н"». Но дворец показался ей «огромным грязным домом с огромным темным двором».

Лев Гумилев приехал в Ленинград в начале сентября или в конце августа 1929 года, ему еще не исполнилось и семнадцати лет. Вероятнее всего, ни Ахматову, ни Пунина он не застал дома. Николай Николаевич провел сентябрь 1929-го на Черном море, в Хосте, Анна Андреевна лечила астму в Крыму, в Гаспре. Впрочем, она могла и встретить Леву, провести с ним несколь ко дней, а затем уехать. Свидетельств не осталось, можно только предполагать. Первый месяц своей ленинградской жизни Лев провел в обществе восьмилетней Ирины Пуниной и ее матери, первой жены Пунина, Анны Евгеньевны Аренс.

Эмоциональный и еще совсем юный Лев, сменивший провинциальный Бежецк на Ленинград, видимо, был счастлив. 19 сентября 1929 года Пунин из Хосты пишет Ахматовой: «Вчера была от Левы и Иры открытка. Лева чего-то ликует, вероятно, оттого, что его никто не шугает». Не знаю, для чего Пунину было «шугать» Леву, который, вероятно, просто опьянел от осеннего ленинградского воздуха. Как не опьянеть: ведь бедный провинциал Лева жил теперь в самом центре Ленинграда, с его музеями, библиотеками, театрами, с его институтами наконец!

Для Левы это был город его отца, а сам Николай Степанович

Гумилев, мир повидавший, некогда уверял: «Петербург – лучшее место земного шара». «…В Городе я чувствую себя как в сказке», — писал Лев. Ленинград навсегда останется для Льва Гумилева любимым, родным городом. Даже ленинградские тюрьмы он будет предпочитать всем прочим тюрьмам и лагерям Советского Союза.

«Лучшего места на земле нет», — напишет он Сергею Лаврову четверть века спустя. Ленинграду будет посвящать свои стихи:

Когда мерещится чугунная ограда,
И пробегающих трамваев огоньки,
И запах листьев из ночного сада,
И темный блеск встревоженной реки,

И теплое, осеннее ненастье
На мостовой, средь искристых камней,
Мне кажется, что нет иного счастья,
Чем помнить Город юности моей.

Мне кажется… Нет, я уверен в этом!
Что тщетны грани верст и грани лет,
Что улица, увенчанная светом,
Рождает мой давнишний силуэт,

Что тень моя видна на серых зданьях,
Мой след блестит на искристых камнях.
Как город жив в моих воспоминаньях,
Как тень моя жива в его тенях.

Правда, эти стихи он сочинит в Норильске.

Для нищего и бесправного зэка прекрасный и величественный «град Петров» был воспоминанием о прошлом, в сравнении с лагерной жизнью относительно благополучном. Между тем 1929 год был для Ленинграда тяжелым и мрачным. Веселые времена нэпа прошли, вновь ввели карточки на продукты, появились забытые со времен военного коммунизма хвосты очередей. Гумилев не мог оценить нищету и убожество тех лет, но практически одновременно с ним в Ленинград приехал Игорь Дьяконов, будущий знаменитый востоковед. Игорь был всего двумя годами моложе Льва, но прибыл он не из бедной тверской провинции, а из Норвегии, где прожил несколько лет, учился в норвежской школе, не раз бывал и в соседней Швеции. Неудивительно, что его первые ленинградские впечатления отличались от гумилевских.

Город стоял «обнаженный, некрашеный и мрачный», привыкшего к европейскому уюту молодого человека угнетали «убогие пригороды, красные трамвайчики, низкий и захолустный Финляндский вокзал». В то время как раз закрывались последние частные лавки, исчезали или превращались в артели сапожные, портняжные, часовые мастерские. «На полках кооперативов было пустовато, а то и совсем пусто, и часто на требование дать товар – с полки ли, или с витрины, — следовал лаконичный и мрачный ответ: "Бутафория"». Брат Игоря Михаил встретил вернувшихся из Скандинавии родителей и брата словами: «В Ленинграде голод».

Голод в Ленинграде рубежа двадцатых – тридцатых – преувеличение. Вероятнее, речь шла о постоянном недоедании и вообще о скудости жизни. Свидетельств тому множество, почитайте хотя бы переписку Лидии Корнеевны Чуковской с отцом, Корнеем Ивановичем. Семейство Чуковских «стояло на ногах» намного крепче, чем юный Гумилев, но даже Чуковским постоянно не хватало средств на рубашки и носки, вечной головной болью были дрова. В огромном, почти столичном городе на протяжении нескольких лет не хватало ни товаров, ни денег: «У Марины нет ни копейки. <…> Коля ходит с чеком в 400 р. в кармане, по которому банк не платит. У меня сейчас ровно 10 к. <…> Цезарю не заплатили в Институте жалования… <…> Дело не в том, что у твоих детей мало денег… а в том, что *в городе нету денег* (курсив Л.К.Чуковской. – С.Б.), их невозможно достать. <…> Денег нет ни у кого, все в таком же положении, как и мы».

Десятки тысяч людей бежали из деревни, где уже раскулачивали, в города, началась новая волна «уплотнений», росло население коммуналок. Такой коммуналкой была и квартира Пунина. В одной комнате жила Ахматова, в другой Анна Евгеньевна с дочерью Ириной, у Николая Николаевича был кабинет; наконец, еще одну комнату до войны занимала рабочая семья Смирновых. Место Леве нашлось только в коридоре на деревянном сундуке. Своя комната появится у него лишь после войны.

23 сентября 1929-го Анна Евгеньевна пишет Пунину: «Лева смешит своею детскостью и пугает ленью и безалаберностью. Учу и дисциплинирую как умею». Вернувшийся с Кавказа Пунин вскоре положит этой вольной жизни конец и устроит Леву в 67-ю единую трудовую школу, где директором был Александр Николаевич Пунин, брат Николая Николаевича. Ее предшественница – классическая 10-я гимназия, открытая на 1-й Роте (к 1929 году уже 1-й Красноармейской) в начале XX века. Сейчас это 272-я гимназия Адмиралтейского района. Так, не без

помощи Пунина, Лев еще раз закончит девятый класс – уже в ленинградской школе – и подготовится к институту.

ПУНИН

Биографы Льва Гумилева относятся к Пунину с неизменной враждебностью. Пунина изображают скаредным и бесчувственным человеком, который унижал Анну Андреевну, а Леву попрекал куском: «Что же ты хочешь, Аня, мне не прокормить весь город!» Он не стеснялся сказать за столом при Анне Андреевне и Леве: «Масло только для Иры».

Биограф и друг Льва Николаевича Сергей Лавров даже поставил в вину Пунину «донос» на Николая Гумилева – заметку в газете «Искусство коммуны». В этой несчастной заметке Пунин, тогда заместитель Луначарского, народного комиссара просвещения, встречу с Гумилевым «в советских кругах» отнес к проявлениям «неусыпной реакции, которая то там, то здесь да и подымет свою битую голову».

Неосведомленный читатель только подивится: как же это могла Ахматова столько лет жить с таким чудовищем?

Эпиграфом к «пунинской» главе Лавров избрал слова из дневника Николая Николаевича: «Если бы я не был так ничтожен… <…> Но я труслив, слаб и изворотлив…» Образ создан. Но стоит вспомнить, где и когда появилась эта запись, как меняется все. 15 октября 1941-го, блокадный Ленинград. Немолодой мужчина в осажденном, голодном городе размышляет о жизни, о наступающей старости: «Я встречаю ее в фантастическом пространстве войны. Я – один в мире и вместе с тем как будто не один. Рядом она – суровый сторож моей жизни. Перед ее непреклонностью я чувствую себя лживым мальчишкой, и помню, и вижу, как нечисто живу». Трагическая фигура этого незаурядного человека стоит внимания читателя.

Как известно, Ахматова и Пунин познакомились еще в 1913 году в редакции журнала «Аполлон». Ахматова окончательно переехала к Пунину в 1925 году. Разошлись они в 1938-м, но и позднее продолжали жить под одной крышей, пусть и вынужденно. Ахматову всегда окружали талантливые мужчины – от Николая Гумилева, Амедео Модильяни и Владимира Шилейко до Исайи Берлина, Иосифа Бродского, Арсения Тарковского. Но даже на их фоне Пунин не теряется. Биографы Ахматовой к Пунину гораздо снисходительнее. Современники ставили его очень высоко. «Умный, желчный, блестящий человек», — напишет о нем Надежда Яковлевна Мандельштам.

Психологический портрет Пунина в историко-литературном контексте оставил искусствовед Всеволод Петров:

«Николай Николаевич Пунин был похож на портрет Тютчева.

Это сходство замечали окружающие: А.А.Ахматова рассказывала, что когда, еще в двадцатых годах, она приехала в Москву с Пуниным и они вместе появились в каком-то литературном доме, поэт Н.Н.Асеев первый заметил и эффектно возвестил хозяевам их приход: "Ахматова и с ней молодой Тютчев!"

С годами это сходство становилось все более очевидным: большой покатый лоб, нервное лицо, редкие, всегда чуть всклокоченные волосы, слегка отвислые щеки, очки.

Сходство, я думаю, не ограничивалось одной лишь внешностью; за ним угадывалось какоето духовное родство.

Оба – великий поэт и замечательный критик – были романтиками.

Оба более всего на свете любили искусство, но вместе с тем стремились быть, в какой-то степени, политическими мыслителями.

…Самой характерной чертой Пунина я назвал бы постоянное и сильное душевное напряжение. Можно было предположить, что в его сознании никогда не прекращается какая-то трудная и тревожная внутренняя работа. Он всегда казался взволнованным. Напряжение находило выход в нервном тике, который часто передергивал его лицо…»

Студенты же боготворили своего профессора: «Культ Пунина был частью, "подкультом" Искусства, ну, скажем, наподобие почитания Моисея в иудаизме, — пишет Борис Бернштейн. — В наших глазах Пунин был пророком, посвященным, жрецом Искусства – не по должности, не по многознанию, а по дарованному ему откровению и благодати. Он был там, в сакральном пространстве, куда нам, смотри – не смотри, учи – не учи, читай – не читай, входа нет, хорошо уже то, что мы можем слышать его речи – оттуда. Мы слушали эти речи, где бы он их ни произносил, кому бы ни предназначался курс, была ли это лекция, семинар или что другое, внеакадемическое, — мы бежали на звук пунинского голоса».

«Он удивительно понимает стихи, — говорила Ахматова. — Он так же хорошо слышит стихи, как видит картины». Вероятно, Пунин лучше других понимал Ахматову, потому их союз и оказался так долог.

Но для молодого Льва Пунин остался холодным и неприятным человеком: «Морду надо бы набить прохвосту», — писал Лев Николаевич много лет спустя, когда Пунина уже не было в живых. Гумилев будет проклинать Пунина до конца своих дней.

В дневниках Пунина имя Левы встречается нечасто, Пунин пишет о нем немного и довольно сдержанно: «Лева Гумилев

проехал на фронт», «приехал с фронта Лева Гумилев». И так почти все записи о Льве. Поразительная для нервного и впечатлительного Пунина невозмутимость. И это тот самый Пунин, что будет долго и горестно оплакивать безвременную кончину кошки Андромеды!

Отношения усугубляла и скупость Пунина, известная нам не только по запискам Лидии Чуковской, интервью Льва Гумилева и мемуарам Эммы Герштейн, но и вот по этому документу.

6 сентября 1921 года Пунина, тогда комиссара Русского музея, освободили из-под стражи. Казалось бы, вырваться из застенков ЧК, где только что погиб Николай Гумилев, уже само по себе величайшее счастье. Но счастье Пунина было омрачено одним обстоятельством, о котором он поведал в своем заявлении к члену Петросовета товарищу Богданову:

«При освобождении 6 сентября мне не были возвращены подтяжки, так как их не могли разыскать. Вами было дано обещание разыскать их к пятнице 9-го. Если они разыскались, прошу выдать. На подтяжках имеется надпись "Пунин" (камера 32)».

Случай, достойный пера Зощенко. И вот этот человек еще до приезда Левы содержал дочку и двух жен.

С осени 1929-го на попечении Пунина оказался взрослеющий юноша, совершенно ему чуждый. Как же он мог относиться к Леве, который, даже переселившись к своему другу Акселю Бекману, продолжал столоваться у Пунина? Эти обеды назывались «кормление зверей».

На обед приходили и гости – Павел Лукницкий или приехавшая в Ленинград Эмма Герштейн. Прогнать их было нельзя, но денег на широкое застолье не хватало, а потому «… Николай Николаевич угрожающе рычал (ему казалось, что Лукницкий и Лева брали с блюда слишком большие куски жаркого): "Павлик! Лева!"».

Неожиданное для профессора изящных искусств сочетание рачительности с природной экспансивностью не раз становилось поводом для шуток. Николай Харджиев прозвал Пунина «сумасшедшим завхозом».

К 1937 году, когда Ахматова лишилась своей персональной пенсии, которую прежде получала «за заслуги перед русской литературой», отношения стали еще хуже. Атмосфера в Фонтанном доме была перенасыщена электричеством. Николай Николаевич сидел в красном халате и раскладывал пасьянс. Анна Евгеньевна подавала реплики («как ножом отрежет», по словам Герштейн), от которых, вероятно, вздрагивали даже гости. «"А за такие слова вам дадут десять лет", — раздался мрачный голос

Анны Евгеньевны с другого конца стола».

Часть II

ПЕРВЫЙ БЕСТИОН

Первый ленинградский год жизни Гумилева освещен источниками хуже всего. Лев оказался на содержании матери и Пунина, но по мере сил пытался «отработать» свой хлеб: колол дрова, носил их вязанками из сарая в квартиру, топил печь, ходил за продуктами.

Лева учился в школе, Пунин иногда помогал ему готовить уроки. Жили очень бедно, в декабре 1929-го Павел Лукницкий записал в дневнике: «А.А. живет по-прежнему тихо и печально. Холод в квартире, беспросветность и уныние. Встречи нового года не будет – нет ни денег, ни настроения».

Начало лета отмечено важным событием: Гумилев оканчивает школу и подает документы на немецкое отделение педагогического института. Гумилев-германист – какой странный мираж. Позднее у Гумилева не будет особого интереса к Германии. Но тогда он готовился заранее, полгода учил немецкий язык на специальных курсах, хотя смысла в этом не было: до середины тридцатых поступать в вуз было легко и приятно. Вступительные экзамены давно отменили, за учебу платы не брали, абитуриент должен был принести в институт или университет только свою автобиографию, фотокарточку и на месте заполнить анкету, но именно анкета и становилась барьером, фильтром, кото рый не должен был подпускать к высшему образованию детей лишенцев и контрреволюционеров.

С удовольствием принимали в институты крестьянских (не кулацких!) детей, детей рабочих и… детей научных работников – их приравняли к рабочим. Путь в институт открывала именно «хорошая» анкета, точнее – хорошее социальное происхождение, а происхождение у Гумилева было чудовищным. Не внебрачный сын Николая Романова, конечно (несколько лет назад в газете «Московский комсомолец» появилась и такая забавная «версия»), но все-таки сын контрреволюционера с довольно громкой фамилией.

В институтах и университете происхождение проверяла так называемая секретная часть, которая могла послать запрос в ГПУ: уточнить происхождение, род занятий, выяснить, нет ли на абитуриента компрометирующих материалов.

В педагогическом у Льва даже не приняли документы. В июне 1929-го Ахматова с Ирой Пуниной уехали на дачу Валерии Срезневской, а Гумилев вернулся в Бежецк к бабушке. Пунин, если верить воспоминаниям Гумилева, даже требовал, чтобы Лев уехал в Бежецк. Но из этих воспоминаний, надиктованных

Гумилевым на магнитофонную пленку в сентябре 1986 года, неясно, заставлял ли он Гумилева вернуться в Бежецк летом 1930-го, после неудачной попытки поступить в институт, или же осенью 1930-го.

О чем он думал тогда, о чем мечтал, предположить несложно. Высшее образование, доступное малограмотному рабфаковцу, превратилось для Гумилева в труднодостижимую вершину, в крепость, которую не удалось взять приступом. Но уже осенью 1930-го он приступит к ее планомерной осаде.

Как солдат штрафного батальона искупает вину кровью, так сын буржуя или аристократа должен был «перевариться в рабочем котле» – получить рабочий стаж, стать настоящим пролетарием. И Гумилев стал рабочим.

В любой сколько-нибудь подробной биографии Гумилева читатель прочтет, что первым рабочим место Гумилева была «Служба пути и тока», где восемнадцатилетний Лев трудился разнорабочим.

Тридцать лет спустя, заполняя в Государственном Эрмитаже личный листок по учету кадров, Гумилев написал, что работал в «Службе пути и тока» с 1 октября по 1 декабря 1930 года. Составители сборника воспоминаний о Гумилеве «Живя в чужих словах чужого дня» М.Козырева и В.Воронович датируют работу Гумилева в «Службе пути и тока» ноябрем – декабрем 1930-го. А что было прежде?

В фондах Музея Ахматовой хранится интереснейший документ. Это письмо Сергея Александровича Кузьмина-Караваева, внучатого племянника Анны Ивановны Гумилевой, бабушки Льва Николаевича. Оно датировано 8 августа 1975 года, отправлено не на домашний адрес, которого Кузьмин-Караваев не знал, а на адрес Ленинградского университета, адресовано «профессору истории гуннов Льву Николаевичу Гумилеву». В этом письме Кузьмин-Караваев, которому шел в то время девяносто первый год, просит пристроить в «Археологический институт» или хотя бы взять на «археологические работы» своего пасынка (от третьего брака). Прежде Кузьмин-Караваев не слишком интересовался судьбой Гумилева, а потому попытался оправдаться и даже напомнил Льву Николаевичу о своей давней услуге. Цитирую, сохраняя авторскую орфографию и пунктуацию: «Вас вероятно чрезвычайно удивит письмо – ведь я никогда не писал – но это не означает, что я не помнил, что у меня ест племянник Лева, которого по окончании школы в Бежецке в 1930 г. я взял на завод им. Свердлова в Лгр., где я в то время руководил отд. реконструкции, но чертежные работы тебя не устраивали и ты ушел с завода».

Завод имени Свердлова находился на Васильевском острове. Там выпускали и ремонтировали металлообрабатывающие станки, прессы, паровые машины. Сейчас этого завода уже нет. Несколько лет назад он обанкротился, предприятие закрыли, а хорошо известный бренд «Станкостроительный завод "Свердлов" выкупил кировский «Станкомаш». А тогда, на рубеже двадцатых и тридцатых годов, на этом уже старом, основанном еще в шестидесятые годы XIX века заводе как раз проводили модернизацию, и Гумилев должен был внести и свой вклад в советскую индустриализацию. Сразу после школы Гумилев поступить на завод не мог, весной 1930-го у него были другие планы. Значит, остается сентябрь 1930-го. Но, должно быть, занятие, которое Кузьмин-Караваев нашел для своего «племянника», было для молодого Льва чуждо, скучно и непереносимо, раз он предпочел работе в отапливаемом цеху труд чернорабочего на окраине города.

Но вот только на какой окраине? Сергей Лавров и Ольга Новикова, не только биографы Гумилева, но и его друзья, со слов самого Льва Николаевича утверждали, что работал Гумилев в Парголове. Более того, Ольга Новикова рассказывала мне, что сам Лев Николаевич в последние годы жизни прощался с городом и показывал ей места, где жил или работал, в том числе и Парголово. Новикова восстановила приблизительный путь Гумилева до рабочего места. Он садился на трамвай № 20, который шел от площади Лассаля (нынешней площади Искусств) до конечной станции Озерки. Отсюда до работы Гумилеву оставалось идти еще два километра. Его рабочее место находилось дальше, в поселке Парголово 1е, где началось строительство нового трамвайного кольца. Здесь в деревянной будке, переделанной из старого трамвайного вагона, и размещалось отделение «Службы пути и тока», где Гумилев трудился чернорабочим.

Но вот в беседе с ленинградским публицистом Эдуардом Варустиным, опубликованной журналом «Аврора» еще при жизни Льва Николаевича, в ноябре 1990 года, назван другой номер трамвая – 19-й – и совсем другой район – Полюстрово. В пользу этой версии говорят и некоторые живые подробности, детали быта, о которых рассказал Варустину Гумилев. Во первых, наводит на размышления сама будка, переделанная из трамвайного вагона. В 1930 году трамвайная линия не дотягивала до Парголова 1-го, трамвайное кольцо там откроют только в 1934-м. Во-вторых, Гумилев рассказал Варустину, что в будке отдыхали приехавшие на трамвайное кольцо вагоновожатые и кондукторы. Но в Парголове им нечего было

делать, кольцо 20-го трамвая находилось южнее. Отдых труженика «пути и тока» краток: посидел, попил чаю – и снова в трамвай. Тут каждая минута дорога. Какой же нормальный человек пойдет с настоящего трамвайного кольца на далекую недостроенную станцию? А вот кольцо 19-го трамвая на Кондратьевском проспекте для отдыха кондукторов и вагоновожатых как раз подходило.

ХАМАР-ДАБАН

Выбор Гумилева представляется почти столь же случайным, как и работа в трамвайном депо. Ни интереса, ни способностей к естественным наукам у Гумилева вроде бы не было. На курсах коллекторов он, по-видимому, не проявлял рвения к учебе. Летом 1931-го Лев со смехом признается своей новой подруге Анне Дашковой: «Читал охотно Апулея, а геологоразведочного дела не читал!». Эту фразу он будет повторять и позднее, вплоть до рассказов о своей лагерной работе на Таймыре. Но профессия коллектора оказалась для Гумилева спасением.[3]

В годы первых пятилеток власть не скупилась на средства для геологических экспедиций, ведь новые советские заводы нуждались в отечественном сырье. Экспедиции формировались одна за другой, спрос превышал предложение, а потому их руководители не обращали внимания на соцпроисхождение работников – были бы молоды, здоровы, выносливы, грамотны. Среди коллег Гумилева по курсам коллекторов и участников будущих экспедиций встречалось немало таких же, как он, бесправных «лишенцев». С ними было, вероятно, легче сработаться, чем с настоящими пролетариями в трамвайном депо. Гумилев вспоминал впоследствии, что ни в одной из своих ранних (до университета) экспедиций не чувствовал себя изгоем, к нему относились не хуже, чем к другим.

Экспедиции дали нищему Гумилеву возможность «посмотреть мир», своими глазами увидеть тайгу и степи, побывать в Сибири и в Крыму. На время экспедиций Лев мог вырваться из тягостной для него атмосферы Фонтанного дома. Наконец, в экспедициях можно было заработать немного денег, а еще там неплохо кормили, и Лев отъедался после полуголодной зимы.

11 июня 1931 года Гумилев отправился в свою первую экспедицию – Прибайкальскую геологоразведочную. На Московском вокзале его провожала Ахматова, передала ему пакет с продуктами. Поезда тогда ходили медленно, путь от Ленинграда до Иркутска занимал неделю. Душный плацкартный вагон был так переполнен, что напоминал общий. В Иркутске предстояла пересадка. До станции Слюдянка, что на южном берегу Байкала, добирались уже в красном товарном вагоне, наспех приспособленном под пассажирский. Слюдянка, рабочий поселок на берегу Байкала, стала базой экспедиции. Работать же пришлось в горах Хамар-Дабана.

Хамар-Дабан – древняя горная страна, что отделяет Сибирь от степей Центральной Азии. Климат в этих горах влажный и

холодный, особенно на северных склонах. Даже в самые засушливые годы, когда восток Великой степи превращался в пустыню, Хамар-Дабан служил надежной границей, не пускавшей пески и суховеи на север. В древности и в Средние века на склонах Хамар-Дабана спасались от засухи кочевые тюркские и монгольские племена.

Зимой безлесные вершины гор («гольцы») покрывались снежными шапками, русла таежных рек иногда промерзали насквозь, зато весной горные потоки несли воду к подножьям, образуя бесчисленные водопады.

В тайге, покрывающей склоны гор, жили лоси, кабаны, маралы, бурые медведи. Местные охотники издавна добывали там горностая, белку, лисицу и даже драгоценного соболя. Изредка встречались в горах изящная высоколапая рысь и неутомимая энергичная росомаха. «Более красивого и благодатного места я в жизни не видел», — признает Гумилев полвека спустя.

В горах Хамар-Дабана уже тогда добывали слюду и лазурит, но ученые-геологи предполагали, что эти горы, одни из самых старых на земном шаре, гораздо богаче.

Гумилева задачи экспедиции, кажется, вовсе не интересовали, хотя он добросовестно исполнял свои обязанности. Еще в поезде Лев познакомился с двадцатилетней Анной Дашковой. Если не считать нескольких скупых фраз, которые можно извлечь из поздних интервью Гумилева, то ее воспоминания – единственный источник, по которому мы знаем о той экспедиции. Дашкова стала близкой подругой Гумилева, он поддерживал с нею связь и после возвращения в Ленинград.

Анна Дашкова находила Гумилева худым и физически неразвитым (без «элементарной спортивной тренировки») молодым человеком, который носил сшитый не по росту плащ полувоенного вида, надевал под потертый пиджак выцветшую штормовку. Обут он был в стоптанные кирзовые сапоги. Головной убор – «черный картуз с надломленным козырьком», поверх этого картуза, который будет служить Гумилеву еще не один год, он надевал накомарник. Зато восемнадцатилетний Лев был живым, общительным, воспитанным, образованным, начитанным (особенно в русской литературе) юношей. В поезде он охотно рассказывал Анне о своем детстве в Бежецке, о бабушке, читал стихи своего отца, благо Дашкова, дочь офицера, с детства знала о Николае Гумилеве. В экспедиционном лагере, на привале или у вечернего костра Гумилев тоже любил поговорить. Вечером вокруг Гумилева собирались «все, кто не оставался в палатке». Кажется, тогда впервые у Гумилева проявился дар рассказчика: «Фантазия, как-то особенно правдиво выдававшаяся им за быль,

была необыкновенно привлекательной и временами таинственной». Наблюдение, вне всякого сомнения, точное и чрезвычайно примечательное.

При этом Гумилев уже тогда любил и умел спорить, а собственную точку зрения защищал, как хороший солдат – выгодную позицию.

Тяготы жизни в палатке не пугали молодого Льва. Экспедиция уходила на несколько дней в горы, где питаться приходилось консервами, и Дашкова вспоминала, как Гумилев, доставая очередную банку опостылевших шпрот, весело предлагал: «Вскроем гадов!». Зато в базовом лагере на берегу Байкала питались знаменитым омулем, вкус которого не может забыть всякий, кто его хоть раз в жизни попробовал.

Бесстрашие соединялось в молодом Льве с упорством и своеволием. Презрев инструкции по технике безопасности, он один переходил вброд холодные и бурные горные реки. Всякий раз товарищи отправлялись вниз по течению – «ловить Льва», но Гумилев самостоятельно выбирался на берег. Такое же бесстрашие он проявил, когда в одиночку нашел очаг лесного пожара и попытался его потушить. Неизвестно, чем бы это для него закончилось, если бы внезапный ливень не спас его вместе с горящей тайгой.

Работать на Хамар-Дабане можно только летом. Первые заморозки там случаются в конце августа, а в сентябре в горах уже выпадает снег, в октябре устанавливается прочный снежный покров. В 1931 году Прибайкальская экспедиция завершила свою работу, очевидно, уже в первых числах августа, и Лев с Анной вернулись в Ленинград, где продолжали встречаться по крайней мере до второй половины 1933 года.

Датировать возвращение Гумилева началом августа позволяет письмо японскому филологу Кандзо Наруми. Гумилев написал его 18 августа 1931 года и отправил из Детского (Царского) Села в Ленинград. Ахматова познакомилась с Наруми только 19 июня 1931 года, а Гумилев – уже после своего возвращения, то есть в первой половине августа 1931-го. В Ленинграде Гумилев поселился у Льва Аренса, брата первой жены Николая Пунина, но бывал и у матери на Фонтанке, где, очевидно, и состоялся его разговор с Кандзо Наруми. Вскоре Гумилев уехал в Детское Село к знакомым Констанции Фридольфовны Лампе, племянницы его бабушки, Анны Ивановны. Лев, кажется, старался использовать всякую возможность уйти из «гостеприимного» Фонтанного дома. Позднее из-за ссор с Пуниным Гумилев иногда ночевал у Станюковичей, соседей по дому 34 на Фонтанке.

Прибайкальская экспедиция оказалась не только первой, но и самой восточной в его жизни. Дальше – в Забайкалье и Монголию – ему не удастся проникнуть, так уж сложится его жизнь. Зато опыт, приобретенный на берегах Байкала и склонах Хамар Дабана, поможет ему и позднее: в Таджикистане, в Крыму, на Дону, Ангаре, Тереке – повсюду, где Гумилев будет трудиться с геологами или археологами.

Начиная с 1931 года, Гумилев будет отправляться в экспедиции практически каждое лето. Академик С.В.Калесник насчитает в карьере Гумилева двадцать один экспедиционный сезон.

Вот список этих экспедиций:

1931 – Прибайкальская геологоразведочная;

1932 – Таджикская комплексная;

1933 – Крымская геологическая (экспедиция четвертичной комиссии Геологического института АН СССР) и в этом же сезоне экспедиция Симферопольского музея (раскопки пещеры Чекура);

1935 – Манычская археологическая;

1936 – Саркельская археологическая; 1943 – Хантайская геофизическая;

1943-1944 – два сезона Нижнетунгусской геологоразведочной; 1946-1947 – два сезона Юго-Подольской археологической экспедиции;

1948 – Горноалтайская археологическая;

1949 – Волгодонская (Саркельская) археологическая; 1957 – Ангарская археологическая;

1959-1963 – пять сезонов Астраханской археологической экспедиции;

1964 – экспедиция под руководством почвоведа Александра Гавриловича Гаеля на реку Арчеда (низовья Дона); 1967 – Кавказская этноархеологическая.

Прибайкальская экспедиция, курсы коллекторов и опыт работы в геологоразведочных партиях спасут Гумилева от гибели на общих работах в Норильском лагере, обеспечив сравнительно безопасное место геотехника. Но и этим не исчерпываются выгоды от, в общем-то, вынужденной работы геологом. Даже поверхностное знакомство с естествознанием повлияет на мировоззрение ученого. Создавая свою пассионарную теорию этногенеза, он будет ориентироваться на естественные науки, а этнологию попытается превратить в отрасль естествознания.

Сейчас, зная биографию Гумилева, почти что выучив наизусть его книги, я не могу не задуматься над странными поворотами его судьбы. Как будто чья-то воля вела его.

ТАДЖИКИСТАН

Вторая экспедиция Льва Гумилева, самая длительная (будто бы 11 месяцев) в его жизни и самая южная – таджикская. В списке экспедиций Льва Гумилева, составленном им самим, она почему-то не упомянута. Более того, Гумилев пишет, что в 1932 году участвовал в Крымской археологической экспедиции. В то же время в своих интервью он не раз рассказывал именно о своей работе в Таджикистане, а участие в Крымской экспедиции относил к 1933 году. В автобиографии, написанной Гумилевым в октябре 1956 года, когда его принимали на работу в Государственный Эрмитаж, экспедиция в Таджикистан упомянута раньше Крымской.

В списке Гумилева – только археологические экспедиции (две Крымские, Манычская и Саркельская). Гумилев не включил в список не только таджикскую, но и экспедицию на Хамар-Дабан. Очевидно, он указывал только профильные для историка археологические экспедиции. Участие в Крымской экспедиции 1932 года отдает сюжетом «1001 ночи». Получается, Гумилев, как сказочный джинн, был сразу и в Таджикистане, и в Крыму. Вероятно, эта запись в личном деле – всего лишь приписка, невинный подлог. Гумилеву было жалко не записать в свой актив такой замечательный экспедиционный сезон, но раскопками в Таджикистане он не занимался, потому и поменял Таджикистан на Крым.

Таджикскую экспедицию Гумилев упоминал часто, хотя и рассказывал о ней немного. Биографы Гумилева обычно ограничивались пересказом его интервью 1987 года: «…меня устроили в экспедицию в Таджикистан. Но дело в том, что мой новый начальник экспедиции – очень жесткий латыш – занимался гельминтологией, т. е. из животов лягушек извлекал глистов. Мне это мало нравилось, это было не в моем вкусе, а самое главное – я провинился тем, что, ловя лягушек (это была моя обязанность), я пощадил жабу, которая произвела на меня исключительно хорошее впечатление, и не принес ее на растерзание. За это был выгнан из экспедиции, но устроился там малярийным разведчиком и целых 11 месяцев жил в Таджикистане, изучая таджикский язык. Научился я говорить там довольно бодро, бегло, это мне принесло потом большую пользу».[4]

Гумилев провел в Таджикистане почти весь 1932 год. Как ни странно, биографы, если не считать Ольгу Новикову, даже не попытались вычислить, в какой области он работал, ведь Таджикистан исключительно разнообразен. Равнинный

Шахристан не походит на высокогорья Памира, климат богатой Гиссарской долины отличается от климата горных пастбищ Дарваза.

Гумилев приблизительно назвал район своей экспедиции: «Автору открылись… ущелья по Вахшу[5] и таджикские кишлаки, где люди говорили на языке Фирдоуси».

В благословенную эпоху Саманидов (IX–X века) долина Вах ша была еще землей цветущей, ее воспевал великий Рудаки, поэт, которого таджики и персы ставят намного выше любимого европейцами Хайяма. К XX веку от былого процветания остались одни воспоминания. Во всем южном Таджикистане, в долинах Вахша, Пянджа и Кафирнигана, было всего четыре города: Кабадиан, Курган-Тюбе, Бауманабад (бывший Сарай-Комар) и Куляб. Но и эти города походили на большие кишлаки. Русские путешественники, пишет Павел Лукницкий, их от кишлаков и не отличали.

Низовья Вахша и Пянджа поросли тростником и густым кустарником, где водились фазаны, дикие утки, камышовые коты. До прихода русских в изобилии встречались кабаны, мусульмане на них, по понятным причинам, не охотились. Обитал там и туранский тигр, теперь вымерший.

Летом в этих местах почти не бывает дождей, за пределами поймы Вахша начинаются пустыни, предгорья тоже почти безводны, в немногочисленных источниках и ручьях вода солона и горька, на склонах гор лишь коегде растут устойчивые к засухе фисташковые деревья. Поэтому земледелие возможно только поливное.

Во времена древней Бактрии здесь процветало земледелие, кормившее огромный благоустроенный город (теперь это городище Лагман), расположенный на берегу Вахша, неподалеку от нынешнего Курган-Тюбе. Город опоясывали шестиметровые стены с башнями и многочисленными воротами. Его жители некогда наслаждались всеми плодами древней цивилизации, от каменных домов с обложенными кирпичом колодцами до настоящего трубопровода. Но хозяйство Вахшской долины пришло в упадок еще в Средние века. Поливное земледелие рано или поздно приводит к засолению и заболачиванию почв. Лагман повторил судьбу городов древней Месопотамии.

Правда, старинные каналы еще кормили население, состоявшее из узбеков, таджиков, туркмен, киргизов, цыган. В трех кишлаках жили даже арабы. Преобладали, разумеется, таджики и узбеки. Но в двадцатые годы земли начали пустеть. Поля на склонах гор зарастали сорными травами, пастбища были пустынны, ирригационные сооружения разрушены. Согласно

переписи 1926 года, население долины Вахша едва достигало 11 500 жителей.[6]

У советской власти на долину Вахша были большие планы. Сухие тропики южного Таджикистана подходят для ценного длинноволокнистого хлопчатника, который необходим не столько текстильной, сколько военной промышленности: из него делают бездымный порох, взрывчатку, парашютную ткань.

С 1927 года в долине Вахша начались эксперименты по акклиматизации ценных египетских сортов хлопка. Десять кустов хлопчатника погибли, еще семь съел осел, но семнадцать кустов выжили и принесли небольшой урожай. Это решило судьбу долины Вахша, судьбу населения Дарваза и отрогов Гиссара, судьбу пойменных лесов нижнего Вахша и Пянджа, судьбу туран ского тигра наконец.

В 1931 году начался Вахшстрой – расчистка старых и строительство новых каналов, которые должны были обеспечить водой громадные поля хлопчатника. Это была одна из знаменитых строек первой пятилетки. Она описана в известном в свое время романе Бруно Ясенского «Человек меняет кожу».

Таджиков стали переселять с гор, объединять в колхозы и совхозы и заставлять вместо риса возделывать хлопок. Леса и кустарники в пойме Вахша и Пянджа свели, чтобы расширить посевные площади. Тигры, лишившись кормовой базы, вымерли, не спас их и открытый в 1938 году заповедник «Тигровая балка». Для борьбы с малярией открывали специальные малярийные станции, на одной из них и работал молодой Лев Гумилев.

Как вообще Гумилев попал в Таджикистан? Если выбор места и профиля его первой экспедиции был скорее всего случайным, то здесь дело обстоит гораздо интереснее. Еще Лавров предположил, что заинтересовать Льва рассказами о Таджикистане мог Павел Лукницкий. Он уже дважды побывал на Памире и описал свои впечатления в повести «У подножия смерти», напечатанной в 1931 году. На самом деле роль Лукницкого здесь намного значительнее. Павел Николаевич был ни много ни мало ученым секретарем Таджикской комплексной экспедиции 1932 года. Само по себе это звучит невероятно.

Таджикская комплексная экспедиция была организована по решению Совнаркома и президиума Академии наук. Руководил подготовкой к экспедиции научный совет под председательством академика А.Е.Ферсмана. В совет входили ученые с мировым именем, среди них, например, Николай Иванович Вавилов. Паразитологическую группу, в которую попадет Гумилев, возглавлял Евгений Никанорович Павловский, будущий академик, будущий президент Географического общества СССР,

основатель тропического института в Таджикистане.

Руководил экспедицией Николай Петрович Горбунов, личный секретарь Ленина, бывший управляющий делами Совнаркома и ректор Бауманского училища. С 1935 года и до ареста в феврале 1938 Горбунов, уже академик, будет ученым секретарем Академии наук СССР.

По данным Павла Николаевича Лукницкого, в экспедиции участвовало семьсот человек (в том числе 97 научных работников). Экспедиция делилась на семьдесят два отряда (геологические, геохимические, метеорологические, гидроэнергетические, ботанические, зоологические, паразитологические, сейсмологические, этнографические). Для работы экспедиции по всей территории Таджикистана потребовалось организовать множество опорных баз, заготовить продовольствие для сотрудников, фураж для лошадей. В ее распоряжении были радиостанции, самолеты, автомобили.

Ученым секретарем экспедиции такого уровня должен был стать по крайней мере кандидат, а лучше – доктор наук. Тридцатилетний поэт и прозаик Павел Лукницкий, выпускник литературно-художественного отделения факультета общественных наук ЛГУ, на такую должность теоретически претендовать не мог. Правда, он был уже опытным путешественником, альпинистом, участником экспедиций по Крыму, Кавказу, Туркмении, Памиру, но ни его статус, ни квалификация все же не соответствовали должности ученого секретаря. Да и его участие в совсем «не профильных» для поэта геологических экспедициях на Памир (1930, 1931) заставляет задуматься. Остается предположить, что Павел Николаевич, помимо обязанностей ученого секретаря, действительно выполнял какую-то другую, более важную в глазах руководства ОГПУ работу. Именно Лукницкий пристроил Гумилева в таджикскую экспедицию.

В.А.Черных, биограф Ахматовой, отмечает, что в апреле 1932 го Ахматова писала Харджиеву: «От Левы нет вестей: он не ответил никому из нас – не знаю, что думать». Значит, Гумилева уже не было в Ленинграде достаточно долго, вероятно, несколько недель. Потом, возможно, известия о нем появлялись и вновь исчезали, потому что в первых числах февраля 1933-го Ахматова вновь будет жаловаться Харджиеву, что «от Левы нет вестей». Между тем известно, что Гумилев из Таджикистана поехал сразу же в Ленинград, где до марта 1933-го работал коллектором ЦНИГРИ. Значит, вернулся он только в феврале 1933-го, но не в первых числах.

Если Гумилев и в самом деле провел в Таджикистане

одиннадцать месяцев, то началом его экспедиции следует считать март 1932-го.

Путь для исследователей Средней Азии тогда чаще всего начинался ташкентским поездом. От Ташкента уже по местной железной дороге добирались до Андижана и далее до Оша. Здесь железная дорога заканчивалась. Путешественники пересаживались на автомобили, на лошадей или на верблюдов, которые по прежнему оставались основным транспортным средством. В те времена по Таджикистану еще ходили караваны в двести-четыреста, а то и в тысячу верблюдов.

Ранняя весна – лучшее время года в Средней Азии. Цветут акация, абрикосовое дерево и миндаль. Прохладная вода арыков омывает корни огромных тополей, вдалеке видны очертания снежных гор.

Итак, до Оша Лукницкий и Гумилев ехали вместе. Более того, Лукницкий скорее всего уговаривал Льва поехать с ним на Памир. Но горы Гумилева никогда не привлекали, поэтому дороги Льва и его покровителя разошлись. Лукницкий поехал на Памир, а Гумилев через город Сталинабад (бывший кишлак Дюшамбе) отправился на юго-запад. В автомобиле? Вряд ли простому лаборанту оказали такую честь; вероятнее, на верблюде.

Много лет спустя в лекции об этногенезе арабов Гумилев будет рассказывать о влиянии аллюров верблюда на развитие арабской поэзии: «Когда арабы ездили на верблюдах, нужно было бормотать ритмично, чтобы не растрясло. У нас в России пять размеров: ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий… А у арабов – двадцать семь. <…> Араб едет по пустыне и бормочет – свое: "Я ви-и-жу не-е-бо, я-я е-ду на ве-е-рб-лю-ю-де…"»

Для столь натуралистического описания необходим личный опыт, до таджикской экспедиции его было приобрести негде, но и после нее Гумилев практически не бывал в местах, где встречаются верблюды. Правда, он сидел в лагерях Казахстана, но вряд ли лагерное начальство позволяло зэкам разъезжать на верблюдах.

На Вахш Гумилев попал не сразу. Некоторое время он провел в Гиссарской долине, где, как помнит читатель, ему и пришлось послужить науке лаборантом-гельминтологом.

Мы не знаем, как долго Гумилев резал лягушек. В любом случае нам интереснее результат. Гумилев, всегда любивший идти наперекор обстоятельствам, то ли из экспедиции бежал, а потому и был отчислен, то ли сначала был отчислен за нарушение трудовой дисциплины и неисполнение возложенных на него обязанностей, а потом ушел подальше от бывшего места работы.

Гумилев покидать Таджикистан не собирался, он лишь каким-то образом (вероятно, присоединившись к одному из караванов) перебрался в долину Вахша. Но в долине Вахша тогда был только один совхоз – «Вахш», а из интервью Гумилева известно, что он устроился малярийным разведчиком в совхоз «Дангара». Название «Дангара» носит и прилегающий к селению район. Дангара расположена на полпути от долины Вахша к Дарвазу, предгорьям Памира. Каждый год на зимовку в Дангару пригоняли скот из Дарваза и высокогорного Каратегина. Занимались и земледелием. А в 1932 году там уже размещался большой и богатый Дангаринский совхоз, где и работал Гумилев.

Дангаринский совхоз относился к числу образцово-показательных. Он располагал несколькими тысячами гектаров плодородных земель, большим тракторным парком и немалыми средствами. В совхозе трудилось более шестисот русских, что, впрочем, не было редкостью для южного Таджикистана. В 1932 году в тех краях было много русских, украинцев, встречались даже осетины. Все это были беженцы, спасавшиеся от голодной смерти, а в Таджикистане всем находились работа и кусок хлеба. Советская власть вкладывала в развитие отсталой республики огромные средства, рабочих рук не хватало, а местное ОГПУ не могло уследить даже за местной «контрой». Таджикистан, как редиска, был красным лишь снаружи. Дьяконов описывает, как один русский студент, прибывший в Курган-Тюбе на практику, не застал заведующего районо, потому что тот ушел в мечеть молиться.

Наемным работникам платили, по советским меркам, неплохо. Жилось им тяжело, но, по крайней мере, здесь не было голода. Тем не менее русские все чаще вслед за таджиками уходили в Афганистан. Более того, если верить свидетельству Александра Рудольфовича Трушновича, бывшего корниловца и будущего власовца, русские встречались даже среди басмачей.

Намного опаснее ОГПУ была малярия. Лечили ее плохо, лекарств не хватало. Дефицитным хинином пользовали только са мых ценных, с точки зрения советской власти, людей: рабочих, военных и хлопкоробов. Лекарство принимали в присутствии врача, чтобы больной не мог унести его домой и отдать больной жене или ребенку. На процветающем черном рынке хинин стоил бешеных денег.

Гумилев был рядовым в бесконечной войне против малярии: «Работа заключалась в том, что я находил болотца, где выводились комары, наносил их на план и затем отравлял воду "парижской зеленью". Количество комаров при этом несколько уменьшалось, но уцелевших вполне хватило, чтобы заразить

малярией не только меня, но и все население района».

Борьба против заразной болезни не была напрасной. Правда, малярию в Таджикистане победит не парижская зелень (очень токсичный порошок, не растворяющийся в воде), а рыбка гамбузия, которая будет так эффективно уничтожать личинок малярийного комара, что уже в пятидесятые годы болезнь, прежде распространенная повсеместно, станет редкостью. Возродится малярия уже в независимом Таджикистане.

Судя по оговорке, переболел малярией и сам Гумилев. Болезнь, скучная и опасная работа, да и сама жизнь в чужой стране, в непривычном климате, среди чужих людей кого угодно на долгие годы оттолкнули бы от Востока. Но Гумилеву жизнь в южном Таджикистане очень понравилась. Позднее он будет завидовать Анне Дашковой, которая попала в Таджикистан год спустя: «Счастливая! А моя дорога проходит по крымским сопкам, похожим на бородавки, и на которых скучно, как на уроке политграмоты».

Вдумайтесь, это Гумилев пишет из благодатного Крыма! Там ему хуже, чем в знойном, малярийном Таджикистане начала тридцатых, с его грязными кишлаками, глиняными лачугами, крытыми камышом, с клещами, скорпионами, ядовитыми пауками, с тифом и лихорадкой наконец. Но Гумилеву пришлись по душе и страна, и, что самое главное, народ. Гумилев выучил таджикский не по учебникам (их у него не было), а в непосредственном общении с дехканами. «Знаете, я там… ходил босой, в белом халате и чалме, разговаривал на плохом таджикском языке, который тут же и выучивал, и никто никогда меня не обидел», — вспоминал Гумилев много лет спустя.

В шестидесятые годы Гумилев выдвинет гипотезу о положительной и отрицательной комплиментарности – бессознательной симпатии/антипатии народов друг к другу. Эта комплиментарность и предопределяет, будут ли народы жить мирно или начнут друг друга истреблять. Сам Гумилев был живым подтверждением собственной гипотезы. У него, несомненно, была положительная комплиментарность к таджикам, узбекам, киргизам – да едва ли не ко всем народам Средней Азии. А комплиментарность всегда взаимна. Там, на берегах Вахша, отчасти определятся и будущие научные интересы Гумилева. Правда, кочевников он всегда будет предпочитать земледельцам, зато из всех восточных языков, которыми пытался овладеть Гумилев, именно таджикский (новоперсидский) он освоит лучше всего.

В МОСКВЕ

Из письма Михаила Булгакова Викентию Вересаеву 6 марта 1934 года: «Замечательный дом, клянусь! Писатели живут и сверху, и снизу, и сзади, и спереди, и сбоку. <…> Правда, у нас прохладно, в уборной что-то не ладится и течет на пол из бака, и, наверное, будут еще какие-нибудь неполадки, но все же я счастлив. Лишь бы только стоял дом».

В 1933 году на одного москвича приходилось в среднем 4,15 квадратного метра жилой площади, включая и малопригодную для жизни: сырые подвалы, бараки, перенаселенные коммуналки. Даже известные писатели, за редким исключением, находились в этих стесненных условиях. Аркадий Гайдар, книги которого выходили огромными тиражами, жил со своей семьей из пяти человек в одной комнате. А ведь писателю на так называемой жилплощади приходилось еще и работать. В июле 1933 года постановлением ЦИК и СНК СССР члены Союза писателей приравнивались в жилищных правах к научным работникам, им предоставлялись льготы. Пока это постановление не давало результатов, писатели вынуждены были искать «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», полагаясь только на собственную смекалку. Андрей Платонов убрал ванну из ванной комнаты и сделал кабинет. Геннадий Гор, садясь за письменный стол, брал палку в левую руку и отгонял мешавших ему детей, а правой пытался писать.

Можно понять радость Булгакова: в феврале 1934 года ему удалось купить квартиру в одном из первых в Москве кооперативных домов. На полгода раньше в том же доме (Нащокинский переулок, 5, кв. 26) поселились Мандельштамы, Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна. «Мы въехали в квартиру в начале августа и постепенно обживались, привыкая к непрерывному пению воды из уборной и к виду с пятого этажа на огромную и еще низкорослую Москву». После долгих скитаний у Мандельштамов появилась собственная квартира в Москве. Мебели почти не было.

Квартира тиха, как бумага,
Пустая без всяких затей.

Пружинный матрац, покрытый пледом, заменял тахту. На самодельных некрашеных полках Осип Эмильевич разместил книги: Петрарка и Данте на итальянском, томик Батюшкова,

много раз перечитанный, без обложки, «Жемчуга» Николая Гумилева…

Воспоминания Надежды Яковлевны об этих днях: «Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года… За стеной – гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам – запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером – толпа гостей, из которых половина подослана».

Половина гостей – стукачи? Возможно ли это? Скорее всего, Надежда Яковлевна сгущает краски и привносит в свои воспоминания более позднюю оценку событий. Зимой и осенью 1933-1934-го в квартире Мандельштамов собирались свои. Скажем осторожнее: по преимуществу свои. Гостили отец и брат Осипа Эмильевича. Приехала из Киева мать Надежды Яковлевны. Некоторое время жил вернувшийся из ссылки поэт Владимир Пяст. Приходили Владимир Нарбут и Михаил Зенкевич, старые товарищи по «Цеху поэтов», и Сергей Клычков, сосед по дому, тоже поэт. Приезжала из Ленинграда Ахматова. Почти всю зиму в Нащокинском прожил Лев Гумилев: то у Мандельштамов, то у Ардовых или Клычковых. Ахматова очень любила разговаривать с Мандельштамом: «О стихах говорил ослепительно, пристрастно, и иногда бывал чудовищно несправедлив. <…> Он хорошо знал и помнил чужие стихи, часто влюблялся в отдельные строчки». «С детским увлечением они читали вслух по-итальянски "Божественную комедию". Вернее, не читали, а как бы разыгрывали в лицах, и Анна Андреевна стеснялась невольно вырвавшегося у нее восторга. Странно было видеть ее в очках. Она стояла с книгой в руках перед сидящим Осипом. "Ну, теперь – вы". — "А теперь вы", — подсказывали они друг другу», — вспоминала Эмма Герштейн.

Повышенное интеллектуальное напряжение этого дома молодого Льва Гумилева не только не смущало, оно ему было необходимо. Дети известных людей всегда вызывают повышенный интерес, который нередко сменяется разочарованием. С молодым Львом Гумилевым было иначе. Он сравнение выдерживал.

Надежда Мандельштам: «Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец; где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем бродильную силу и понимали, что он обречен».

Эмма Герштейн: «Я поверила в ум и духовность Левы независимо от сравнения с его знаменитыми родителями. Я ощущала его наследником русских выдающихся умов, а не только папы и мамы».

Сергей Клычков: «Поэта из Левы не выйдет, но профессором он будет».

Осип Эмильевич и Лев подружились, несмотря на разницу лет и характеров. Мандельштам всегда тянулся к молодым, хотел, чтобы они знали его стихи, в том числе и опасные стихи о Сталине: «Это комсомольцы будут петь на улицах! — неосторожно мечтал Мандельштам. — В Большом театре… На съездах… Со всех ярусов…» Возможно, и «Московский комсомолец», где он работал с осени 1929-го по февраль 1930-го, появился в его жизни не случайно. Конечно, других газет, кроме советских, не было. Надежда Яковлевна писала для газеты «За коммунистическое просвещение». Эмма Герштейн – для «Крестьянской газеты». Сорокалетний Мандельштам выбрал молодежную газету.

С Левой у Мандельштама сложились совершенно особенные отношения. В 1928 году Мандельштам из Крыма писал Ахматовой: «Знайте, я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми: с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется». В Гумилевемладшем Мандельштам видел продолжение Николая Степановича. Называл Леву: «мой дорогой мальчик».

Они много времени проводили вместе и даже влюбились в одну женщину, двадцатипятилетнюю Марию Петровых. «Как это интересно! У меня было такое с Колей», — восклицал Мандельштам.[7]

Ахматова вспоминала, как зимой 1933-1934-го Мандельштам был «бурно, коротко и безответно» влюблен в Марию Сергеевну Петровых. «Мастерицу виноватых взоров…», обращенную к Петровых, Ахматова считала лучшим любовным стихотворением двадцатого века. Лев тоже был влюблен в Марию Петровых бурно и безответно. В этом «безответно» не было привкуса горечи. Январские дни 1934-го были для Льва если не счастливыми, то вполне беззаботными. Старый Новый год Лев встретил у Марии Петровых в Гранатном переулке. Танцевали модные тогда фокстроты. Было весело. Если Мандельштаму казалось, что истории его соперничества с Гумилевыми, старшим и младшим, похожи, значит, так он чувствовал. Со стороны кажется иначе. Всё другое: время, место действия, характеры и возраст героев. Похож только финал. Появился третий, и Мария Петровых вышла замуж за него, Виталия Головачева, музыковеда. Лев насмешливо называл Виталия «интеллигентом в пенсне».

Соперничество не поссорило друзей. Осип Эмильевич и Лев по-прежнему много времени проводили вместе. Отправлялись на Страстной бульвар к Евгению Хазину, брату Надежды Мандельштам, к Борису Кузину на Большую Якиманку, к Эмме

Герштейн на улицу Щипок. Между тем город менялся. Шла реконструкция Москвы. Она была неизбежна, но часто велась варварскими методами, к тому же совпала с гонениями на церковь. В 1932-м взорвали храм Христа Спасителя, «чей золотой громадный купол, ярко блестевший на солнце, можно было разглядеть, как золотую звезду над лесом, когда до Москвы еще оставалось верст шестьдесят». Уходил старомосковский быт. Исчезали дома и целые кварталы, «как будто их вырезали из тела города. <…> Пустота казалась мне противозаконной, противоестественной», — вспоминал Валентин Катаев. «Я… с ума сходила от бесформенности новых площадей», — негодовала Эмма Герштейн. Художник Александр Осмеркин «говорил насмешливо: "Харьков"».

Лев к этим переменам отнесся равнодушно: «Мало ли в России пустырей». Бывая в Москве чаще всего проездом из экспедиций, Гумилев не успел полюбить ее. Москва встречала и провожала его грязными многолюдными вокзалами, переполненными трамваями. Троллейбусы появились в Москве в 1933-м, метро откроют в 1935-м. В двадцатые-тридцатые годы основным средством передвижения в Москве оставался трамвай.

«— Схóдите? Схóдите? А впереди сходят? А та старушка у двери тоже сходит? Вы что, офонарели, гражданка? Вас спрашивают? <…> Нет, изящная словесность пасует перед таким фактом, как электрический трамвай. Тут какая-то особая, высшая теснота, образующаяся наперекор физическим законам. <…> Перемешались руки, гривенники, ноги, бидоны, животы, корзинки и головы… погибли очки (их сорвало и унесло трамвайным течением) <…> завтра пассажир учтет и это. Прикует очки к ушам собачьей цепочкой, наденет под брюки футбольные щитки…» – насмешничали Ильф и Петров.

В трамвае сталкивались москвичи и приезжие, рабочие и сов служащие, студенты и пенсионеры. Здесь можно было услышать новости, запомнить свежий анекдот. Страх еще не сковал столицу, вольные двадцатые только-только миновали, и трамвай служил чем-то вроде московского Гайд-парка.

Мандельштама и Гумилева влекло в гущу людей, они охотно ввязывались в трамвайные склоки, а потом с удовольствием рассказывали о победах. Оба тяжело переживали невозможность осуществить свое предназначение, просто высказаться свобод но. Словесные трамвайные баталии были для них выходом творческой энергии, пусть даже иллюзорным.

Читал ли Лев свои стихи Мандельштаму? Оказывается, да. Как-то Эмма Герштейн холодно отозвалась о новом стихотворении Гумилева, а «через несколько дней Надя

(Н.Я.Мандельштам. – С.Б.) упомянула в разговоре, что Ося (О.Э.Мандельштам. – С.Б.) весьма одобрил второй стих этого стихотворения:

Ой, как горек кубок горя,
Не люби меня, жена…»

Еще больше в читателе, слушателе нуждался сам Мандельштам. Прочитанные однажды Мандельштамом стихи о Сталине сыграют роковую роль в жизни Гумилева. Но это случится позднее.

Осенью 1933 года Гумилев искал и нашел в Москве литературную работу: «Сейчас я процветаю в столице и занимаюсь литературой, т. е. перевожу стихи с подстрочников нац. поэтов. По правде говоря, поэты эти о поэзии и представления не имеют, и я скольжу между Сциллой и Харибдой, то страшась отдалиться от оригинала, то ужасаясь безграмотности гениев Азии», — писал он Анне Дашковой.

Поездка в Таджикистан и увлечение восточной поэзией определили ориентальный стиль любовных писем: «Анжелика – солнце очей моих», «Светлая радость Анжелика», — обращался он к Дашковой.

В это же время у Мандельштамов возникла идея с помощью Эммы Герштейн (та служила тогда делопроизводителем в Центральном бюро научных работников при ВЦСПС) помочь Льву вступить в профсоюз, что укрепило бы его социальное положение. Несмотря на старания Эммы, эту затею тогда осуществить не удалось. От первой мимолетной встречи в памяти Эммы осталось воспоминание, моментальная фотография: «Молодой человек, рассеянный, независимый, с рюкзаком за плечами… спросил меня на прощание с инфантильной легкостью: "Хотите конфетку?" – и бросил на стол леденец. <…> Таков был сын казненного Гумилева в роли просителя».

Эмма заметила очень характерное, может быть, определяющее: независимость молодого Гумилева. И еще: роль просителя – не его роль. Зимой Лев и Эмма встретились в Нащокинском у Мандельштамов, не предполагая, каким длинным окажется их путь (они были знакомы почти шестьдесят лет). Эмма Григорьевна переживет Гумилева на десять лет, оставит мемуары и уйдет из жизни уже в двадцать первом веке.

Осенью 1933-го Эмма была пышноволосой тридцатилетней женщиной с печальным взглядом. В двадцать один год молодой человек не задумывается, как изменится его избранница лет через пятнадцать. Есть чувства интимные, непостижимые для

постороннего. Но были вполне очевидные мотивы для сближения. Эмма «потрясена зрелищем его жизни, в которой ему не было предусмотрено на земле никакого места» и очень хорошо его понимает. Домашняя, образованная, деликатная, она не сразу нашла свое место, в грубой советской жизни, долго оставалась безработной. Делопроизводитель в тресте «Утильсырье» – незавидная должность для молодой женщины с университетским дипломом, но и она Эмме не досталась: ее оттеснили активные комсомолки. Эмма вспоминала, как старалась избежать обязательного участия в ноябрьских демонстрациях. Льва тоже трудно представить в колонне комсомольцев. Оба не умели и не хотели идти в общем строю, не вписывались в эпоху, чувствовали враждебность окружающего мира. И это сближало.

Лев стал приходить к Эмме в гости на замоскворецкую улицу Щипок, где та жила в служебной квартире своего отца, известного хирурга, члена консультации профессоров при Кремлевской больнице. Казенная квартира помещалась «в большом одноэтажном особняке со стеклянной террасой, с отгороженным в больничном парке отдельным садом…». Постепенно особняк превращался в огромную коммуналку. Устроили общежитие для медсестер и санитаров. К ним потянулись родственники из деревень и заселили подвал и все закоулки здания. «На больничной усадьбе разместилась целая деревня». Но и после уплотнения Эмме удалось сохранить отдельную комнату. Лев после экспедиций и чужого для него дома Пуниных, может быть, впервые оценил роскошь уединения. Комната была скромной, но очень уютной. Окно с белой занавеской выходило в сад. Небольшая кафельная печь – в ней Эмма будет сжигать по требованию Ахматовой письма Льва и листочки с его стихами. Это случится после ареста Гумилева в 1938 году. А пока только февраль 1934 го. На полках книги: «Возмездие» Блока в издании «Алконоста» с пометками Мандельштама, «Закат Европы» Шпенглера, «Под сенью девушек в цвету» Пруста. На столе рукописи из литературной консультации Госиздата – Эмма брала их на отзыв для заработка. Однажды предложила подработать Льву, но он рукописи потерял. Лев Николаевич бывал необязателен во всем, что не касалось науки.

Эмма «с пятнадцати лет любила стихи Гумилева и чтила его память». С ней Лев мог говорить о своем неизбывном горе и о своей обиде на мать. Время не излечило, не ослабило обиды. Даже в старости Лев Николаевич с горечью признавался: «В ее жизни никогда не было, кроме Гумилева, мужчины, бретера, героя». А тогда, в 1934-м, у него с Эммой были долгие разговоры об отце и, наверное, очень откровенные: «Он ушел от меня только

утром. А в сердце у меня на многие годы осталась память о вырвавшихся у него как сокровенный вздох словах "мой папа"».

Это было воскресным мартовским утром, а днем раньше Гумилев показал Эмме повестку в ГПУ, которую ему переслали из Ленинграда. Лев уже успел с этой повесткой сходить на Лубянку и попросить отправить его в Ленинград, денег на билет у него не было. С Лубянки его, разумеется, прогнали. Вряд ли Эмма удивилась этому рассказу. Она уже не раз наблюдала вызывающее поведение Гумилева. Ему следовало быть осторожным, не ввязываться в конфликты, а Лубянку и вовсе обходить стороной.

10 декабря 1933 года Гумилева впервые арестовали. Это был первый из четырех арестов Гумилева, по видимости, случайный. Гумилева взяли на квартире востоковеда Василия Александровича Эбермана. Гумилев тогда решил заняться переводами с арабского. Переводил, разумеется, по подстрочнику, языка он не знал, а Василий Александрович был не только филологом-арабистом, учеником Игнатия Юлиановича Крачковского, переводчика Корана, знатоком арабской, персидской и русской литературы, но и поэтом. Эберман сочинял стихи о предмете своих научных исследований – арабском поэте VIII века.

Жену халифа в праздничной Медине
В торжественных и чувственных стихах
Воспел красавец-юноша Ваддах.
Она любовь дарит ему отныне…

Чекисты, собственно говоря, пришли именно за Эберманом, а заодно уж взяли и его гостя Гумилева, человека во всех отношениях подозрительного. «Не успели мы прочитать друг другу по стихотворению, — вспоминал Гумилев, — как в комнату вторглась толпа, схватила и нас, и хозяев квартиры – и всех увезли». В квартире Ахматовой раздался звонок из ГПУ: «Он у нас».

Всякому биографу Гумилева этот арест не может не показаться знаком судьбы, черной меткой, репетицией будущих несчастий, хотя в тот раз все обошлось – Гумилева продержали в тюрьме девять дней, но дела не завели и даже не допросили. Эберману пришлось хуже. В жизни поэта и арабиста это был уже второй арест. Впервые его взяли в июне 1930-го и отправили в ссылку, затем освободили и позволили даже вернуться к преподаванию. Теперь же Эбермана отправят в лагерь. Гумилева пока оставят в покое. Мартовская тревога окажется ложной – в ГПУ ему даже вернули вещи, изъятые при аресте. В апреле 1934-

го он писал Эмме: «…погода плохая, водка не пьяная… Если пожелаете, я могу скоро вернуться… мой приятель уехал в командировку в Сибирь на пять лет». Так они с Эммой начали осваивать язык иносказаний, столь необходимый для той эпохи.

«УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛ НАМ ЕНГЕЛЬС…»

В июне 1934 года сбылась мечта Гумилева: его допустили к вступительным экзаменам на только что восстановленный исторический факультет Ленинградского университета. Само по себе это было большой удачей, несколько лет работы в экспедициях помогли Гумилеву хоть немного исправить свою анкету.

В июне 1934-го Пунин с Ирочкой и Анной Евгеньевной уехали в Сочи и оставили Ахматовой паек, но у нее и Левы не было денег, чтобы этот паек выкупить. Ахматова и Гумилев голодали, не на что было купить и папиросы. У Льва от голода кружилась голова, поэтому один из экзаменов он даже сдал на тройку, но большого конкурса на истфак еще не было и тройка не помешала Гумилеву наконец-то стать студентом-историком.

С первых же лет советской власти историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета начали реформировать. Сначала превратили в историческое отделение громадного факультета общественных наук. Когда выяснилось, что таким монстром, как новый факультет, управлять нельзя, его разделили. В 1925 году историки оказались в составе ямфака (факультета языкознания и истории материальной культуры), но в 1929 году ликвидировали и ямфак, а на его руинах построили Ленинградский историко-лингвистический институт (ЛИЛИ), который уже через год стал Ленинградским институтом истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ).

Переименования не были формальностью. Реформы постепенно добивали старое университетское образование. Место неблагонадежных профессоров старой школы занимала красная профессура. В 1930 году отменили лекции, а не сумевших перестроиться профессоров стали увольнять «за превращение занятий в лекции».

Игорь Михайлович Дьяконов, начинавший учиться в ЛИФЛИ, оставил интересные воспоминания об этом учреждении. ЛИФЛИ размещался в здании на Университетской набережной, 11, где теперь филологический и восточный факультеты СПбГУ. Директор института как-то обратил внимание на два гипсовых бюста в вестибюле и спросил своего заместителя:

— Кто такие?

— Древние философы: Платон и Аристотель.

— Материалисты?

— Да нет…

— Убрать!

— А они на металлическом стержне.

— Разбить!

Бюсты греческих философов разбили.

Если этот эпизод смахивает на анекдот, то в реальность другого нельзя не поверить. Директор института Горловский читал курс истории Нового времени. Объясняя студентам выражение «богат как Крез», Горловский заметил, что оно происходит от «названия французской финансово-промышленной фирмы Шнейдер-Крезо». Отечественную историю читал какой-то «выдвиженец». Он часто ссылался на Энгельса, но называл его на свой манер – «Енгельс», а слово «индивидуализация» произносил как «индульзация». Студенты посвятили ему эпиграмму, которая начиналась так:

> Уж сколько раз твердил нам Енгельс
> Про индульзацию земли.

Вместо учебника предлагалась «Русская история в самом сжатом очерке» историкабольшевика М.Н.Покровского: «Фактов у Покровского не приводилось – они предполагались известными из Ключевского <…> Но книгу Ключевского нам запрещено было выдавать».

Многие студенты были под стать таким преподавателям. Один рабфаковец вместо карты Европы принес карту Африки, а изумленному преподавателю объяснил:

— А я взял, которая была почище.

К слову сказать, этот рабфаковец был лингвистом, а историки и лингвисты, если верить Дьяконову, «по умственному развитию» стояли гораздо выше философов. При этом студенты не всегда стремились как можно больше читать, как можно больше узнать, стать образованными людьми. В те годы поощрялась «ударная» учеба с досрочным (в три года) окончанием курса.

К 1934 году этих безобразий стало заметно меньше. Самые дремучие выдвиженцы лишились работы, на их места вернули опальных историков и филологов, получивших образование и ученую степень еще в царской России.

16 мая 1934 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) были восстановлены исторические факультеты в Московском и Ленинградском университетах. Историческое отделение ЛИФ ЛИ продолжало существовать параллельно с университетским истфаком до 1937 года.

СТАРАЯ ПРОФЕССУРА

Истфак был консервативнее и строже ЛИФЛИ, уровень преподавания здесь приближался к старому, дореволюционному. «Тогда на историческом факультете университета еще требовалось знание всеобщей истории», — с ностальгией будет вспоминать Гумилев полвека спустя. Специализация начиналась не с первого курса, сначала закладывались фундаментальные знания.

Свой первый экзамен в зимнюю сессию 1935 года Гумилев сдавал будущему директору Института этнографии Исааку Натановичу Винникову. Винников читал историю доклассового общества и справедливо считался одним из самых блестящих преподавателей на факультете. Находились студенты, которые слушали его курс дважды, — Винников никогда не повторялся.

Винников был не только этнографом, но и востоковедом-семитологом. Он читал арамейские надписи, изучал Талмуд. Гебраистике учился у академика Коковцева, известного востоковеда-семитолога, эксперта по делу Бейлиса, арабистике – у академика Крачковского. Игнатий Юлианович покровительствовал Винни кову до конца своих дней, и заступничество великого ученого очень пригодится Винникову в годы борьбы с космополитизмом.

Исаак Натанович напоминал карикатуру из антисемитского журнала – маленький, с огромными ушами, он к тому же «говорил с ужасающим акцентом, свойственным анекдотам из еврейской жизни», — вспоминал Игорь Дьяконов, оставивший нам колоритное описание винниковских лекций.

«Несмотря на все это он буквально завораживал своей своеобразной речью, ее неожиданными поворотами, сведениями из самых неожиданных областей, живостью жестикуляции (послевоенный арабист Сергей Певзнер позже говорил про него: "Кажется, взмахнет ушами и полетит"). Еще интереснее он был в разговоре; он обладал бездной познаний и был знатоком живой истории науки; ужасно жаль, что его не записывали на магнитофонную ленту.

— Тайлор! — восклицал он и делал паузу. — Я говорю "Тайлор"! Некоторые говорят "Тейлор", таки они не знают английского языка. Тайлор, что он выдвинул? Он выдвинул понятие пэрэжитка. Вы знаете, что такое пэрэжиток?

Тут он, стоя на эстраде актового зала, поворачивался спиной к слушателям и начинал медленно задирать край пиджака к пояснице.

— Вот что такое пэрэжиток! — восклицал он. — Вы знаете фрак? Так у фрака фалды, а на этом месте пуговицы. Почему на этом месте пуговицы? Вы думаете – ув чем сэкрэт, пришили тут пуговицы! Ув чем сэкрэт? Сэкрэт нэ ув этом. Джентльмены охотились на лисиц верхом, так фалды им мешали, они их туда пристегивали. — (*Жест.*) — Но теперь дирижер, он не охотится на лисиц, он стоит во фраке и машет палочкой. Вот это есть пэрэжиток».

Историю древнего Востока читал Василий Васильевич Струве, высокий, крупный, чрезмерно полный человек с рыжими усиками, из-за большой, рано поседевшей головы казавшийся несколько старше своих лет: в 1934-м ему было только сорок пять.

Струве до революции получил основательное образование: историю семитских народов изучал у Коковцева, а египтологию – у создателя советской школы Древнего Востока Бориса Александровича Тураева, затем стажировался в Берлине. Воспитанный в дворянской семье, он попытался приспособиться к новым условиям, и не без успеха. С 1918-го Струве работал в Эрмитаже, возглавлял отдел Египта. В начале тридцатых Струве сделал блестящую карьеру. Он не только ссылался в лекциях на Маркса и Энгельса, вообще-то слабо знавших историю Египта и Месопотамии, но и взялся развивать марксистское востоковедение. В 1933 году в Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК) Струве выступил с четырехчасовым докладом «Возникновение, развитие и упадок рабовладельческого общества на Древнем Востоке».

Доклад предопределил развитие советской науки (не только востоковедческой) на много лет вперед. Струве утверждал, будто на Древнем Востоке сложился рабовладельческий строй, подобный тому, что известен по истории Греции и Рима. Это не так легко доказать, ведь в Египте времен Древнего царства и в государствах Шумера рабов было мало, а население состояло в основном из крестьян-общинников, по меркам Древнего Востока – «свободных». Вопреки всеобщему убеждению, египетские пирамиды, например, возводили не рабы, а свободные, отрабатывавшие государственную трудовую повинность.

Но доклад Струве был основан на железной логике исторического материализма, что несколько лет спустя оценит И.В.Сталин в своем «Кратком курсе истории ВКП(б)». Сталин построит свою схему из пяти общественно-экономических формаций (первобытнообщинная – рабовладельческая – феодальная – капиталистическая – коммунистическая) именно на концепции Струве, на Струве, впрочем, не ссылаясь.

Уже в 1933 году оппоненты критиковали Струве не столько за

историческую концепцию, сколько за неточности его переводов, но после выхода в 1938-м «Краткого курса» надолго замолчали последние несогласные. В 1935 году Струве станет академиком, в 1937-м возглавит академический Институт этнографии, а с 1941-го – Институт востоковедения.

Читал он скучно, запинаясь, усыпая речь бесчисленными словами-паразитами: «к сожалению», «знаете ли», «вот видите». «Печально качая седовласой головой, как бы с упреком Хаммурапи и Ашшурбанипалу, он говорил об их жестокости по отношению к рабам…» – напишет о Струве Игорь Михайлович Дьяконов, трижды по необходимости прослушавший его курс лекций и возненавидевший учителя.

Зато Струве был человеком добрым, внимательным к студентам и, несмотря на карьеризм, не подлым. Когда арестуют профессора Ковалева, заведующего кафедрой истории древнего мира, и всех преподавателей заставят «отмежеваться» от «вредителя» и «врага народа», Струве публично откажется это сделать. Позднее он будет хлопотать и за Гумилева.

Сергей Иванович Ковалев читал античную историю. Он считался очень хорошим лектором, а по части политической надежности до своего ареста превосходил даже Струве. Ковалев не только заведовал кафедрой в университете, но и со времен Гражданской войны преподавал в Военно-политической академии, его анкету украшала служба в Красной армии и «революционная деятельность», из-за которой он был некогда отчислен из гимназии. Правда, в чем эта революционность заключалась, неизвестно.

Ковалев смотрел на историю Греции и Рима с марксистской точки зрения, а потому искал в ней только рабовладельческие черты. Трудно сказать, был ли он искренним, когда относил роскошную минойскую цивилизацию к первобытности, восстание Спартака считал прогрессивным, а падение Римской империи объяснял революцией рабов. Вряд ли: он слишком хорошо знал историю, чтобы верить в эту ахинею. Но логика формационного подхода диктовала свои условия, а Ковалев был недостаточно гибок, чтобы не грешить против истины и оставаться правоверным марксистом, отсюда и недостатки его курса. В схематизме его упрекали даже историки-марксисты.

И все-таки лекции Ковалева студенты любили. Некрасивый длинноносый профессор, с лицом в каких-то красных пятнах, умел заинтересовать студентов. История – наука частного и конкретного, ее прелесть в деталях, в живых подробностях минувших эпох, которые не всегда можно заключить в созданные социологами схемы. Ковалев же рассказывал больше не о

формациях, но о мудрости Сципиона, красноречии Цицерона, великодушии Цезаря, предусмотрительности Августа.

Экзамен по истории древней Греции Гумилев сдавал не Ковалеву, а Соломону Яковлевичу Лурье, который возглавит кафедру после ареста Сергея Ивановича. Сын могилевского врача, только в восемнадцать лет перебравшийся в Петербург, Лурье стал учеником известного антиковеда, филолога-классика, специалиста по греческой словесности Сергея Александровича Же белева. В 1922 году Лурье издал сначала в Петрограде, а затем в Берлине чрезвычайно интересную и оригинальную книгу – «Антисемитизм в древнем мире». Ученые монографию Лурье не признали, Элиас Бикерман, филолог-классик европейского уровня, написал на нее разгромную рецензию, но книга Лурье пережила свое время и в наши дни не утратила значения, тем более что ни одного серьезного исследования на эту тему в России с тех пор так и не появилось.

В тридцатые Лурье вел семинары, занимался греческой эпиграфикой, историей науки, издавал и комментировал Ксено фонта и Плутарха и не без оснований считался замечательным специалистом по древнегреческим источникам. Любопытно, что сын Соломона Лурье, Яков Соломонович, станет позднее одним из самых строгих критиков Гумилева.

Работал на кафедре и академик Жебелев, маленький и седовласый. Он не обращал внимания на изменившийся мир, годы Гражданской войны бесстрашно называл «лихолетьем» и хвалил запрещенного эмигранта Кондакова. (Никодим Павлович Кондаков, историк византийского и древнерусского искусства, был ученым с мировым именем.) В блокаду Жебелев умрет от голода.

Курс истории Средних веков читал Осип Львович Вайн штейн, он же заведовал кафедрой. Вообщето Вайнштейн начинал как историк Парижской коммуны, жил и работал в Одессе, а медиевистикой занялся лишь незадолго до своего назначения. Надо сказать, что изучение и преподавание истории в Одессе, равно как и в других украинских университетах (Киевском, Харьковском, Днепропетровском), находилось в столь плачевном состоянии, что в феврале 1935-го Наркомпрос Украины обратился к руководству ЛГУ с просьбой поделиться опытом, прислать учебные планы исторического факультета, программы и т. п. Можно представить чувства старых профессоров, когда к ним прибыл такой вот одесский «варяг».

Уровень ленинградских медиевистов был несравнимо выше. В университете еще преподавала Ольга Антоновна Добиаш-Рождественская, первая женщина – магистр и доктор истории,

защитившая диссертацию в Париже, до революции профессор Высших женских (Бестужевских) курсов. Она была редким специалистом по средневековым источникам, занималась латинской средневековой палеографией, разбирала рукопись Иоахима Флорского. Работал на кафедре и учитель Добиаш-Рождествен ской, профессор Бестужевских курсов Иван Михайлович Гревс.

Увы, оба они не считались людьми вполне советскими. Гревс хорошо читал лекции, еще лучше вел семинары, но он не был марксистом, а последние тридцать лет жизни занимался в основном средневековой культурой, то есть культурой религиозной, христианской. Нечего и говорить, что такой человек не должен был руководить кафедрой.

В отличие от Струве Вайнштейн не был щепетилен. В октябре 1937 года на заседании кафедры, проходившем под председательством Вайнштейна, разбирали «дело» профессора В.Н.Бенешевича, который совершил ужасное преступление: прокомментировал и опубликовал в фашистской Германии «Синагогу Божественных и Священных канонов» – сборник православного церковного права, составленный в VI веке византийским автором Иоанном Схоластиком. За Бенешевича попытался вступиться только Гревс, но «преступника» все равно осудили и уволили из университета за «антисоветское поведение», «несовместимое с работой среди советской молодежи». Вскоре опальный профессор будет арестован и расстрелян.

Курс истории СССР с древнейших времен до XVIII века читали Борис Дмитриевич Греков и Владимир Васильевич Мавродин. Греков – фигура в истории отечественной науки важнейшая. В апреле все того же 1933 года в Госакадемии истории материальной культуры (позже переименованной в Институт археологии), тогда главной площадке для дискуссий историков, Греков прочитал свой доклад «Рабство и феодализм в Древней Руси», где утверждал, будто в Киевской Руси утвердилась феодальная формация. Такой взгляд на историю Руси русским историкам XIX столетия показался бы страшной ересью. Древняя Русь столь разительно отличалась от средневековой Европы, что до начала XX века, когда появились работы Николая Павловича Павлова-Сильванского, кстати, тоже профессора Бестужевских курсов, феодализма на Руси вообще никто и не искал. Да и в XX веке до середины тридцатых годов историки, даже такие, как фанатик-коммунист Михаил Николаевич Покровский, говорили в лучшем случае об элементах феодализма или о «феодализации», но не о настоящем феодализме. Неудивительно, что доклад

встретили дружной критикой, так что Греков, человек резкий и убежденный в собственной правоте, вынужден был признать частичную правоту оппонентов. Но вскоре концепцию Грекова одобрили Сталин и Жданов.

Сталин, любивший единоначалие в науке, сделал Грекова историком Древней Руси № 1. В 1934-м Греков стал членом-корреспондентом Академии наук, а в 1935-м – уже академиком, в 1936-м – директором академического Института истории. С каждым годом у него становилось все меньше противников и все больше соратников, к последним примкнул и Мавродин, специалист по истории древнерусской государственности и этнической истории русского народа, будущий многолетний декан исторического факультета. Мавродин сыграет в судьбе Гумилева значительную роль, но это будет много лет спустя, а тогда, в середине тридцатых, он просто запомнил Гумилева как способного, талантливого студента. Что до учения о феодализме на Руси, то к концу тридцатых оно превратилось в догмат, который не подвергался сомнению вплоть до выхода в 1974 году монографии Игоря Фроянова «Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории».

В середине – второй половине тридцатых годов на кафедре истории СССР работал Михаил Дмитриевич Приселков, недавно вернувшийся из лагеря. Приселков читал факультативный курс истории русского летописания. К сожалению, Гумилева этот курс, видимо, не заинтересовал, иначе он мог бы многому научиться у лучшего тогда специалиста по древнерусским летописям. Быть может, учеба у Приселкова помогла бы Гумилеву избежать потом многих ошибок.

Но Гумилева больше занимали Центральная и Восточная Азия, а потому он избрал другие спецкурсы и других учителей.

Факультативный курс истории Китая читал Николай Васильевич Кюнер, востоковед дореволюционной школы. Кюнер с золотой медалью окончил факультет восточных языков, несколько лет стажировался в Японии, Китае, Корее, знал шестнадцать языков, включая тибетский, корейский, монгольский, китайский, японский, санскрит. Его магистерской диссертацией стала четырехтомная монография «Описание Тибета».

Кюнер отличался от большинства востоковедов широтой научных интересов. Помимо Тибета и Китая Кюнер изучал историю Японии, Кореи, Маньчжурии, Синьцзяна, Монголии, Тувы, был знатоком китайской классической литературы. Кюнер составлял словари географических названий Китая, Японии, Кореи и библиографические указатели по истории Тибета, Кореи,

Монголии, Якутии. Кюнер не ограничивался древней и средневековой историей, но изучал, например, современный ему Китай. В двадцатые его сочинения о Китае выходили ежегодно, их венцом стали «Очерки новейшей политической истории Китая», изданные в 1927-м.[8]

Но более всего в Кюнере Гумилева должен был привлечь интерес к географии и этнографии Центральной и Восточной Азии. Большая часть его курсов была так или иначе связана именно с этими науками. Названия его последних монографий говорят сами за себя: «Корейцы», «Японцы», «Тибетцы», «Маньчжуры», «Народы острова Тайвань». Такой убежденный сторонник географического детерминизма, как Гумилев, мог многое у Кюнера почерпнуть.

Гумилев называл Кюнера своим наставником и учителем. Ахматова в письме к Ворошилову от 10 ноября 1954 года ссылается на Кюнера и Артамонова[9] как на специалистов, которые могут подтвердить ценность научной деятельности ее сына. Более того, Кюнер помогал Гумилеву в заключении, посылал ему в лагерь книги, среди них было трехтомное «Собрания сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» иеромонаха Иоакинфа (Н.Я.Бичурина)». Для Гумилева, не знавшего китайского языка, тематическая подборка цитат из китайских манускриптов, составленная одним из первых русских востоковедов, станет ценнейшим источником. Кюнер же проверил и исправил переводы Бичурина, написал вводную статью, составил научный комментарий.

Когда Кюнера не станет, Ахматова напишет Гумилеву в лагерь: «Он так любил тебя, что плакал, когда узнал о постигшем тебя».

Своим наставником Гумилев называл и Александра Юрьевича Якубовского, исследователя Средней Азии, Персии и арабских стран, ученика самого академика В.В.Бартольда. Якубовский получил два высших образования, на историко-филологическом и восточном факультетах. Его самым известным курсом была «История Халифата», одной из лучших научных работ – статья «Арабские и персидские источники об уйгурском турфан ском княжестве в IX–X веках». Много лет спустя Гумилев будет охотно использовать историю арабов и Халифата для доказательства своей пассионарной теории этногенеза. О пророке Мухаммаде и борьбе религиозных партий Гумилев будет рассказывать уже в собственном курсе лекций, а Турфан и уйгуры станут одним из самых любимых сюжетов его «Степной трилогии». Кроме того, в 1937 году Якубовский в соавторстве с Грековым выпустит монографию о Золотой Орде, за которую несколько лет спустя

получит Сталинскую премию. Книгу эту Гумилев, конечно, читал, хотя вряд ли одобрил – он смотрел на историю Орды совсем иначе.

Лучшим лектором исторического факультета и самой яркой личностью среди тогдашних историков был Евгений Викторович Тарле, как раз вернувшийся из ссылки и вскоре (в 1937 году) восстановленный в звании академика. На лекции Тарле по европейской истории XIX века приходили студенты с других факультетов и даже из других вузов. Лекции многие не записывали, словам Тарле просто внимали, отложив в сторону конспекты и карандаши. В январе 1937-го Гумилев сдавал Евгению Викторовичу экзамен по новой истории и получил оценку «отлично». Уже после войны Гумилев даже похвастается таким учителем перед Исайей Берлином.

СТУДЕНТЫ

С первого же курса студентов разделили на пять академических групп: три мужских и две женских. В университете преподавали лучше, чем еще несколько лет назад в ЛИЛИ-ЛИФЛИ, многим студентам приходилось тяжело – даже отечественную историю надо было учить с нуля. Условия для занятий были неважными. Читальные залы размещались в обычных аудиториях, сосредоточиться мешал доносившийся из коридора шум. Некоторые лекции читали в актовом зале, где приходилось устанавливать столы и стулья, на это уходило все начало занятия.

В 1934-1936 годах учебников практически не было, к экзамену готовились по лекциям, которые еще несколько лет назад считались устаревшим и даже буржуазным методом преподавания. Конспекты передавали из рук в руки и зачитывали до дыр.

Издавались импровизированные учебные пособия. Еще в 1932 году в ЛИФЛИ появился курс лекций по истории Древнего Востока, подготовленный на основе конспектов двух студентов – Теодора Шумовского (будущего известного арабиста, переводчика Корана) и Михаила Черемных. Шумовский записывал медленно, а Черемных, рабочий парень, — быстро, но безграмотно. Ни редактора, ни корректора не нашлось, профессор Струве вчитываться в студенческие записи своих собственных лекций не стал, а потому учебное пособие, гордо названное «История Древнего Востока, курс лекций по конспекту Т.А.Шумовского и М.А.Черемных» представляло собой нечто ужасное. Замысловатые имена ассирийских и вавилонских правителей были напечатаны с ошибками, на каждую страницу приходилось десятка по два опечаток, вспоминал Дьяконов. Тем не менее курсом лекций, который прозвали «малым Струве», не один год пользовались студенты ЛИФЛИ и университета. К 1936-му по явился и курс лекций профессора Вайнштейна, изданный также в спешке. Но маленького тиража не хватало, в библиотеке за учебными пособиями стояла очередь.[10]

При некоторых кафедрах истфака появились и студенческие научные кружки, объединенные в феврале 1937-го в студенческое научное общество историков, которое даже издавало свой журнал, где печатались доклады и статьи студентов, в том числе – однокурсников Гумилева. Диапазон исследований был самым обширным, от академического антиковедения («Поэзия Феогнида Мегарского») до марксистской истории колониальных и

зависимых народов («Колониальная политика царизма в Казахстане»). Лев в работе этого общества, видимо, не участвовал, по крайней мере, ему лишь однажды, в январе 1938-го, предложили напечататься в журнале.

На первый взгляд Лев был счастливее своих сокурсников. Он несколько лет готовился к карьере историка, еще в Бежецке перечитал гимназические учебники, в его распоряжении была библиотека Пунина: «Оказалось, что у меня подготовка на уровне лучших студентов исторического факультета», — вспоминал Гумилев позднее. Греков, Лурье и Тарле ставили ему «отлично», Струве – «очень хорошо», Винников – просто «хорошо». В те времена оценки не завышали; чтобы получить хотя бы «удовлетворительно», студент истфака должен был много дней корпеть над книгами в библиотеке. Гумилев, помимо университетской, уже со студенческих лет стал прилежным читателем библиотеки Академии наук.

Осенью 1937-го Аксель Бекман представил юной Марии Зеленцовой Гумилева как лучшего студента исторического факультета. Гумилев обладал замечательной памятью, которую он еще усовершенствовал собственным методом запоминания. Вот как он разъяснял свой метод: «…обычно учат историю, как сушеные грибы на ниточку нанизывают, одну дату, другую – запомнить невозможно. Историю надо учить, как будто перед тобою ковер. В это время в Англии происходило то-то, в Германии – то-то… Тогда ты не перепутаешь, потому что будешь не запоминать, а понимать». Теорию Гумилев проверял практикой. Лев вместе с несколькими студентами садился за один из последних столов, подальше от лектора, и начинал такую игру: один участник называет год, другие должны рассказать, что в этом году произошло в Чехии, Франции, Мексике, Китае и т. д.

Впрочем, историю со второй половины XIX века Гумилев знал намного хуже. В его зачетке есть несколько троек: по новой истории 1830-1870, по истории СССР 1800-1914, по новой истории колониальных и зависимых стран. Возможно, политизированная и уже насквозь марксистская история XIX–XX веков вызывала у него отторжение, а возможно, дело в одной тайне, связанной с его университетскими годами. К этой тайне мы еще вернемся.

Несколько хуже обстояли дела с языками. В отличие от настоящих аристократов, вроде будущего многолетнего корреспондента Гумилева, известного евразийца Петра Савицкого, у Льва не было французских гувернанток и немецких бонн. На истфаке он сдавал экзамены по французскому и латыни. По латыни Гумилев дважды получил «отлично», хотя позднее, уже

в пятидесятые годы, жаловался Савицкому, что лишь «чуть-чуть» знает латынь. Впрочем, между его последним экзаменом по латыни и этим письмом – двадцать лет, два ареста, четыре лагеря и война. По французскому он успел получить «очень хорошо» и «удовлетворительно». Французскому он пытался учиться у матери, но дело не пошло из-за «антипедагогического таланта» Ахматовой: «Ей не хватало терпения. И большую часть урока она просто сердилась за забытые сыном французские слова. Текло время, наступало успокоение. И снова – ненадолго. Такие перепады настроений раздражали обоих». Тогда Гумилев записался в кружок французского языка, а с Ахматовой продолжал практиковаться в разговорном французском и в конце концов выучил этот язык достаточно хорошо.

Немецкий и английский Гумилев учил самостоятельно, давались они труднее, а восточным языкам тогда учили не на историческом, а на филологическом факультете и на лингвистическом отделении ЛИФЛИ. Традиции востоковедения в Ленинграде не прерывались, там можно было найти преподавателей персидского, монгольского, арабского и даже хауса и суахили. Но времени посещать занятия на другом факультете у Льва не хватало.

Одновременно изучать историю и языки могли немногие. Например, Игорю Дьяконову повезло, когда он, отучившись два курса на историческом отделении ЛИФЛИ, перешел на первый курс лингвистического, где и начал учить аккадский, древнееврейский и шумерский. Гумилев же доучился лишь до четвертого курса, причем за время учебы его успели и арестовать, и отчислить, и восстановить, и вновь арестовать.

Лингвистическим гением вроде Владимира Шилейко или востоковеда Агафангела Крымского Гумилев не был, от нормального же человека изучение языков требует долгих систематических занятий. Гумилев пытался языки учить: «Лева с наслаждением произносит тюркские словечки», — пишет Эмма Герштейн, — но далеко не продвинулся. Одно время пробовал учить даже японский, а своей преподавательнице Ольге Петровне Петровой-Коршуновой, еще довольно молодой даме, читал стихи Анненского, Гумилева, Ахматовой – все это к величайшему неудовольствию Эммы Герштейн.

Об отношениях Льва с однокурсниками известно мало. Среди своих друзей по истфаку Гумилев называет Василия Егорова и Михаила Резина, но об этой дружбе сведений практически не сохранилось. Одно время вместе с Гумилевым училась Маргарита Панфилова, которая в конце сороковых устроит встречу Гумилева с ректором ЛГУ А.А.Вознесенским. Другой сокурснице, Татьяне

Станюкович, внучке известного писателя, Гумилев записал в альбом небольшую поэму «Диспут о счастье» (набросок к будущей стихотворной трагедии «Смерть князя Джамуги»), или же она сама переписала у него эту поэму (оригинал не сохранился).

К весеннему семестру 1935 года Гумилев сближается с Игорем Поляковым и Аркадием Бориным. Лев был человеком общительным и открытым. С Бориным, например, он познакомился так: на занятии по французскому языку послал ему записку: «Мне ясно, что Вы вполне интеллигентный человек, и мне непонятно, почему мы с Вами не дружны». Арест 1933-го не научил его осторожности, поэтому с новыми знакомыми он не только гово рил о политике, но и приглашал домой на Фонтанку, где студенты-историки познакомились с Пуниным и Ахматовой. Именно эти студенты (сначала Борин, а затем и Поляков) в 1935 году дадут первые показания на Гумилева и Пунина.

Поступив на первый курс истфака, Гумилев испытал что-то вроде эйфории. Он с удовольствием учился, даже принимал участие в университетском субботнике, но уже полгода спустя все изменилось. 20 января 1935 года начинались студенческие каникулы. «Лева приехал в Москву – мрачный-мрачный. От первоначальной радости по поводу приема в университет не осталось и следа», — записывает Эмма Герштейн.

Гумилев вспоминал, что столкнулся с неприязнью окружающих именно в университете. В экспедициях к нему относились не хуже, чем к другим. Кто же преследовал Гумилева? Много лет спустя он утверждал, будто на экзаменах его не раз пытались завалить, чтобы был предлог убрать неудобного студента. Допустим, враги среди ученых у Гумилева появились уже тогда. Но не происхождением же могли его попрекать профессора? Университетское начальство? Но как раз с начальством у Гумилева отношения складывались неплохо. Ректор ЛГУ Михаил Семенович Лазуркин восстановит отчисленного Гумилева в университете. Позднее, уже после войны, новый ректор Александр Алексеевич Вознесенский поможет Гумилеву защитить диссертацию.

Не профессора́, не начальство, а именно товарищи-однокурсники из его академической группы не раз требовали исключить Гумилева из университета.

Классовый принцип при зачислении в университет еще действовал, сохранялись и характерные для времен борьбы со всяческими буржуазными «спецами» нравы, от которых страдали не только дети лишенцев, но и университетские преподаватели с «дурной наследственностью». Дьяконов вспоминает, что наглые студенты на консультациях изводили даже академика Струве,

спрашивая, не родственник ли он известному «оппортунисту» Петру Бернгардовичу Струве, который некогда назвал Владимира Ильича Ленина «думающей гильотиной». «Что вы, что вы, голубчик, даже не однофамилец», — будто бы отвечал перепуганный Василий Васильевич Струве.

Среди студентов было много недоучек с идеальными анкетами, развязных и самоуверенных. С каждым годом росла комсомольская ячейка. Сам Гумилев утверждал, что не давал повода к всеобщей неприязни, но, зная его характер, в это трудно поверить. Вряд ли Лев, не стеснявшийся вступать в самые ожесточенные споры даже с трамвайными пассажирами, в университете вел себя тихо.

В некоторых фрагментах его сказки «Посещение Асмодея», сочиненной уже в Норильском лагере, есть отзвуки тех студенческих лет:

Про вас ведь говорят на факультете:
«Скажи мне, Фарнабаз, ликиец молчаливый,
Зачем ты сердишь нас повадкою кичливой?» <…>
Ругающим тебя не кланяешься низко,
К собратьям и кружкам ты не подходишь близко.
<…>
Подвигнемся, друзья, ужели Фарнабазу
Дадим распространять зловредную заразу?
И нам ли потерпеть, друзья, чтобы меж нас
Ходил, смотрел, дышал какой-то Фарнабаз?

ДВОРЯНЕ И БОМБЫ

Летом 1933-го, вероятно, в июне или июле (август он проведет в Крыму) Лев Николаевич приехал в Слепнево посмотреть на фамильную усадьбу, где уже несколько лет как размещалась школа. Обстоятельства этого визита известны по воспоминаниям Анны Васильевны Паршиной, в девичестве Курочкиной, тогда – молодой крестьянки (двумя годами старше Льва Гумилева). «Пришел со стороны Хотени какой-то мужчина. Деревенские женщины и мужики сидели после покоса на завалинке. Он подошел, поздоровался, заговорил. Спросил: "Как живете?" Его узнали. Это был молодой барин – Лев. Ему ответили: "Хорошо живем!" Пригласили посидеть вместе, зайти в избу, попить молока. От этих предложений он отказался. Сказал: "Спасибо!" Его расспрашивали: "Кто он, откуда?" Но он не отвечал, заговаривал о другом. Во время разговора все время посматривал на усадьбу и вскоре ушел. Кто-то сказал: "Милиционера нет, надо бы взять его и доставить куда надо". Но этого не сделали. Так бывший барин уехал».

В этой истории крестьяне показали себя людьми вежливыми, лукавыми и коварными, а Лев Николаевич проявил редкую для себя выдержанность, дальновидность и осторожность. За барско крестьянской дипломатией скрывались враждебность и страх. Откуда же они взялись? Леве было в 1917 году пять лет, он даже теоретически не мог кого-либо «эксплуатировать». В 1933-м Гумилев был как раз своим, трудящимся, пусть и не деревенским, а городским. Но и в городе ему приходилось сталкиваться с враждебностью «пролетариев», «простых людей», на которую Гумилев отвечал с присущей ему горячностью. Назвать это «классовой борьбой» нельзя, ведь Гумилев (разнорабочий, коллектор, лаборант) в те годы был как раз самым настоящим пролетарием, наемным работником, к тому же низкооплачиваемым. Одевался он гораздо хуже питерских рабочих, а жил – «как все».

Гумилев носил в городе ту же одежду, что и в своих горных и степных экспедициях, но окружающих этим не шокировал. Правда, Эмме было неудобно, когда на пороге ее «приличной» квартиры появился такой оборванец, но милиция его на улицах не останавливала, а сокурсники хотя и пытались отчислить Льва, но никак не за дурную одежду или отталкивающий внешний вид. Внешне Гумилев не так уж от них и отличался.

Гардероб Гумилева не менялся годами. В июне 1934 года, по воспоминаниям Эммы Герштейн, он носил плащ и фуражку

(очевидно, картуз), уже порядком вылинявшую. Эти вещи сохранились, видимо, еще с экспедиции на Хамар-Дабан, только вместо штормовки Лев носил застиранную ковбойку. Зимой Лев надевал ватную «куртку», которую Эмма Герштейн называет «дурацкой»; судя по описаниям, это был простой ватник. Ватник Гумилева упоминает и Лидия Чуковская. На голове у него была странная меховая шапка, которая смахивала на женский капор. Из-за этой шапки какой-то пьяный прохожий однажды оскорбил Льва: «Да это ж не мужчина, а баба какая-то!»

Оборванец в залатанных брюках, в старой ковбойке и выцветшей фуражке был одет лишь немногим хуже своих товарищей. Вообще молодежь тридцатых годов, особенно их первой половины, не отличалась блеском и красотой нарядов. По примеру немецких комсомольцев носили юнгштурмовки цвета хаки или же простые рубашки, косоворотки, залатанные свитера, поношенные куртки с чужого плеча, зимой – красноармейские шинели, на ногах – кирзовые сапоги. Иные и вовсе напоминали персонажей пьесы «На дне».

В начале XX века Максим Горький относил городскую интеллигенцию и мещан к «разным племенам», настолько различались их жизнь, быт, вкусы. Революция уничтожила сословия, хижина завоевала дворец. Просторные анфилады старых особняков поделили на комнатушки, их населили совслужащие и домработницы, бывшие дворяне и переехавшие в город хлеборобы, сапожники и ювелиры – все перемешалось. В Петербурге многие квартиры были обставлены дворцовой мебелью, приобретенной по дешевке в комиссионном магазине. Уцелевший выпускник Пажеского корпуса готовил себе на примусе яичницу, токарь любовался фрагментом лепного потолка. Бытие не определяет сознание полностью, но все-таки весьма и весьма на него влияет.

Новый быт должен был сблизить бывших классовых врагов, но не тут-то было. Гумилев и его близкие, родные, друзья – Ахматова, Пунин, Дашкова – принадлежали к остаткам «недобитой» дореволюционной интеллигенции, сохранившейся еще в СССР.[11] «Бывшие», недостреленные, не уехавшие вовремя, ощущали себя чем-то вроде маленького племени, заброшенного в среду многочисленного и враждебного народа. В Москве даже заметнее, чем в Петербурге, который, по крайней мере до убийства Кирова, сохранил больше дореволюционных черт. В Москве же, пишет Эмма Герштейн, «почти не было одухотворенных юношей. Мы встречали только маленьких бюрократов и бдительных комсомольцев, в лучшем случае – честных, симпатичных, но безнадежно ограниченных юношей и

девушек». Гумилев их тогда ненавидел.

«Да, я не люблю пролетариат», — говорит булгаковский герой. Гумилев же возненавидел «пролетариат» еще с Бежецка, в Ленинграде его антипатия к «простым» людям только укрепилась. Литературного профессора Преображенского (как и его прототипа академика Павлова, который позволял себе высказывания похуже) защищала европейская слава и покровительство высокого начальства. У Гумилева же не было ни того, ни другого. Нищий студент, приживальщик в квартире Пунина, гость в квартире Мандельштама, он как будто стремился поссориться даже с незнакомыми людьми. Внешним обликом и манерами он словно нарочно подчеркивал свою чужеродность. Из-за мятой фуражки он выглядел бывшим офицером. На Руфь Зернову Гумилев произвел впечатление «абсолютного "контрика"». Студент истфака Валерий Махаев в октябре 1935-го заявит: «Гумилев – человек явно антисоветский».

Аркадий Борин на допросе в сентябре 1935-го так охарактеризовал взгляды своего «друга» Льва: «Гумилев действительно идеализировал свое дворянское происхождение, и его настроения в значительной степени определялись этим происхождением… Среди студентов он был "белой вороной" и по манере держаться, и по вкусам в литературе. <…> По его мнению, судьбы России должны решать не массы трудящихся, а избранные кучки дворянства <…> он говорил о "спасении" России и видел его только в восстановлении дворянского строя <…> на мое замечание, что дворяне уже выродились или приспособились, Гумилев многозначительно заявил, что "есть еще дворяне, мечтающие о бомбах"». В другом варианте последняя фраза звучит чуть чуть иначе: «Есть дворяне, которые еще думают о бомбах». Гумилева, конечно, могли просто оговорить, следователь мог сочинить фразу и заставить подследственного подписать протокол, что, очевидно, делалось не раз. Мог присочинить и перепуганный Борин. Но способностей следователя 4-го отделения секретно-политического отдела Василия Петровича Штукатурова хватало только на стандартные канцелярские фразы вроде такой: «Свои террористические настроения я высказывал открыто» или «я клеветнически оскорблял Сталина». Бывший электромонтер Борин тоже не блистал изяществом слога. В словах о дворянах бомбистах слишком много поэзии и слишком мало канцелярщины, это стиль Гумилева, а не Борина и тем более не Штука турова. Наконец, эти слова Гумилева как раз и органичны для «абсолютного контрика», к тому же, если верить показаниям Борина, Гумилев во время разговора о «бомбах» был нетрезв.

Эта вражда – не классовая, не экономическая, а социально-психологическая – продолжалась по меньшей мере до Великой Отечественной. Но и в двадцатые-тридцатые некоторые из «бывших» поддерживали партизанщину. Осторожный и немолодой Михаил Булгаков написал «Собачье сердце». Молодой и вспыльчивый Лев Гумилев демонстрировал свое «дворянство», и, видимо, не только в трамвае.

Много лет спустя, занимаясь теорией этноса, Гумилев найдет неожиданное и оригинальное решение, которое, между прочим, объясняет и эту странную вражду.

Большинство ученых рассматривали этнос и нацию как сообщество похожих друг на друга людей – с одними и теми же ценностями, интересами, со схожими взглядами и общей культурой. Гумилев же доказывал, что этнос – это сложная система, состоящая из многих элементов и подсистем – субэтносов. Субэтносы отличает неповторимый стереотип поведения, собственная иерархия ценностей, вкусов, представлений. И русская интеллигенция, к которой относились Ахматова, Пунин, Гумилев, была особым субэтносом. Они были не хуже и не лучше, скажем, семьи рабочих Смирновых – соседей по коммуналке, их быт мало отличался от пролетарского, а род занятий того же Гумилева – и подавно. Но они вели себя иначе, их представления о дурном и хорошем, о ценном и бесполезном, их стереотипы поведения наконец различались. Это были разные русские, другие русские. Конституция 1936 года уравняла советских граждан в правах, но свой оставался своим, чужой – чужим. Ахматова не ссорилась с трамвайными или троллейбусными пассажирами, но пассажиры-пролетарии легко узнавали бывшую дворянку. Эмма Герштейн вспоминает интересную историю, которую услышала от Ахматовой:

«Году в 1936-м Анна Андреевна совершила с Пильняком экзотическую поездку в открытой машине из Ленинграда в Моск ву. <…> Где-то под Тверью с ними случилась небольшая авария, пришлось остановиться и чинить машину. Сбежались колхозники. И сама легковая машина, и костюм Пильняка обнаруживали в нем советского барина. Это вызвало вражду. Одна баба всю силу своего негодования обратила на Ахматову. "Это – дворянка, — угрожающе выкрикивала она, — не видите, что ли?"»

Неприязнь к «простым людям» держалась у Гумилева еще долго. Зимой 1944-го на Киевском вокзале Гумилев, отводя в сторону встретивших его Ирину Николаевну Томашевскую и Николая Ивановича Харджиева, мимоходом бросит: «Подальше от богоносца». «Интеллигентный человек – это человек, слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и

народу не сострадаю», — говорил он Михаилу Ардову уже после возвращения из последнего лагеря.

Представление о неравенстве людей Гумилев сохранил на многие годы: «В нашем распоряжении оказались нивелир и карты, палатка и спальные мешки с раскладушками, машина с шофером Федотычем и примус со стряпухой Клавой», — рассказывал Гумилев в своей популярной книге «Открытие Хазарии» о материальнотехническом обеспечении Астраханской археологической экспедиции 1960 года.

Как ни странно, представления о неравенстве не отразились на собственно научных взглядах Гумилева. Вопреки распространенному мнению, пассионарная теория этногенеза не противопоставляет «элиту» и «народ», «героев» и «толпу», ведь большая часть пассионариев находится как раз в «толпе». Историю делают народы. Уже в семидесятые годы, заочно полемизируя с Карлом Ясперсом, Гумилев напишет: Аристотель – гений, но кто его знал при жизни? «Небольшая кучка снобов и правдоискателей… десятки людей, а скорее – единицы. А основа населения, два миллиона эллинов?! Беотийские крестьяне, этолийские разбойники, ионийские торгаши, спартанские воины, аркадские пастухи? Да им было и некогда, и незачем! А ведь свободу Эллады отстаивали они, Персию завоевали и диадохов (полководцев Александра Македонского. – С.Б.) поддерживали они. Торговлю со Скифией вели они. И природу Пелопоннеса исказили тоже они. И, представьте, не читая Аристотеля!»

ДРУЗЬЯ ГУМИЛЕВА

Ахматова и в самом деле была дворянкой, но Лев Гумилев, живи он в царской России, не принадлежал бы к дворянскому сословию. Личное дворянство (за службу) было у его деда Степана Яковлевича, ни сын, ни внук его унаследовать не могли.

В январе 1912 года старший брат Николая Степановича, Дмитрий Степанович Гумилев, подал в Сенат прошение о признании его потомственным дворянином, но получил отказ. Дворянство Ахматовой ко Льву не могло перейти, ребенок наследовал сословие отца, а не матери. Но Лев Николаевич, как и Николай Степанович в свое время, охотно приписывал себе дворянство: «Я дворянин», — будет он повторять до конца жизни. Да и в глазах других людей Гумилев-младший был «дворянином», «контриком», «бывшим», «барином».

Правда, Лев легко сходился с простыми людьми в экспедициях, а потом и в лагере. На Хамар-Дабане Гумилев, пусть и окончивший курсы коллекторов, был «на подхвате». Его положение мало чем отличалось от положения простого рабочего или конюха, что Льва тогда вовсе не тяготило. С одним из своих тогдашних товарищей, сибиряком Савелием Прохоровичем Батраковым, Гумилев много лет спустя встретится в одном из пересыльных лагерей.

И все-таки Гумилев предпочитал другую компанию: Николай Давиденков – сын академика, Аксель Бекман – сын потомственного почетного гражданина, Анна Дашкова – дочь офицера. В одном из писем к ней Лев дал свой московский адрес – адрес Мандельштамов: «Москва, Нащокинский пер., № 5, кв.26, Мандельштам» и прокомментировал: «По одной этой фамилии можете себе представить, сколь счастлив я, находясь в гуще "порядочной" литературы».

Уже на первом курсе Гумилев стал посещать квартиру Василия Васильевича Струве, где познакомился с востоковедом старшекурсником Теодором Шумовским. Доброжелательный Струве у себя дома читал студентам лекции по истории Древнего Востока. Шумовский в 1938 году станет для Гумилева товарищем по несчастью, а Струве впоследствии не раз будет помогать молодому Льву и защищать его по мере сил.

Интересно, что среди друзей Гумилева в тридцатые оказались не только гуманитарии, но и, например, биологи, хотя сам Гумилев еще не интересовался естествознанием. В 1933 году Гумилев познакомился с Борисом Сергеевичем Кузиным, московским биологом. Кузин был серьезным ученым и

высокообразованным человеком. Любитель хорошей поэзии, он читал Гете и Горация в оригинале, дружил с Мандельштамом. Отправляясь в научную экспедицию, Кузин брал с собой новый сборник Пастернака.

В ноябре 1935 года (по данным А.Я.Разумова – уже в 1934 году) Гумилев поселился в комнате Акселя-Отто Бекмана на Фонтанке, 149, кв.14. Хозяин комнаты учился на физико-математическом факультете, а позднее работал референтом-переводчиком в аппарате Военно-медицинской академии. Что сблизило этих людей? Ответом служит портрет Николая Гумилева, что висел на стене холостяцкой комнаты. Портрет принадлежал Акселю Бекману, видимо, он так любил стихи Николая Степановича, что не боялся держать на видном месте портрет «врага революции». В тридцатые за такое могли и арестовать. Иду Наппельбаум, ученицу Николая Степановича, некогда посещавшую его студию «Звучащая раковина», за хранение портрета Гумилева осудили на четыре года лагерей.

Бекман должен был импонировать Льву, а самому Акселю студент-историк был интересен как сын любимого поэта.

Комната Бекмана произвела на Эмму Герштейн дурное впечатление. Она даже сожалела, что не поехала в этот день (10 февраля 1937 года) к одинокой тогда Ахматовой, «вместо того чтобы проводить время с Левой в этой гадкой комнате». Особенно не понравилась шкура, на которой спал Лев. Гумилев уверял свою московскую подругу, что шкуру он чистил каждый день, но она не поверила. Гумилев и Бекман жили в страшной бедности, едва ли не делили последнюю рубашку и уж точно делили трапезу – в ящике комода нашлось полтора обеденных прибора – две ржавые вилки и ржавый нож. В комнате Бекмана Гумилев, по видимому, проводил не так уж много времени. Он вообще не был домоседом. Лето проводил в экспедициях, навещал московских знакомых – Ардовых, Клычковых, Герштейн, подолгу останавливался у них. Сам Бекман тоже часто ездил в командировки, так что комната, случалось, вовсе пустовала. От Бекмана Гумилев съехал только в 1937 году, когда Аксель Отто женился.

Бекмана арестуют в июне 1941 и год спустя расстреляют «за измену родине». На следствии у Бекмана безуспешно пытались выбить показания и на Льва Гумилева. Но Аксель не выдал товарища и, судя по протоколам допросов, вел себя безупречно.

Своим лучшим другом молодой Лев называл «Николку», Николая Давиденкова, студента-биолога. Николка часто бывал у Ахматовой в Фонтанном доме, читал ей свои стихи.

Короткая жизнь Николая Давиденкова необычна. В 1938-м Давиденкова, как и Гумилева, арестуют, но ему поначалу повезет

больше, чем Льву. По словам Чуковской, суд оправдает Давиденкова и он вернется на свободу, однако в университете восстановиться не сможет. Правда, Теодор Шумовский в своих воспоминаниях приводит другие сведения: Давиденков был осужден на десять лет. В октябре 1938-го Шумовский и Гумилев встретились с ним в пересыльной тюрьме на Константиновской, 6, а на пересылку мог попасть только осужденный. Видимо, Давиденков обжаловал приговор и был освобожден. В 1939 году Давиденкова призовут в армию и он примет участие в польском «освободительном походе». В июне 1941-го Давиденков попадет в немецкий плен, но сможет бежать в Англию и будет воевать с немцами на Западном фронте. Однако в 1945 м судьба, так долго оберегавшая Николая Давиденкова, ему изменила – он оказался в советском лагере (суд приговорил его к расстрелу, который заменили на 25 лет лагерей). Последним достоверным известием о Николае стало письмо, которое в мае 1950-го получила от него Лидия Корнеевна Чуковская. В этом письме Николай отправил на волю и свое последнее стихотворение:

Не надо чистого белья,
Не открывайте дверь!
Должно быть, в самом деле я
Заклятый дикий зверь!

Не знаю, как мне с вами быть
И как вас величать:
По-птичьи петь, по-волчьи выть,
Реветь или рычать?..

Очевидно, в январе 1937 года или несколько ранее Гумилев познакомился со своим единокровным братом, младшим сыном Николая Гумилева Орестом Высотским.

Орест поступил в ленинградский вуз одновременно с Гумилевым, но, в отличие от братагуманитария, он выбрал Лесотехническую академию. Орест был женат, в 1934-м у него родилась дочка Ия. Долгое время Орест и Лев ничего не знали друг о друге, более того, мать Ореста, Ольга Николаевна Высотская, ничего не знала о Леве, как не знала и Ахматова об Оресте.

Своим знакомством братья обязаны Палладе Гросс, у которой Орест тогда снимал жилье.

Паллада Олимпиевна Гросс (она же Старынкевич, Богданова-Бельская, графиня Берг, Дерюжинская, Педди-Кабецкая) — существо, необычное даже для Серебряного века, а уж как она

умудрилась выжить в Советском Союзе, перенести Гражданскую войну, блокаду, большой террор и окончить свои дни восьмидесятилетней старухой – неразрешимая загадка мироздания. Палладе посвящали стихи, Паллада стала прототипом для героинь М.Кузмина (Полина в «Плавающих-путешествующих»), О.Морозовой (Диана Олимпиевна в «Одной судьбе»), В.Милашевского (Паллада Скуратова в книге «Вчера, позавчера. Воспоминания художника»).

«Когда Паллада шла по улице – прохожие оборачивались. Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер. Падает снег, зажигаются фонари. На обыкновенных улицах обыкновенная толпа. И вдруг… Вдруг в этой серой толпе странное, пестрое, точно свалившееся откуда-то существо. Откуда? Из Мексики? С венецианского карнавала? С Марса, может быть? На плечах накидка – ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это, как облаком, окутано резким, приторным запахом "Астриса"», — писал о ней Георгий Иванов.

Вот эта Паллада и решила познакомить братьев. Видимо, она рассказала Высотским о Леве и дала им адрес Ахматовой.

Знакомство состоялось: Ахматова тут же нашла у Ореста черты Николая Гумилева, а Лева был очень рад, что у него, оказывается, есть самый настоящий брат. Орест не раз ночевал в квартире Бекмана и Гумилева. Довольный Лев называл Ореста brother. Когда Ахматова спросила сына, как ему понравился Орест, Гумилев ответил довольно оригинально: «Жаль, что папа мало изменял тебе. У меня больше было бы таких братьев».

Позднее Высотский с женой поселились в общежитии Лесотехнической академии в Ломанском переулке, но братья продолжали встречаться. Они проводили время в пивной, где читали друг другу стихи. Возможно, сидели в пивной на канале Грибоедова – там начинается действие сказки Льва Гумилева «Посещение Асмодея» – или же посещали немецкие пивные Васильевского острова, известные нам по «Петербургским зимам» Георгия Иванова:

«Если в Петербурге особенный туман, то самый "особенный" он вечерами на Васильевском острове… На пересечении проспектов Большого, Малого и Среднего – пивные. <…> Пивные замечательные. Устроили их немцы в 80х годах с расчетом на солидных и спокойных клиентов – немцев тоже. Солидные мраморные столики, увесистые пивные кружки, фаянсовые подставки под них с надписями вроде: Morgenstunde hat Gold im Munde ("Утро вечера мудренее". – С.Б.). На стенах

кафелями выложены сцены из "Фауста", в стеклянной горке – посуда для торжественных случаев. <…> Теперь в этих "Эдельвейсах" и "Рейнах" собираются по вечерам отребья петербургской богемы… Зеркальные, исцарапанные надписями стены сияют немытым блеском, жирная белая пена ползет по толстому стеклу».

Во времена Льва Гумилева стены пивных украсили любимыми народом картинами Шишкина и новыми лозунгами: «Лицам в нетрезвом виде ничего не подается» и «Пей, но знай меру. В пьяном угаре ты можешь обнять своего классового врага».

Последняя фраза не так смешна, как может показаться на первый взгляд. К таким «классовым» врагам, между прочим, относились и Высотский с Гумилевым. Их разговоры в тридцатые годы были вполне антисоветскими. Много лет спустя, в августе 1991 го, Орест Николаевич напишет брату: «…мы дожили до такого прекрасного времени, когда рушится большевизм, над Кремлем поднято трехцветное знамя, сброшен с пьедестала железный Феликс, а в Екатеринодаре поставлен памятник Лавру Георгиевичу; сбывается все, о чем мы с тобой мечтали в юности».

Впрочем, в юности Орест Высотский на рожон не лез. Он унаследовал от матери благоразумную осторожность, носил ее фамилию (хотя знал, кто его отец), а отчество «Николаевич» получил не от Гумилева, а от своего дяди, Николая Николаевича. В 1938 м Ореста Высотского арестуют, но выпустят всего через год. Его фамилия не напоминала о страшном родстве, не тянула камнем на дно, да и жить Орест старался подальше от столиц, от скорого на расправу начальства, благо лесотехническое образование этому способствовало. Работал он в леспромхозах, дослужился до директора, затем руководил мебельной фабрикой, защитил диссертацию и даже преподавал в Политехническом институте Кишинева.

Первым человеком рабоче-крестьянского происхождения, с которым подружился Гумилев, был археолог Михаил Илларионович Артамонов. В 1935 году Гумилев под руководством Артамонова участвовал в Манычской экспедиции. На следующий год Гумилев уже за свой счет отправится в экспедицию Артамонова на раскопки хазарской крепости Саркел. Университет не дал ему денег на поездку, но Артамонов уже на месте нашел студенту и работу, и паек.

АРЕСТ 1935

Из Манычской экспедиции Гумилев вернулся поздно: только 30 сентября 1935 года он приехал в Москву к Эмме Герштейн. Они отправились в Коломенское. «Мрачный он был со своими татарскими усами, — вспоминала Герштейн. — Помолчав, заявил: "Когда я вернусь в Ленинград, меня арестуют". <…> Я плакала. <…> Эта встреча больше походила на благословение, чем на любовное свидание».

Его арестуют три недели спустя, 23 октября 1935 года.[12]

О причинах этого ареста написано много. Все авторы сходятся на том, что Лев Гумилев и арестованный тогда же Николай Пунин попали под репрессии, развернутые против ленинградской интеллигенции вскоре после убийства Кирова 10 декабря 1934-го. Социальное происхождение уже было достаточным основанием если не для ареста, то уж во всяком случае для высылки из Ленинграда. Еще весной 1935-го из ленинградских коммуналок выселяли недобитых дворян, даже старушек, не приспособленных к современной жизни за пределами большого города. За Пуниным и Гумилевым помимо дурного происхождения числилось много грехов.

Дела Пунина и Гумилева в Центральном архиве ФСБ РФ добросовестно изучил Александр Николаевич Козырев и опубликовал результаты своего исследования в сборнике «Вспоминая Л.Н.Гумилева» (СПб, 2003). В этой главе я буду опираться прежде всего на это образцовое научное исследование. Кроме того, немало интересных материалов собрал Виталий Шенталинский, руководивший комиссией по творческому наследию репрессированных писателей России.

Гумилев в сентябре 1935-го был убежден, что его арестуют «за [антисоветские] разговоры», о которых донесла, по словам Эммы Герштейн, «одна наша приятельница» еще летом 1935-го. Речь шла об искусствоведе Вере Аникеевой. 25 мая 1935 года она была в гостях у Пунина и Ахматовой, где и услышала от Николая Николаевича слова, о которых благонамеренному советскому человеку следовало тут же донести куда следует.

Аникеева, отдадим ей должное, сразу не донесла, за нее это сделал другой гость, однокурсник Льва Гумилева Аркадий Борин. Бо рин весной 1935-го не раз заходил к другу на Фонтанку, 34, даже чинил там мебель и дверные замки. Уже 26 мая Борин подробно пересказал в Большом доме все, что запомнил. Текст доноса приводится в книге «Преступление без наказания» В.Шенталинского:[13] «25 мая с.г. при моем посещении квартиры

Пунина я застал там его сослуживицу Аникееву. В разговоре с Пуниным Аникеева вспомнила о каких-то высланных из Ленинграда ее друзьях, и разговор принял соответствующее направление. В ходе этого разговора Пунин заявил: "И людей арестовывают, люди гибнут, хотелось бы надеяться, что всё это не зря. Однако стоит взглянуть на портрет Сталина, чтобы все надежды исчезли". И в продолжение всего вечера Пунин говорил о необходимости теракта в отношении Сталина, так как в лице его он и видит причину всех бед. Увлекшись этой идеей, он показал нам вывезенную им из Японии машинку для автоматического включения фотоаппарата, которую, по его словам, очень легко можно было бы приспособить к адской машине, "стоит только установить эту машину, — заявил Пунин, — как вдруг Сталин полетит к чертовой матери". Из разговора с женой Пунина – Ахматовой – выяснилось, что еще раньше, в беседе с С.А.Толстой, Пунин по поводу убийства тов. Кирова заявил: убивали и убивать будем». 28 мая в управление НКВД вызвали перепуганную Аникееву, которая подтвердила донос Борина. Этот материал несколько месяцев спустя положат в основу следственного дела № 3764 – дела Пунина-Гумилева.

На Руси была пословица: «Доводчику (то есть доносчику) — первый кнут». Первым по делу № 3764 1 сентября 1935 года арестовали самого Борина и тут же начали допрашивать, не состоял ли он в «молодежной террористической группе Гумилева». На этот раз Борин сдал не только Пунина, но и своего «друга» Гумилева.

10 октября арестовали еще одного студента-историка, Игоря Полякова. Оба дали показания и на Гумилева, и на Пунина. Показаний хватило, чтобы обвинить и арестовать Пунина как «участника и вдохновителя контрреволюционной террористической группы студентов», а Гумилева – как участника этой группы, который к тому же занимался «сочинением и распространением антисоветских произведений». Вину обоих отягчали «террористические настроения по адресу вождей ВКП(б) и Советского Правительства».

В старости, рассказывая об октябрьских днях 1935-го в доме предварительного заключения, Гумилев утверждал: «… следователи, как они ни изощрялись, не смогли получить от нас сколько нибудь компрометирующих показаний». На самом же деле следователи Штукатуров и Коркин за неполных две недели получили от арестантов все сведения, которых только добивались. Пунин и Гумилев дали показания и на самих себя, и друг на друга.

Пунин раскололся уже на первом допросе: «Что же касается

политических настроений Гумилева, то мне известно, что он, беседуя, неоднократно высказывал симпатии принципам монархизма». На следующем допросе он расскажет о «контрреволюционных» разговорах Гумилева, который будто бы говорил о «необходимости смены советского строя и замены его монархией» и одобрял антисталинские стихи Мандельштама. На последнем допросе следователь заставил Пунина выдать и Анну Андреевну: «А.А.Ахматова, так же как и другие участники группы, полностью разделяла мою точку зрения на необходимость устранения Сталина».

Гумилев, узнав о показаниях Пунина, в свою очередь рассказал следователям, что Пунин «часто выражал злобу по адресу Сталина, при этом допуская явные террористические выпады против него». Речь шла об уже известном следователям (из показаний Бо рина) эпизоде, когда нетрезвый Пунин при помощи автоматического спуска от фотоаппарата демонстрировал, как бы он взорвал Сталина. От Ахматовой Гумилев по мере сил пытался обвинения отвести: «О моей к/р деятельности мать А.А.Ахматова не знала».

Гумилев признался и в антисоветских разговорах, и в «террористических настроениях», и в авторстве антисоветского (посвященного убийству Кирова) стихотворения «Экабатана», хотя его текст найден не был, а сам Гумилев смог воспроизвести только сюжет: «сатрап города Эгбатаны (так в тексте. – С.Б.) Горпаг умирает, но жители не хотят оплакивать его смерть, великий царь велел выставить тело Горпага напоказ, но и тогда жители не плакали. Тогда велел царь казнить сто граждан, и после этого весь город плакал».

Все это тянуло по меньшей мере лет на десять.

Показания Пунина были гораздо страшнее: «Я признаю, что мои постоянные разговоры с Гумилевым и другими, направленные против Сталина, воспитывали террористические настроения Гумилева и других моих собеседников. Исходя из моих убеждений о необходимости изменения существующей линии Советской власти, я считал радикальным средством – насильственное устранение Сталина».

Перед профессором Академии художеств уже должен был появиться призрак камеры смертников.

Мало того, на допросах часто возникали имена друзей и знакомых, которые могли разделять контрреволюционные взгляды и даже быть посвященными в антисоветскую деятельность Пунина и Гумилева. На страницах протоколов можно найти имена Акселя Бекмана, Лидии Гинзбург и других.

Козырев предполагает, что арест Ахматовой был конечной

целью следствия. В распоряжении следователей уже были показания на нее. Начальник Управления НКВД по Ленинградской области Л.М.Заковский даже подал наркому Г.Г.Ягоде докладную записку, где просил дать санкцию на арест Ахматовой.

Осуждать Пунина и Гумилева за такую «откровенность» перед следствием не только безнравственно, но и нелепо. Правда, арестованных тогда не пытали, не избивали, но ведь профессиональный следователь располагает методами и приемами, которые позволяют расколоть и более опытных людей. Позволю себе сослаться на Солженицына: «Истинные пределы человеческого равновесия очень узки, и совсем не нужна дыба или жаровня, чтобы среднего человека сделать невменяемым».

Коркин и Штукатуров допрашивали Пунина и Гумилева по пять, шесть, восемь часов подряд. Например, допрос Гумилева 27 октября начался в 16:00, а закончился в 23:45. Сам же протокол допроса занимает всего три с половиной листа. Допрос Пунина 31 октября начался в 18:30, закончился в 0:10. Протокол занял четыре листа.

Протокол не может отразить и малой доли того, что творилось на допросе. К примеру, фразы следователя «Вы даете неправильные показания» или «Вы говорите неправду» в оригинале, несомненно, звучали намного экспрессивнее. Гумилев рассказывал Эмме Герштейн, как трактовали следователи один из эпизодов его жизни: однажды во время «антисоветского» разговора Гумилев убежал на кухню за ножом – нарезать хлеб, что было истолковано как «символический жест, намекающий на подготавливаемый ими террористический акт против Сталина». Это одно из немногих свидетельств о днях в ДПЗ на Войкова (бывшей Шпалерной), 25. Пунин по понятным причинам не писал о методах следователей даже в дневнике, а Гумилев рассказывал мало. Так что нам остается лишь предполагать.[14]

В распоряжении следователя Штукатурова были уже показания Борина, Полякова, Аникеевой, вскоре даст показания и Валерий Махаев, арестованный позднее Пунина и Гумилева. С Бориным и Поляковым Гумилеву устроили очную ставку, где бывшие друзья-однокурсники еще раз подтвердили свои показания. Словом, деваться было некуда. Неудивительно, что Пунин и Гумилев не выдержали психологического натиска, многочасовых допросов и очных ставок. Они прежде не сталкивались ни с чем подобным. Правда, оба уже однажды пережили арест, но Пунина арестовали в далеком 1921-м (другое время, другие порядки, другие допросы), а Гумилева в 1933-м вообще не допрашивали. Поэтому оба выбрали на следствии

самую проигрышную тактику, к которой прибегали интеллигентные подследственные-новички: они не уходили в «глухую несознанку», а стремились говорить полуправду, считая ее более достоверной, чем прямая ложь: «Через много лет вы поймете, — будет писать Солженицын, — что… гораздо правильней играть неправдоподобного круглейшего дурака: не помню ни дня своей жизни, хоть убейте. Но вы не спали трое суток. Вы еле находите силы следить за собственной мыслью и за невозмутимостью своего лица. И времени вам на размышления – ни минуты. И сразу два следователя… уперлись в вас: о чем? о чем? о чем?»

Как известно, освобождения Пунина и Гумилева добилась Анна Ахматова, поехавшая в Москву и сумевшая при помощи влиятельных московских друзей-литераторов передать Сталину свое письмо.

Обстоятельства этой поездки хорошо известны биографам Анны Ахматовой и Льва Гумилева, хотя и сейчас в этой истории остается несколько темных, загадочных эпизодов.

Ахматова приехала в Москву неделю спустя после ареста Пунина и Гумилева. Она остановилась и переночевала у Эммы Герштейн: «В передней на маленьком угловом диване сидит Анна Андреевна со своим извечным потрепанным чемоданчиком. Вся напряженная, она дожидается меня уже несколько часов. <…> Она спала у меня на кровати». Только от нее Эмма узнала об аресте Гумилева. Это было, вероятно, 29 октября. Сама Эмма не помнила даты и даже относила этот приезд к ноябрю 1935-го, что совершенно невозможно.

30 октября Герштейн отвезла Ахматову в Нащокинский переулок, где та остановилась у Булгаковых: «Днем позвонили в квартиру. Выхожу – Ахматова – с таким ужасным лицом, до того исхудавшая, что я ее не узнала и Миша тоже», — записала в дневнике Елена Сергеевна Булгакова.

Чтобы судить о дальнейших событиях, нам придется избрать одну из двух взаимоисключающих версий.

Первая – версия Э.Г.Герштейн – Н.Г.Чулковой – Л.К.Чуковской (последняя не была участницей событий, а судила о них по рассказу Ахматовой).

31 октября Герштейн увезла Ахматову к влиятельной тогда писательнице Лидии Сейфуллиной. Ахматова от нервного истощения едва держалась на ногах, с трудом могла перейти улицу. Эмма боялась, что Ахматова лишилась рассудка. Эмма Герштейн при разговоре Ахматовой и Сейфуллиной не присутствовала, она уехала, как только Сейфуллина открыла дверь. Сейфуллина позвонила в ЦК и НКВД, договорилась, чтобы

Ахматова на следующий день привезла письмо для Сталина в Кремль.

Сама Ахматова четверть века спустя рассказала о событиях этого дня Анатолию Найману. Согласно этому рассказу, Сейфуллина обратилась непосредственно к Поскребышеву, а тот велел прийти под Кутафью башню около десяти утра.

Ночь с 31 октября на 1 ноября Ахматова, очевидно, провела у Надежды Григорьевны Чулковой, жены Георгия Ивановича Чулкова: «Всю ночь не спала». Здесь история опять раздваивается. Если верить Чулковой, то Ахматова «наутро отправила с одним из друзей письмо тов. Сталину». Если верить Герштейн, то 1 ноября Ахматову отвез к комендатуре Кремля Борис Пильняк, где и передал письмо для Сталина.

Согласно версии Елены Сергеевны Булгаковой, все произошло иначе. Во-первых, Ахматова у нее в квартире «переписала от руки письмо» к Сталину (значит, был машинописный черновик?). Во-вторых, и это самое главное, Елена Сергеевна пишет: «Отвезли с Анной Андреевной и сдали письмо Сталину. Вечером она поехала к Пильняку».

Кто же возил Ахматову к Кремлю, Пильняк или Булгакова? Какого числа это происходило, 31 октября или 1 ноября? Запишем в загадки? Или откажем свидетельству Булгаковой в доверии, как это сделал Козырев? Факты говорят против версии Еле ны Сергеевны. На письме Ахматовой стоит дата – «1 ноября 1935 года». Своей автомашины у Булгаковых не было, но, быть может, Пильняк отвез Ахматову, а Елена Сергеевна составила ей компанию?

Обратимся к дневнику Булгаковой. Рассказ о поездке сохранился в двух редакциях, вторую, окончательную, я только что процитировал. А вот текст первой редакции: «Анна Андреевна переписала от руки письмо И.В.С[талину]. Вечером машина увезла ее к Пильняку». Запись также датирована 31 октября. Получается, что версии Герштейн – Чулковой – Чуковской противоречит только вторая редакция дневниковой записи, первая же легко в нее укладывается. 31 октября Ахматова могла вернуться от Сейфуллиной на квартиру Булгаковых, переписать там письмо (Сейфуллина, возможно, дала ей совет), а вечером за Ахматовой заехал Пильняк. Но из этого не следует, что Ахматова провела ночь у Пильняка, а не у Чулковой. Пильняк мог завезти ее к Чулковой, а утром приехать и отправиться с Ахматовой в комендатуру Кремля.

Таким образом, Елена Сергеевна, редактируя собственный дневник, вольно или невольно сочинила свою версию.

Из письма Анна Ахматовой И.В.Сталину: «Арест двух

единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет».

Где провела Ахматова ночь с 1 на 2 ноября, доподлинно неизвестно. Очевидно, не у Герштейн, не у Чулковой, не у Булгаковых, не у Пастернаков (к ним она отправится только 2 ноября). Возможно, у Пильняка, это не противоречит логике событий, но ничем и не подтверждается. Будь на моем месте Лев Николаевич, всегда доверявший логике событий больше, чем источникам и фактам, то он наверняка бы написал: да, ночевала у Пильняка. Но я не стану утверждать подобного. Могла ночевать, не более того.

2 ноября Ахматова поехала к Пастернакам, а к обеду приехал и Пильняк. Ахматова рассказала о своем горе, и Пильняк убедил Пастернака написать письмо Сталину, которое Борис Леонидович отвез уже на следующий день и «опустил в кремлевскую будку около четырех часов дня».

Письмо Пастернака запоздало, Сталин уже прочел письмо Ахматовой и оставил свою резолюцию: «т. Ягода. Освободить из под ареста и Пунина, и Гумилева и сообщить об исполнении. И.Сталин».

Товарищ Ягода, очевидно, отдал устное указание начальству ленинградского областного управления НКВД, и уже 3 ноября Штукатуров и Коркин подписали «Постановление об изменении меры пресечения», по которому Гумилева и Пунина должны были «немедленно» освободить, а 4 ноября (очевидно, справившись у начальства) подписали и постановление прекратить следственное дело.

Гумилев, видимо, был потрясен внезапным и необъяснимым освобождением: «Вы великодушнее царского правительства. Я даю слово, что больше от меня никогда не услышите ни одного антисоветского слова». Менее восторженный, прагматичный Пу нин попросил Штукатурова оставить его в тюрьме до утра (было уже поздно), но следователь отказал: «Здесь не ночлежка».

Вслед за освобожденными Гумилевым и Пуниным на свободу вышли Борин, Поляков и Махаев.

Утром 4 ноября Эмму Герштейн разбудил звонок из квартиры Пильняка, где уже отмечали освобождение Пунина и Гумилева.

«"Эмма, он дома," — сказала Ахматова. Я с ужасом: "Кто он?" — "Николаша, конечно". Я робко: "А Лева?" — "Лева тоже"».

К СЧАСТЛИВОМУ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ

«Пунин вернулся на работу, а меня выдворили из университета», — так Гумилев рассказывал о событиях, последовавших вскоре за освобождением. Казалось бы, доказана невиновность Гумилева. Более того, Гумилева освободил «сам Сталин», Лев этим, видимо, очень гордился, а Сталину, по словам Эммы Гер штейн, был просто благодарен.

Очевидно, Лев в молодости переболел болезнью, которую условно называют «синдром Юпитера», то есть оказался под обаянием сильной личности, персонифицированной власти. Этой болезни не избежала даже Ахматова. Позднее она будет гордиться тем, что в список писателей, подлежащих эвакуации из бло кадного Ленинграда, ее будто бы включил лично Сталин. Впрочем, будущие лагеря совершенно исцелят Гумилева. Сталина он возненавидит до конца своей жизни.

Заметим, Гумилева исключили из университета почти через полтора месяца после освобождения – 13 декабря 1935-го. Исключили его не ректор или декан, а местная комсомольская организация.

Случай Гумилева может показаться странным или из ряда вон выходящим только современному читателю, который не знает о порядках, царивших в студенческой среде Ленинградского университета тридцатых годов.

Чистки студенческих групп от «социально чуждых элементов» практиковались еще с двадцатых годов. Занимались ими сами студенты, точнее – студенческие комсомольские ячейки, которые контролировали и беспартийную часть академических групп. В 1935 году, например, был исключен филолог Николай Ерехович, будущий одноделец Гумилева. Решение об отчислении принимала комсомольская организация. Собирались комсомольцы отдельно от других студентов, не посвящая последних в свои дела. В один прекрасный день на доске объявлений появлялся кусок обойной бумаги с надписью: «Персональное дело» – дальше следовала фамилия несчастного. Вскоре после этого человек исчезал из университета. По определению Ахилла Левинсона, студента-филолога, знакомого Руфи Зерновой, «двести пятьдесят человек исключило из своих рядов шестьсот…».[15]

Льва же многие студенты просто недолюбливали, а политическая неблагонадежность Гумилева оказалась отличным поводом от него избавиться. В характеристике Гумилева, составленной в специальной части ЛГУ и датированной 1 июля

1938 года, несколько месяцев спустя после нового ареста, утверждается, будто студенты неоднократно требовали отчислить Гумилева из университета. Значит, с враждебностью однокурсников он сталкивался из года в год.

Сам Гумилев подробно рассказал о причинах своего отчисления в письме, которое он отправил Эмме Герштейн гдето в конце января 1936 года. Отправил не почтой, письма могли перлюстрировать, а с оказией – записку Эммы ко Льву и письмо Льва к Эмме передал художник Александр Александрович Осмеркин, хороший знакомый Ахматовой, Гумилева и Герштейн.

Эмма называла это письмо «историческим», но сохранить его не смогла. В 1938 году, после третьего ареста Гумилева, Ахматова заставила Эмму сжечь письмо. Мы знаем лишь то немногое, что Эмма Герштейн много лет спустя сумела припомнить и реконструировать: «Лева подробно описал всю картину преследований его в университете». Эмме запомнилось в этом письме два эпизода, «из них один лишь в самых общих чертах. Он касался Петра Великого, которого Лева характеризовал не так, как это внушалось студентам на лекциях. Студенты жаловались, что он считает их дураками. Другой эпизод по своей глупости и подлости резко запечатлелся в моей памяти. "У меня нет чувства ритма", — писал Лева и продолжал: на военных занятиях он сбивался с шага. Преподаватель заявил, что он саботирует, умышленно дискредитируя Красную Армию». Заканчивал Лева письмо фразой: "Единственный выход – переехать в Москву. Только при Вашей поддержке я смогу жить и хоть немножко работать"».

Такое письмо Лев Гумилев мог написать лишь в отчаянии, ведь он всегда предпочитал Ленинград Москве, в столице он был только гостем, пусть и частым.

Отчисление из университета обернулось для Гумилева материальной катастрофой, он остался без средств к существованию. Профессия историка тогда считалась важной и престижной, а потому студентам истфака платили хорошую стипендию – 96 рублей плюс 23 рубля хлебной надбавки. Оставшись без стипендии, Гумилев, по его словам, «страшно голодал» зимой 1935-1936-го.

Но план переехать в Москву не осуществился, вероятно, из за сопротивления Ахматовой. Она, прочитав письмо Льва к Эмме, сразу же отрезала: «Лева может жить только при мне». Голос Ахматовой в этот миг стал «железным»; несколько месяцев, считает Герштейн, Ахматова просто «не пускала» Леву в Москву. Эта история многое говорит об отношениях сына и матери, по всей видимости, далеко не таких холодных, как считали,

например, академик Панченко и профессор Лавров. Впрочем, Эмма может и преувеличивать влияние матери: как раз этой зимой Гумилев взялся за свою первую научную работу и, возможно, просто не хотел отвлекаться на переездную суету. Все равно за его восстановление хлопотали другие: Ахматова, возможно – Пунин, а в Москве – Эмма Герштейн и Виктор Ардов.

Ахматова начинает хлопотать о Леве уже в январе 1936-го, эти хлопоты будут продолжаться до осени 1936-го, но долгое время успеха не было. Летом 1936-го Ахматова уехала в Старки, в «имение» Василия Дмитриевича Шервинского, старого терапевта, который лечил еще Тургенева. Ахматова была знакома с его сыном, поэтом и переводчиком Сергеем Васильевичем Шервинским. А Гумилев, заехав ненадолго в Старки, лето провел, как всегда, в экспедиции, куда его устроил Михаил Илларионович Артамонов. В сентябре на обратном пути с Дона в Ленинград Гумилев остановился в Москве и некоторое время там прожил. Он бывал у Эммы, у поэта Сергея Клычкова и в доме Ардовых. Все это время не утихали «позиционные бои» за восстановление в университете. Их начала еще летом приехавшая из Старков Ахматова – две недели сидела на телефоне и звонила влиятельным людям, что, как известно, было для нее унизительно. После отъезда Ахматовой в Ленинград звонить продолжала Эмма, а Виктор Ардов беседовал с «нужными» людьми. Человек остроумный и опытный, хорошо изучивший психологию советского начальства, он рассказывал, что будто бы Николая Гумилева в 1921 году помиловал Ленин, но Зиновьев не посчитался с волей вождя и велел расстрелять поэта. Так Лев из сына врага революции превращался в жертву произвола врага народа, к тому времени уже разоблаченного и расстрелянного.

Эти хлопоты увенчались частичным успехом: Гумилева пообещали принять в университет, но не в Ленинградский, а в Московский, и не на идеологизированный истфак, а на нейтральный географический факультет, на первый курс. Лев этим предложением был оскорблен (он хотел стать историком), происходящее переживал «как катастрофу», Эмма утешала его: «Черт с ним, Левушка… <…> Необязательно учиться в университете… <…> Все равно будете историком». Гумилев с ней нео жиданно согласился. Ардов тем временем уже подыскал Гумилеву комнату в Москве. Скоро Гумилев должен был стать первокурсником МГУ.

В конце октября он уехал в Ленинград – собрать вещи – и… пропал. Два месяца спустя, под Новый год, Эмма узнала от своей подруги Елены Осмеркиной, что Льва восстановили в ЛГУ, и обрадованный Гумилев тут же позабыл о своих московских

друзьях, не звонил и не писал ни Эмме, ни Клычкову, ни Ардовым. В это время он живет у Бекмана, в Фонтанный дом приходит лишь обедать.

Своим восстановлением на истфаке Гумилев обязан тогдашнему ректору, Михаилу Семеновичу Лазуркину, который, если верить Льву Николаевичу, сказал приблизительно следующее: «Я не дам искалечить жизнь мальчику». Это был второй и последний почти полный учебный год Гумилева на истфаке ЛГУ. А всего из положенных пяти лет Гумилев проучится два с половиной года.

Именно в 1937-м Гумилев познакомился с Николаем Васильевичем Кюнером, который заведовал тогда отделом этнографии Восточной и Юго-Восточной Азии в Институте этнографии АН СССР. Кюнер даже привлек Гумилева к работе в своем отделе и, вероятно, помог Гумилеву получить пропуск в библиотеку Института востоковедения. В 1945 году Гумилев будет писать Кюнеру из Германии: «С ИВАНом и И[нститутом] Э[тнографии] связаны самые счастливые минуты моей жизни».

В жизни Гумилева начался один из самых спокойных и, кажется, счастливых периодов довоенной жизни – от зимы 1936-1937-го до весны 1938-го. Правда, в источниках он отражен хуже всего. Тем ценнее свидетельство Марии Зеленцовой, которая провела с ним осенью 1937-го шесть веселых дней. Гумилев произвел на нее впечатление красивого и успешного молодого человека.

За год до встречи с Зеленцовой, в конце октября 1936-го, в библиотеке Академии наук Гумилев познакомился с молоденькой монгольской аспиранткой Очирын Намсрайжав. Девушка читала книгу «Черная вера или шаманство у монголов и другие статьи Доржи Банзарова». Гумилев представился и сказал, что очень интересуется историей Монголии. Он приходил в библиотеку каждый день, и после занятий молодые люди гуляли по Университетской набережной, разговаривали о Пушкине, однажды зашли в Кунсткамеру. Очирын Намсрайжав была откровеннее Марии Зеленцовой и написала в своих воспоминаниях, что в ноябре 1936-го Гумилев признался ей в любви и обещал посвятить поэму. Поэму он так и не закончил, но прислал девушке посвящение к поэме, которое (если не считать нескольких строчек) не сохранилось. Их связь продолжалась до самого ареста Гумилева в марте 1938-го.

Самый спокойный и счастливый год хранит и еще одну его тайну. Хотя учеба Гумилева в университете шла вроде бы замечательно, в его зачетке есть записи только о трех экзаменах, сданных в зимнюю и летнюю сессию 1937-го и ни одной записи о

зимней сессии 1938-го. Связи с арестом никакой, ведь арестуют Гумилева только в марте 1938-го, а в январе его положение еще казалось прочным. Почему же он не сдавал экзамены?

В составленной Ольгой Новиковой (сейчас она зам. председателя Фонда Гумилева) хронике жизни Гумилева говорится, будто он в 1937-м завалил экзамен по основам марксизма-ленинизма, а затем пересдал – на тройку. Но экзамен по «Диалектическому и историческому материализму» (именно так назывался этот предмет) Гумилев сдал на четверку. Так что заведующий спецчастью ЛГУ товарищ Шварцер зря написал в характеристике, будто студент Гумилев «…получал двойки по общественно-политическим дисциплинам (ленинизм) вовсе не потому, что ему трудно работать по этим дисциплинам, а он относился к ним как к принудительному ассортименту, к обязанностям, которые он не желает выполнять».

Поразительно другое – когда Гумилев сдал этот экзамен. 5 мая 1936 года. Вот это действительно загадка, ведь в мае 1936-го Гумилев вообще не был студентом истфака ЛГУ. Его восстановят только 19 октября 1936-го. Зимнюю сессию 1936-го Гумилев пропустил, а вот в маеиюне сдал сразу шесть экзаменов. Можно предположить, что экзамены за второй курс он сдавал на третьем курсе, то есть зимой и летом 1937-го. Тогда все вроде бы встает на свои места. Но почему тогда преподаватели в графе «дата сдачи курса» ставили не 1937-й, а 1936-й? Зачем им было заниматься приписками, да еще в то время, когда любая оплошность могла стать поводом для самого грозного обвинения?

Так или иначе, но до марта 1938-го Гумилев относительно спокойно учился и наконецто мог сосредоточиться на академической жизни. Свою первую научную работу Гумилев уже написал, круг его научных интересов определился еще раньше.

«МОЙ ПРЕДОК БЫЛ ТАТАРИН КОСОГЛАЗЫЙ…»

Русский филолог Александр Михайлович Панченко, друг Льва Гумилева, считал его интерес к Востоку «своего рода семейным увлечением». Но Николай Степанович, строго говоря, интересовался не Востоком, а экзотикой далеких стран и далеких эпох. Как и положено русскому культурному человеку своей эпохи, он был европейцем по образованию и воспитанию, писал о конкистадорах, а не о нойонах и багатурах, столь любезных сердцу его сына. Интерес Гумилева-старшего к Центральной Азии был самым поверхностным:

Мне снятся королевские алмазы
И весь в крови широкий ятаган. <…>
Мне чудится (и это не обман),
Мой предок был татарин косоглазый,
Свирепый гунн…

Стихи-то хороши, но ни гунны, ни татары не вооружались турецкими ятаганами. Лев унаследовал у отца память и творческое воображение. Унаследовать интерес к истории азиатских кочевников он не мог, потому что Николай Степанович их истории совершенно не знал.

Лев Гумилев в конце жизни любил рассказывать о своем татарском происхождении. Неужели он верил, будто предки того самого дьячка-псаломщика Христорождественской церкви Якова Федотовича Панова, что женился на дочери священника Григория Гумилева, были татарами? Или речь шла о полумифическом князе Милюке? Лев Васильевич Львов, прапрадед Льва Гумилева, женился на Анне Милюковой и получил с приданым село Слепнево. Предком Милюковых и первым владельцем Слепнева считался этот самый князь Милюк. На самом же деле Слепнево получил в 1682 году не «князь Милюк», а Яков Иванович Милюков. Это была награда за участие в походах против крымского хана.

Гумилев иногда упоминал, что его предок сражался на поле Куликовом, причем командовал одним из полков. Если так, то речь идет о Семене Мелике (Милюке), который и в самом деле участвовал в Куликовской битве. Именно к нему возводили свою родословную Милюковы. Вот только татарским князем Семен Мелик не был, он происходил «из немец». Связь же тверских

Милюковых с Семеном Меликом не вполне ясна. В Тверской губернии в XIX веке было пять дворянских родов, носивших фамилию Милюковы. Недаром Валерий Шубинский, строгий исследователь, автор самой солидной биографии Николая Гумилева, скептически отнесся к запутанным и сомнительным родословным мелкопоместных дворян. Не станем и мы доверять семейным легендам. Документальных же подтверждений татарского происхождения Львовых и Гумилевых нет.

Сложнее с Ахматовой. Эмма Герштейн находила в ней даже не увлечение, а «органическое тяготение» к Востоку. В Казани говорили, будто Ахматова – «настоящая татарская писательница», а узбеки в Ташкенте сожалели, что Анна Андреевна носит «татарскую» фамилию Ахматова, а не узбекскую «Ахметова». Но восточной лести верить нельзя, а Эмма Герштейн мало что знала о Востоке.

Связь с европейской культурой для Ахматовой органична и непрерывна. Что рядом с этой связью несколько ориентальных образов, украсивших часть ташкентских стихотворений? И многое ли значат переводы китайских и корейских поэтов, которыми она занималась для заработка? Ахматова была русским поэтом. Ее воспитание, интересы, вкусы, круг чтения – все было русским и европейским. Исайе Берлину даже бросилось в глаза ее западничество: «Оба (Пастернак и Ахматова. – С.Б.) принадлежали к тем, кто лелеял несбыточные иллюзии относительно богатой художественной и интеллектуальной культуры Запада – о золотом мире, полном творческой жизни…» А что Восток?

Восток еще лежал непознанным пространством И громыхал вдали, как грозный вражий стан…

Правда, ей нравилась семейная легенда: «Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный русский убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. <…> Этот Ахмат, как известно, был чингизидом». Другой раз она написала, будто ее прабабушка была «чингизидкой, татарской княжной». На самом же деле, считает биограф, прабабушка Анны Андреевны «Прасковья Федосе евна Ахматова была, конечно, не татарской княжной, а русской дворянкой. Ахматовы – старинный дворянский род, происходивший, наверное, от служилых татар, но давным-давно обрусевший».

Осторожные биографы, правда, оговариваются: происхождение от чингисидов подтвердить нечем, но его нельзя и отрицать. В.Черных и С.Коваленко, составившие родословную Ахматовой, не решились развенчать легенду, ведь «мать Прасковьи Федосеевны – Анна Яковлевна – до замужества носила

фамилию Че годаева и, по всей вероятности, происходила из рода татарских князей Чегодаевых». Эта русская княжеская фамилия напоминает имя хранителя Ясы, второго сына Чингисхана – Чагатая, хотя никаких доказательств, подтвердивших бы связь Чегодае вых и тем более Горенко с чингисидами, нет и они вряд ли когдалибо найдутся. Да и княжеская фамилия, вероятнее всего, происходит всего лишь от этнонима «чагатаи», так называли смешанное тюрко-таджикское население долин Кашкадарьи и Сурхандарьи, что в современном юго-западном Узбекистане.

Гумилев же легенду о предках-чингизидах любил и не раз воспроизводил, по всей видимости, не без удовольствия. Даже на допросе он будет рассказывать следователю: «Ахматовы – князья из рода чингизидов, принявших православную веру и получивших фамилию Ахматовы».

Интересно, что другую ахматовскую легенду – о предках-греках – Лев Николаевич не упоминал ни разу.

Если даже поверить в татарское происхождение Гумилева, то его любовь к степям и степнякам не обусловлена генетически. Сотни дворянских фамилий имели татарские корни, но потомки тюркских и монгольских головорезов, некогда предложивших свою саблю московскому великому князю, стали обычными русскими европейцами. Скажем, Феликса Юсупова, потомка знаменитого татарского полководца Едигея, служившего самому Тамерлану, ориентальное происхождение не подтолкнуло ни к евразийству, ни к востоковедению.

Когда Гумилев полюбил историю Центральной Азии? Когда и почему стал тюркофилом и монголофилом? В Бежецке татары не жили, а в доступных маленькому Леве библиотеках не было книг по истории и этнографии Центральной Азии. Сам Гумилев позднее рассказывал, как перенес любовь к литературным индейцам, героям Купера и Майн Рида, на «евразийских индейцев» – тюрков, половцев, монголов. Но что это нам дает? Миллионы советских детей любили Чингачгука, Оцеолу и других романтических героев североамериканских прерий. Но они не знали и не стремились узнать о Тонъюкуке, Есугей-багатуре или Субудай-багатуре.

В последнем классе школы Гумилев читал «Историю Древнего Востока» Бориса Александровича Тураева. Но классическая монография Тураева посвящена истории Египта, Ассирии, Вавилона, Персии. Тураев был одним из первых русских египтологов, кочевники Центральной Азии в сферу его научных интересов не входили.

Эмма Герштейн приписывает увлечение Гумилева историей

Центральной Азии влиянию евразийцев. Их сочинения он мог будто бы найти в библиотеке Пунина: «Это было в 1934 году. <… > Я помню, как он называл имя кн. Трубецкого в связи с жизнью этого мыслителя в Праге и постигшими его там бедами из-за прихода нацистов».

Увы, Эмма Герштейн явно переносит на 1934-й какой-то поздний, конца пятидесятых годов, разговор с Гумилевым. В 1934 году нацисты еще не пришли ни в Прагу, ни в Вену, где провел последние годы жизни князь Трубецкой. Несчастья постигли Николая Сергеевича Трубецкого в 1938-м, после аншлюса. Гумилев в это время сидел в «Крестах» и о невзгодах великого лингвиста и евразийца понятия не имел, равно как и о его существовании.

Правда, уже в университетские годы Гумилев прочтет книгу Николая Толля «Скифы и гунны», изданную в Праге в 1928 году. В приложении к ней была статья Савицкого «О задачах кочевниковедения (Почему скифы и гунны должны быть интересны для русского?)». Но окружающие заметили интерес Гумилева к монголам гораздо раньше. Первое свидетельство относится к июню 1931 года, ко времени его Прибайкальской экспедиции. На перегоне между Иркутском и Слюдянкой какой-то пожилой бурят положил голову на колени Анне Дашковой. Но восемнадцатилетний Лев заступился не за подругу, а за бурята: «Оставьте его, пусть спит. Аборигенов нужно уважать, ведь они потомки монголов…» А в предисловии к своему эссе «Из истории Евразии» Гумилев пишет, что собирал материалы «о деяниях хуннов, тюрок, хазар и монголов» уже с 1930 года.

Интерес Гумилева к степнякам, видимо, был природным, его нельзя объяснить ни воспитанием, ни влиянием окружения, ни прочитанными книгами. Герштейн утверждает, что уже «в молодости он поражал сходством с азиатским типом – и чертами лица, и движениями, и характером». Правда, это сходство появилось, по всей видимости, не сразу. С какогото времени Гумилев начинает сознательно подражать татарам, что примечательно, ведь он обычно не следил за собственной внешностью. Летом 1935-го Гумилев в экспедиции отрастил «татарские» усы – «тонкие, спускающиеся по углам рта». Весной того же 1935 года Анна Ахматова в тревоге говорила Эмме Герштейн: «Лева так безумно, так страстно хочет… уехать в Монголию».

Приступить к основательному изучению истории евразийских кочевников Гумилев смог только в университете: «Целостной истории тюрков и монголов просто не было. Тогдато я решил заняться этой темой сам», — рассказывал Лев Гумилев своему

ученику Вячеславу Ермолаеву.

МОЛОДОЙ ВОСТОКОВЕД

Русские востоковеды изучали тюркскую и монгольскую этнографию, историю и филологию уже больше ста лет, а Ленинград тридцатых годов оставался главным центром советского востоковедения. Правда, в 1934 году восточного факультета в Ленинградском университете не было (его восстановят только в 1944 м), а тюркология и монголоведение были сосредоточены в Институте востоковедения АН СССР – ИВАНе.

После смерти академика Владимирцова (1934) крупнейшими советскими монголоведами были Николай Николаевич Поппе и Сергей Андреевич Козин. Поппе, знаменитый исследователь алтайских (тюрко-монгольских) языков, уже в тридцать шесть лет стал членом-корреспондентом Академии наук – случай редкий для гуманитария. Козин в начале двадцатых занимал пост советника при Богдогэгэне, «живом боге» и правителе независимой Монголии. Поппе и Козин свободно говорили по-монгольски, а Козин монгольский к тому же преподавал. Но с Поппе Гумилев, на свое счастье, знаком не был, иначе ему на следствии 1949-го предъявили бы еще одно обвинение. В 1942 году Николай Николаевич перешел к немцам, а после войны попал в США, где продолжил свою блистательную научную карьеру. Козин же будет научным руководителем Гумилева в аспирантуре Института востоковедения, но это случится уже после войны, а в университетские годы они, видимо, не были знакомы.

Тюркологией занимался Сергей Ефимович Малов, старый русский востоковед, ученый с мировым именем, получивший звание профессора еще в 1917 году. Много лет он занимался языками, историей, культурой и этнографией тюркских народов России и Китая.

Айдер Куркчи – единственный из биографов Гумилева, кто рассказал о его знакомстве с Маловым. Но мемуары Куркчи доверия не вызывают, слишком много в них грубых ошибок, много недостоверных сведений.

Если бы Гумилев и в самом деле был хорошо знаком с Маловым, он непременно рассказал бы об этом в интервью. Не включил Гумилев Малова и в список своих учителей, который открывает монографию «Древние тюрки». Разумеется, он много и охотно ссылается на Малова, ведь тот, в числе прочего, прочитал, перевел и опубликовал орхонтские надписи древних тюрков, важнейший источник, без которого монография Гумилева

потеряла бы очень много.

Сам Гумилев охотно рассказывал об университетском знакомстве только с одним тюркологом, учеником Малова, — с Александром Натановичем Бернштамом. К Бернштаму Гумилева привел кто-то из преподавателей, возможно, Кюнер или Якубовский. Сфера научных интересов Бернштама была ближе всего к интересам Гумилева. Александр Натанович написал кандидатскую диссертацию как раз по истории тюрков VI–VIII веков, но и после защиты (1934) продолжал заниматься этой темой. Бернштам вел археологические раскопки в Средней Азии, изучал тюркские надписи, публиковал статьи по истории древних тюрков и их соседей (тюргешей, уйгуров). Уже после войны вый дет его монография «Социально-экономический строй орхоно енисейских тюрков VI–VIII вв.» – расширенная и переработанная кандидатская. Казалось бы, именно Бернштам должен стать научным руководителем Гумилева.

Но их встреча окончилась катастрофой. Почти полвека спустя Гумилев будет так рассказывать о ней: «Александр Натанович Бернштам… начал разговор с предостережений, сказав, что самое вредное учение по этому вопросу сформулировано "евразийством", теоретиками белоэмигрантского направления, которые говорят, будто настоящие евразийцы, то есть кочевники, отличались двумя качествами – военной храбростью и безусловной верностью. И на этих принципах, то есть на принципе своего геройства и принципе личной преданности, они создавали великие монархии. Я ответил, что мне это, как ни странно, очень нравится и мне кажется, что это сказано очень умно и дельно. В ответ я услышал: "У вас мозги набекрень. Очевидно, вы – такой же, как и они". Сказав так, он пошел писать на меня донос. Вот с этого и началось мое знакомство с евразийством и с научным работником Бернштамом…»

Трудно сказать, насколько рассказ Гумилева соответствовал истине, ведь даже в научных монографиях Лев Николаевич, случалось, мешал правду с фантазией, а в рассказе о своем давнем враге он вряд ли избежал натяжек. Несомненно одно: встреча Гумилева и Бернштама привела к ссоре, что не удивительно: оба, и молодой Гумилев, и Бернштам, были людьми чрезвычайно экспансивными и резкими.

И все-таки Гумилев нашел в ЛГУ и хороших преподавателей, и умных квалифицированных консультантов, которые помогли ему обучиться ремеслу историка. Помимо Кюнера и Якубовского Гумилеву помогал Михаил Артамонов. Уже в тридцатые в руки Гумилева попали работы географа и путешественника Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло,[16] которого Лев будет считать

своим предшественником. Сам Грумм-Гржимайло тогда доживал последние месяцы, его не станет в марте 1936-го. Правда, «Западную Монголию и Урянхайский край», главный, с точки зрения Гумилева, труд Грумм-Гржимайло, Лев Николаевич прочтет только в середине пятидесятых, в лагере.

Ранней специализации тогда не было, а занятия на первом-втором курсах не оставляли места для научной работы, но зимой 1935-1936-го Гумилев, отчисленный из университета, начинает работу над статьей об удельно-лествичной системе Тюркского каганата. Это был первый шаг к диссертации, единственная научная работа, законченная до ареста в 1938-м. Среди прочего Гумилев доказывал, что организация политической власти в каганате напоминала удельно-лествичную систему, известную по истории Киевской Руси. Власть над государством принадлежала старшему в роду, а после его смерти переходила к младшим братьям, после смерти последнего из них – к сыну старшего брата и так далее.

В 1936 году помимо истории Тюркского каганата у Гумилева появилось и новое увлечение. Летом 1936-го он работал на раскопках хазарской крепости Саркел (на Дону). Видимо, именно тогда Гумилев под влиянием Артамонова, своего начальника и учителя, впервые заинтересовался хазарской историей. В 1938 м на пересылке Гумилев будет читать своим «однодельцам» (Шумовскому, Ереховичу и другим) лекцию именно о хазарах. Интерес к Хазарии не пропадет у Гумилева и много лет спустя, он вернется к хазарам уже на рубеже пятидесятых и шестидесятых. Это будет славное возвращение, хотя и приведет к совершенно неожиданным последствиям.

ДАР СЛОВ

В 1990 году на вопрос журналиста, как удалось избежать соблазна стать поэтом, Лев Николаевич отвечал с иронией: «Я был сыном опальных поэтов, журналы не печатали даже мои научные изыскания, так что соблазн, как вы выразились, на самом деле был невелик. Отношение к художественной литературе у меня сначала было пассивное (я ее иногда читал), а потом и вовсе сошло на нет».

Гумилев говорил это в семьдесят восемь лет. А в двадцать пять и даже в тридцать пять он был совсем другим человеком. Современники восхищались его поэтической эрудицией и уникальной памятью.

Эмма Герштейн: «Сергей Борисович (Рудаков, литературовед и поэт. – С.Б.) и Лева целый вечер читали стихи, щеголяли знанием Сумарокова, читая его наизусть вслух, обсуждали русский XVIII век».

Алексей Савченко, инженер, солагерник Гумилева: «Он читал наизусть стихи Н.Гумилева, А.К.Толстого, Фета, Баратынского, Блока, каких-то совершенно неизвестных мне имажинистов и символистов, а также Байрона и Данте».

Мемуаристы вспоминают, как Гумилев читал наизусть Иннокентия Анненского, Владислава Ходасевича, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Николая Олейникова, Павла Антокольского и многих еще поэтов. Причем не только стихотворения, но и поэмы. «Так, он два вечера подряд читал "Божественную комедию", — вспоминал Алексей Савченко.

В 1936 году Гумилев будет жаловаться Эмме, что в университете «совсем заскучал без стихов».

Дар слов, неведомый уму,
Мне был обещан от природы.
Он мой.

Л.Н.Гумилев. «Огонь и воздух». 1934

С годами его вера в собственный поэтический дар даже укрепилась. Из воспоминаний Руфи Зерновой: «— А вы сами… Вы пишете стихи?

— Пишу.

— Хорошие?

— Хорошие, — сказал он убежденно». Скромность – не гумилевская добродетель. Тридцатые-сороковые годы – самый плодотворный период для Гумилева-поэта. «Блокноты были полны стихами», — рассказывал позднее Орест Высотский.

Сочинял он часто в дороге. «Если доводилось бывать с Левой в совместных походах, то можно было слышать стихи, произносимые им тихо, как бы про себя. <…> Иногда и незнако мые, возможно, его собственные, навеянные красотой природы, отрешенностью от обыденного», — вспоминала Анна Дашкова.

Стихотворение «Огонь и воздух» он написал в поезде на пути из Москвы в Ленинград. Стихи он обычно не записывал, а переносил на бумагу, только если хотел сделать подарок. Так они попали к Дашковой вместе с письмами, и она их сохранила. Еще чаще он дарил стихи Эмме Герштейн. «Вот он сидит у моего секретера и пишет небольшое стихотворение, слишком напоминающее раннего Лермонтова. Помню только заключительную строку "И уж ничто души не веселит"».

Собранные в книге «Дар слов мне был обещан от природы» стихотворения и поэмы далеко не исчерпывают написанного им в те годы. Когда-то в Бежецке Анна Ивановна Гумилева бережно складывала листочки со стихами внука в деревянную шкатулку. Позднее не будет рядом такого доброго хранителя. Кочевая жизнь не располагала к заведению архива, тюрьмы и лагеря – тем более. Записанные Марией Зеленцовой стихи сильно пострадали в блокаду: попала вода и бумага склеилась. Листочки со стихами могли забрать во время обысков и арестов. Вот как, по словам Н.Я.Мандельштам, это обычно происходило: «Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными… ящиками. <…> Каждая просмотренная бумажка <…> либо шла на стул, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол…» и потом бумаги «лежали на полу с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог».

Бумаги могли уничтожить и на месте. «Они выдвигали ящики письменного стола, вытаскивали оттуда бумаги и, не читая, рвали их в мелкие клочья… очень старательно истребляли фотографии», — рассказывает Лидия Корнеевна Чуковская.

Могут ли лирические стихи Гумилева тридцатых годов добавить новые краски к его психологическому портрету? Если так, то это стихи несчастливого, одинокого человека.

В этой жизни жизни слишком мало.
Этот белый свет – мне черный дым. <…>
…мне на этом свете

Плохо и с тобой, и без тебя.

И названия говорят сами за себя. «Самоубийца» (1934), «Одиночество» (1935). Всё это вполне вписывается в портрет Гумилева из мемуаров Эммы Герштейн. Она часто отмечает перепады его настроения. «Я чувствую, как отталкиваюсь от земли ногами», — говорил он Эмме на вокзале. А потом в Ленинграде «он был в развинченном состоянии… только что не плакал от стихов, нервов и водки».

Правда, Анна Дашкова и Мария Зеленцова запомнили его веселым и жизнерадостным. Во время тяжелых переходов на Хамар-Дабане он подбадривал других, сочиняя незатейливые, но смешные экспромты. Наталья Викторовна Гумилева утверждала, что муж ее был смешливым человеком с прекрасным характером. Значит, это было свойственно ему от природы, не после тюрем же он стал смешливым.

Тем не менее сквозной образ лирических стихов Гумилева тридцатых годов – «черные звезды», знак беды и даже гибели.

А в черном омуте такая глубина, Что, даже утонув, ты не достигнешь дна. Там, водорослью скользкою обвитый, Ты звезды черные увидишь над собой…

Многие стихи Льва Гумилева архаичны прежде всего лексикой: «лик», «чело», «стезя», «днесь», «яства», «наипаче», «чреда», «вертоград», «влачусь», «вдоль нея», «дольний», «бранное знамя».

Есть у Гумилева и архаичные для тридцатых годов XX века жанры – мадригал, канцона. Иногда Гумилев ориентируется даже не на XIX, а на XVIII век.

Из воспоминаний Эммы Герштейн: «Изысканные стихи в тридцатых годах считались убийственно старомодными. Писали тогда "под Маяковского", поминали тайком Есенина, более рафинированные любители стихов чтили "камерного" и "непонятного" Пастернака…»

Картина была сложнее. В начале тридцатых писал и даже, бывало, печатался Мандельштам. Заболоцкий успел до ареста выпустить «Столбцы» (1929) и «Вторую книгу» (1937). Еще не забылись выступления обэриутов, но массового успеха они не имели.

Из записных книжек Лидии Гинзбург: «Педагогический опыт этого года (рабфак. – С.Б.) убедил меня в том, что из всей новой поэзии массовый читатель знает и любит по преимуществу Есенина. <…> Маяковский плохо понятен. <…> Читатель, которого я имею в виду… это профтысячник, рабфаковец, часто

партиец. Он слыхал, что Есенин упадочный, — и стыдится своей любви. Есенин, как водка, как азарт, принадлежит в его быту к числу факторов, украшающих жизнь, но не одобряемых».

Но власть в двадцатые и особенно в тридцатые годы культивировала оптимизм, пропагандировала преимущества советской жизни. С киноэкрана, из тарелок радиоприемников, с газетных полос и агитационных плакатов в массовое сознание внедрялись совсем другие стихи.

«Рекомендовать Безыменского комсомольцам нечего. Они и так его прекрасно знают. Каждому грамотному молодому рабочему известен и близок образ своего поэта, который рассматривает свое творчество лишь как особый вид партийной работы, поэта, который выражает думы и чувства "стальной большевицкой породы"», — писал критик Г.Лелевич.

Критик совершено адекватен своему герою и соответствует уровню его дарования.

Прежде всего я член партии,
А стихотворец – потом.
<…>
Из солнцебетона и стали я скован.
Отсёк я Былое, схватив его космы.
Во чреве заводов, под сердцем станковым
Я зачат и выношен. Вырос же – в Космос…

Стихи Льва Гумилева не вписывались в реальность тридцатых не только жанрами, лексикой, но и содержанием и, главное, мироощущением автора. На первый взгляд он даже не касается современности, но только на первый взгляд.

Над столпом самодержавия
Вековым гранитом прав
Черный ангел крылья ржавит,
Свитки славы растеряв.
<…>
Окаянный, как Иуда,
Сумасшедший новый год.

Это о каком времени? Под стихотворением дата – 1936 год.

Старцы помнят, внуки помнят тоже; Прежде, чем сместился звездный путь, Равный с равной спал на брачном ложе, Равный с равным бился грудь о грудь. С кем теперь равняться, с кем делиться И каким завидовать годам? Воют волки, и летают птицы

По холодным, мертвым городам.

А это о каком времени? Дата под стихотворением – 1937 год.

Не зря Ахматова заставила Эмму Герштейн сжечь листки со стихами Льва. Реальность сталинского СССР была ему чужда и враждебна. Себя и людей близких Гумилев относил к потерянному поколению, которое не вовремя появилось на свет. Вспомним судьбы его друзей.

Теодор Шумовский – востоковед-арабист, семнадцать лет провел в лагерях и ссылке.

Николай Давиденков – биолог, погиб в лагере.

Аксель Бекман – референт-переводчик АН СССР, расстрелян в 1942 году.

История – главная тема гумилевских стихов. Труд историка – почтенный и благородный, историк спасает человечество от забвения.

Но всех прядет судьбы веретено
В один узор; и разговор столетий
Звучит как сердце в сердце у меня.
Так я двусердый, я не встречу смерти,
Живя в чужих словах чужого дня.

Товарищ Сталин исключительно высоко ставил роль личности в истории, непростительно высоко для марксиста. К середине тридцатых в отечественную историю вернулись Екатерина II, Иван Грозный и, конечно же, Петр Великий. Гумилев яркими историческими фигурами всегда интересовался, но царя Петра не любил. В его стихах Петр не великий и суровый государь, а просто палач.

Но Москва бессильней крымских пленниц
На коленях плачет пред царем.
И стоит гигант-преображенец
Над толпой с кровавым топором.

Понятно, с кем ассоциировался в те годы Петр. Немудрено, что Гумилев видел свое место не в свите царя и даже не в толпе зевак, а на дыбе или на плахе:

Мне от дыбы страшно ломит спину,
Колет слух несносный скрип подвод,
Ибо весь я страшно отодвинут
В сей суровый и мятежный год.

В тридцатые годы взгляды Гумилева на историю еще только формировались. Судя по стихам (а других источников здесь нет, в тридцатые он написал только одну статью), его взгляд на историю отличался от распространенных тогда марксистско-гегельянских представлений. История в поэзии раннего Гумилева – увлекательный, но жестокий мир, где одна трагедия разыгрывается вслед за другой. Не зря же он любил исторические хроники Шекспира. Впервые прочитал их еще в Бежецке, а в декабре 1951 года просил Ахматову прислать их ему в Камышлаг.

В истории человечества он как будто не видел прогресса. В стихах тридцатых он прогресс не отрицает – он его просто не замечает. В мире нового средневековья рассуждать о любом прогрессе, кроме технического, просто смешно.

Часть III

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР И АРЕСТ 1938

1938 год начинался для Гумилева удачно. Ему даже предложили напечататься в журнале студенческого научного общества. Террор как будто обходил его стороной. Но в ночь с 10 на 11 марта 1938-го за Гумилевым пришли. Утром 11 марта Орест Высотский, который тогда ночевал на Фонтанке, 149, но ареста избежал, пришел в Фонтанный дом и сообщил Ахматовой о случившемся.

Арест 1938-го Гумилев связывал с лекцией Льва Васильевича Пумпянского о русской поэзии начала века:

«Лектор стал потешаться над стихотворениями и личностью моего отца. "Поэт писал про Абиссинию, — восклицал он, — а сам не был дальше Алжира… Вот он – пример отечественного Тартарена!" Не выдержав, я крикнул профессору с места: "Нет, он был не в Алжире, а в Абиссинии!" Пумпянский снисходительно парировал мою реплику: "Кому лучше знать – вам или мне?" Я ответил: "Конечно, мне". В аудитории около двухсот студентов засмеялись. В отличие от Пумпянского, многие из них знали, что я – сын Гумилева. Все на меня оборачивались и понимали, что мне действительно лучше знать. Пумпянский сразу же после звонка побежал жаловаться на меня в деканат. Видимо, он жаловался и дальше. Во всяком случае, первый же до прос во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной следователь Бархударян начал с того, что стал читать мне бумагу, в которой во всех подробностях сообщалось об инциденте, произошедшем на лекции Пумпянского…»

Однако в марте 1938-го Гумилева допрашивал Филимонов, а не Бархударьян. Пумпянский вовсе не был стукачом, а донос в НКВД написал, вероятно, кто-то из студентов – в аудитории из двухсот человек должен был находиться не один осведомитель. Но и этот донос на арест, скорее всего, не повлиял, Гумилев был обречен задолго до этой несчастной лекции.[17]

В годы Большого террора следователи руководствовались не столько индивидуальным, сколько классовым и отчасти национальным подходом. На оперативном совещании начальников региональных управлений НКВД Ежов дал понять: «Нужно арестовывать по соцпризнаку и прошлой деятельности в контрреволюционных партиях». «Тогда не спрашивали друг у друга: "Как вы думаете, за что арестовали Ивана Алексеевича?", но: "По какой линии?", а линий было великое множество и самых разнообразных, а потому в ответ на заданный вопрос можно было услышать: "По линии глухонемых", или "По линии поляков", или

"По линии библиотекарей"», — вспоминала Лидия Чуковская.

Гумилеву, дворянскому сыну, уже дважды арестованному, уже давшему на себя показания, уцелеть можно было только случайно. Но и вероятность этой случайности сводилась к величине ничтожно малой самим же Гумилевым.

В отличие от своего предусмотрительного и осторожного брата Лев учился на одном из самых опасных факультетов. Фразу видного историка-марксиста М.Н.Покровского об истории как «политике, обращенной в прошлое», хорошо помнили. В 1937 м репрессировали ректора ЛГУ, который всего полгода назад так помог Гумилеву. В апреле 1937-го Михаила Семеновича исключили из партии, обвинив в связях с «правым отщепенцем Бухариным» и «троцкистскими бандитами». Лазуркин еще работал в кабинете ректора, когда газета «Ленинградский университет» напечатала разгромную статью о нем: «В университете работа Лазуркина характеризуется насаждением подхалимства, угодничества и самовосхваления. А под шум самовосхваления в университете окапывались враги народа, занимали руководящие административные и научные должности».

Арестовали Лазуркина в июне (он погибнет во время следствия), взяли и его жену, Дору Абрамовну. Она выживет в лагере и много лет спустя сумеет по-своему отомстить за мужа. На XXII съезде КПСС именно старая большевичка Лазуркина (член партии с 1902 года), когда-то дружившая с Крупской, потребует вынести из Мавзолея тело Сталина: «Во сне ко мне часто приходит Ильич и говорит: "Мне неприятно лежать в Мавзолее рядом со Сталиным: он совершил столько зла"».

Чистки и репрессии и прежде были на гуманитарных факультетах обычным делом. Первый декан исторического факультета Григорий Соломонович Зайдель был арестован еще в январе 1935-го по обвинению в связях с Зиновьевым. Вслед за деканом на факультете арестовали еще двенадцать «скрытых зиновьевцев». Второго декана, Сергея Митрофановича Дубровского, арестовали в 1936-м, в том же году взяли еще десять преподавателей. Третьего декана, Арвида Карловича Дрезена, обвинили в попустительстве вредителям и троцкистам и тоже арестовали. Это было уже в 1937-м. А всего между 1934-м и 1940-м на историческом факультете сменилось семь деканов. Продолжали сажать и преподавателей, доцентов, профессоров. Профессора Ковалева, пишет в своих воспоминаниях Дьяконов, обвинили во «вредительской трактовке» заговора Катилины. Потом появилось и обвинение в терроризме. Оказывается, пожилой историк античности замышлял (в одиночку?) прорыть

подземный ход от здания исторического факультета на Васильевском острове до Дворцовой площади, «чтобы устроить террористический акт во время демонстрации».

В простенках университетского коридора прежде висели портреты профессоров, теперь они исчезали один за другим, на месте старых появлялись новые, но и они задерживались ненадолго. В конце концов перевешивать портреты устали и приняли разумное решение: портреты убрать вовсе.

ВТОРОЕ СЛЕДСТВИЕ, ПЕРВЫЙ СРОК

Второе дело Гумилева, где ему досталась роль организатора антисоветской террористической группы, начинается зимой 1938 го. 10 февраля арестовали Теодора Шумовского и Николая Ереховича. Если с первым Гумилев и в самом деле был хорошо знаком, то второго не знал вовсе. Николай («Ника») Ерехович был студентом-старшекурсником филологического факультета ЛГУ, специализировался, как и арабист Шумовский, по кафедре семито-хамитских языков и литератур, но занимался не арабами, а Древним Египтом. Только наивный читатель может подумать, будто историк и два филолога-востоковеда мало подходили на роль подпольщиков, заговорщиков, террористов. Подходили идеально. С Гумилевым все понятно, социальное происхождение у Ереховича было и того хуже – он был сыном царского генерала и крестником императора Николая II, Шумовского же взяли «по линии поляков».

Три студента, по мысли следователей, входили в «молодежное крыло» «партии прогрессистов», которая стремилась превратить Советскую страну в буржуазную парламентскую республику. Гумилев, как видим, заметно полевел, превратившись из монархиста и сторонника сословного общества в буржуазного прогрессиста. Студенты оказались в стенах хорошо знакомого Гумилеву ДПЗ на Войкова (Шпалерной). Но обстановка весьма отличалась от той, что Лев помнил по октябрьским дням 1935 го. Для Ереховича и Шумовского все было внове: «…за решеткой молчаливо извивалась густая толпа, месиво заросших мужских лиц и полуобнаженных бледных тел ворочалось в смрадной духоте». Гумилев, Ерехович и Шумовский сидели в соседних камерах на втором этаже, а с первого этажа время от времени доносились протяжные стоны и вопли. «Пытают», — сказал Шумовскому сосед по камере.

Кто-то из соседей по камере рассказал Шумовскому, как тому повезло: «Здесь, в НКВД, изготовляют шпионов, изменников, диверсантов, а у тебя ничего этого нет! <…> "…буржуазный прогрессист", за это, конечно, по головке не гладят, но ведь не фашист! Считай, выпал счастливый номер». И посоветовал поскорее признаться во всем, пока не затащили на первый этаж и не превратили в инвалида. Возможно, этот «доброжелатель» был подсажен в камеру следователем. Если так, то подобной же обработке в соседних камерах подвергались Ерехович и Гумилев. Психологическая обработка скоро принесла плоды: Ерехович раскололся вскоре после ареста. Шумовский сопротивлялся

дольше. Он «сознался» лишь после того, как увидел изуродованного пытками сокамерника, бывшего латышского стрелка Краузе, и понял, что вопли и стоны на первом этаже – не мистификация.

Гумилева обвиняли по статьям 58-10 (контрреволюционная пропаганда и агитация) и 58-11 (организационная контрреволюционная деятельность). Но расколоть его сразу не удалось. Первый допрос следователь Филимонов провел сразу после ареста, но Гумилев ни в чем не признался, психологические методы уже не действовали на него: опыт 1935-го не прошел даром. Тогда 2 апреля 1939 года Гумилева передали в руки сержанта Бархударьяна, оперуполномоченного 8-го отделения 4-го отдела Управления НКВД по Ленинградской области.

Михаил Петрович Фриновский, первый заместитель наркома Ежова, непосредственно руководивший операцией «по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов», уже после своего ареста пояснял, что террор создал особый тип «следователя-колольщика». Такой следователь мог обойтись вовсе без агентурных данных.

Айрат Карпович Бархударьян, самый страшный следователь в жизни Гумилева, как раз и был таким «колольщиком». В его задачу входило выбить из Гумилева показания. Сержант выбивал их почти три месяца.

Гумилев вспоминал, что Бархударьян «бил краем ладони по шейным нервным окончаниям. Он, видимо, знал, что именно в этой области расположен нерв френикус, напрямую связанный с деятельностью полушарий головного мозга». Кроме того, Бархударьян бил Гумилева «палкой по… сонной артерии». В конце концов 21 июня 1939 года Гумилев под пыткой подписал протокол, составленный, очевидно, самим Бархударьяном. Там было признание во всем: в руководстве антисоветской молодежной организацией, в контрреволюционной агитации (чтение стихотворения Мандельштама о «кремлевском горце»), в подготовке покушения на товарища Жданова. Здесь же Гумилева заставили дать показания и на мать: «Я всегда воспитывался в духе ненависти к ВКП(б) и Советскому правительству. <…> Этот озлобленный контрреволюционный дух всегда поддерживала моя мать – Ахматова Анна Андреевна, которая своим антисоветским поведением еще больше воспитывала и направляла меня на путь контрреволюции. <…> Ахматова неоднократно мне говорила, что, если я хочу быть до конца ее сыном, я должен быть сыном моего отца Гумилева Николая. <…> Этим она хотела сказать, чтобы я все свои действия направлял на борьбу против ВКП(б) и Советского правительства». Затем последовало несколько очных

ставок, в том числе и с Орестом Высотским, которого арестовали в апреле 1938-го.

В конце августа сознавшихся студентов перевели в знаменитую тюрьму Кресты, где они в ночь с 26 на 27 сентября 1938 года оказались в одной камере. Гумилев встретил Ереховича и Шумовского приветствием: «Ну вот, все в сборе. <…> Здорово, братцы».

Шумовский пишет, что у Гумилева отросли усы и борода, причем борода окладистая, что само по себе интересно. Бороду Гумилев будет носить в начале пятидесятых, в свой новый лагерный срок, но это будет борода то ли «чеховская», «профес сорская», то ли «восточная», то ли, как называл сам Гумилев, «испанская», но никак не окладистая.

Ночь прошла за разговорами. Три опасных заговорщика, убежденные антисоветчики и террористы, которым мог вполне угрожать расстрел, беседовали о Древнем Востоке и семитохамитской филологии.

Днем 27 сентября тюремная машина привезла их в здание Главного штаба на Дворцовую площадь, где заседал Военный трибунал Ленинградского военного округа. Поскольку организация Гумилева была террористической, то и суд им полагался военный.

Перед лицом военного трибунала трое «контрреволюционеров», «прогрессистов» и несостоявшихся «террористов», пишет В.Шенталинский, от своих показаний отказались.

Гумилев: «…отказываюсь от протокола допроса, он был заготовлен заранее, и я под физическим воздействием был вынужден его подписать. <…> Никакого разговора с моей матерью о расстрелянном отце не было. Я никого не вербовал и организатором контрреволюционной группы никогда не был. <… > Я как образованный человек понимаю, что всякое ослабление советской власти может привести к интервенции со стороны оголтелого фашизма…»

Шумовский: «Я должен был это подписать, чтобы избавить себя от давления и воздействия следователя, очень больно отражавшихся на моем здоровье. <…> Даже мысль о терроре для меня была и остается дикой и неприемлемой».

Ерехович: «Я старался посвятить свою жизнь любимому делу – истории. Я надеюсь, что, поскольку я не вел антисоветской работы, каково бы ни было решение суда, я сумею доказать, что смогу дать родине то, что я хотел дать».

Но эта фронда, вспоминал Теодор Шумовский, членов трибунала, кажется, даже не заинтересовала. Только

председательствующий Бушмаков возразил: «Да что вы такое говорите! У нас все делается по закону. <…>…запирательство бесполезно». Члены трибунала Матусов и Чуйченко вообще молчали. После недолгого заседания и совещания, видимо, формального, студентам зачитали приговор:

> «Гумилева Льва Николаевича на основании ст. 17588 УК РСФСР лишить свободы с содержанием в ИТЛ сроком на десять лет, с поражением политических прав по п.п. "а", "б", "в" и "г" ст. 31 УК сроком на четыре года, с конфискацией лично принадлежащего ему имущества.
>
> Ереховича Николая Петровича и Шумовского Теодора Адамовича на основании ст. 17588 УК РСФСР лишить свободы с содержанием в ИТЛ сроком на восемь лет каждого, с поражением политических прав по п.п. "а", "б", "в" и "г" ст. 31 УК сроком на три года каждого, с конфискацией лично принадлежащего им имущества.
>
> Начало срока наказания Гумилеву исчислять с 10-го марта 1938 г., Ереховичу и Шумовскому с 10-го февраля 1938 г.»

После приговора всех троих перевели из Крестов в пересыльную тюрьму на Константиновской, 6, что за Московским вокзалом, у речки Монастырки. Порядки на пересылке были не такими строгими, как в Крестах или на Шпалерной. Можно было даже ходить в гости – из камеры в камеру. Здесь Гумилев, Ерехович и Шумовский встретились с шестью студентами ЛГУ, недавно тоже осужденными. Среди них был и друг Гумилева Николай Да виденков. На пересылке студенты провели несколько недель. Это время они старались провести с пользой – начали читать друг другу лекции. Гумилев – о хазарах, Шумовский – об арабской средневековой картографии, Ерехович – об истории лошади на Древнем Востоке. Он как раз задумал книгу и спешил поделиться своими наработками с товарищами по несчастью.

На пересылке ждали не только этапа, ждали известий от Военной коллегии Верховного суда. Правом на кассацию все трое воспользовались, а Шумовский даже написал письмо Сталину (к адресату так и не попавшее). Результат оказался неожиданным. 17 ноября коллегия в составе дивизионного военюриста Орлова, бригадного военюриста Дмитриева и военюриста 1-го ранга Климина вынесла определение: кассационную жалобу Гумилева отклонить «как необоснованную», но «приговор в отношении Гумилева за мягкостью и в отношении осужденных: Ере ховича и Шумовского за недоследованностью дела полностью ОТМЕНИТЬ и дело НАПРАВИТЬ через В[оенный] Т[рибунал] Военному

Прокурору ЛВО, для производства ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ».

ПЕРВЫЙ ЛАГЕРЬ

Пока Шумовский и Гумилев ждали нового следствия, которое, по крайней мере Гумилеву, не сулило ничего доброго, их неожиданно отправили на этап (Ерехович лежал в тюремной больнице, а потому на этап не попал). 2 декабря поезд отправился из Ленинграда.

Горели фонари, но время исчезало,
В широкой улице терялся коридор,
Из узкого окна ловил мой жадный взор
Бессонную возню вокзала.

В последний раз тогда в лицо дохнула мне
Моя опальная столица.
Все перепуталось: дома, трамваи, лица
И император на коне.

Но всё казалось мне: разлука поправима.
Мигнули фонари, и время стало вдруг
Огромным и пустым, и вырвалось из рук,
И покатилось прочь – далеко, мимо…

4 декабря поезд прибыл на станцию Медвежья Гора. Здесь, в Медвежьегорске, еще недавно размещалась администрация строительства Беломор-канала. Это обстоятельство и слух, пущенный между зэками, будто везут на Беломор-канал, и послужили основанием для будущей легенды: Гумилев работал на строительстве Беломор-канала. Легенду невольно создавал и сам Гумилев: «… я так бы и закончил свои дни, ударным трудом расчищая ложе канала…» Он называл Беломор-канал «белый мор».

Но Гумилев путает. Между тем интервью и первым лагерем пятьдесят лет, да и зимой 1938—1939-го зэкам не особенно объясняли, куда их привезли, где они находятся, ради чего тратят последние силы. На самом деле Беломор-канал был открыт еще летом 1933-го, хотя работать Гумилеву и Шумовскому действительно пришлось в Белбалтлаге, который занимался обслуживанием канала и поставлял древесину советской промышленности.

Медвежьегорск для Гумилева и Шумовского оказался всего лишь пересадочной станцией. Там зэков вывели из «столыпин

ского» вагона и привели на пристань, где им выдали сухой паек (буханку хлеба и две вяленые рыбы) и загнали в трюм баржи: «Черный пол трюма тотчас усеяли мешки и тела. Мы с Левой поместились в углу у продольной балки рядом с иллюминатором. <…> Сквозь щели в палубе пробивался студеный ветер. Тяжелые изжелта-серые волны, которые можно было разглядеть сквозь зарешеченные иллюминаторы, бились в борта. <…> Люди коротали время в разговорах и сне, благо их пока не тревожили», — вспоминал Шумовский. С Гумилевым они говорили, конечно же, о научных исследованиях, а еще читали друг другу стихи – свои (оба сочиняли с детства) и чужие.

Только 7 декабря баржа причалила в устье реки Водлы, что на восточном побережье Онежского озера. Там размещался один из самых дальних лагпунктов Белбалтлага.

Сначала Гумилев и Шумовский попали на лесопилку; там два востоковеда, историк и филолог, трудились три недели. Орудием производства служила простая двуручная пила.

Как смешны выкладки историков и экономистов, доказывающих важное экономическое значение Большого террора. Ничего кроме очевидного ущерба он не принес. Во-первых, половину осужденных расстреляли, так что 50 % арестованных для экономики были потеряны навсегда. В лагеря же попало много интеллектуалов. Кайло, лопата или, как в нашем случае, пила большинству из них прежде были знакомы только по книжкам. Много ли бревен напилили арабист Шумовский и тюрколог Гумилев? Много ли земли накопали, деревьев срубили инженер Королев, поэт Заболоцкий, египтолог Ерехович? Их кпд в институте, университете или издательстве был бы намного выше.

1 января 1939-го зэкам устроили многочасовой обыск. Почти весь день плохо одетые зэки простояли на морозе. Шумовский простудился, его бил озноб. Гумилев помог другу добраться до медпункта. Счастливая звезда хранила Шумовского. Он не только провалялся в постели целый день, но и получил относительно легкую работу на «газочурке» (там заготавливали топливо для газогенераторных двигателей). А Льва вскоре отправили в соседний лагпункт, в лесозаготовительную бригаду – то есть на лесоповал.

Январь 1939-го стал для Гумилева одним из самых страшных лагерных месяцев. Три недели лесоповала едва не превратили его в доходягу: «…я окончательно "дошел". Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Валить лес в ледяном, по пояс занесенном снегом лесу, в рваной обуви, без теплой одежды, подкрепляя силы баландой и скудной пайкой хлеба, — даже привычные к тяжелому физическому труду

деревенские мужики таяли на этой работе как свечи… В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его наточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась».

Гумилева спасла неожиданная посылка Ахматовой: «Когда я ее раскрыл, — вспоминал Лев Николаевич, — чуть было не задохнулся от одних только запахов: в присланном полотняном мешке лежали сухари, сахар и, что было совсем невероятным, — масло и колбаса!»

А вскоре Гумилева сняли с лесоповала и отправили на этап, где он вновь встретился с Шумовским. Утром 24 января 1939 года их отправили в Ленинград, на новое следствие. Сначала шли пешком, по льду реки Водлы, затем ехали в кузове грузовика. Ночевали в избе, стены которой все сплошь были оклеены газетами, где сообщалось о разоблачении врагов народа. Путь по Прионежью занял много дней, часто приходилось останавливаться, дороги заметала приполярная пурга. В дороге встретили день рождения Шумовского (2 февраля). За работу на газочурке филологу заплатили двенадцать рублей, и теперь настало время их потратить: «Леву конвоир отпустил в сельский магазин, и вскоре в нашем распоряжении оказались рыбные консервы и печенье, хозяйка сварила несколько картофелин. Лева и я сидели друг против друга, между нами стояла табуретка с едой, исполнявшая должность стола.

— Ты мне теперь как брат, — произнес Лева.

— Ты мне тоже».

Только к 4 февраля добрались до поселка Повенец. Здесь начинался знаменитый канал имени Сталина, но, к счастью, друзей везли не на север, а на северо-запад, в соседний Медвежье горск, к железнодорожной станции, откуда их отправили «столыпинским» вагоном уже до самого Ленинграда.

«СПАСИТЕ СОВЕТСКОГО ИСТОРИКА…»

Сотрудники Государственного архива военной истории О.В.Головникова и Н.С.Тархова датируют возвращение Гумилева в Кресты серединой марта. На самом деле Гумилева привезли в Кресты почти на месяц раньше, гдето в середине февраля. Если путь от лагпункта на Водле до Медвежьегорска занял около двух недель, то поезд от станции Медвежья Гора до Ленинграда шел лишь двое суток. В пользу этой датировки говорит и заявление, которое Гумилев отправил 15 марта на имя прокурора по надзору за НКВД. Там Гумилев просил ускорить ход следствия: «…я второй год сижу, сам не знаю за что», — писал он.

Позднее Гумилев вспоминал о своем возвращении в Кресты как о времени отдыха. Теперь он мог оценить, насколько тюрьма легче лагеря. Камеры были по-прежнему переполнены, но на допросы пока не водили, а значит, и не били. Вместо лесоповала – вынужденное, но блаженное безделье. Спать на нарах, правда, разрешалось только ночью, зато днем можно было лежать под нарами, на асфальтовом полу камеры № 614. Вряд ли Гумилев стал бы гневить судьбу, торопить прокуратуру и суд. Видимо, первые недели он просто отдыхал и написал прокурору лишь месяц спустя. Впрочем, сам Гумилев уже вряд ли мог повлиять на ход собственного дела. За него пыталась хлопотать Ахматова.

Еще 3 февраля Ахматова написала заявление для Военной коллегии Верховного суда, где, ссылаясь на решение самой Военной коллегии от 17 ноября 1938 года, просила вернуть сына из лагеря в следственную тюрьму.

Это заявление, как видим, запоздало, 3 февраля Гумилев был уже на этапе. 6 апреля 1939-го Ахматова пишет новое письмо Сталину.

В письме 1935-го Ахматова пыталась доказать невиновность сына и мужа («даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы…») и взывала к жалости («Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести»).

В новом письме Ахматова пытается заинтересовать Сталина пользой, которую может принести ее сын – перспективный ученый, которого уже в университете высоко ценят академик Струве и профессор Артамонов. По крайней мере о Струве Сталин хорошо знал. Письмо завершалось словами: «Иосиф Виссарионович! Спасите советского историка и дайте мне возможность снова жить и работать».

Обстановка в стране как будто способствовала успеху. Ежов и

Фриновский доживали свои последние вольные дни, люди Берии стремительно вытесняли из НКВД людей Ежова. Начали пересматривать некоторые дела, исправлять ежовские «перегибы», пересматривать приговоры. Некоторые осужденные уже возвращались из тюрем и лагерей. Так, полгода спустя, в сентябре 1939 го, «за недостаточностью улик» будет оправдан и освобожден Орест Высотский. Но судьба Гумилева не была столь счастливой.

Письмо Ахматовой на этот раз не попало в руки Сталина. Мы не знаем, каким образом Ахматова пыталась передать Сталину письмо. В отличие от письма 1935-го свидетельств не сохранилось. О самом письме слышали Чуковская и Герштейн, но их представления о нем были столь туманны, что Чуковская, например, датировала это письмо 1938 годом, а Герштейн – 1940-м.

Теперь у Ахматовой не было влиятельных знакомых, к мнению которых прислушивались в Кремле. Пильняка расстреляли еще в апреле 1938-го. Не могла уже помочь и Сейфуллина: в августе 1938-го расстреляли ее мужа, литературного критика Валериана Правдухина. Так что «приватного» пути в Кремль, какой был еще в 1935-м, у Ахматовой не осталось. Значит, она должна была отправить письмо почтой, как поступали простые советские люди. Неудивительно, что Сталин этого письма так и не увидел. Оно попало в Особый сектор ЦК ВКП(б), затем – в секретариат Прокуратуры СССР, оттуда письмо направили в нижестоящую инстанцию, то есть к прокурору Ленинградской области. Это случилось в начале июня 1939-го, а в конце августа апрельское письмо Ахматовой поступило в Военную прокуратуру Ленинградского военного округа, где его подшили к делу Гумилева. Дело в установленный срок было сдано в архив, там его и нашли шестьдесят с лишним лет спустя. Так советская бюрократия похоронила письмо, на которое Ахматова так надеялась.

Пока письмо странствовало из прокуратуры в прокуратуру, судьба Гумилева была решена. Военная коллегия направила его дело в Особое совещание при НКВД. 26 июля это странное, не предусмотренное Конституцией учреждение постановило:

> «Гумилева Льва Николаевича за участие в антисоветской организации и агитацию заключить в ИТЛ сроком на 5 лет, считая срок с 10 марта 1938 г.»

Такие же сроки получили Ерехович и Шумовский.

Ахматова узнает о приговоре в августе: «Август у меня всегда

страшный месяц… Всю жизнь…» – признавалась она Лидии Чуковской.

Разошлись и судьбы студентоввостоковедов, членов мифической партии прогрессистов, за разговорами об истории лошади на Древнем Востоке готовивших покушение на товарища Жданова. Гумилева отправят в Норильск, в августе Ахматова будет собирать для него теплые вещи. Шумовского ждет сначала Архангельская область, а затем – Красноярский край. Николая Ереховича отправят на Колыму. Шумовский и Гумилев переживут освобождение и новый арест, защитят диссертации и станут докторами наук, а Ника Ерехович умрет в лагерной больнице 28 декабря 1945 года.

Впрочем, у этой печальной истории есть и послесловие, тоже довольно унылое. Еще около года продолжалась бумажная история заявлений и жалоб. Гумилев и Ерехович опротестовали приговор Особого совещания и направили жалобы в Прокуратуру СССР, неоднократно подавала жалобы и Лариса Дмитриевна Ерехович, мать Ники. Вплоть до сентября 1940-го оставалась надежда на пересмотр дела. В августе 1940-го в прокуратуру обращалась и Ахматова. Она была тогда не в опале, полгода назад Ахматову торжественно приняли в Союз советских писателей, ее книгу недавно выпустил «Гослитиздат». Только что Ахматову любезно принял сам Фадеев, он же вместе с Пастернаком выдвинул книгу Ахматовой на Сталинскую премию. Но визит в Прокуратуру СССР, если верить сопровождавшей Ахматову Эмме Герштейн, окончился так: «…дверь кабинета отворилась, показалась Анна Андреевна. А на пороге стоял человек гораздо ниже ее ростом и, глядя на нее снизу вверх, грубо выкрикивал ей в лицо злобные фразы. Анна Андреевна пошла по коридору, глядя вокруг невидящими глазами…»

28 сентября заместитель главного военного прокурора СССР дивизионный военюрист Афанасьев решительно отказался опротестовать приговор Особого совещания. Приговор от 26 июля 1939 года остался в силе.

ПАССИОНАРНОСТЬ И ПАСИОНАРИЯ

Каждый, кто хоть немного интересуется биографией Гумилева, знает, что именно в Крестах Лев Гумилев открыл (скептик скажет: «изобрел», «выдумал») пассионарность.

Еще в шестнадцать лет Гумилев поставил перед собой задачу, решением которой он будет заниматься большую часть своей жизни: «…откуда появляются и куда исчезают народы? Были финикийцы – и нет их. Французов не было, как таковые они появились в IX веке. Этносы Южной Америки вообще сформировались в то время, когда была молода моя бабушка…»

Ответ на этот вопрос как будто пришел в 1939 году, когда Лев ждал пересмотра своего дела в камере Крестов. Здесь, под нарами, Гумилев и открывает пассионарность: «Это слово вместе с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 года проникло в мозг автора как удар молнии. Откуда оно взялось – неизвестно, но для чего оно, как им пользоваться и что оно может дать для исторических работ, было вполне понятно: история любого этноса ложилась в колыбель описанной выше схемы, а отдельные зигзаги учитывались пропорционально их значению».

Озарение в тюремной камере – может быть, самое главное событие его жизни. Лев Николаевич рассказывал о нем охотно, на разные лады. Это не удивительно, ведь человек редко может слово в слово повторить одну и ту же историю. Гумилев вспоминал об этом событии уже на восьмом десятке, и даже потрясающая память не спасла его от неизбежной путаницы. Например, в беседе со Львом Варустиным Гумилев рассказывал, как он, к изумлению сокамерников («их было человек восемь»), выскочил из-под нар с криком «Эврика!». А в интервью комсомольскому журналу «Сельская молодежь» Гумилев утверждал, что оказался «в тюремной одиночке», где и размышлял об истории, чтобы не сойти с ума. Не только эти противоречия, но и легендарный характер самой истории, слишком напоминавший яблоко Ньютона и сон Менделеева, настолько смутили Сергея Лаврова, что он объявил озарение Гумилева мифом. По словам Лаврова, в Крестах Гумилев открыл лишь направление поиска, не более того.

Версия Лаврова противоречит словам самого Гумилева, который рассказывал об открытии пассионарности едва ли не в каждом интервью. Предположим, Гумилев присочинил, но есть же свидетельство Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. Она встретила Гумилева на Киевском вокзале в декабре 1944-го, и Лев

с такой страстью рассказывал ей о своем открытии, что Томашевская сочла его сумасшедшим: «Поприщин… Поприщин», — повторяла она.

Как некогда Мандельштам не мог удержаться и, потеряв всякую осторожность, читал знакомым своего «кремлевского горца», так Гумилев не мог удержаться и делился своим открытием в самых неподходящих обстоятельствах с самыми неподходящими людьми. Уже в Норильске (1939-1943) Лев Николаевич рассказывал интеллигентным зэкам о своем открытии, но понимания не нашел. Нары в бараке Норильлага и перрон Киевского вокзала, по всей видимости, были не лучшей площадкой для дискуссий о новой научной гипотезе.

Но что все-таки Гумилев открыл в Крестах?

«…Я понял, что у людей существует особое качество. Я не знал еще, что это такое, я назвал его "пассионарностью" – стремлением к иллюзорным целям», — рассказывал он корреспонденту «Сельской молодежи» в 1988 году. Пространнее и богаче более раннее (ноябрь 1981 года) интервью газете Ленинградского государственного университета. Этот рассказ о рождении еще не теории, но только гипотезы намного информативнее, потому что в 1981 году Гумилеву еще не надоело отвечать на одни и те же вопросы, он еще не был избалован вниманием прессы, слава еще не стучалась в двери его ленинградской квартиры. Наконец, газета была адресована студентам и преподавателям одного из лучших вузов страны, поэтому Гумилев старался как можно точнее передать ход собственных мыслей, воспроизвести логику научного поиска. Интервью пролежало на полке шесть лет, его опубликовали только в 1987-м.

«Почему в одних странах бывает расцвет культуры, письменности, образования, а в другие эпохи он куда-то исчезает? (Как в Исландии, где сейчас нет неграмотных, но нет и крупных ученых, а там же в XII веке были записаны саги мирового значения.) Это явление обратило мое внимание, когда я был еще студентом. Я понял, что развитие каждого народа должно чем-то измеряться. Но измерять его количеством произведений искусства и литературы неверно, так как их создают не народы, а от дельные люди, исключения. Изучая историю народов, надо перейти к палеоэтнографии. Смотреть, как ведет себя весь народ. Мы здесь должны рассматривать не индивидуальности на фоне толпы, а систему из людей разного сорта. Как их делить? И так возникла моя идея, основанная на общем историческом материале. Я вдруг задумался: почему Александр Македонский пошел воевать в Среднюю Азию и в Индию, куда ходить было

опасно и незачем? <…> Что гнало испанцев на Филиппины и в Америку в XV веке, когда Колумб открыл Америку? Они теряли в среднем 80 процентов личного состава – от болезней, голода, от сражения с туземцами. А 20 процентов возвращались, как правило, больными. <…>

А наши землепроходцы прошли от Великого Устюга до Охотского моря. <…> В эпоху XV–XVI веков корсары бороздили просторы Тихого океана, а в XIX веке их потомки стали клерками. В чем тут дело?

И тут я нашел одно слово: сила страсти – "пассионарность". Когда человек действует и не может не действовать вопреки инстинкту самосохранения, который существует в каждом из нас. Но антиинстинкт – пассионарность – влечет человека к целям, часто иллюзорным. И действительность приносится в жертву иллюзии».

Гумилев открывает явление и обозначает его новым понятием – «пассионарность», но природа этой пассионарности ему неясна. Он лишь предполагает: за иррациональными, не объяснимыми с прагматической точки зрения действиями людей стоит какая-то сила. Более того, есть связь между количеством носителей пассионарности и жизнеспособностью народа.

Гипотеза о пассионарности появилась не на пустом месте, так что скептицизм Лаврова необоснован. Решение не пришло Гумилеву свыше, ведь интуиция ученого – результат многолетней напряженной работы. «Что такое интуиция? — спрашивает поэт и математик Владимир Губайловский. — Может быть, это просто способность сортировать варианты решений и отбрасывать заведомо ложные?» Именно так работают шахматные программы. Гумилев поставил проблему за десять лет до собственного открытия, размышлял долгие годы, пока читал гимназические учебники, трудился в горах Хамар-Дабана, долинах Вахша и Душанбинки, в степях Крыма и Придонья, учился в университете. Гумилев пишет, что слово «пассионарность» «с его внутренним смыслом и многообещающим содержанием в марте 1939 г. проникло в мозг автора как удар молнии», но этой вспышке предшествовала долгая подготовка, постоянная работа мысли.

Само же слово «пассионарность» Гумилев произвел от латинского «passio» – «страсть», но этимология пассионарности этим не исчерпывается. На форуме сайта «Гумилевица» есть версия: слово «пассионарность» возникло под влиянием образа испанской революционерки Долорес Ибаррури, которую называли La Pasionaria. Логике вещей это не противоречит: слово «Пасионария», известное хотя бы из газет, радиосообщений и политинформаций, могло сохраниться в бессознательном Льва

Николаевича и выплыть оттуда уже в совершенно ином, нужном Гумилеву контексте. Впрочем, сама Долорес Ибаррури, несомненно, относилась к тому типу людей, что Гумилев называл пассионариями.

ШПЕНГЛЕР И ГУМИЛЕВ

Творческое озарение приходит из бессознательного, но ведь в бессознательное должны попасть какие-то исходные идеи, представления, образы, из которых потом появится новая, оригинальная мысль. Идею «пассионарности» заимствовать было неоткуда, зато на Гумилева должен был повлиять сам интеллектуальный климат эпохи.

Теория Гумилева должна была родиться именно в первой половине XX века, когда традиционную для сознания европейца веру в разум и рациональность мироздания разрушали с двух сторон философы-иррационалисты и ученыепозитивисты. Первые считали, что действиями людей руководят безличные иррациональные силы – «Мировая Воля», «воля к власти» или «жизненный порыв». После мировой войны популярность этих идей, высказанных впервые еще в XIX веке, только росла. Позитивисты же искали объяснение человеческих поступков в биологической природе человека, обращались к естественным наукам.

Когда говорят о влиянии других мыслителей на Гумилева, то прежде всего вспоминают Шпенглера, Данилевского, Леонтьева, Тойнби, евразийцев. Культуролог Константин Фрумкин в пассионарности Гумилева находит много общего с «порывом» Анри Бергсона и «харизмой» Макса Вебера, Марлен Ларюэль и Андрей Элез считают, что идеи Гумилева близки к социоби ологии.

Но в 1939-м году социобиологии еще не было, имя Бергсона не встречается ни в одном из сочинений Гумилева, не упоминается ни одним из его друзей, близких, биографов. Имя Макса Вебера даже на страницах «Этногенеза и биосферы» упомянуто лишь однажды, да и то Гумилев, скорее всего, знал Вебера лишь в пересказе Вернера Зомбарта. О сочинениях Арнольда Тойнби Гумилев узнает во второй половине пятидесятых, не раньше. Тогда же познакомится с некоторыми работами евразийцев, хотя ничего ценного для будущей пассионарной теории этногенеза в трудах евразийцев не было. А вот Шпенглер – другое дело.

«Закат Европы» был хорошо известен московской и ленинградской интеллигенции. Невозможно представить, чтобы Гумилев уже в тридцатые годы его не читал. «Закат Европы» был настольной книгой Эммы Герштейн, так что Гумилев, если даже и не прочел Шпенглера раньше, наверняка мог взять книгу у своей подруги. В 1945 году в Германии Гумилев напишет очерк

«Размышление о закате Европы», в котором шпенглеровские мотивы очевидны.

Человечество разделено на несколько культур (Шпенглер), культурно-исторических типов (Данилевский). У каждой культуры свой цикл развития – от рождения к смерти, исчезновению. Идея не новая, но особенно ярко высказанная в новое время как раз Шпенглером, Данилевским, Леонтьевым – единственным русским философом, которого высоко ценил Гумилев.

Гумилев перенял у Шпенглера идею непреемственности культур. Гумилев будет подчеркивать, что даже китайцы времен Шан-Инь, времен Хань, времен Тан – разные этносы, хотя возмущенные синологи с ним никогда не соглашались. Разными народами оказались евреи времен Авраама и евреи времен Моисея, русичи и русские, древние эллины и византийские греки.

У Шпенглера Гумилев перенял и пристрастие к сравнительноисторическому методу и составлению диахронных таблиц. Шпенглер сравнивал культуры по возрастам: «весну» античной культуры с «весной» культуры индийской, западной, арабской и т. д., «осень» античной культуры с «осенью» прочих культур… Гумилев сначала, еще в университете, полюбит синхронное сопоставление народов (помните игру, занимавшую Льва и его товарищей на скучных лекциях?), а в научных работах будет применять и развивать именно диахронный метод Шпенглера: сравнивать этносы по фазам этногенеза – подъем Эллады с подъемом Хунну, надлом в Китае и надлом в Древнем Риме. В научнопопулярных книжках Гумилев будет диахронию пропагандировать, доказывать ее преимущества перед синхронистическими сопоставлениями. По словам Гумилева, сравнивать Россию и Европу одного века (скажем, начала восемнадцатого) — все равно что сравнивать пятилетнюю девочку и взрослую женщину, пусть даже девочка (Петровская Россия) красит губы и надевает мамину шляпу, чтобы походить на элегантную немолодую даму.

Гумилев заимствовал и деление истории этноса на фазы. Хотя в пассионарной теории этногенеза фазы не совпадают с «сезонами» Шпенглера, но преемственность здесь очевидна, а «цивилизация» Освальда Шпенглера напоминает гумилевский этнос инерционной фазы этногенеза, или фазы обскурации. «Цветущей сложности» Константина Леонтьева соответствует акматическая («акме» – древнегреч. расцвет) фаза у Гумилева. Приблизительно совпадают и сроки жизни культур, культурно исторических типов и этносов.

И все-таки считать Гумилева последователем Данилевского,

Леонтьева и даже Шпенглера нельзя. Никто из этих философов не попытался найти источник, определяющий жизнь и смерть культур или цивилизаций. Гумилев начинает там, где Шпенглер останавливается, он ставит вопрос, который немецкого философа даже не интересовал: хорошо, культура проживает несколько более тысячи лет и проходит все фазы, от «весны» до «зимы», однако в чем же причина таких циклов?

Но главное различие в другом. Гумилев – позитивист, который верит в превосходство естественных наук над гуманитарными. Во второй половине шестидесятых Гумилев объявит об открытии им новой, притом естественной науки – этнологии. Он будет по мере сил применять методы естествознания в истории и этнографии. Все это совершенно невозможно, противоестественно для Шпенглера, который утверждал нечто прямо противоположное: историю нельзя изучать методами естественных наук. В истории нет законов. Предмет историка – частное, конкретное, неповторимое. Науки естественные (науки о природе) и гуманитарные (науки о духе) резко отличаются друг от друга по своим методам. Гумилев это разделение попытается преодолеть.

Наконец, материалист Гумилев не принимал важное для Шпенглера понятие «душа» культуры. Культура для Гумилева – это техносфера, совокупность мертвых вещей.

ШОПЕНГАУЭР И КАМАРИНЫЕ ПЕСНИ

В октябре 1935-го у Гумилева конфисковали знаменитое сочинение Ницше «Так говорил Заратустра». Сергей Снегов вспоминал, как они с Львом Николаевичем в Норильском лагере, на берегу Угольного ручья, спасались от гнуса и беседовали о Шопенгауэре, Ницше, Максе Штирнере. Любопытно, как же Гумилев оценивал Шопенгауэра?

В шестидесятые годы Гумилев, прочитав у В.И.Вернадского о биохимической энергии живого вещества, придет к выводу, что одна и та же сила движет народами и скоплениями саранчи. А Шопенгауэр еще в начале XIX века утверждал, будто человеком и улиткой, муравьиным львом, жуком-оленем управляет одна и та же Воля. Пассионарность, по Гумилеву, проявляется в человеке помимо его желания, его сознания; человек может рационально обосновать мотивы своих поступков, но это будет всего лишь самообманом. Очень похоже на всё ту же Волю.

Даже сторонники теории Гумилева не всегда понимают, что пассионариями движет не стремление к идеальной цели. Идеальная цель – просто направление, а источник движения – сама пассионарность.

В трактате «Этногенез и биосфера Земли» есть глава «Образы пассионариев». Там Гумилев приводит несколько общеизвестных примеров: Наполеон, Александр Македонский, Сулла, Ян Гус, Жанна д'Арк, протопоп Аввакум. Их действия нельзя понять с рациональной точки зрения, и Гумилев объясняет пасси онарностью неудержимое стремление к войнам и победам, фа натизм и жертвенность. Но здесь не хватает одного примера, который не пропустили бы в советском издательстве. Между тем этот пример был у Гумилева перед глазами. Лев Николаевич не мог о нем не вспомнить еще под нарами Крестов. Самоубийственное стремление Мандельштама читать и читать свои стихи о «кремлевском горце» иначе как проявлением какогото странного «антиинстинкта» не объяснить. «Это не поэзия, а самоубийство», — говорил ему Пастернак, к счастью для себя и для русской поэзии, менее пассионарный. «Что вы делаете?! Зачем? Вы затягиваете петлю у себя на шее», — пыталась образумить поэта Василиса Георгиевна Шкловская-Корди. Но Мандельштам отвечал, едва не повторяя Лютера: «Не могу иначе…»

Гумилев позднее будет считать, что жертвенность – проявление самого высокого уровня пассионарности – очевидно, это уровень Мандельштама.

Интересно, что Гумилев, кажется, был единственным слушателем Мандельштама, который не осудил его, а, напротив, сказал: «Здорово!» Остальные, от Кузина до Пастернака, в ужасе отшатнулись, вспоминала Эмма Герштейн.

Дело ведь не исчерпывается «кремлевским горцем»: для Мандельштама потребность не только сочинять, но и читать стихи другим стала просто неодолимой. Дмитрий Быков, ссылаясь на свидетельство Натальи Штемпель, рассказывает, что Мандельштам в ссылке звонил следователю из уличного телефонаавтомата и читал ему стихи из «Воронежских тетрадей», приговаривая: «Нет, слушайте, вы обязаны слушать!» Это не помешательство – или же не только помешательство.

Но здесь же и проходит грань, резко отделяющая Гумилева от философии жизни Шопенгауэра. Немецкий философ видел в истории только бессмысленное нагромождение событий, а Гумилев искал исторические законы. Мироощущение Шопенгауэра Гумилев назвал бы «жизнеотрицающим». Там, где Шопенгауэр видел действия иррациональной, нематериальной Воли, Гумилев искал объяснения в науках естественных. Гумилев, сын XX века, верил не философам, а ученым: «Я люблю, когда мне не крутят мозги и не лгут в глаза, а когда пишут то, что я могу проверить».

Следующий шаг в развитии своей гипотезы Гумилев сделает уже после четвертого ареста. В начале 1950 года Гумилев сидел не в Крестах, а в знаменитом московском Лефортове, на этот раз действительно в одиночной камере. Из тюремной библиотеки выдавали книги, но тюремщики каталогом пользоваться не разрешали, а выдавали ту книгу, что попадалась им в руки. Так Гумилеву в руки попала книга, которую он ни за что не стал бы читать на воле, — монография Климента Аркадьевича Тимирязева «Жизнь растений». Гумилев читал о фотосинтезе, когда «на каменный пол падал узкий луч солнечного света», и именно в тот момент Гумилеву пришла в голову мысль: пассионарность имеет энергетическую природу. «То, что я нашел и описал для себя в истории, есть проявление флуктуаций энергии. Излишняя энергия выходит через деятельность. Я не знал одного – какая это энергия».

Увы, ученые и теперь не знают, о какой энергии писал Гумилев.

«Я БЫЛ ОДИН ПОД ВЕЧНОЙ ВЬЮГОЙ…»

Свой первый срок Гумилеву предстояло отбывать в одном из самых северных советских лагерей, за Полярным кругом, где лесотундра, последний форпост сибирской тайги, переходит в настоящую тундру, которую Гумилев позднее станет уподоблять своей любимой степи.

Биограф семьи Гумилевых Владимир Полушин датирует начало норильской каторги Гумилева августом 1939-го, но эту дату принять нельзя. 10 августа Ахматова и Чуковская навещали Гумилева в пересыльной тюрьме, 14 августа они собирали для Льва теплые вещи. Значит, его отправили по этапу только во второй половине августа. Путь до Красноярска должен был занять около недели или по меньшей мере дней пять. В Красноярске Гумилев узнал о пакте Молотова-Риббентропа, значит, этап прибыл туда не раньше 23 августа 1939 года.

Из Красноярска начинался путь по Енисею до порта Дудинка. Он занимал три-четыре недели. Зэков загоняли в «трехэтажный» (нары в три яруса) трюм речной баржи, первый, самый светлый, этаж всегда занимали уголовники. Так им было удобнее контролировать раздачу пайки и баланды. Политические («контрики») лежали вповалку на нижних «этажах», в почти полной тьме. Баланду им разносили при свете керосиновых фонарей «летучая мышь». Впрочем, обстоятельства этого гумилевско го этапа неизвестны. На красноярских баржах, случалось, вместо баланды спускали в трюм только хлеб и соленую рыбу, так у конвоя было меньше хлопот.

До параши добирались по телам других зэков, баржи были переполнены. Параши выливали в Енисей, и оттуда же, из Енисея, брали воду для зэков.

Дудинки достигли, скорее всего, только к концу сентября. Здесь зэков ждали даже не красные «телячьи» вагоны, но открытые железнодорожные платформы. Железная дорога тянулась на 102 километра к востоку от Дудинки, к построенному несколько лет назад городу Норильску. Стояла приполярная осень, с Карского моря дул влажный и холодный ветер, вскоре он принесет холодный дождь, а затем и снег.

Норильск встречал зэков не только холодом, но и болезнями. В городе была эпидемия дизентерии. С холодами она не пошла на убыль. Напротив, возросла смертность. Мертвецов не успевали выносить: «Трупы складывали штабелем вдоль торца больничного барака, как дрова». Гробов не хватало, поэтому начали хоронить без них, а затем додумались оставлять покойников и без одежды –

не пропадать же добру, как пишут Л.И.Бородкин и С.Эртц, исследовавшие экономику лагерного труда.

ГУЛАГ во всей красе? Пожалуй, но вот что примечательно. Гумилев оставил воспоминания о своей лагерной жизни в Норильске. Читаешь и только диву даешься – как же хорошо ему жилось в предвоенном Норильске, будто и не каторга, не заполярный исправительно-трудовой лагерь, а в худшем случае дисциплинарный дом творчества. А как поэтично Гумилев описывал природу советского Заполярья!

Из воспоминаний Льва Гумилева о Норильске: «К северу от будущего города Норильска расстилалась тундра, т. е. полярная равнина, простиравшаяся до реки Дудыпты и озера Пясина. Осенью тундра тонула в снежном сумраке, зимой – в синей полярной ночи. В природе абсолютной темноты не бывает. Луна, заезды и разноцветные отблески полярного сияния показывают человеку, что он на Земле не одинок и может прийти кудани будь, где есть яркий свет и печка – самое дорогое для изгнанника в Заполярье. И все же равнина безрадостна и тосклива. Зато южная окраина будущего Норильска – цепь невысоких гор – поистине очаровательна. Эта горная цепь начинается столовой горой с необычным названием Шмидтиха (Shmidtiha). <…> Восточный склон Шмидтихи омывал Угольный ручей, чистый, быстрый и шумливый. А за ним располагалась гора Рудная, бывшая в то время сокровищницей Норильска. В середине склона гору прорезала штольня, тянувшаяся вдоль серебристой жилы халькопирита. Эта штольня казалась нам блаженным приютом, ибо в ней была постоянная температура минус 4. По сравнению с сорокаградусными морозами снаружи или мятущейся пургой, сбивающей с ног, в штольне рабочий день проходил безболезненно».

Многое объясняет характер Гумилева. Лев Николаевич отличался природным (отцовским) оптимизмом, о своей жизни, даже о самых трагических ее моментах, говорил с улыбкой. О кошмаре лагерной жизни старался не воспоминать. Однажды он заметил, что очень уважает Солженицына, потому что тот смог написать «Архипелаг ГУЛАГ». «Мне, — передает слова Гумилева жена Наталья Викторовна, — даже вспоминать это всё не по силам». Первые месяцы Гумилев был на общих работах, терпел голод, мороз и «пургу на открытом месте». Но все-таки Гумилеву повезло. Норильлаг не был самым страшным островом архипелага. Эпидемия дизентерии осенью 1939-го – скорее исключение. Правда, Гумилев «перенес дизентерию и не помер, хотя был без сознания 3 дня», но это было летом 1940-го. А вообще то смертность в Норильлаге была в пять раз меньше

средней гулаговской.

В 1939-м спешно достраивали Норильский горно-обогатительный комбинат, который скоро начнет поставлять необходимый военной промышленности никель, а помимо него – медь, кобальт, платину. Начальству нужны были новые рабочие руки, а не новые братские могилы, поэтому в Норильлаг отбирали людей преимущественно нестарых и здоровых, условия им создавали, по меркам ГУЛАГа, сносные – пусть строят комбинат, добывают руду – халькопирит, дают стране металл. Строительством комбината руководил бывший директор Магнитки, будущий дважды Герой Социалистического Труда и лауреат Сталинской премии Авраамий Павлович Завенягин. Он был в Норильске неограниченным монархом, всесильным государем – Завенягин управлял и комбинатом, и лагерем.[18]

Завенягин не был революционером-мечтателем, вроде основателя Дальстроя Эдуарда Берзина (Берзиньша), который всерьез надеялся перевоспитывать «врагов народа» на колымских приисках. Завенягинские порядки преследовали одну цель – построить комбинат и наладить его работу. Поэтому даже простых лагерных работяг кормили прилично: на обед давали миску баланды, миску каши и даже кусок трески. Хлебная пайка, рассказывал Гумилев, была довольно большой – 1 килограмм 200 граммов за полную норму выработки, 600 граммов «за недовыработку», 300 (карцерная пайка) – «за неудовлетворительную работу». Для сравнения: в годы войны хлебная пайка иждивенца в Нижней Тавде (Западная Сибирь) была всего лишь 200 граммов. В Москве иждивенцы получали 400 граммов, а рабочие – 800. Правда, московский хлеб был, конечно, намного лучше норильского или тавдинского.

Инженеры-зэки получали в Норильлаге селедку и сгущенку, что уже приближалось к рациону шарашек. В геологоразведочных экспедициях, снаряженных силами Норильлага, паек был еще лучше: масло, шоколад, сухое молоко. Правда, и работать заставляли много: «Когда возникала необходимость выполнения срочных работ, — вспоминает старый лагерник Александр Гаев ский, — нас оставляли работать ночью и при этом обильно обеспечивали продуктами дополнительно к лагерному рациону».

Вольные жили, разумеется, намного лучше. Они получали большие северные надбавки, длинный (полгода) оплачиваемый отпуск, путевки в санатории. Начальники жили по-барски – с прислугой из женщин-заключенных, с особым рационом. Озера вокруг города-завода, еще не испорченные отходами производства, кишели рыбой, и специальная бригада зэков-рыболовов поставляла на стол норильского начальства осетров,

муксуна, хариуса.

ГЛАЗАМИ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА

Помимо воспоминаний Гумилева, о его жизни в Норильске мы можем узнать еще из нескольких источников. Они настолько противоречат друг другу, что перед биографом неизбежно встает вопрос: кому же верить? Льва Гумилева упоминает в своих мемуарах Дмитрий Быстролетов, сидевший в Норильлаге в 1939—1940-м. Будто бы они с Гумилевым однажды выносили из барака мертвого зэка. На мемуары Быстролетова опираются член Красноярского отделения общества «Мемориал» Д.В.Полушин и доктор исторических наук, один из основателей Европейского университета Л.С.Клейн, давний критик Гумилева.

По словам Быстролетова, Гумилев был в Норильлаге настоящим беззубым доходягой, жил в бараке «самых отпетых урок», спал под нарами, всячески унижался зэками и вообще «имел унизительный статус чумы».[19] При этом он умудрялся заниматься научной работой – писал диссертацию «на тему "Гунны"», а рукописи хранил в особом деревянном седле (!), которое зачем то таскал на спине: «Это была патетическая фигура – смесь физического уничтожения и моральной стойкости, социальной обездоленности и душевного богатства… Он был наследственный, хронический заключенный, сидевший и за отца, и за свой длинный язык… Человек он был феноменально непрактичный, неустроенный, с удивительным даром со всеми конфликтовать. Поэтический ореол отца и матери и в лагере бросал на него свет, и все культурные люди всегда старались помочь ему вопреки тому, что он эти попытки неизменно сводил на нет».

В этой характеристике много напутано. Никакой «диссертации» о гуннах Гумилев в Норильлаге не писал. Более того, его кандидатская и докторская были посвящены истории Тюркского каганата. Книгу о гуннах, которая в черновике называлась «Древняя история Срединной Азии», Гумилев начал лишь десять лет спустя. А тогда, в 1939—1940-м, он еще не успел защитить диплом!

Но самое главное, Гумилев при всем желании не мог бы написать в норильском лагере диссертацию или научную статью. Что этого не понимали Быстролетов и Полушин, еще можно допустить, но как же быть со Львом Клейном? Он ведь и сам сидел в лагере. В лагере можно сочинять пьесы и стихи, писать прозу, можно даже обдумывать новую научную теорию, если есть время и силы. Но диссертация или статья требуют совершенно иных условий работы. Прежде всего необходимы источники и

научная литература, а в библиотеке Норильлага нужных книг не было.

В пятидесятые годы Гумилев сможет начать работу над «Хун ну» только потому, что в его распоряжении будут русские переводы китайских хроник, монография Г.Е.Грумм-Гржимайло «Западная Монголия и Урянхайский край» и другие книги, присланные Гумилеву Ахматовой, Герштейн, Варбанец, профессором Кюнером. В предвоенный и военный Норильск посылать книги было невозможно. Ни в одном из источников, кроме мемуаров Быстролетова, нет упоминаний о лагерной работе Гумилева над диссертацией. Ни разу не писал об этом и сам Гумилев.

Правда, в 1945 году Гумилев напишет Н.В.Кюнеру о своих лагерных попытках заниматься научной работой: в Норильске он читал сочинения Э.Тэйлора, Л.Я.Штернберга, а после освобождения уже под Туруханском «собирал фольклорный демоноло гический материал среди тунгусов и кетов». Кроме того, Гумилев упомянет вскользь и о своих «оригинальных выводах по поводу этногенеза». О гуннах же – ни слова.

Был ли Гумилев доходягой? Сергей Снегов оставил интересные воспоминания о своей дружбе с Гумилевым. В его рассказе много живых и, в отличие от быстролетовского «деревянного седла», достоверных подробностей.

Снегов писал, что летом они с Гумилевым любили отдыхать на берегу Угольного ручья, закрыв лица полотенцами (от «сатаневших» комаров), и спорили на животрепещущие темы: «выше ли Каспар Шмидт… Фридриха Ницше и есть ли рациональный смысл в прагматизме Джеймса Льюиса…»

Однажды зэки устроили лагерный турнир поэтов, который, к неудовольствию Гумилева, выиграл Снегов. А позднее оскорбленный Лев, придравшись к трактовке Снеговым образа пресвятой Богородицы, даже вызвал товарища на дуэль.

Столь насыщенная интеллектуальная жизнь просто невозможна для доходяги. «Голод, который затмевает мозг и не разрешает ни на что отвлечься, ни о чем подумать, ни о чем заговорить, кроме как о еде, еде, еде. Голод, от которого уже нельзя уйти в сон: сны – о еде, и бессонница – о еде. И скоро – одна бессонница. Голод, от которого с опозданием нельзя уже и наесться: человек превращается в прямоточную трубу, и все выходит из него в том самом виде, в каком заглотано. <…> Доходяги, ревниво косясь на соперников, дежурят у кухонного крыльца, ожидая, когда понесут отходы в помойку. <…> Они бросаются, дерутся, ищут рыбью голову, кость, овощные очистки. <…> Потом эти отбросы они моют, варят и едят», —

подтверждает Александр Исаевич Солженицын.

Первый лагерь – самое страшное, ломающее душу испытание – Гумилев выдержал с честью: «…он вел себя там идеально», — вспоминал Душан Семиз, старый узник Белбалтлага. Норильск был уже вторым и не самым страшным для Гумилева лагерем. Блатные правила жизни, нормы поведения, «понятия» он освоил достаточно хорошо. А в 1950-1956 годах Гумилев, как старый лагерник, уже будет пользоваться авторитетом у товарищей и сам сможет помогать новичкам. В 1951 году в Камышлаг попадет студент биофака Борис Вепринцев, в будущем – известный биофизик, лауреат Госпремии. Под опеку молодого зэка возьмут дипломат и востоковед Марк Исаакович Казанин и Лев Николаевич Гумилев.

Если в сочинении Быстролетова столько принципиальных ошибок, то логично предположить, что фантастический рассказ о деревянном седле и о «чуме» – такая же выдумка, сочинение, которое Гумилев принял бы за клевету.

Дмитрий Александрович Быстролетов – врачгинеколог, художник, писатель, сценарист и даже советский разведчик – фигура занятная. Его биография полна мистификаций. Он выдавал себя за внебрачного сына графа Александра Николаевича Толстого, героя кавказской и русскотурецкой войн, хотя никаких доказательств тому не было. В конце жизни Быстролетов, мечтавший о славе, но славой обойденный, даже начал сочинять «интервью с самим собой».

В разведке он когда-то и в самом деле служил, в 1932-м его даже наградили именным оружием «За беспощадную борьбу с контрреволюцией», а в 1938-м арестовали. Из лагеря Быстролетов вышел инвалидом в 1954 году. На жизнь зарабатывал переводами, а в свободное время писал автобиографический роман в одиннадцати книгах.[20] О художественных достоинствах этого сочинения, равно как о его исторической достоверности, читатель может судить хотя бы по такому эпизоду:

«Из объятий Розы Лейзер волею судьбы я попал в объятия княгини Долгорукой, княгини Трубецкой и княгини Чавчавадзе. <…> Моими соседями оказались пухлый надменный барон Клодт фон Юргенау и беленькое воздушное существо – граф фон дер Пален. Я их подавлял своей живостью, образованностью и жизненным опытом, к тому же меня вечно ставили им в пример, и рисовал я не хуже Клодта. <…> Моя одноклассница, рыжая, конопатая и зеленоглазая баронесса Ловиза, в полночь раздевалась донага… спускалась из окна вниз, ко мне и Гришке… в зубах у нее болтался шелковый платочек…»

Это напоминает даже не плохой бульварный роман, а уж

скорее блатной роман.

Правда и вымысел перемешаны, достоверные подробности лагерной жизни соединены с явно вымышленными. Геройповествователь этого автобиографического романа – персонаж литературный, он не многим ближе к реаль-ности, чем барон Мюнхгаузен из книги Распэ.

ПИСАТЕЛЬ ГУМИЛЕВ

На самом деле Гумилев досиживал свой срок в сравнительно приличных условиях. На общих работах он пробыл недолго. Завенягин установил в лагере такие порядки, что специалистов (инженеров, геологов, химиков) на общих работах старались не держать, а Гумилев когда-то трудился в геологическом институте, о чем, несомненно, поведал в своей анкете. Так что очень скоро он сменил тяжкий неквалифицированный труд землекопа на квалифицированную работу геотехника: «По штрекам добирался до горняцких забоев… глотая медную пыль, отыскивал терявшуюся в чужих породах блестящую жилу халькопирита, ценнейшего местного минерала, из которого на комбинате получали и медь, и никель, и платину; рисовал забойщикам план залегания пластов, подсказывал, как лучше добраться до халькопирита». Работа тяжелая, как тяжела всякая работа «в горе». К тому же климат Норильска мало годится для жизни человека: «Заполярная зима угнетает не только морозом и пургой, но и вечной ночью, — вспоминал Гумилев. — Отсутствие солнечного света постепенно лишает людей сил. Они становятся вялыми, безразличными. Вот почему всем тогдашним норильчанам памятен день 25 января, когда на склонах гор загораются отблески еще не видного солнца. <…> Но и вторая половина зимы тяжела. В марте от блеска солнца, освещающего снежный наст, люди слепнут, если не надевают черные очки. В апреле наступают белые ночи, как над Невой, но здесь сквозь них идут пурги не меньшей силы, чем зимой».

Полярной зимой 1939—1940-го в бараках, сложенных из бутового камня, но еще не оштукатуренных, было холодно, через щели в стенах проникал не только ледяной воздух, но и снег. Случалось, что к стене примерзали подушки. Но Гумилев выдержал эти испытания: «вольная» жизнь хорошо подготовила его к лагерю. В Ленинграде Лев, как мы помним, колол дрова, спал на сундучке (Фонтанный дом) или на полу (комната Бекмана). Комфорт столичной жизни был для Гумилева редким праздником. Однажды в гостях у Мандельштамов ему постелили на самой настоящей кровати, принадлежавшей теще Осипа Эмильевича. Лев, непривычный к такой роскоши, с удовольствием потягивался на приятно пружинившем ложе: «Костям удобно!»

Наконец, едва ли не каждое лето Гумилев проводил в экспедициях с геологами, гельминтологами, археологами. Жил в палатке, грелся у костра. Когда Гумилев сидел в Крестах, Ахматова рассказывала о нем Лидии Чуковской: «Он очень

вынослив, потому что всегда привык жить в плохих условиях, не избалован. Привык спать на полу, мало есть». Первое знакомство с Белбалтагом тоже помогло.

К тому же Гумилеву повезло с компанией. В Норильске оказалось немало интеллигентных зэков, которые хорошо знали имена Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Их сыну было нетрудно найти приятелей и даже настоящих друзей. Лев жил вовсе не в бараке «самых отпетых урок», а в бараке геологов, где, по словам Снегова, «было интеллигентно и чопорно». Сам Снегов жил в бараке менее чопорных металлургов. По свидетельству Снегова, Гумилев в Норильске никак не напоминал доходягу: это был еще молодой человек, «худощавый, невысокий, с выразительно очерченным лицом, крепко сбитым телом, широкими плечами».

Последние месяцы лагерного срока Гумилев вообще проводил не в штольне, а в центральной химической лаборатории, которая ему напоминала библиотеку, точнее – хранилище различных материалов, проб горных пород, добытых норильскими геологами. Лаборант Гумилев должен был хранить их в порядке, а при необходимости (по требованию геолога) разыскать нужную пробу.

С началом войны жизнь стала труднее, паек – меньше, но голода не было, поэтому Лев Николаевич мог посвящать свой досуг творчеству, главным образом – поэзии.

Я этот город строил в дождь и стужу,
И чтобы был он выше местных гор,
Я камнем сделал собственную душу
И камнем выложил дорог узор.

Эти стихи можно без цензуры печатать в любой партийной или профсоюзной газете. Все здесь есть: и оптимизм, и любимая советскими поэтами тема – покорение природы, работа на великих стройках социализма. Если бы Гумилев был не бесправным зэком Норильлага, а членом Союза писателей, такие стихи могли попасть даже в «Правду».

Творческая энергия Гумилева в его норильский период жизни необыкновенна. Тогда он сочиняет сказки в стихах «Посещение Асмодея» и «Волшебные папиросы», пишет стихотворную историческую трагедию в двух картинах «Смерть князя Джамуги, или Междоусобная война», которая станет чем-то вроде этюда к его самому масштабному литературному произведению – трагедии в пяти действиях «Смерть князя Джамуги». Эту трагедию Гумилев записал в 1944 году, по дороге на фронт, но задумал и

сочинил еще раньше, в Норильске или, возможно, во время экспедиций на Хантайском озере и Нижней Тунгуске (1943-1944).

Многие стихи норильского периода до нас не дошли. Обе его сказки, «осенняя» («Посещение Асмодея») и «зимняя» («Волшебные папиросы»), были записаны только в конце семидесятых. От «соцреалистического» стихотворения о строительстве Норильска сохранились четыре строчки, да и то благодаря тому, что их запомнила женщина-химик (имя не установлено), работавшая вместе с Гумилевым. Позднее эту женщину отправили в Красноярск, где она встретила однодельца Гумилева Теодора Шумовского, процитировала ему эти строки, а Шумовский их записал. О других стихотворениях и поэмах остались только несколько свидетельств. Сергей Снегов упоминал поэму о цинге, Елена Херувимова пишет, что Гумилев посвятил ей одно из своих стихотворений.

Кроме того, в Норильске Гумилев начал писать прозу. 1941 годом датированы оба его рассказа, «Герой Эль-Кабрилло» и «Таду-вакка». Действие первого происходит в Мексике, второго – в Австралии. Тут соединились генетическая любовь Гумилева к дальним экзотическим странам и распространенная в советских лагерях традиция: экзотика помогает отвлечься от невыносимой реальности, найти отдохновение от тяжелой и скучной жизни. Так что тематика не удивляет, удивляет художественная слабость. Много лет спустя, когда советские издательства будут одну за другой выпускать книги Гумилева, его будут обвинять в «немарксизме» и «антимарксизме», в «искажении истории», даже в «шарлатанстве». Но противники Гумилева и его сторонники, простые читатели и академики – все признают его блестящим писателем, превосходным стилистом, мастером превращать историческое исследование в первосортный детектив. Однако оба лагерных рассказа довольно банальны, в особенности «Герой Эль-Кабрилло» – скучная притча о героизме мнимом и подлинном. Автору изменяет даже язык: «…он быстро пошел по склону холма туда, где у дерева была привязана его лошадь. Первым намерением Алисы было вернуть его. Она вскочила, но сразу остановилась, потому что мысль, вспыхнувшая в ее мозгу, показалась ей ослепительной».

Второй рассказ, «Таду-вакка» (про охоту на оборотня), несколько лучше. Там есть и загадка, разгаданная, впрочем, задолго до развязки, есть и насмешка над религиозной верой просвещенного обывателя в прогресс и в науку. Но в общем то рассказ довольно зауряден. Если в «Герое Эль-Кабрилло» были хоть как-то намечены характеры, то в «Тадувакка» и этого нет.

Проза Гумилеву явно не давалась, и он это хорошо понимал.

Свои рассказы Гумилев, видимо, никому не читал. По крайней мере, не сохранилось свидетельств. Правда, «Тадувакку» Гумилев писал в соавторстве со Снеговым, но Сергей Александрович в своих воспоминаниях об этом рассказе предпочел умолчать. О том, что Гумилев вообще писал прозу, стало известно лишь после его смерти, когда в архиве Льва Николаевича обнаружили самодельные тетрадки с этими рассказами.

Гораздо лучше известно другое сочинение Гумилева – «История отпадения Нидерландов от Испании». И вновь соавтором Гумилева оказался Снегов: «В 1565 году по всей Голландии пошла параша, что папа – антихрист. Голландцы начали шипеть на папу и раскурочивать монастыри. Римская курия, обиженная за пахана, подначила испанское правительство…» И все в таком же духе. В наши дни это один из самых цитируемых художественных текстов Гумилева, уступающий разве что стихотворению «Огонь и воздух» («Дар слов, неведомый уму…»). В какой-то школе на уроке русского языка его уже пытались использовать как учебное пособие.

У сочинения Гумилева – Снегова были свои литературные предшественники: «Голубая книга» Зощенко и «Всемирная история, обработанная "Сатириконом"». Но Аверченко, Дымов и другие просто издевались над очень хорошими учебниками Иловайского, хихикали над великими мужами, «расшатывали основы». Уже в 1920е, когда учебники Иловайского из школы изъяли, а преподавание истории отменили, сочинение сатирико новцев покрылось музейной пылью. Зощенко же перевел несколько случаев из древней и средневековой истории на язык советского обывателя и написал неожиданно глубокую книгу о неизменности человеческой природы.

Для Гумилева «История отпадения Нидерландов» была прежде всего литературной игрой, рассчитанной на интеллигентного, но уже искушенного в блатном жаргоне и воровских понятиях зэка. Впрочем, сочинение о религиозной революции в Нидерландах, написанное в жанре блатного романа, можно как роман и читать.

Блатные романы сочиняли и рассказывали наиболее начитанные и артистичные зэки, обычно «полуцветы» (то есть нормальные люди, «фраера», подражающие ворам), своим товарищам, преимущественно уркам. Так они приобретали некоторый авторитет в глазах урок, вообще не считавших фраеров за людей. В населении тогдашнего Норильска преобладали заключенные, а половину норильских зэков составляли уголовники. Гумилев, хотя и жил в «геологическом» бараке, не мог избежать общения с ними. Зато он – не вор, не грабитель, не

убийца – мог приобрести авторитет в глазах урок именно как рассказчик интересных историй или сочинитель «романов». В 1949 году Гумилев рассказывал Марьяне Львовне Козыревой, своей крестнице и подруге, что был у блатных «романистом».

С урками в Норильске Гумилев по меньшей мере не враждовал. «Мой знакомый убийца», — рассказывает Гумилев об одном из своих собеседников, уловившем, по словам Льва Николаевича, «абстрактный принцип мирового зла». Интересно, что уголовник Ванька Свист в сказке «Волшебные папиросы» – положительный герой. Он намного симпатичнее Политика и Критика, служителей того самого мирового зла.

И все-таки Гумилев больше общался с интеллигентными людьми, благо таких в Норильлаге было множество. Помимо физикапоэта Сергея Снегова, среди норильских друзей и приятелей Гумилева были поэт Михаил Дорошин (Миша), химик Никанор Палицын, инженер, «знаток Ренессанса, любомудр и поклонник поэзии» Евгений Рейхман и астрофизик Николай Козырев, впоследствии ставший известным ученым, одним из авторов теории Козырева – Чандрасекара.

Николай Козырев сидел еще с ноября 1936-го, когда его, только что уволенного из Пулковской обсерватории, арестовали как участника «фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации» (Пулковское дело). Многих его подельников-астрофизиков расстреляли, многие умерли в тюрьме, но Козырев выжил и в январе 1941-го получил новый срок. Козырева обвинили в том, что он придерживался теории Фридмана и Хаббла о расширении Вселенной, ныне общепринятой, что любил стихи Есенина и заявил, будто бытие не всегда определяет сознание.

Козырева привезли в Норильлаг только летом 1942-го, но именно там он, по словам Гумилева, «обрел славу». Сидя на нарах, он рассказывал интеллигентным зэкам, что «Вселенная ограниченна и имеет форму сферы, а что есть за ее пределами – неизвестно. Это поразило всех слушателей настолько, что даже военные новости, сообщаемые вольнонаемными сотрудниками комбината (вольняшками), не могли отвлечь внимание от потрясающих сведений о Космосе и Хаосе. <…> Имена Эйнштейна, Леметра, Дирака, Больцмана потрясли слушателей». Лагерные лекции Козырева пробудили у Гумилева интерес к естест венным наукам, без которого никогда не было бы пассионарной теории этногенеза.[21]

Гумилев и позднее будет с интересом следить за судьбой Козырева: «Не может быть, чтобы умную и верную мысль никто не понял и не оценил. Если за ближайший год он не станет первым

физиком мира, то, значит, он просто академпридурок». Первым физиком мира Козырев не станет, но и в «академпридурки» его записывать несправедливо. Сам же Гумилев со временем убедится, что признание научного сообщества даже перспективная научная идея получает не всегда, по крайней мере, не сразу. Гумилевскую теорию этногенеза до сих пор не признает большинство историков и этнологов.

Самого же Гумилева в лагере считали не историком, а поэтом, достойным своих великих родителей. Удивительно, что с товарищами-зэками соглашался и сам Гумилев. Когда Гумилев неожиданно проиграл турнир поэтов, уступив полбалла Снегову, то пришел в ярость и устроил своему удачливому другу сцену: «Он твердил, что я поступил непорядочно, — вспоминал Снегов, — Он, это всем известно, поэт, его будущая жизнь вне литературы немыслима – он намерен стать на воле писателем и станет им наперекор всему. А я им – это тоже всем известно – физик и философ, моя будущая жизнь – наука».

Откуда этот неожиданный демарш? С чем он связан? Он как будто утратил надежду вернуться к востоковедению, к нормальной научной работе и решил избрать для себя другой путь.

Но, возможно, на Льва Гумилева повлияло и еще одно обстоятельство: рядом не было матери. Анна Андреевна никогда не считала, что карьера поэта подходит ее сыну и, напротив, следила за его академическими успехами, даже гордилась перед знакомыми: «Лева уже писал собственные научные работы (к этому времени только одну работу. – С.Б.), овладел языками (из восточных только новоперсидским. – С.Б.). Он спросил однажды у своего профессора: верно ли то-то и то-то? Профессор ответил: раз вы так думаете, значит, верно…» – рассказывала она Лидии Чуковской.

Уже после войны Ахматова пересказывала другу Гумилева Василию Абросову слова, которые будто бы слышала от академика Тарле: «…в России не чаще чем через 10 лет появляется один студент на страну с такими выдающимися способностями, как у Левы».

Стихами сына она никогда так не гордилась. Ахматова оказалась совершенно права, но в начале сороковых Гумилев думал иначе. Слушатели-зэки хвалили его стихи и сулили Гумилеву-младшему большое будущее.

Более всего, на мой взгляд, удались Гумилеву драматические сказки, остроумные и блестящие, а местами печальные, написанные живыми, музыкальными стихами.

Жанр для середины XX века архаический, но подобную архаику любил и его отец. Придирчивый читатель, тем более литературовед, укажет на эклектизм «Посещения Асмодея», в котором переплелись легенда о Фаусте, комедия дель арте и «Балаганчик» Александра Блока. Совершенно оригинальными эти сказки сделало религиозное мировоззрение Гумилева.

В детстве Лева, крещенный, как и полагается, в православную веру, усвоил и некоторые основы православного взгляда на мир. Уже в 1949 году, во время нового следствия, он признается: «…на формирование моей идеологии повлияла семейная традиция. <…>

Моя мать, Ахматова Анна Андреевна, тоже человек религиозный». Но религиозные взгляды Гумилева формировали не только семейные традиции и православный катехизис. Фантасмагорическая реальность сталинской России повлияет на его мировоззрение не меньше, отпечатается на нем, как на необожженной глине.

Писатели и поэты – Александр Солженицын, Анна Ахматова, Михаил Булгаков, Лидия Чуковская и даже Аркадий Гайдар – передали реальность Большого террора не только намного раньше, но и лучше историков. Дело здесь в особенностях художественного мышления.

Террор, задуманный с циничным прагматизмом, выродился в явление бессмысленное и совершенно иррациональное. Люди рационального склада просто недоумевали, не могли понять, что происходит. Логика научного познания была здесь бессильна.

«…Бьют, пока человек не сознается. В чем угодно, хоть в изготовлении бомб. <…> Одно только непонятно – зачем?» – недоумевал физик Матвей Бронштейн. Допустим, Матвею Петровичу не хватило времени, чтобы осмыслить происходящее, — он сам вскоре стал жертвой террора. Но вот маршал Жуков, человек, одно время приближенный к верховной власти, даже много лет спустя так и не понял, что же случилось: «В стране создалась жуткая обстановка. Никто никому не доверял, люди стали бояться друг друга, избегали встреч и какихлибо разговоров… <…> Развернулась небывалая клеветническая эпидемия. (…) Советские люди от мала до велика не понимали, что происходит, почему так широко распространились среди

нашего народа аресты».

В отличие от ученого и военного Надежда Яковлевна Мандельштам не стала искать разумного объяснения происходящему. Всё равно бесполезно. Поэтому она намного ближе подошла к сути происходящего: «Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом…»

Бердяев, не видевший Большого террора, но уже переживший Первую мировую, писал о новом Средневековье: XIX век, светлый и ясный день человечества, окончился. Наступила ночь. Он предполагал, что наступила надолго, и призывал готовиться к нескольким столетиям сумерек и тьмы. Бердяев ошибся, но идея нового Средневековья неожиданно отозвалась на родине Бердяева. Отозвалась в рыцарских нарядах булгаковского Во ланда и его свиты и в стихах Льва Гумилева:

Средневековьем
Пренебрегать мы больше не должны.
Оно прижалось к нашим изголовьям;
Не нам оно, а мы ему нужны.

В гудках авто, в громадах серых зданий
И блеске электрических огней
Не слышно нам старинных заклинаний,
Не видно оживающих камней.

А между тем, как прежде, правит смертью
И тусклой жизнью только пустота.
Над крышами домов кружатся черти,
И ведьма гладит черного кота.

Иррациональная сила… Михаил Булгаков нашел ей имя. Но «Мастер и Маргарита» и сказки Гумилева – совершенно противоположны друг другу. Воланд у Булгакова – жестокий, но справедливый владыка этого мира. Дьявол вершит работу, слишком грязную для Иешуа и Левия Матвея. Неприятную работу, но необходимую: «…что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли все тени?» Невинных жертв нет, всем воздается по заслугам.

«Посещение Асмодея» – история о том, как бес, дух зла, пытается обманом, угрозами и силой отнять души у тупого и сластолюбивого профессора-марксиста и двух студентов, Арлекина и Пьеро. Профессору до Фауста далеко. Асмодей,

бессоблазнитель, легко и недорого покупает его душу. Завистливый профессор, увидев за соседним столиком девушку-Коломбину в компании Арлекина и Пьеро, просит беса устранить соперников. Ас модей с готовностью обещает:

Мы приведем, стремясь спокойно к цели,
Юнцов в тюрьму, а девочку в постель.

Дело сделано наполовину. Асмодей, притворившись мудрым сокамерником, уговаривает Арлекина и Пьеро, затем пытается их соблазнить, обернувшись девицей. Наконец, ничего не добившись, Асмодей оборачивается следователем в (чекистской?) форме и силой заклинаний принуждает студентов отдать дьяволу свои души:

Сорок сов собралися во тьме.
Меркнет тьма под ударами крыл.
Хеляме! Хеляме! Хеляме!
Черный ветер, исполненный сил,
Пронесись, пронесись по тюрьме
Улетающим совам вослед.
Намоныйа манги хеляме!
Бафомет! Бафомет! Бафомет!
<…>
Покатись! Покатись! Покатись!
В мир подземный бездонен поклон.
Опрокинься, надзвездная высь!
Пополам расколись, небосклон!
Из глубокой подземной воды
Выплывает полуночный свет.
Нере, нере, чулыб, чулугды!
Бафомет! Бафомет! Бафомет!

После третьего заклятия студенты молят о пощаде, но товарищей спасает животворящий крест. Асмодею придется довольствоваться только душой профессора-марксиста.

Мироздание в сказке Гумилева делится четко пополам: добро и зло, свет и мрак. Добро – это жизнь, радости бытия, это дружба, любовь, в том числе любовь плотская. А зло чуждо жизни, оно приходит откудато извне, уничтожая все вокруг, губя и тела, и души. Абсолютное мировое зло никак не связано с мелким, земным, бытовым злом, которое терпимо, как неизбежная и необходимая часть окружающего мира.

Эта мысль еще яснее подана в «зимней» сказке «Волшебные папиросы». Ее герои – люди и оборотни, нежить.

Люди – студент (Очарованный Принц) и студентка (Золушка), а также уголовник Ванька Свист. Каждый из них погружен в свои земные дела: молодые люди ищут любви, Ванька Свист – ворует, грабит, лапает девушек. Для Гумилева он персонаж несомненно положительный.

Волшебные папиросы Художника, «хозяина чар», переносят людей в пространство картины Филонова «Пир королей». Там оборотни – Политик (Канцлер), Критик (Капеллан), Художник и нежить – Снегурочка с черным котом – соблазняют людей, ловят их, убивают, а сердца, извлеченные из груди черным котом, забирает себе Сатана.

Фантасмагорический мир «Посещения Асмодея» и «Волшебных папирос» – это Ленинград тридцатых годов, а нарочито литературные имена героев оттеняют грубую реальность. Пьеро после третьего заклятия умоляет Асмодея, как бывалый зэк следователя: «Начальничек, пусти! Я подпишу». «Спасайтесь, черный автомобиль!» – кричит Золушка Принцу и Ваньке Свисту. Город находится во власти сил зла.

Над этой столицей опальной
Недаром смеется луна.
Недаром здесь бродит печальный
И алчущий дух – Сатана.

Сатана и его слуги творят зло ради зла. Большой террор – лишь одно из множества проявлений этого абсолютного зла, которое, однако, постоянно вторгается в жизнь человека, повсюду подстерегая его. Зло и жизнь – извечные враги, два равноправных начала. Так у Гумилева сложилось дуалистическое мировоззрение, довольно-таки далекое от христианской ортодоксии. Со временем он назовет дуализм биполярностью, а поэтические образы попытается перевести на язык науки.

ГОРОД ЖЕНЩИН

10 марта 1943 года истек пятилетний срок заключения, и Гумилев вышел на свободу. На самом же деле его жизнь поначалу не изменилась. К этому времени Гумилев уже давно имел «ноги», то есть пользовался правом свободы передвижения. Такое право получили в Норильске многие узники, ведь бежать им было некуда – вокруг лагеря тундра, а единственная железная дорога хорошо охранялась. Но и после освобождения Гумилев не мог далеко уехать из Норильска. Еще до начала Великой Отечественной на комбинате стали задерживать освободившихся зэков. После июня 1941-го не только вольные инженеры, но и рабочие (в том числе бывшие зэки) получали бронь. Бывшие заключенные еще много месяцев и даже лет могли работать на стройке, на заводе, в шахте, в геологической партии, наконец. Комбинату нужны были квалифицированные работники, и начальство всеми правдами и неправдами удерживало даже тех, кого должны были призвать в армию. Тут пускали в дело и экономические (приличная зарплата, хороший паек), и внеэкономические средства. Многих после лагеря переводили в разряд спецпоселенцев. Другим и вовсе давали второй срок. Гумилеву повезло, что он не попал ни в одну из этих категорий, но уехать на Большую землю он все равно не мог.

Гумилев вспоминал, как в марте 1943-го подписал «обязательство работать в Норильском комбинате до конца войны». Вскоре после своего «освобождения» Гумилев оказался в составе геофизической экспедиции, которая отправилась в окрестности Хантайского озера – искать железную руду. Тогда как раз возникла идея построить в Норильске еще и металлургический завод, если неподалеку удастся найти хорошую сырьевую базу. Кроме того, в окрестностях озера искали выходы соленых вод, которые считались признаком месторождений нефти. Москва не могла выделить на геологическую разведку ни людей, ни денег, поэтому экспедицию снаряжал непосредственно Норильский комбинат. Специалистов нашли тут же, в лагере, снабдили их аппаратурой, преимущественно самодельной.

В экспедицию Гумилева сманил его друг Николай Козырев. Лев Николаевич без колебаний оставил работу в центральной химической лаборатории и перевелся в геологический отдел. 1 мая 1943 года самолет доставил участников экспедиции на лед громадного Хантайского озера, что на самом юге Таймыра. Начальник экспедиции, инженер-геофизик Дмитрий Григорьевич

Успенский был заключенным, как и все ее участники, кроме только что освободившегося геотехника Гумилева и студентки-практикантки Елены Вигдорчик (в замужестве Херувимовой-Лапиной).

Когда Гумилев уверял Эмму Герштейн, будто бы за последний год видел только трех «женщин» – «зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку», — он просто обманывал свою давнюю подругу. Елена, единственная женщина в экспедиции, естественно, привлекала внимание всех мужчин, в том числе и Успенского. Но сама Елена предпочитала ему общество Гумилева и Козырева, как самых интеллигентных и воспитанных. Оба вскоре объяснились ей в любви, причем одновременно.

В середине июля 1943-го Хантайскую экспедицию неожиданно свернули. Часть работников вернулись в Норильск, а Гумилев с Козыревым попали в новую экспедицию – Нижнетунгусскую геологоразведочную. Экспедиция искала все ту же железную руду и на этот раз добилась некоторого успеха – удалось найти промышленно значимые скопления железных руд, но их добыча оказалась столь затруднительна, что разрабатывать месторождение не стали ни во время войны, ни после нее.

Экспедиция проходила в условиях исключительно тяжелых. Весной половодье на Нижней Тунгуске превращается в бедствие – вода поднимается на 18-20 метров. Летом наступает время комаров, в августе на смену комарам приходит вездесущая кровососущая мошка. Одежда и накомарники не спасают от гнуса. Кроме того, считает краевед Алла Борисовна Макарова, экспедиции не повезло с начальником. Возглавлял экспедицию А.П.Бахвалов, однокурсник самого Завенягина. Но талантами своего товарища Бахвалов не обладал, он даже не сумел как следует организовать снабжение. Экспедиция при нем нуждалась в оборудовании, в продовольствии, даже в охотничьих лыжах. «Вольняшки» просто бежали из экспедиции, но зэкам, в том числе и бывшим, деваться было некуда. Гумилев и прежде недолюбливал лес, предпочитая ему степь или лесостепь и даже тундру, теперь же он возненавидел эту «зеленую тюрьму».

В сентябре, когда в тайге начинались холодные дожди, экспедицию должны были вернуть в Норильск, но начальство решило иначе: Нижнетунгусскую экспедицию сделали стационарной, то есть она должна была продолжать работу и осенью, и зимой.

Летом 1944-го Гумилева за хорошую работу премировали недельным отпуском в Туруханск, ближайшее к месту работы экспедиции селение.

Точно неизвестно, сколько раз приезжал в Туруханск Лев Гумилев. Нет сомнения, что Гумилев бывал там не только летом, но и осенью 1944-го: в октябре именно из Туруханского райвоенкомата он отправился на военную службу. Гумилев не мог пробыть в городе всё время с лета до поздней осени. Он должен был возвратиться в экспедицию, а затем опять уехать в Туруханск.

А бывал ли он там прежде? Передо мной фотокопия четвертого номера питерского журнала «Мера» за 1994 год. Там историк и филолог Гелиан Прохоров опубликовал письма Гумилева к Василию Абросову, ближайшему другу Льва Николаевича. Письма столь откровенные, что их долгое время не решались перепечатывать. Только на сайте «Гумилёвика» дали несколько фрагментов, больше похожих на цитаты, а сам журнал «Мера» давно стал библиографической редкостью. Публикацию писем предваряла статья Александры Белавской, довольно известного в научных кругах биолога. Именно Белавская и рассказала о первой встрече Василия Абросова и Льва Гумилева. По ее словам, дело было еще в 1943 году. Все сведения о знакомстве и дружбе Абросова с Гумилевым Александра Петровна могла взять только у самого Абросова.

Василий Никифорович Абросов по происхождению – сын грузчика, бывшего крестьянина со Псковщины, а по призванию и по специальности – биолог и лимнолог, то есть специалист по озерам. После тяжелого ранения Абросов потерял руку. Выйдя из госпиталя, Василий, тогда двадцатичетырехлетний молодой человек, уехал в Красноярск, в Сибирское отделение Всесоюзного научно-исследовательского института озерного и речного хозяйства, где он начинал работать еще до войны. Летом 1943 года его послали в командировку в Туруханск.

«Однажды летним вечером, — пишет Белавская, — Василий Никифорович решил сходить там в кино. Перед кинотеатром он обратил внимание на двух явно не местных молодых людей. Один из них… сказал другому: "Смотри, трава!" Василий Никифорович поинтересовался, откуда они попали в те места, где трава не растет». Молодыми людьми оказались, разумеется, Николай Козырев и Лев Гумилев. Разговорились, порвали билеты в кино. Абросов купил в магазине бутылку «Сливянки», и новые друзья отправились продолжать так удачно начавшуюся беседу.

О чем они беседовали, мы точно не знаем. Но, судя по позднейшей переписке, Гумилева и Абросова интересовали тогда две темы: во-первых, наука, наука прежде всего. А во-вторых, женщины. Скорее всего, эти темы доминировали и в туруханских беседах. К тому же окружающая новых друзей атмосфера способствовала такому направлению мысли.

Туруханск представлялся зэкам городом мечты, эротическим Эльдорадо. О Туруханске мечтали, им бредили, Туруханск являлся зэкам во сне. Это был город женской ссылки. По легенде, что зародилась в беседах изголодавшихся лагерников, в Туруханске жили пять тысяч ссыльных женщин и всего восемь мужчин. Не восемь тысяч, а восемь! Это, конечно, большое преувеличение, потому что не только же ссыльные жили в Туруханске, водилось там и немногочисленное местное население. Ссыльные женщины менее всего походили на гордых амазонок, томных граций или страстных жриц Астарты. В большинстве своем они носили телогрейки и ватные брюки. Все работали и в свободное время готовились не к ночи любви, а косили сено, кололи дрова, окучивали картошку, словом, несли крест тяжкой сельской жизни в бедной и неплодородной стране, потому что Туруханск был в сущности не городом, а большим селом, застроенным серыми избами, хибарками и бараками. «Город» окружала лесотундра, в разгар лета стояли осенние холода, даже картошка едва росла, других же огородных культур не было вовсе. Хлебом в магазинах торговали не каждый день.

Но Гумилева город не разочаровал. Тридцатилетний мужчина, относительно здоровый, несмотря на пять лет тюрем и лагерей, был в таком городе желанным гостем. В Туруханске Лев, по его словам, женился «морганатическим браком» на все семь дней своего отпуска. Значение слова «морганатический» туманно. Возможно, это лишь эвфемизм полигамии или группового брака: «[В]спомни: в Туруханске Наташа и Матрена начали приобретать манеры дам. Конечно, это с них соскочило, как только мы расстались, но еслибы мы жили вместе?», — напоминал Гумилев Абросову одиннадцать лет спустя. Впрочем, из текста не ясно, жил Гумилев сразу с двумя женщинами или одна из них принадлежала Козыреву или Абросову. Последнее, впрочем, маловероятно. Судя по переписке 1954—1955-го, у Абросова в 1944 м еще не было даже и первого опыта. Наконец, этот фрагмент позволяет трактовать слово «морганатический» и в прямом смысле: Наташа и Матрена были простыми женщинами, так что их «брак» с дворянским сыном Гумилевым был «неравным».

Но в этом малиннике Гумилев даже не пытался задержаться. Здесь же, в Туруханске, он решил вновь переломить волю рока и сменить тягостную, но относительно безопасную жизнь геотехника на судьбу солдата.

Часть IV

БРИТВА И СТРАШНЫЙ СУД

Весной 1955 года Лев Гумилев, отсидевший половину уже второго лагерного срока, напишет «своему боевому командиру, теперь министру» маршалу Жукову письмо с просьбой о помощи. Помощи Гумилев не получит, письмо до адресата скорее всего вообще не дойдет. Могущественный тогда маршал получал тысячи подобных писем. Между тем Жуков и в самом деле был боевым командиром Гумилева, рядового артиллериста-зенитчика, участника трех стратегических операций 1-го Белорусского фронта.[22]

Свой призыв в армию он считал большой удачей. Солдатская служба не пугала Льва Гумилева, достойного сына своего мужественного отца. «Что я могу сказать о вооруженной защите Отечества, когда я его сам защищал в годы Великой Отечественной войны на передовой, а мой отец имел два Георгия, да и деды, и прадеды были военными, — ответит Лев Николаевич корреспонденту газеты «Красная звезда» в сентябре 1989 года. — Если верить фамильным преданиям, то мой далекий предок командовал одним из полков на Куликовом поле и там же погиб. Так что я скорее не из интеллигентов, а из семьи военных, чем весьма горжусь и постоянно это подчеркиваю. Для меня ратная служба – это неотъемлемая часть гражданского долга».

Хороший ответ, но тогда, в разгар войны, Лев Николаевич думал не только о гражданском долге. 18 апреля 1944-го Надежда Яковлевна Мандельштам пишет Борису Сергеевичу Кузину: «Получили письмо от Левы. Он мечтает о Ташкенте и сдаче экзаменов». Значит, Гумилев возвращается к прежней цели – стать дипломированным историком, вернуться к научной работе. Фронт, по-видимому, еще не входил в его планы. Но путь в науку был по-прежнему закрыт. В конце августа или в сентябре 1944-го он отправляет из Туруханска письмо к Эмме Герштейн: «Приятно также было узнать, что Вам повезло в научной работе. Это, безусловно, благороднейшее дело в мире, и из всех моих лишений тягчайшим была оторванность от науки и научной академической жизни. <…> За все мои тяжелые годы я не бросал научных и литературных занятий, но теперь кажется, что всё без толку».

Избавиться от трудового рабства до окончания войны казалось почти невозможно, войне же не было конца. Да и отпустят ли и после войны, ведь потребности Норильского комбината в специалистах, в рабочих, в сырье год от года росли. Призыв в армию был единственным шансом Гумилева. Даже

осужденным служба в штрафной роте приносила свободу. Гумилев, уже отсидевший свой срок, мог добиться снятия судимости, восстановиться в университете, вернуться к своим тюркам, гуннам, монголам, к университетским и академическим библиотекам. Путь к любимой научной работе с неизбежностью вел на передовую.

Письмо Гумилева к Эмме Герштейн почти отчаянное. Он уже несколько раз просился на фронт, подавал заявления – без толку. Отказывали почти всем работникам Норильского комбината – и заключенным, и «вольняшкам», просившимся на фронт. Впереди была короткая осень и долгая приполярная зимовка на Нижней Тунгуске.

Много лет спустя в своей ленинградской квартире за бокалом марочного грузинского вина Гумилев будет рассказывать своему собеседнику, студенту Андрею Рогачевскому: «По сравнению с Восточной Сибирью передовая – это курорт. Северная тайга – это зеленая пустыня, по сравнению с которой Сахара – населенное, богатое и культурное место».

Все это объясняет психологическое состояние Гумилева, когда он решился на отчаянный и совершенно экстравагантный поступок, о котором позднее рассказал Эмме Герштейн: «…явился к коменданту, держа на запястье бритву, и пригрозил: "Вот я сейчас вскрою себе вены, своей кровью твою морду вымажу, а тебя будут черти жарить на сковороде" (тот боялся Страшного суда). Вот так меня и отпустили».

Ольга Новикова отказывает Герштейн в доверии: «Что-то маловероятно, не в характере Л.Н.Гумилева были истеричные поступки урок. Скорее всего… это очередная черная легенда или злая шутка о Льве Гумилеве». Новикова предпочитает верить не Герштейн, а самому Гумилеву, который совершенно иначе рассказывал про обстоятельства своего призыва в армию: «Мне повезло сделать некоторые открытия: я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи магнитометрической съемки. И тогда я попросил – как в благодарность – отпустить меня в армию. Начальство долго ломалось, колебалось, но потом отпустили все-таки».

Но зачем же Эмме Герштейн сочинять «черную легенду» о Гумилеве? Она могла перепутать, но для чего же ей лгать? Эту историю она слышала от самого Гумилева, и слышала не она одна, по тому что уже в декабре 1944-го в Москве появились «сенсационные рассказы» о Гумилеве, который будто бы вскрыл себе вены и только тогда добился призыва в армию. Эта легенда, несомненно, основана на искаженной версии истории «о бритве и Страшном суде». В декабре 1944-го Гумилев с Эммой Герштейн не

встречался, значит, он рассказывал свою историю комуто из знакомых, повидавших его на Киевском вокзале, — Томашевской, Харджиеву, Шкловскому или Ардову, а уже через них история стала разноситься по литературной Москве, обрастая фантастическими подробностями (солдат со вскрытыми венами, добравшийся в теплушке из Восточной Сибири в Москву, — действительно фантастика).

Другое дело, что Эмма Григорьевна плохо разбиралась в субординации и не различала военное и экспедиционное начальство, поэтому мы так и не знаем, к кому же пришел Гумилев, к военкому или к начальнику Нижнетунгусской геологоразведочной экспедиции А.П.Бахвалову? В любом случае никакие «коменданты» здесь роли не играли. Военнообязанного мужчину призывает военкомат, а начальник экспедиции, наделенный немалой властью, мог и, по служебным инструкциям, должен был призыву помешать. Вероятно, Гумилев явился с бритвой именно к Бахва лову. После его визы решение военкома было предопределено.

Что касается интервью Льва Николаевича, то оно как раз и не внушает доверия. За хорошую работу начальство могло его премировать продуктами, одеждой, деньгами или поездкой в Туру ханск, но отпускать такого ценного работника не было никакого резону. Надо учитывать и обстоятельства двух рассказов Гумилева. В сороковые историю о бритве рассказывал молодой человек, солдат, бывший зэк, студент, еще не успевший восстановиться в университете. А интервью давал уже пожилой историк, доктор наук, знающий себе цену. Солидному человеку рассказывать о шантаже суицидом не к лицу, вот он и не рассказывал.

ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ

Гумилев-младший, правдами и неправдами пробившийся на передовую, очень напоминает своего отца. Николая Степановича из-за близорукости «и некоторого косоглазия» нельзя было призвать в армию, но он сумел настоять на своем и пошел в армию «охотником», то есть добровольцем. Озадаченный врач написал в своем заключении, что Гумилев, несмотря на свое зрение, «прекрасный стрелок».

Как бы ни был Лев Николаевич похож на отца, различий между ними все-таки много. Вольноопределяющийся Николай Гумилев мог при желании стать офицером. Он и в самом деле в 1915 году дослужился до прапорщика. Лев Гумилев остался рядовым, хотя в армию попал не в двадцать восемь лет, как отец, а в тридцать два года. Николай Гумилев служил в престижном лейб-гвардии уланском полку, Лев Гумилев – в зенитном. Николай Гумилев получил несколько орденов, Лев – только две медали. Боевой путь Гумилева-старшего хорошо известен, сам поэт рассказал об этом в «Записках кавалериста», сохранились и свидетельства его боевых товарищей. Сведения о службе Гумилева-младшего надо собирать по крупицам. Три военных стихотворения, несколько сохранившихся писем, несколько замечаний в интервью конца восьмидесятых, военный билет и наградные документы – вот и все источники, по которым можно судить о военной службе Льва Гумилева.

13 октября 1944 года Туруханский райвоенкомат призвал Гумилева в ряды Красной армии. Из Туруханска начался его путь сначала на юг, вверх по течению Енисея, а затем на запад – по Транссибу.

В Красноярске Гумилев распродал свою экспедиционную одежду, а ночевать пошел к Василию Абросову. Видимо, тот еще в 1943-м оставил Гумилеву свой красноярский адрес. Гумилев много раз будет вспоминать эту встречу и долгую ночную беседу «о построении мостов между науками».

Из воспоминаний Василия Абросова: «…переночевал на полу. Лечь на кровать он отказался – не захотел оставлять после себя насекомых, появившихся у него при жизни в глухой тайге. На следующий день Лев Николаевич попросил меня по возвращении в родной город разыскать мать и рассказать ей о его жизни на Севере».

Просьбу друга Абросов исполнил. Весной 1945-го он впервые появится в Фонтанном доме, а Гумилев к тому времени уже будет воевать.

В ноябре или начале декабря 1944-го Гумилев попал в запасной полк, где его обучали воинскому искусству: «День – стрелять из трехлинейки, шесть – отдавать честь офицерам». Строевая подготовка не давалась Гумилеву еще в университете, за что его терпеть не мог военрук, Гумилев же мстил военруку по-своему – сочинял о нем обидные песенки.

О порядках в советских запасных полках времен Великой Отечественной современный читатель обычно судит по «Чертовой яме» Виктора Астафьева. Гумилев воспоминаний о запасном полку не оставил. А если источников нет, то и писать нечего. Из запасного полка Гумилев отправился на фронт. Никогда не любивший жаловаться, он все же вспомнил этот путь недобрым словом: «Отправка в телячьем вагоне без нар. Голодуха…»

В декабре поезд прибыл в Москву на Киевский вокзал, откуда рядовой Гумилев позвонил Виктору Ардову и Виктору Шкловскому. Оба приехали на вокзал, и Лев попросил Шкловского известить о его приезде Николая Харджиева. Шкловский в писательской столовой передал записку Харджиеву, и тот вскоре приехал на вокзал вместе с Ириной Томашевской. Вокзал был забит эшелонами, найти среди них нужный было нелегко. Хар джиев и Томашевская ходили вдоль составов, а сопровождавший их часовой у каждого вагона выкрикивал фамилию Гумилева. В ответ слышалось: «Такого нет». Наконец, вспоминал Харджиев, «из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Л.Гумилева». «Николай Иванович, денег!» – воскликнул он. Харджиев отдал Льву 60 рублей (все, что у него было), а То машевская тут же за углом продала свои продовольственные карточки и вручила деньги Гумилеву. Лев тем временем рассказывал им о пассионарности, чем изрядно напугал Ирину Николаевну. Гумилев приравнивал свое открытие «к теории Карла Маркса», и Томашевская, услышав это от полуголодного солдата, решила, что он просто сошел с ума. Харджиев оценил состояние Гумилева иначе: «Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум».

На прощание Томашевская благословила Льва, и тот несколько недель спустя в письме к Харджиеву вспомнит их доброту и бескорыстную помощь: «Большой мой привет Ирине Николаевне, благодаря Вам и ей я доехал до места относительно сытым».

Помимо уже известной нам истории о перерезанных венах краткая (несколько часов) остановка в Москве породила еще два фантастических слуха, друг другу противоречащих: Гумилев едет воевать в штрафном батальоне и Гумилев отправляется не на фронт, а в Иран, где будет служить переводчиком. Автор

последнего слуха известен – Виктор Ардов.

На самом деле эшелон отправился не в сторону Персии, а в сторону западной границы, к Бресту, который Лев Николаевич по старинке называл Брест-Литовском. Там Гумилева отправили учиться на зенитчика, готовили две недели. В Брест-Литовск рядовой Гумилев прибыл под новый 1945 год, незадолго до начала Висло-Одерской наступательной операции.

12 января 1945-го Красная Армия перешла в наступление на всем фронте от Балтийского моря до Карпатских гор. Советская артиллерия накрыла немецкие позиции огневым валом. На полуразрушенные, смешанные с землей позиции немцев ворвалась пехота и русские танки. Это была всего-навсего разведка боем: стрелковые батальоны, усиленные танками и самоходками, должны были выявить уцелевшие огневые точки и узлы сопротивления. Но немцы не выдержали даже атаки разведывательных батальонов и начали отступать. Уже на второй день маршал Жуков бросил в наступление танковые армии Богданова и Катукова – рассекать порядки отступающих немецких дивизий, окружать крепости, освобождать польские города. В этом наступлении участвовал и Лев Гумилев.

Попал Гумилев, конечно, не в штрафной батальон (он ведь уже не был зэком, за что же штрафной?), а в зенитный полк. Вот только в который зенитный полк? Ольга Новикова, сопоставив номер полевой почты с номером части, определила: Гумилев служил в 1386-м зенитно-артиллерийском полку 31-й зенитно-артиллерийской Варшавской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Подтверждение своим расчетам Новикова нашла в фондах Центрального архива Министерства обороны. Среди личных дел рядовых 31-й дивизии нашлось и дело Л.Н.Гумилева, научного работника, беспартийного, который служил орудийным номером (без уточнения обязанностей) в третьей батарее 1386-го зенитно-артиллерийского полка 31-й зенитно-артиллерийской дивизии с декабря 1944 года. Новикова предполагает, что Гумилев мог быть заряжающим или наводящим в расчете 37-миллиметрового зенитного орудия 61К, эта скорострельная (один выстрел в секунду) зенитная пушка тогда составляла основу советской ПВО.

31-ю дивизию генерал-майора Богдашевского использовали в качестве фронтового резерва, усиливая ПВО то одной, то другой армии 1-го Белорусского фронта. Во время Висло-Одерской операции 1386-й зенитный полк был в составе 47-й армии генерала Перхоровича, обходившей Варшаву с северо-запада.

Казалось бы, все ясно, да только Ольга Новикова забыла один примечательный эпизод из биографии Гумилева. Советские

солдаты в наступлении захватывали богатые трофеи. Много унести с собой они не могли, но уж в удовольствии вволю поесть-попить себе не отказывали. В брошенных немцами домах осталась уйма снеди: колбасы, копченые гуси, ветчина и маринованные вишни, до которых Лев Гумилев оказался большим охотником. Однажды он так увлекся этими вишнями, что отстал от своей части и, по его словам, «оказался один посреди Германии, правда, с карабином и гранатой в кармане». Гумилев три дня искал свою часть, пока не прибился к одному из зенитных полков: «Меня приняли, допросили, выяснили, что я ничего дурного не сделал, и оставили в части», — вспоминал Гумилев. Это и был 1386-й зенитно-артиллерийский полк 31-й зенитно-артиллерийской дивизии Резерва Главного командования. Достоверность этой истории подтверждает письмо Эмме Герштейн от 12 апреля 1945 года: «…я получил Ваше письмо только сегодня. Причина та, что я после многих приключений переменил адрес, но ребята пересылают мне письма». Здесь же Гумилев указывает новый адрес своей полевой почты: 28807, это адрес 1386-го полка. Предыдущее письмо Гумилев отправил Эмме 5 февраля, значит, 5 февраля он еще служил на старом месте. Более того, еще 17 февраля 1945 года Гумилев отправил Виктору Шкловскому письмо и рукопись трагедии «Смерть князя Джамуги». В письме сохранился обратный адрес: полевая почта 32597б. Это адрес 13-го отдельного гвардейского зенитного артиллерийского дивизиона. Именно в этой части Гумилев и прослужил первые два фронтовых месяца.

Службу в 13-м гвардейском дивизионе подтверждает и сам Гумилев: «Начал служить в 13-м гвардейском зенитном дивизионе в Брест-Литовске», — рассказывал он Гелиану Прохорову.

А в личном деле Гумилева, вероятно, приписка. Скорее всего, начало службы Гумилева в 1386-м полку и для Гумилева, и для командира полка было удобнее датировать именно декабрем 1944-го: меньше волокиты, меньше проблем.

Уже в начале марта рядовому Гумилеву объявили благодарность «за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны немцев восточнее города Штаргард и овладении важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в Померании». Под приказом стоит подпись подполковника Гукова, командира 1386-го полка. Штаргард пал 5 марта 1945 года, значит, Гумилев попал в свой полк в двадцатых числах февраля 1945 года.

Три месяца спустя, уже во Франкфурте-на-Одере, Гумилев будет так вспоминать свое первое наступление.

Мы шли дорогой русской славы,
Мы шли грозой чужой земле,
И лик истерзанной Варшавы,
Мелькнув, исчез в январской мгле.

А впереди цвели пожары,
Дрожала чуждая земля,
Узнали тяжесть русской кары
Ее леса, ее поля.

Но мы навеки будем правы
Пред вами, прежние века.
Опять дорогой русской славы
Прошли славянские войска.

К военным стихам Льва Гумилева прохладно отнеслись даже М.Г.Козырева и В.Н.Воронович, авторы вступительной статьи к сборнику его литературных сочинений «Дар слов мне был обещан от природы». Они некоторое время, пока не нашлись документальные подтверждения, сомневались в авторстве Гумилева, а потом попытались «оправдать» поэта: «…его поэтический дар… достигал высот в философской лирике… но отзывался на современность… с трудом и не всегда удачно». Хотя разве не отзывами на современность были «Волшебные папиросы» и «Посещение Асмодея»? Правда, военные стихи Гумилева разругала еще их первая читательница, Эмма Герштейн. Но вскоре она пожалела о своих словах, поняла, что была здесь и несвоевременна, и неуместна. Давайте и мы не станем судить строго русского солдата Гумилева, сочинявшего стихи в перерывах между налетами немецкой авиации. Его стихи передают атмосферу зимних и весенних месяцев сорок пятого, предчувствие победы, торжество оружия даже не советского, а русского и славянского.

На улицах польских городов солдат-освободителей встречали толпы местных жителей, к ним примешивались тысячи бывших военнопленных – англичан, американцев, французов, даже итальянцев, освобожденных стремительным наступлением Красной армии. Писательница Елена Ржевская, в то время военный переводчик, так вспоминала эти январские дни: «Стоило появиться на улице русскому, как вокруг него немедленно вырастала толпа. В потоках людей, в звоне детских голосов город казался весенним, несмотря на январский холод, на падавший снег. <…> Заняв мостовые, не сторонясь машин, шли русские и

польские солдаты, обнявшись с освобожденными людьми всех национальностей».

«Нех жие Армия червона!» – кричали поляки, на время забывшие многовековую польско-русскую вражду. На их одежде появились патриотические краснобелые (под цвет национального флага) значки, а на штыках трехлинеек солдат Войска Польского – красно-белые флажки.

В феврале маршал Жуков снял с берлинского направления шесть армий, в том числе две танковые, и бросил их на север, в Померанию, на помощь войскам Рокоссовского. Всего в Восточно-Померанской операции приняли участие около миллиона советских солдат, среди них был и рядовой Гумилев. 31-я дивизия тогда была передана в распоряжение 61-й армии генерала Белова, которая развивала наступление на Альтдамм. Взятие Альтдамма 20 марта 1945 года Москва отмечала салютом, а Гумилев посвятил этим событиям стихи.

Мне памятен серый туманный денек.
Альтдамм догорал и еще не погас.

Осколки, как пчелки, жужжат – и в песок,
И семь самолетов, как камни, на нас.

Мне слышен был пушек отчетливый стук.
На небе чернели снарядов пути.

И я не отвел каменеющих рук,
Чтоб бросить прицелы и с пушки сойти.

А пять фокке-вульфов опять в вышине,
Стремятся на запад к чужим облакам,

А двое… кружатся в дыму и в огне
И падают вниз на горящий Альтдамм.

Взгляд на войну у Гумилева отцовский, романтический и несколько легкомысленный, что отразилась даже на образности: «осколки, как пчелки, жужжат». Здесь у отца и сына даже текстуальные совпадения:

Как собака на цепи тяжелой,
Тявкает за лесом пулемет,
И жужжат шрапнели, словно пчелы,
Собирая ярко-красный мед.

Невежественный читатель примет это за милитаристский бред восторженного юноши, еще не нюхавшего пороху, хотя перед нами стихи двух фронтовиков. Оба сочиняли под воздействием непосредственных впечатлений, а Лев прямо описал свою военную «работу»: «И я не отвел каменеющих рук, / Чтоб бросить прицелы и с пушки сойти».

В собственно немецких землях сопротивление резко возросло. Во время Восточно-Померанской и Берлинской операций даже старики и юноши из фольксштурма сражались с необычайной отвагой. Мирное население в панике перед наступающими русскими бежало. Те, кто бежать не успел, не хотели и сдаваться. Командир танкового десанта Евгений Бессонов рассказывает, что в некоторых селениях целые семьи вешались, чтобы не сдаться русским. Одной такой картины хватило бы впечатлительному человеку, чтобы до конца дней своих возненавидеть войну. Поэт Владимир Луговской до войны написал романтические стихи «о ветре, обутом в солдатские гетры. О гетрах, идущих дорогой войны», но весь его милитаризм испарился, стоило ему однажды попасть под бомбежку. Человеку невоенному и недолгая служба видится кошмаром. Если он талантлив, то по являются «Четыре дня», «На Западном фронте без перемен», «Где ты был, Адам?», «Прокляты и убиты» или «Веселый солдат». Теперь, после Гаршина, Ремарка, Белля, Астафьева взгляд на войну как на бессмысленное и противоестественное для человека занятие стал едва ли не общепринятым. Но ведь есть и другой тип человека – прирожденный воин, кшатрия. Такой тип встречается и среди поэтов:

Чу – дальний выстрел! Прожужжала
Шальная пуля… славный звук…

Это Михаил Юрьевич Лермонтов, один из любимых поэтов Николая Гумилева, поэт другой эстетики, но того же мироощущения.

И воистину светло и свято
Дело величавое войны,
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны.

Тружеников, медленно идущих
На полях, омоченных в крови,

Подвиг сеющих и славу жнущих,
Ныне, Господи, благослови, —

подхватывает Николай Гумилев.

Лев Гумилев хотя и не увидел самых страшных лет войны, должен был пережить немало. Его батарее приходилось не только сбивать самолеты, но и вести огонь прямой наводкой по контратакующим немцам. Однако его взгляды на войну и армию, сформированные талантливыми и воинственными стихами отца, ничуть не переменились. Письма Гумилева из Германии радостные, почти восторженные. Ему очень понравилась война.

«Жить мне сейчас неплохо. Шинель ко мне идет, пищи – подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижения в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное – разнообразие впечатлений», — писал Гумилев Эмме Герштейн 5 февраля 1945-го. «Солдатская жизнь в военное время мне понравилась. Особенно интересно наступать…» – писал он Николаю Харджиеву. Эмме Лев Гумилев рассказывал о своем военном быте несколько подробнее: «Воюю я пока удачно: наступал, брал города, пил спирт, ел кур и уток, особенно мне нравилось варенье; немцы, пытаясь задержать меня, стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне понравилось, в тылу гораздо скучнее».

Письма поразительные. Вот так и уверуешь в переселение душ. Ирина Одоевцева вспоминала, как в 1921 году Николай Гумилев «предвидел новую войну с Германией и точно определял, что она произойдет через двадцать лет: "Я, конечно, приму в ней участие, непременно пойду воевать. <…> И на этот раз мы побьем немцев! Побьем и раздавим"».

Как будто кавалерист царской армии воскрес и воплотился в бойце Красной армии. Письма Льва Гумилева к Николаю Харджиеву и Эмме Герштейн едва ли не повторяют письма его отца к Михаилу Лозинскому и Анне Ахматовой: «Я видел своими глазами и во всем принимал посильное участие. Дежурил в обстреливаемом Владиславове, ходил в атаку (увы, отбитую орудийным огнем), мерз в сторожевом охраненьи, ночью срывался с места, заслыша ворчанье подкравшегося пулемета, и опивался сливками, объедался курятиной, гусятиной, свининой, будучи дозорным при следованьи отряда по Германии. В общем, я могу сказать, что это лучшее время моей жизни». «…Выбили неприятеля и теперь опять отошли валяться на сене и есть вишни. <…> Сейчас война приятная, огорчают только пыль во время переходов и дожди, когда лежишь в цепи. Но то и другое бывает

редко. Здоровье мое отлично».

Рядовой Гумилев, скромный боец-зенитчик, оказался счастливее своего блистательного отца. Лев Николаевич воевал в тех краях, о которых Николай Степанович только мечтал. Прапорщик Гумилев был лишь на границе Восточной Пруссии и в юго-восточной Польше. Весь боевой путь рядового Гумилева пройден уже за Вислой, в западной Польше и восточной Германии. «Меня поддерживает только надежда, что приближается лучший день моей жизни, день, когда гвардейская кавалерия одновременно с лучшими полками Англии и Франции вступит в Берлин», — писал Михаилу Лозинскому Николай Гумилев 2 января 1915-го. «Я участвовал в 3 наступлениях: a) освободил Зап. Польшу, b) завоевал Померанию, c) взял Берлин, вернее, его окрестности», — напишет Лев Гумилев Николаю Харджиеву 23 мая 1945-го.

ДВЕ ВОЕННЫЕ ЗАГАДКИ

И все-таки Николай Гумилев был солдатом совсем другой войны. Офицеры кайзеровской Германии и царской России сохраняли еще представление о «правилах» войны, видели друг в друге людей, еще не уничтожали мирное население, еще не ведали ожесточения войны тотальной. Николай Гумилев не слышал о немецких зверствах. Взятие Берлина виделось ему праздником, радостным торжеством: союзные войска вступают в неразрушенную вражескую столицу, по Фридрихштрассе шагают казаки, канадцы, сипаи, сенегальцы…

В 1945-м Берлин, наполовину разрушенный американскими бомбардировщиками и советской артиллерией, возьмут не сипаи и сенегальцы, а русские пехотинцы и танкисты. Советские бойцы будут выжигать подвалы домов трофейными фаустпатронами. Боевые орудия будут сносить целые здания, погребая их защитников под грудами кирпича и битого камня: «Кровь фашистских псов пусть рекой течет!»

Настало время расплачиваться кровью за кровь, смертью за смерть. Советские фронтовые и армейские газеты выходили под лозунгами вроде этого: «Страшись, Германия, в Берлин идет Россия». Некогда многочисленное немецкое население западных областей Польши вскоре перестанет существовать так же, как немецкое население Восточной Пруссии, где немецкие офицеры, по свидетельству Юрия Озерова, убивали собственных жен и детей, а затем стрелялись сами.

В Берлинской операции 31-я дивизия Резерва Главного командования усилила ПВО 3-й общевойсковой армии генерал полковника Горбатова. Гумилеву не пришлось увидеть ни Зееловских высот, ни укреплений Берлина. 3-я армия шла во втором эшелоне советского наступления, она должна была обойти Берлин с юга, помогая замкнуть кольцо окружения. Немцы пытались пробиться на запад, чтобы сдаться американцам, а не русским. Забыв азы военного искусства, они бросались на русские позиции не цепями – колоннами, а опытные советские пулеметчики и артиллеристы их просто расстреливали.

Гумилев, вообще мало писавший о боях, упоминает немецкую контратаку под городом Тойпицем и не забывает о своих заслугах («я поднял батарею по тревоге»), так и не отмеченных начальством. Наградами Гумилева обходили. Он получил только две медали – «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», а также грамоты-благодарности за Штаргард и Берлин. Хотя весной 1945-го награждали щедро. Можно предположить, что Гумилева

обходили наградами как репрессированного? Сам Гумилев считал иначе: «К сожалению, я попал не в самую лучшую из батарей. Командир этой батареи старший лейтенант Финкельштейн невзлюбил меня и поэтому лишал всех наград и поощрений».

Ольга Новикова уточнила в Центральном архиве Министерства обороны имя командира 3-й батареи 1386-го полка: Финкельштейн Соломон Моисеевич. Финкельштейн был намного моложе Гумилева, ему исполнилось всего двадцать два года, но молодость офицера для Красной Армии 1945-го – явление обычное. Финкельштейн к тому времени лично сбил пять немецких самолетов и стал кавалером ордена Красной Звезды. Почему он не давал ходу Гумилеву, мы не знаем. Возможно, дело было в иррациональной антипатии вроде той, что способствовала первому конфликту Гумилева и Бернштама. В письме Гумилева к Эмме Герштейн от 12 апреля есть намеки на какие-то неприятности: «Ваше письмо вывело меня на несколько часов из мизантропии. Я отвык от хорошего отношения…»

С военной службой Гумилева связаны две загадки. Первая – полное отсутствие военных фотографий. Фронтовики в Германии очень любили сниматься. Правда, Гумилев до начала шестидесятых вообще очень редко фотографировался, но неужели же он за несколько месяцев уже сравнительно спокойной службы в советской оккупационной зоне не мог найти время и возможность сфотографироваться как положено: на фоне обломков сбитого немецкого самолета, чтобы был виден украшенный крестом или свастикой борт поверженной вражеской машины. Лучше всего было сняться в военной форме, с медалями, в окружении боевых товарищей.

Другая загадка – отсутствие сведений о тех самых боевых товарищах. Лев Николаевич был человеком общительным, повсюду умел заводить если не друзей, то приятелей, знакомых. Но о его армейских друзьях не известно ничего. Разгадку надо искать во фронтовых письмах рядового Гумилева.

Из письма Льва Гумилева к Ольге Высотской, вторая половина апреля 1945: «Мои мечты целиком связаны с возвращени ем домой. <…> Я хочу посидеть за столом и, главное, я хочу общаться с людьми, для которых существуют искусство и наука, духовная жизнь и творчество».

Среди однополчан Гумилева не было хоть сколько-нибудь образованных людей. Самый грамотный из них, старший лейтенант Финкельштейн, окончил техническое училище. Рядовые и сержанты были в большинстве простыми рабочими или крестьянами-колхозниками. Все, что так увлекало Гумилева, было им чуждо. Что ему оставалось делать? Только приспосабливаться,

чтобы сойти за своего: «Мне иной раз кажется, что у меня самого остались только условные рефлексы».

«Я был со своим народом и переживал то, что переживал мой народ». Лев Николаевич в интервью 1990 года почти повторяет слова Ахматовой. В самом деле, был с народом, но свободное время предпочитал проводить в компании людей образованных, даже если ими были уцелевшие немецкие интеллектуалы. А ведь он сам был одним из тружеников войны, простым русским солдатом. Но к самоидентификации «Я русский солдат, и отец мой был солдатом» Гумилев придет только много лет спустя, уже в конце жизни.

Победу Гумилев встретил под Берлином. Вскоре он начал тяготиться военной службой. В уже известном нам письме к Харджиеву Гумилев, похвастaвшись своими военными успехами, неожиданно начинает сетовать если не на судьбу, то на нерадивость начальства: «…в мирное время приходится тяжело… Согласно указу от 9/V42 года лиц, имеющих высшее образование и специальность, в рядовых держать не следует… А сейчас тем более – мирное время. Если бы к командиру части п.п. 28807 поступил вызов меня, то я был бы немедленно отпущен. И мог бы вернуться домой, к литературе и науке…»

Летом Гумилев скучал все больше, даже погода в Германии казалась ему слишком холодной (быстро же он позабыл Норильск и Нижнюю Тунгуску), а жизнь казалась вовсе безрадостной. «Ваши и Ориковы письма – мое единственное утешение в чрезвычайно бесцветной жизни», — писал Гумилев Ольге Вы сотской, матери «брата Орика».

Вообще с Орестом Высотским и его семьей Гумилев одно время связывал надежды на будущее. В марте 1945-го он перевел Ольге Высотской деньги (свою зарплату за четырнадцать меся цев в экспедиции). Пусть купит корову, «дабы, когда мы с Ори ком после войны начнем отдыхать, было бы с чего начать хозяйство». Кажется, в первый и последний раз Гумилев собирался перебраться в деревню. И позднее именно Высотской, а не Ахматовой, он отправлял посылки с трофеями, надо сказать, довольно скромными. Однажды он послал ей часы, брюки, платье и «белую мануфактуру».

Гумилев не был уверен, что в Ленинграде ему найдется место, а потому откликнулся на неожиданное предложение Ореста Высотского поселиться после войны в Ужгороде, только что присоединенном к СССР: «Лучшего места, пожалуй, не найти. <…> Страна культурная и удобная для жизни. <…> Там открывается в этом году университет, где можно будет найти интересную работу».

В любом случае, в Ужгороде или Москве, Гумилев собирался заниматься наукой, прежде всего наукой. Более того, он даже пытался найти себе работу. Узнав из газет, что его учитель, Николай Васильевич Кюнер, не только жив, но даже награжден орденом, Гумилев поздравил его, рассказал о своей судьбе и попросил для себя место в институте: «Я надеюсь, что Вы не забыли Вашего прилежного ученика. Трагические обстоятельства 1938 года, оторвавшие меня от науки, не убили во мне способности к научной мысли. <…> Меня поддерживала надежда вернуться к науке. Только благодаря ей я нашел в себе силу выжить. <…> Я просил бы Вас, Николай Васильевич, написать мне, смогу ли я надеяться снова работать под Вашим руководством. Это то счастье, о котором я 7 лет мечтал наяву и которое постоянно видел во сне».

«ЕВРОПА НАДОЕЛА ДО ЧЕРТИКОВ»

В письмах Гумилева нет ожесточения против немцев, ведь он не видел разрушенных советских городов, уничтоженных немцами деревень, его друзья погибали в лагере, а не на фронте. Но о немцах вообще и немецких солдатах в частности он судит свысока. Немцы будто бы не могут спать на голой земле, потому и проиграли войну, а русские и татары могут – поэтому войну выиграли. Немцы воюют, попив кофе, а русские и без кофе. Но как-то же дошли немцы до Волги и Большого Кавказского хребта, и подняли нацистский флаг над Эльбрусом, и пережили три русские зимы?! Немец лишь немного уступал русскому солдату в стойкости и выносливости.

Гумилев, рассказывая о покорности и послушности немцев, упоминает фельдфебеля, который избивал своего подчиненного: «Попробовал бы мне старшина дать по морде или комуто другому. Был такой случай, он мне по шее, а я ему в зубы. После чего мы посмотрели друг на друга и сказали: "Ну хватит, квиты"». Повезло же Гумилеву с частью! Не только старшины, но и многие советские генералы были известны своим рукоприкладством.

Гумилев жизнью немцев как будто не интересовался, а их устроенный быт ему вскоре наскучил: «Европа надоела до чертиков». Вот если бы вокруг была не Германия, а Монголия!

И все-таки несколько месяцев в Германии не прошли бесследно. Весной или летом 1945-го Гумилев написал, повидимому, для армейской газеты очерк «Замечание о закате Европы». Очерк не опубликовали, он и в самом деле слишком сложен для такого рода изданий. В 1949-м году его изъяли с другими бумагами Гумилева и приобщили к делу как «вещественное доказательство».

Много лет очерк пролежал в архивах госбезопасности, пока его не опубликовал Виталий Шенталинский.

«Не меня, но многих моих товарищей немецкая культура поражала своей грандиозностью. В самом деле – асфальтированные дороги *Berliner ring'a*, превосходные дома с удобными квартирами, изобилие всех средств механизации, начиная от тракторов и кончая машинками для заточки карандашей, душистые сады, саженые леса, и т. д., и т. п. Не менее обильны проявления духовной культуры: в домах полно книг, на стенах хорошие и плохие картины, чистота, опрятность, торжество порядка.

И посреди этой "культуры" – мы, грязные и небритые, стояли и не понимали: почему мы сильнее, чем мы лучше этой

причесанной и напомаженной страны?»

На этот вопрос Гумилев отвечает совершенно в духе Шпенглера: германская (и – шире – европейская) культура погибла от старости, а «мы моложе, будущее – наше».

«Культура заключается не в количестве машин, домов и теплых сортиров, — утверждает Гумилев. — Даже не в количестве на писанных и напечатанных книг, как бы роскошно они ни были изданы. И то, и другое – результаты культуры, а не она сама».

Старость, усталость немцев проявились и в годы войны: немцы безынициативны, скованны, задавлены привычкой к «порядку». Гумилев пишет о духовной и физической (!) неполноценности немцев и вообще европейцев. Европейская «феодально-буржуазная» культура разлагается повсюду от Гибралтара до Вислы: «Кровь остывает в жилах».

Гумилев сравнивает Германию с огромным и величественным дубом, который, однако, можно легко срубить, потому что ствол его сгнил. А Россию Гумилев уподобил молодой ели: «Долго будет она еще расти, до тех пор, пока ее зеленая вершина не поднимется выше леса, как несокрушимая башня».

Германия весной-летом 1945-го представляла превосходный материал для ученого, занятого исследованием исторических законов. Немцы, последние пассионарии Европы, проиграли войну, но поражение не изменило спокойного течения жизни тех городов, что не были разрушены авиацией союзников или уличными боями с русскими штурмовыми отрядами. Гумилев смотрел на Германию и немцев глазами читателя «Заката Европы», но вот о Елене Ржевской этого не скажешь; тем интереснее сопоставить их впечатления.

Елена Ржевская, как и Гумилев, несколько месяцев наблюдала послевоенную жизнь пригородов Берлина и была потрясена, когда увидела… немецких лошадей: «Мы знали про лошадей, что они тянут артиллерию или скачут со связным в седле, что они пали в бою или съедены. Для других нужд их не стало давно. А эти черные, лоснящиеся, сытые кони в торжественной траурной попоне и с пушистой кисточкой над холкой, с черным кучером в цилиндре, сидевшим на передке застекленного, лакированного катафалка, были блюстителями величавости и таинств смерти. Той смерти, что называется "своей". Не в бою, не от ран или мук плена – почивший "своей смертью", той, случавшейся так давно, что мы в войну забыли, что она и бывает…»

Гумилев познакомился и разговорился с двумя немцами, историком и физиком. Историку Гумилев доказывал справедливость и целесообразность советской оккупации

Бранденбурга («Бранного бора лютичей»). Физику рассказывал о своей жизни на севере Сибири. Когда тот сравнил Гумилева с героями Джека Лондона, возмущенный Лев Николаевич воскликнул: «*Alaska ist Kurort*!»

Оба эпизода очень интересны. Где он встретил физика? Где – историка? Как разговорился с ними? На каком языке общались, ведь Гумилев очень плохо знал немецкий. Возможно, они говорили по-французски, добавляя некоторые немецкие слова и обороты речи. Много лет спустя он говорил, что с немецкими коллегами общается на французском. К сожалению, рассказы Гумилева о беседах с немецкими учеными слишком кратки, а других источников нет.

Весна в Центральной Европе была настолько теплой, что уже в апреле – мае многие солдаты предпочитали спать прямо на траве, хотя ночлег под крышей был обеспечен всем желающим – кто бы посмел не пустить советского солдата на постой в уютный, увитый виноградником коттедж? Да и многие дома по прежнему стояли пустыми: хозяева убежали на запад. По ночам Гумилев слушал пение немецкого соловья, в свободное время декламировал на берегу Одера стихи Виктора Гюго, разумеется, по-французски.[23]

Несколько месяцев, между победой и демобилизацией, Гумилев очень скучал. Свободное от боевой и политической подготовки время солдаты посвящали обычному досугу: играли в карты или писали письма домой. «Читать нечего, говорить не о чем», — жаловался он в письме к Эмме Герштейн. «Придется служить и ждать, когда нас в конце концов отпустят», — писал Гумилев Ольге Высотской.

В сентябре 1945-го Гумилев начал читать советским офицерам лекции: «3 часа в неделю я обучаю любознательных офицеров истории и литературе, а прочее время они обучают меня, кажется, с равным неуспехом», — писал он в сентябре 1945-го Эмме Герштейн.

Содержание лекций неизвестно. Но, вероятно, для Гумилева фронтовой опыт не прошел зря. Его лекции в институте экономической географии, посвященные головоломным вопросам этнологии, древней и средневековой истории, будут понятны даже неподготовленным слушателям. Тогда, на фронте, Гумилев мог вновь, как и в лагере, вести разговор о научных проблемах на языке, доступном аудитории, что-то вроде этого: «Когда викинги поднялись по Сене, они хотели разорить одну укрепленную деревню, называвшуюся Париж. Там сидел граф Эд. <…>

Ну, все французы… тихие, спокойные, вежливые – они кричали, что у них миокардит, что они не могут идти на стены.

Он собрал кучку своих отпетых ребят и сказал: "Выгоняй их всех! Бей по морде, но чтоб вышел на стены! И чтоб защищался, сукин сын! К нам придет король – Карл Толстый, потомок Карла Великого! Он – нас спасет!" Тот пришел, посмотрел на этих викингов, испугался и – смылся. Так что вы думаете? — Париж устоял!»

Напоследок Гумилеву, как самому грамотному и культурному солдату, поручили описать боевой путь части, что он и сделал, получив в качестве награды новое обмундирование и освобождение от нарядов до самой демобилизации.

Из дневника Пунина мы знаем, что Лев Гумилев вернулся в Ленинград, на «дорогие берега Фонтанки», поздним вечером 14 ноября 1945 года.

Часть V

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛЕНИНГРАД

Ахматова встретила сына радостно, они беседовали целую ночь. Ахматова читала Гумилеву свои новые стихи и «Поэму без героя».

«Оживление наступило в доме Ахматовой – ненадолго, — когда вернулся с войны, из Берлина, ее сын Лев Николаевич Гумилев. Однажды Анна Андреевна открыла мне дверь в дорогом японском халате с драконом. Она сказала: "Вот, сын подарил. Из Германии привез"», — вспоминала Наталья Роскина.

И вновь Гумилев поселился в Фонтанном доме, но уже не приживальщиком. В блокаду погибла семья Смирновых. Теперь четырехкомнатная квартира была поровну разделена между Ахматовой и Пуниными. Анна Андреевна получила ордер на две комнаты, одна из них предназначалась для вернувшегося с фронта Левы. Это была невиданная роскошь! В тридцать три года у него появилась собственное пристанище! Сохранилось даже описание этой комнаты: «У окна – два небольших стола, поставленные перпендикулярно друг к другу, на стене полочка только с нужными для работы книгами, в глубине комнаты кровать с иконкой в изголовье».

Ахматова была тогда в чести. 8 марта 1942 года ее «Мужество» напечатала «Правда». Ахматова в «Правде»! Такие публикации меняли жизнь литератора. Ахматову вновь начали печатать литературные журналы, она снова получала персональную пен сию – 400 рублей, еще 200 рублей ей выделяли на такси. У Ахматовой был допуск в закрытый распределитель. Летом она лечилась в лучшем кардиологическом санатории. Все эти привилегии полагались лишь избранным членам Союза писателей, но Ахматова давно уже была на особом положении. Не зря же ее в 1941-м эвакуировали из блокадного Ленинграда специальным самолетом, который охраняли истребители. Пунину же, к примеру, с дочерью и маленькой внучкой пришлось эвакуироваться обычным путем – по льду Ладожского озера, под бомбежками. Их грузовик передними колесами попал в полынью, вся семья еле спаслась.

Ахматову признали большим поэтом, быть может, живым классиком не только тысячи интеллигентных читателей, но и большие литературные начальники, лауреаты Сталинской премии – Твардовский и Симонов, Федин и Сурков. В апреле 1946-го Ахматовой устроили овацию в Колонном зале Дома союзов.

Несмотря на все эти привилегии, квартира Ахматовой и Гумилева удивляла бедностью не только Исайю Берлина,

привыкшего к совершенно иным стандартам жизни, но даже Наталью Рос кину, семнадцатилетнюю московскую студентку: «Жила Ахматова тогда – даже не скажешь: бедно. Бедность – это мало чего-то, то есть что-то, у нее же не было ничего. В пустой комнате стояли небольшое старое бюро и железная кровать, покрытая плохим одеялом. Видно было, что кровать жесткая, одеяло холодное. <…> Ахматова предложила мне сесть на единственный стул».

Первые послевоенные годы сохранялась карточная система, по карточкам распределялось все продовольствие: хлеб, мясо, сахар, жиры. Карточки можно было отоварить только в строго определенных магазинах – по месту жительства. Все завидовали счастливчикам, прикрепленным к Елисеевскому. Жителям Фонтанного дома не повезло, они почему-то отоваривали карточки за Финляндским вокзалом.[24]

А ведь надо было не только есть-пить, но и одеваться. Гумилев приехал в Ленинград в новенькой шинели и гимнастерке. В принципе он мог бы еще несколько лет их носить. Но никто из друзей Гумилева не вспоминает о его шинели, гимнастерке или сапогах. Зато после войны у Гумилева впервые появился настоящий мужской костюм. Где же он купил пиджак и брюки, где продал форму? Ну конечно же, на легендарной ленинградской барахолке:

«Барахолка помещалась на Обводном канале. <…> Нигде, и до и после, ни на одном базаре не видал я такого выбора. Ни на блошином рынке Парижа, ни на знаменитых базарах Востока, ни в послевоенной Германии, где хватало всякой всячины. <…> На Обводном торговали солдаты, вдовы, демобилизованные офицеры. <…> Барахолка выигрывала тем, что деньги получить можно было сразу. Не надо паспорта, ни процентов продавцам.

Барахолка, было у нее еще название "толкучка", толкотня была ощутимая. Приволье карманникам. Тут же выпивали, спрыскивая покупку, да и продажу. Бронзовый амур был хорош, но мне нужен был пиджак, что-то штатское, осточертела гимнастерка. А на пиджаки был спрос больше, чем на амуров», — вспоминал писатель Даниил Гранин.

Послевоенное «благополучие» продлится недолго, а привилегии Ахматовой кончатся скоро, в августе 1946-го, после известного ждановского постановления, которое уже давно привыкли связывать с визитом одного оксфордского профессора.

В послевоенной Москве иностранец не был такой диковинкой, как, скажем, в конце тридцатых. Москвичи еще видели в англичанах, американцах, поляках союзников, а не врагов. Вопреки словам Черчилля, железный занавес еще не

совсем опустился. На московских улицах встречались трофейные «мерседесы», союзнические «форды» и «линкольны». «…Важно прохаживались польские офицеры в квадратных "конфедератках"… <…> У американского посольства, которое находилось тогда около гостиницы "Националь" на Манежной площади, стояли и болтали американцы в ботинках на толстой рифленой подошве, а в Охотном ряду или на улице Горького (Тверской) можно было столкнуться с англичанином», — пишет краевед Георгий Андреевский. Даже в киосках Союзпечати свободно продавали журнал «Америка» и газету «Британский союзник».

В Ленинграде любой иностранец был гораздо заметнее.

Посещение Фонтанного дома Исайей Берлиным и его встречи с Ахматовой – один из самых мифологизированных сюжетов ахматовской биографии. Ахматова много сделала, чтобы совершенно запутать своих будущих биографов, покрыть визит британского ученого и дипломата тайной, пустить дымовую завесу, в которой исследователи и простые читатели уже давно ищут и находят разнообразные секреты. Любители пикантных подробностей цепляются за строчки в «Поэме без героя», которые уже надоело цитировать. Более серьезный читатель находит в зимних визитах Исайи Берлина глубокий политический смысл. Бенедикт Сарнов, например, обнаружил связь между встречами Ахматовой с Берлиным и Фултоновской речью Уин стона Черчилля. Удивительны чары этой женщины, при жизни сводившей с ума самых умных и талантливых мужчин, а после смерти так и оставшейся тайной для литературоведов.

Ахматова как прекрасная Елена! Какой замечательный миф! Увы, никакой связи между холодной войной и ночными беседами в Фонтанном доме не было и быть не могло.

Может быть, наивные люди в СССР, Европе и США и надеялись на будущую дружбу союзников по антигитлеровской коалиции, но не Сталин же, не Рузвельт или Трумэн, тем более – не Черчилль. В 1944-м, когда советские, британские и амери канские войска громили нацистов, Сталин убеждал Милована Джиласа, одного из ближайших соратников Тито, ни в коем случае не доверять англичанам: «А вы, может быть, думаете, что мы, если мы союзники англичан, забыли, кто они и кто Черчилль? У них нет большей радости, чем нагадить своим союзникам…»

Черчилль, в свою очередь, никогда не забывал, кто такой Сталин. Уже весной 1945-го он отдал распоряжение подготовить план возможной войны против Советского Союза (операция «Немыслимое»). Американский генерал Джордж Паттон мечтал отбросить русских за Вислу. Русские тоже не дремали, а собирали

сведения о дислокации англоамериканских войск и держали в оккупированной восточной Германии большую военную группировку во главе с самим маршалом Жуковым. Многие советские ветераны войны вспоминали, что готовы были тогда, весной – летом 1945-го, пойти дальше, за Эльбу, обратив оружие против бывших союзников.

Когда британский философ пришел в гости к русскому поэту, холодная война уже началась. Их встречи имели значение разве что для истории литературы. Тень прекрасной Елены не стоит тревожить понапрасну. Мировая политика вершилась не в коммуналках Фонтанного дома.

Визит Исайи Берлина повлиял только на судьбу Ахматовой; на судьбу ее сына это влияние не стоит преувеличивать. Хотя Гумилев впоследствии будет упрекать мать в том, что она из тщеславия приняла у себя опасного иностранца, а ему, ни в чем не повинному сыну, пришлось пострадать из-за непрошеного гостя.

Гумилева поддержала и Эмма Герштейн: «Вероятно, я удивлю сэра Исайю Берлина, если сообщу, что Леву очень жестко допрашивали о визите заморского дипломата к его матушке».

Допрашивали, но когда? В июне 1950-го, то есть полгода спустя после ареста. К самому аресту визит Берлина отношения не имел.

Если Гумилев и пострадал от встречи матери с британским профессором, то лишь косвенно. Не исключено, что Жданов выбрал Ахматову для показательной экзекуции именно из-за этих визитов «английского шпиона».

Для Ахматовой появление настоящего профессора Оксфорда, влюбленного в ее стихи, и в самом деле было событием исключительным. Но какое впечатление Берлин произвел на Льва Гумилева? Он, кажется, не так уж заинтересовался британским гостем. Встретил его приветливо, угостил вареной картошкой и принял участие в разговоре. Берлин запомнил, что Гумилев занимался Средней Азией, ранней историей «хазар, казахов и более древних племен». Британский профессор оценил Гумилева очень высоко: «Он был по крайней мере так же начитан, культурен, независим в суждениях и так же утончен – едва ли не на грани интеллектуальной эксцентричности, как большинство студентов-старшекурсников Оксфорда или Кембриджа». Из беседы с Гумилевым Исайя Берлин заключил, что Гумилев, например, читал в подлиннике Пруста и Джойса, хотя последнее маловероятно. Если французским Гумилев владел свободно, то по-английски читал неважно и только при необходимости брался за монографию на английском. Вряд ли он стал бы читать пухлый

том «Улисса», когда на полках его ждали гораздо более увлекательные Геродот, Моммзен, Грумм-Гржимайло.

Впрочем, Берлин был гостем Ахматовой, а не Гумилева, которого вообще не интересовали европейцы. Там, где биограф Ахматовой только начинал бы рассказ, биограф Гумилева должен поставить точку. Впрочем, есть одна любопытная деталь. В рассказах Гумилева и Берлина есть странное противоречие.

Если верить Берлину, то он впервые пришел к Ахматовой днем, пришел вместе с советским литературоведом Орловым. Первую беседу с Ахматовой невольно прервал Рандольф Черчилль, храбрый, но беспутный сын британского экс-премьера: «Вдруг я услышал какие-то крики с улицы, и мне показалось, что я различаю свое собственное имя! <…> Крики становились все громче, и можно было вполне явственно различить слово "Исайя"».

Исайя Берлин спустился во двор, к Черчиллю, представил того Орлову, чем обратил пугливого советского человека в бегство, и увел Рандольфа. Вернулся Берлин к Ахматовой уже вечером, а около трех часов ночи пришел Гумилев, представился и начал угощать Берлина. Но вот Лев Гумилев на допросе в ночь с 9 на 10 июня 1950 года упоминает уже о первой, дневной встрече Ахматовой с Берлином и Орловым и передает ее содержание, которое он, впрочем, мог узнать от самой Ахматовой.

ОСЬМИНОГ

«Первый год после окончания войны был счастливым для Левы и внешне благополучным для Анны Андреевны. В Ленинграде их принимали как героев. Оба, каждый по-своему, радовались этому и немного злоупотребляли непривычной свободой», — вспоминала Эмма Герштейн. В первые послевоенные месяцы Лев Гумилев и в самом деле был необыкновенно счастлив. Пожалуй, никогда прежде ему не жилось так хорошо. Он легко нашел работу, да где – в Институте востоковедения АН СССР (в ИВАНе)! Правда, он числился там пожарником, но эта работа, по всей видимости, была необременительна, да к тому же давала Гумилеву небольшой источник доходов и, самое главное, открывала дорогу в библиотеку института.

Еще лучше его приняли в университете. Впервые Гумилев оказался в глазах даже благонамеренных советских обывателей не сыном контрреволюционера, не «контриком», а солдатом-победителем, участником Великой Отечественной войны. В то время демобилизованный Гумилев еще носил фронтовую шинель. В 1945-м для молодого мужчины не могло быть лучшей одежды.

Декан исторического факультета, В.В.Мавродин, симпатизировавший Гумилеву еще до войны, предложил Льву восстановиться на четвертом курсе и спокойно закончить учебу или сдать экзамены экстерном. Гумилев выбрал второй вариант. За четыре месяца (с декабря 1945 по март 1946) он сдал десять экзаменов (за два курса), в основном – на пятерки и четверки. Гумилеву помогла не только феноменальная память. Все его мысли, вся воля, все желание были направлены на одно – вернуться в науку.

Эмма Герштейн боялась за Гумилева, ведь после его демобилизации она несколько месяцев не получала от него писем. Эмма была потрясена, когда узнала, что Гумилев давно уже живет в Ленинграде, сдает экзамены и работает в Институте востоковедения. С точки зрения любого нормального человека это черная неблагодарность. Но Гумилева можно понять: ради науки ученый жертвует даже близкими. Теперь у тридцатитрехлетнего Льва не было сомнений: его будущее не литература, а наука, только наука.

Если верить Гумилеву, самым примечательным эпизодом этого времени стал экзамен по научному коммунизму, где Гумилев на два из трех вопросов ответил стихами. К сожалению, пере проверить это невозможно, потому что единственное

свидетельство, подтверждающее достоверность истории, — это воспоминания экономиста Льва Александровича Вознесенского, который с Гумилевым познакомился только в лагере и историю про экзаменационные ответы стихами слышал от самого Гумилева. Но сомневаться в достоверности рассказа Льва Николаевича вряд ли стоит. В экзаменационной комиссии преобладали профессора старой школы, они знали о происхождении Гумилева. Так что стихотворный ответ они могли воспринять не иначе, как яркий и нестандартный поступок незаурядного человека, достойного сына Николая Гумилева и Анны Ахматовой.

Гегелевский закон отрицания отрицания Гумилев изложил стихами Николая Заболоцкого, историю народнического движения – стихами Бориса Пастернака, процитировав большой фрагмент его поэмы «1905 год»:

Это народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.
<…>
А сентябрьская ночь
Задыхается
Тайною клада,
И Степану Халтурину
Спать не дает динамит.
Эта ночь простоит
В забытьи
До времен Порт-Артура.
Телеграфным столбам
Будет дан в вожаки эшафот.

Наконец, Гумилев успешно защитил дипломную работу, хотя рецензировал ее не кто иной, как А.Н.Бернштам. Несмотря на давнюю ссору, Александр Натанович оценил его работу очень высоко.

Материал к диплому Гумилев начал собирать еще в том самом счастливом 1937-м, когда занимался под руководством Кюнера в Музее антропологии и этнографии. Он изучал там терракотовые статуэтки воинов, привезенные из Центральной Азии, и читал китайские тексты, переведенные для него Кюнером. На основе своей дипломной работы Гумилев подготовит статью, которую опубликуют уже после его нового ареста – ее просто не успеют изъять из двенадцатого тома сборника трудов музея. Но это случится в 1949 году, а тогда, весной 1946-го, Гумилеву был открыт путь в аспирантуру. Он выбрал не ЛГУ, а Институт востоковедения АН СССР – ИВАН. Возможно, это была его ошибка, но первые месяцы в ИВАНе были, кажется, удачными. Официальным научным руководителем Гумилева стал академик Сергей Андреевич Козин, который вошел в историю науки своим переводом «Сокровенного сказания», важнейшего источника по истории монголов и биографии Чингисхана. Переводил он также монгольский и калмыцкий эпос. Козин, тогда советский монголовед № 1, был человеком, необходимым Гумилеву, а потому Лев попытался с ним подружиться.

Повод для сближения появился скоро. Весной 1946 года в ИВАНе защитил диссертацию Эрдэмто Рыгдылон, бурятский археолог и монголовед. Лев пригласил в гости (отпраздновать защиту) не только его, но и двух академиков – Козина и своего старого знакомого Струве, тогда директора института. Оба пришли, вероятно, не только ради Гумилева: в Фонтанном доме их принимала сама Ахматова. На Рыгдылона особенно не обращали внимания, героями дня были Ахматова и «Левушка». Струве очень хвалил Гумилева, Козин с ним соглашался.

Все, казалось бы, шло великолепно. Гумилев успешно сдал кандидатские экзамены. Уже к концу 1947 года Гумилев подготовил диссертацию и получил на нее положительные отзывы от своих старых друзейучителей – профессора М.И.Артамонова и членакорреспондента академии наук А.Ю.Якубовского. Анна Андреевна, удивленная необыкновенными успехами сына, звала его «осьминогом». А ведь Гумилев к тому же каждое лето от правлялся в археологическую экспедицию: и в 1946-м, и в 1947-м он работал под началом Артамонова на Западной Украине (Винницкая область).

Но учеба в аспирантуре ИВАНа, так блистательно начинавшаяся, окончилась катастрофой: Гумилева отчислили. За что? Биографы Гумилева и сценаристы популярных фильмов о нем объясняют отчисление просто: так институт отреагировал на постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Автором этой версии стал сам Гумилев, который много лет спустя вспоминал:

«Мамины стихи не понравились товарищу Жданову и Иосифу Виссарионовичу Сталину тоже, и маму выгнали из Союза, и начались опять черные дни. Прежде чем начальство спохватилось и выгнало меня, я быстро сдал английский язык и специальность (целиком и полностью), причем английский язык на "четверку", а специальность – на "пятерку", и представил кандидатскую диссертацию. Но защитить ее уже мне не разрешили. Меня выгнали из Института востоковедения».

Но между ждановским постановлением и отчислением Гумилева прошли год и четыре месяца. Медленно же доходила воля партии и правительства до академического института!

Сергей Лавров обвиняет в несчастьях Гумилева не Жданова, а самих востоковедов, которые не только отчислили Гумилева из аспирантуры, но и способствовали его аресту. «Ученые сажали ученых», — говорил об этом сам Гумилев. Действительно, сотрудники ИВАНа написали на Гумилева несколько доносов, где Гумилева обвиняли в нескольких «преступлениях»: Гумилев аполитичен; он не владеет марксистско-ленинской методологией; Гумилев не согласен с постановлением партии «по поводу ахма товщины».

В обвинениях нет ничего оригинального. В немарксизме Гумилева обвиняли и студентыдоносчики в тридцатые, и ученые доносчики в сороковые, и ученые – противники пассионарной теории этногенеза в семидесятые и даже восьмидесятые годы.

Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» сделало Гумилева практически беззащитным, но объяснить отчисление Гумилева только гонениями на его мать нельзя. В ИВАНе ведь работали не только молодые марксисты. Институт востоковедения первые двадцать лет своего существования был заповедником, где нашли свою экологическую нишу востоковеды, чуждые советской власти. В институте тон задавали ученые старой, дореволюционной школы, в большинстве своем беспартийные. Мнение товарища Жданова о творчестве Анны Ахматовой не особенно интересовало этих арабистов, синологов и монголоведов. Напротив, корифеи востоковедения на ученого с партийным билетом смотрели, по словам Дьяконова, как на карьериста и халтурщика, партийного диссертанта могли даже «завалить» на защите. Правда, случалось такое нечасто. Партийный товарищ почти всегда мог рассчитывать на поддержку высоких покровителей. У Гумилева такой защиты не оказалось.

Вернемся к интервью Гумилева: «…тогдашняя дирекция института, которой командовал доктор филологических наук Боровков, заявила, чтобы я убирался…» Гумилев не случайно упоминает ученую степень филолога. Официально Гумилева

отчислили «как не соответствующего по своей филологической подготовке избранной специальности».

Вот на этой филологической подготовке надо остановиться, ведь здесь и сокрыта тайна отношений Гумилева с отечественными востоковедами.

Востоковедение – это в первую очередь филология и лишь затем – история. Сначала учат язык, чтобы прочитать древние манускрипты, а лишь позднее начинают интерпретировать факты, из манускриптов полученные. Русская дореволюционная школа востоковедения (и петербургская, и московская) состояла из ученыхполиглотов, каждый из них знал основные европейские языки, чтобы читать труды английских, французских, немецких коллег, каждый знал латынь и греческий и, самое главное, знал несколько восточных языков, в зависимости от специализации. Кюнер со своими шестнадцатью языками не был исключением. Игнатий Юлианович Крачковский, например, считал, что востоковед должен знать по крайней мере четырнадцать языков. Сам он знал двадцать шесть, в том числе несколько европейских языков, латынь, древнегреческий, коптский, эфиопский, турецкий, татарский, персидский и, конечно же, арабский. На Востоке Крачковского принимали за сирийского араба. Игорь Михайлович Дьяконов еще в детстве выучил норвежский и английский, начал читать понемецки, в университете изучал аккадский, шумерский, древнееврейский, начал учить арабский, а позднее занимался еще и хеттским, древнегречес ким и другими. Всего он выучил четырнадцать языков. Но абсолютным рекордсменом был, видимо, профессор Киевского университета (а до революции – знаменитого московского Лазаревского института восточных языков) Агафангел Ефимович Крымский: он знал шестьдесят языков.

А какие языки знал Лев Гумилев? В личном листке по учету кадров, который Гумилев заполнял в октябре 1956-го для отдела кадров Государственного Эрмитажа, упомянуты шесть: французский, английский, немецкий, таджикский, персидский, татарский.

Но в письме к евразийцу П.Н.Савицкому от 17-18 марта 1963 года Гумилев даже не упоминает о татарском языке, а свою филологическую подготовку оценивает очень строго: «Я выучил два языка: персидский и древнетюркский и считаю, что время и силы, потраченные на это, пропали». Под «древнетюркским» он понимает язык орхонских надписей (орхоно-тюркский), который был ему необходим в исследованиях. «Из восточных языков знаю персидский, тюркский», — скажет Гумилев корреспонденту газеты «Ленинградский рабочий» в марте 1988-го.

В новиковской «Хронике» под датой «лето 1940» значится: «Перевод Л.Н.Гумилева в… барак к казахам, в котором он выучил казахский язык». Сведения о казахском языке Новикова могла почерпнуть только у самого Гумилева. Но не прихвастнул ли ученый? Ведь историку-краеведу Дауду Аминову он говорил, будто владеет даже арабским «в пределах, необходимых для научной работы», а затем уточнил, что владеет «арабской графикой». Достоверно подтверждено, что Гумилев мог только подписываться поарабски. Этим, очевидно, и ограничивалось знакомство с арабской графикой и арабским языком. У Гумилева просто не было ни времени, ни возможности изучить этот очень трудный для европейца язык.

В одном из интервью Гумилев покритиковал за нереалистичность «Графа Монте-Кристо». В лагере Гумилев, по примеру Эдмона Дантеса, не раз пытался учить восточные языки, но ничего не получилось. На собственном опыте Гумилев убедился, что изучить чужой язык в неволе невозможно. Хотя Гумилев общался с казахами, татарами, узбеками и даже с китайцем и с тибетским ламой, но усовершенствовался он только в персидском, который изучил задолго до лагеря. А казахского он не знал, в противном случае непременно указал бы его в листке по учету кадров.

В 1957 году во время экспедиции на Ангару Гумилев будет учить молодых студенток: пусть налегают на языки, настоящий историк должен прочитать любую монографию на другом языке за два-пять дней. Однако сам Лев Николаевич не так уж хорошо знал даже европейские языки. По-немецки он читал с трудом. Английский знал лучше, но, вероятно, не блестяще. По словам М.Г.Козыревой, Гумилев читал английские и немецкие статьи со словарем. В семидесятые-восьмидесятые годы статьи и монографии ему уже переводили друзья и ученики. Марина Георгиевна Козырева показывала мне собственный перевод главы из "*The Thirteenth Tribe – The Khazar Empire and its Heritage*" Артура Кестлера, который она сделала для Гумилева.

Из письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец 26 мая 1955 года: «Английские и немецкие книги читаю только научные и со словарем. Уж очень не люблю я эти языки».

Теперь посмотрим на Гумилева глазами Александра Константиновича Боровкова, заместителя директора ИВАНа. Боровков был не только партийным ученым, но и профессиональным тюркологом, знатоком узбекского, чагатайского, карачаево-балкарского и других тюркских языков.

Гумилев, правда, немного читал тюркские надписи и, по его собственному утверждению, делал это лучше Бернштама, но

Александр Натанович и не был образцовым востоковедом, его считали прежде всего археологом и этнографом. А сравниться в знании тюркских языков с Сергеем Ефимовичем Маловым, давшим первые описания ряда тюркских языков Китая, или даже с Боровковым Лев Николаевич, конечно, не мог. Не знал он и древнемонгольского, маньчжурского и, что самое главное для его темы, китайского, а ведь о кочевниках Центральной Азии больше всего писали в древнем и средневековом Китае. Гумилев не знал тибетских языков, не знал древнегреческого, но, что хуже всего, судя по словам самого Гумилева, тюркскими языками он владел очень плохо. В общем, надо признать, филологическая подготовка Гумилева была для востоковеда тех лет слабой. Как Боровков мог относиться к такому аспиранту? К тому же аспиранту дерзкому, успевшему нажить врагов среди влиятельных ученых. Как заместитель директора, он помимо науч ной работы отвечал и за политическую благонадежность ИВАНа – был секретарем партийной организации института, а потому Гумилев должен был быть ему вдвойне неприятен.[25]

Тогда, в 1947-1948 годах Гумилев яростно спорил с востоковедами, но десять лет спустя он фактически признал их правоту. «Основными недостатками своей подготовки я считаю: слабое знание языков. Читаю свободно только по-французски и английски, знаю персидский и таджикский, но не за все периоды (они очень разные). По-немецки читаю еле-еле, а по-татарски еще хуже; латынь чуть-чуть. Это, конечно, очень грустно, но не моя вина…» – писал Гумилев в одном из своих первых писем к евразийцу Петру Савицкому.

Впрочем, скорее всего отчислили Гумилева не только за незнание китайского и слабое знание тюркского. Научная жизнь, в особенности у гуманитариев, полна интриг, зависти, взаимных обид, ссор, конфликтов. Враги Гумилева были столь влиятельны, что ему не помогли даже положительные отзывы Якубовского и Артамонова. В ИВАНе ценили субординацию и не терпели выскочек. Гумилев настроил против себя не одного Боровкова. Донос на Гумилева написал, например, ученый секретарь сектора монгольской филологии Пучковский и зам. секретаря партбюро Салтанов. Бернштам, благосклонно встретивший дипломную работу Гумилева, вновь стал его врагом. Но хуже всего была ссора с Козиным. Гумилев об этой ссоре никогда и нигде не упоминал, зато до нас дошел один любопытный документ.

Михаил Илларионович Артамонов 19 декабря 1955 года направил в Прокуратуру Советского Союза ходатайство за Гумилева, где, в частности, есть и такая фраза: «Встречая подозрительное к себе отношение, Л.Н.Гумилев нередко

реагировал на него поребячески, показывая себя хуже, чем есть. Отличаясь острым умом и злым языком, он преследовал своих врагов насмешками, которые вызывали к нему ненависть. Обладая прекрасной памятью и обширными знаниями, Л.Н.Гумилев нередко критиковал, и притом очень остро, "маститых" ученых, что также не способствовало спокойствию его существования. <…> Особенно острым (так в тексте. – С.Б.) были столкновения Л.Н.Гумилева с его официальным руководителем акад. Козиным и с проф. Бернштамом, которых он неоднократно уличал в грубых фактических ошибках».

Не считая доносов Салтанова и Пучковского, ходатайство Артамонова – самый информативный источник об отношениях аспиранта Гумилева с коллегами. Правда, в письмах Гумилев не раз вспоминает ИВАН недобрым словом, но, к сожалению, остается краток: «Воскресать что-то не хочется, особенно если вспомнишь веселую жизнь в Институте Востоковедения». «Если бы обменять местами руководство лагеря и Академии наук, то заключенные сильно проиграли бы, а наука получила бы возможность для расцвета».

Таким образом, Гумилев оказался в ссоре и с монголоведами (Козин, Пучковский), и с тюркологами (Бернштам, Боровков).

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

Зима 1947-1948 – время для Гумилева исключительно тяжелое. Когда Гумилева в ноябре 1947-го отчисляли из аспирантуры ИВАНа, он взмолился: «Ради Бога, оставьте меня до декабря, чтобы карточки получить, иначе я умру с голоду». Карточки за декабрь ему дали, так что несколько недель у него был кусок хлеба. А 15 декабря 1947 года в «Правде» появилось постановление «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». К новому 1948 году прилавки продуктовых магазинов уже ломились от товаров, о которых ленинградцы и думать забыли. Не было ни ажиотажа, ни очередей – у нормального человека, зарабатывавшего 500—1000 рублей в месяц, просто не оставалось денег на деликатесы, ведь дороги были даже самые простые продукты. Сошлемся на уже известного нам Т.В.Андреевского: килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного – 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки – 12 рублей, сахара – 15 рублей, сливочного масла – 64 руб ля, подсолнечного – 30 рублей, литр молока – 3-4 рубля. Бутылка «Московской» водки (0,5 литра) – 60 рублей, бутылка «Жигулевского» пива – 7 рублей. Скромный мужской костюм стоил 450 рублей. Приличный, шерстяной – 1500 рублей.

В январе 1948-го Гумилев устроился в библиотеку психиатрической больницы имени И.М.Балинского, но некоторое время, видимо, пришлось жить на деньги матери, с которой так и не сняли ждановскую опалу. Симонов сумел восстановить Ахматову в Литфонде, но не в Союзе писателей. Ахматова не жаловалась на судьбу, но тяжело переживала невозможность печататься. По свидетельству Гумилева, у Ахматовой были «жуткие бессонницы, она почти не спала, засыпала только уже под утро, часов так в семь». Несчастье сблизило сына и мать. Лев ухаживал за больной матерью, вел хозяйство, покупал продукты, готовил ей еду. 23 декабря 1948 года, то есть за пять дней до защиты Гумилевым кандидатской диссертации, художница Антонина Любимова оставила такую запись: «Сегодня Анна Андреевна встретила меня сама – была в кухне. Она встает, хотя температура еще есть. <…> В комнате прибрано, истоплена печка, хорошо. "Лев ухаживает как добрый сын". А как же иначе?»

Лев приносил Ахматовой и книги, в основном на английском и французском, подчас весьма экзотические, например, монгольский эпос о Гэсере или сочинения Константина Багрянородного (в английском переводе), и Ахматова всё читала.

«У нее были исключительные филологические способности… она очень развилась, расширила свой кругозор, да и я, грешным делом, тоже поднаучился».

Позднее, когда Ахматовой позволят зарабатывать переводами, Гумилев будет ей помогать переводить, но большая часть их совместного творчества придется на первые годы после возвращения из лагеря в 1956-м.

Отчисление было ударом страшным. Гумилев тщетно пытался восстановиться, но письмо к директору Института академику Струве не помогло. Вероятно, Василий Васильевич не захотел ссориться из-за Гумилева со своим заместителем Боровковым. В отчаянии Гумилев написал даже академику Мещанинову, который курировал в Академии наук филологию и востоковедение. Хотя шансов на успех не было, ведь с Мещаниновым Гумилев даже знаком не был.

Оставался университет, но неблагонадежному Гумилеву в ЛГУ защититься было намного тяжелее, чем в сравнительно аполитичном и независимом ИВАНе. Партийный контроль над гуманитарными факультетами вузов был очень строгим. Неожиданно пригодилось студенческое знакомство с Маргаритой Панфиловой. Она училась со Львом на одном факультете, а в 1948 году была секретарем ректора ЛГУ Александра Алексеевича Вознесенского, брата могущественного тогда председателя Госплана Николая Алексеевича Вознесенского. Маргарита устроила так, чтобы ректор принял Гумилева.

Встреча, видимо, состоялась в апреле или в начале мая 1948 года. Гумилев принес характеристику с места работы – из психиатрической больницы, очень лестную для него, но Вознесенский не обратил на нее внимания. Гумилев обратился к ректору не только по поводу диссертации, но и попросил себе место в университете. Выслушав Гумилева, ректор принял решение: «Работу в университете я вам предложить не смогу… А вот диссертацию, прошу, передайте на Совет, историкам. И смело защищайтесь. В добрый час, молодой человек!»

Однако решение Вознесенского, по всей видимости, не могло быть окончательным. Историк Рафаил Шоломович Ганелин, ссылаясь на разговор с Н.Г.Сладкевичем, который был ученым секретарем на защите Гумилева, утверждает: разрешение на защиту дал лично Молотов.

Гумилев не знал, что решение о его научной карьере принимается на таком высоком, почти заоблачном уровне. Он просто отдал диссертацию на рецензию и 15 мая 1948-го уехал на Алтай в археологическую экспедицию Сергея Ивановича Руденко. По словам Гумилева, он устроился в экспедицию ради заработка,

но эта поездка принесла ему не только деньги.

Руденко еще с 1929 года вел раскопки могильных курганов в алтайском урочище Пазырык. Большинство пазырыкских памятников относятся к V веку до нашей эры. Еще в древности в могильники просочилась и заледенела вода, превратив почву курганов в природный холодильник. Здесь две с половиной тысячи лет пролежали не только металлы и камень, но и дерево, кожа, войлок, шелк – всё, что обычно истлевает в земле, сохранила вечная мерзлота.

В V веке до нашей эры эти земли населял богатый и достаточно развитый народ, вероятно, родственный скифам. Пазырыкцы, современники Геродота, Перикла и Алкивиада, носили войлочные шубы, расшитые соболями, шелковые и хлопчатые рубашки, женщины – шерстяные юбки, мужчины – настоящие штаны, великое изобретение степных кочевников. В пазырыкских курганах обнаружили первые в истории человечества ковры, окрашенные импортными красителями – армянской кошенилью и сирийским пурпуром. Пазырыкская культура знала и многие излишества цивилизации, от наркотиков (в этих местах с глубокой древности знали о свойствах семян конопли) до женских париков.

В раскопках одного из таких курганов (кургана № 3) и принимал участие Лев Гумилев. Вряд ли как простой землекоп. Опытный археолог и дипломированный историк скорее всего уже тогда занимался более квалифицированной работой.

Пазырыкские находки не одного Гумилева заставят задуматься о богатстве культуры кочевников Великой степи. Если уникальные природные условия урочища Пазырык помогли сохранить следы достаточно развитой культуры, то логично предположить, что и культура других степных народов была не менее богата, просто не дошла до нас. Изделия из кожи, дерева, шерсти, шелка истлели, не дождавшись археологов. Кроме того, Алтай был интересен Гумилеву и как родина древних тюрков, которыми Гумилев занимался еще с 1935 года.

Гумилев вернулся из экспедиции, видимо, в сентябре или в самом начале октября. Около трех месяцев ему пришлось ждать защиты. Эти месяцы Гумилев назовет «тяжелейшими в своей жизни», вероятно, не только потому, что у него, случалось, не было «ни пищи, ни дров, чтобы топить печку». Гумилев, наученный горьким опытом, сомневался: а дадут ли вообще защититься? Ученый совет медлил, и Гумилев уже решил, что его диссертацию просто «не хотят ставить на защиту», когда, наконец, пришло долгожданное известие: защиту назначили на предновогодние дни – 28 декабря 1948-го.

Тема диссертации («Политическая история первого тюркского каганата») была связана с предыдущей многолетней работой Гумилева над историей древних тюрков, начатой еще в декабре 1935-го. О защите мы знаем главным образом из воспоминаний Гумилева, но он, разумеется, не мог быть объективен. Из присутствовавших на защите воспоминания оставила только Марьяна Козырева. Правда, у нее встречаются неточности. Например, саму защиту она переносит с 1948-го на 1949-й, пересказывая ход дискуссии, называет имя Тамерлана, хотя тот жил на восемьсот лет позднее событий, описанных в диссертации Гумилева. Просто имен Бумынкагана или Истемихана она прежде не слышала, а потому более привычный Тамерлан занял в ее памяти место малоизвестных древнетюркских правителей. Зато воспоминания Козыревой передают атмосферу той защиты и не противоречат воспоминаниям самого Гумилева, подтверждая их достоверность.

«Происходило все в конференц-зале Академии наук. Когда зачитывали биографическую справку, то каждый ее пункт производил впечатление разорвавшейся бомбы: и кто папа, и кто мама, и откуда прибыл, и место работы… В начале Лев прочитал свой перевод кусочка из "Шахнаме". Этот эпизод рассказывает о вторжении тюркских войск в Иран и борьбе с ними персидского полководца Бахрама Чубина.

Лишь десять Хормиздовых лет пронеслись,
Повсюду враги на Иран поднялись.
С востока Савэ ополчился на бой,
Несметную силу ведя за собой:
Четыреста тысяч отважных бойцов
И тысячу двести военных слонов.
<…>
Он шаху Хормизду послание шлет:
"Сгоняй на работу подвластный народ.
Мосты и дороги повсюду чинить,
Еду припаси, чтобы войско кормить,
Да помни про сабли моей острие.
Хочу я пройти через царство твое".

Здесь, очевидно, и раздалась чья-то реплика: "Тяжелая наследственность…"»

По словам Козыревой, Гумилев на защите «казался Сирано де Бержераком, разящим меткими ударами шпаги любого противника». Это очень похоже на Льва Гумилева. Защиту своей второй докторской в 1974 году Гумилев откроет словами: «Шпагу мне!»

Оппонировал Гумилеву его давний «хороший знакомый» Александр Натанович Бернштам, который выдвинул против диссертации Гумилева шестнадцать возражений. Не на того напал! Гумилев обладал природным даром рассказчика, лектора и спорщика, дар этот он развивал и шлифовал не только на симпозиумах, но и в экспедициях, в лагере, в молодежной компании. Многолетняя практика помогла Гумилеву с честью отразить все атаки. Если не хватало аргументов, прибегал к эффектным приемам, которые заставали оппонентов врасплох. Когда Берн штам обвинил Гумилева в незнании восточных языков, тот заговорил с ним поперсидски, чего Бернштам, по всей видимости, не ожидал и стушевался.

Гумилев смело перевел спор на, казалось бы, не очень выигрышную для него почву – на трактовку древнетюркских надписей, ведь тюркский он знал неважно, но и тут оказался на высоте: «…я приводил ему тюркские тексты, которые он плохо понимал, гораздо хуже меня. Я рассказал свою концепцию в духе исторического материализма и спросил моих учителей, насколько они согласны. Привел цитату из его работы, где было явное нарушение всякой логики, и, когда он запротестовал с места, я попросил принести журнал из библиотеки, чтобы проверить цитату».

Но можно ли верить этому рассказу, без сомнения, тенденциозному? Видимо, можно. Во всяком случае Гумилев защитился успешно, из шестнадцати членов ученого совета за него проголосовали пятнадцать.

«Это было для меня совершеннейшее торжество, потому что с этими академическими деятелями я устроил избиение младенцев, играя при этом роль царя Ирода», — еще много лет будет с гордостью вспоминать Гумилев, уже доктор наук и ведущий научный сотрудник института.

ДВОЙНИК ГУМИЛЕВА

Бернштама после своего ареста в ноябре 1949 года Гумилев часто будет поминать недобрым словом. Настало время рассказать подробнее об этом примечательном человеке.

Биографы Гумилева представляют Бернштама злым гением, который много лет гнобил Гумилева и даже писал на него доно сы. Юрий Ефремов и Сергей Лавров прямо называют Бернштама доносчиком. Но откуда Лавров и Ефремов знали о доносах Бернштама? Только от самого Гумилева, тот же вряд ли знал наверняка. В те времена часто подозревали в стукачестве не тех, кого следовало. Ахматова, кажется, ни в чем не подозревала настоящую стукачку – Софью Островскую. Сам Гумилев обвинял в аресте 1938 года профессора Пумпянского, между тем документов, подтверждающих вину Пумпянского, не найдено. Не зря ли обвинял Гумилев и Бернштама? С другой стороны, Берн штам публично пытался «изобличить» Гумилева в «немарксизме», что в условиях того времени и в самом деле означало своего рода донос.

Бернштам и Гумилев были как будто самой природой предназначены к вражде. Гумилев ненавидел Бернштама, как только может дворянин (пусть и мнимый) ненавидеть выскочку-разночинца, «белый» – «красного», несчастный человек – счастливчика.

Бернштам и Гумилев родились в один день, 1 октября по новому стилю, только Александр Натанович был двумя годами старше Льва Николаевича. Судьбы их долгие годы были как-то странно связаны. Это удивительно напоминает рассказ Владимира Маканина «Ключарев и Алимушкин», где счастье одного героя тут же отражается в несчастье другого.

Оба, Гумилев и Бернштам, занимались древней и средневековой историей кочевников Центральной Азии, но Бернштам мог посвятить себя научной работе, а Гумилев годами был от нее отлучен. Бернштаму исключительно повезло с происхождением, для двадцатых-тридцатых лучшего нельзя было и придумать. Его отец, Натан Бернштам, большевик и участник трех революций, погиб в 1920 году в Крыму, сражаясь с врангелевцами.

Пока Гумилев зарабатывал рабочий стаж в трамвайном депо, в геологических партиях и паразитологических отрядах, Берн штам без экзамена поступил на этнографическое отделение географического факультета ЛГУ, успешно его окончил, поступил в аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию.

Когда Гумилев наконец поступил на истфак, Бернштам был уже старшим научным сотрудником Государственной академии истории материальной культуры (ГАИМК), а два года спустя возглавил Семиреченскую археологическую экспедицию. С тех пор Бернштам будет ездить в Среднюю Азию каждый год, руководить раскопками, откроет сотни ценных археологических памятников, будет читать древнетюркские рунические надписи.

Гумилев только в 1948—1949-м опубликует две небольшие статьи, затем последует перерыв до 1958 года. У Бернштама с 1931 го по 1956-й выйдет 250 научных работ, из них двадцать – отдельными книгами. В 1942 он защитит докторскую, пока з/к Гумилев будет ждать освобождения. Гумилева обходили наградами даже на фронте, а Бернштам в тылу получил орден Трудового Красного знамени и медаль «За доблестный труд». Если Гумилеву как будто не находилось места в советской жизни, то Александр Натанович, напротив, идеально соответствовал своей эпохе.

Сын большевика, Бернштам в юности был комсомольцем, а в 1940 году вступил и в партию. Сергей Павлович Толстов, известный археолог, членкор Академии наук, назовет Бернштама «ученым-коммунистом» и «несгибаемым большевиком», который боролся за «марксистско-ленинскую науку». Это не такие уж дежурные фразы. Ничего подобного нельзя было написать, скажем, о Крачковском или Кюнере. Якубовского могли в лучшем случае назвать «советским патриотом».

Вражда с доктором наук, да еще с правоверным марксистом, должна была дорого стоить Гумилеву, у которого и без того хватало недоброжелателей. Александр Натанович был довольно резким, экспансивным человеком, здесь он не уступал Гумилеву.

О темпераменте Бернштама можно судить по одному интересному случаю. Весной 1949 года за либерализм к «безродным космополитам» сняли с должности и выгнали из партии декана истфака ЛГУ В.В.Мавродина, на его место назначили Н.А.Корна товского, который тут же взялся за борьбу с «космополитизмом». Бернштам, вспоминает Р.Ганелин, напившись, обещал «огреть Корнатовского… палкой». Несколько человек едва удержали пьяного профессора. Это буйство Бернштама косвенно подтверждает и достоверность рассказа Гумилева о первой встрече с «Натанычем». Вспыльчивый Бернштам вполне мог крикнуть молодому и упрямому студенту «У вас мозги набекрень!»

На рубеже сороковых – пятидесятых Бернштам оставался известным и уважаемым советским ученым, в то время как Гумилев год спустя после защиты вновь оказался в тюрьме.

Впрочем, вскоре звезда Бернштама стала закатываться. В 1951-м в издательстве Академии наук вышла его книга «Очерк истории гуннов», где Александр Натанович высказал оригинальную точку зрения: гунны не были безжалостными разрушителями древних цивилизаций, но, напротив, сыграли прогрессивную роль в истории Китая и Европы – помогли разрушить старое рабовладельческое общество и таким образом подготовили становление феодальной формации.

Уже в первом номере «Вестника древней истории» за 1952 год появилась ругательная рецензия. Рецензенты нашли в книге Бернштама множество фактических ошибок, уличили в приверженности взглядам Н.Я.Марра (только что разоблаченного И.В.Сталином) и заключили так: «Наша историческая общественность вправе ждать от А.Н.Бернштама пересмотра ряда основных его теоретических положений, вправе ждать от него создания истории гуннов, соответствующей основным требованиям современной марксистско-ленинской исторической науки».

Но эта критика померкла в сравнении с разгромной рецензией, напечатанной в одиннадцатом номере журнала «Большевик». Ее автором была Зинаида Владимировна Удальцова, в то время сотрудник Института истории Академии наук. Со временем она сделает блистательную карьеру – возглавит Институт всеобщей истории и Ассоциацию византинистов СССР.

Удальцова атаковала Бернштама с позиций «марксистской науки», доводы Бернштама побивала цитатами из речей Сталина и статей Энгельса. Если же отбросить все «марксизмы», то выяснится, что Удальцова защищала традиционную точку зрения на историю гуннов: гунны – разрушители, ничего, кроме вреда, их вторжения в Китай и Европу не принесли.

Критики обнаружили слабое место Бернштама. Александр Натанович был человеком энергичным и трудолюбивым, но все таки намного уступал настоящим востоковедам старой школы. Он плохо знал восточные языки. К слову сказать, Удальцова обвиняет Бернштама в том, в чем академики Лурье и Рыбаков много лет спустя будут упрекать Гумилева: в непрофессионализме – Бернштам цитировал византийских авторов V века не по оригиналам, а по обобщающим работам Гиббона или Стасюлевича.

Критика ведущего академического журнала и полный разгром в журнале партийном заставили собраться ученый совет Института истории материальной культуры. Книгу Бернштама, старшего научного сотрудника этого института, осудили, автору рекомендовали публично признать собственные ошибки.

Журнал «Большевик» можно было найти даже в Камышлаге, и з/к Гумилев не без злорадства написал Ахматовой: «Я рад, что мерзавец получил по заслугам. <…> Я говорил то же самое, что напечатано в "Большевике"».

Проработки 1952 года отразились на карьере Бернштама, но он все-таки сохранил должность старшего научного сотрудника и, более того, продолжал вести археологические раскопки на востоке Средней Азии. Но до Гумилева еще долго будут доходить отголоски кампании против ненавистного Натаныча: «С большей радостью я прочел в "Советской Археологии", что наконец разоблачен Бернштам как лжеученый, невежда и маррист. Он получил по заслугам», — напишет Ахматовой Гумилев.

В последние пять лет жизни Бернштам сильно сдал. Фотографии иногда скажут о здоровье больше, чем медицинская карта. Так вот, Бернштам обладал достаточно характерной внешностью преуспевающего советского интеллигента еврейского происхождения: густые курчавые волосы, холеное, чуть полноватое, но интеллигентное лицо, круглые очки. Бернштам последних лет жизни – лысый старик. А ведь в год смерти ему толькотолько исполнилось сорок шесть.

Бернштам умрет в декабре 1956-го, через полгода после возвращения Гумилева из лагеря, но Лев Николаевич еще не раз помянет его «добрым словом». В конце пятидесятых – начале шестидесятых имя Бернштама появляется едва ли не в каждой второй научной работе Гумилева. Он уничтожал его повсюду, где только мог.

Между тем в сочинениях современных тюркологов ссылки на труды Бернштама встречаются чаще, чем на статьи и монографии самого Гумилева.

ГУМИЛЕВ И ЕГО ДАМЫ

После фронта Гумилев не вернулся к Эмме Герштейн. Но напрасно читатель решит, будто Лев Николаевич все свое время посвящал исторической науке. Как мы помним, в ноябре 1945-го у него появилась своя комната, и Гумилев, по словам ревновавшей его Эммы, начал водить к себе «кого попало, вернее, девок – то ли прямо с улицы, то ли из послеблокадной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина: там на фоне голодной смерти одних и притока из провинции других социальный состав сотрудников и посетителей стал смешанным».

Гумилев тогда часто кем-нибудь увлекался: «Очередная Левина приходимая крошка», — говорила Ахматова. Она была, видимо, смущена и даже растеряна: «У Левы постоянно девки», — жаловалась она Абросову.

Герштейн увидела его комнату только осенью 1947-го. Иконка над кроватью вызвала у нее ассоциации с ждановским постановлением: «Ведь из речей высоких заведующих литературой страны трудящимся запомнилась только кличка Ахматовой: "монахиня и блудница". На фоне вызывающего поведения Левы наметилась тогда и его так называемая "личная жизнь", запутанная и мутная».

Гумилев был еще молодым и, несмотря на войну и годы лагерей, здоровым человеком. Начиная с марта 1938-го у него не было дамского общества, если не считать известного нам «морганатического брака» в Туруханске и, быть может, краткого знакомства с Еленой Херувимовой (Вигдорчик). Хотя Гумилев и объяснялся ей в любви, но достоверных сведений об их связи у нас нет, так что не станем заносить ее в донжуанский список.

Между тем наследственность (и по отцовской, и по материнской линии) не предрасполагала Льва Николаевича к жизни анахорета.

В июне 1920 года Николай Гумилев провел несколько дней в доме отдыха на берегу Невы. Из воспоминаний Эриха Голлербаха: «С барышнями возился много и охотно… Заставляя их визжать и хохотать до упаду, читал им стихи без конца, бегал с ними по саду и пр. Словом, ему было "шестнадцать лет"». А Николаю Степановичу пошел уже тридцать пятый год.

Я намеренно не стал составлять донжуанский список Льва Гумилева, да и достоверных сведений о его романах не так много.

Если верить письму Гумилева к Василию Абросову от 18 января 1955 года, до последнего ареста (в ноябре 1949-го) у Гумилева было тридцать две женщины. Между тем Гумилев явно

не дотягивал до намеченного им самим «графика». Еще до ареста он будто бы говорил Абросову, что количество любовниц должно соответствовать количеству прожитых лет.

До мая 1956-го его общение с женщинами вновь прервалось. Вероятно, между 1956-м (выход на свободу) и 1967-м (женитьба) у него было немало знакомств, так что общий список следовало бы довести едва ли не до сорока женщин, а возможно, и несколько больше. 8 июля 1956 года Лидия Корнеевна Чуковская записала: «Лева влюбился в Наташу (Н.И.Ильину. – С.Б.)». По словам Ильиной, «этому грош цена, он влюбляется каждую минуту». Только в юности, говорил Гумилев, он был «глубоко влюблен 4 раза». Почти по Михаилу Кузмину:

И снова я влюблен впервые,
Навеки снова я влюблен…

По именам известно немногим более двадцати возлюбленных Гумилева. Но лишь о десяти – двенадцати его романах можно судить достаточно уверенно, о других связях сведения или отрывочны, или двусмысленны, или туманны, или недостоверны. Имена упомянутых Герштейн и Ахматовой «девок» покрыты непроницаемым мраком истории. Но бесспорно, в жизни Гумилева была «светлая радость Анжелика» (Анна Дашкова), были Эмма Герштейн и «монгольская принцесса» Намсрайжав.

Первым после фронта увлечением Гумилева была поэтесса Людмила Глебова. Она хотела выйти замуж за Гумилева, но тот решил «увильнуть от брака». Сестра Людмилы Татьяна с мужем даже ходили к Ахматовой, просили, чтобы та повлияла на сына, заставила его жениться. Но Ахматова уклонилась от посредничества.

Еще в 1936-м Гумилев познакомился со студенткой Ниной Соколовой (позднее сотрудницей Эрмитажа). Вернувшись с фронта, Гумилев возобновил знакомство. Лев и Нина встречались у него (на Фонтанке) и у нее (на улице Марата), в 1947-м они расстались.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 27 октября 1955 года: «…женщины хитрее нас. <…> Единственный способ борьбы с ними – это противопоставлять их и вышибать клин клином. Помнишь, как я вышиб Нину Птицей».

Не пройдет и месяца после возвращения из последнего лагеря, как Гумилев возобновит старые и заведет новые связи: «С Птицей болезненные объяснения. Появились Вера, Нора», — писал он Абросову 28 мая 1956-го. Вскоре у Гумилева будет помолвка с Татьяной Казанской, бывшей женой Николая

Козырева, тогда еще друга Льва Николаевича. Но Гумилев потом раздумает на ней жениться, и Татьяна решит уйти в монастырь. Немного позднее, в начале 1957 года, Гумилев посватается к девятнадцатилетней Наталье Казакевич (дело едва не окончилось браком). В конце 1957-го начнется поразивший воображение современников роман с Инной Немиловой, первой красавицей Эрмитажа. Отношения с Инной будут тянуться почти девять лет.

«У меня идет роман, очаровательный и благоуханный. Эта дама – червонная – лучше трефовой (Нины), и пиковой (Птицы), и бубновой (Норы)», — писал Гумилев Василию Абросову.

При этом Гумилев не имел ни отдельной квартиры, ни больших доходов. В зрелые годы он не был красив: «Среднего роста, потерявшая стройность фигура, с повисшими вдоль тулова руками, тяжелая походка. Первое время он приходил на службу в старом, порыжевшем от времени, тесном, темном костюме. Потом появился новый синий костюм, быстро утративший вид. Он не привык заботиться о своей внешности, да жизнь никогда и не создавала ему для этого условий», — вспоминала Наталья Казакевич.

И все же и с годами Гумилев, несмотря на болезни и подступающую старость, оставался привлекательным и очень интересным мужчиной. Советских девушек он покорял старомодной галантностью, недоступной их сверстникам: «Лев Николаевич, отвесив галантный поклон в нашу сторону, сказал, что он совершенно удовлетворен "молодыми леди", с которыми ему предстоит общаться целый месяц. Тем самым он купил нас "на корню"», — признавалась Нина Ивочкина, в год знакомства с Гумилевым студентка истфака ЛГУ.

О галантности Гумилева вспоминает и Наталья Казакевич, которая больше, чем Ивочкина, оценила его интеллект: «…меня совершенно покорили его энциклопедические познания, свободное владение миром интеллектуальных ценностей», — вспоминала она.

Своей монгольской пассии Гумилев даже несколько десятков лет спустя после знакомства присылал книги с пышными по восточной традиции посвящениями: «Золотой зарнице Востока Намсрайжав» или «Восточной звезде Намсрайжав». Покоренная монголка была убеждена, что Гумилев любит лишь ее одну. «Вечное Синее небо Монголии и древние горы Богдо радуются вместе со мной моему счастью», — писала она своему возлюбленному.

За последние пятьдесят три года жизни Гумилев только дважды встречался с Намсрайжав, а та вплоть до 1992-го года посылала Гумилеву любовные письма. Она звала Гумилева к себе

в Монголию, но тот не поехал. В одном из последних писем, отправленных уже в декабре 1991-го, она, семидесятилетняя ученая дама из Улан-Батора, уподобляла себя булгаковской Маргарите: «…настанет время, мы с Вами в блеске первых утренних лучей перейдем через каменистый мшистый мостик и увидим дом с венецианским окном и вьющимся виноградом. Вы здесь будете заниматься своим любимым делом, а я, если позволите, буду охранять, вместе с Натальей Викторовной, Ваш покой, и никто нас уже не разлучит, и мы снова будем юными!»

Географ Олег Георгиевич Бекшенев, посещавший лекции Гумилева в 1972 году, подтверждает – девушкам очень нравились манеры Гумилева: «Он всем нашим девчонкам целовал ручки, причем целовал правильно, не поднимал руку к губам, а низко склонялся и целовал. Правда, через пять минут он на лекции мог заявить, что женщина – не человек. Женщин вообще не уважал».

К сорока годам у Гумилева сложились весьма своеобразные теоретические взгляды на отношения полов и женскую сущность. Они базировались на богатом практическом опыте. «Вася, ты не прав, пытаясь относиться к бабам всерьез, — писал он Василию Абросову. — Им самим это по сути дела не нужно. Нужны им психоложество и партерная гимнастика; остальное возникает как результат затраченных трудоминут. А ты все хочешь наоборот – с единения души. Опомнись, ведь ты биолог!»

Гумилев как будто читает своему молодому (на семь лет моложе) и наивному другу лекции, прививая свой прагматический подход. Он предстает эдаким мудрым змием, учителем цинизма.

В жизни Гумилева женщины не занимали много места, поэтому он советовал не тратить на них лишнего времени и сил, обходясь малой кровью: «Женщины как лошади – любят чувствовать крепкую узду. При ухаживании не будь настойчив. Показывай, что ты в любую минуту готов бросить. <…> Женщина, чувствуя пренебрежение, начинает сама быть активной, а это ус коряет процесс. <…> Женщина будет требовать от тебя времени, но от науки не отрывай для нее ничего».

Как видим, Гумилев был женолюбом, но не донжуаном. Женщина – не цель и даже не средство. Без женщины нельзя, но она должна знать свое место. Слишком увлекаться ими не стоит: «Бабу, конечно, надо, но и помимо нее есть много хорошего – творчество, слава и т. д.»

По словам Натальи Казакевич, Гумилев делил женщин на две категории: «дамы и халды, т. е. простецкие тетки, не умеющие себя держать». Предпочитал он, разумеется, дам, потому что «культурный уровень… ощутим даже в постели», — объяснял он

другу Васе.

Впрочем, Людмила Стеклянникова упоминала еще один способ классификации женщин, применявшийся Гумилевым. Лев Николаевич делил женщин на «публичных» и «банщиц»: публичные – из Государственной публичной библиотеки, банщицы – из библиотеки Академии наук (БАН). Знакомился с женщинами Гумилев легко. В студенческие годы он мог просто подойти к девушке, корпевшей над скучной научной книгой, и привлечь ее внимание простым естественным вопросом. Так он познакомился, как мы помним, например, с Очирын Намсрайжав.

Позднее Гумилев стал еще мудрее и опытнее, Наталью Казакевич он дипломатично подвел к желанному разговору и сделал так, что она сама призналась в любви.

Гумилев был сторонником брака, но полагал, что в любовной науке количество должно перейти в качество, значит, нужен большой отбор и немалый опыт, зато, в конце концов, «Бог увидит – хорошую пошлет». Наивного, простодушного и, кажется, почти не знавшего женщин Василия Абросова Гумилев убеждал прежде всего набраться опыта, а затем уже свататься: «Я настаиваю: учись любить и быть любимым. 5-6 связей с бабами, пусть "бардачными", и ты будешь подготовлен, но не раньше». Вообще «брачиться следует, когда характеры уже притерлись и партнерша начала полнеть», — уточнял он свою позицию.

Такой подход к женщине современные феминистки сочли бы тяжелым случаем мужского шовинизма. Здесь Гумилев близок к Николаю Заболоцкому, который даже Ахматову не считал поэтом: «Курица не птица, баба не поэт». Гумилев же, в отличие от Заболоцкого, мог при необходимости подвести под антифеминизм исторический базис. В Средние века в Европе долго спорили на темы «Человек ли женщина?» или «Есть ли у женщины душа?» В научный работах он, конечно, таких мыслей не высказывал, но вот в его «осенней сказке» «Посещение Асмодея» Профессор пытается вместо собственной души отдать черту душу Коломбины. Асмодей, однако, не соглашается: слишком уж неравноценна замена.

Мой милый, не выйдет обмена.
Хоть девушки вашей страны
Немного живее полена,
Но душ, как оно, лишены.
Они для фокстрота, для спорта
Годны, для курортных забав,
Но вовсе не годны для черта,
Магистра полуночных прав.

Лишенные души женщины, разумеется, не способны к научному познанию, а значит, их исследования нельзя вообще принимать всерьез. Это всего лишь «бабы, делающие научный вид», «слабый (интеллектуально)» пол. «Низшая раса», — сказал бы герой Чехова.

Но вот что интересно: прагматизм Гумилева тут же исчезал, когда речь заходила об одной женщине. Стройная система ценностей рушилась. Как будто закон всемирного тяготения прекращал действовать, исчезала гравитация, а пол и потолок менялись местами. Вместо хладнокровного и умудренного жизнью мужчины появлялся безнадежно влюбленный: наивный, прекраснодушный, ревнивый, метавшийся между отчаянием и счастьем.

УДИВИТЕЛЬНЕЙШАЯ ИЗ ПТИЦ

Судьба как будто посылала отцу и сыну одни и те же испытания: арест, тюрьма, война и безответная любовь. Несмотря на длинные донжуанские списки Николая и Льва Гумилевых, была в жизни каждого женщина по-своему единственная. Встреча с ней стала скорее несчастьем, чем счастьем всей жизни, хотя кто может это измерить и оценить? Разные люди в разное время нашли этим женщинам одно и то же имя – «Птица».

Из письма поэта и переводчицы В.А.Меркурьевой: «Я ее (Ахматову. – С.Б.) видела одну минуту – она открыла мне дверь – и ослепла. <…> Женщина-птица, руки легкие, в полете…»

Птицей называл Ахматову Пунин.

«Я однажды приехала в Разлив и заплыла далеко-далеко. Николай Николаевич испугался, звал меня, а потом сказал мне: "Вы плаваете, как птица"». «Милая птица», — писал он из Москвы в феврале 1927 года.

«Птица моя сизокрылая», «О, удивительнейшая из птиц», «О, сумасброднейшая из птиц», «О, строптивейшая из птиц», «О, сияющая добродетелями птица». Так начинаются письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец.

Птицей назвала Наталью Варбанец ее воспитанница и младшая подруга Марьяна Гордон (в замужестве Козырева). Мать Марьяны умерла в 1942 году в эвакуации от голода. Отец, выдающийся европейский поэт и писатель Лев Гордон, своего жилья в Ленинграде не имел, снимал комнаты, часто – углы, и тогда Наталья приютила дочь своего сослуживца. Думали – ненадолго, оказалось – на десять лет. Своих детей у Натальи Варбанец не было, и Марьяна Львовна Козырева станет ее наследницей и биографом. В неоконченной автобиографической книге она рассказала о своей встрече с Варбанец в 1946 году.

Главное здание Публичной библиотеки пострадало от бомбежек и артобстрелов. Во многих местах была пробита крыша, повреждены междуэтажные перекрытия, стены, пол, выбиты стекла. Не работали водопровод и центральное отопление. Восстановление здания еще продолжалось. В библиотеке было очень холодно. Серые ватники, теплые платки, юбки, перешитые из пальто, делали женщин, проходивших мимо Марьяны, похожими. Только не Наталью Варбанец: «И ватник, с пришитым к воротнику довольнотаки облезлым енотом, перетянутый на ее осиной талии солдатским ремнем, и лежащий подобно мантилье шарф, и длинная, ниже колен, юбка, и прюнелевые лодочки вместо валенок – все это выглядело верхом элегантности».

Тяготы послеблокадного быта как будто не касались ее, не старили, не лишали красоты.

Из черновика автобиографического романа М.Л.Козыревой, тогда еще Марьяны Гордон:

> И медленно, пройдя меж пьяными,
> Всегда без спутников, одна,
> Дыша духами и туманами…

Эти строки всплывали во мне в то время, как я с подносом в руках постепенно подвигалась к раздаточной стойке в столовой, в то время как она (Птица) задумчиво шла ко мне (меж столиков), мысленно подсчитывая (как выяснилось), хватит ли нам с ней мясных талонов на две порции котлет».

Отрешенность от серой повседневности, спокойное сознание своей красоты, независимость… Одним словом – Птица. Необычное имя прижилось, вошло в мемуары.

Наталья Васильевна Варбанец родилась 24 октября 1916 года в Одессе. В 1923 году ее семья переехала в Петроград. В довоенных анкетах о социальном происхождении Варбанец писала: «из мещан». Позднее – «из семьи служащих». Заполнение анкет в советское время, по крайней мере до середины пятидесятых, было делом непростым и небезопасным. Неприятности сулили даже романтические увлечения юности. Шестнадцатилетняя Эмма Герштейн полюбила красивого мальчика. А звали его Лева Седов, и был он старшим сыном Льва Троцкого. Страшно представить судьбу Эммы Григорьевны, если бы молодой человек ответил ей взаимностью.

Гумилев, очевидно, знал настоящую, для анкет не предназначенную историю семьи Варбанец. Он всегда интересовался родословными своих избранниц. В одном из писем Гумилев упоминает о «галльской породе» Натальи. Мать Натальи, Ольга Павловна Руссет, принадлежала к тому же дворянскому роду, что и знаменитая фрейлина Александра Осиповна Россет (в замужестве Смирнова), собеседница Вяземского, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Род Смирновых-Россет соединил французскую, грузинскую, немецкую и русскую кровь. К ним добавилась еще и южнославянская: отец Натальи, Василий Ефимович, был сербом. О нем известно очень мало. Инженер. В 1935 году выслан из Ленинграда в Воронеж. В сороковые арестован. Погиб в лагере. Родители Натальи расстались еще до высылки Василия Ефимовича. Ольга Павловна воспитывала дочь одна. Помогли уроки рукоделия в Полтавском институте благородных девиц: она научилась искусно мастерить дамские

шляпки.

Уроки, полученные в институте благородных девиц, Ольга Павловна передала дочери. Наталья с детства играла на фортепьяно, рисовала, умела шить и со вкусом одеваться при очень скромных средствах.

Училась Наталья в Анненшуле, одной из самых старых (основана в 1736 году) школ Петербурга, но ушла после окончания седьмого класса.[26] Она рано повзрослела и сама принимала решения. Ее интересы уже определились, и не хотелось терять время на ненужные предметы. В 1931 году Наталья поступила на немецкое отделение Высших государственных курсов иностранных языков. Знаний, полученных в Анненшуле, оказалось достаточно, чтобы ее приняли сразу на последний курс. В 1933-м она сдала экзамены за восьмой класс средней школы и продолжала заниматься на курсах, уже на английском отделении. В мае 1934 года Наталья начала работать помощником библиотекаря в летней библиотеке ЦПКиО на Елагином острове.

В это время она познакомилась с историком-медиевистом, книговедом Владимиром Сергеевичем Люблинским (1903-1968). Эта встреча определила всю ее дальнейшую судьбу. Люблинский станет для нее любовью всей жизни и Учителем. Он поможет ей устроиться в библиотеку ЛИФЛИ и, по совместительству, в библиотеку Консерватории.

В консерватории и в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Люблинский читал тогда лекции по всеобщей истории, а в ЛИФЛИ, ЛГУ, МГУ, МИФЛИ вел занятия по истории книги с аспирантами. Он также занимался переводами с английского, французского, немецкого, итальянского и латыни, увлекался историей Венеции. Но делом жизни Люблинского была история книги. С 1935-го он возглавлял отдел инкунабул (с 1946 го – отдел редкой книги) Государственной публичной библиотеки. Туда он привел и Наталью. 2 апреля 1938-го она была зачислена в отдел по договору, а 22 октября того же года переведена в штат.

Страна, писала Лидия Чуковская, «трудилась и спала под усыпительно-обличительные речи газет и радиотарелок». Они призывали граждан проявить максимум бдительности, дать отпор враждебным вылазкам матерых врагов советской власти. Здесь же, в отделе редкой книги, почти волшебно звучали необычные слова: «инкунабулы», «альдины», «эльзевиры», хотя были всего лишь терминами, принятыми у историков книги. Когда Наталья впервые переступила порог отдела инкунабул – «кабинет Фауста», — она словно попала в другой мир.[27]

Под руководством Люблинского Наталья начала изучать инкунабулы: особенности шрифтов, бумаги, филиграней, типографской краски, набора, верстки. Эти занятия настолько увлекли ее, что даже свой почерк она стилизовала под старинные рукописи. Изучение средневековой книжной миниатюры повлияло на ее акварели. На одном из рисунков Наталья изобразила Люблинского в кабинете Фауста. Он в черном, похожем на монашеское одеянии (черный цвет – символ отрешенности от пестрой мирской суеты). Свет из стрельчатого окна льется на рукопись в руках Люблинского. Ученого окружают почтительно склонившие головы ученики. Мир позднего Средневековья и Возрождения был для Натальи Варбанец бесконечно интересен. Она находила в нем краски и смыслы, которых не хватало в серой повседневности.

Наталья Варбанец воспринимала Средневековье через магический кристалл искусства. На самом же деле жизнь человека в эпоху позднего Средневековья была страшна, опасна и, как правило, коротка. Черная смерть опустошала густонаселенные европейские города. Неурожаи приносили нищету и голод. Кондотьеры и ландскнехты разоряли дома бюргеров и крестьян. На городских площадях сжигали еретиков и ведьм.

Между тем на Ленинград и на всю страну надвигалась тень нового Средневековья, а «костры инквизиции» пылали совсем рядом.

Из книги Лидии Чуковской «Прочерк»: «Небо в звездах, но город во тьме; не светятся окна в жилых домах на Литейном; одни только огромные прямоугольники света – окна Большого Дома – неподвижно лежат на пустой мостовой. <…> Мне страшно; не знаю, когда страшнее: когда я иду в полной тьме или когда вступаю в прямоугольники света. <…> Внезапно позади меня быстрые, легкие догоняющие шаги. <…>

— Вот мы их все браним, — говорит моя спутница (тоже жена арестованного. – С.Б.), кивая со вздохом налево, — а ведь и их пожалеть надо: работают всю ночь напролет.

— Работают?

Кого они там сейчас истязают? Ее мужа? Моего?»

Наталья не была столь наивной, как спутница Лидии Чуковской. Она пережила высылку отца из Ленинграда, знала об арестах знакомых и друзей. Но молодость и характер не позволяли предаваться унынию и страху, а главное, рядом был Люблинский. Учиться у него, помогать ему стало для Натальи смыслом жизни. Люблинский как-то пошутил, что и в раю хотел бы каталогизировать инкунабулы. Наталья могла бы повторить за

учителем эти слова.

Весной 1940 года она наконец окончила среднюю (вечернюю) школу и, посоветовавшись с Люблинским, поступила на романское отделение филологического факультета ЛГУ. Ей пришлось тогда уволиться из штата библиотеки, но она продолжала работать по договору. Они с Люблинским составляли каталог «Античные авторы в изданиях XV века». Первый вариант был подготовлен к печати в 1941 году, но началась война.

Власти уже давно оценили организаторские способности Люблинского. Он был назначен помощником начальника штаба и инспектором боевой подготовки жилой системы МПВО Куйбышевского района Ленинграда, а с 1943 года – еще и начальником штаба МПВО Публичной библиотеки. Наталья уш ла из университета, окончила краткие курсы медсестер и всю войну служила в госпитале младшей медсестрой. В Публичную библиотеку оба вернутся в конце войны: Люблинский – в мае 1944-го, а Наталья – в январе 1945-го.

Лев Гумилев и Наталья Варбанец познакомились весной 1947 года, в конце мая или начале июня. Цвела сирень, уже начинались белые ночи – самое романтическое время в Ленинграде. Гумилева привела в дом Птицы на Рыночную (с 1950-го – Гангутскую) улицу, 6, кв. 3 общая знакомая, сотрудница Публичной библиотеки Вера Гнучева.

«Птицына милая комната, полки с книгами, столик по имени Бемби (вечно у него ножки разъезжаются), синий кувшин богемского стекла…» – вспоминает дом Натальи Варбанец М.Л.Козырева. Она же оставила словесный портрет Гумилева, каким увидела его весной 1947-го.

«Он был тощий, похож на макаронину, несколько бескостный. Когда он садился к столу, у него как-то всё перекручивалось – руки, ноги, он сутулился». Добавим, что и одет он был бедновато, но в искусстве обольщения женщин это не главное. По словам Марьяны Львовны Козыревой, новый знакомый занимал их рассказами весь вечер. О древнегреческих философах, римских папах, французских королях, даже об апостолах Петре и Павле Гумилев рассказывал с такими живыми подробностями, точно был с ними знаком лично да и расстался совсем недавно: «Ой, как они собачились между собой! Я даже рассказывать не могу. И доносы писали один на другого, и под судто апостола Павла отдавали, но ему удалось вырваться. Он был очень хитрый и ловкий…».

Гумилев смешил, озадачивал, удивлял:

«И вот, жил в этом городе обедневший аристократ Луций Корнелий Сулла. Когда мы говорим *обедневший аристократ*, нам

кажется, что он ходил и думал, где бы что-нибудь покушать. А ведь в то время "обедневший аристократ" значило совсем другое. Это значило, что у него на складе не лежало двадцать мешков золота, но дом у него был. Вилла у него была, как бы мы сказали – дача, не такая дача, как у наших профессоров, а каменная с атриумом – с бассейном, с большим парком. Рабыни у него были, рабы у него были… стада быков или свиней, которые паслись в его дубовых рощах. Это же мы сейчас, прогрессивные люди, считаем, что если съел бифштекс, так это хорошо. Они-то считали – а как же иначе! Они же были еще "отсталые". <…> И приятели у него были, и приятельницы в большом количестве. Но жизнь ему была не сладость, потому что Рим вел войну с нумидийским царем Югуртой где-то далеко в Африке. И победу над Югуртой одерживал народный трибун Гай Марий. <…> И Суллу заело – почему Марий, а не я? <…> Он попросился к Марию офицером. Ну, это можно было устроить, ему устроили (блат у него в Сенате был большой), послали его. Марий говорит: "Пожалуйста, останьтесь при штабе, Луций Корнелий!" А он: "Нет! Мне бы – на передовую!"».

Это фрагменты его поздних лекций. Но подобную манеру вести рассказ он выработал еще в молодости. Прибавьте к тексту мимику, жесты, а главное – интонации. Тексты и устные рассказы Гумилева соотносятся как пьеса и театр, театр одного актера. Не только восемнадцатилетняя Марьяна поддалась его обаянию, но и тридцатилетняя, избалованная вниманием образованных мужчин Наталья. Когда Гумилев ушел, они еще долго обменивались впечатлениями. «Мы обе сформулировали это одним словом: наваждение. Мы не могли уснуть…».

После революции и до середины тридцатых годов браки заключались легко: не на небесах, не в церкви и часто даже не в загсе. Актриса и педагог Е.К.Гальперина-Осмеркина, подруга Эммы Герштейн, вспоминала, что «…выходить замуж было совершенно не принято. Делали предложение так: "Давайте с вами жить вместе"».

Постепенно общество вернулось к традиционному, хотя и не церковному, но зарегистрированному браку. Гумилев до встречи с Натальей Варбанец не менял усвоенного с юности стиля общения с женщинами. Да и что он мог предложить своим подругам? Ни жилья, ни постоянного заработка, а главное, не хотелось отнимать драгоценное время от науки. Но с Птицей все оказалось иначе. Забыты были прагматичные и даже циничные теории о месте женщины в жизни мужчины. Уже на следующий день Гумилев отправился делать предложение самым традиционным старорежимным образом. Очень хотелось красивого ритуала. И он

принес Птице цветы и старинный веер Ахматовой. Вряд ли Гумилев был готов к неудаче. В то послевоенное время мужчин, да еще молодых и здоровых, катастрофически не хватало, и женщины своего счастья не упускали. Но Гумилева ждали обида и разочарование.

Птица выходить за него замуж отказалась. На второй день знакомства – понятно. Но она не изменила своего решения ни через месяц, ни через год. В дневнике Натальи Варбанец есть совершенно ясное объяснение: «Со Львом я не составляла вместе "мы". В сущности, он для меня брат, а хочет быть мужем», «… я его не любила любовью простой женской, супружеской».

Кроме того, у Натальи Варбанец всегда было стойкое предубеждение против брака. Она считала, что в супружеских отношениях «органически заключена потребность уничтожить любимое существо ради собственного удовлетворения, превратить его в свою послушную и благодарную игрушку».

Короткий опыт семейной жизни у нее был. В анкетах времен войны она писала: замужем, муж – Гродецкий Владимир Васильевич. Он лечился в госпитале, где служила Варбанец, потом вернулся на фронт. Правда, Гродецкий оказался двоеженцем, но вернуться хотел к Наталье. Она сама запретила ему приезжать, а в анкетах опять писала: не замужем.

Из дневника Варбанец ясно, что она не делает исключение даже для главного мужчины своей жизни. Владимир Сергеевич Люблинский женился задолго до встречи с Натальей, еще в 1925 году. Его жена Александра Дмитриевна, доктор исторических наук, профессор, специалист по западноевропейскому Средневековью и раннему Новому времени, была очень красивой женщиной. В начале войны Александра Дмитриевна уехала в эвакуацию, а Люблинский и Варбанец всю блокаду оставались в Ленинграде. Пережитые вместе испытания еще больше сблизили их. Люблинский решил развестись с Александрой Дмитриевной и жениться на Птице. Вместо согласия Наталья написала его жене письмо. Она никогда не унижалась до обмана. Но, может быть, в глубине души был и страх перед браком, перед неизбежным семейным бытом. Это решение далось Наталье тяжело. В госпитале она приняла большую дозу снотворного и приготовилась уснуть навсегда. Но привезли раненых, ее разбудили, тяжелых последствий для здоровья не было. Эту историю, со слов Птицы, пересказала М.Л.Козырева.

Марьяна Гордон сравнила Наталью с Настасьей Филипповной. Но в чем сходство? Красота? Красотазагадка? Безусловно. Но не характер. Не было у Натальи ни обиды, ни оскорбленной гордости, ни раздвоенности. Напротив, это была

очень цельная натура. И между двумя мужчинами, как Настасья Филипповна, она никогда не металась. Ничего не обещала, но ничего и не просила. Спокойное одиночество было для нее благом. Это вызывало у несчастных одиноких женщин, окружавших Наталью в библиотеке, удивление, непонимание, даже раздражение.

Больше всего на свете Птица ценила свою свободу: «Нет на свете человека, кот<орый> имел бы на меня права мужа, даже любовь моей жизни. <…> Будучи очень верным человеком, я всегда, в принципе, неверна как женщина».

Есть еще одна акварель Варбанец, написанная по мотивам «Весны» Боттичелли. На лугу танцуют Марьяна и Наталья, вернее, их души (так комментирует М.Л.Козырева), счастливые от сознания своей свободы.

Отказавшись от законного брака с Гумилевым, Птица продолжала с ним встречаться. Скоро они стали жить на два дома: то у него на Фонтанке, то у нее на Рыночной. Гумилев очень любил дорогу к дому Птицы по набережной Фонтанки мимо Инженерного замка.

На одной из акварелей Варбанец изобразила Льва рыцарем храмовником в белом плаще с красным крестом. «Думается, тут дело не только в рыцарских качествах Льва Гумилева. Скорее всего, сквозь фигуру сына вновь просвечивает отец, "конквистадор в панцире железном", чье творчество пронизывают рыцарские мотивы», — комментирует рисунок М.Л.Козырева. Но это скорее поэтическая, чем конкретноисторическая трактовка. Варбанец была специалистом по Средневековью, и если она изобразила Гумилева храмовником, а не, скажем, госпитальером (иоаннитом) или рыцарем Золотого Руна, значит, в этом заключен какой-то совершенно определенный смысл.

Тамплиеры, или храмовники (полное название – «бедные рыцари Христа и Соломонова Храма»), — духовнорыцарский орден. Его члены помимо обычных монашеских обетов – бедности, послушания, целомудрия – принимали еще обет борьбы с неверными. Белый плащ тамплиера означал чистоту, невинность. Красный крест символизировал жертвенность, мученичество. Возможно, в символике цвета и заключен смысл. В дневнике Наталья Варбанец объясняла свое чувство к Гумилеву жалостью: «Эти два года были самоотречением в какой-то мере… Потребность служения во мне была, видимо, а он взывал о помощи».

Чтото похожее есть в воспоминаниях Эммы Герштейн: «Я жалела его и про себя называла почемуто пофранцузски vic time (жертва)». Другой язык, но тот же смысл. И Эмма в тридцатые, и

Наталья в сороковые видят в Гумилеве невинную жертву, мученика, заложника своих знаменитых родителей, своей судьбы. Это совпадает и с тем, что Цветаева – Кассандра предрекла еще в 1916 году:

Рыжий львеныш
С глазами зелеными,
Страшное наследье тебе нести!

Но были у Натальи и не столь возвышенные мотивы продолжать затянувшийся роман. В том же дневнике она замечает: «Можно найти много прелести, радости… в романах не с избранником своей жизни…» С Гумилевым было интересно. А еще ей льстило, что он сын знаменитых поэтов. М.Л.Козырева вспоминает, как они вдруг начали спорить об очень известных стихах Ахматовой. Как же погиб сероглазый король? Его муж убил? Лев сорвался с места и побежал к автомату (телефона у Птицы не было) звонить маме. Вот так просто позвонить живому классику.

Образ Птицы Лев хранил в памяти долгие годы последнего лагеря.

Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 25 апреля 1955 года: «…для меня самое радостное… одна мелочь: однажды весной 47 г. я подошел к твоему окну в Библиотеке и увидел, что ты сидишь и разбираешь бумаги, нагнувшись над столом так, что был виден пробор».

Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 17 января 1955 года: «Если ты меня ждешь – носи пробор – это ультиматум». Он не хотел считаться ни с течением времени, ни с женской модой. Не надо лучше, только так, как он запомнил и полюбил.

Марьяна, Гумилев, Лев Гордон называли ее Птицей. Литературовед Лидия Гинзбург – Натой, пианистка Мария Юдина – Бимкой, Бимочкой (в честь своей кошки), Василий Абросов – Наташей. Завистники и недоброжелатели в библиотеке – «товарищ Варбанец», «та самая Варбанец». Гумилев придумал для Натальи совершенно необычное имя Мумма.

Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 6 марта 1955 года: «Наташу я не люблю, Птица меня приводит в отчаяние, а Мумма, увы, бывает нечасто».

Наташа – слишком обыденно, к тому же, возможно, это имя вызывало у Гумилева какие-то неприятные воспоминания. Одну из его «жен» в Туруханске звали Наташей.

Птица – красиво, но всякий раз напоминало о независимости и неверности Варбанец, так огорчавших Гумилева.

Мумма – идеал женщины, верной жены.

Из писем Льва Гумилева Наталье Варбанец зимой 1955 года:

«Ты дура, да еще непроходимая. Но это неважно, а важно кто ты: Мумма или не Мумма?»

«Я всё понял – ты Мумма, и я тебя очень люблю».

«Это писала не Мумма, а двойная доза цианистого калия».

Почему-то никто из биографов Гумилева не попытался даже предположить, откуда взялось это необычное имя. Из всех возможных вариантов, а их немного, наиболее вероятным представляется персонаж поэмы Генриха Гейне «Атта Тролль». Гумилев хорошо знал европейскую поэзию. Наталья Варбанец, с ее знанием немецкого, могла читать Гейне в оригинале.

И, наконец, еще один, возможно, самый весомый аргумент. Весной 1919 года Николай Гумилев переводил Генриха Гейне для издательства «Всемирная литература». В том числе и поэму «Атта Тролль». Тогда почти вся семья Гумилевых собралась в Петрограде, в доме 20/65 на Ивановской улице. Известно, что Николай Степанович часто читал сыну недетские стихи. Маленький Лева не только запомнил, но навсегда соединил эти стихи с памятью о семье, домашнем уюте, который могла создать Анна Ивановна Гумилева даже в чужой холодной квартире.

…Мумма,
То – супруга Атта Тролля.
Я узнал ее по блеску
Нежных, влажных глаз ее.
<…>
Мумма, Мумма, черный жемчуг,
Тот, что я в пустыне жизни
Взял и вновь в пучине жизни
Уж навеки потерял.

И кто же они, счастливые супруги? Медведь и медведица. Своеобразный юмор был у Льва Николаевича!

Ах! Как хочется еще раз
Мне лизнуть родную морду
Милой Муммы, что сладка,
Как помазанная медом.

Генрих Гейне. Атта Тролль. Перевод Н.Гумилева

Впрочем, интимные имена постороннему часто кажутся

смешными, нелепыми, но ведь они для чужого уха не предназначены. Почему Мстислав Ростропович называл красавицу Галину Вишневскую «лягушкой»? И она с удовольствием об этом рассказывает. Ей это нравилось. А нравилось ли Варбанец? Во всяком случае она приняла предложенную Гумилевым игру и даже подписывалась иногда: «Мумма».

Самые счастливые воспоминания Гумилева об этом времени: Птица и любимый город.

Из писем Льва Гумилева Наталье Варбанец:

«Продолжаешь ли щеголять длинными юбками, как тогда, когда мы были в Зоологическом саду и шли через вечереющие парки».

«Я люблю, когда ты фигуряешь на фоне Города. Это идет вам обоим».

Иногда к ним присоединялась Марьяна. Как-то втроем поехали на Елагин остров, любимое место отдыха ленинградцев. Решили покататься на лодке. Оказалось, нужен паспорт для залога. Ни у Натальи, ни у Марьяны, несмотря на совсем недавно отмененные законы военного времени, документов не оказалось. Лев правила советской системы усвоил твердо и даже пошутил по этому поводу: «Как известно, человек создан из души, тела и паспорта».

Часы отдыха были редкими. Лев пытался наверстать упущенное за годы тюрем и лагерей. Наталья, продолжая работать, поступила в Библиотечный институт. Она уже давно была специалистом, но до сих пор не имела высшего образования. А жизнь все еще была очень тяжелой, часто они оказывались, по словам М.Л.Козыревой, в «диком безденежье». А еще Наталья давала повод для ревности, и это очень огорчало Гумилева.

Летом 1948-го Лев, как обычно, уехал в экспедицию, а Люблинский увез Наталью в Батуми, в дом отдыха. То был сильный удар по мужскому самолюбию Гумилева. Весь свой гнев он обрушил на Люблинского, которого с тех пор стал называть «Птибурдуковым». Но тогда в любовном треугольнике, придуманном Ильфом и Петровым, ему оставалась самая незавидная, жалкая роль Васисуалия Лоханкина. Скорее всего, он об этом не думал. Ему казалось, что нелепым именем он унижает соперника: «К Птибурдукову от меня уходишь, к ничтожному Птибурдукову…»

Европейски образованный Люблинский совершенно не походил на Птибурдукова и скорее всего даже не знал, каким обидным прозвищем его наградили. Да и дело было не в Люблинском, а в характере Натальи Варбанец, которая не считала

нужным быть кому-то верной.

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогая во всей Вселенной,
Скажет: я не люблю вас, —
Я учу их, как улыбнуться
И уйти и не возвращаться больше.

Н.Гумилев. Мои читатели

Наверное, Лев не раз вспомнил эти стихи отца, но понял, что расстаться с Натальей он не может, вернее, не хочет. Пришлось смириться с ее характером, что при его гипертрофированном, как и у отца, самолюбии было очень тяжело. Ссоры и взаимные обиды не забылись и через годы.

Из письма Льва Гумилева Наталье Варбанец 21 ноября 1955 года: «А вот насчет обид, тебе причиненных, я, честное слово, не помню… вернусь, разберемся. <…> А твои обиды мне я помню, но хорошее их превышает с лихвой».

Конец 1948-го оказался для Гумилева удачным: защитил диссертацию. Наталья была на защите и видела его успех. Вечером 28 декабря в Фонтанном доме был праздник – на ресторан денег не хватило. Расположились почемуто в комнате Ирины, она же приготовила обед, Наталья Варбанец испекла пирог с капустой, а Лев принес закуски и водку.

Новый 1949 год встречали у Птицы вчетвером: Наталья, Марьяна, Лев Гумилев и Лев Гордон.

Как удивительно переплетаются судьбы людей: еще в первый вечер у Птицы Гумилев обратил внимание на одну фотографию и поинтересовался, кто это. Марьяна объяснила, что это Маргарита Тумповская, ее мама, и поняла: это имя Гумилеву известно. Маргарита Тумповская – поэтесса, переводчица, литературный критик. Николай Гумилев писал ей с фронта письма, посвящал стихи. Для него это было короткое увлечение, для Маргариты, как считала ее дочь, любовь на всю жизнь. Маргарита вышла замуж за Льва Гордона в 1927 году, но тень Николая Гумилева так и стояла между ними. И вот теперь, когда Лев Гордон полюбил Птицу, хотя и безответно, на его пути опять стоял Гумилев, теперь Гумилев-младший.

Угощение, наверное, было скромным, но в обществе двух Львов дамы не скучали. Как и Гумилев, Гордон был замечательным рассказчиком, к тому же острословом, а рассказать ему было что. Никто из сидящих за столом, кроме него, не бывал за границей, а Гордон родился во Франции, провел

там детство, в двадцатые годы жил в Англии, Германии, Швеции. Лагерный опыт у него тоже был: сначала польский лагерь для военнопленных, потом Беломор-канал. Но в новогодний вечер вспоминали только смешное. Зашла речь о блатных романах, которыми интеллигенты развлекали уголовников. Гумилев снова исполнил свою знаменитую «Историю отпадения Нидерландов от Испании», что всегда пользовалась успехом: «Мадридская малина послала своим наместником герцога Альбу. Альба был тот еще герцог! Когда он прихилял в Нидерланды, голландцам пришла хана. Альба распатронил Лейден, главный голландский шалман. Остатки гезов кантовались в море, а Вильгельм Оранский припух в своей зоне».

В свою очередь Гордон рассказал роман про «Ваську Немешаева, питерского вора»: «Музыка играет, ведут по Невскому Именного Коммунистического с золочеными рогами козла, а позади – Милиция, Юстиция, Прокуратура, Провокатура…»

Лев истории про именного козла раньше не слышал, ему понравилось.

И тут Марьяна неосторожно пошутила, мол, запоминайте, Лева, пригодится. И только услышав его поспешный ответ «Типун вам на язык, Марьяна», поняла, как неуместно пошутила. Все замолчали, потом Лев Гордон рассказал что-то смешное, и вечер продолжался. Ночью, вспоминает М.Л.Козырева, «когда мы с Птицей мыли посуду после ухода Львов, она вдруг тихо пропела: "Миледи Смерть, мы просим вас за дверью подождать…"»

Сейчас немногие помнят некогда популярную «Ирландскую застольную» Бетховена:

Из ночи и морозных вьюг
Кто в дверь стучится к нам?
И отчего немой испуг
На бледных лицах там?

Марьяне не надо было объяснять. Они понимали друг друга. Новогодний вечер показался им пиром во время чумы. По городу шла новая волна арестов. Ленинградцы по ночам просыпались от звука резко затормозившего перед домом автомобиля, прислушивались к шагам по лестнице, пугались резких звонков или стука в дверь. Повседневную жизнь омрачали дурные предчувствия: то крест в комнате Льва без причины упал (гвоздь и дужка оказались целы), то у Натальи разболелись здоровые зубы. Но как ни ждешь беды, она всегда приходит неожиданно. 6 ноября 1949 года Наталья и Марьяна напрасно весь вечер ждали Гумилева. В этот день он был арестован.

Прошел почти год после ареста, пока Гумилеву удалось отправить Наталье письмо. Оно прощальное и очень грустное: из всех женщин <…> была ты всех лучше, милей и прелестней». Он едва скрывает отчаяние: «Мне было бы отрадно получить от тебя весточку, но если не хочешь, не заставляй себя. <…> Из лагеря напишу еще одно письмо и, не получив ответа, больше тебя не потревожу».

Ответа он не получил, хотя очень ждал. Наталья напомнит о себе не скоро. Пройдет долгих пять лет.

Часть VI

АРЕСТ 1949

В январе 1949 года Гумилев получил наконец приличную работу, соответствующую статусу кандидата исторических наук.

Директор Музея этнографии народов СССР Л.П.Потапов по протекции Артамонова и Руденко принял Гумилева на должность старшего научного сотрудника. Здесь в сборнике научных трудов и выйдет первая статья Гумилева «Статуэтки воинов из Туюк-Мазара». Еще раньше были опубликованы тезисы его кандидатской диссертации.

В Музее этнографии Гумилев занялся обработкой коллекции, привезенной еще в 1941 году из только что закрытого буддийского монастыря – Агинского дацана.

Громадная коллекция (ее везли в двух вагонах) требовала долгой и кропотливой работы. Николай Васильевич Кюнер поручил ее Гумилеву, которого он оценил еще в 1930е. Вероятно, выбор оказался не самым удачным, ведь Гумилев до 1949 года ничего не знал о буддийской иконографии. Он впервые столкнулся с буддийской культурой. Знакомство с ней не только побудит Гумилева со временем написать несколько очень любопытных статей, но и повлияет на его мировоззрение. Уже в 1949 году Гумилев начнет статью о тибетской пиктографии, которую он много лет спустя доработает вместе с востоковедом Брониславом Кузнецовым и напечатает в 1972 году в журнале «Декоративное искусство».

Летом Гумилев, как обычно, уехал в археологическую экспедицию, на этот раз к Артамонову, который вновь взялся за раскопки хазарской крепости Саркел. Вскоре после возвращения из экспедиции его арестуют.

Это случилось 6 ноября 1949 года. Гумилев утром ушел на работу в музей, днем зашел домой пообедать и был тут же арестован. На этот раз Гумилев оказался не в Крестах. Его этапировали в знаменитую московскую тюрьму Лефортово. За что же взяли на этот раз? Любопытно, что сам Гумилев выдвинул три версии.

В своих письмах к Ахматовой из лагеря Лев не сомневается – причиной ареста послужили доносы востоковедов из ИВАНа: «… сидящие в Академии бездарники определенно старались избавиться от меня, хотя бы путем самых фантастических и клеветнических измышлений. Они имели к тому же связи, и всё завертелось. <…> Интригами и клеветой они превратили ученого в уголовника».

Но уже после лагеря Гумилев говорил Михаилу Ардову, что в

1949 году его посадили «за маму». Эту же версию он не раз повторял в интервью рубежа восьмидесятых и девяностых: «Очередные десять лет – теперь уже за мать – провел в карагандинских лагерях».

Наконец, третью версию ареста Гумилев выдвинул в воспоминаниях, надиктованных в 1986 году на магнитофонную пленку: событие, «которому объяснение я не могу найти до сих пор».

Третья версия, в сущности, объясняет «мирное» сосуществование первых двух: Гумилев так до конца и не понял причин своего ареста ни тогда, в 1949-м, ни много лет спустя.

Доносы из ИВАНа были, кто спорит, но не так уж много компромата и было в этих доносах. Прошли те времена, когда молодой, горячий и не всегда трезвый Лев рассказывал студентам-стукачам о дворянах-бомбистах. Гумилев давно перестал мечтать вслух и, кажется, никогда больше не говорил о реставрации монархии. Гумилев в 1949 году был настолько лоялен, что следователь поначалу не мог слепить из доносов хоть сколько нибудь серьезного обвинения. Более того, сопоставив доносы с показаниями Гумилева, Андрей Кузьмич Бурдин, старший следователь по особо важным делам МГБ СССР, воскликнул: «Ну и нравы у вас там!»

Если доносы востоковедов и сыграли свою роль в аресте, то была она незначительной. На первый взгляд, гораздо серьезнее ахматовская версия. Сама цепочка арестов указывает направление следовательской мысли. Еще в августе 1949 года арестовали Николая Пунина. В ноябре – Гумилева. У обоих следователи пытались получить показания на Ахматову. Пунин, тогда уже тяжелобольной старик, дал самые пространные и откровенные показания и на Ахматову, и на Гумилева, и на себя. На «литературном поприще» Ахматова еще с начала двадцатых годов занималась «антисоветской деятельностью» (речь шла о сборниках «Anno Domini» и «Подорожник»), в тридцатые «высказывала клеветнические измышления о якобы жестоком отношении Советской власти к крестьянам», и наконец, она, повторял Пунин свои показания еще 1935 года, «разделяла мои террористические настроения и поддерживала злобные выпады против главы Советского государства». Гумилева, невольного свидетеля трех встреч Ахматовой с Исайей Берлином, следователь бил головой о стену Лефортовской тюрьмы – таким образом он пытался получить сведения о шпионской деятельности Ахматовой в пользу Великобритании.

Наконец 14 июня 1950 года министр государственной безопасности Абакумов обратился к Сталину за разрешением

арестовать Ахматову, но так его и не получил.

Значит, Гумилева взяли по несостоявшемуся делу Ахматовой? Увы, эта версия тоже не выдерживает критики. Дело в том, что несколько месяцев (с ноября 1949 по апрель 1950) Ахматова особенного места в следственном деле Гумилева не занимала. Только 31 марта появится постановление: выделить из следственного дела Гумилева в особое производство материалы об Ахматовой.

Гумилева в 1949-1950 годах допрашивали три следователя. Сначала майор Бурдин, затем подполковник Степанов, но только третий следователь, капитан Меркулов, взявшийся за Гумилева в апреле-мае 1950-го, будет последовательно выбивать показания на мать. Значит, ахматовское дело возникает только весной 1950-го. В ноябре 1949-го Гумилева арестовали за что то другое.

После войны в системе ГУЛАГа появится понятие «повторник». Так называли бывших заключенных, осужденных на новый срок, иногда за то же самое преступление, за какое они получили и первый. Таким повторником, несомненно, был и Лев Гумилев.

Разумеется, не всякий, кто отсидел первый срок, был обречен на второй. Но шансы Гумилева стать повторником были велики. В январе 1949-го открылось так называемое «ленинградское дело». Его жертвами сначала стали партийные функционеры и высшие чиновники – председатель Госплана Николай Вознесенский, секретарь ЦК ВКП(б) Алексей Кузнецов, первый секретарь Ленинградского обкома Петр Попков и другие. Репрессии против начальства спровоцировали новую эпидемию арестов. Здесь уместно сослаться на Сергея Лаврова, который сам был свидетелем событий 1949 года: «Начался поистине страшный 1949-й. <…> Здесь был уже удар по городу, жесткий удар по университету, и отнюдь не словесный, а "лагерный", расстрельный…»

Расстреляли брата Николая Вознесенского, Александра, того самого ректора ЛГУ, который так помог Гумилеву в 1948-м, а всех ближайших родственников, вне зависимости от пола и возраста, отправили по лагерям и ссылкам. Арестовали многих профессоров гуманитарных факультетов ЛГУ – экономистов, историков, филологов, искусствоведов. Повезло тем, кто только лишился работы, как Мавродин или Эйхенбаум. Как землетрясение под толщей океанских вод вызывает цунами, так и дело ленинградских партийных чиновников вызвало волну, что смоет в прорву ГУЛАГа людей, весьма далеких от схватки Вознесенского с Берией и Маленковым, которая, собственно, и породила «ленинградское дело». Это цунами накрыло и Гумилева.

Он был обречен, как обречены при наводнении обитатели низменностей, как обречены при цунами жители побережья. Жить в Ленинграде в 1949 году, носить фамилию «поэта-монархиста», расстрелянного за участие в контрреволюционном заговоре – и уцелеть? На Гумилева, как и на Ахматову, органы давно уже открыли дело оперативной разработки, куда аккуратно подшивались все кляузы, где накапливался материал для будущего ареста. Но для ареста Ахматовой необходимо было решение Сталина, ее сына можно было взять гораздо легче.

Мог ли Гумилев избавиться от проклятия своего происхождения? Конечно. Еще в двадцатые годы Александра Сверчкова, как мы помним, хотела усыновить Леву, чтобы дать ему свою фамилию. Отказ от родителей тоже был тогда делом распространенным. Отрекались не обязательно в пыточных камерах или кабинетах следователей, отрекались еще на воле, чтобы не губить карьеру или просто получить стипендию. В сталинские времена это была обычная практика.

Как знать, смени Гумилев фамилию, откажись от отца (формально, конечно же, формально), и не стали бы его мучить следователи. Тогда на свет появился бы советский ученый, кандидат исторических наук Л.Н.Горенко. Если бы он догадался, по примеру брата Орика, уехать из Ленинграда куда подальше, пусть не в леспромхоз, но в какой-нибудь провинциальный город, жизнь его была бы спокойнее и легче. Но Лев Гумилев от своей фамилии не отказался.

Следствие по делу Гумилева оказалось долгим, хотя и не таким страшным, как следствие 1938-го. Бурдин, Степанов и Меркулов по части садизма уступали Бархударьяну. Правда, Гумилева все-таки били и заставляли по несколько часов стоять навытяжку – одна из самых распространенных и эффективных пыток сталинского следствия. Но решающую роль в деле Гумилева сыграли не доносы востоковедов и не выбитые признания в слабом знакомстве с марксизмом, а материалы следственного дела 1935 года. 13 сентября 1950 года Гумилева привезли на Лубянку. Там на Особом совещании при МГБ Гумилеву был вынесен приговор: «За принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию» десять лет лагерей. Типичный приговор для повторника.

Гумилев рассказывал, что прокурор, участвовавший в работе Особого совещания, так объяснил ему смысл приговора: «Вы опасны, потому что вы грамотны».

11 октября 1950 года грамотного заключенного этапировали из Лефортова в Челябинскую пересыльную тюрьму. Как это часто

случалось в те годы, на пересылке Гумилев «припухал» больше двух недель. Наконец, с очередным этапом его отправили в Казахстан, под Караганду.

СТАРИЧОК ПРОФЕССОР

В декабре 1950 года Лев Александрович Вознесенский, сын расстрелянного ректора ЛГУ, отбывал свой срок в каторжном лагере под Карагандой. Однажды он заметил «согбенную фигуру заросшего бородой старика, поддерживавшего огонь в печке. Это был Лев Николаевич Гумилев». За десять месяцев в Лефортово он состарился лет на двадцать.

Свидетельство Вознесенского подкрепляют и фотографии, и письма Льва Гумилева. На лагерной фотографии 1951 года Гумилев – бородатый старик с усталым от жизни лицом. «Я отпустил усы и испанскую бородку, — писал он Ахматовой, — она наполовину седая, и молодые люди зовут меня "Батя"». Три года спустя Лев напишет Эмме Герштейн: «Я стал совсем старый, седобородый, скоро из меня посыпется песок».

Правда, Гумилев, унаследовавший от Ахматовой талант создавать желаемый образ, мог и намеренно «хилять под старичка профессора», поднимая собственный авторитет в глазах заключенных и стараясь хоть немного устыдить бесстыжее лагерное начальство. Кличка «Батя» за Львом Николаевичем закрепилась надолго. В январе 1955 года Гумилев поведает Эмме Герштейн, что он «сед и брадат» и что все зовут его «Батя».

Седобородый старик был убежден, что ему недолго осталось мучиться на белом свете. Даже несколько лет спустя, когда условия в лагере будут намного лучше, Гумилев признается в письме к Эмме Герштейн, что мало надеется дожить до конца срока. А зимой 1950—1951-го он и жить не хотел. Продержаться долго на благодатной должности истопника не удалось. Кандидата исторических наук поставили работать землекопом. Гумилев, прежде не любивший жаловаться, тем более жаловаться матери, в феврале 1951 года писал ей: «Здоровье мое ухудшается очень медленно, и, видимо, лето я смогу просуществовать, хотя, кажется, незачем. <…> Я примирился с судьбой и надеюсь, что долго не протяну, т. к. норму на земляных работах я выполнить не в силах и воли к жизни у меня нет».

Вообще мысли о смерти будут преследовать Гумилева все годы его последнего лагерного срока. 25 марта 1954 года он даже составит завещание. Собственности у Гумилева тогда не было вовсе, поэтому свою единственную ценность – рукопись «История Хунну» – он завещает Институту востоковедения.

Организм Гумилева разрушали не только тяжкий труд и дурной климат (летняя жара, ледяные ветры зимой), но и тягостная безнадежность. «Срок – это условность», — говорит

герой Солженицына. Сталин был еще жив и, по меркам кавказского человека, не слишком стар, так что у Гумилева были все основания не верить в будущее освобождение. Если даже пережить эти десять лет, могут дать и еще десять… «Я, к сожалению, жив и здоров», — писал он Ахматовой 6 июня 1951 года. Здоровья вскоре не станет. 1 октября 1952 года, в день своего сорокалетия, Гумилев впервые попал в больницу из-за сердечнососудистой недостаточности. В ноябре его признали инвалидом. Еще два года спустя, в ноябре 1954-го, у Гумилева открылась язва двенадцатиперстной кишки, его мучили сильные боли, а лечение в лагерной больнице даже с хорошими лагерными (из заключенных) врачами позволяло лишь ненадолго избавиться от общих работ и хоть отчасти восстановить силы.

В Норильлаге Гумилев ни разу не попал в больницу. В годы своего второго лагерного срока, по моим подсчетам, его госпитализировали девять раз, не меньше. Иногда он проводил там несколько дней, но случалось лежать и по полтора – два месяца. Дважды Гумилева клали на операцию: «… я тихо качусь в инвалидность и смерть, которая меня не пугает. <…> Пожалуй, нечего затягивать мою агонию посылками», — писал он Эмме Гер штейн.

камышовый лагерь

Вскоре после войны политических заключенных начали направлять из обычных ИТЛ в особые лагеря с необычными названиями: Горный, Береговой, Озерный, Камышовый. Режим в особ лагах установили строже обычного, зато там первое время почти не было уголовников, что сразу оценили бывалые зэки.

Гумилеву пришлось посидеть в двух лагерях знаменитой системы Карлага – Луговом (там он задержался недолго) и Песчаном. Зиму и начало весны 1951-го Гумилев провел в поселке Чурбай-Нура, лагпункте Песчанлага, но уже к 25 марта оказался в Карабасе – на пересылке Карлага. Там он задержался почти на полгода.

Песчанлаг – лагерь огромный, там одновременно содержалось почти 40 тысяч заключенных, главным образом украинских националистов-бандеровцев. Лагерь обслуживал в основном нужды Карагандашахтостроя и комбината «Карагандауголь». Зэки строили новые шахты, добывали уголь Караганды и Экибас туза, работали на каменном карьере и строительстве обогатительной фабрики.

В начале осени Гумилева отправили далеко на северо-восток, в Кемеровскую область, в район нынешнего Междуреченска, где недавно открылся лагерь Камышовый. Камышлаг был меньше Песчанлага, его население достигало 13 тысяч человек. Климат

северо-восточных предгорий Алтая был приятнее карагандинского, а работа (Гумилев трудился в основном на строительстве жилья) легче. Кормили тоже намного лучше. Под Карагандой жили впроголодь, поэтому Гумилев просил Ахматову прислать ему самой простой, но сытной пищи: «концентраты гречневой, пшенной и гороховой каши с добавлением маргарина составляют предел мечтаний». Из Камышлага он писал, что присылать крупы теперь вовсе не надо, так как пищи довольно, но она однообразная. Теперь он будет заказывать Ахматовой (а позднее и Герштейн) сало, масло, горчицу, перец, финики, колбасу – «наша пища обильна, но однообразна, и ее необходимо скрашивать». А чаще всего он просил прислать чай и махорку, без которых не мог жить.

В свободные минуты Гумилев любовался окрестными пейзажами, которые, как ни странно, напоминали ему о любимом городе: «Сегодня я получил подарок – тетрадь в переплете и праздную свой день рождения жареной рыбой и оладьями с сладким чаем. Погода хорошая, и золотая тайга на соседних горах поблескивает в косых лучах солнца; над реками висит туман, и город по освещению похож на Малую Охту».

В предгорьях Алтая Гумилев провел почти два года. На фотографии 1953 года он выглядит несколько моложе и бодрее, чем на карагандинской. В Камышлаге Гумилев носил номер Б 739. Номера, как и сами особлаги, позаимствовали у нацистов, то есть использовали передовой европейский опыт. В Песчан лаге их носили на шапке, на груди, на спине и на ноге повыше колена.

Летом 1953-го Камышлаг перевели из Кемеровской области далеко на запад – в Омск, на строительство нефтеперерабатывающего завода. Омск находится на меридиане Караганды, только севернее. Климат там похож не на алтайский, а на карагандинский, только холоднее.

Некоторое время инвалида Гумилева не обременяли тяжелой работой. После смерти Сталина и ареста Берии лагерный режим начал постепенно меняться. Наступило самое либеральное в истории ГУЛАГа время. Вернули свидания с родителями и женами. В 1954-м разрешили переписку не только с ближайшими родственниками, но и с друзьями. Если прежде Гумилеву писала только Ахматова, то с осени 1954 – зимы 1954—1955-го Гумилеву начали писать и присылать посылки Эмма Герштейн, Василий Абросов, Татьяна Крюкова (Таня Старая), Татьяна Казанская (Таня Новая), Николай Козырев. Однажды, набравшись смелости, прислал «сухое письмо» даже брат Орик.

А вот свиданий Гумилев так и не дождался. Свидания разрешали только с родителями или зарегистрированными

женами, но Ахматова в Омск не приехала. Правда, Льва очень хотела навестить Эмма Герштейн, но ее отговорил ехать сам Гумилев: все равно не пустят, ведь они не муж и жена.

Менялся и образ жизни в лагере. В продуктовом ларьке, где прежде можно было купить только конфеты и консервированные крабы, стала появляться нормальная еда. Деньги в лагере вновь обрели ценность.

Зато в Омске обострились старые болезни, открылись и новые: «…я опять в больнице, чувствую себя очень плохо. Сердечно-сосудистая недостаточность. Куда-то проваливаюсь и опять выплываю», — жаловался он своей московской подруге. Начали отзываться и давние уже пытки Бархударьяна: Гумилев все чаще страдал от спазма нерва френикуса – временами отказывала рука и немела правая сторона тела. Уже на воле от этой болезни его будет успешно лечить профессор Давиденков, известный невропатолог и отец «Николки», когда-то лучшего друга Гумилева, что сгинул после войны на одном из островов ГУЛАГа.

В Караганде Гумилев получил благодатное место лагерного библиотекаря, но потерял его при переезде в Омск. Вернуться на эту работу он смог только в августе 1955-го. Это было лучшее из возможных для него в лагере занятий. Целыми днями он писал каталожные карточки: «Дело тихое, спокойное. Ни с кем не сталкиваюсь, сижу в углу целыми днями и пишу, а вечером вылезаю в чудесный цветник с "индийской философией", которая мне очень любопытна, или с персидской книжкой и наслаждаюсь цветами красноречия и цветами на клумбах. Иногда приходит кот, у нас их очень много, и все любят ласкаться и мурлыкать, и лезет на колени, требуя внимания к себе. Все остальное проходит мимо меня, как тени, не задевая».

Но уже в сентябре Гумилева «перекомиссовали» и нашли годным к физическому труду, более важному для лагеря. Его направили сначала таскать опилки из-под электропилы – работа не тяжелая, но однообразная и утомительная, а в конце сентября он в очередной раз попал в больницу. Поздней осенью Гумилев начал учиться на сапожника, чем вызвал хохот даже у лагерного начальства. Но в сапожной мастерской было тепло, там Гумилев надеялся пережить очередную сибирскую зиму. В декабре Гумилеву опять дали место в библиотеке, где он проработал до тех пор, пока его не пришлось положить на операцию из-за приступа аппендицита (в двадцатых числах января 1956-го).

Даже получив инвалидность, Гумилев не избавился от проклятия общих работ. Стоило ему немного подлечиться, как начальство вручало лопату или лом. В Камышлаге Гумилеву

очень мешало отсутствие хорошей, с лагерной точки зрения, профессии, которая обеспечила бы ему постоянное хлебное место. Инженер-строитель Лев Куприянович Павликов набирал бригаду строителей. Павликов был родом из Ленинграда, поэтому и в бригаду старался собрать побольше земляков. Льва Гумилева он посчитал своим, питерским, и поручил ему вместе с другим работником, по всей видимости, столь же «квалифицированным», оборудовать комнату электропроводкой. Спустя пару часов бригадир застал в комнате удивительную картину: «Правдолюбов сидел на стремянке под потолком, на котором вкривь и вкось был укреплен электрический шнур крест-накрест, вокруг лестницы бегал Лев Гумилев, из их громких криков я понял, что у них идет жаркий спор на тему: "Существует ли у муравьев рабовладельческий строй?" <…> Выключатель был приделан у пола, а розетка на высоте человеческого роста. Я понял, какие это "опытные" работники, и разогнал их по другим бригадам».

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

За одно только лето 1952 года Гумилев сменил шесть специальностей: был чертежником, монтером, строительным десятником, скульптором (!), грузчиком на каменном карьере и даже актером, точнее, актрисой. В Камышлаге тогда сидел известный оперный тенор Николай Печковский. Посадили его за сотрудничество с оккупантами: пел перед немцами, так как больше ничего делать не умел и не мог иначе заработать на жизнь. Если верить рассказу Гумилева, знаменитый певец ужасно всем досаждал – соседи подобрались в основном немузыкальные. Гумилев иногда делился с ним ахматовскими посылками, но просил: «Николай Константинович! Мы тебя любим и уважаем, садись с нами, угощайся, только, ради Бога, не пой». Но Печковский не мог не петь и в конце концов так досадил охраннику на вышке, что тот взмолился: «Уберите придурка, а то я его пристрелю!» Может быть, так оно и было, хотя слишком напоминает байку, а байки Лев Николаевич легко сочинял и в девятнадцать лет на Хамар-Дабане, и в семьдесят, в ленинградской квартире или на кафедре. А музыку Лев Николаевич не любил. Не приписал ли он собственные мысли, чувства и намерения безымянному охраннику?

К счастью для Печковского, начальник лаготделения майор Громов любил театр и предложил артисту поработать режиссером самодеятельного спектакля – поставить «Лес» Островского. Актеров освобождали от общих работ, поэтому легко удалось найти исполнителей не только на мужские, но и на женские роли. У некоторых зэков открылся актерский талант. Печковский вспоминал, что роль Гурмыжской играл один поляк «с внешностью явно мужской, но так хорошо исполнявший эту роль, что даже на воле трудно найти женщину, которая бы так ее сыграла». Аксюшу играл один молодой зэк, да столь талантливо, что «начальство приходило проверить, не девушка ли это».

Гумилеву досталась роль Улиты, но играл он с явной неохотой. На репетициях Лев надоедал Печковскому, повторяя «унылым голосом» «Ну какая же я женщина!» Но премьеру он сыграл, видимо, неплохо, потому что Печковский пригласил его участвовать в следующей театральной постановке – играть Луку Лукича в гоголевском «Ревизоре».

«Никогда не подозревал я в себе этих талантов», — писал Гумилев Ахматовой. Он был доволен: «Я ем 3 раза в день, пью чай 2 раза, утром репетирую "Ревизора" под крик Печковского, а вечером выдаю книги».

«Ревизора» сыграли с большим успехом, понравилось и начальству, и зэкам. Гумилев смешил зрителей своим произношением. Сильно картавя, Лука Лукич спрашивал:

— Бгать или не бгать?

— Беги! Беги! — кричали зрители.

Но в целом актерский труд Гумилеву не понравился: «… работа в театре – каторга; я удивляюсь, как люди по доброй воле идут в актеры», — писал он Ахматовой. А уже в Петербурге рассказывал Михаилу Ардову: «…зимой копать землю труднее, чем быть актером, летом – легче».

Еще раньше Гумилеву доверили сочинять куплеты для лагерного концерта, но эта работа давалась ему трудно. Вообще Гумилев театралом не был. Гораздо больше он любил кинематограф.

Из письма Эмме Герштейн от 26 июня 1955: «У нас часто показывают кино и очень часто хорошие картины. Я кино не пропускаю – оно очень успокаивает нервы».

Гумилев охотно смотрел советские и французские кинокомедии, мультфильмы (даже жаловался, что «мультипликацию» редко показывают), но особенно любил индийское кино: «Смотрели мы два индусских фильма: "Бродягу" и про певца. Все в восторге, в том числе и я. <…> Трудно сказать, какой лучше, оба прекрасны и неожиданно – новы». «Бродягу», экзотическую мелодраму с популярнейшим тогда Раджем Капуром в главной роли, Гумилев рекомендовал даже Ахматовой.

В кинематографических вкусах Гумилева отразилась не только любовь к востоку, но и германофобия. Трофейные немецкие картины его только раздражали: «…немцы, видно, никогда не научатся искусству и будут делать только пуговицы и машинки для заточки карандашей. На большее они не способны». Впрочем, ему не нравились и некоторые советские фильмы. Раздражало «Дело Румянцева». Не было сил у старого зэка наблюдать за правильным и образцово-положительным следователем, за торжеством советской законности, хотя он и похвалил игру «Алеши Баталова», которого знал с детства: «… если бы в картине был только Алеша с его романом, то это было бы в самый раз».

В советском кино тогда было множество экранизаций русской классики, но эти картины совсем не привлекали Гумилева. Никогда не пропускавший киносеансов, Гумилев второй раз не пошел на «Маскарад». Хорошая экранизация чеховской «Попрыгуньи» с Сергеем Бондарчуком в роли Дымова Гумилеву совершенно не понравилась: «Чехов не для кино. Получается

инсценировка вроде мхатовских, но сколько же можно!»

Серьезное западное кино его только расстраивало. «Я зря ходил на эту картину. Это не для моих нервов», — так Гумилев отозвался о «Терезе Ракен» знаменитого Марселя Карне. Даже мелодрама «Мост Ватерлоо» показалась «жуткой картиной, натуралистической трагедией».

Гумилеву гораздо больше нравилась французская комедия «Папа, мама, служанка и я», «веселая и бодрая». Он охотно смотрел и советские киносказки – «Укротительница тигров» и «Доброе утро». Гумилева не раздражали ни робкая Людмила Касаткина в роли бесстрашной дрессировщицы тигров, ни жизнерадостные строители дорог, ни шикарная блондинка Татьяна Конюхова, по мере сил изображавшая передовика производства. Но «Укротительница тигров» нравилась ему больше, он даже цитировал монолог влюбленного Пети Мокина (в фильме эту роль играл молодой Леонид Быков) и настоятельно рекомендовал картину своей возлюбленной: «…вот прелесть. Посмотри – получишь большое удовольствие».

Вряд ли утонченной и культурной Наталье Варбанец могли понравиться такие комедии. Во всяком случае гумилевскую оценку «Моста Ватерлоо» она высмеяла: «…среднего качества трогательная мелодрама, а вовсе не "жуткая натуралистическая трагедия", разве что для девочек 16 лет».

Но легко было Птице писать с воли, из Ленинграда. Бытие все-таки влияет на сознание. Вкусы сотрудницы Публичной библиотеки и бесправного зэка из-под Омска должны были не избежно разойтись. В последнем лагере вкус Гумилева непоправимо переменился, мутировал. Это касалось не только кинематографа.

Чтения в лагере хватало. Библиотека Камышлага выписывала не только центральные советские газеты («Известия», «Правду» и др.), но и популярный иллюстрированный «Огонек», где печатались стихи Ахматовой из ненавистного ей цикла «Слава миру», и даже литературный «Новый мир». «Читал в "Новом мире" твой перевод стихотворения о сыне. Здорово!» – писал Лев Анне Андреевне 27 сентября 1952 года.

Выписывали журнал «Большевик», политизированный до карикатурности, но все-таки научный. В одном из писем к Ахматовой (5 февраля 1954) Гумилев упоминает только что прочитанную им «Советскую археологию» (тогда еще не журнал, а сборник научных трудов). Видимо, его прислала Гумилеву скорее всего сама Ахматова. Если же предположить невероятное, а именно – библиотека Камышового лагеря выписывала специализированный сборник, то придется признать, что

библиотеки ГУЛАГа комплектовались несравненно лучше современных муниципальных и даже государственных библиотечно-информационных центров.

Гумилев получал проспекты "Академкниги", а значит, был в курсе новинок научной литературы. Из писем не ясно, присылали ли ему эти каталоги из Ленинграда (от Ахматовой), из Москвы (от Герштейн), или же их выписывала все та же удивительная лагерная библиотека. Полученные от Ахматовой переводы он тратил не столько на покупки в ларьке, сколько на все те же научные книги – заказывал их себе прямо в лагерь.

Историческая наука окончательно стала смыслом его жизни. Отдыхать же Гумилев теперь предпочитал не с Прустом или Джойсом. В сентябре 1954-го он писал Эмме Герштейн, что полюбил книги Михаила Пришвина: «Удивительно он врачует душу».

В жизни Гумилева, как и в жизни почти всех его товарищей по лагерю, было слишком много несчастий, а комедии – советские, индийские, французские – приносили хоть немного радости. Серьезная литература его перестала интересовать, как перестало интересовать и «высокое» искусство. «Не хочу трагизма, он мне ни к чему. Устал, хочу отдыхать и заниматься историей веков отдаленных», — писал он.

Варбанец упрекала Гумилева, что он стал нечуток к искусству: «…ты, пожалуй, права, — отвечал он Птице. — Две сабли в одни ножны не влезают – персидская пословица. Если я буду дома, то тебе предстоит ходить со мной не в оперу, а в оперетку. Это и ближе, и веселее, и дорога по Фонтанке и мимо Инженерного замка уж больно хороша».

Заниматься одновременно наукой и литературой он больше не мог. Все силы, все оставшиеся годы Гумилев решил посвятить науке. В этом лагере он перестал сочинять стихи. Вернувшись на волю, он какоето время будет подрабатывать переводами, но вскоре оставит и это. Впрочем, в конце пятидесятых – начале шестидесятых Гумилев еще будет читать литературные журналы и даже рекомендовать друзьям новинки, но со временем забросит даже их.

В конце жизни, отвечая на вопросы корреспондента «Литературного обозрения», Гумилев так рассказал о своем выборе: «Поверьте, и чисто научная тематика достаточно обширна, чтобы не иметь времени для праздного чтения…».

ИСТОРИЯ СРЕДИННОЙ АЗИИ

Сердечно-сосудистая недостаточность и язва двенадцатиперстной кишки причинили Гумилеву много бед, но болезни помогли ему хоть ненадолго освободиться от тяжкого физического труда и получить возможность не только обдумывать научные идеи, но и возобновить работу над историей Срединной Азии, начатую в 1949 году.

Рукопись под названием «История Срединной Азии в Средние века» (481 страница!) у него конфисковали при аресте. Иван Никитич Меркулов, старший следователь по особо важным делам МГБ СССР, не желая захламлять архив непонятными и совершенно бесполезными, с его точки зрения, бумагами, приказал уничтожить ее «путем сожжения». Судя по названию, это был вовсе не черновик будущей монографии «Хунну» (к Средним векам хунны исчезли), а продолжение диссертации о древних тюрках. Скорее всего Гумилев работал до своего ареста над докторской диссертацией.

Осенью 1950-го Гумилев не верил, что вернется когдалибо к науке. «Жалко только незаконченных работ, но, повидимому, они не актуальны», — писал он Ахматовой еще с челябинской пересылки. И все-таки, преданный науке до мозга костей, он так или иначе занимался научными исследованиями и в лагере, насколько позволили ему начальство, здоровье, усталость от каторжного труда. Очевидно, к октябрю – ноябрю 1952-го относится и знаменитый рассказ Гумилева о том, как он получал разрешение заниматься научной работой: «В лагере, как известно, категорически запрещалось вести какие-либо записи. Я пошел к начальству и, зная его преобладающее свойство – предупреждать и запрещать, сразу запросил по максимуму: "Можно ли мне писать?" – "Что значит писать?" – поморщился оперуполномоченный. "Переводить стихи, писать книгу о гуннах". — "А зачем тебе это?" – переспросил он. "Чтобы не заниматься разными сплетнями, чтобы чувствовать себя спокойно, занять свое время и не доставлять хлопот ни себе, ни вам". Подозрительно посмотрев на меня, он молвил: "Подумаю". Спустя несколько дней, вызвав меня, он сказал: "Гуннов можно, стихи нельзя"».

С этого времени Гумилев работал над «Историей Срединной Азии в древности» («Историей Хунну»), заказывал у Ахматовой книги по специальности.

Возможно, на выбор предмета исследования повлияла неудача Бернштама, не случайно же Гумилев в письме к

Ахматовой поминал его имя: «Задача эта очень сложная, как ты знаешь, Бернштам сломал на этом шею…» Гумилев должен был справиться с задачей, которую, как он полагал, провалил проклятый «Натаныч».

Научные занятия придавали жизни давно потерянный смысл и отвлекали от лагерной реальности. Гумилев жил только ради этих занятий, полностью погружался в материал. Алексею Федоровичу Савченко, своему лагерному другу, он рассказывал, как продуктивно научился использовать время. Вместе с другими зэками Гумилев шел из жилого барака зоны на стройплощадку, путь неблизкий и очень скучный, и время в дороге считается нерабочим, но Гумилев уверял, будто идет по дороге с удовольствием:

«Гражданин начальник выбрал за меня дорогу. <…> Я иду в колонне, среднем ряду, кругом одни спины, чего на них смотреть? <…> Идеальные условия сосредоточиться, уйти в свои мысли. Полтора часа туда, полтора обратно. Три часа для творческих размышлений! Если бы вы знали, сколько интересных мыслей приходит в голову во время этой дороги!..»

Известие о смерти Сталина застало его за работой, и Гумилев просто-напросто отмахнулся: «…идите, скорбите, идите, скорбите…»

25 марта 1954 был готов черновой вариант, который Гумилев называет «История Хунну». Помня о судьбе «Истории Срединной Азии в Средние века», Гумилев написал «Завещание для оперуполномоченного или следователя», где просил в случае его смерти не уничтожать рукопись, а передать ее в Институт востоковедения: «При редакционной правке рукопись может быть напечатана; авторство может быть опущено; я люблю нашу науку больше, чем собственное тщеславие. Книга эта может восполнить пробел в науке и отчасти залечить раны, нанесенные нашей науке наглостью и бездарностью доктора ист. наук А.Н.Бернштама. Лучшим редактором книги, в настоящее время, может быть А.П.Окладников. В случае, если книга напечатана не будет, разрешаю студентам и аспирантам пользоваться материалом без упоминания моего авторства. <…> Готические соборы строились безымянными мастерами; и я согласен быть безымянным мастером науки».

Несколько месяцев спустя в письме к Ахматовой от 2 июня 1954 года Гумилев называл свою работу «конспектом диссертации по истории гуннов».

Но продолжая дополнять и переписывать свой труд о хуннах, Гумилев вновь принялся за древних тюрков. Позднее рукописи получат названия: «Древняя история Срединной Азии» (другой

вариант: «Древняя история Центральной Азии в связи с историей отдельных стран») и «История Срединной Азии на рубеже Древности и Средневековья».

Голода в лагере уже не было, Гумилев мог заказывать друзьям научные книги. Ахматова и Абросов присылали выписки из необходимых ему монографий, искали в справочниках нужные сведения. Ахматовских писем сохранилось немного, но из них видно, что Анна Андреевна по мере возможности помогала сыну в работе: составила и прислала биографическую справку об Ань-Лушане.

Но все-таки Ахматова не занималась востоковедением, а потому иногда вместо необходимых присылала дорогие, но ненужные книги. А сын злился, обижался. Несколько лет он просил достать ему «Западную Монголию и Урянхайский край» Г.Е.Грумм-Гржимайло, даже указывал, что ее можно найти на складе Географического общества. Но Ахматова так и не нашла этой книги. Между тем монографию Грумм-Гржимайло было не так уж трудно найти. Наталья Варбанец ее легко отыщет и вышлет Гумилеву. Более того, в 1997 году Сергей Лавров обнаружит на складе Географического общества неразошедшиеся экземпляры «Западной Монголии».

Гумилев попытался и дальше использовать Варбанец, заказывал ей выписки из необходимых ему справочников и монографий, но мобилизовать Птицу на эту работу не удалось, и Гумилев, убедившись в ее неспособности (точнее, в нежелании) «прореферировать 20 страниц или выписать 1 стр. хронологии», отказался от этой затеи: «Ученой секретарши из тебя не выйдет», — заключил он.

С Василием Никифоровичем Абросовым, ихтиологом и лимнологом (озероведом), Гумилев познакомился еще в сороковые годы. Переписываться они начали после того, как Абросов благоразумно покинул опасный Ленинград и поселился в спокойном Торопце, а затем – в Великих Луках. В конце 1954 года их переписка возобновилась. Гумилев был убежденным сторонником географического детерминизма и пытался выяснить динамику усыхания и увлажнения степей, чтобы сопоставить ее с историей кочевых народов. Абросов бескорыстно помогал ему, составлял извлечения из необходимых Гумилеву книг и реферативные справки, консультировал своего друга-историка. Именно в письмах к «другу Васе» Гумилев поднял проблемы, которыми он будет заниматься в 1960-е. В письме от 3 марта 1955 года Гумилев впервые поставил вопрос, как можно использовать данные об изменении уровня (расширении или усыхании) Каспия и Арала для восстановления картины климатических колебаний.

К этой теме он вернется десять лет спустя и напишет несколько интересных статей, показав себя специалистом не только в истории, но и в исторической географии. В переписке с Абросовым Гумилев впервые для себя приходит к мысли о междисциплинарных исследованиях, начинает наводить «мост между науками»: «…ни историк без географа, ни географ без историка не разберутся. Для народов с примитивным уровнем техники колебания ландшафта имеют огромное значение – вся жизнь должна перестраиваться. Отсюда не следует делать вывод о необходимости миграций. Они вытекают из совсем других причин, но подъем и упадок хозяйства, как этногенетический фактор, во внутр. Азии немыслим вне ландшафта. Вот здесь необходимо построить мост между науками, а не удаляться в дебри спекулятивной философии».

Заключенному некуда торопиться, если только его жизнь не зависит от нормы выработки на общих работах. Поэтому Гумилев в лагере мог читать переводы китайских летописей, монографии Окладникова и Грумм-Гржимайло, делать необходимые выписки, глубоко погружаться в материал. Уже тогда Гумилев смог оценить преимущества такого чтения: «Удивительно даже, как много можно сделать в науке, если сосредоточить внимание на двухтрех летописях. А то мы разбрасываемся по библиографии; много хватаем, но мало удерживаем». А год спустя после лагеря Гумилев будет благодарить Эмму за бесценную помощь: «Вы не можете себе даже представить, насколько моя благодарность к вам выросла за это время. И вот за что – книги. Ведь если бы Вы мне их не посылали, мне бы надо было сейчас их доставать и читать, а когда?»

В июле 1955 года благодаря хлопотам Эммы Герштейн о судьбе Гумилева узнал Николай Иосифович Конрад, тогда – член корреспондент АН СССР (спустя три года он станет академиком).

Гумилева внимание Конрада необычайно взволновало: «… я стал счастлив. Ник. Иосифович – это такой человек, перед коим мне не зазорно и на пузо лечь. Это титан востоковедения, и его мнение о моих работах – такая награда, что лучше и быть не может». Гумилев нимало не преувеличил. Конрад – известный синолог и еще более известный японист – и в самом деле был крупнейшим ученым. Мало того, он был еще и прекрасным человеком, «красивым духовно и физически, отзывчивым и честнейшим». Арон Гуревич напишет о нем позднее: "белая ворона" среди сановных старцев Академии».

Конрад прежде не был знаком с Гумилевым, но заинтересовался судьбой ученого, который даже в лагере продолжал заниматься наукой: «Очень порадовал меня отзыв о моих работах Ник. Иос. Конрада». Значит, Конрад прочитал диссертацию Гумилева и, возможно, статью о статуэтках из Туюк-Мазара (лагерную рукопись Гумилев еще не успел переслать на волю). Видимо, Конрад оценил сочинения Гумилева высоко, потому что решил привлечь его ни много ни мало к работе над академической «Всемирной историей».

«Всемирная история» – грандиозный обобщающий труд, которым много лет занимались десятки советских ученых. Только над одним третьим томом, который Конрад редактировал вместе с Черепниным, Петрушевским и Сидоровой, работали пять академических институтов. Сам Николай Иосифович написал для этого тома семь глав, посвященных истории Тибета, Монголии, Китая, Кореи и Японии в раннем Средневековье. Гумилев еще не получал столь ответственной работы для такого престижного издания, а потому откликнулся он с величайшей готовностью:

«"Всеобщая история" – это дело для меня, так сказать, по моему профилю. Постарайтесь, пожалуйста, довести до него следующее. Я написал здесь работу "Древняя история Центральной Азии в связи с историей отдельных стран"; охвачена почти вся Азия, кроме Переднего Востока, Индии, Индо-Китая и Японии. Доведена она до X в. н. э. Работа не совсем закончена, так как у меня не хватило иностранной литературы, но, я знаю, прибавка ее не изменит ничего в принципе, а только даст уточнения. Уже написано ок. 20 печ. листов и составлено несколько истор. карт. Качество работы выше, чем диссертация, т. к. я писал не торопясь, по несколько раз переписывал, да и сам за это время не поглупел, а поумнел. Для "Всеобщей истории" этот текст придется не дополнять, а сокращать, и тут не 2 главы,

а целый раздел. Мало этого: эпоха Чингисхана еще не была научно описана. Там есть большие сложности, о которых я знаю и знаю, как найти выход. Если мне будет сделан заказ, вполне официально, я сумею его выполнить».

Увлеченный новой задачей и ободренный вниманием Конрада, Гумилев с новыми силами принимается за работу. Нехватку материала пытается компенсировать более глубоким изучением того, что есть под рукой, — переводов Бичурина, монографии Грумм-Гржимайло и т. д. «…Мне очень хочется, чтобы мой труд не пропал для науки», — пишет он Эмме.

Занятия прерываются в сентябре, когда Гумилева отправляют собирать опилки из-под электропилы, но он все-таки завершает работу над рукописью и в октябре 1955-го отправляет Эмме посылку с прочитанными и уже обработанными им книгами. Среди книг Гумилев прячет тридцать самодельных тетрадей. Это и была рукопись «Древней истории Срединной Азии», переписанная кем-то из лагерных друзей Гумилева. Эмму он попросил перепечатать рукопись в четырех (!) экземплярах, будто она была его женой или личным секретарем, и показать текст Н.И.Конраду; его оценки Гумилев ждал с нетерпением. Кроме того, эту рукопись Гумилев надеялся защитить в качестве докторской диссертации. В этом же письме Гумилев завещает в случае его смерти передать рукопись в Академию наук и присвоить ему посмертно докторскую степень – искреннее служение науке всегда соединялось у Гумилева с тщеславием.

Герштейн, впрочем, сочла рукопись Гумилева незаконченной, и Гумилев с ней неожиданно согласился: «Что касается диссертации, то Вам, конечно, виднее, нужно ли ее отдавать на рецензию или преждевременно».

Эмма, однако, сдержала свое обещание: она перепечатала рукопись на машинке, вложила листы в четыре красивые черные папки и принесла их Конраду. Николай Иосифович с нежностью подержал их в руках, «будто взвешивал каждую». Сам Конрад был арестован еще в 1938 году, провел год на Шпалерной и получил пять лет ИТЛ за шпионаж в пользу Японии. Несколько месяцев будущий академик провел на лесоповале в одном из пунктов Краслага, потом попал в шарашку, где переводил с китайского и японского, и лишь в сентябре 1941-го приговор по его делу был отменен и Конрада выпустили на свободу. В шарашке Конрад переводил и комментировал классические китайские военные трактаты «Суньцзы» и «Уцзы». В судьбе Гумилева Конрад мог увидеть повторение собственной судьбы.

Академическая «Всемирная история» в десяти огромных, по тысяче страниц большого формата томах известна не только

профессиональным историкам. Эти фолианты в толстых темно зеленых переплетах когда-то стояли в читальных залах всех приличных библиотек. Но среди авторов «Всемирной истории» имени Льва Гумилева нет. Неясно, то ли Николай Иосифович Конрад не был доволен работой Гумилева, в самом деле неоконченной, или его отпугнули трудности работы с автором, который все еще находился в лагере, или вмешались какие-то неведомые нам обстоятельства, но поработать для «Всемирной истории» Гумилеву так и не пришлось.

Мне представляется, что причина в концептуальном несогласии Конрада и Гумилева. Дело в том, что в третьем томе «Всемирной истории» история кочевников Центральной Азии – хуннов, сяньби, тобасцев, жужаней, тюрков – была всего лишь приложением к истории Китая. Хотя исторический материализм отрицает гегелевское деление народов на «исторические» и «неисторические», но многие историки этого деления придерживались негласно. Вот и в главах, подготовленных Конрадом, кочевым народам Центральной Азии было посвящено лишь несколько страниц.

«НА ЛЮТНЕ ТРУНА…»

Последние, весенние, месяцы своей лагерной жизни Гумилев посвятил избранным сочинениям Сыма Цяня, выпущенным «Гослитиздатом» в самом начале 1956 года. «Сыма Цянь поглотил все мое внимание, и надолго», — писал Гумилев Эмме Герштейн. Гумилева раздражали только слабый, как ему казалось, комментарий и предисловие синолога Л.И.Думана: «Это книга очень умная, и быстро ее читать нельзя. <…> Сила Сыма Цяня в том, что он мыслит диалектически и в каждом факте видит две стороны. К сожалению, Думан этому искусству не обучен. Предисловие написано примитивно».

В сочинениях Сыма Цяня Гумилев нашел мысли, необходимые для будущей теории этногенеза. Китайский ученый повлиял на него больше, чем Шпенглер или Ницше. Сыма Цяня Гумилев называл гением. Ни одного европейского мыслителя он не ставил так высоко.

Из писем Льва Гумилева к Анне Ахматовой: «Утешаюсь Сыма Цянем. Вот умница!» (13 апреля 1956);

«Читаю Сыма Цяня в третий раз с неослабевающим восторгом» (17 апреля 1956).

В XX веке почти все историки верили в прогресс, в линейное развитие человечества. От простого к сложному. От мрака невежества к царству разума. От рабства древнего мира, от ужасов темного Средневековья к счастливому и прекрасному миру современности, царству просвещенного обывателя. И даже такие «достижения» современной цивилизации, как нацизм и ГУЛАГ, не могли поколебать религии прогресса. И ведь ученые XIX века в большинстве своем думали именно так же. Современные историки не открыли здесь ничего нового, разве что ветхие слова сменили на современные, модные: «архаика», «модернизация», «проект модерна».

По Гумилеву в истории народов нет прогресса, но есть движение, изменение, которое оставляет следы не только на страницах летописей и хроник, но и в живой природе: антропогенные ландшафты, истребленные виды животных и растений, руины древних городов. Вся этническая история как будто «состоит из переплетения цветных нитей, концы которых заходят друг за друга. <…> Заря Эллады, когда базилевсы с дружинами разоряли Трою, — XII в. до н. э. — по времени совпала с закатом Египта и началом упадка могущества Ассирийского царства и Вавилонии. Так, при агонии золотой Византии – XIII в. н. э. — возносились знамена франкских

рыцарей и бунчуки монгольских богатырей. А когда изнемогал от внутреннего кризиса средневековый Китай – XVII в., тут же поднялся трон маньчжурского богдохана, вокруг которого объединилась Восточная Азия».

Этническая история требует иного ощущения времени, и Гумилев найдет его именно у Сыма Цяня: «Путь трех царств кончился и снова начался».

На самом деле Гумилев познакомился с таким взглядом на время на девятнадцать лет раньше, в 1937 году, когда перевел стихотворение китайской принцессы Да И из династии Чэнь (VI век н. э.):

Предшествует слава и почесть беде.
Ведь мира законы – трава на воде.
Во времени блеск и величье умрут,
Сравняются, сгладившись, башня и пруд.

Пусть ныне богатство и роскошь у нас,
Недолог всегда безмятежности час.
Не век опьяняет нас чаша вина,
Звенит и смолкает на лютне струна.

Подстрочник Гумилев нашел в переводах китайских хроник, сделанных в первой половине XIX века русским востоковедом Н.Я.Бичуриным (иеромонахом Иакинфом). В 1956-м, читая Сыма Цяня, Гумилев должен был припомнить свой перевод того древнекитайского стихотворения.

Гумилев покинет лагерь 11 мая 1956 года, через два с небольшим месяца после исторического доклада Хрущева на XX съезде КПСС. Это будет его последний срок заключения.

Варлам Шаламов был убежден, что лагерь может принести человеку только зло. Солженицын написал «Спасибо тебе, тюрьма!».

Гумилев привез из лагеря черновики двух будущих книг. Одна из них скоро станет его диссертацией. Его лагерные размышления и наблюдения трудно переоценить. Алексей Савченко утверждал, будто бы уже в лагере Гумилев обдумал, обсудил, «пропустил сквозь сито критических высказываний» все основные идеи своего будущего трактата «Этногенез и биосфера Земли». Поверить в это невозможно, потому что трактат изобилует сведениями, которые Гумилев мог почерпнуть лишь позднее, уже в шестидесятые годы, но в словах лагерного друга есть своя правда: Гумилев успел многое обдумать именно в

лагере, а в лагерных спорах отточил свое красноречие. Гумилев позднее говорил, что на воле, в университете, например, ему не так часто приходилось вступать в научные дискуссии. Многие профессиональные ученые почемуто не любили говорить о науке, а в лагере спорили часами. Гумилев, разумеется, почти всегда выходил победителем и довольно потирал руки:

— Вот и этот херр профессор не смог возразить по существу!..

Наконец, в лагере он приобрел друзей, таких как востоковед Михаил Федорович Хван, будущий известный экономист и политический обозреватель Лев Александрович Вознесенский или норильский друг Николай Александрович Козырев, талантливый и чрезвычайно оригинальный астрофизик. Не зря Гумилев писал Ахматовой, что в лагере собралось «избранное общество».

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Солженицын писал, что до лагерей не придавал значения национальным различиям и думал, будто наций вообще нет, а есть единое человечество, но восемь лет заключения навсегда изменили его взгляды. Советские лагеря никогда не были моноэтничны. Теодор Шумовский вспоминает, что в Белбалтлаге, где они с Гумилевым сидели в декабре 1938-го – январе 1939-го, было много азербайджанцев. Шумовского они уважали, потому что он охотно разговаривал на их языке, и даже без очереди пропустили к врачу, когда его больного, с высокой температурой, притащил в медпункт Лев Гумилев.

После Второй мировой войны ГУЛАГ был многонационален, как никогда: «…здесь просто этнографический заповедник», — писал Гумилев Ахматовой в июне 1954-го. Это было время ссылки народов, время массовых посадок литовских и украинских националистов. Редкими вкраплениями служили настоящие иностранцы, на свою беду оказавшиеся в СССР.

В Камышлаге сидел настоящий британский коммунист Джордж Герберт Ханна (русские звали его Георгием Вильямовичем), голубоглазый блондин с тяжелой челюстью. Алексей Савченко вспоминает, что этот англичанин часто сидел на бревнах, попыхивая своей трубочкой, чем очень напоминал рыбака со старинной голландской или английской картины. Встречались и другие европейцы. Гумилев писал Ахматовой, как он прочитал одному венгру целую лекцию о происхождении венгерского народа. Лекцию он читал пофранцузски, пофранцузски же беседовал и с другими венграми и немцами, хотя вообще-то европейцев не жаловал: «Общение с европейцами – лучшее лекарство от космополитизма», — писал он матери, которая вряд ли бы с ним согласилась.

Самой многочисленной нацией в Камышлаге были украинцы, главным образом – националистыбандеровцы, но Гумилев их почти не упоминает, видимо, они были ему вовсе не интересны. Намного охотнее он общался с восточными народами – таджиками, персами, узбеками и даже китайцами: «В китайцев я влюбился. Будь хоть на 20 лет я свежее, я бы занялся китайским языком. Сейчас приходится ограничиться изучением китайской истории и культуры через переводчика».

Много лет спустя в своем «Автонекрологе» Гумилев напишет о китайцах несколько иначе: «Китайцы требовали безусловного уважения своей культуры, но за интерес к ней платили доброжелательностью. При этом они были так убеждены в своей

правоте и своем интеллектуальном превосходстве, что не принимали спора даже на научную тему. Этим они были похожи на немцев и англичан».

Сравнением с нелюбимыми немцами и англичанами Гумилев намеренно принижает китайцев, да и сам тон здесь скорее недоброжелательный. Дивиться нечему. «Автонекролог» написан Гумилевым уже в конце жизни. С лагерных времен прошло много лет, Гумилев напечатал несколько монографий, где китайцы представали извечными противниками храбрых и благородных хуннов, тюрков и монголов, а Поднебесная – государством монстром, давно бы поглотившим человечество, если бы не героическое сопротивление степных кочевников (в китайской терминологии – «северных варваров»).

Но сами китайцы Гумилеву, очевидно, очень понравились, общение с ними пробудило его интерес к китайской культуре. После освобождения Маньчжурии советскими войсками в августе 1945-го китайцев в советских лагерях встречалось немало. Обычно их брали как американских шпионов или пособников русских белоэмигрантов. Встречались китайцы, знающие русский язык. В феврале 1954-го Гумилев писал Ахматовой, что «прослушал курс древней истории и философии Китая от ученого китайца», а Савченко рассказывает о молодом китайце из Харбина по имени Чен Чжу, с которым Гумилев беседовал по многу часов. Китаец помогал ему толковать трудные места из русских переводов китайских манускриптов и разъяснял значение встречавшихся иероглифов – работа, которая под силу только ученому человеку. Возможно, Чен Чжу и был тем самым «ученым китайцем» из письма к Ахматовой. Порусски он говорил свободно, спешить было некуда – в СССР его приговорили к двадцати годам лагерей за «шпионаж», а ученые занятия с Гумилевым помогали коротать время.

Еще из лекций Николая Васильевича Кюнера Гумилев мог узнать коечто о классической китайской литературе. Теперь настало время с ней познакомиться. На воле как раз стали появ ляться русские переводы китайских романов, и Гумилев заказывал их матери: «… я ждал, что в посылке из-под слоя сала вылезет второй том "Троецарствия", но жду его теперь ко дню моего рождения».

Среди собеседников Гумилева были таджики и персы. Гумилев рассказывал о знакомстве с персидским коммунистом, а Савченко – о дружбе Гумилева с иранским юношей, которого арестовали еще во время Тегеранской конференции по подозрению всё в том же шпионаже. В беседах с этим «тихим, скромным и красивым» персом Гумилев практиковался в

персидском, вместе они читали стихи великих персидских поэтов. Восстановить хронологию этих ученых занятий сейчас трудно, ведь беседовать поперсидски Гумилев мог не только с этим юношей или иранским коммунистом, но и с таджиками, которых в лагере было немало. По крайней мере еще 2 февраля 1951-го Гумилев писал Ахматовой из Песчанлага, что «занялся персидским языком и значительно успел», но занятия прервались, так как его отправили на общие работы. В марте Гумилев попросит Ахматову прислать «хрестоматию на персидском языке». 12 июня 1954-го в письме к Ахматовой Гумилев заметит, что «здорово насобачился» в персидском. «Занимаюсь историей и персидским языком в полное напряжение», — писал Гумилев Эмме Герштейн в августе 1955-го.

Интерес к персидскому языку был не вполне бескорыстным. Гумилев еще во время работы над кандидатской диссертацией перевел большой фрагмент из «Шахнаме», в лагере он решил вернуться к работе переводчика и попросил Эмму Герштейн прислать ему поэму Фирдоуси на языке оригинала: «Всё это принесет в случае моего возвращения плоды и фрукты». Увы, Эмма его разочаровала: еще в 1955 году вышло русское издание «Шахнаме» в переводе Семена Липкина. Гумилев негодовал: «… возмутительная халтура. Переводчик не знает а) языка, б) истории, в) русского стихосложения, но обладает, видимо, наглостью и блатом. Ничего похожего на гениальное произведение великого автора. Если бы Фирдоуси писал так, как Липкин, его бы никто не читал и не знал».

Но персидский Гумилев знал и прежде, теперь же только совершенствовался, а вот с тюркскими языками было намного труднее. Он пытался учиться у носителей языка, благо «органы» сажали немало узбеков и татар, но особого прогресса не было. К тому же среди лагерных мусульман, как тюркского, так и таджикского происхождения, было очень мало людей образованных: «Мусульман тоже много, — писал он матери. — … Но это народ неинтересный, хотя, конечно, симпатичнее европейцев».

Но в Камышлаге нашлись и образованные, среди них был ученый памирец, прошедший обучение у исмаилитского пира (старца). Звали его Алифбек Хийшалов, он принадлежал к этносу шугнанцев. Ко времени знакомства с Гумилевым ему исполнилось уже сорок четыре года, и помимо исмаилитского образования он получил и советское – окончил Сталинабадский пединститут. Алифбек пересказывал Гумилеву содержание древних рукописей, одну из них Гумилев отыщет уже на воле, а беседы с ученым шугнанцем помогут Гумилеву написать две статьи для «Вестника

Древней истории», одного из самых престижных академических журналов.

От буддийского ламы, еще одного своего собеседника, Гумилев услышит легенду о Шамбале, которой он позднее найдет вполне материалистическое объяснение. По воспоминаниям Савченко, Гумилев относился к ламе с величайшим почтением, заваривал ему чай покрепче, с полупоклоном приносил кружку и произносил какоето приветствие на тибетском языке. Правда, тибетского Гумилев не знал, но приветствию выучился у самого ламы, который немного говорил порусски.

После ухода ламы Гумилев довольно потирал руки и будто бы приговаривал:

— Ну скажите, пожалуйста! Когда я, живя в Ленинграде, смог бы встретиться и поговорить за чашкой чая с настоящим буддийским монахом?.. Из самой Лхасы.

Впрочем, сам Гумилев писал позднее, что лама был не тибетцем, а корейцем.

Самым колоритным собеседником Гумилева был настоящий эвенкийский шаман, который будто бы посвящал его в тайны своего ремесла, рассказывал о злых и добрых духах. Иногда шаман «выскакивал в проход между нарами и начинал подпрыгивать то на обеих ногах, то на одной, что-то выкрикивать, временами повизгивать, вертя над головой крышку от посылочно го ящика, заменявшего ему бубен». При этом Лев Гумилев не спускал с шамана глаз, «напрягался и подавался вперед… мысленно повторяя телодвижения шамана. Прочая публика в такие минуты бросала свои дела и с любопытством наблюдала за происходящим».

Гумилев шутил, будто собирается освоить новую профессию на случай, если его отправят в сибирскую ссылку. Тогда пойдет он с бубном по стойбищам, зарабатывать кусок медвежатины. Шутка была рассчитана на людей, с шаманом не общавшихся, ведь от него Гумилев наверняка узнал, что шаманом становятся не по доброй воле.

Наконец, Гумилев упоминает еще об одном своем лагерном учителе, грузинском еврее, раввине и математике, который открыл ему философский смысл Каббалы. Там же в лагере Гумилев познакомился с еврейским поэтом Матвеем Грубияном, его стихи он будет переводить уже на воле. Видимо, в лагере они если не дружили, то поддерживали хорошие отношения. В лагере же Гумилев неожиданно стал жертвой еврейского погрома.

Дело было еще в кемеровский (междуреченский) период истории Камышлага, значит, между сентябрем 1951-го и июнем 1953-го. Судя по хорошей спортивной форме, которую показал в

этом деле Гумилев, — еще до его инвалидности, значит, до осени 1952-го.

Погром, к счастью, организовали не многочисленные и хорошо организованные бандеровцы, а уголовники, попавшие в особлаг по грозному восьмому пункту 58-й статьи (террор). Эту статью им давали за вооруженное сопротивление милиции. Однажды несколько урок достали у вольнонаемных шоферов водку. Савченко предполагает, что алкоголь пробудил только «былые эмоции и двигательные навыки» уголовников, а лозунг «Бей жидов!» подкинул им кто-то из политических. Как бы там ни было, своей мишенью они избрали служащих-зэков из строительной конторы, где работал в то время и Гумилев. В конторе был и настоящий еврей, Ефим Маркович Пинкус, который, заслышав хорошо знакомый лозунг, успел спрятаться за шкаф. Но Гумилев из-за своей интеллигентной внешности и картавости, распространенной у российских евреев, оказался вполне подходящей заменой настоящему еврею. Кроме Гумилева удар уголов ников приняли белорусский профессор-славист Матусевич и бывший есаул кубанского казачьего войска Федоров, сражавшийся с большевиками еще под знаменами Деникина и Врангеля. Уж его-то даже спьяну трудно было принять за еврея.

В конторе погромщикам дали отпор, а Лев сошелся в драке с воровским паханом Кальченко, из которого, по словам свидетеля этого сражения, можно было бы «слепить по меньшей мере, двух Гумилевых». К тому же пахан был вооружен топором. Но страшен был в гневе и Гумилев: «…Лев Николаевич в атаке. Он подпрыгивает. Глаза его побелели. Губы искривлены от ярости. Рот ощерился зубами. Обе руки подняты кверху, и согнутые пальцы с порядочными ногтями нацелены в лицо, а может быть, и в глаза Кальченко…»

К счастью для будущего отечественной науки, их успели разнять.

Не зря товарищи полушутя спрашивали его: «Не из воровской ли малины вы сюда прибыли, Лев Николаевич?», а он отвечал: «… кличка "фраер" ко мне никак не подходит… я на три четверти блатной!»

Кое-какие лагерные черты Гумилев сохранял и после освобождения. Эмма Герштейн вспоминает интересную реплику Ахматовой. Когда Лина Самойловна, вдова литературоведа Рудакова, начала торговать автографами Николая Гумилева, Анна Андреевна сказала «мечтательно и угрожающе»: «Я нашлю на нее Леву, он с ней поговорит по-своему. <…> Он сделает из нее "свиное отбивное!"»

ПОЧТОВЫЙ РОМАН

Не получив ответа от Птицы, Гумилев попытался хоть что-то о ней узнать. «Как вела себя Птица?» – спрашивает он Анну Ахматову. «…Жива ли она и просто забыла о моем существовании, или, может быть, умерла или замуж вышла», — пишет он в другом письме.

Ко всем его несчастьям присоединились неизвестность и невозможность выяснить, что же происходит в Ленинграде. Осталось поверить в худшее: Птица его забыла.

Ну, а Мумма? Что же, Мумма —
Женщина. Непостоянство
Имя ей.
< … >
Разлученная судьбою
С благородным Атта Троллем,
Не скончалась Мумма с горя
И в уныние не впала.

Нет, жила она, как прежде,
Так же весело плясала…

Генрих Гейне. Атта Тролль. Перевод Н.Гумилева

Между тем у Натальи Варбанец повода для веселья не было. 16 ноября 1949 года арестовали Льва Гордона. Чуть раньше – сотрудника отдела рукописей историка и источниковеда Даниила Натановича Альшица. Никто не чувствовал себя в безопасности. О том, что происходило в библиотеке, в Ленинграде, в стране говорили шепотом, не доверяли телефону, часто обменивались условными знаками.

Из воспоминаний М.Л.Козыревой: «Птица пришла с работы, погасила свет, подошла к окну и закурила. Я смотрела на нее, не понимая. Она отошла от окна, опять зажгла свет и сказала:

— Это для Владимира Сергеевича. Знак, что у нас дома все в порядке».

Опасность грозила и Люблинскому.[28]

В Отделе редкой книги он собрал единомышленников, специалистов, владеющих европейскими языками. Люблинский подбирал сотрудников по профессиональным качествам, не обращая внимания на анкету. В 1949 году его обвинили в «потере

бдительности» и компромата нашли более чем достаточно. У старшего библиотекаря Н.В.Варбанец отец выслан из Ленинграда. У главного библиотекаря Т.А.Быковой два двоюродных брата (!) с 1917 года живут в Париже. К тому же она в 1913 году (!) побывала в Германии, Австро-Венгрии и Швейцарии. «Преступлениям» Л.С.Гордона не было никакого оправдания: плен, лагерь, жизнь за границей. Даже сам факт рождения в 1901 году в Париже и проведенное там детство ему поставили в вину.

Люблинского не арестовали, просто вынудили уволиться по собственному желанию. В Публичную библиотеку он уже не вернется.

Наталью Варбанец не уволили. В личном листке лаконичная, без комментариев, запись: «26 января 1950 года переведена в Отдел каталогизации». Для Варбанец перевод был унизительным изгнанием: «сослали на скотный двор». В отдел редкой книги она вернется только в ноябре 1953 года.

Почему же Варбанец не ответила Гумилеву, не поддержала его, даже не попыталась как-то с ним связаться? Боялась? Наверное. Она писала в дневнике об «окаянном ужасе», который тогда испытывала. В то же самое время она не оставила в беде Марьяну Гордон, от которой после ареста отца отворачивались знакомые. Варбанец даже вызывали в Большой дом и требовали объяснений, почему у нее живет дочь врага народа. «Что же мне ее, на улицу выкинуть?», — передает ответ Натальи М.Л.Козырева. Никто бы не осудил Наталью, откажи она от дома Марьяне. Та давно выросла. В год ареста отца Марьяне исполнился двадцать один год. Но Наталья по-прежнему терпела бытовые неудобства и делила с Марьяной свою скромную зарплату библиотекаря. У той была всего лишь символическая стипендия из художественного училища.

Главное в другом. Первое, совершенно отчаянное письмо Гумилева почему-то показалось Варбанец «нестерпимо фальшивым». Она даже подумала, что два года «загубила зря».

Впрочем, эти неожиданные и как будто необъяснимые признания не исчерпывают ее отношения к Гумилеву. Его имя появляется в дневнике Птицы не раз. Как-то она пришла к Ахматовой. Анна Андреевна собиралась в Москву, выгребла из шкафа вещи, в том числе и вещи Льва. После этого в дневнике Варбанец появилась запись: «…словно он прошел… по шереметевской своей комнате, ступая тяжелыми своими ботинками, согнувшись с чашками в руках, и ногой открыл дверь. И профиль его, обрисованный там на стене. И захотелось обратно в те годы».

Воспоминания обострили чувство вины: «Во мне вдруг

появилось нестерпимая, жгучая потребность ему написать – не тоска по нем, не любовь, а другое – не знаю, как это назвать, м<ожет> б<ыть>, жажда искупления».

Поздней осенью 1954 года Наталье написал Василий Абросов и попросил найти в Ленинграде очень нужную Льву книгу (*Г.Е.Грумм-Гржимайло*. Западная Монголия и Урянхайский край). Она отыскала книгу и отправила Гумилеву в лагерь. С этого началась их переписка.

Даже поверив, что Птица ему изменила, Гумилев не мог ее забыть. Пришлось прибегнуть к старому проверенному средству. Если невозможно забыть, то надо постараться возненавидеть. Теперь он пишет о ней грубо и зло.

Из письма Льва Гумилева Анне Ахматовой 20 июля 1952 года: «Что касается Натальи Васильевны, то незачем ей мой адрес на третий год разлуки; и если она появится, то, вспомнив меня, бери полено и гони ее из дому…»

Ему кажется, что лекарство подействовало. «О Птице я забыл и думать», — пишет он Ахматовой 30 сентября 1952 года. Но если пишет, что забыл, значит, все-таки еще помнит. Имя Варбанец мелькает в его письмах к Ахматовой и в 1953, и в 1954 годах.

Весточка от Птицы стала для Гумилева полной неожиданностью и привела в смятение. Первые, конца декабря 1954-го и начала января 1955-го, ответные письма Гумилева холодноваты и недоверчивы. Он требует объяснений, почему Наталья не простилась с ним по-человечески, не прислала хотя бы короткой прощальной записки. В это же время Лев пишет нервное, отчаянное письмо Василию Абросову. Он растерян и просит совета, можно ли Птицу простить? Не унизит ли его примирение?

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 23 декабря 1954 года: «Вначале я хотел не отвечать, но понял 2 вещи: 1) что я эту сучку люблю и 2) что вычеркнуть лучшее из моих романов – ампутация очень серьезная. Если ее надо сделать, я сделаю, но надо ли… можно ли помириться [не унизит ли это мое достоинство]». Слова в скобках зачеркнуты, и вместо них вписано «она блядь и бесполезно». Зачеркивания, исправления свидетельствуют о душевном волнении. Обычно даже в лагерных письмах почерк Гумилева четок и разборчив.

Печальный комизм ситуации: мудрый змий просит совета у своего наивного ученика. Вася из самых добрых побуждений Птицу оправдал, а Гумилев рад был обмануться. Он не поверил письму Натальи, из которого ясно, что она по-прежнему против взаимных обязательств: «…эта дуреха прислала… письмо с такими идиотскими объяснениями», что он чуть было не ответил

ей грубо и непоправимо. Но он поверил Васе.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 18 января 1955 года: «Ты не можешь себе представить, как я тебе благод<арен> за твою диссертацию о Птице. Присваиваю тебе *honoris causa* степень магистра орнитологических наук. Теперь мне все стало понятно, я успокоился…»

Теперь, когда Лев простил Птицу, прошлое живо встало перед глазами. Оказалось, что он ничего не забыл. Он постоянно думает о Птице. Она снится ему по ночам.

Из писем Льва Гумилева Наталье Варбанец: «Я стал очень впечатлителен и как будто ловлю радиоволны от тебя» (6 октября 1955); «Я тебя… чувствую рядом, но никогда не бурно, а всегда ласковоспокойно». (3 ноября 1955).

Почтовый роман с красавицей льстит его мужскому самолюбию. «От тебя все мои друзья в восторге и мне завидуют, глядя на карточку» (29 июля 1955).

Счастье на какое-то время вытеснило подозрения и ревность. Забыв все обиды, он шлет ей счастливые, восторженные письма: «Ты сорок тысяч раз права в своей логике и ни в чем передо мной не виновата» (6 марта 1955).

Временами сорокалетний, многоопытный, битый жизнью Гумилев напоминает юного, наивного шевалье Де Грие: «Я одобряю все, что ты сделала. Какое у меня право допытываться причин твоего поведения? Я буду слишком счастлив… если возлюбленная Манон не лишит меня нежности своего сердца!» (Аббат Прево. Манон Леско).

Между тем эйфория длится недолго. Очень скоро Гумилев возвращается к прежним надеждам создать семью. Уже в одном из первых писем сожалеет, что они с Птицей не поженились, тогда она могла бы его навестить в лагере. Плохо же он знал Наталью Васильевну, а может быть, настолько идеализировал? Еще больше печалит Гумилева, что у них с Натальей не было детей.

О, отрадное свиданье!
Он детей нашел в берлоге.
Где воспитывал их с Муммой:
Четырех сынков, двух дочек.

Две девицы белокуры,
Точно пасторские дочки;
Рыжи мальчики, но младший,
Карнаухий, тот – брюнет.

Понимая, что родительские чувства ему вряд ли посчастливится испытать, Гумилев в письмах с нежностью называет Марьяну «доченькой». Скорее всего по этой причине, а не потому, что в 1948-м стал ее крестным отцом. Когда в начале 1956 года возобновилась переписка с братом, Орестом Высотским, Гумилев искренне и бурно радуется появлению новых родственников. Из писем Льва Гумилева Оресту Высотскому: «Еще раз благодарю тебя за портреты моих племянников и прошу написать об них подробнее. У меня инстинкт отцовства без применения и, видимо, перейдет на инстинкт дядьства. У Коли я обнаружил сходство с тобой, а Лара очаровала всю зону» (17 апреля 1956 года).

«…Ты отец хреновый: ничего не пишешь о моих племяннике и племяннице. Мне приходится удовлетворяться физиогномикой. Коля показался мне развитым выше возраста (так ли?) и умным (ну, это, надеюсь, так!). <…> Лара очаровательна; уже кокетничает, и ловко. Я в нее уже влюблен; вот ее первая победа» (3 апреля 1956).

Гумилев возвращается к начавшемуся еще на воле спору, пытается показать Наталье преимущества традиционного брака: «Я по зрелом размышлении стал уважать Домострой» (14 января 1955).

Идеал Домостроя возник у Гумилева не в 1955-м и даже не в 1947-м, когда он встретил женщину, которую сразу решил назвать женой. Он складывался постепенно, с детства, и память хранила его, как хранят на дне сундуков дорогие, но до поры до времени не нужные вещи. С детства перед ним был пример семейной жизни родителей.

Из записных книжек Анны Ахматовой: «Скоро после рождения Левы мы <с Н.С.Гумилевым> молча дали друг другу полную свободу и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг друга».

Маленький Лева тяжело переживал разлад между родителями. В зрелые годы Лев Николаевич объяснял не только семейные беды, но и, шире, духовный кризис русской художественной интеллигенции разрывом с патриархальной традицией: «Серебряный век и был намеренно атеистичен, то есть жил без заветов отцов. <…> Серебряный век оболгали и им восхитились по неведению. Это ведь была жизнь – мука…»

Ту же свободу в интимных отношениях предлагала Варбанец, а Гумилев категорически отвергал: «…то, что ты считаешь нормой, — ад» (27 октября 1955), «половины или 1/3 тебя я не

хочу. Пусть лучше тогда ничего не будет» (6 марта 1955).

Идеалом для Гумилева всегда была семейная жизнь его деда Степана Яковлевича и бабушки Анны Ивановны. Он не застал слепневской идиллии, но хорошо представлял ее по рассказам. Е.Б.Чернова, внучатая племянница А.И.Гумилевой, вспоминала, как удивилась та ее желанию после гимназии продолжать образование: «Зачем, будь как все барышни».

Гумилев считал разумным традиционное распределение ролей в семье. Муж служит, обеспечивает семью, как его дед. Жена – хозяйка дома, как его бабушка. По этому образу он хотел бы построить и свою семью: «…хочу, чтобы ты меньше работала, а лучше совсем не работала. Тебе надлежит шить или рисовать… и читать романы» (25 февраля 1955 года). Конечно, он вынужден был сделать поправку на XX век и характер Натальи: «…без библиотеки не обойтись… <…> Надо работать на полставки, а остальное время быть дома и командовать домработницей» (12 декабря 1955).

Варбанец называла все это «лагерным больным мечтательством». Так ли это? Птица-домохозяйка – конечно, фантазия, приятный Гумилеву мираж. Но его обещания обеспечить жену вовсе не были беспочвенными мечтами.

Из писем Льва Гумилева Наталье Варбанец:

«Я нужен Академии наук» (8 октября 1955).

«…После защиты можно претендовать на квартиру. "Восток" сейчас потребен» (12 декабря 1955).

Гумилев знал, что власть хорошо оплачивает труд лояльной ей научной элиты.

Из дневника К.И.Чуковского: «У Евг. В.Тарле в его огромной ленинградской квартире. Лабиринты. Много прислуги – вид на Петропавловскую крепость, много книг. Три рабочих кабинета. Пишет историю нашествий. Пригласил меня обедать, прислал за мной машину…»

Гумилев не бывал в квартире Тарле, но не раз приходил к академику В.В.Струве.

Льву Николаевичу нужна определенность, ему хочется приблизить будущее хотя бы в мечтах: «…меня дожидается невеста, к которой я приду домой, и вещи положу, и сам сяду…»

Но Гумилев явно торопит события, чем вызывает сопротивление Варбанец: «Опять лягнула брачную проблему».

Наталья Васильевна, возможно, уже пожалела, что возобновила переписку. Она совершенно определенно отказывается что либо обещать, а жить предлагает на разных квартирах. Но все ее объяснения и уверения «как горох об стену», с раздражением замечает она в дневнике. В своем отношении к

традиционному браку Варбанец, безусловно, была еретичкой, и Гумилев напрасно пытался обратить ее в свою веру.

Сохранилось два письма Н.В.Варбанец Л.Н.Гумилеву. Фрагменты других можно реконструировать по письмам Льва Николаевича. Тон писем Варбанец снисходительный, покровительственный. Она позволяет себя любить, а за собой оставляет право поучать, причем свысока. В ее письмах очень много обидных для Гумилева слов.

Из письма Натальи Варбанец Льву Гумилеву от 29 сентября 1955 года:

«О ишак! Это ты, Люль… <…> Стоит тебе заболеть, и ты неизменно обижен и дуешься на маму, на меня… <…> Я просто деру твои длинные уши… <…>…В настоящее время мое дело забавлять тебя письмами и прочищать мозги».

Из письма от 2 мая 1956 года: «Львы… заслуживают шлепки по тощим задам».

Особенно задело Гумилева слово «измимозился».

Письма Натальи Варбанец оставляют чувство неприятного недоумения. Любовь к изящным искусствам может уживаться с бессердечием, нравственной глухотой. Такое случается. Но Вар банец даже чувство слова изменяет. Писать больному человеку в лагерь «измимозился», «дуешься», «ишак» – нравственный садизм. Она не понимала этого или сознательно подбирала слова побольней? А может быть, нет здесь загадки и нет противоречия. Случай Натальи Варбанец, если судить по ее дневнику, это случай Дориана Грея. Неизящная, некрасивая оболочка вызывала у Варбанец, как у героя Оскара Уайльда, неприязнь, отвращение. По этой причине она не разглядела в лучшем друге Гумилева, неуклюжем, провинциальном Васе Абросове чистую душу и природный талант ученого. Несколько раз в письмах Гумилев просит Птицу не быть грубой с Васей, когда тот приедет «в Город». Значит, она раньше уже бывала грубой с Васей?

Птице был неприятен неухоженный внешний вид Гумилева. В дневнике она упоминает его штаны с махрами и тяжелые ботинки. Не пожалела его по-женски, не скрасила холостяцкий быт, а брезгливо отвернулась. «Смесь лагерного жаргона с Блоком» в первом письме Гумилева вызвала у нее отвращение. Но мог ли он тогда думать о красоте слога?

М.Л.Козырева вспоминала, что после ареста отца и Гумилева как-то сказала Птице: «Когда они вернутся, вот будет счастье». Птица ответила: «Из приюта компрачикосов красавцами не возвращаются». Вот и опять она подумала о красоте, прежде всего о красоте. «Только бы живыми вернулись», — сказала бы нормальная женщина.

Долгое время Льва и Птицу связывал общий уровень культуры. Они легко перебрасывались литературными цитатами и французскими фразами. Но постепенно и эта связь стала слабеть. Пока Варбанец с Люблинским ходили в Эрмитаж и филармонию, Гумилев в лагере смотрел незатейливые советские кинокомедии. И они ему очень нравились. Однажды Гумилев попросил Варбанец прислать ему легкий французский роман «с любовью и приключениями». Не покупать, а просто взять с полки, какой не жалко. Наталья прислала ему «Тиля Уленшпигеля». Со стороны кажется, что она просто издевалась над бывшим любовником. Вместо развлекательного романа – инквизиция, испанские сапоги, пытка водой, сожжение на быстром огне, сожжение на медленном огне – всё это, конечно, должно было очень развлечь и ободрить узника ГУЛАГа.

Для сравнения не могу не упомянуть, что Татьяна Крюкова, верный и добрый друг Гумилева, тоже прислала ему книгу. Но это были «Посмертные записки Пиквикского клуба», они и в самом деле врачуют душу. Правда, Гумилеву роман Диккенса не понравился, он и дочитывать не стал.

Чем дольше длится переписка, тем больше взаимных обид и упреков. В одном из первых писем Гумилев спрашивал Птицу о ее новом замужестве. Зарегистрирован ли брак? Для него это было важно. Брак Варбанец с Глебом Русецким, сотрудником библиотеки, зарегистрирован не был и длился недолго. Но имя Глеба в письмах Гумилева к Варбанец упоминается часто. Сначала с оговорками: никакой ревности, он просто интересуется ее жизнью. Затем Гумилев уже не может удержаться от ядовитых замечаний: «…как ты при описанном тобой квартирном кризисе устраивалась с Глебом. Ведь не по-братски, а?» Гумилев требует от Птицы подробностей, уточняет: жили ли в одной квартире или «он был муж приходящий»? «Как это все происходило?». Наконец, он открыто ревнует, попрекает: «Для Глеба нашлось у тебя и место, и забота, и всепрощение». И уже спустя долгое время спрашивает: «А все-таки ты кончила отношения с Глебом?» Гумилев часто просит Варбанец писать ему о приятном, не поучать, не «прорабатывать»: «Я больше не могу завоевывать тебя».

В феврале 1956-го иллюзии как будто покидают Гумилева. Он понимает, что Птица не хочет семейной жизни, по крайней мере семейной жизни с ним.

«Я отдал ей время и силы, которые, таким образом, уходили на ветер. <…> Я остался у разбитого корыта и даже сейчас, когда положение изменилось и она опять вспорхнула перед моим удивленным взором, — по сути все так же. Она ничего не хочет

даже обещать…» – писал он Василию Абросову.

К весне 1956-го любовь и ревность сменяются усталостью. Слово «Мумма» исчезает из его писем. Остаются, в лучшем случае, Птица или «милая винья». Последний лагерный месяц он ей не пишет.

Омский лагерь Гумилев покидал с уверенностью: отношения с Птицей окончены. Всё. Решение принято.

Но в Ленинграде он как будто позабыл о своем решении. Гумилева ждали еще два месяца «болезненных объяснений», хотя у него появились и другие женщины. Но разорвать с Птицей сразу, решительно, бесповоротно он не смог.

Из письма Льва Гумилева к Василию Абросову от 29 июня 1956 года: «С Птицей меня связывают непонятные волшебные чары, и я не могу от нее оторваться…»

В июле 1956-го они все-таки расстались. Произошел, по словам Гумилева, «полный расплев с Птицей». Подробности расставания не сохранились. Быть может, к счастью не сохранились.

Еще раз они встретятся случайно в 1969 году на трамвайной остановке. Лев Николаевич тогда совершил некрасивый поступок, которым почемуто очень гордился и с удовольствием рассказывал о нем своим друзьям. Один из них, Василий Абросов, пересказал историю в письме к Гелиану Прохорову.

Дело было так. Наталья Васильевна, увидев Гумилева, зашла в трамвай с другой площадки, она хотела избежать встречи. Но Лев Николаевич прошел по вагону к ней и, встав неподалеку, начал читать своим замечательным голосом фрагмент из «Руслана и Людмилы». Варбанец вытерпела пытку, не повернувшись и не сказав ни слова, но «выпорхнула быстро» из трамвая. «Пассажиры ему заметили: "За что вы ее так отделали? Она ведь не такая безобразная"».

Очевидно, Гумилев прочитал вот этот отрывок:

> Старушка дряхлая, седая,
> Глазами впалыми сверкая,
> С горбом, с трясучей головой.
> Печальной ветхости картина.
> Ах, витязь, то была Наина!..
> <…>
> Наина, где твоя краса?
> Скажи, ужели небеса
> Тебя так страшно изменили?

Гумилев искренне недоумевал, когда друзья порицали его.

Он был убежден, что действовал правильно: «Вы все хотите, чтобы я страдал и не давал сдачи?!»

Ахматова поступила с Варбанец, своей несостоявшейся невесткой, намного страшнее. Несколько лет спустя после расставания с Гумилевым Птица узнала от мужа Марьяны, Алексея Козырева, о клевете, которую распространяла Ахматова. Анна Андреевна рассказывала и Льву, и Алексею, и своим «приближенным дамам», будто бы она узнала «из высоких источников (даже из документов!)», что Варбанец «была вызвана по делу Льва и на него клепала». Вот поэтому-то она, Ахматова, и вынуждена была Птице «отказать от дома».

Ахматова намекала сыну на неблаговидную роль, будто бы сыгранную Птицей, когда тот еще сидел в лагере. Гумилев тогда, кажется, не обратил на эти намеки внимания, но позднее поверил матери. В разговоре с Марьяной он, видимо, обвинил Птицу, за что тут же получил от Марьяны пощечину.

Однако слух продолжал жить, и бедная Птица была уверена, что ее имя навеки будет покрыто позором.

Из дневника Натальи Варбанец: «Конечно, после разрыва ей очень хотелось утешить Льва и удовлетворить его и свое самолюбие – но зачем клевета? Зачем эти выдуманные документы? <…> Это их благородная месть мне. <…> Как силен удар, нанесенный мне Анной… <…> Аннино измышление – а уж она-то знала цену клеветы! — останется на веки вечные прикрепленным к моему имени (кто ради меня станет рыть архивы, чтобы доказать, что этого никогда не было)».

Но суд истории, как ни странно, оказался справедливым. Версия Ахматовой не подкреплена ни одним источником, ни одним хоть сколько-нибудь убедительным доказательством. Доброе имя Варбанец восстановлено. А как же быть с клеветой? Возможно, Варбанец права, и Ахматова просто отомстила библиотекарше, которая посмела пренебречь вниманием ее сына. Но гораздо вероятнее другая версия, которой держатся составители сборника писем «И зачем нужно было столько лгать?» Татьяна Позднякова и Марина Козырева.

У людей, проживших много лет под угрозой доноса, ареста, тюрьмы, со временем формировалась шпиономания. Вспомним слова Надежды Яковлевны Мандельштам: «толпа гостей, из которых половина подослана». Шпиономания Ахматовой и Гумилева бросалась в глаза, особенно в поздние годы. Вероятнее всего, Варбанец стала ее нечаянной жертвой.

Своему учителю Наталья Варбанец осталась верна. Она составила и подготовила к печати сборник избранных статей Люблинского. В семидесятые Варбанец продолжала работать над

каталогом «Античные авторы в изданиях XV века». Последний вариант (более девятисот страниц машинописного текста) после ее смерти считали утраченным. И только незадолго до 150-летнего юбилея Отдела редкой книги, когда решение об издании каталога наконец было принято, он легко нашелся у К.А.Козырева, наследника Н.В.Варбанец. Как будто ждал своего часа.

Наталья Варбанец до последних лет жизни работала в Отделе редкой книги. Вершина ее карьеры – должность главного библиотекаря. В 1972-м она защитила кандидатскую диссертацию. Люблинский не дожил до защиты, но черновой вариант диссертации успел увидеть и помог своей ученице последними советами. Через восемь лет после защиты в издательстве «Книга» вышла ее единственная монография – «Йоганн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе». Это небольшая, изящно оформленная книжка на мелованной бумаге, украшенная многочисленными иллюстрациями. Судя по этой монографии, Варбанец и в самом деле стала очень эрудированным и квалифицированным медиевистом, но литературного дара Наталья Васильевна была лишена. Книга изобилует интересными фактами, Гумилев бы из них конфетку сделал, но Варбанец пишет строго, сухо, академично.

Впрочем, даже самое сухое научное исследование в какой-то степени становится зеркалом души. Интересно, что добрая половина первой главы («Фантастический мир Средневековья. Книга и социальная борьба феодальной эпохи») посвящена средневековым ересям. А самого Гутенберга Варбанец тоже считает еретиком, по-видимому, немецким гуситом, а самое главное – средневековым просветителем. В XV веке просветители были, только они не отрицали «христианскую идеологию, а росли изнутри ее». Как будто в образе Гутенберга проступает портрет другого мужчины, единственно дорогого ей учителя: «Его миссия "добрых дел" была молчаливой: "служить просвещению христианского человечества…"».

Впрочем, в ее историческом портрете Йоганна Гутенберга можно разглядеть и черты самой Варбанец, ведь даже самый строгий ученый, случается, неосознанно передает герою книги коечто от себя. «Монашествующий в миру», Гутенберг не имел ни жены, ни детей, всю жизнь посвятив работе. Не так ли и сама Варбанец? Кабинет Фауста был для нее привлекательнее семейного очага.

Тем удивительнее, что Варбанец, опытнейшего и профессионального научного работника, уволили в 1982 году «по сокращению штатов».

Между тем до сих пор Варбанец помнят в Отделе редкой книги. Немногочисленным посетителям показывают рабочее место Натальи Васильевны в кабинете Фауста – стол и огромное старинное кресло. Сейчас кабинет Фауста находится за железной, вечно запертой дверью на первом этаже главного здания Российской национальной библиотеки. Старинные книги как будто хранят воздух осени средневековья, который Варбанец любила, наверно, больше всего на свете.

ЭММА

Осенью 1954 года, чуть раньше, чем Варбанец, Гумилеву написала Эмма Герштейн. С этого времени он с нетерпением ждал писем из Москвы. Отвечал без промедления: «Эмма, милая, родная», «Вы солнце и прелесть», «Милая, дорогая, неповторимая Эмма», «Умница!», «Наконецто!!!», «Милая, чудная Эмма», «Целую ваши ручки и Вас».

Эмма хорошо знала Льва, перепады его настроения от бурного воодушевления до мрачного отчаяния, любовь к цветистым фразам и непостоянство. Сколько раз он исчезал из ее жизни, даже не попрощавшись. Но обиды забылись, и какое женское сердце не дрогнет от всех этих «солнце» и «прелесть». Между тем переписка Гумилева с Эммой не стала параллельным почтовым романом. Сердце Льва по-прежнему принадлежало Птице. Но и Эмму он не обманывал. Если и лукавил иногда, то совсем чуть чуть: «Ваши сомнения и мысли о Птице просто ни к чему…» (14 июля 1955).

Брачные проблемы он обсуждал только с Птицей. Эмме ничего не обещал, о браке и речи не было. С Птицей Гумилев на «ты», с Эммой всегда на «вы». Но Гумилев был искренне благодарен Эмме за верность в беде и «толковые, вразумительные» письма. В письмах Эммы он находил все то, чего безуспешно добивался от Ахматовой и даже не пытался просить у Птицы: ясную картину происходящего вокруг его дела. Эмма проводила многие часы в очереди, чтобы добиться приема в прокуратуре, собирала письма ученых в защиту Гумилева. В это время Ахматова подолгу жила в Москве, время от времени возвращаясь в Ленинград, чтобы не потерять прописку. Наталья Варбанец постоянно жила в Ленинграде. Но письмо Ахматовой директору Эрмитажа М.И.Артамонову повезла в Ленинград москвичка Эмма. Наверное, Гумилев понимал, сколько времени и сил отдает Эмма его делу, но не мог удержаться от новых поручений.

Из писем Льва Гумилева Эмме Герштейн:

«В Прок<уратуру> сходите, там должно что-нибудь быть, а мне всякая радостная весть нужна для поправки здоровья» (27 октября 1955).

«…Поговорите с Конрадом и напишите мне о результате разговора» (30 июля 1955).

«Прилагаю письмо для моих двух "кирюх"…» (23 января 1956).

«Просьба: позвоните С.С., и пусть он напишет Фед. Фед.» (26

апреля 1956).

И все-таки ему казалось, что время остановилось. Хотелось качнуть маятник, перевести стрелки вперед. Промежутки между письмами Гумилева Эмме иногда составляют три-четыре дня, но и этого ему недостаточно: «Умоляю. Продолжайте писать информоткрытки. С ними легче». А ведь были еще и телеграммы.

«НАПОМНИТЕ МАМЕ ОБО МНЕ ПОХЛОПОТАТЬ ЛЕВА»

(22 декабря 1954).

На следующий день он получает ответную телеграмму:

«ПОМНИМ ПОСТАРАЙТЕСЬ СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭММА».

Эмма всегда точно и быстро выполняла его поручения. Как то ему понадобились контурные карты, и он написал Птице и Эмме. Первой, конечно, прислала карты Эмма. И наконец, главное свидетельство верности и надежности Эммы. Именно ей Гумилев переправил из лагеря свою рукопись «Истории Срединной Азии» – тридцать тетрадей: «То, что я Вам доверил, — лучшая часть меня; это как бы мой ребенок».

Не Ахматовой он прислал самую дорогую посылку, не Птице и даже не Абросову.

Помощь Эммы Гумилеву началась много раньше, чем возобновилась их переписка. Она помогала Ахматовой собирать продуктовые посылки Льву и отправляла их из пригородов – из Москвы было запрещено. Позднее и сама отправляла ему посылки. От Птицы Гумилев посылок не ждал. Напротив, он ей не раз в письмах сочувствовал, сожалел о ее бедности. При этом мог написать Эмме: «…очень желанны кофе и чай, но не какао, я его терпеть не могу». «Лимоны не посылайте – они очень кислые и только портят вкус чая».

А как жила в это время сама Эмма Григорьевна?

Анна Ахматова в записи Лидии Чуковской: «Эмма вот уже столько лет живет хуже худого. Вечное безденежье, а жилье? — вы помните ее конуру? в развалинах при больнице?»

«Конура» Эммы – это та самая комната или, как ее называли, «выгородка» в одноэтажном флигеле при больнице, куда в тридцатые приходил Гумилев. За двадцать лет флигель совсем обветшал. Комнатка Эммы находилась недалеко от полуразвалившегося каменного крыльца.

Научная работа, которой занималась Эмма, дохода пока не приносила. Анна Ахматова: «Книга не пишется, а ведь никто не изучил так глубоко Лермонтова, как она. Сдать работу надо к юбилею. Это для нее единственный шанс. Это ее хлеб, честь, жизнь. Время лермонтовское она знает до тонкости…» Эта запись Чуковской относится к 1963 году, времени вполне

благополучному.

В последние сталинские годы было гораздо хуже.

Из мемуаров Эммы Герштейн: «Самые ужасные для меня времена – это было начало пятидесятых – конец сороковых; борьба с космополитизмом. Меня отовсюду выгнали, всё зависло в воздухе. А евреи пали уже настолько, что Зильберштейн (Илья Зильберштейн – один из основателей и редакторов сборника "Литературное наследство". – С.Б.) побоялся дать мне справку». Речь всего лишь о справке, что Эмма Григорьевна работала в «Литературном наследстве».

«"Я не могу вам дать справку. Я боюсь", — сказал Зильбер штейн. Я удивлялась, как я буду жить, даже не имея такой справки, а мне объяснял Фейнберг, мой соученик, блестящий пушкинист, что ничего уже не важно, он знает, что строятся лагеря для евреев».

Иногда Гумилев, отправляя письмо Эмме, вкладывал в тот же конверт письмо для Ахматовой. Экономил конверты, знал по опыту, что так письмо дойдет быстрее. Но была и другая, более важная причина. Гумилев знал о своей вспыльчивости, несдержанности и очень надеялся на благоразумие и такт Эммы Григорьевны.

Из письма Льва Гумилева Эмме Герштейн от 5 февраля 1956 года: «Вчера я отправил маме ругательное письмо. Я не буду в обиде, если Вы его не отдадите и передадите содержание своими словами. Но я был так раздосадован, ну что я мог другое написать?»

Гумилев поручил Эмме ответственную и деликатную роль посредника, миротворца и даже цензора с большими полномочиями. Однажды она воспользовалась данным ей правом и уничтожила грубое письмо Гумилева Виктору Ардову.

Птицу раздражали бесконечные жалобы Гумилева на жизнь и болезни, и она этого не скрывала. У Эммы хватило терпения принимать его жалобы, обиды, раздражительность. Она всегда его поддерживала, старалась отвлечь от мрачных мыслей, внушить надежду. Она нашла для него теплые слова, какие он напрасно ждал от Птицы.

Из письма Эммы Герштейн Льву Гумилеву от 11 февраля 1956 года: «Я, милый, уже растратила все ласковые слова и больше нет, чтобы передать, как разрывается мое сердце. <…> Берегите себя. Что вам прислать? Целую, родной…»

Эмма очень хотела навестить Гумилева в лагере. Ни расстояние, ни бедность не пугали ее. Сначала это настойчивое желание растрогало Гумилева, но потом стало раздражать: «… поймите, Вас просто не пустят ко мне, свидания дают только

родным и зарегистрированным женам».

Если бы верность в беде, терпение, жизнестойкость, деятельную любовь Эммы соединить с красотой и волшебными чарами Птицы, с обаянием и непосредственностью юной Наташи Казакевич!.. Сюжет гоголевской «Женитьбы», только не смешной. Эмма не задавала вопроса об их будущих отношениях. Но Гумилев невольно дал ответ в одном из писем: «Все личные отношения… порваны косой Хроноса. <…> Принял следующую установку на будущее: доживать, по силе возможности охраняя свой покой и одиночество».

Сердцу не прикажешь. Любовь – чувство иррациональное. Эмма хорошо это понимала и свои воспоминания о Гумилеве назвала очень точно и для себя безжалостно – «Лишняя любовь». Уже тогда (в середине пятидесятых) они были немолоды. Но пройдет еще более сорока лет, и Эмма Григорьевна в интервью 1999 года вернется к тем событиям.

«…Я его спасла, он бы умер, если бы я его не пестовала. <…> Я это делала не только для Левы, но и для Анны Андреевны. <…> А вот есть такие дураки, которые написали: "Бедная Эмма… всю жизнь страдала от неразделенной любви", — какая это всё пошлость…»

Безответная любовь и бескорыстная помощь – пошлость? Очевидно, Эмма Григорьевна имела в виду что-то другое. Скорее всего, ее больно задевала легковесная трактовка сложных и запутанных отношений, которые много лет связывали ее с Львом Николаевичем Гумилевым.

КОНФУЦИАНСКИЕ ПИСЬМА

В своем последнем лагере Гумилев приобрел друзей, но едва не потерял мать.

Переписка Гумилева и Ахматовой дошла до нас не полностью. Большинство лагерных писем Гумилева 1950-1956 годов сохранилось, но добрая половина ахматовских писем до нас не дошла, их уничтожил сам Гумилев, поэтому наши представления об отношениях матери и сына в первой половине пятидесятых остаются однобокими. Правда, с конца 1954-го у эпистолярной драмы Ахматовой и Гумилева появились свидетели – Эмма Герштейн и Наталья Варбанец. Обеим Гумилев будет жаловаться на мать, пересказывать содержание своих и ахматовских писем (весьма тенденциозно пересказывать), обе были вхожи в дом Ахматовой и стали не только свидетельницами, но и участницами драмы.

Письма Гумилева из лагеря в 1950-1951-м тоскливы. В одном или двух можно найти и раздражение против Ахматовой, но вызвано оно, вероятно, тяжелым душевным состоянием узника. Гумилев сердился, что Ахматова прислала ему не те книги, упрекал, что она не пишет ему. Но в мае 1951-го она перенесла первый инфаркт и оправилась не скоро.

Письма 1952-1953-го и первых месяцев 1954-го полны любви и благодарности. В это время Ахматова становится для Гумилева, кажется, единственным близким человеком. Она консультирует его, присылает книги, еду и деньги. Лагерные письма сына почтительные, нежные.

20 июля 1952. «Милая мамочка, бодрись, потому что я без тебя тоже жить не буду».

27 сентября 1952. «Напиши письмо, мне очень скучно. Целую тебя крепко и очень люблю».

4 января 1953. «Целую тебя, дорогая мамочка, ты последнее, что я еще люблю на земле».

4 марта 1953. «Твои письма очень меня утешили и успокоили, теперь мне ясно, что, кроме тебя, я никого не люблю и видеть не желаю».

Только весной 1954 года появляется первый росток будущей ссоры. Заключенным разрешали свидания с родными, и в апреле Гумилев попросил Ахматову приехать, но уже две недели спустя начнет ее отговаривать: «Я тебя очень люблю и очень хочу тебя видеть, но на свидание ко мне не приезжай, т. к. условия свидания таковы, что ничего, кроме расстройства, от этого не воспоследует. К тому же это слишком дорого, один билет будет

стоить больше 500 р.». В то время Гумилев еще по привычке думал, что у матери нет денег, а потому заставлять ее покупать дорогой билет в далекий Омск не стоит. Он оставался скромным и почтительным сыном.

Год спустя Гумилев уже будет требовать приезда Ахматовой, а когда станет ясно, что в Омск мать ехать не собирается, пожалуется на нее Эмме Герштейн: «…приезд мамы ко мне и хоть немного душевного тепла, конечно, поддержали бы меня, дали бы стимул к жизни. Но я думал, что она по-прежнему стеснена в деньгах, и пожертвовал собой. Поездка в Омск не тяжелее поездки в Ленинград, а имея деньги, можно было прилететь. Но теперь это непоправимо – пусть ее судит собственная совесть».

В 1954-м до вражды было еще далеко. Летом Лев обсуждал с Ахматовой сочинения Прокопия Кесарийского, делился с ней своими этнографическими наблюдениями и просил прислать поскорее второй том «Троецарствия».

В начале лета Гумилев узнает, что Ахматова хлопочет о его досрочном освобождении: «Последняя твоя открытка от 10 июня, где ты пишешь о поданной жалобе, весьма меня взбудоражила. До сих пор всякий оптимизм был от меня весьма далек, ибо невиновность моя в 50 году была очевидна, но это не интересовало следствие. Мысли в голове моей пришли <в> смятение, ведь я так спокойно уже приготовился здесь помирать».

Надежда слишком рано поселилась в его душе. Уже в сентябре Гумилев, узнав о провале первой попытки добиться пересмотра его дела, подает Ахматовой советы: «Единственный способ помочь мне – это не писать прошения, которые механически будут передаваться в прокуратуру и механически отвергаться, а добиться личного свидания у К.Ворошилова или Н.Хрущева и объяснить им, что я толковый востоковед со знаниями и возможностями, далеко превышающими средний уровень, и что гораздо целесообразнее использовать меня как ученого, чем как огородное пугало».

Видимо, переломной в отношениях Гумилева и Ахматовой стала зима 1954-1955 годов. 15-26 декабря 1954 года проходил II Всесоюзный съезд писателей, Ахматова стала его делегатом. Гумилев надеялся, что она использует благоприятную возможность и обратится не только к влиятельным писателям, но и к первому секретарю ЦК КПСС Н.С.Хрущеву и легендарному маршалу К.Е.Ворошилову, тогда – председателю Президиума Верховного Совета. Еще в сентябре 1954-го Гумилев советовал Ахматовой добиваться встречи с ними. Теперь же и добиваться не пришлось бы. Гора сама пришла к Магомету. Кремлевские небожители сидели в президиуме. А в заключительный день

съезда Ахматову пригласили на прием в Кремль. Что там «пригласили» – почти насильно привели: «Вставайте, надо ехать в Кремль».

Что произошло в Кремле? Ничего, разумеется. Прием прошел как полагается.

Много лет спустя Эмма Герштейн постарается объяснить логику происходящего: «Лев Николаевич и его друзья-солагерники воображали, что Ахматова крикнет там во всеуслышание: "Спасите! У меня невинно осужденный сын!" Лев Николаевич не хотел понимать, что малейший ложный шаг Ахматовой немедленно отразился бы пагубно на его же судьбе. Вместо этого наивного проекта Анна Андреевна переговорила на съезде с Эренбургом. И он взялся написать "наверх" об Ахматовой».

С этим и в самом деле трудно поспорить, ведь реакция Хрущева (а решения принимал, конечно же, он, а не престарелый безвластный Ворошилов) была бы непредсказуемой. Такая эскапада на кремлевском приеме могла окончиться как быстрым освобождением, так и принципиальным отказом пересматривать дело Гумилева. В худшем случае Гумилеву пришлось бы досиживать свою десятку без надежды на досрочное освобождение.

Смущает меня только вот что. Мудрая и выдержанная Эмма Герштейн еще до войны, когда Гумилев отбывал свой первый срок, толкала Ахматову на действительно безумный, самоубийственный шаг: «Я предлагала ей решиться на какой-то крайний поступок, вроде обращения к властям с дерзким и требовательным заявлением». Что касается Ахматовой, то полагаю, что читатель еще не забыл, как она приехала в октябре 1935 года в Москву со своим потрепанным чемоданчиком, как написала письмо Сталину, а друзья помогли сделать так, чтобы оно попало в руки адресату. А ведь в 1935-м риск был куда выше, чем в 1954-м. Как эта смелая до безумия женщина стала столь осторожной, расчетливой и хладнокровной?

Судить Ахматову мы не имеем права, попробуем ее понять. Забота о сыне не вытеснила из ее жизни другие, вполне понятные интересы. Знакомая Анны Андреевны, писательница Наталия Ильина, вспоминала, как Ахматова, которую тогда поселили в хорошем по тем временам номере гостиницы «Москва», пришла в гости к Ардовым: «Меня сразу включили в обсуждение цвета и фасона нового платья Анны Андреевны. <…> Мальчики были весело-почтительны. Анна Андреевна… смеялась на шутки Ардова, и чувствовалось, что она привязана к Нине Антоновне и к мальчикам и что в этом доме ей хорошо». Прав был Лев Гумилев,

когда отправил 22 декабря 1954-го телеграмму Эмме Герштейн: «Напомните маме обо мне похлопотать».

Как непохожа эта веселая, счастливая дама в нарядном платье на ту полусумасшедшую женщину, что приехала в осеннюю Москву 1935-го, «смотрела по сторонам невидящими глазами» и повторяла, как в бреду: «Коля… Коля… кровь».

Но о сыне она все-таки не забыла, не забыл своего обещания и Эренбург. Он составил письмо на бланке депутата Верховного Совета и отправил его Хрущеву, приложив еще и переданное ему Ахматовой ходатайство академика Струве, старого учителя Гумилева.

Хрущев не ответил.

НЕКОНФУЦИАНСКИЕ ПИСЬМА

Всю зиму Гумилев провел в ожидании вестей. К весне стало ясно, что дело Гумилева с места не сдвинулось. Гумилев отсидел к этому времени только половину своей «десятки» и все меньше верил, что выйдет из лагеря живым. Весенние письма Гумилева к Ахматовой, Варбанец и Герштейн больно читать, столько там обиды на мать, горечи, ненависти.

Из письма к Эмме Герштейн от 8 марта 1955: «1 посылка в месяц не покрывает всего долга матери перед гибнущим сыном, и это не значит, что мне нужно 2 посылки. <…> Пора понять, что я не в санатории. <…> У меня возникает иногда подозрение, что мама любит меня по инерции, что она отвыкла (по женски) от меня».

Из письма к Эмме Герштейн от 25 марта 1955: «Мама как натура поэтическая страшно ленива и эгоистична. <…> Но совесть она хочет держать в покое, отсюда посылки, как объедки со стола для любимого мопса, и пустые письма без ответов на заданные вопросы».

Кстати о посылках. Двадцать лет спустя после смерти Ахматовой, тридцать лет спустя после освобождения Гумилев все еще попрекал мать: «Мама присылала мне посылки – каждый месяц одну посылку рублей на 200 тогдашними деньгами, т. е. на наши деньги (деньги после реформы 1961 года. – С.Б.) на 20 рублей». Трудно сказать, справедлив ли этот упрек. В посылках Ахматовой были финики, икра, ананасы. Гумилев в письмах даже просил ее присылать еду попроще – полагал, что она живет в той же бедности, что и в конце сороковых. Кроме того, мать высылала сыну от 100 до 200 рублей в месяц. Следовательно, в год помощь сыну в лагере стоила Ахматовой от 3600 до 4800 рублей. Это не так уж и мало (в середине пятидесятых средняя зарплата в СССР составляла что-то около 600 рублей).

Но Гумилев считал, что мать заботилась о нем недостаточно.

Из письма Льва Гумилева Оресту Высотскому от 13 ноября 1957 года: «Все эти 7 лет я жил впроголодь; настолько впроголодь, что у меня сейчас язва 12-перстной кишки, а это очень болезненно. О маминых 100 000 я не знал и их не видел. <…> Лишняя пачка махорки, фунт сахару и т. п. были бы спасением. <…> Письма и посылки ко мне были не ограничены».

Посылки на почту помогал отвозить сын Нины Ольшевской Алексей Баталов, будущий Герой Социалистического Труда и народный артист, а тогда демобилизовавшийся, только что

купивший «Москвич-401» на деньги, подаренные Анной Андреевной.

Автомобиль был вовсе не «старенький», как утверждал позднее артист, а как раз новейший, хотя и недорогой. «Москвич 401» – усовершенствованная версия трофейного Opel Kadett K38 – выпускался с 1954 по 1956-й. Подарок был сделан или в 1954-м, или в первой половине 1955-го (в августе 1955-го Баталов уже водил машину). Не мог новейший советский седан быть «стареньким». Наконец, Баталов потратил подаренные Ахматовой 9000 рублей, а это как раз цена нового автомобиля.

Подарок Баталову – дорогой, но вполне объяснимый, ведь Ахматова с тридцатых годов неделями и даже месяцами жила в квартире Ардовых. Получив в които веки большой гонорар, она тут же сделала друзьям подарки, Эмме, например, подарила пишущую машинку. Ардовых, разумеется, надо было отблагодарить чем-то особенным. Любопытно, что Гумилев, часто ругавший мать и находивший для попреков самые разнообразные поводы, кажется, ни разу не вспомнил об этом необычном для тех лет подарке. Сам Лев Николаевич так и останется на всю жизнь «безлошадным», но ни автомобилями, ни новыми и дорогими костюмами и другими предметами скромной советской роскоши Гумилев никогда не интересовался. Он просил, требовал от Ахматовой вовсе не денег.

Из письма Льва Гумилева Анне Ахматовой от 9 июня 1955 года: «Думаешь ли ты о том, какую сумятицу ты вносишь мне в душу, и без того измятую и еле живую. Что это за игра в прятки? Ведь лучше написать прямо: "не хлопочу за тебя и не буду, сиди<,> пока не сдохнешь"<,> или "хлопочу, но не выходит"<,> или "хлопочу и надеюсь на успех, делаю тото"<,> или то<,> что есть. А ты<,> о чем угодно, кроме единственно интересного для всякого заключенного<,> – перспективы на волю. Неужели ты нарочно?»

Гумилев делился своими обидами не только с Эммой, но и с лагерными друзьями. Михаил Федорович Хван, вернувшийся из лагеря на год раньше Гумилева, в сентябре 1955 года попросит Василия Васильевича Струве помочь Гумилеву. В его письме к академику есть и такие слова: «Все его несчастье в том, что он – сын двух известных поэтовнеудачников, и обычно его вспоминают в связи с именами родителей, между тем как он – ученый и по своему блестящему таланту не нуждается в упоминании родителей». Ни Ахматова, ни Герштейн не сомневались, что «Хван писал с Левиного голоса». Гумилев впервые в жизни признается, что жалеет о своем родстве с Ахматовой.

Из письма к Эмме Герштейн от 25 марта 1955: «Пускай она

поплачет, ей ничего не значит. <…> У мамы старческий маразм и распадение личности; но мне от этого не только не легче, но наипаче тяжелее. <…> Вы пишите, что не мама виновница моей судьбы. А кто же? Будь я не ее сыном, а сыном простой бабы, я был бы… процветающим советским профессором, беспартийным специалистом, каких множество».

Это, конечно, не совсем так, дети «простых баб» как раз и составляли большую часть населения ГУЛАГа, но положение Гумилева не располагало к рассудительности. Его всё больше мучили боли – развивалась язва. 28 февраля 1955-го Гумилев сделал приписку к своему научному завещанию, составленному еще в 1954-м, — две страницы указаний для редактора, который после его смерти готовил бы «Древнюю историю Срединной Азии» к печати.

Из письма к Эмме Герштейн от 25 марта 1955: «…для нее моя гибель будет поводом для надгробного стихотворения о том, как она, бедная, — сыночка потеряла. <…> Не кормить меня она должна, а обязана передо мной и Родиной добиться моей реабилитации – иначе она потакает вредительству, жертвой которого я оказался».

Со временем пытка ожиданием становилась все более мучительной. Хрущев еще не прочитал своего секретного доклада, но «культ личности» уже осуждали на пленумах ЦК. Еще Берия весной 1953-го начал освобождать политических заключенных. Процесс набирал обороты не быстро, но в 1955-м на волю выходило все больше и больше узников. В Камышлаге пробудились «чемоданные» настроения. Тех, кого еще не выпустили, ждали пересмотра своего дела со дня на день. Гумилев тоже готов был «сидеть на чемоданах» (у него уже были два фанерных чемодана, набитых книгами), но шло время, друзья выходили на волю, а он все продолжал сидеть: «Все мои знакомцы, с коими я поглощал мамины посылки, уже пишут мне из дому. Я тоже хочу домой!»

Это цитата из письма, отправленного Эмме Герштейн 1 марта 1956 года, когда до освобождения оставалось всего два с половиной месяца, но пытка ожиданием совершенно расстроила его нервы. Ожидание переходило в раздражение, направленное почти всегда против матери.

Это продолжалось весь последний лагерный год Гумилева. Интересно, что в письмах к Эмме Герштейн или Наталье Варбанец упреков к Ахматовой намного больше, чем в собственно переписке с матерью. Более того, иногда Гумилев пытался примириться с Ахматовой, обижавшейся на его непочтительные, «неконфуцианские» письма.

НА ПУТИ К «ЗАМКУ»

Гумилев все больше сомневался в способности и желании матери его спасти, хотя Анна Андреевна начала хлопотать о сыне еще весной 1950-го. 24 апреля она написала Сталину третье письмо, которое поступило, как и положено, в Особый сектор ЦК ВКП(б). Сталин письма, очевидно, не читал.

27 января и 5 февраля Ахматова вместе с Лидией Чуковской будет составлять письмо к Ворошилову. В то же самое время письмо Ворошилову написал знаменитый и влиятельный архитектор Л.В.Руднев, автор проекта здания МГУ на Воробьевых (тогда Ленинских) горах. Руднев же позаботился, чтобы письмо Ахматовой попало Ворошилову в руки. В феврале 1954-го, как в памятном октябре 1935-го, Ахматова пришла к будке комендатуры у Троицких ворот Кремля и передала конверт с двумя письмами (своим и рудневским).

Но поступок, спасительный двадцать лет назад, на этот раз не дал результата. В 1935 году Сталин был полновластным хозяином страны, любившим решать единолично все вопросы, от постановки нового спектакля в Художественном театре до вооружения новейшего истребителя. Ворошилов в 1954-м формально считался главой государства, но от реальной власти был далек. Впрочем, в 1954-м даже Хрущев еще не был авторитарным правителем. Это было время «коллективного руководства», когда Хрущев еще боролся за власть с Маленковым.

Эмма Герштейн правильно оценила слабость Ворошилова, но наивно предположила, что он, получив письмо Ахматовой, непременно должен был проконсультироваться с Хрущевым и получить от него инструкции насчет Ахматовой и ее сына. На самом же деле Ворошилову скорее всего и в голову не пришло беспокоить Хрущева по такому ничтожному, с его точки зрения, поводу.

Ворошилов сделал то, что и полагалось чиновнику его ранга, — направил письмо Ахматовой в Прокуратуру, где и должны были провести проверку. В июне пришел ответ, подписанный Генеральным прокурором Р.А.Руденко: «Исходя из того, что ГУМИЛЕВ Л.Н. осужден правильно, Центральная Комиссия по пересмотру уголовных дел 14 июня 1954 года приняла решение отказать АХМАТОВОЙ А.А. в ее ходатайстве о пересмотре решения Особого Совещания при МГБ СССР от13 сентября 1950 года по делу ее сына – ГУМИЛЕВА Льва Николаевича».

После этого неудачного приступа Ахматова с помощью своих

друзей начала что-то вроде планомерной осады. Василий Васильевич Струве, еще недавно считавший Гумилева погибшим, написал письмо Хрущеву. Написал, как мы знаем, и Эренбург. Николай Иосифович Конрад передал свое письмо в Кремль через врача, лечившего секретаря ЦК П.Н.Поспелова.

В ноябре – декабре 1955 года благодаря усилиям Анны Ахматовой, Эммы Герштейн и Надежды Мандельштам трое видных ученых, три доктора исторических наук – академик В.В.Струве, директор Эрмитажа М.И.Артамонов и лауреат Сталинской премии А.П.Окладников – направили в Прокуратуру СССР свои письма, где просили как можно скорее пересмотреть дело Гумилева и выпустить талантливого ученого на свободу.

В письмах все оценивали способности Гумилева исключительно высоко и доказывали, что такой ученый принесет Советскому государству немалую пользу. Но были и существенные различия. Отзыв В.В.Струве самый положительный, хотя и не слишком конкретный. Видна опытная рука человека, за много лет изучившего психологию советского начальства:

«Л.Н. — выдающийся знаток истории Среднего Востока, отсутствие которого из наших рядов приносит большой ущерб нашему делу. Его отличные способности и исключительная память позволили ему, даже находясь в условиях своего места заключения… написать две крупных и солидных научных работы. <…> Теперь, когда враги СССР, во главе с США, ведут ожесточенную идеологическую борьбу против нас в Азии, наличие такой научной величины, как он, было бы чрезвычайно необходимо».

Выдающийся советский археолог А.П.Окладников знал Гумилева меньше, к тому же он не решился объявить Гумилева невинно осужденным и специально оговорился: «…если и была вина, то много меньше по объему, чем все то, что он уже перенес в заключении». Окладников объяснил Надежде Яковлевне Мандельштам, служившей посредником в этом деле: «Струве 80 лет (на самом деле В.В.Струве в 1955 году было 66 лет. – С.Б.), он академик, он может, а я не могу…» Но в целом и его характеристика была исключительно положительной:

«Меня, как и всех, кто мог ознакомиться с его работами, поражала удивительная смелость его мыслей и подлинная историчность его взглядов. <…> Важно было бы вернуть этого талант ливого и полезного нашей науке молодого исследователя к настоящей жизни в науке».

Директор Эрмитажа М.И.Артамонов знал Гумилева лучше других, работал с ним несколько экспедиционных сезонов. Его характеристика резко отличается от предыдущих. Она даже

озадачивает, так как не вписывается, в отличие от писем Окладникова и Струве, в рамки самого жанра – прошения или ходатайства. Артамонов тоже высоко оценивает способности Гумилева: «…со временем он станет гордостью советской исторической науки». При этом Михаил Илларионович рассказывает о «неуравновешенном, впечатлительном» характере Гумилева, его склонности к «беспорядочному образу жизни», о ребячестве, остром уме и злом языке. Словом, создает картину, при которой можно объяснить как арест Гумилева, так и необходимость его освобождения.

Гумилев, которому Эмма переслала копии этих писем, был воодушевлен. Позднее он будет утверждать, что именно письма Конрада, Струве, Артамонова и Окладникова помогли ему выйти на свободу, но так ли это, сказать трудно. Самое позднее из этих писем, артамоновское, датировано 19 декабря 1955-го. Через два месяца начнется XX съезд, 25 февраля Хрущев прочитает свой «секретный» доклад, который вскоре станет известен всем, кто хоть сколько-нибудь интересовался политической жизнью. Тогда будет решено и дело Гумилева.

Почему же нельзя было решить его раньше?

Эмма Герштейн излагает свою версию. Самой страшной виной Гумилева было чтение стихов «о кремлевском горце». Герш тейн ссылается на разговор Н.Я.Мандельштам с Фадеевым. Однажды нетрезвый Фадеев в лифте шепнул Надежде Яковлевне: «Это поручили Андрееву – с Осипом Эмильевичем». Кроме того, Андреев в 1940 году вместе со Ждановым и Маленковым забраковали ахматовский сборник «Из шести книг».

Отсюда следует вывод, что товарищ Андреев, наряду со Ждановым и Маленковым, был гонителем Мандельштама, Ахматовой и ее сына. Именно он мешал освобождению Льва Гумилева. «Нет сомнения, — считает Эмма Герштейн, — что от него исходил запрет на пересмотр дела Л.Гумилева. По всей вероятности, он никогда не мог забыть и простить оскорбительную строфу из стихотворения Мандельштама». И только после XX съезда, когда «ослабла власть А.А.Андреева», дело Льва начали пересматривать.[29]

Мог ли Андреев повлиять на судьбу Гумилева? Скорее всего, ни о каких ахматовых, гумилевых и мандельштамах он и не думал. Представить себе не могу, чтобы партийный деятель и государственный чиновник самого высокого ранга, потерпев поражение в кремлевской аппаратной борьбе, интересовался стихами поэта, давнымдавно стертого в лагерную пыль. Тем более Андреева не могла занимать судьба какого-то з/к из Омска. Полноте. Не до стихов было товарищу Андрееву.

Но если не Андреев, то кто же стоял на пути Гумилева? Не прокурор же Руденко, которому до Гумилева и подавно дела не было?

Во всем Советском Союзе, кажется, только Ирина Пунина не хотела возвращения Гумилева. Но, к счастью, Ирина Николаевна Пунина, скромный преподаватель-искусствовед, была здесь бессильна.

Скорее всего никто и не стремился держать Гумилева в тюрьме. Просто он попал между шестеренок неповоротливой бюрократической машины. Не случайно Сергей Лавров начинает главу о последнем гумилевском сроке с цитаты из «Замка» Франца Кафки: «У вас нет даже отдаленного представления о нашей администрации, раз вы так думаете. <…> Вам, видно, еще никогда не приходилось вступать в контакт с нашими канцеляриями. Всякий такой контакт бывает только кажущимся. Вам же из-за незнания всех наших дел он представляется чем то настоящим».

Точнее и не скажешь. Дело Гумилева, несмотря на заступничество академиков и влиятельных, известных писателей (Эренбурга, Шолохова, Фадеева), так и продолжало бы вращаться между деталями громадного государственного механизма, если бы Никита Сергеевич Хрущев не выступил со своим докладом, который оказался поворотным в истории послевоенной Европы и мирового коммунистического движения. Среди бесчисленных следствий этого доклада самым замечательным и бесспорно благим стал пересмотр множества дел и освобождение тысяч политических заключенных, среди которых оказался и Лев Гумилев.

2 июня 1956 года Военная коллегия Верховного суда отменит постановление Особого совещания при МГБ, осудившего Гумилева на десять лет. 30 июля дело Гумилева будет прекращено «за отсутствием состава преступления». Но Гумилев получит свободу еще до юридического признания невиновности, 11 мая 1956 года.

Часть VII

НЕВСТРЕЧА

За год до освобождения Гумилев написал Эмме Герштейн: «… неужели она полагает, что при всем ее отношении и поведении, за последнее время достаточно обнаружившимся, между мной и ей могут сохраниться родственные чувства». К маю 1956-го он ничуть не смягчился, его будущая встреча с Анной Андреевной не сулила ничего доброго.

Лев Гумилев поехал в Ленинград через Москву, где решил остановиться на Ордынке у Ардовых, но совершенно не рассчитывал встретить там свою мать. Анна Андреевна приехала в Москву 14 мая, а на следующий день приехал Лева.

Ясным майским днем на пороге ардовской квартиры появился вчерашний зэк «в сапогах, косоворотке, с бородою, которая делала его старше и значительнее». Но бороду Гумилев сбрил, сразу помолодев, по словам Михаила Ардова, лет на двадцать. Ахматова попросила Михаила помочь Гумилеву приобрести приличную одежду. Ардов-младший повел Льва в комиссионный магазин на Пятницкой, где они купили «башмаки, темный костюм в полоску, плащ…»

Пока они ходили по магазинам, Ахматову навестила Чуковская. По ее словам, Ахматова была если не счастлива, то по крайней мере оживлена: «Любо было видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос. <…> "Накурил Левка" – сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым, сказала таким домашним, мило-ворчливым материнским голосом…»

Правда, Гумилева Чуковская в тот день так и не увидела, а встреча матери и сына вовсе не была такой радостной, какой она предстает в мемуарах Ардова и «Записках» Чуковской. По свидетельству Эммы Герштейн, Гумилев приехал из лагеря «до такой степени ощетинившийся» против матери, «что нельзя было вообразить, как они будут жить вместе».

Гумилев даже много лет спустя с раздражением вспоминал встречу 15 мая 1956 года: «… я застал женщину старую и почти мне незнакомую. Она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия». «Изменилась она и физиогномически, и психологически, и по отношению ко мне».

Ахматова была разочарована и рассержена ничуть не меньше. Позднее она будет жаловаться на сына все той же бедной Эмме: «Ничего, ничего не осталось, одна передоновщина».

Литературовед Алла Марченко, биограф Ахматовой, пыталась оправдать и мать, и сына, но сделала не слишком удачно. По ее словам, Гумилев приехал не вовремя: «Если бы телефонным

звонком с вокзала или телеграммой с дороги он предупредил мать об освобождении, она к его приезду наверняка сумела бы собраться, приготовиться. <…> Лев Николаевич застал родительницу врасплох. <…> Нездоровую, невыспавшуюся, раздраженную. Приехав накануне из Ленинграда, А.А. полдня провела в редакции. Хотела сразу сделать два дела: сдать завершенные переводы и получить гонорар за прежние. И то и другое не удалось».

Но если все дело было в недоразумении неготовности к встрече, то мать и сын вскоре должны были примириться. События же развивались по-другому.

Из Москвы Гумилев уехал один, хотя в помощи Ахматовой нуждался, ведь в Ленинграде надо было прописаться. Ахматова вернется только через месяц и узнает, что Гумилев прописался у Татьяны Александровны Крюковой, сотрудницы Государственного этнографического музея, с которой он вместе работал еще до ареста. Крюкову Анна Андреевна недолюбливала. В одном из писем к Гумилеву Эмма Герштейн пересказала ревнивый сон Ахматовой, в котором она увидела, по всей видимости, сына с Татьяной Александровной. Гумилев тогда оправдывался не перед матерью, а перед подругой. Он писал Эмме:

«Ее сон в руку. Тать[яна] Ал[ександровна] — старая дама, которая влюбилась в меня и, видимо, бескорыстно. Близости у нас не было, с моей стороны было только дружеское расположение. Но она мне писала теплые слова и посылки слала, как Вы. Эмма, милая, дорогая, как бы я хотел расцеловать Ваши руки и Вас…»

Эта «старая дама» была на три года моложе Эммы, так что в правдивости слов Гумилева можно и усомниться. Татьяна Александровна еще много лет будет ухаживать за Гумилевым, приносить подарки к церковным праздникам: крашеные яйца, веточки вербы.

Лев Николаевич называл Крюкову «светлой женщиной Таней», хотя и сочинял о ней насмешливые эпиграммы:

Утром рано из тумана
В гости к нам спешит Татьяна.

Прописка послужит поводом к новому скандалу. Гумилев считал, что Ахматова вообще не хотела его прописывать. Правда, тогда же Ахматова пропишет Гумилева у себя на улице Красной Конницы, 4, кв. 3, куда она переехала вместе с семьей Ирины Пуниной в 1952 году.

Прежде Ахматова жила во дворцах – Шереметевском, еще

прежде в Мраморном. Пусть на самом деле она занимала комнату во флигеле, часто заселенном вполне зощенковскими типами.

В 1952-м Ахматова с Ириной Пуниной и Аней Каминской вынуждены были переехать в «обыкновенный желтокоричневый ленинградский доходный дом, в обыкновенную питерскую чиновничью квартиру» на улице Красной Конницы, которую Ахматова по привычке называла Кавалергардской.

Из дневниковых записей Георгия Васильевича Глекина, биолога, биофизика, вторая половина 1950х: «А.А. живет в небольшой коммунальной квартире на втором этаже старого четырехэтажного дома (№ 4) по ул. Красной Конницы. Вдали – туманная громада Смольного монастыря. Лестница – чисто петербургская, захламленная, ведет на площадку второго этажа. <…> На столе у комода – два образа причудливой формы, но старого письма. Над кроватью – лубочное изображение птицы – не то Сирин, не то Гамаюн, в головах (под стеклом) замечательно выразительный рисунок Модильяни, изображающий полулежащую А. А. (еще молодую). Среди вещей на горке – подаренный мною старинный триптих».

Ахматовой эта квартира не нравилась: «Страшное место», — сказала она Антонине Любимовой.

Квартира на улице Красной Конницы была коммунальной, помимо Ахматовой там жила Ирина Пунина со своим вторым мужем Романом Альбертовичем Рубинштейном и дочерью от первого брака Аней Каминской. Были в квартире и посторонние для Ахматовой и Пуниных люди: одну из комнат занимали А.Анаксагорова с сестрой. Вражда Льва с Ириной Пуниной продолжалась уже третье десятилетие. Анатолий Найман считал, что именно Ирина Пунина ссорила Льва с Анной Андреевной. Ахматова «не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее», — вспоминал Гумилев.

БЕСМЫСЛЕННО И БЕСПОЩАДНО

Даже если бы Лев дружил с Пуниной и Каминской, если бы мать и сын не поссорились в первый же день, жить вместе они не смогли бы. Гумилеву, немолодому уже мужчине, была необходима своя комната. Он встал в очередь на жилье еще летом, а осенью 1956-го Ахматова напишет Александру Андреевичу Прокофьеву, первому секретарю правления Ленинградской писательской организации, лауреату Сталинской премии и бывшему чекисту: «Мой сын Лев Николаевич Гумилев… прописан у меня, где ему решительно негде жить, и поэтому я осталась в не очень приспособленном домике в Комарове совсем одна. <…> Милый Александр Алексеевич, я прошу вас вот о чем: если можно как-нибудь, поторопить получение сыном комнаты от жилотдела». Но Гумилев получит отдельную комнату только весной 1957-го. До тех пор Ахматова старалась задержаться или в Комарове, или в Москве. Впрочем, она все-таки нашла общий язык с Львом. Нашла, как ни странно, на деловой почве: «…она от меня требовала, чтобы я помогал ей переводить стихи, что я и делал по мере своих сил, и тем самым у нас появилось довольно большое количество денег».

Вряд ли слово «требовала» здесь уместно. У Гумилева, человека резкого, независимого и обидчивого, вообще трудно было что-то потребовать. Ахматова предложила совместную работу, Гумилев не стал отказываться, ведь ему были нужны деньги на обзаведение хоть какимито вещами. К работе переводчика его склоняли и друзья. Поэту Матвею Грубияну, солагернику Льва, так понравились гумилевские переводы с идиш, что он начал горячо убеждать Льва Николаевича сменить профессию: «Ярослав Смеляков считает, что у Вас блестящий слог, богатый язык и вкус поэта с огромными возможностями. Так что, Лев Николаевич, — Вы совершаете большое преступление… что Вы не занимаетесь переводами, Вы бы стали богатым, купили бы квартиру, машину, жену… и чего пожелали бы…»

Гумилев поначалу и не отказывался. В июне 1957-го он писал Абросову: «С осени я начну перевод персидского поэта Бе хара и надеюсь заработать свои 20 000 руб.» Два года спустя Гумилев писал брату, как выгодно заниматься переводами: за строчку платят 5 рублей, так что если не лениться, то за один вечер легко заработать все 100. Несмотря на такую блестящую перспективу, Гумилев большую часть времени занимался наукой, а к началу шестидесятых и вовсе оставил переводы. Между тем на зарплату Гумилева в Эрмитаже (1000 дореформенных рублей) можно было

жить, но жить очень скромно. Еще в мае 1959-го Гумилев жаловался, что у него нет приличного костюма.

В 1956-1957-м он не только работал вместе с Ахматовой, но даже вел с ней и с Пуниными общее хозяйство. По крайней мере Ирина в январе 1957-го хвалила стол, кресла и чашки, купленные Гумилевым для квартиры на Красной Конницы, Ахматова помогала сыну деньгами и заботилась о его здоровье: «Скажи Леве, что я умоляю его меньше работать по вечерам и вообще поберечь голову. Где он обедает?» Судя по этому письму к Ирине Пуниной (25 января 1957), отношения между матерью и сыном тогда не были так уж безнадежно испорчены.

Весной 1957 года Гумилев получил комнату в коммунальной квартире на Московском проспекте, куда поспешил перебраться, нос Ахматовой они некоторое время продолжали переводить. Кажется, последняя совместная работа была над переводами Ивана Франко и двухтомным изданием сербского эпоса о князе Лазаре, братьях Юговичах и других героях (обе книги вышли в 1960 году).

Еще несколько лет Гумилев и Ахматова общались друг с другом, Гумилев заходил к ней в гости.

Увы, 30 сентября 1961 года случилась ссора, после которой Ахматова и Гумилев расстались навсегда.

Незадолго до этого Ахматова переехала в новую квартиру на улице Ленина, 34; там всё и случилось. «Перед защитой докторской, накануне дня моего рождения в 1961 году, — вспоминал Гумилев в 1987 году, — она выразила свое категорическое нежелание, чтобы я стал доктором исторических наук, и выгнала меня из дома. Это был для меня очень сильный удар, от которого я заболел и оправился с большим трудом». Гумилева в тот же день встретил Михаил Илларионович Артамонов, который вскоре должен был оппонировать Льву Николаевичу на защите докторской диссертации. Артамонов испугался за ученика: «В таком виде, Лев Николаевич, на защиту не являются. Вас трясет. Извольте привести себя в порядок!» Уже в первых числах октября у Ахматовой был второй инфаркт.

В подробнейшей «Летописи жизни и творчества Ахматовой» даты 30 сентября 1961 нет, хотя сведения о событиях этого дня составителю известны из записей Лидии Чуковской. В отличие от Гумилева Ахматова не запомнила или просто не пожелала называть эту дату, зато довольно много рассказала Лидии Корнеевне, когда та пришла к Ахматовой в больницу 1 января 1962 года: «Этот великий ученый не был у меня в больнице за три месяца ни разу, — сказала Анна Андреевна, потемнев. — Он пришел ко мне домой в самый момент инфаркта, обиделся на

что-то и ушел. Кроме всего прочего, он в обиде на меня за то, что я не раззнакомилась с Жирмунским: Виктор Максимович отказался быть оппонентом на диссертации. Подумайте: парню 50 лет, и мама должна за него обижаться!»

Лев Николаевич рассказывал несколько по-иному жене об этой, как оказалось, последней прижизненной встрече с матерью. Судя по его рассказу, поводом к ссоре послужили восточные переводы. Гумилев много переводил с восточных языков, Ахматова делилась с ним деньгами, но «считала, что довольно сильно потратилась, отправляя посылки ему в лагерь, и теперь он должен их отработать.

В те времена он часто ее навещал. Порой она встречала его холодно, иногда с важностью подставляла щеку. В тот раз она сказала Льву, что он должен продолжать делать переводы. На это он ответил, что ничего не может сейчас делать, так как на носу защита докторской, он должен быть в полном порядке, всё подготовить.

— Ты ведь только что получила такие большие деньги – 25 тысяч. Я же знаю!

— Ну, тогда убирайся вон!

Лев ушел. Он очень расстроился, так как это был уже не первый случай ее грубости».

Разумеется, рассказ Гумилева тенденциозен, а сама Наталья Викторовна, передавая слова супруга, вряд ли сумела избежать неточностей и передержек. Я бы не слишком доверял такой интерпретации, но вовсе отвергать тоже не хочу. Несколько фактов заставляют задуматься. Незадолго до возвращения Гумилева из лагеря Ахматова спрашивала у Чуковской, можно ли купить за 800 рублей хороший мужской костюм. Нехарактерно для Ахматовой, прежде денег как будто не считавшей.

Мемуары Эммы Герштейн скорее проахматовские. Но они написаны много лет спустя после смерти Анны Андреевны. А в середине шестидесятых Герштейн оценивала происходящее иначе. Лидия Чуковская передает содержание их с Эммой беседы, состоявшейся 17 мая 1966 года. Эмма говорила, что Ахматова в последние годы очень много тратила на Пуниных и Ардовых, на Леве же почему-то экономила: «…не позаботилась о его костюмах, деньгах, лечении: деньги для него вообще давала не щедро…» Сам Лев Николаевич, особенно «во хмелю», был менее деликатен. Он будто бы назвал мать «старухой-процентщицей».

Эта неожиданная скупость говорит, конечно, не об алчности, а о каком-то болезненном состоянии. Ахматова, даже получая приличные гонорары за переводы, не умела и не хотела обустроить даже собственный быт, купить самые необходимые

вещи. Ее лежанку (иначе не скажешь) в Будке много лет подпирал кирпич. Анна Андреевна была поэтом, а не ростовщиком. Переводы оказались только поводом, но не причиной ссоры, да и сама ссора началась, когда Гумилев был еще в лагере.

В любом случае эта вражда дорого будет стоить им обоим. Лидия Чуковская имела все основания записать: «Никакое по становление ЦК не властно с такой непоправимостью перегрызать сердечную мышцу, как грызня между близкими».

«От обиды я нажил язву», — уже в старости рассказывал Гумилев своему другу, академику Панченко. «Именно эта язва в конце концов свела его в могилу», — добавлял Александр Михайлович.

После смерти Ахматовой Гумилев скажет Михаилу Ардову, что 5 марта 1966 года потерял мать в четвертый раз: «…первый – какое-то отчуждение в 1949 году, второй – в пятьдесят шестом, сразу после освобождения, третий – последняя ссора, когда они перестали встречаться».

Мать и сына пытались примирить и Нина Антоновна Ольшевская, и Эмма Григорьевна Герштейн. Впрочем, мирили ли знакомые Ахматову с Гумилевым или же ссорили – сказать трудно. Осенью 1965-го друзья Ахматовой не пустят Гумилева в больницу к матери, он только сможет передать ей записку. Ахматова, правда, была возмущена: «Как же не понимают мои друзья, — сетовала она, — что это сын мой единственный, самый близкий мне человек, наконец, единственный мой наследник…»

Впрочем раньше, осенью 1961-го, Гумилев не хотел видеть Ахматову даже в больнице, да и в ее инфаркт не поверил: «А мою болезнь он не признаёт. "Ты всегда была больна, и в молодости. Всё одна симуляция"». Из рассказа Ахматовой неясно, сказал ли он это Ахматовой уже после 30 сентября (по телефону?) или ей стало плохо во время разговора.

Надо сказать, что и Ахматова в свою очередь не верила в болезни сына: «…он говорит, что у него язва, а сам на шестой этаж втаскивает стол, от чего при язве он умер бы. Он, конечно, чем то болен, но добрая половина его болезни ни что иное, как остатки лагерной симуляции».

Осенью 1962 года Ахматова раздумывала, стоит ли поздравлять Льва с днем рождения, вдруг рассердится? Что же, она хорошо знала своего сына. Еще 12 сентября 1962-го он писал Василию Абросову: «Моя мамаша продолжает порочить меня где может. Возврата отношений не может быть».

В 1965 году Ахматова уверяла Эмму Герштейн, что Льву достаточно прийти и попросить: «Мама, пришей пуговицу», как мир между ними тут же наступит. Красиво, хотя пришивала ли

она ему пуговицы прежде?

Мне хотелось бы завершить эту главу немедленно и завершить, по возможности, примирением матери и сына или хотя бы намеком на примирение, как попыталась это сделать Эмма Герштейн.

Увы, даже смерть матери не принесла мир в душу Льва Николаевича. На похоронах Гумилев плакал, но обид своих не забыл и не простил.

Знаменитый реставратор, искусствовед Савва Ямщиков утверждал, что в беседах с ним Гумилев никогда не касался двух тем: «…страданий узника ГУЛАГа и отношений с матерью. "Я не хочу посвящать Вас в хождение по кругам ада, ибо у меня не останется времени для науки"», — говорил Лев Николаевич. Однако с другими собеседниками Гумилев был намного откровеннее.

В своих воспоминаниях, записанных в 1986-1987 годах на магнитофонную ленту, Гумилев ничуть не доброжелательнее к Ахматовой, чем в своих горьких письмах из Камышлага. По свидетельству географа Олега Георгиевича Бекшенева, Гумилев в 1972 году не стеснялся ругать Ахматову даже на лекциях перед студентами. Историк литературы Михаил Давидович Эльзон в конце восьмидесятых с возмущением показал Гумилеву выпуск «Книжного обозрения», где ахматовский «Реквием» был назван «памятником самолюбованию». На это Гумилев ответил: «Правильно». — «Что правильно?!!» — «Памятник самолюбованию».

О противоестественной вражде матери и сына говорили и писали современники, о ней пишут биографы, литературоведы. Но все их версии восходят всего к двум первоисточникам: к высказываниям Ахматовой, к интервью и воспоминаниям Гумилева.

ВЕРСИЯ ГУМИЛЕВА

Лев Гумилев еще в лагере решил, что с его матерью произошла какая-то неприятная для него перемена. Московская встреча с Ахматовой его в этом убедила. Но что же послужило причиной перемены?

Из магнитофонной записи 1986 года: «Ее общение за это время с московскими друзьями – с Ардовым и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого, — очень повлияло на нее».

Из магнитофонной записи 1987 года: «Я приписываю это изменение влиянию ее окружения, которое создалось за время моего отсутствия, а именно ее новым знакомым и друзьям: Зиль берману, Ардову и его семье, Эмме Григорьевне Герштейн, писателю Липкину и многим другим, имена которых я даже теперь не вспомню, но которые ко мне, конечно, положительно не относились».

Слова Гумилева в пересказе филолога Михаила Кралина, 1980е годы: «Когда меня забирали, она осталась одна, худая, голодная, нищая. Когда я вернулся, она была уже другой: толстой, сытой и облепленной евреями, которые сделали всё, чтобы нас разлучить».

К отношениям Гумилева с евреями мы еще вернемся, но уже сам список «недоброжелателей» Гумилева должен удивить читателя. С каких пор Виктор Ардов, в 1936-м хлопотавший за отчисленного из университета Леву, стал его врагом? Правда, после смерти Ахматовой, когда начнется тяжба за наследство Ахматовой, Ардов, ко всеобщему удивлению, станет на сторону Ирины Пуниной.

Более того, Надежда Яковлевна Мандельштам писала, что в окружении Ахматовой один только Анатолий Найман не настраивал ее против сына. Но опятьтаки с еврейским заговором не получается: еврей Найман даже в глаза осуждал Ахматову за конфликт с Львом, а та же Ирина Пунина, русская, была как раз самым последовательным противником Гумилева.

Но если об отношениях Гумилева с Ардовыми можно спорить, то уж Эмма Герштейн, добрый ангел Гумилева, явно не заслужила такой отповеди. Не было другой женщины, так бескорыстно и самоотверженно хлопотавшей за Гумилева, отдавшей ему столько лет жизни.

Впрочем, именно к письмам Эммы Герштейн, очевидно, восходит версия об ответственности друзей Ахматовой. 25 марта 1955 года Гумилев вложит в конверт с письмом к Эмме записку

для Виктора Ардова. Гумилев попросит Эмму записку прочитать, отведя своей подруге роль цензора. Эмма, как мы помним, прочитала эту, по ее словам, «наивную и глупую» записку, но передавать Ардовым не стала, предпочла уничтожить текст. До нас дошла только первая фраза: «Что я Вам сделал плохого?».

Вероятнее всего, о какой-то неблаговидной, с точки зрения Гумилева и Герштейн, деятельности Ардова Лев мог узнать от самой Эммы. Этому есть и еще одно косвенное подтверждение. Герштейн в мае 1955-го собиралась сопровождать Ахматову в Омск на свидание с Гумилевым, но, по словам Эммы, Анна Андреевна «подверглась такому натиску противников этой поездки, что совершенно растерялась». Среди противников Эмма называет «Пуниных, Ардовых и окружающих их лиц».

Хотя версия о «вредном влиянии» ахматовских знакомых-евреев и возникла уже в пятидесятые, в сознании Гумилева она, по всей видимости, утвердится лишь много лет спустя, ведь все процитированные высказывания относятся уже к восьмидесятым годам. К тому же в пятидесятые Гумилев еще не был последовательным антисемитом.

Несколько иначе о влиянии недоброжелателей Гумилева на Ахматову писал в июле 1962-го литературовед Юлиан Григорьевич Оксман. Он винил прежде всего семейство Пуниных: «Тяжелые конфликты с Левой только на этой почве, так как Пунины его обижали и обижают, а он ревнует мать к ним».

В своих самых злых письмах из лагеря Гумилев обвиняет не друзей и знакомых Ахматовой, он обвиняет мать, прежде всего мать. Когда Анна Андреевна предположила, что ее с сыном кто то ссорит, Гумилев тут же отреагировал: «Увы – это она сама».

Более того, даже теплые, приятные ему письма Ахматовой Гумилев приписывал влиянию других людей, прежде всего – Эммы: «Если мама "возвращается на стезю нормальной человечности", то это только ваша заслуга». «…Не сержусь больше на маму. Я, конечно, понимаю, что Вы провели среди нее разъяснительную работу».

Как мы помним из «неконфуцианских» писем, упреки Гумилева сводились к двум обвинениям. Во-первых, Ахматова недостаточно хлопочет о нем, поэтому затягивается его освобождение. Во-вторых, она не отвечает на его вопросы, не уделяет сыну родственного внимания и даже не едет к нему на свидание, хотя такая возможность представилась впервые еще за два года до его освобождения.

Первый упрек особенно тяжек и, в целом, несправедлив. Стоило Эмме неосторожно сказать: «Лева, вас освободил XX съезд», как он воскликнул: «Ага! Значит, мама вообще не

подавала никакой просьбы!!» Как видим, от «еврейской» версии Гумилев был еще очень далек. Ахматова все-таки многое сделала для его освобождения. Более того, она сделала даже больше, чем могла.

Гумилев потом напишет, что пассионарность чаще всего проявляется в безудержном стремлении к власти, к победам, к успеху, к богатству. Пассионарность Ахматовой проявлялась, как у Луция Корнелия Суллы, в стремлении к славе. Пожертвовать мировой славой для нее страшнее, чем для другой женщины – пожертвовать красотой.

Когда Ахматова в бешенстве кричала Льву: «Ни одна мать не сделала для своего сына того, что сделала я!», она посвоему была права, только сын все равно не мог ей поверить. «Твои стихи в "Огоньке" я прочел и порадовался за тебя», — писал Гумилев из Песчанлага. И это о стихах, славословящих Сталина, единственно спасительном средстве, оставшемся у Ахматовой. Жертву Ахматовой не только не приняли, но даже не поняли. Оценил ее Николай Пунин, такой же, как и Лев, бесправный зэк, доживавший свои дни в лагере под Воркутой: «Стихи в "Огоньке" я прочитал; я ее любил и понимаю, какой должен быть ужас в ее темном сердце».

Но письма Ахматовой в лагерь все больше и больше расстраивали Гумилева. Даже у современного читателя они вызовут недоумение.

«Я отдыхаю теперь после санатории, где было очень хорошо, и прохладно, и отдельная комната, и общее доброе отношение…» – пишет Ахматова сыну 1 июля 1953 года. Письмо от 17 сентября 1954 года Ахматова заканчивает жалобой: «…у меня смутно на сердце. Пожалей хоть ты меня».

Каково Гумилеву было читать все это? Жалобы Ахматовой по меньшей мере неуместны, хуже того – бестактны, но мы ведь должны не судить, а понять ее. Мироощущение Ахматовой было трагическим в такой степени, что она со временем привыкла и мелкие бытовые неурядицы поднимать до уровня несчастья, беды, катастрофы. Правительственная больница в Ташкенте превращалась для нее в тифозный барак, необходимость вымыть голову без посторонней помощи – в большое горе, бараний бульон вместо куриного – в угрозу для жизни.

Она не хотела задеть или обидеть сына, но он давно отвык от материнской манеры общаться. К тому же реальность, в которой Гумилеву приходилось жить, настолько отличалась от столичного мира, окружавшего Ахматову, что он не мог не разозлиться: «От мамы пришла открытка, в которой она горько оплакивает телефон, выключенный на месяц. Мне бы ейные заботы. Я,

разумеется, ответил соболезнованием», — напишет он Эмме Герштейн 27 сентября 1955 года.

К Ахматовой пришла заслуженная слава. Окружающие все больше и больше курили ей фимиам, Анна Андреевна жила в атмосфере всеобщего поклонения. Константин Симонов стеснялся при ней носить орден. Михаил Лозинский, взявшийся по просьбе Ахматовой отредактировать и поправить ее перевод «Марион Делорм» Виктора Гюго, сравнивал себя с сапожником, который взялся чинить сандалии богини.

Лева со своей фамильярностью, насмешливостью да еще и, возможно, лагерной грубостью ее отталкивал. Льва же еще в лагере раздражал культ Ахматовой, о котором он если и не знал, то догадывался: «Неужели добрые друзья ей настолько вылизывают зад, что она воображает себя непогрешимой всерьез».

Когдато давным-давно маленький еще Лева просил Ахматову: «Мама, не королевствуй!» Но к 1956 году она уже привыкла «королевствовать» и очень удивлялась и обижалась, если сын вел себя неподобающим образом. Наталья Казакевич, искусствовед, тогда – молоденькая девушка, за которой ухаживал Гумилев, как-то сидела в гостях в квартире на улице Красной Конницы вместе с Алексеем Александровичем Козыревым (Леликом), братом лагерного друга Гумилева и мужем Марьяны Гордон. Вошла Ахматова, Гумилев представил ей гостью и попросил: «Мама, дала бы ты нам чаю». «Ахматова удалилась. Она появилась вновь долгое время спустя, в руках у нее была единственная чашка на блюдце, которые она протянула сыну со словами: "Лева, ты хотел чаю"».

Это не просто свидетельство какой-то семейной размолвки, но доказательство глубокого и уже непреодолимого взаимного непонимания. Гумилева должно было обидеть такое демонстративно пренебрежительное отношение к его гостям, Ахматова же не могла не возмутиться: королева не может подавать чай даже дофину.

ВЕРСИЯ АХМАТОВОЙ

Выслушаем и другую сторону. Ахматова уже на рубеже пятидесятых и шестидесятых обвиняла во всем тюрьму, лагерь и лагерных друзей Гумилева: «…он таким не был, это мне его таким сделали!» – восклицала она перед Эммой Герштейн.

«Бог с ним, с Левой. Он больной человек. Ему там повредили душу. Ему там внушали: твоя мать такая знаменитая, ей стоит слово сказать, и ты будешь дома», — говорила она Чуковской.

Анна Андреевна Ахматова обладала удивительным даром влиять на людей, внушать им свою точку зрения, свой взгляд. Они как будто попадали в ее силовое поле.[30] Вот Лидия Чуковская, умная и независимая женщина, многое знавшая о слабостях Ахматовой, вычеркивала отдельные строчки и вырезала целые страницы в своем дневнике, которые, по-видимому, могли опорочить Ахматову в глазах потомков. Она приняла ахматовскую версию: «…где его рассудок?» — возмущалась Лидия Корнеевна вслед за Анной Андреевной.

Эмма Герштейн, много лет влюбленная в Гумилева, оговаривалась («Оба были больны, обоим надо было лечиться») и даже назвала свой мемуарный очерк о трагическом отчуждении матери и сына «Раненые души». И все-таки Эмма Григорьевна совершенно приняла именно ахматовский взгляд. В.Н.Абросимова, помогавшая Эмме Григорьевне в работе над мемуарами, разделяла ее (то есть ахматовскую) точку зрения: «… система искорежила даже такой недюжинный ум и выдавила из него многие жизненно важные составляющие».

Свой мемуарный очерк Эмма Григорьевна начинает с критики академика Панченко, автора вступительной статьи в первой публикации переписки Ахматовой и Гумилева. Александр Михайлович отзывался об Ахматовой с большим уважением, но все таки посчитал упреки сына матери справедливыми: «Сын тоскует о жизни на воле, хотя бы о реальном знании о ней. Мать поэтесса пишет о "состояниях" – отсюда его упреки и ее обиды на сыновние "дерзости" (вообще-то письма очень нежные). Как сытый голодного не разумеет, так и "вольный" – узника».

«К сожалению, в комментарии и вступительной статье академика теплое чувство дружбы взяло верх над требовательностью ученого», — строго замечает Герштейн. Однако сама Эмма Григорьевна менее всего напоминает беспристрастного литературоведа. Логику исследователя она подменяет красноречием человека, свято убежденного в собственной правоте: «Наоборот, возражу я, — это узник не

разумеет вольного. <…> Но что же могла написать Анна Андреевна о своей жизни? Что после прощания с Левой и благословения его она потеряла сознание? Что она очнулась от слов гэбэшников: "А теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск»?" Что она не знает, сколько дней и ночей она пролежала в остывшей комнате? И когда в один из этих дней она спросила десятилетнюю Аню Каминскую: "Отчего ты вчера не позвала меня к телефону?", то услышала в ответ: "Ну, Акума, я думала, ты без сознания…" Что в этом тумане горя она сожгла огромную часть своего литературного архива…» Все это правда, и слова Эммы Григорьевны очень убедительны, да только они, по счастью, относятся к страшному, но сравнительно краткому периоду жизни Ахматовой. Гумилев больше всего упрекал Ахматову в молчании и недомолвках уже позднее, в 1955—1956-м. А жизнь Анны Андреевны тогда уже никак не напоминала бесконечно растянувшийся день ареста.

Более всего Ахматова и Герштейн ругали солагерников Гумилева: «Это все влияние советчиков Льва Николаевича, его лагерных друзей, так называемых "кирюх"». Это они, они будто бы невольно помогли развиться худшим чертам его личности – завистливости, обидчивости, неблагодарности.

Среди «кирюх» были поэты, художники, востоковеды, инженеры, священники. Как фронтовик, вернувшийся с войны, навещает родных еще воюющего товарища, так и эти люди, по просьбе самого Гумилева, приезжали к Ахматовой в Ленинград. Кажется, принимала она их не слишком приветливо (по крайней мере Л.К.Павликова и С.С.Серпинского). Справедливо ли обвиняли их Ахматова и Герштейн? Не думаю, что стоит перекладывать ответственность на других. Льву Николаевичу в год освобождения исполнилось сорок четыре года, в такие лета люди отвечают за свои слова и свои поступки.

Иосиф Бродский отчасти держался ахматовской версии. Он называл Льва Гумилева «замечательным человеком», но считал, что тот решил, будто после пережитых в лагере мучений ему все позволено, отсюда и его грубость с матерью, его обиды. Но едва ли не большую роль, по мнению Бродского, в этой вражде матери и сына сыграли Ирина Пунина и ее дочь Аня. Бродский рассказал Соломону Волкову поразительную историю, которая произошла за несколько недель до смерти Анны Андреевны:

«Размолвку с сыном Ахматова переживала очень тяжело. И когда она уже лежала с третьим инфарктом в больнице, Гумилев поехал к ней в Москву. <…> Но тут Пунина подослала к нему Аню, которая передала ему якобы слова Анны Андреевны (которые на самом деле сказаны не были) — слова о том, что-де

"теперь, когда я в больнице с третьим инфарктом, он ко мне на брюхе приползет". После чего Лева в больницу к Ахматовой не пошел».

Получается, что Ирина умело разжигала рознь между матерью и сыном. Но чтобы разжечь, необходимо горючее. Все-таки не Пунина принимала решения за Ахматову и Гумилева. Отчуждение возникло и без ее интриг.

ПЛОДОНОСЯЩАЯ СМОКОВНИЦА

В двадцатые годы юный Лева Гумилев был застенчивым, добрым юношей, который любил мать беззаветно, как будто не требуя взаимности.

Впрочем, даже в лагере, уже отправив Ахматовой несколько «неконфуцианских» писем и вволю пожаловавшись на нее Эмме и Птице, он временами как будто пытался вернуть свои детские чувства.

Из письма к Эмме Герштейн 12 июня 1955-го: «Пусть моя горечь останется при мне, а маму расстраивать не буду; это верно, что она совсем меня не понимает и не чувствует, а только томится».

Гумилев не зря так много переписывался с Эммой. Именно Эмма, возможно, вопреки собственному желанию, очень точно о нем сказала. Помните? «…Ему не было предусмотрено на земле никакого места». Увы, не только в советской жизни ему не было места, но долгие годы и в жизни Анны Андреевны. Поч ти все детство он провел без нее, в Бежецк Ахматова приезжала всего два раза, на Рождество в 1921-м и летом 1925-го. И каждый раз спешила вернуться в Петроград.

Нет, удивителен не их разрыв в 1956-1966-м, удивительно, что Ахматова и Лев Гумилев, несмотря на годы, проведенные врозь (самые важные, бесценные детские годы Левы!), все-таки стали родными людьми, по словам Эммы, как будто связанными «невидимой нитью». Надежда Мандельштам вспоминала: «Мать и сын, встречаясь, не могли оторваться друг от друга».

Исайя Берлин, не знакомый с воспоминаниями Герштейн и Мандельштам и к тому же наблюдавший Ахматову и Гумилева совершенно в других обстоятельствах и в другое время, повторит их оценку: «Отворилась дверь, и вошел Лев Гумилев, ее сын (сейчас он профессор истории в Ленинграде); было ясно, что они были глубоко привязаны друг к другу».

В августе 1939-го Ахматова показывала Лидии Чуковской как дорогую вещь «розовое с какими-то восточными буквами пасхальное яйцо: "А это мне Левушка подарил…"»

В письме к сыну от 27 марта 1955 года Ахматова спрашивала: «Получил ли ты открытку, где я, цитируя В.В.Струве, сообщила тебе, что за смертью академика Якубовского только Л.Н.Гумилев мог бы вести научную полемику с буржуазными учеными по вопросу о тюрках. Каково!» Да, она хотела подбодрить сына, но в этой фразе чувствуется и материнская гордость.

В свою очередь Лев Николаевич, даже беспощадно ругая мать,

никогда не подвергал сомнению ее талант, природный ум (говорил о ней: «моя умная мать»), «исключительные филологические способности».

Не раз они выступали и единым семейным фронтом. Вспомним, как Ахматова хотела «напустить Леву» на Лину Самойловну Рудакову. Иногда им удавались такие совместные акции. Н.Н.Пунин подозревал, что Лева, по поручению Ахматовой, взял из его шкафа «сафьяновую тетрадь, где Ан. писала стихи, и, уезжая в командировку, очевидно, повез их к Ан., чтобы я не знал. От боли хочется вывороти ть всю грудную клетку. Ан. победила в этом пятнадцатилетнем бою» (так Пунин видел теперь свои отношения с Ахматовой).

Четыре послевоенных года, от возвращения Гумилева с фронта до ареста, на фоне десятилетия 1956-1966-го представляются счастливыми. «Был короткий период некоторого равновесия и спокойствия для А.А.», — вспоминала Ирина Пунина.

Но уже в 1949-м в отношениях матери и сына наступило такое охлаждение, которое Гумилев будет сравнивать с отчуждением 1956-го и 1961-го. Слова Гумилева подтверждает и Наталья Роскина: «…совместная жизнь матери и сына не пошла гладко. Чувствовалось, что в их глубокой взаимной любви есть трещина. С какой-то болезненной резкостью Лев Николаевич говорил: "Мама, ты ничего в этом не понимаешь". "Ну конечно, в твое время этого в школе не проходили". Однажды, расспрашивая меня о Московском университете, он задал мне какой-то вопрос по общему языкознанию, на который я не сумела ответить, и мрачно пробурчал: "Чему только вас учат". Анна Андреевна сказала: "Лева, прекрати. Не смей обижать девочку". А за себя она никогда не умела вступиться. <…> Здесь была застарелая мучительная драма ее трагического материнства и его при ней сиротства. Этой драмы мне приоткрылся лишь узенькой краешек».

Гумилев изредка дарил Ахматовой подарки, вспомним хотя бы японский халат из Германии. Но вот часто ли она дарила сыну подарки?

В музее-квартире Гумилева посетителям охотно показывают персидскую миниатюру, которую Ахматова подарила (точнее, передарила) сыну. Красиво, но сын, вернувшийся из лагеря почти без средств к существованию, нуждался не только в украшениях. Ахматова, кажется, не помогла ему даже обставить комнатку на Московском проспекте. А ведь тогда, в 1957-м, она не страдала от бедности.

Гумилев вечно ходил оборванцем, к тому же оборванцем

голодным. Так было и в тридцатые, и в конце сороковых. Наталья Викторовна Гумилева, жена Льва Николаевича, со слов супруга запомнила и пересказала фразу Ахматовой: «Лев такой голодный, что худобой переплюнул индийских старцев…»

Наталья Викторовна по-своему трактовала разрыв матери с ее будущим супругом: «Как кошки отгоняют своих котят, так Анне Андреевне пришлось отогнать Льва, потому что она не верила, что они смогут жить вместе без осложнений».

По словам Эммы Герштейн, Ахматова за четыре дня до смерти передала Льву через Михаила Ардова свою последнюю кни гу «Бег времени» с дарственной надписью: «Леве от мамы. Люсаныч, годится? 1 марта 1966 г.» Ахматова напоминала сыну о довоенных днях на Фонтанке, когда она обучала французскому соседского мальчика Валю Смирнова, а тот никак не мог произнести правильно слово «Le singe» (обезьяна): «Каждую минуту он вбегал в комнату, выкрикивал что-то совершенно невнятное и ликующе спрашивал: "А это годится?"»

Гумилев говорил Михаилу Ардову, указывая на автограф: «Вы знаете, что это такое? <…> Это – ласка, то, чего я добивался все эти годы».

Но этого объяснения, на мой взгляд, недостаточно.

Истинную причину их враждебности назвала сама Ахматова, хотя, возможно, принимала ее скорее за следствие, чем за причину. Эмма Герштейн писала, что Ахматову в новом, вернувшемся из лагеря Льве «поражал появившийся у него крайний эгоцентризм. "Он провалился в себя", — замечала она».

Трудно поспорить, но разве новое состояние Гумилева («провалился в себя») не было свойственно самой Анне Андреевне? Еще в 1922 году Корней Чуковский записал в дневнике: «Мне стало страшно жаль эту трудноживущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе – и еле живет другим».

Сорок лет спустя как будто ничего не изменилось. 1 января 1962-го ее в больнице навестили литературовед Виктор Андронникович Мануйлов и востоковед Александр Николаевич Болдырев. Только прощаясь, Мануйлов вспомнил и рассказал Ахматовой, что в Сорбонне есть специальный семинар, посвященный ее творчеству. «До того сдержанная и спокойная Анна Андреевна вдруг вспыхнула и с негодованием воскликнула: "Вы с этим шли ко мне, Вы говорили почти целый час, и Вы могли уйти, не рассказав мне этого!"».

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,

В заботы суетного света
Он малодушно погружен…

Ахматова приносила в жертву своему дару многое, в том числе и счастье сына. А что ей оставалось делать? Поэт, хоть на вре мя отказавшийся от своего дара ради близких, подобен евангельской бесплодной смоковнице.

Но и Гумилев не хотел остаться бесплодной смоковницей. Возмущенная Эмма Герштейн писала: «Леве не терпелось строить себе новую свободную жизнь». Но Гумилеву шел уже сорок четвертый год! К 1956 году большая часть жизни прошла, а он только успел защитить кандидатскую диссертацию и напечатать пару малозначительных материалов. Даже рукопись «Истории Срединной Азии» не была окончена, а грандиозные научные замыслы еще даже не на бумаге. Все, что, на его взгляд, мешало его возвращению к академической карьере, к научной работе, — вызывало у него сильнейшее раздражение: «…я сам всю жизнь работаю для Советского Востоковедения. <…> Максимум через полгода я потеряю работоспособность, и мне будет еще хуже – я не смогу заниматься историей, которая одна меня держит. Тогда возвращение мне будет не нужно», — писал он Герштейн.

Михаил Ардов много лет спустя попытается невозмутимо и спокойно оценить эту драму: «…каждый из них был в свою меру прав. Однако же Льву Николаевичу следовало бы проявлять больше терпимости, учитывая возраст и болезненное состояние матери». Легко же судить со стороны, легко судить много лет спустя. А Гумилеву эта вражда уже в лагере виделась безнадежной и бесконечной: «Всё это вместе вроде античной трагедии: ничего нельзя исправить и даже объяснить».

Объяснить как раз можно. Как ни странно, это сделал тот же Михаил Ардов, но не в своих мемуарах, а в разговоре с Лидией Корнеевной 28 июня 1966 года: «Миша говорит о Леве как о колоссальном уме и своеобразии. Похож на Анну Андреевну. Гордыня. Нашла коса на косу».

Часть VIII

В ЦВЕТНОМ МИРЕ

Гумилев не раз писал Эмме, а затем рассказывал своим знакомым, что за лагерные годы он совершенно не постарел, не изменился, лагерная жизнь разрушает организм, но консервирует душу. На самом деле изменился и сам Гумилев, изменился и окружающий мир.

Не забудем, что Гумилева в 1949-м забрали из ноябрьского Ленинграда. А вернулся он в мае 1956-го, и первоначально даже не в Ленинград, а в Москву. Серочернобелый мир поздне сталинского СССР стал только воспоминанием. Шестидесятые начались не в 1961-м, а в 1956-м.

Москва 1956 года – светлый, праздничный, солнечный мир. Этот мир и прежде, еще в лагерные годы, прорывался лучиками, струйками света через советское кино, которое Гумилев в лагере так внезапно полюбил.

Бывшему зэку, только что покинувшему лагерь под Омском, столичная жизнь должна была показаться воплощенной киносказкой. По улице Горького проносились автомашины, уже не только вельможные ЗИМы и полковничьи «Победы», но и демократичные «Москвичи». На Цветном бульваре торговали мороженым и газировкой. По Тверскому фланировали девушки в цветных крепдешиновых платьях: кремовых в крупных бордовых розах, жемчужно-серых в алых маках, темно-синих в белых и желтых хризантемах. Китайский натуральный шелк был тогда дешев.

В чемоданах Льва Гумилева лежали прочитанные в лагере книги, рукописи двух будущих монографий и нескольких статей. «У меня замыслов на целую библиотеку», — говорил он позднее Эдуарду Бабаеву. Расстановка сил в научном мире оказалась благоприятной для Гумилева. Его враги или умерли, как академик Козин, или доживали последние месяцы, как профессор Бернштам. Друзья были сильны и влиятельны. Они помогут Гумилеву найти работу и вернуться к академической жизни. С Алексеем Павловичем Окладниковым летом 1957-го Гумилев отправится в экспедицию на Ангару. Директор Эрмитажа Михаил Илларионович Артамонов устроит Гумилева на работу.

Правда, первая попытка получить место научного сотрудника в Эрмитаже не удалась, просто не нашлось свободной ставки. Гумилев даже решил оформиться дворником в Этнографический музей, но в октябре 1956-го Артамонов нашел ему место в отделе первобытного искусства, казалось бы, совершенно далеком от научных интересов Льва Николаевича. Гумилева взяли на ставку

сотрудницы, ушедшей в декретный отпуск, и Артамонов, зная характер своего друга, отпустил шутку: мол, пусть заботится о том, чтоб сотрудницы регулярно беременели и отправлялись в декрет, чтобы ставка оставалась за ним.

Должность Гумилева называлась так: «временно исполняющий обязанности старшего научного сотрудника». Оклад – 1000 рублей (после хрущевской денежной реформы 1961 года – 100 рублей), для немолодого уже человека с ученой степенью – очень скромный. Гумилев сначала даже обиделся на Артамонова, ведь тот прежде будто бы собирался пригласить Гумилева руководить издательством Эрмитажа. Но решение Артамонова оказалось мудрым: Гумилеву была нужна не начальственная должность, а возможность спокойно заниматься научной работой. Эту возможность он и получил. Собственно, в отделе первобытного искусства Гумилев и не появлялся, его рабочим местом стала библиотека Эрмитажа. Лев Николаевич, таким образом, получал зарплату и мог все рабочее и свободное время посвящать науке.

Каждый день он садился за огромный стол напротив молоденькой сотрудницы Натальи Казакевич, вскоре в него влюбившейся, и погружался в свои старые рукописи и в библиотечные книги. Впрочем, иногда ему все-таки приходилось отвлекаться на дела служебные: «Сейчас я либо читаю до потери сил, либо работаю для оправдания своей зарплаты и сержусь на себя за то, что дело подвигается так медленно», — писал он своему пражскому другу Петру Савицкому.

Сотрудник, в рабочее время занятый своими делами, разумеется, должен был раздражать любого нормального начальника, но когда заведующий библиотекой Государственного Эрмитажа Оскар Эдуардович Вольценбур решил сократить ставку Гумилева, то с удивлением узнал, что Гумилев в штате библиотеки и не числится.

Разумеется, бесконечно так продолжаться не могло, да и Лев Николаевич начал тяготиться своим положением. Хотя из года в год срок работы Гумилеву продлевали, сам он уже три года спустя начал искать другое место, а лучшим местом для востоковеда был, конечно же, Институт востоковедения. И Лев Николаевич одно время рассчитывал на поддержку одного замечательного человека.

В октябре 1958-го Гумилев познакомился с членом Королевского Азиатского общества, историком, этнографом, лингвистом, искусствоведом, бывшим директором Института Гималайских исследований «Урусвати» Юрием Николаевичем Рерихом. Рериха пригласил приехать в Советский Союз лично

Никита Сергеевич Хрущев. Высокое покровительство и сияние славы Николая Рериха помогли карьере его сына. Юрий Рерих заведовал сектором философии и истории религии Индии в Институте востоковедения АН СССР. Впрочем, он занимал свое место вполне заслуженно: выпускник Гарварда, полиглот (он знал более тридцати языков), путешественник, большую часть жизни проживший в Индии.

Первое знакомство Рериха и Гумилева было шапочным, мимолетным, но уже 15 января 1959 года на совместном заседании Географического общества СССР, Ленинградского отделения Астрономо-геодезического общества СССР и Российского Палестинского общества Гумилев слушал доклад Рериха «О кочевниках Тибета». Эта тема была Гумилеву интересна. Полгода спустя Гумилев и Рерих познакомились ближе, и Лев Николаевич нашел Юрия Николаевича «замечательным ученым с исключительно живым умом и потрясающе интересными мыслями». Гумилев даже познакомил Юрия Николаевича с рукописью своей диссертации о тюрках и получил одобрение, а Рерих, видимо, пообещал помочь Гумилеву получить место в Институте востоковедения. Свидетельство этого мы находим в письме известного востоковеда Исидора Саввича Кацнельсона от 12 апреля 1960 года. Рерих решил «обратиться в дирекцию с ходатайством о зачислении Вас в наш Институт. О поддержке и он, и я будем просить Василия Васильевича (Струве. – С.Б.), который со свойственной ему обычной добротой и отзывчивостью, конечно, не откажет. Пока об этом не следует распространяться – завистники всегда найдутся», — писал Гумилеву Кацнельсон.

Увы, пройдет чуть больше месяца, и Юрия Николаевича не станет, а Гумилев так и не получит места в институте.

Льва Николаевича смерть Рериха потрясла. Он писал Абросову, что «подавлен бедой нашей науки. <…> Писать и думать больно».

«Интересно, как бы сложилась судьба Л.Н.Гумилева, если бы Ю.Н.Рерих не ушел из жизни так внезапно?» – спрашивает Марина Георгиевна Козырева, автор исследования о Гумилеве и семье Рерихов.

Действительно интересно. Правда, если бы план Рериха и Кацнельсона удался, Гумилеву, скорее всего, пришлось бы переехать в Москву. В Ленинградском отделении института ему не было места.

СОВЕТСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ

Между ноябрем 1949-го и маем 1956-го прошла эпоха. Даже советское востоковедение, по своей природе консервативное, переменилось необычайно. Еще в 1950-м ИВАН переехал из Ленинграда в Москву. Переезд был делом политическим. В годы холодной войны основным полем боя стали страны Азии и Африки, а после революции на Кубе – и Латинской Америки. Советское правительство нуждалось в грамотных советниках, переводчиках, дипломатах. А старый, сугубо академический Институт востоковедения, по мнению Сталина, Микояна, Хрущева, только зря проедал государственные средства, занимаясь изучением рунических надписей древних тюрков и анализом классических арабских текстов, созданных больше тысячи лет назад. Даже академика Крачковского, лауреата Сталинской премии, кавалера ордена Ленина, стали все чаще критиковать за «недооценку современной арабской культуры», а когда он осенью 1950-го вернулся из отпуска, то узнал, что все сотрудники его отдела просто уволены.

Вскоре после переезда института в Москву престарелого академика Струве перевели с директорской должности заведовать отделом Древнего Востока. В Ленинграде осталось лишь отделение института, первоначально человек двадцать, да и то потому, что перевезти в Москву библиотеку и хранилище древних рукописей оказалось невозможно.

Работа по реорганизации института продолжалась еще несколько лет, а партия и правительство теперь не оставляли ИВАН без своей опеки. На XX съезде КПСС Анастас Иванович Микоян, член Политбюро и первый заместитель Председателя Совета министров, вновь взялся за дела советского востоковедения: «Есть в системе Академии наук еще институт, занимающийся вопросами Востока, но про него можно сказать, что если весь Восток в наше время пробудился, то этот институт дремлет и по сей день. Не пора ли ему добраться до уровня требований нашего времени?»

«Правильно говорил Микоян о нашем институте: дремлет сукин кот. Такая импотенция творческой мысли, что я даже не мог подумать, что это возможно», — поддержит товарища Микояна Лев Гумилев, тогда еще простой советский заключенный, не представлявший, в чем смысл затеянной реформы.

После критики Микояна институт возглавил бывший первый секретарь ЦК компартии Таджикистана Бободжан Гафуров. Уж

каким ученым был этот выпускник Всесоюзного коммунистического института журналистики, сделавший карьеру в отделе пропаганды ЦК Компартии Таджикистана, судить не мне. Но сами востоковеды признали его талантливым организатором. Гафуров за двадцать два года руководства принес институту немало пользы, уступив в 1978-м свой пост директора Евгению Примакову, связанному как с партией, так и со спецслужбами.

При Гафурове исчезла старая аббревиатура ИВАН, вместо нее появилась новая – ИНА: Институт народов Азии. Старое название вернется только в 1970-м году. О новом облике института можно судить по журналу «Народы Азии и Африки», который ИНА издавал вместе с Институтом Африки. Вот несколько заголовков журнальных статей 1962 года, взятых наугад: «Антикоммунизм – орудие колонизаторов», «Из истории борьбы маратхов с европейскими захватчиками», «Борьба Гуджаратского государства против португальских завоевателей» и т. д.

Но Ленинградское отделение института сохранило традиции старого востоковедения благодаря своему первому заведующему Иосифу Абгаровичу Орбели.

Академик Орбели был деканом восточного факультета ЛГУ, поэтому он пригласил в Ленинградское отделение института в основном своих выпускников, талантливых молодых востоковедов. Среди них были, например, Ким Васильев и Сергей Кляш торный, будущие критики Гумилева.

Льва Гумилева академик Орбели, очевидно, не любил. Востоковед М.Ф.Хван будто бы даже боялся дружбой с Гумилевым «рассердить Орбели», а гнев академика был страшен.

Дружба Гумилева с Артамоновым, который в свое время сменил Орбели на посту директора Эрмитажа, могла только повредить Льву Николаевичу. Старый и больной Струве Гумилеву ничем бы не помог, он и сам боялся властного, авторитарного, непреклонного Орбели. В Эрмитаже даже показывали укрытие, где Василий Васильевич прятался от гнева Орбели. И.М.Дьяконов, описывая внешность академика Орбели, вспоминал стихи Николая Гумилева:

И казалось, земля бежала
Под его стопы, как вода;
Смоляною доскою лежала
На груди его борода.
Точно высечен из гранита.
Лик был светел, но взгляд тяжел:
Жрец Лемурии, Морадита

К золотому дракону шел.

Подбор сотрудников академик контролировал лично. Узнав, что список проверяет московское начальство, Орбели заявил: «Я проверил все, кроме подштанников, а подштанников я проверять не буду!» Всех его кандидатов утвердили.

Ленинградское отделение института много лет спустя, уже в новой России, превратится в самостоятельный Институт восточных рукописей РАН, где и сейчас работают ученые, которых пригласил академик Орбели.

Гумилев же остался в Эрмитаже до мая 1962 года.

САВИЦКИЙ

Гумилев, вернувшись к научной жизни, нуждался в друзьях и единомышленниках. Они нашлись не только среди советских историков и востоковедов. Уже в конце 1956 года Гумилев начинает переписку с Петром Николаевичем Савицким, русским мыслителем, одним из основоположников евразийства. Здесь ему помог случай. В 1956 году в библиотеке Эрмитажа Гумилев разговорился с профессором ЛГУ и сотрудником Эрмитажа Матвеем Александровичем Гуковским. Выяснилось, что Гуковский сидел в одном лагере с Савицким и даже подружился с ним. Гуковский и дал Гумилеву адрес Савицкого.

Савицкий происходил из богатой семьи черниговских помещиков, его отец был губернским предводителем дворянства. В 1913 году Петр Николаевич окончил гимназию в Чернигове, а в 1917-м – Петроградский политехнический институт и стал стипендиатом по кафедре истории хозяйственного быта. Вскоре Савицкий получил пост коммерческого секретаря Посланника российской дипломатической миссии в Норвегии, но проявить себя на этой должности, видимо, не успел.

Во время Гражданской войны Савицкий служил в правительствах Деникина и Врангеля на довольно высоких дипломатических постах помогли не только природные способности и знание европейских языков, но и личные связи. Петр Бернгардович Струве, получив от барона Врангеля пост министра иностранных дел (начальника Управления иностранных сношений), взял своим заместителем Савицкого. Молодой человек за помнился ему еще по Петроградскому политехническому институту, где Струве заведовал кафедрой.

После поражения Врангеля Савицкий перебрался в Константинополь, затем в Софию, а оттуда в Прагу. Эмигранты в двадцатые годы называли столицу Чехословакии «русским Оксфордом». Если военной столицей русской диаспоры был Белград, культурной – Париж, то Прага стала научной столицей.

С конца 1921-го Петр Николаевич работал приват-доцентом, с 1928-го заведовал кафедрой в Русском институте сельскохозяйственной кооперации, позднее работал в Археологическом институте имени П.Н.Кондакова, состоял в Русском научно-исследовательском обществе. С 1935-го преподавал русский язык в Пражском немецком университете. Летом 1941-го Савицкий публично заявил, что «Россия непобедима», немцы этого не стерпели, и Петру Николаевичу пришлось оставить университет. Впрочем, его тут же пригласили

стать директором русской гимназии, но в 1944-м он лишился и этой должности как человек с точки зрения оккупационных властей неблагонадежный: «Немцы меня репрессировали, но я остался тогда жив. Меня спасло то, что я "фон Завицки" с двумя печатными генеалогиями на триста лет в пражских библиотеках, и еще то, что повсюду мои ученики по Немецкому университету в Праге. А даже немцы не любят расстреливать или вешать своих учителей», — писал он Гумилеву в апреле 1967-го, за год до своей смерти.

Среди смершевцев учеников у Савицкого не нашлось, и последний евразиец был арестован вскоре после освобождения Праги советскими войсками.

Основания для ареста, конечно, были. Всетаки евразийцы пытались создать настоящую антисоветскую организацию, а Савицкий был одним из ее лидеров.

Он провел восемь лет в ГУЛАГе, освободился в 1954 году, а в 1956-м, как только представилась возможность, вернулся в Чехословакию. Близкое знакомство с порядками в советской «иде ократии» не подорвало его русского патриотизма, но, очевидно, укрепило в мысли, что от Советской страны лучше держаться подальше.

Почти сразу после возвращения в Прагу начинается его переписка с Гумилевым. Переписка сама по себе замечательная.

Гумилев и Савицкий как будто были единомышленниками. Оба предпочитали смотреть на русскую историю «с Востока», точнее – с просторов Великой степи. Оба до крайности не любили немцев и вообще европейцев, ругали отечественных западников, оба увлеченно обсуждали сюжеты из истории Центральной Азии. Впрочем, Савицкий чаще и охотнее писал о Древней Руси. В августе 1966-го Гумилев приехал в Прагу на археологический конгресс. Савицкий встретил его на вокзале. Они долго гуляли по городу и беседовали.

Как и Гумилев, Савицкий был убежденным тюркофилом и монгололюбом. Даже страшного Аттилу называл «Батюшкой», что, впрочем, не было такой уж экзотикой, ведь в дореволюционной историографии существовала идея о славянском происхождении гуннов, просуществовавшая несколько десятилетий от Хомякова до Иловайского включительно. Но, в отличие от Гумилева, Савицкий всегда предпочитал Россию и русских тюркам и монголам. Судя по переписке, он был большим патриотом России, любившим свою родину и русский народ больше, чем евразийских кочевников. Старый евразиец даже упрекал Гумилева в излишнем увлечении

татарами и монголами: «В 1924-25 гг. состоялось – и с большим шумом – несколько Е[вр]А[зийских] выступлений на тему: Русь начинается с XIV в[ека]. Я был зачинщиком. С большой выразительностью обращались мы тогда и к памяти "великого и сурового отца нашего Чингисхана". <…> Теперь я придаю большее, чем придавал тогда, значение – и при этом именно в вопросах культуры – нашей киевско-новгородско-суздальской предыстории IX–XIII веков. Нашу же молодость и наши интеллектуальные потенции дает нам, по моему мнению, наша русская мать – сыра земля». Савицкий будет с восторгом писать Гумилеву о начале «русской космической эры» и о грядущей «Русской эпохе всемирной истории».[31]

Через Савицкого Гумилев начал переписываться и с Георгием Владимировичем Вернадским, действительно крупным историком, который много лет занимался русской средневековой историей и взаимоотношениями русских княжеств с Золотой Ордой. Писать Вернадскому, гражданину США, прямо в Нью-Хейвен Гумилев не решался, а связывался с ним через Прагу, то есть через Савицкого, который много лет поддерживал переписку с Георгием Владимировичем. Только после смерти Савицкого Гумилев начнет отправлять письма непосредственно в Нью-Хейвен.

Евразийские вопросы в переписке с Вернадским и даже с Савицким почти не затрагивались, так что собственно евразийский элемент здесь очень невелик. Корреспонденты обсуждали спорные вопросы русской истории и проблемы взаимоотношений Руси с кочевниками Великой степи. Переписка была научной и весьма далекой от политики.

ХУННУ

Весной 1957 года Гумилев, как мы помним, не без помощи Ахматовой, получил собственное жилье – комнату в двенадцать квадратных метров в коммунальной квартире на Московском проспекте, в те времена этот район считался очень далеким. Жилье даже по тогдашним меркам было скромным, если не сказать – убогим, но Гумилев был рад и ему: «…все-таки хотя бы свой угол. Там я стал очень усиленно заниматься».

Правда, первые три года прошли почти без публикаций: «…я, как Мартин Иден, разослал свои работы в последний раз: больше я пытаться уже не в силах», — писал он Абросову. Возможно, Гумилев несколько торопил события. Письмо датировано 9 декабря 1956-го, прошло только полгода после возвращения из лагеря. Между тем рукопись в научном журнале, как правило, ждет публикации несколько месяцев. Но Гумилеву не терпелось вновь включиться в научную жизнь: писать и печататься, выступать на конференциях. Поразительно, но свой первый в после лагерной жизни научный доклад он прочитал уже 5 июня 1956 го в Музее этнографии. А ведь еще 5 мая он был зэком.

Гумилев работал тогда очень много, несмотря на болезни, приобретенные в лагере, на язву, которая часто обострялась. В отличие от скромного Васи Абросова Гумилев был не только талантливым ученым, но и пассионарным человеком. Он умел работать с самоотверженностью фанатика. Научился он со временем и пробивать свои статьи.

Из письма Льва Гумилева к Василию Абросову от 20 сентября 1957 года: «…Вася, у нас долг перед Наукой, перед Культурой. Пусть я дойду до истерии, но буду писать работы и стараться напечатать их. Я это должен делать».

Кроме того, у Льва Николаевича была одна природная черта, чрезвычайно развившаяся из-за длительного пребывания в мире академической и университетской науки. Гумилеву часто казалось, будто коллеги ему мешают, вставляют палки в колеса, преследуют.

Из воспоминаний А.Г.Никитина: «Почти все разговоры у него касались его борьбы за публикации, — вернее, борьбы с ним научных сотрудников академических институтов с целью помешать ему опубликовать свои работы».

Иногда это соответствовало действительности, но во второй половине пятидесятых он еще не успел нажить себе новых врагов. А старые враги ушли из жизни. Как раз 5 июня 1956-го в Музее этнографии Гумилев в последний раз столкнулся с Бернштамом.

Разумеется, они поругались. Бернштам обиделся и уехал, не прощаясь. Но в декабре Александра Натановича не стало. Академик Козин умер еще раньше. У других востоковедов, очевидно, не было такого уж предубеждения против Гумилева.

Другое дело, что научная работа не терпит спешки, а Гумилеву еще нужно было уточнять, дополнять, редактировать. Только вернувшись к научным библиотекам Ленинграда, он понял, как неполна еще его «История Срединной Азии», которую он считал в лагере почти оконченной.

В августе 1959-го Гумилев жаловался молодому ученому Андрею Зелинскому, участнику Астраханской экспедиции: «У меня опубликована всего лишь одна статья. <…> Если будет так продолжаться, займусь историческими романами. Ведь через них тоже нужно донести мысль…» Между тем как раз в 1959-м Гумилева начали печатать ведущие научные журналы – «Советская археология», «Советская этнография», «Вестник древней истории». За один год у него вышло шесть статей. Это станет его нормальной «производительностью». Из года в год он будет печатать редко по четыре, чаще по 5-7 статей, а иногда и намного больше. В 1966 году, например, помимо книги «Открытие Хазарии» у Гумилева выйдет 11 статей. «Статьи мои начали брать нарасхват и даже заказывать», — писал он Абросову.

В июне 1957-го Гумилев получил от Института востоковедения предложение издать монографию. В декабре 1957-го он сдал в редакционно-издательский отдел института рукопись «Хунну», своей первой книги, переработанной «Истории Срединной Азии в древности».

Гумилев ликовал: «"Хунны" взяли ИВАН!!! Обсуждение прошло так гладко, что я даже не ждал. <…> Книга представлена к печати. Артамонов – редактор», — писал Лев Николаевич «другу Васе». Правда, в ИВАНе рукопись пролежала два года. В феврале 1959-го книгу вернули Гумилеву на доработку. Гумилев был очень недоволен, но за доработку взялся, и в конце апреля 1960-го его первая книга «Хунну: Срединная Азия в древние времена» вышла в академическом Издательстве восточной литературы. Мечта Гумилева сбылась – он стал профессиональным историком-востоковедом.

Серьезные обобщающие монографии по истории кочевников евразийских степей выходят нечасто, так что на «Хунну» не могли не откликнуться и тюркологи, и синологи из Института народов Азии. Уже во втором номере «Вестника древней истории» за 1961 год появилась разгромная рецензия Кима Васильева.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 16 сентября 1961 года: «Пока мне подложили только одну свинью – рецензию

на "Хунну"».

Главная мысль рецензента: история хуннов (гуннов, сюнну) известна в основном по китайским хроникам, значит, чтобы изучать эту историю, надо знать китайский язык. О хуннах пишут китайские и японские ученые, поэтому историк хуннов обязан знать не только китайский, но и японский. Поскольку Гумилев не знает ни того, ни другого, то с новинками зарубежной историографии он не знаком. Хуже того, Гумилеву пришлось читать китайские хроники не в оригинале, а всего лишь в переводе. Главным образом это были переводы иеромонаха Иакинфа (Никиты Яковлевича Бичурина), который в начале XIX века возглавлял православную духовную миссию в Китае, а на досуге занимался востоковедением.[32]

Переводы Бичурина синологи критиковали и критикуют, и вот почему. В древности китайцы мало использовали пунктуацию, хотя знали точку и запятую. Бичурин переводил в основном китайские хроники, отпечатанные методом ксилографии.

Они представляли собой сплошной текст без знаков препинания, очень трудный для чтения, а науки текстологии во времена Бичурина еще не было. Иеромонах Иакинф трудился добросовестно, но современные востоковеды все-таки находят у него грубые ошибки: окончание одной фразы иногда соединялось с началом другой, прямая речь превращалась в косвенную, а косвенная – в прямую. Ошибки влияли не только на красоту слога, которой историк может и пренебречь, но и на смысл текста. Например, Бичурин перевел фразу следующим образом: «Осенью, когда лошади разжиреют, все съезжаются обходить лес». А современный востоковед переводит этот фрагмент иначе: «Осенью, когда лошади откормлены, съезжаются на большое собрание в Дайлин».

Бичурин, при всей своей феноменальной трудоспособности, перевел лишь малую часть того, что китайцы писали о хуннах, древних монголах, усунях, динлинах. Отсюда и недостатки книги Гумилева. Васильев нашел у Гумилева множество ошибок, не только мелких, но и существенных. Почти все они связаны с филологической подготовкой Гумилева.

Кроме того, Васильев первым обратил внимание на одно свойство Льва Николаевича: предположение, гипотезу, догадку Гумилев, увлекаясь, часто выдавал за истину, за общепризнанную аксиому. Например, Гумилев не только придерживался гипотезы своего предшественника Г.Е.Грумм-Гржимайло о евро пеоидности древнего народа динлинов, но и писал об их расовой принадлежности как о вопросе давно решенном и сомнений не вызывающем, хотя другие востоковеды считали вопрос по-

прежнему спорным, а европеоидность динлинов – не доказанной.

Вывод Васильева чрезмерно суров: «Хунну» – систематизированный пересказ переводов Н.Я.Бичурина и Л.Д.Позднеевой, монографий Э.Шаванна, а значит, книга Гумилева «не вносит ничего принципиально нового в современную историографию Древней Центральной Азии».

26 сентября 1961 в библиотеке Эрмитажа на обсуждение книги Гумилева и рецензии Васильева собрались историки и филологивостоковеды из университета, Института народов Азии и Эрмитажа. Всего присутствовало 52 человека, заседали четыре часа.

Гумилев принял вызов и выступил с разбором рецензии. Замечания Васильева он разделил на две группы: дельные поправки; несправедливые упреки. К «дельным поправкам» он отнес только одну, самую незначительную. Остальные двадцать четыре Гумилев посчитал несправедливыми.

Васильев заявил, что так и не получил ответа на свои вопросы и замечания, и повторил: книга Гумилева всего лишь «систематический пересказ общеизвестных переводов… не вносит ничего принципиально нового в историографию Древней Центральной Азии».

Тогда в спор вступили востоковеды из ИНА и друзья Гумилева из Эрмитажа, университета и Государственной публичной библиотеки.

Востоковеды – синологи Лев Николаевич Меньшиков, Юрий Львович Кроль и тюрколог Сергей Григорьевич Кляштор ный удивлялись, как можно вообще изучать историю хуннов, не зная китайского языка? Только престарелый академик Струве, который знал Гумилева лучше коллег из ИНА, взял его сторону. Струве понимал, в каких условиях Гумилев писал свою первую монографию, почему не имел ни времени, ни возможности заниматься китайским. Струве осторожно возразил противникам Гумилева: пользоваться переводами можно, даже серьезные ученые (В.В.Бартольд, Б.А.Романов) ими не пренебрегали, а книгу Гумилева «невозможно вычеркнуть из списка научной литературы».

Друзья и знакомые взяли Гумилева под защиту. Борис Яковлевич Ставиский бил врага его же оружием: винил китаистов в том, что со времен Бичурина не появилось новых, более точных переводов. Михаил Федорович Хван находил неточности в рецензии Васильева и хвалил переводы Бичурина. Видимо, Хван окажется прав, переводы Бичурина были не так уж плохи, если сам Кляшторный спустя полвека после этой дискуссии будет ссылаться на его трехтомное «Собрание сведений» и цитировать

китайские документы именно по «дурным», «неточным», «дефектным» переводам Бичурина.

Даниил Натанович Альшиц побивал синологов классиком марксизма: «…незнание языка ирокезов не помешало Ф.Энгельсу сделать на основании наблюдений Моргана гениальные выводы о родовом строе».

Михаилу Илларионовичу Артамонову пришлось с особенным чувством защищать «Хунну», ведь он был научным редактором первой книги Гумилева. Артамонов замечал, что Гумилев написал обобщающую работу, значение которой не могут умалить мелкие недостатки.

Сторону Гумилева принял и Матвей Александрович Гуков ский, который председательствовал на заседании. Он разделил ученых на «мелочеведов» и «синтетиков». Синтетики создают целостные научные концепции, а мелочеведы исправляют их «частные ошибки». Сам Гуковский, как всякий настоящий историк, оригинал предпочитал переводу, но признавал за Гумилевым право пользоваться переводами, «так как китайский язык очень труден и изучение его требует значительного времени».

«Гумилевцы» единодушно ругали «враждебный тон Васильева», и их мнение стало как будто преобладать, хотя критика востоковедов была хорошо аргументирована.

Объединяло противников и сторонников Гумилева одно: всем понравился стиль. «Прекрасный язык» «яркой и увлекательной книги» хвалили безоговорочно.

Лавров считал, что обсуждение «Хунну» закончилось вничью. Но Гумилев в 1961-м году был уверен, что одержал победу.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 30 сентября 1961 года: «Злопыхателя разделали по первое число. Лучше всех выступил Хван, доказавший, что сей хам (Ким Васильев. – С.Б.) не знает ни древнекитайского, ни японского языков».

Однако в сентябре злоключения «Хунну» не закончились. 18 декабря 1961 года под председательством В.В.Струве состоялось заседание исторической секции Ленинградского отделения ИНА АН СССР. Гумилев не присутствовал, болел. Если бы на месте Гумилева оказался другой человек, я бы предположил «дипломатический» характер его болезни. Ведь по результатам обсуждения в Эрмитаже было ясно, что у востоковедов автора ничего хорошего не ждет.

Савицкий, прочитав стенограмму дискуссии в «Вестнике Древней истории», назвал ее пиром «людоедов, которым не удалось, к счастью, добраться до человечины». Гумилев не боялся «людоедов». Он с юности любил споры, дискуссии, полемику, при

необходимости мог защищать даже безнадежную позицию. Так что в декабре 1961-го именно болезнь помешала Гумилеву выйти на новый бой. Зато он послал на собрание «своего человека», Александра Никитина, сына Татьяны Крюковой. Тот пришел, послушал выступления ученых, все добросовестно записал и пересказал Гумилеву.

Выступили синологи (Панкратов, Штейн, Меньшиков) и ко чевниковеды (Заднепровский, Кононов). Все единодушно признали правоту Васильева, его рецензию сочли корректной и аргументированной, Гумилева еще раз уличили в неточностях и незнании языков.

Гумилев, заочно комментируя дискуссию, заметил Никитину: «Но ведь многие из них не знают, например, бенгальского языка».

Юрий Александрович Заднепровский, кажется, впервые причислил Гумилева не к ученым, а к прозаикам, беллетристам, историческим романистам: «Книга Л.Н.Гумилева – не историческое сочинение, а историческая повесть, имеющая не исследовательский, а беллетристический характер». Так в декабре 1961 года зародился миф о Гумилеве-беллетристе, талантливом писателе, но легковесном, несерьезном ученом. Востоковеды, историки и филологи в тот день почти не спорили, все было и без того ясно. Академику Струве оставалось только подвести итоги, заступаться за Гумилева здесь не имело смысла.

КТО ВИНОВАТ?

Сам Гумилев списывал разгром своей первой монографии на враждебность востоковедов: «… в Институте востоковедения… ко мне было исключительно плохое отношение».

Биографы Гумилева убеждены в предвзятости критиков. Валерий Демин с потрясающей развязностью обозвал оппонентов Гумилева «околонаучным стадом». Сергей Лавров назвал дискуссии вокруг «Хунну» «расправой с новичком». Не раз встречались и предположения, что рецензия Васильева была «заказной». Но кому и зачем понадобился этот заказ? Не тени же Козина и Бернштама восстали из могил и заставили синологов и тюркологов дружно громить Гумилева? Да и можно ли считать новичком Гумилева, который защитил кандидатскую диссертацию еще в далеком 1948-м, а теперь заканчивал докторскую.

Новичками были как раз критики Гумилева. Ким Васильев толькотолько окончил университет и еще не успел защитить диссертацию. Мальчик из ленинградской рабочей семьи, блокадник и сын фронтовика, прилежный и талантливый студент, которого рекомендовал принять в штат Ленинградского отделения ИНА сам академик Струве, Васильев еще студентом начал печататься на страницах «Вестника Древней истории». Со временем он станет известным синологом, специалистом по культуре древнего Китая и древнекитайской книжности. Да и сама рецензия говорит о немалой эрудиции и блестящей историко филологической подготовке Васильева.

Лев Гумилев и Ким Васильев были серьезными учеными, преданными исторической науке, но их взгляды на «благородное ремесло историка» слишком различались. По воспоминаниям коллег, Васильев был «горячим поклонником» известного египтолога Ю.Я.Перепелкина. У Перепелкина он заимствовал его конкретно исторический метод. Суть этого метода Перепелкин растолковывал следующим образом: «Я историк, а не социолог. Я хожу по Древнему Египту и описываю все, что там вижу. <…> Когда я вижу на фресках египетских пирамид изображения петухов и не вижу изображений кур, то я и пишу лишь о петуховодстве».

Другой критик Гумилева, Сергей Кляшторный, в 1961-м тоже еще не защитил диссертации, но уже заведовал библиотекой Ленинградского отделения ИНА. Кляшторный был как раз тюркологом, специалистом по древнетюркским руническим надписям. Вообще среди критиков Гумилева теперь преобладали

молодые, но высококвалифицированные востоковеды, из тех, кого отобрал для своего института академик Орбели. Семидесятилетний Виктор Морицевич Штейн (между прочим, хороший знакомый Петра Савицкого), крупнейший специалист по экономике Китая, был скорее исключением.

Сторонники Гумилева были и старше, и солиднее. Матвей Александрович Гуковский, один из крупнейший в СССР специалистов по эпохе Возрождения, например, заведовал кафедрой истории Средних веков исторического факультета ЛГУ и руководил научной библиотекой Эрмитажа. Что уж говорить о Струве и Артамонове!

Биографы Гумилева представляют его гением, вечно гонимым влиятельными, но бездарными и завистливыми невеждами. Так представлял дело и сам Гумилев. После очередного своего «хазарского» успеха, Гумилев сказал, что прежде его ненавидели востоковеды и этнографы, а теперь будут ненавидеть и археологи. Действительно, среди критиков Гумилева встречались и бездари, и завистники, были оппоненты, противники, но заклятых врагов, за исключением Ирины Пуниной и Анны Каминской, пожалуй, не было. С Гумилевым не сводили счеты, ему не завидовали (пока нечему было завидовать), его ругали за дело.

Выходит, критика востоковедов была справедливой? Не совсем. Васильев, Кляшторный, Заднепровский, Меньшиков судили автора «Хунну» чересчур строго. Первая книга Гумилева, при всех ее недостатках, показала, что ее создатель обладает редким даром настоящего историка. Ему не хватало только двух качеств: знания восточных языков и способности критически посмотреть на собственные выводы. Гумилев редко отказывался от полюбившейся идеи, даже если она входила в противоречие с фактами.

Гумилев тяжело переживал критику востоковедов, что отразилось в переписке с Петром Савицким. Пражскому корреспонденту пришлось даже утешать Гумилева: «…дискуссия вокруг ваших книг и статей приобретает "мировые" размеры. Радоваться этому надо, а не огорчаться по поводу глупых или несправедливых высказываний оппонентов. "Пусть ругают, только бы не молчали" – таков закон научного успеха. В споре этом я целиком на Вашей стороне, разделяю все Ваши соображения…»

Письмо датировано 23 марта 1963 года. К этому времени в дискуссиях о «Хунну» наступил перелом. Еще в 1962 году журнал «Народы Азии и Африки» напечатал еще две рецензии на «Хунну». Одна из них была даже чересчур доброжелательной, ее автор, синолог Михаил Васильевич Воробьев, дружил с Гумилевым.

Другая – сдержанная, но не ругательная, не разгромная, принадлежала перу синолога Лазаря Исаевича Думана. Того самого Думана, чьи комментарий и предисловие к сочинениям Сыма Цяна в свое время так не понравились Гумилеву. Пожалуй, это наиболее взвешенная из рецензий на «Хунну». Думан также критиковал Гумилева за неточности и заметил, что многие трактовки Гумилева очень спорны, но, в отличие от Васильева и Кляшторного, признал монографию Гумилева ценной: «В заслугу автору можно поставить последовательное из ложение скудных сведений о хуннах, разбросанных в различных китайских источниках и переведенных в свое время Н.Я.Бичуриным. Автор дополняет эти сведения археологическими данными и стремится достаточно полно, насколько это позволяют доступные ему источники, осветить всю совокупность проблем истории, социальной, культурной и экономической жизни хуннов».

Гумилев и Артамонов тоже не молчали. Еще в 1962 году они отправили в редакцию «Вестника Древней истории» письмо, составленное, очевидно, в большей степени Гумилевым. Редакция журнала опубликовала его вместе с другими материалами о дискуссиях вокруг «Хунну».

Из возражений Гумилева стоит отметить два.

Виктор Морицевич Штейн позволил себе одну рискованную фразу: «Проблема гуннов – прежде всего китайская проблема…» Гумилев увидел этот политический промах ученого и не преминул воспользоваться: «…почему надо считать, что Забайкалье, Монголия, Тува, Семиречье и Южная Сибирь, населенные тюрками и монголами, — историческая принадлежность Китая?!» Право же, стиль научных дискуссий прошедшей эпохи повлиял и на Льва Николаевича.

Другое замечание Гумилева и в самом деле интересно, пожалуй, это самый лучший его аргумент в споре: «Изучение китайских текстов – не единственный путь исследования, и нет ничего противоестественного в координации усилий ученых: филологи переводят тексты, а историки изучают описанные в них события».

С.И.Руденко, выступивший 28 марта 1963 года в Географическом обществе с докладом о дискуссии вокруг книги Гумилева, тоже говорил об «историческом синтезе» и сотрудничестве ученых. Руденко, выдающийся русский этнограф, исследователь кочевых обществ Евразии, подчеркивал, что «Л.Н.Гумилев подошел к постановке и решению вопроса не как востоковед-филолог или археолог, а как историк, базирующийся на знании всемирной истории. Он рассматривает историю хуннов как компонент общего всемирно-исторического процесса. Этот

подход, безусловно, оправдан, так как многоязычие источников по центральноазиатским проблемам исключает возможность использования их в подлиннике одним исследователем».

Но востоковеды и прежде, и теперь предпочитают этой научной мануфактуре традиционную, уважаемую работу средневекового мастера, который проводит самостоятельно все этапы исследования: от перевода и критики документа-источника до публикации оригинального научного труда, если только на последний остались время, силы, здоровье и желание. Примечательна судьба того же Кима Васильевича Васильева. Он напишет за свою жизнь только одну книгу – это будет его изданная диссертация «Планы сражающихся царств». Другая книга, «Истоки китайской цивилизации», выйдет через одиннадцать лет после смерти ученого. Для специалистов по истории Древнего Китая – книга ценная, но, увы, неоконченная.

ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

16 ноября 1961 года Гумилев защитил докторскую диссертацию. «Защита эта стоила мне очень больших травм и потерь, — утверждал Лев Николаевич в своих воспоминаниях, надиктованных в 1987 году на магнитофон, — т. к. в Институте востоковедения, откуда, очевидно, и писали на меня доносы, ко мне было исключительно плохое отношение. И когда прислали эту диссертацию в московское отделение Института востоковедения, ее сначала потеряли, потом, когда я вернулся, ее разыскали, но отказали мне в рецензии на том основании, что у них Древний Восток – до V века, а у меня – VI-й. Но потом мне все-таки выдали положительную рецензию, и я защитил диссертацию единогласно».

Печальная судьба гонимого ученого… Лев Николаевич, как и его великие родители, умел создавать себе репутацию. Кроме того, атмосфера борьбы с «недоброжелателями», «завистниками», «врагами» была Гумилеву привычна и приятна. Недаром же казанский журналист Гафазль Халилуллов признает в Гумилеве «старого гладиатора».

9 мая 1961-го в Эрмитаже обсуждали диссертацию Гумилева. Многие востоковеды даже не пришли: «отдел востока своим отсутствием показал, что не имеет к теме никакого касательства». Тем не менее диссертацию одобрили, на осень назначили защиту: «Дело жизни сделано!» – писал Абросову Гумилев. Он явно торопил события.

Осень 1961-го была для Гумилева нервной. Он едва успел отдохнуть после хазарских экспедиций, как началась дискуссия вокруг «Хунну» и случилась последняя ссора с Ахматовой. И все таки по сравнению с мрачной, едва ли не трагической обстановкой 1948-го, когда полуголодный и безработный Гумилев уже не верил, что будет допущен к защите кандидатской, осень 1961-го кажется временем благополучным. На защиту вышел старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, признанный профессиональный историк. Оппонировал ему не какой-нибудь недоброжелатель вроде покойного Бернштама, а защитник и покровитель – Михаил Илларионович Артамонов. Защита и пройдет в высшей степени благополучно. По словам Д.Н.Альшица, которого Гумилев пригласил на защиту, на заседании ученого совета исторического факультета ЛГУ не хватало свободных мест: «многие плотной толпой стояли за рядами стульев» – первый знак его будущей популярности, предвестие громовой славы последних лет. «Защита прошла

триумфально», — вспоминала Наталья Казакевич. Даниил Альшиц пишет: «прошла блестяще и была очень интересной. Это хорошо известно».

Правда, на защите присутствовал человек, который мог бы вмешаться и, разумеется, не помешать и даже не подпортить торжество, но хотя бы завязать дискуссию. Это был Сергей Григорьевич Кляшторный, который два года спустя сменит блестящего лингвиста Андрея Кононова на должности заведующего сектором тюркологии и монголистики Ленинградского отделения ИНА АН СССР.

«Сережка», как называл его Гумилев, присутствовал 9 мая в Эрмитаже и участвовал в обсуждении. О дискуссии же Казакевич отозвалась одной фразой: «Присутствовали и внеэрмитажные историки, один из них, по фамилии Кляшторный, особенно рьяно нападал на автора диссертации». Но на защите Гумилева Кляшторный не выступил, так как «не хотел портить ложкой дегтя бочку меду». Возможно, дело было не только в этом. Сергей Григорьевич по крайней мере дважды видел, как ведет себя Гумилев в полемике, и не стал ввязываться в заведомо неблагодарное дело.

И докторская диссертация «Древние тюрки. История Срединной Азии на грани Древности и Средневековья (VI–VIII вв.)», и вышедшая через шесть лет монография «Древние тюрки» про шли гладко, почти без дискуссий, сопровождавших «Хунну», без скандалов, которые будут сопутствовать появлению «Поисков вымышленного царства» и «Старобурятской живописи».

Правда, если верить Гумилеву, недоволен был не один Кляшторный: «60 % востоковедов перестали мне кланяться и, по слухам, собрались выступить на защите с протестом, но в решительный момент испарились. <…> У них хватило ума понять, что все они вместе взятые знают историю раз в восемьдесять хуже меня одного», — писал Василию Абросову Лев Гумилев.

Принято считать, что «Древние тюрки» – «самая научная» из работ Гумилева, она больше других его книг соответствует нормам, принятым в исторической науке. Гумилев работал над историей древних тюрков с декабря 1935 года. Истории Тюркского каганата посвящены его дипломная работа и две диссертации. Немудрено, что за много лет, несмотря на огромные перерывы в работе, Гумилев собрал и обработал громадный исторический материал.

НАВОЗ НА ЗАДНЕМ ДВОРЕ,или ГЕНИЮ ВСЁ ДОЗВОЛЕНО

В истории работы над «Древними тюрками» есть и совершенно неизвестный эпизод, который биографы Гумилева или обходят вниманием, или же просто о нем не знают. Он в свое время не получил огласки благодаря деликатности Михаила Хвана и посвященной в его дела Татьяны Крюковой, да и сам Гумилев сумел избежать конфликта и скандала, которым могла обернуться публикация его блестящей монографии.

С Михаилом Федоровичем Хваном Гумилев познакомился в своем последнем лагере. Хван помимо родных языков – корейского и русского – хорошо знал японский и китайский. Пока Михаил Федорович сидел в лагере как «японский шпион», по его книге «Идеография» студенты Ленинградского университета изучали иерголифическую письменность.

В отличие от Гумилева, Хван до лагеря не успел защитить диссертации, поэтому во второй половине пятидесятых его положение в научном мире было шатким. Лев Николаевич предложил ему сотрудничество. В 1958-м два востоковеда начали готовить к печати неизданные работы Н.Я.Бичурина. «Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии» знаменитого русского синолога под редакцией Гумилева и Хва на вышло уже в 1960-м в Чебоксарах, на родине Бичурина.

Тюрколог и синолог, историк и лингвист, на первый взгляд они идеально дополняли друг друга. Но Гумилев, резкий, авторитарный и экспансивный, видимо, не мог слишком долго и вовсе бесконфликтно работать с другим исследователем. Ученые, особенно ученые талантливые, — вообще не слишком мирный и толерантный народ.

После защиты диссертации Гумилев дорабатывал и готовил к печати своих «Древних тюрков». Ему предстояло решить научную проблему. У каждого знатного тюрка было не только имя, но и чин, титул, а иногда и прозвище. Если шад (принц крови) становился ханом, то его титул менялся. А составители китайских хроник могли назвать тюркского хана и по титулу, и по имени, и по прозвищу. Кроме того, даже китайцы переиначивали тюркские имена, а в устах перса или грека, армянина или араба титулы тюркских ханов искажались до полной неузнаваемости. В результате один и тот же человек в разных источниках действовал под разными именами. Например, жил был такой То листегин (принц восточного крыла), известный еще как Ирбис

Ышбара (Барс могучий) и Сы-джабгу-хан («Вероломством достигший титула джабгу-хан»). Китайцы называли его Шили-дэле, Тел-и-дэли, Иби Бололюй, Болосы шеху-кэхань и Сы-шеху-кэхань. И все это один человек! Политическую историю каганата не понять, не разобравшись в этой головоломной тюркской ономастике, но Гумилев, не знавший китайского, в принципе не мог бы решить эту задачу. Поэтому он и призвал на помощь Михаила Хвана. У того был свой интерес: богатый материал, собранный вместе с Гумилевым, он мог бы использовать для работы над своей диссертацией.

Сотрудничество ученых как-то постепенно перешло в отношения «начальник – подчиненный». В письме Гумилеву Михаил Федорович так будет рассказывать о своей работе «над тюркской ономастикой по китайским данным»: «По мере готовности я сдавал Вам частями свои черновые наброски на Ваше рассмотрение и утверждение. Когда Вы отвергали какой-нибудь вариант, я искал другой, более подходящий. <…> С этого мо мента Вы, по существу, стали хозяином-заказчиком, моим научным руководителем и редактором моих филологических изысканий».

В марте 1962 года Гумилев поставил Хвану задание, но уже 7 мая 1962-го, недовольный работой Хвана, устроил своему коллеге скандал: обвинил в марризме (!) и незнании тюркских языков. Возмущенный Хван ответил письмом от 9 мая 1962-го, где напомнил Гумилеву историю их сотрудничества и спросил, уж не нашел ли Лев Николаевич другого, «более удобного помощника-китаиста»? Несмотря на ссору, Хван предложил все-таки довести работу до конца, но выдвинул одно условие: «… я считаю для себя делом чести довести Ваш ценный труд до высокого технического уровня. <…> Я Вам предлагаю поместить в самом конце приложения к Вашей книге СРАВНИТЕЛЬНУЮ ТАБЛИЦУ ТРАНСКРИПЦИИ ИМЕН И ТИТУЛОВ ХАНОВ (выделено М.Ф.Хваном. – С.Б.) первого каганата, но только п о д м о и м и м е н е м (выделено М.Ф.Хваном. – С.Б.), дабы Вы могли опираться на что-то во всей китайщине. <…> Вам даже не надо каждый раз ссылаться на меня. В оглавлении будет указано, и хватит».

Ответ Гумилева Хвану неизвестен, зато мы знаем, как Лев Николаевич представил ссору с Хваном своим друзьям.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 31 мая 1962 года: «Сильно подвел меня Хван. Он решил перевести нашу общую работу целиком на себя и вынес меня в сноски. При этом он переменил коечто по своему разумению, и получился вздор. <…> Он мне написал, что больше приезжать ко мне не хочет, но

чтобы я включил в мою книгу "именник" под его именем. Ну не идиот ли?»

Дружеские отношения между Хваном и Гумилевым были испорчены, хотя работу они все-таки довели до конца. Если прежде Михаил Федорович охотно приходил на Московский проспект в гости к своему товарищу по лагерю, то теперь даже деловые свидания проходили на нейтральной территории – у Татьяны Крюковой.

Гумилев охотно использовал помощь других людей, но как только дело было сделано и необходимость в помощнике отпадала, Лев Николаевич, случалось, довольно быстро забывал оказанные услуги.

Свое обещание Хван исполнил. Исполнил ли Гумилев? Исполнил, но, если верить письму Хвана к Татьяне Крюковой от 6 января 1968 года, далеко не сразу. В одной из редакций «Древних тюрков» имя Хвана будто бы не упоминалось, зато «вся реконструкция древнетюркских имен и титулов была приписана автору рукописи». Хван предупредил Гумилева: получится большой «конфуз», потому что востоковеды хорошо знали: Гумилев не владеет китайским и не умеет читать иероглифы. Тогда в другой редакции Гумилев в оглавлении не указал имени Хвана, но упомянул в тексте и в примечании к ономастической таблице: «М.Ф.Хвану принадлежит синологическая часть работы, выполненной нами совместно; за оказанную услугу приношу ему благодарность».

Хван, человек скромный и благородный, был вполне удовлетворен, в его глазах Гумилев «реабилитировал себя полностью».

Читатель, если возьмешь в руки «Древних тюрков», вспомни Михаила Федоровича, скромного и честного помощника, забытого ученого, чье имя не упоминают на «евразийских» сайтах и форумах.

«Я не обижаюсь на автора за использование моего труда в качестве "навоза" (которому надлежит быть на заднем дворе), — писал Хван. — Важно, что он помог пышно расцвести саду, а сад вырос великолепный. <…> Книга написана талантливо, и ее автору многое прощается; как говорится в быту, гению все дозволено».

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

Тема «Древних тюрков» необычайно обширна. При традиционном подходе Гумилеву бы, вероятно, едва хватило на нее всей жизни. Диссертация и монография Гумилева посвящены народу, который впервые в истории объединил почти все степи от Маньчжурии до Тамани, завоевал богатую и культурную Среднюю Азию и заставил еще более богатый и культурный Китай выплачивать огромную дань лучшими шелками. Но взгляд Гумилева еще шире: история тюрков встроена в контекст истории громадного региона – от Византии до Кореи, от Байкала и Ангары до Тибета и Сычуани. Время действия – два с лишним века. Гуми лев даже перекрыл историю собственно тюркских каганатов (первого тюркского, западнотюркского и восточнотюркского) VI–VIII веков. Первые страницы рассказывают о событиях V века – «Перемены на Желтой реке». Последние страницы посвящены истории Тибета и гибели Уйгурского каганата – это шестидесятые годы IX века. Почти четыре века истории, очень далекой от современности и предназначенной, казалось бы, лишь специалистам. Только слух специалиста по истории Центральной и Восточной Азии ласкают названия древних народов и городов: карлуки, тюргеши, басмалы, курыканы, Хотан, Бишбалык, Тур фан, Гаочан… Имена великих и ничтожных правителей, полководцев, героев давно занесло песком времени. Многие ли слышали о Ли Ши-мине, Тоньюкуке, Ашине Шени, Моянчуре, Иль-терес-хане? А ведь таких имен в монографии Гумилева – сотни. Историческая реальность Центральной Азии второй половины первого тысячелетия нашей эры для неподготовленного читателя так же фантастична, как мир далеких галактик. Тем интереснее необыкновенный успех «Древних тюрков».

Тираж первого издания был невелик – 4 800 экземпляров. Правда, современный ученый о таком тираже может только мечтать, но в Советском Союзе были другие нормы. Впрочем, многие научные книги тогда пылились на книжных полках, их даже скупали, чтобы сдать потом на макулатуру и получить заветный талон на собрание сочинений Агаты Кристи или Александра Дюма. Но «Древних тюрков» разобрали очень скоро, а Гумилев уже к началу семидесятых попадет в число немногих ученых, популярных у интеллигентного читателя.

Переиздадут «Древних тюрков» только после смерти Гумилева, переиздадут пиратски, нарушив авторские права Натальи Викторовны, наследницы бездетного Льва Николаевича. Товарищество «Клышников, Комаров и К°» выпустит «Древних

тюрков» в убогом переплете, на отвратительной серой бумаге, зато тираж этого издания поражает воображение – 200 000. И его раскупят очень быстро.

Со временем интерес к «Древним тюркам» не исчез. По данным редколлегии сайта «Гумилёвика», «Древние тюрки» в 1999 году оказались самой популярной работой Гумилева после супербестселлера «Древняя Русь и Великая степь», научно-популярной книги «От Руси до России» и трактата «Этногенез и биосфера Земли». К 2007 году «Древние тюрки» уже делили второе и третье места с «Этногенезом», уступая только «Древней Руси».

Гумилев не дожил до массового успеха «Древних тюрков», но сам он высоко ценил эту работу и старался придать ей особое значение:

«…книгу "Древние тюрки"… напечатали потому, что нужно было возражать против территориальных притязаний Китая, и как таковая моя книга сыграла решающую роль. Китайцы меня предали анафеме, а от территориальных притязаний на Монголию, Среднюю Азию и Сибирь отказались». Как тут не вспомнить слова Ахматовой, сказанные, правда, по другому поводу: «…я одна, и против меня 600 миллионов китайцев. <…> Китайцы жаждут моей крови». Вершители судеб, повелители народов, не иначе.

Разумеется, китайцы не жаждали крови Ахматовой, не предавали анафеме Гумилева, от территориальных претензий не отказывались. Монография Гумилева вообще-то не имеет никакого отношения к советско-китайским пограничным спорам, да и сам Лев Николаевич, если не считать этого необычного для себя высказывания, всегда отрицал так называемое «историческое право» на территорию. Он не раз говорил, что отдаст свою зарплату тому, кто найдет на земле хоть один народ, извечно живущий на своей земле, ниоткуда не пришедший и ничего не завоевавший.

В «Древних тюрках» Гумилев, как обычно, использует исторические реконструкции. О быте и нравах двора уйгурского хана в конце VIII – начале IX веков мало что известно, но Гумилев смело пишет о вырождении уйгурской знати, о губительном распаде семьи. Основа для таких выводов – принятие уйгурами манихейства – религии, отвергающей благость посюстороннего мира, проповедовавшей крайнюю аскезу и отказ от семейной жизни. Но между религиозными предписаниями и повседневной религиозной практикой могла быть пропасть. Манихейство запрещало убийство, но уйгуры, перейдя в манихейство, не перестали воевать и убивать своих врагов. Так что здесь

реконструкция подменяется фантазией автора.

Но фантазии в этой книге не так уж и много, даже самые смелые интерпретации Гумилева, как правило, опираются на факты, извлеченные из источников или самим Гумилевым, или его предшественниками-востоковедами. Гумилев вслед за Ньютоном мог бы сказать: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

В 1965 году в шестом номере журнала «Народы Азии и Африки» выйдет если не разгромная, то уж во всяком случае ругательная рецензия Гумилева на книгу Кляшторного «Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии». Памятливый Гумилев не простил нападок востоковеда и, как только представилась возможность, перешел в контрнаступление. Кляшторный, знаток древнетюркских источников, недооценивал влияние ландшафта на жизнь кочевых племен, в чем его не преминул уличить Гумилев: «…автор помещает Кангюй в суглинистой пустыне, где, в отличие от пустынь песчаных, даже при повышенном увлажнении растительность развиваться не может. <…> Предков тюрков – племя ашина – автор располагает в пустыне около соленого озера Гашуннор… даже не ставится вопроса о том, чем могли кормиться эти племена в пустыне».

В письме к Василию Абросову Гумилев оценивал книгу Кля шторного еще резче, но, может быть, даже точнее: «…сплошной туман из наукообразных фраз и сносок. Сам автор говорит, что хорошо, если во всем мире его прочтут человек 50. Цифра завышена… такие книги отбивают у читателей вкус к чтению научной литературы…»

Гумилев знал тюркские языки намного хуже Малова, Кононова или Кляшторного, но лучше них разбирался во влиянии ландшафта на народ, общество, на экономику и даже на политику кочевых держав Древности и Средневековья. А главное, у Гумилева был ценный для историка талант, который, кажется, впервые отметил Александр Юрьевич Якубовский («Юрьич» из писем Гумилева). Гумилев с гордостью писал Наталье Варбанец еще из омского лагеря: «…хунны, уйгуры, кара-кипчаки из контуров и теней постепенно превращаются в фигуры и иногда даже наливаются кровью. Я на них смотрю почти как на детей – я ведь вывожу их из небытия. <…> Помнишь, что сказал Юрьич на защите: "Из кучи хлама сделана связная история за сто лет"».

Хван, столько сделавший для Гумилева как раз во время работы над тюрками, был просто восхищен: «Книгу "Древние тюрки" я считаю шедевром как непревзойденный образец реконструкции живой действительности исчезнувшего народа.

Пусть не все детали точны и достоверны, но общая картина (социальное полотно) в целом убедительна в своей правдивости. <…> Вряд ли кому-нибудь другому удастся так ярко изобразить жизнь древних тюрков…»

Хван был совершенно прав, «Древних тюрков» будут признавать «неординарным явлением» и сравнивать с монографией известного немецкого востоковеда Лю Маоцзая «Китайские источники об истории восточных тюрков».

19 апреля 1961 года Гумилев напишет Савицкому: «Я "Тюрков" люблю больше, потому что в VI–VIII веках гораздо живее можно представить людей и события. Со многими ханами и полководцами я смог познакомиться, как будто они не истлели в огне погребальных костров 1300 лет назад».

Гумилев относился к героям своих книг скорее как художник, чем как беспристрастный исследователь. Особенно это свойство проявлялось в Гумилеве, когда он начинал писать о столкновении своих любимых кочевников – монголов и тюрков – с другими народами и с богатыми цивилизованными странами вроде Китая, Персии и даже Руси. Он почти всегда старался стать на защиту степняков, превращаясь из ученого в какого-то странного историка-адвоката. Особенно это будет характерно для его будущих книг – «Поиски вымышленного царства», «Древняя Русь и Великая степь». Но в «Древних тюрках» исследователь взял верх над природным тюркофилом. Нет книги более разрушительной для евразийской идеи, чем «Древние тюрки» Льва Гумилева. Гумилев куда убедительнее того же Кляшторного показал, что тюркский Вечный Эль был создан «длинным копьем и острой саблей» и скреплен почти исключительно военной силой тюрков, заставлявшей «головы склониться, а колени согнуться».

Гумилев восхищается военной доблестью тюрков. Глава о восстании Кутлуга, возродившего Восточный каганат, — одна из самых захватывающих, драматичных. Она намного интереснее исторического романа. Но Гумилев и не скрывает, что для вольных степных народов – уйгуров, карлуков, кыргызов – тюрки оставались поработителями, отношения между народами, по крайней мере в Восточном каганате, складывались как отношения между грабителями и жертвами грабежа. Поэтому Гумилев называет Тюркский каганат «государством-хищником», «некоторым подобием Спарты, но во много раз сильнее и больше». Объединение Великой степи под властью тюркского рода Ашина было для большинства народов большой бедой.

P.S.

«Хунну» и «Древних тюрков» обычно включают в «Степную

трилогию». «Степная трилогия» звучит красиво, но почему же в трилогии четыре книги? Перечисляю по году первого издания: «Хунну» (1960), «Древние тюрки» (1967), «Поиски вымышленного царства» (1970), «Хунны в Китае» (1974). Между тем все биографы повторяют одно и то же: трилогия. Создатели сайта «Гумилёвика» называют «Хунну» и «Хуннов в Китае» двумя книгами первой части «Степной трилогии». Сам Гумилев в предисловии к «Хуннам в Китае» довольно неожиданно назвал эту книгу первой частью «Степной трилогии». Но четырнадцать лет спустя, в «Биографии научной теории», Гумилев уточнит, что термин «трилогия» относится не к изданиям, а к народам: хунны – тюрки – монголы. Это, собственно, и есть «Степная трилогия», которой посвящены четыре книги и множество статей.

Я же не согласен ни с биографами, ни с самим Гумилевым. Здесь счет надо вести по книгам, а не по сюжетам и героям книг. Тем более что не только этногенез хуннов, тюрок-тюркютов и монголов описывает Гумилев. Герои его книг – десятки, если не сотни больших и малых этносов, от многомиллионных ханьцев до малочисленных шато, муюнов, черных абаров.

Как бы ни хотелось Гумилеву остановиться на числе «три», логика материала заставляет нас произнести неизбежное слово «тетралогия». «Степная тетралогия» объединяет историю Центральной Азии от III века до н. э. (с кратким историческим экскурсом в глубокую древность) до XIII века н. э. Цель же «Степной трилогии» – написать историю Центральной Азии от хуннов до монголов Чингисхана.

Часть IX

СТРАШНАЯ ТАЙНА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Хазары – страшная тайна Восточной Европы. Народ, возникший будто ниоткуда, ушедший в никуда. Точно не известны их предки, не найдены потомки. От хазарского языка сохранилось единственное слово – «Саркел», переведенное автором «Повести временных лет» на древнерусский буквально – «Белая Вежа»: «Иде Святославъ на козары. Слышавше же, козаре изыдо ша противу съ княземъ своим каганомъ, и съступиша ся бити, и бывши брани межи ими, одолѣ Святославъ козаром и городъ ихъ Бѣлу Вежю взя».

Саркел – крепость, охранявшая западные границы Хазарии от воинственных русов. Ее гарнизон – триста воинов – составляли не хазары, а иностранные наемники.

До похода Святослава Хазарский каганат контролировал огромную территорию от Мангышлака на восточном берегу Каспия до Средней Волги, Дона, Крыма. В сфере влияния или даже в прямом подчинении хазарских каганов находился почти весь Северный Кавказ. Хазары отразили наступление арабов и задержали распространение ислама по Восточной Европе – подвиг потрясающий, ведь незадолго до арабохазарских войн мусульмане сокрушили Персию и отняли у Византии все африканские и почти все азиатские владения. Константинополь устоял только благодаря техническому превосходству византийского флота, оснащенного огнеметами («греческим огнем»). В арсеналах же хазарских каганов таких технических новинок не было.

Арабские историки, географы и путешественники Ал-Масуди, ал-Истахри, ибн-Хаукаль сообщали о богатствах хазарских столиц – Итиля и Семендера, но археологи даже не знали, где искать их развалины, а сама история каганата напоминала какую-то невероятную мистификацию.[33]

Более всего ученых поражала религия хазар – иудаизм. Хазарский каганат – единственное средневековое государство, где иудаизм был религией господствующей, государственной. Сохранились даже хазарские дирхемы, очень похожие на арабские, но на арабских было написано: «Мухаммад – посланник Бога», а на хазарских – «Моисей – посланник Бога».

Почти все историки считали хазар кочевниками тюркского происхождения, потому что арабский географ ибн-Хаукаль написал, будто язык хазар похож на болгарский. А языком древних болгар считали тюркский. Большинство известных хазарских имен – или иудейские, или тюркские.

Тюрки-кочевники, исповедующие иудаизм, – какой диковинный кентавр, какая странная, неправдоподобная химера!

Гумилев заинтересовался хазарами еще в университетские годы.

Лето 1936-го – самое жаркое в первой половине XX века. В Москве столбик термометра преодолел отметку плюс 37. Даже в обычно прохладных лесах северной России и Урала пересыхали ручьи, мелели реки, горели торфяники. Облака не заслоняли землю от выжигающего все живое солнца, дым от горящих лесов окутывал города. А как жили и работали тем летом археологи в донских степях, даже и представить трудно. А ведь работали.

Летом 1936-го экспедиция Артамонова продолжала раскопки хазарской крепости Саркел. Тем летом Артамонов принял на работу бывшего (еще не восстановленного на истфаке) студента Гумилева, с которым познакомился годом ранее, когда вел раскопки в долине реки Маныч. Артамонов и заинтересовал Гумилева хазарской историей. Теодор Шумовский пишет, что в 1938 м в тюремной камере Гумилев читал лекцию не о тюрках или монголах, а именно о хазарах.

Через несколько лет после войны Артамонов продолжит раскопки крепости, и Гумилев вновь будет работать вместе со своим учителем практически до своего ареста в 1949 году. Артамонов завершит раскопки в 1951-м, а в 1952-м остатки Саркела окажутся на дне Цимлянского водохранилища.

Весной 1965 года издательство «Наука» заказало Гумилеву, в то время второму (после Артамонова) в Ленинграде специалисту по истории Хазарского каганата, небольшую научно-популярную книгу о Хазарии. Гумилев хоть и был несколько смущен задачей (научно-популярных книг он еще не писал), но быстро и легко справился с работой. Уже в ноябре 1965-го книга под названием «Открытие Хазарии» была закончена, а в июне 1966-го поступила в продажу.

К тому времени Гумилев уже успел опубликовать результаты своих хазарских исследований в научных журналах: «Азия и Африка сегодня», «Вестник ЛГУ», «Сообщения Государственного Эрмитажа». Специалисты – историки и археологи – о результатах его работы знали. Книга предназначалась не им, а простым читателям, хотя именно «Открытие Хазарии» оказалась одной из самых цитируемых книг Гумилева. Гумилев не только популяризировал, но и обобщил материал, разбросанный по отдельным статьям. Получилась вполне научная работа, написанная живым и легким языком. Пожалуй, в «Открытии Хазарии» (оно появилось за год до «Древних тюрков») Гумилев и

нашел форму для почти всех своих будущих книг. Каждая из них одновременно и научное исследование, и художественное произведение.

Обычно книги по археологии, а большая часть «Открытия Хазарии» посвящена именно археологическим вопросам, читать невозможно. Кто, кроме специалиста, станет вчитываться в скрупулезное описание куч древнего мусора, могильников, полуистлевших черепов? Но Гумилев, опытный литератор, уже знал, как заинтересовать читателя, чтобы тот с первых же страниц не отложил книгу в сторону. Он начинал загадкой:

«В один из весенних дней 1959 года я вошел в читальный зал библиотеки Эрмитажа и увидел профессора М.И.Артамонова, рассматривающего карту калмыцких степей. "Сколько километров в фарсахе?" – мрачно спросил он меня. Я припомнил общепринятую величину – 5,5 км, но профессор буркнул: "Не выходит", — и пригласил меня к карте. Дело заключалось в следующем. Хазарский царь Иосиф в письме к Хасдаи ибн-Шафруту описал ежегодную летнюю перекочевку своего двора. Весной он выезжал из своей столицы Итиль, расположенной на берегу Волги, и двигался на юг, к реке В-д-шан. Затем он перекочевывал на север, очевидно, избегая летней жары в засушливых прикаспийских районах, но двигался не домой, а к реке Бузан, отождествляемой с Доном, и оттуда возвращался к себе в Итиль, находившийся в 20 фарсахах от Бузана. <…> Все расстояния исчисляются от столицы Итиля. Следовательно, для того чтобы найти место столицы, М.И.Артамонов построил на карте треугольник, упиравшийся вершинами в реки Дон (Бузан), Волгу (Итиль) и Терек (Уг-ру), с длиной сторон, пропорциональной заданным расстояниям.

Однако установленная длина фарсаха – 5,5 км – противоречила его построению. Если принять эту длину за основу и опереть вершины треугольника на Дон и пусть даже не на Терек, а на Куму и Маныч, то столица Хазарского каганата должна оказаться в степи Северной Калмыкии, около Сарпинских озер. Это одно противоречило источникам, помещавшим Итиль на берегу Волги, а кроме того, пропадала большая река В-д-шан, находившаяся на 10 фарсахов севернее пограничной реки Угру. Задача казалась неразрешимой, и именно это заставило моего учителя задуматься».

Лев Гумилев несколько раз менял свои взгляды на происхождение хазар. Сначала он просто принимал точку зрения Артамонова, затем, в начале шестидесятых, выдвинул оригинальную, но не подтвержденную источниками версию, будто хазары были потомками гуннов и сарматских женщин. В

семидесятые Гумилев откажется от своей старой гипотезы и выдвинет другую, вовсе не опирающуюся на письменные источники, но, как ни странно, более убедительную: хазары – какой-то древний кавказский народ, жители долины Терека. Не тюрки и не кочевники. К созданию этой оригинальной гипотезы Гумилева привел человек, историей хазар никогда не занимавшийся.

ДРУГ БЕСЦЕННЫЙ

Вероятно, и Лев Гумилев не смог бы открыть Хазарию, если бы не дружба с Василием Никифоровичем Абросовым.

Это был крупный, нелепый, однорукий человек, как говорят, очень добрый, стеснительный, скромный. Сергей Лавров писал о нем с восхищением как о бескорыстном труженике, преданном науке и совершенно не интересовавшемся почестями, званиями, славой. Абросов не защитил диссертации, более того, у этого ученого-самоучки даже не было высшего образования: он окончил рыбохозяйственный техникум.

Ближайший друг Гумилева, кроме Эммы Герштейн, Анны Ахматовой и Натальи Варбанец только он в лагерные годы поддерживал с Гумилевым постоянную переписку. До ареста Лев Николаевич успел познакомить Абросова с Ахматовой. С тех пор «друг Вася» стал время от времени появляться и в Фонтанном доме. Даже после своего переезда в Торопец, а потом в Великие Луки (ленинградской квартиры у Абросова не было) он поддерживал дружбу с Ахматовой, всякий раз приезжая в Ленинград, заходил к ней в гости. Ахматова подарила ему один из своих сборников с подписью: «В.Н.А. Лучшему другу нашей семьи с самыми светлыми чувствами. Ахматова. 13 янв. Ленинград».

Абросов работал научным сотрудником Всесоюзного научно исследовательского института организации рыбного хозяйства, но со временем лишился и этой скромной должности и устроился ихтиологом в рыбинспекцию. Наукой он теперь занимался в свободное время, как истинный ученый, который работает не ради зарплаты или гонорара.

Абросов не умел делать карьеру, пробивать свои труды. Когда Гумилев попытался пристроить статью Абросова в научный журнал и начал при нем звонить академику С.В.Калеснику, президенту Всесоюзного географического общества, Абросов умолял положить трубку.

Со временем Абросов все-таки опубликует сорок научных статей и три монографии (все в авторитетном издательстве «Наука»), причем одна из его книг, «Зональные типы лимногенеза», по свидетельству Лаврова, станет теоретической основой многих докторских диссертаций.

В жизни Гумилева Абросов сыграл роль выдающуюся. Он консультировал Льва Николаевича, делился собственными научными идеями.

В 1962 году в престижных тогда «Известиях Всесоюзного

географического общества» вышла статья Абросова «Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон». В печать ее пристроил Гумилев. Вообщето благодарность никогда не была добродетелью Гумилева, но тут особый случай. «Другу Васе» нельзя было не помочь, ведь идеи Абросова станут географической основой не только «Открытия Хазарии», но и всех поздних статей и книг Гумилева, посвященных истории евразийских кочевников.

Абросов развивал идеи известного советского географа А.В.Шнитникова, много лет изучал озера Средней Азии, в том числе Балхаш и Аральское море, и нашел закономерность: усыхание Арала и Балхаша нередко совпадает с повышением уровня Каспийского моря. Кроме того, Абросов обратил внимание на связь между повышением/понижением уровня озер и солнечной активностью. Своими наблюдениями Абросов делился с Гумилевым еще в середине пятидесятых, когда тот сидел в лагере. Гумилев применил теорию Абросова к истории евразийских кочевников.

Экономика кочевников всецело зависела от климата. Если из года в год повторялись засухи, то степняки беднели, начинался падеж скота, а за ним и голод. Соответственно падала военная мощь степных империй и племенных союзов. Грозные хунну смиренно просили у китайцев разрешения поселиться на берегах Хуанхэ, многолюдная некогда страна Кангюй превращалась в безлюдную пустыню, а ее жители, канглы-печенеги, мигрировали в причерноморские степи. Когда циклоны с Атлантики возвращались на юг, пустыни отступали, появлялись вновь богатые пастбища, где паслись тучные стада овец и табуны лошадей.

По колебаниям уровня Каспийского моря можно было судить о климате окружающих степей и пустынь.

Василий Никифорович писал для специалистов, у него не было не только гумилевского тщеславия, но и гумилевского литературного дара. Он работал в обычном научном стиле: «Как известно, циклоны есть производное фронтов: полярного воздуха и субтропического, между барометрическими максимумами которых они проходят. Чем больше барометрическое давление в северной околополярной области относительно затропического максимума, тем южнее бывает расположена атлантикоарктиче ская барометрическая депрессия, тем ближе проходят циклоны с атлантической влагой, когда в северной околополярной области давление бывает низким, основные осадки, приносимые циклонами, выпадают севернее, в гумидной зоне. Для своего пути циклоны используют очередное положение барометрической

ложбины, вызывая гетерохронность периодов относительно повышенного уровня увлажнения гумидной и аридной зон».

А вот как о том же самом писал Лев Гумилев:

«**Возможны три комбинации увлажнения**: 1. При относительно малой солнечной активности циклоны проносятся над Средиземным и Черным морями, над Северным Кавказом и Казахстаном и задерживаются горными вершинами Алтая и Тянь Шаня, где влага выпадает в виде дождей. В этом случае орошаются и зеленеют степи, зарастают травой пустыни, наполняются водой Балхаш и Аральское море, питаемые степными реками, и сохнет Каспийское море, питаемое на 81 процент водами Волги. В лесной полосе мелеют реки, болота зарастают травой и превращаются в поляны; стоят крепкие, малоснежные зимы, а летом царит зной. На севере накрепко замерзают Бе лое и Баренцево моря, укрепляется вечная мерзлота, поднимая уровень тундровых озер, и солнечные лучи, проникая сквозь холодный воздух, раскаляют летом поверхность Земли. (Раз нет облаков – инсоляция огромна.) Это, пожалуй, оптимальное положение для развития производительных сил во всех зонах Евразийского континента.

2. Но вот солнечная деятельность усилилась, ложбина циклонов сдвинулась к северу и проходит над Францией, Германией, Средней Россией и Сибирью. Тогда сохнут степи, мелеют Балхаш и Арал, набухает Каспийское море, Волга превращается в мутный, бурный поток. В Волжско-Окском междуречье заболачиваются леса, зимой выпадают обильные снега и часты оттепели; летом постоянно сеет мелкий дождик, несущий неурожай и болезни.

3. Солнечная активность еще более возросла – и вот циклоны несутся уже через Шотландию, Скандинавию к Белому и Карскому морям. Степь превращается в пустыню, и только остатки полузасыпанных песком городов наводят на мысль, что здесь некогда цвела культура. Суховеи из сухой степи врываются в лесную зону и заносят ее южную окраину пылью. Снова мелеет Волга, и Каспийское море входит в свои берега, оставляя на обсыхающем дне слой черной липкой грязи…»

По долгу службы мне приходилось читать не только всех лауреатов, но и почти всех финалистов самых престижных литературных премий – «Русский Букер», «Большая книга», «Национальный бестселлер». Ни один роман я не читал с таким интересом, с таким удовольствием, как историко-географические статьи Гумилева, опубликованные в сугубо научных журналах.

ОТКРЫТИЕ ХАЗАРИИ

В конце пятидесятых профессор Артамонов готовил к печати свою фундаментальную монографию «История хазар». Она могла бы выйти и раньше, если бы не борьба с космополитизмом, то есть с евреями. После того как газета «Правда» выступила в декабре 1951 года с резкой критикой «преувеличения роли хазар в русской истории», хазарский вопрос неожиданно стал политическим, вероятно, впервые с X века. В антихазарской кампании принял участие даже Борис Александрович Рыбаков, будущий академик.

Во второй половине 1950-х Артамонов уже готовил книгу к печати, но время было упущено. Профессор Принстонского университета Дуглас М.Данлоп выпустил свою фундаментальную «Историю еврейских хазар» раньше Артамонова, и советскому ученому пришлось перерабатывать собственную книгу. Редактировать «Историю хазар» Артамонов пригласил Гумилева, а тот, в свою очередь, решил дополнить работу учителя и найти обе столицы Хазарии – Итиль на Волге и Семендер на Сулаке или Тереке.

О поисках Гумилевым Хазарии хорошо известно по его книге. Читать «Открытие Хазарии» увлекательно и полезно, только надо помнить, что перед нами не мемуары, а художественное исследование. Последовательность событий лучше отражена в переписке Абросова и Гумилева и в небольшом исследовании Ге лиана Прохорова, участника хазарских экспедиций Гумилева.

В августе 1959 года Гумилев впервые в жизни возглавил Астраханскую археологическую экспедицию Государственного Эрмитажа. Она была, правда, крохотной. Под началом Гумилева оказалось всего три человека: Василий Белецкий, Иштван Эрдели и Андрей Зелинский, причем Зелинский был принят в штат в последний момент. Венгерский археолог Эрдели привел московского археолога прямо на Павелецкий вокзал, откуда экспедиция отправлялась в Астрахань. Такими малыми силами много не накопаешь, поэтому в задачу ученых входила только археологическая разведка.

Гумилев описывал начало первой хазарской экспедиции красиво и поэтично: «Как истые "полевики", мы начали вести свои первые наблюдения еще из окон астраханского поезда. Ранняя северная осень со слякотью и моросящими дождями осталась позади, как только мы переехали Волгу. Яркая голубизна неба как-то особенно гармонировала с палевой желтизной иссохших трав, припудренных тонкой пылью. <…> Всё было насквозь

пропитано солнцем: и трава, и пыль, и меланхолические верблюды, и ветлы – мощные ивы с бледно-зелеными узкими листьями, трепетавшими под слабым дуновением ветерка».

В Астрахань прибыли в первых числах сентября. Этот город всегда славился изобилием и дешевизной икры и рыбы. Волжский осетр и белуга еще не стали редкостью, а баночка паюсной икры стоила в Астрахани 5 рублей (значит, после реформы 1961-го – 50 копеек) — стоимость десяти троллейбусных билетов. Но в этой пахнущей рыбой благодати осеннего южного города задерживаться не стали. Уже 8 сентября археологи сели на пароход и поднялись на нем вверх по течению до села Енотаевки, где, как предполагал Артамонов, им должны были встретиться остатки крепостных валов Итиля или хотя бы «черепки посуды, разбитой хазарскими женщинами».

Не нашли ничего. Много дней они будут исследовать протоки волжской дельты на моторной лодке, арендованной у какого-то местного сельсовета, но все находки экспедиции относились к более позднему, татарскому времени.

Единственной стоящей находкой стал черепок более древней, дотатарской керамики IX–X веков, найденный на берегу Ахту бы под толстым слоем речных наносов: уровень реки стоял много ниже обычного, и берег просматривался, «как на геологической срезе». Значит, на этом месте жили люди, пока их дома и сады не оказались под толщей воды. Гумилев решил, что все-таки нашел хазарскую столицу. Точнее, нашел место, где она стояла. Лев Николаевич был человеком темпераментным, а богатое воображение не всегда помогало правильно оценить находку. Юрий Кожин вспоминал, как во время Ангарской экспедиции Гумилев принял небольшой холмик с остатками горелого дерева за «остатки ритуального захоронения» и велел его зарисовать. Зарисовали, позвали Окладникова, но тот только хмыкнул: «Горелый пень» – и ушел.

Гумилев предположил, что столица хазар, как и многие их поселения, была просто затоплена. Но почему он решил, будто именно здесь, на берегу Ахтубы, близ урочища Мартышкин лес, располагался Итиль, до середины X века – один из самых блистательных городов Восточной Европы? Не из-за остатков же битого хазарского горшка? Местность показалась Гумилеву похожей на окрестности Итиля, как их описывали арабские путешественники и малик Иосиф. Увы, за тысячу лет конфигурация волжской дельты заметно переменилась.

8 октября 1959 года Гумилев писал Абросову уже из Ленинграда: «Я нашел место хазарской столицы, но не нашел ее саму. Она смыта». Гумилев рассказал о своей находке и своих

догадках: «Очевидно, в XI–XII был огромный подъем Каспия и Волги». Реакцию Абросова Гумилев описал в своей книге: «Ты сам не понял значения твоей находки». Вслед за этими словами он будто бы поведал Гумилеву свою идею гетерохронности.

«Всю ночь мы просидели над составлением хронологических таблиц, на которые наносили эпохи расцвета и упадка кочевых держав Великой степи, а к утру получили первый вариант климатических условий с точностью, при которой допуск равнялся примерно пятидесяти годам», — писал Гумилев.

Возможно, друзья и могли сидеть по ночам и составлять таблицы, но идею гетерохронности увлажнения Евразии Абросов с Гумилевым начали обсуждать в письмах еще зимой – весной 1955-го. В августе 1955-го Гумилев даже прислал из лагеря Абросову результаты своих расчетов. Так что Гумилев уже давно был в курсе дела. Что касается Абросова, то в октябрьском письме Гумилева он нашел доказательство своей гипотезы и просто напомнил другу о научной проблеме, которую они обсуждали четыре года назад.

17 октября 1959-го Гумилев изложил гипотезу о периодичности увлажнения евразийских степей и трансгрессиях Каспия[34] Артамонову. Тому идея понравилась, он дополнил ее собственными наблюдениями.

Гумилев и Абросов рассчитали, что ко времени появления хазар на арене истории – к VI веку – Каспийское море стояло на несколько метров ниже, чем в XX веке, а волжская дельта была намного обширнее и могла кормить многочисленное население. Гумилев назовет древнюю дельту Волги «каспийскими Нидерландами».

Гумилев решил искать хазар не в низинах, а на так называемых бэровских буграх – возвышенностях, никогда не заливавшихся водой. Свое название они получили по имени знаменитого российского естествоиспытателя Карла Бэра.

В Географическом обществе Гумилев познакомился с исследователем этих бугров, геологом Александром Алексиным, который возглавлял отряд Южной геологической экспедиции Академии наук. Гумилев с Алексиным договорились работать вместе и опубликовать результаты исследований. Благодаря Алексину материальная база экспедиции намного укрепилась. Археологам больше не приходилось выпрашивать лодки по сельсоветам. В распоряжении экспедиции была не только моторная лодка, но и машина. Теперь Гумилев сможет объехать всю дельту по суше и по воде, изучить все значимые протоки. Кроме того, появилась даже прислуга – шофер с кухаркой.

Экспедиция Гумилева – Алексина в середине августа 1960-го

начала раскопки на бугре Степана Разина и вскоре обнаружила остатки могильника хазарского времени, где нашли первого хазарина, которого скептики, впрочем, называли «татарином», пока экспертиза керамики (большого сосуда, найденного в погребении) не подтвердила древность находки.

В своей книге Гумилев рассказывал о дельте Волги пространно и поэтично: «Когда спускаешься от Астрахани, то сначала по обеим сторонам протока расстилаются зеленые луга, но вскоре на берегах появляются цепочки зарослей ивы, нежно шуршащие серебристыми листьями. Ниже они сменяются стенами высокого камыша или зарослями чакана, похожего на древние мечи. <…> А вечером солнце тонет в прозрачной глади протоков, и кажется, что вся толща воды пронизана багряными лучами заката. Ландшафт живет. То и дело плещется крупная рыба. На мелководье у берегов стоят внимательные цапли. В затонах плавают стаи уток. Иногда в камышах слышен шелест – это пробирается кабан…»

Это описание замечательно не только поэтичностью, но и важным наблюдением: образ жизни в дельте Волги резко отличается от привычного степнякам. Возможно, хазары, населявшие «каспийские Нидерланды», были прежде всего рыболовами и садоводами: «Хазария оказалась типично речной страной, расположенной южнее Астрахани, на площадях, частично ныне затопленных. Они (там) жрали рыбу и арбузы, а кочевниками не были. Об этом буду нынче писать».

Несколько лет спустя на конференции, посвященной памяти академика Л.С.Берга, Гумилев лишь разовьет мысль, высказанную в письме к «другу Васе»: «Ландшафт окружающих Волгу пустынь и полупустынь резко отличен от ивовых рощ и тростниковых зарослей поймы и дельты. <…> Здесь должны были обитать люди, совершенно не похожие на степных кочевников, оседлые, со своеобразным хозяйственным укладом и специфической культурой».

Но результаты раскопок 1960-го померкнут рядом с новыми открытиями.

ПОДВОДНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Эллины определяли возраст расцвета мужчины – акмэ – в сорок-сорок пять лет. Акмэ Гумилева наступило с небольшим опозданием. В годы хазарских экспедиций Гумилев спешно наверстывал упущенное.

Вскоре у Гумилева появился первый ученик – Гелиан Прохоров (Геля). История их знакомства как будто сочинена профессиональным беллетристом. Встретились они в поезде, когда Гумилев впервые в жизни поехал лечиться на Кавказ, а Прохоров собирался «полазить по горам». В Ленинграде их знакомство возобновилось, и Гумилев пригласил молодого человека к себе в гости: «Я пришел по указанному адресу – и ахнул, — вспоминал Прохоров. — Дело в том, что в этом самом доме на Московском проспекте, где жил Гумилев, я проходил строительную практику, когда учился в Военно-воздушной инженерной академии имени А.Ф.Можайского (еще до университета). У меня даже сохранилась фотография, где я малярничаю в будущей комнате Льва Николаевича». Гумилев был восхищен:

«Геля, — рокотал он, — пока меня реабилитировали, вы, оказывается, строили мне дом!»

Здесь Гумилев принимал гостей и вел с ними беседы, плавно перетекавшие в домашние лекции.

Из интервью Гелиана Прохорова: «…смысл моей жизни состоял в бесконечных разговорах с этим уникальным человеком и в чтении всего, что он писал. Историю он знал прекрасно, интересно ему было думать о ней, интересно, когда его мысли воспринимали, обсуждали. Очень живого ума был человек, очень! У меня же была просто ненасытная потребность говорить с Львом Николаевичем. Я наслаждался игрой его виртуозной мысли».

Знакомство с Гумилевым изменило жизнь Прохорова. Отчисленный из академии, недавно отслуживший в армии молодой человек поступит в 1960 году на истфак ЛГУ и сделает неплохую карьеру, став известным историком и филологом-русистом.

Гумилеву, несомненно, хотелось вернуться в привычный ритм научной жизни, усвоенный еще в студенческие годы: каждое лето – раскопки. Гумилев не был кабинетным ученым. Когда Ахматова с возмущением рассказала сыну о легкомыслии Николая Степановича, который уехал в Африку вскоре после свадьбы, Лев искренне удивился: «А как же можно было отказаться от экспедиции?»

Еще в лагере Лев Николаевич разболелся настолько, что был уверен: в экспедиции его больше не пустят. Все к тому и шло, болезнь не оставила Гумилева и на воле. Наталья Казакевич, сотрудница Эрмитажа, где с осени 1956-го работал Гумилев, вспоминала, как Лев Николаевич во время приступов «падал головой на стол и глухо стонал». Но уже летом 1957 года Гумилев поехал в экспедицию на Ангару, куда его пригласил Окладников. Поехал отчасти ради денег и ради дружбы с Алексеем Павловичем. А с 1959-го по 1967-й он будет ездить в экспедиции почти каждый год, планировать, ставить задачи, руководить раскопками и даже нырять с аквалангом в бурное море.

Летом 1961-го Гумилев решил подтвердить гипотезу Абросова новыми полевыми исследованиями и после раскопок в дельте Волги отправиться в Дербент. Этот древний город в юго-восточном Дагестане много лет был пограничным. Арабы называли его Баб-эль-абваб – «Большие ворота». Эти ворота держали на замке.

Персидские шахи из династии Сасанидов сделали Дербент самым северным пограничным городом своего государства. Самый знаменитый из Сасанидов, Хосров I Ануширван, велел построить в Дербенте стену, которая одним концом уходила бы в неприступные горы Кавказа, а другим – в море. Эта стена закрывала проход для воинственных кочевников северных степей в подчиненное тогда персам Закавказье. В определенном смысле северная дербентская стена оказалась миниатюрным аналогом Великой Китайской. Дербентская стена не спасла земли персов и грузин от хазарских и тюркских вторжений, тем не менее служила северной границей Персии вплоть до девяностых годов XVIII века.

Гумилев, не только историк, но и географ, отметил мудрость персидских строителей, соорудивших стену как раз на границе ландшафтных зон: «На север, насколько хватало глаз, простирается знойная, выгоревшая степь. Это вариант уже знакомого нам ландшафта, вытянувшегося языком между отрогами Кавказского хребта и берегом Каспийского моря. Он доходит до подножия Дербентской стены и кончается. К югу лежат склоны холмов, перемешанные с зарослями орешника и какими-то причудливыми кустами. Здесь даже воздух другой, такой же горячий, но пряный и немного терпкий. Здесь другая жизнь и другие культурные традиции ощущаются не только в каждом здании, а даже в каждом камне или обломке сосуда. Это место, где люди жили оседло и обороняли свою землю от северных кочевников».

Для Гумилева дербентская стена была чем-то вроде гигантского измерительного прибора. Арабские авторы X века

сообщали, что Хосров достроил морской конец стены, используя искусственную насыпь: в море бросали камни и свинец и уже на них построили стену. Но между этими сообщениями и строительством стены прошло четыре века. Дербентскую стену возвели в VI веке. Гумилев решил определить, в самом ли деле стену построили на искусственной насыпи, или же прямо на скальном основании грунта. Только в последнем случае гипотеза Абросова подтверждалась. Для таких исследований Гумилеву понадобились акваланг и сильный молодой помощник. Им и стал студентпервокурсник исторического факультета Геля Прохоров. Еще осенью 1960-го он слушал спецкурс Гумилева, а весной 1961-го пошел вместе с преподавателем в бассейн – учиться подводному плаванию.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову 29 июня 1961 года: «Я готовлюсь к экспедиции, которая должна начаться в июле. <…> Предполагаю проверить по дербентской стене уровень стояния Каспия в VI в. Для этого 2 месяца я ходил в бассейн и изучал способы подводных работ. Сегодня выполнил требуемые нормы: пронырнул 25 метров в длину и с глубины 5 метров достал груз в 5 кг. Сам себе с трудом верю, если учесть, как я валялся полгода тому назад».

Гумилеву тогда шел сорок девятый год. Двадцатипятилетний Гелиан Прохоров был подготовлен так хорошо, что тренер предложил ему участвовать в соревнованиях и очень удивился, услышав отказ.

Но работу начали не в Дербенте, а снова в дельте Волги. В июле 1961-го экспедиция Гумилева возобновила раскопки на бугре Степана Разина. На этот раз средства позволили нанять землекопов – местных старшеклассников. Первые дни успеха не было – ни могильников, ни черепков не могли найти. Если верить Гелиану Прохорову, однажды ночью он столкнулся с потревоженным духом хазарина и попытался убедить того не препятствовать раскопкам:

«Послушайте! — заговорил я наконец с невидимкой. — Если вы хазарин и боитесь, что мы найдем и осквернim ваши останки, то не бойтесь! Мы раскопаем вокруг вас землю, кисточками очистим ваши кости и все, с чем вас погребали, затем все это зарисуем, сфотографируем, упакуем в вату и отправим в Эрмитаж, в царский дворец, в Ленинград. Это большая честь».

Видимо, дух понял русскую речь и оценил перспективу переселиться в царский дворец. Уже на следующий день находки пошли одна за другой. Бугор Степана Разина оказался кладбищем, судя по разнообразию погребений – интернациональным. Гумилев предполагал, что в захоронениях

были кости хазар, тюрка, телесца и печенега.

После этого прорыва Гумилев с Прохоровым и Зелинским, «оставив народ докапывать бугор», отправились в Дербент.

Море у Дербента бурное, даже в сравнительно спокойные августовские дни работать там было можно только несколько утренних часов – с пяти до восьми. В девять поднимался сильный ветер и начинался шторм. Под водой проводили 40-60 минут. После работы, по словам Гумилева и Прохорова, они долго не могли прийти в себя, не было сил даже пойти в городскую столовую пообедать.

Гумилев так описывал работу морских археологов: «Сначала я плавал в тихой воде и через стекло маски рассматривал дно, устанавливая объект и задачу. Затем я влезал в лодку и брался за компас и дневник, а Геля (Прохоров) опускался на дно и дополнял визуальные наблюдения, ощупывая камни. Затем он выныривал и сообщал полученные данные, не отплывая с места подъема. Все тут же фиксировалось, и мы переходили на следующую точку».

Андрей Зелинский вспоминал о «тяжелом, авторитарном» характере начальника экспедиции, да и Гумилев признавался, что кричал на своих подчиненных «при малейшей задержке в работе».

Результаты экспедиции для него были важнее здоровья и жизни друзей. 10 августа Прохоров и Гумилев едва не погибли. Первый взял чужой акваланг с неисправным, как потом оказалось, манометром. Второго едва не раздавило тяжелой лодкой, на которой они выходили в море.

Жили ученые уединенно, с местными жителями почти не пересекаясь. Общались только с работниками спасательной станции, «добрыми русскими людьми», — на станции заправляли свои акваланги. Зато едва ли не единственное столкновение с кавказцами чуть было не стоило археологам жизни. Гелиан Прохоров вспоминал, как, получив в сберкассе довольно большую сумму денег, они с Гумилевым отправились гулять. По городу слонялись «молодые люди "кавказской национальности", многие с ярко выраженным желанием набедокурить. И вот один из встречных, щупленький, затуманенный вином или анашой, вдруг схватил меня за руку. <…> Щуплому джигиту очень хотелось драться, вернее, бить меня… я несколько раз уклонился от удара. Уложить его мне труда не составило бы, но я тут же получил бы удар сзади кастетом или ножом: кто-то из его компании уже стоял у меня за спиной. <…> Я поймал забияку за руку, завернул ее ему за спину и, обратившись к стоявшему за мной, предложил: "Пожалуйста, подержи". Все засмеялись…»

Примечательна реакция Гумилева. Инцидент он приписал

внешности Гели: Прохоров перед экспедицией отрастил бороду и, по мнению Гумилева, стал похож на Фиделя Кастро. Лев Николаевич убеждал молодого коллегу сбрить бороду, чтобы не «навлечь на себя ненависть аборигенов». Странный ход мысли. В 1961 году советские люди только Гагарина любили больше, чем храброго, молодого и красивого вождя кубинской революции. И у нас нет оснований полагать, что на Кавказе к Фиделю относились хуже, чем в Киеве или Москве. Но Гумилев, человек несоветский, был уверен в своей правоте: «Из-за вашей бороды чуть не была сорвана экспедиция!» – упрекал он коллегу.

Тренировки в бассейне не прошли даром. Аквалангисты свою задачу выполнили, тщательно исследовав подводную часть дербентской стены. Необходимые расчеты гуманитариям помогал сделать Алексин.

Результаты наблюдений в целом подтвердили гипотезу Абросова-Гумилева и позволили уточнить сведения арабских географов. Во-первых, оказалось, что морское продолжение имеет только северная стена, а не северная и южная, как считали прежде. По сведениям средневековых авторов, между южной и северной стенами была цепь, закрывавшая вход в гавань. Гумилев и Прохоров доказали: цепь если и была, то закрывала вход в огромную полую башню – ею оканчивалась морская часть северной стены. Эта башня, в которой из-за неисправного акваланга едва не погиб Геля, и служила своеобразной гаванью.

Во-вторых, подтвердились предположения Гумилева: морская часть стены была построена не на моле, а непосредственно на скальном основании, что было возможным только если уровень моря стоял в VI веке на несколько метров ниже, чем в X и в XX веках.

В-третьих, Гумилеву пришлось внести в свои расчеты поправку. Он считал, что море в VI веке стояло на шесть метров ниже, но полая башня-гавань, открытая Прохоровым, этому противоречила. С большой неохотой Гумилев признал, что уровень моря был не на шесть, а только на четыре метра ниже. Причем в своей статье «Хазария и Каспий», опубликованной «Вестником ЛГУ» и вскоре (первой из работ Гумилева) переведенной на английский, Гумилев использует еще данные своих старых расчетов и свой план, где башня обозначена не полой, а обычной, то есть стоящей на суше. Но в «Открытие Хазарии» Лев Николаевич все же поправку внес. Вообще нежелание отказываться от собственных устоявшихся суждений иногда переходило у Гумилева в научный догматизм, который вредил его исследованиям. Прохоров даже много лет спустя будет поминать приверженность Льва Николаевича «заранее

фортифицированным» идеям.

ИТИЛЬ И СЕМЕНДЕР

Экспедиция 1961 года – высшая точка хазарских успехов Гумилева. В 1962-1963-м его экспедиция раскопает еще несколько бугров, найдет несколько хазарских захоронений, но искать Итиль после первой неудачи 1959-го он так и не стал. Как теперь выяснилось, зря. В 2000 году астраханские археологи на юге дельты недалеко от села Самосделка нашли остатки большого поселения с кирпичной крепостью, похожей на хорошо известные оборонительные сооружения Саркела. Поскольку крупных городов IX-X веков, кроме Итиля и основанного позднее на его месте Саксина, в дельте Волги не было, то археологи решили, что перед ними тот самый Итиль.

Зато Гумилев в 1962 году отправился на поиски Семендера. Этот город искали в низовьях Терека, в районе нынешнего Кизляра, но Гумилев решил, что в Средние века в низовьях Терека город существовать не мог, потому что река часто выходила из берегов, а хазары не умели строить дамбы. Гумилев начал искать выше по течению и недалеко от станицы Шелковской, то есть уже на территории современной Чечни, нашел городище, которое признал древней хазарской столицей. Увы, серьезных доказательств у Гумилева на этот раз не было.

Археолог В.Б.Виноградов на страницах журнала «История СССР» раскритиковал Гумилева за поспешность и самонадеянность. По словам Виноградова, Гумилев просто выдал свою гипотезу за доказанный факт. При этом критик высоко оценил саму находку Гумилева: «…поиски … Л.Н.Гумилева не только закономерны, но и весьма результативны. <…> Им открыт уникальный и до сих пор фактически неизвестный науке объект. Ведь вплоть до посещения Л.Н.Гумилевым эта крепость, неизвестно с чьей уж "легкой руки", считалась русским городком Терки-2, построенным в 1578 году. Ни один археолог прежде не заметил, что так называемые "валы" крепости на самом деле представляют собой оплывшие стены, сложенные из сырцового кирпича. <…> Вплоть до книги Л.Н.Гумилева памятник так и не привлек внимания специалистов по Раннему Средневековью».

Виноградов безоговорочно признал городище хазарским, но отказался считать его Семендером. Дело в том, что современники описывали Семендер как большой и процветающий торговый город. Значит, от него должен был сохраниться богатый культурный слой – остатки жилых зданий, торговых лавок, базаров, свалок, остатки кладбищ, наконец. Но культурный слой Шелковского городища оказался бедным. В основном встречались

фрагменты керамики VIII–X веков, то есть хазарского времени. Значит, Гумилев открыл не Семендер, а какуюто пограничную крепость, построенную хазарами против кавказских горцев. «Словом, открытие Семендера не состоялось», — резюмировал Виноградов.

Гумилев, разумеется, ввязался в спор и написал в «Историю СССР» полемическую заметку. Но его аргументы были слабоваты, а завершил Гумилев свой текст неожиданно: «Все имеющиеся данные говорят за отождествление Шелковского городища с цитаделью Семендера, но не исключено появление новых данных, которые, может быть, заставят наше заключение пересмотреть».

Гумилев как будто готовит запасной мост для отхода. Значит, он все-таки усомнился в том, что нашел Семендер? Боюсь, что Гумилев разочаровался в своем открытии гораздо раньше. Вдумаемся: в 1964 году, вместо того чтобы продолжать раскопки Шелковского городища, Гумилев отправляется на реку Арчеда (приток Дона), присоединившись к экспедиции почвоведа Александра Гавриловича Гаеля.

Савицкий в Праге недоумевал: «…задаю тревожный вопрос: а Семендер? Вы должны обязательно найти этим летом время продолжить исследование Семендера – лично Вашего великого открытия. <…> Почему можно было копать хазарские могилы в других местах, а к интереснейшему городищу – равнодушие», — писал он в 1964-м. «Я прямо криком готов кричать, что раскопки в Семендере надо начать уже этим летом!» – горячился Петр Николаевич весной 1965-го.

Только в августе 1966 года Гумилев вместе с Артамоновым и двумя молодыми археологами, А.П.Столяром и А.В.Гадло, приехали в Шелковское городище и еще раз осмотрели его. За три часа собрали коллекцию хазарской керамики VIII-X веков, но времени для настоящих раскопок не было, Гумилев торопился на Пражский археологический конгресс. Раскопки возобновили в августе 1967 года. Гумилев тогда был приглашен консультантом в Кавказскую этноархеологическую экспедицию Ленинградского государственного университета. Его сопровождал Прохоров, уже аспирант Пушкинского Дома. Раскопки продолжались дольше месяца. На этот раз сенсации не случилось. В цитадели нашли еще керамику, керамику нашли и вокруг цитадели, но не так много. Картина раскопок мало напоминала остатки крупного города. Много лет спустя ленинградский археолог и этнограф А.В.Гадло, продолжавший исследовать Шелковское городище, фактически признает правоту Виноградова: Гумилев открыл «сезонную ставку хазарского военачальника».

Это была последняя экспедиция Гумилева. Его полевая

карьера, начатая летом 1931-го на Хамар-Дабане, окончилась на берегах Терека. В 1967-м ему исполнилось пятьдесят пять лет. Возможно, новым экспедициям мешали болезни, приобретенные в лагере. Не исключено, что свою роль сыграла «красивая москвичка», на которой Гумилев женился в 1968 году. Наталья Викторовна, вероятно, не хотела отпускать мужа на месяц-другой в общество юных студенток-практиканток. Но была и другая причина. Раскопки Шелковского городища сам Гумилев, видимо, не считал перспективными. Если бы он продолжал верить в свою находку, то постарался бы довести дело до конца. Гумилев не любил открытых финалов и старался не оставлять ученикам и последователям неразрешенных научных проблем. Наконец, самое главное: Гумилев со второй половины шестидесятых все больше занимался пассионарной теорией этногенеза. Времени на раскопки больше не было.

О хазарах Гумилев еще напишет очерк, который принесет ему скандальную славу. Идеи Шнитникова и Абросова о гетерохронности и заимствованный еще у Г.Е.Грумм-Гржимайло географический подход к истории древних этносов Евразии Гумилев будет применять до конца жизни.

ВРЕМЯ, НАЗАД!

От географического детерминизма Монтескье географический детерминизм Гумилева отличался, как современный ракетоноситель от древней пороховой ракеты. Французский философ считал, что климат и географическая среда влияют непосредственно на психику людей. Южные народы изнеженны и ленивы, северные предприимчивы и воинственны. Не только профессиональный историк, но маломальски образованный человек теперь докажет полную безосновательность такого метода.

Географический детерминизм Гумилева совсем другого свойства. В докладе, посвященном юбилею выдающегося географа Льва Семеновича Берга, Гумилев показал, как ландшафт и климат влияют на хозяйство народа, а через хозяйство – на общество и политический строй. На склонах Западного Тянь-Шаня, Тарбагатая и Алтая лето стоит сухое и жаркое, растительность выгорает, поэтому кочевники летом перегоняют скот на горные пастбища – джейляу, а на зиму заготавливают сено, потому что на склонах гор скапливается много снега и овцы не могут там кормиться без помощи человека. У каждого рода были свои места летовок и зимовок, а потому кочевые племена мало общались друг с другом и на протяжении последних двух тысяч лет практически не создавали сильных государств с единой авторитарной властью, как это было в соседней Монголии.

В этом этноландшафтном регионе появлялись чаще всего не сильные централизованные ханства вроде государства хуннских шанъюев или чингисидов. Напротив, преобладали племенные союзы и конфедерации – Юебань, карлуки, ойраты. Современная история Киргизии, единственной сравнительно демократической страны Центральной Азии, совершенно далекой от европейской культуры и западных политических традиций, как будто подтверждает правоту Гумилева. Каждый народ не только приспосабливает ландшафт к себе, но и сам приспосабливается к ландшафту. Даже в XX веке, при колоссальном развитии технологий и антропогенизации почти всех доступных для жизни ландшафтов, это правило продолжает действовать. Что же говорить о кочевниках древности, всецело зависевших от природы?

Географические работы Гумилева будут признаны прежде всего самими географами. Неслучайно в 1962 году его пригласят старшим научным сотрудником в Научно-исследовательский институт экономической географии ЛГУ.

Серьезные историки географических работ Гумилева не отрицали. Даже Лев Клейн, культурантрополог и один из самых последовательных критиков Гумилева, высоко оценил идею гетерохронности и ее применение в статьях Гумилева, выходивших на страницах «Вестника ЛГУ», «Народов Азии и Африки», «Известий Всесоюзного географического общества». Клейн даже пожалел, что Гумилев не продолжил исследований в таком перспективном направлении: «… в некоторых своих работах он был действительно замечательным ученым, сделавшим великолепные открытия, — это работы о циклических изменениях путей циклонов и влиянии этих изменений на жизнь и историю населения Евразии. Если бы он сосредоточился на этих явлениях, возможно, он был бы гораздо менее заметен в массовом сознании, но значительно более авторитетен в научном мире».

Не случайно именно работы о Хазарии и влиянии природной среды на историю кочевых народов начали в первую очередь переводить на английский, французский, венгерский, немецкий. Статьи Гумилева печатал не только нью-йоркский журнал «Soviet Geography», но и парижский «*Cahiers du monde Russe et Sovietique*», а также берлинские и будапештские научные сборники. Без ссылок на «Открытие Хазарии» не обходились наиболее серьезные отечественные хазароведы – Светлана Плетнева, ученица Артамонова, и академик А.П.Новосельцев.

Сейчас, почти через полвека после «Открытия Хазарии», странно видеть исторические карты, на которых Каспийское море в любую эпоху и любой век выглядит как на карте второй половины века двадцатого. Нет, археологи признают трансгрессию XIII–XIV веков. Находка Самосдельского городища, то есть, ес ли верить астраханским археологам, находка Итиля, эту идею еще раз подтвердила: город и в самом деле надолго уходил под воду. Но вот ссылаться на Гумилева и Абросова почему-то считается необязательным, хотя их научный приоритет здесь несомненен. Хуже того, после Гумилева, кажется, никто серьезно не пытался рассмотреть влияние климата и ландшафта не только на политическую, но даже на экономическую жизнь хазар. Смелая, но вовсе не безумная идея Гумилева об оседлых хазарах, рыболовах и садоводах, которые занимались не кочевым, а лишь отгонным скотоводством, вообще никем не разрабатывалась. С ней, впрочем, и не спорили – ее не заметили, продолжая бездумно повторять известную с XIX века догму: хазары – тюрки, хазары – кочевники.

Есть расхожая фраза: открытие, опередившее свое время. О хазарских находках можно сказать скорее наоборот: потерянное открытие.

Современная археология – пожалуй, самая прогрессивная из гуманитарных наук. Археологи гораздо чаще и охотнее используют помощь естественных наук для изучения и особенно датировки своих находок. Подводная археология, во времена хазарских экспедиций Гумилева державшаяся на энтузиазме пары тройки исследователей, развилась настолько, что появились уже целые научные центры. В России это «Фонд подводных археологических исследований» и НПО «Лаборатория К».

Но развитие гуманитарных наук не всегда идет по восходящей. Исследования Артамонова и Данлопа не устарели и в наши дни. После выхода в 1990 году фундаментальной работы А.П.Новосельцева «Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа» хазароведение вряд ли ушло далеко вперед. Скорее наоборот. Было много археологических находок, но их интерпретация зависела и зависит от письменных источников. Между тем за несколько десятков лет, прошедших со времен открытия Хазарии Гумилевым и выхода в свет артамоновской «Истории хазар», был найден только один документ, имеющий косвенное отношение к хазарам, — письмо еврейской общины Киева о сборе денег для выкупа задолжавшего соплеменника.

Проблему хазарских исследований точно определил все тот же Новосельцев. Он писал, что историки и филологи не умеют работать с находками археологов. Археологи, в свою очередь, плохо знают источники письменные. Он же впервые обратил внимание на подготовку ученых, представлявших «местные школы археологов в автономных республиках Северного Кавказа». Именно в их руки попало исследование многих памятников хазарского времени. Советский академик писал об этих специалистах политкорректно, но весьма определенно: «Их общеисторическая и источниковедческая подготовка не всегда находится на современном научном уровне, а невольное ограничение исследований территорией своих республик порой приводит к негативным последствиям, выражающимся в стремлении посильно связать прошлое этих республик с древними, известными из письменных памятников цивилизациями, а затем показать уже на интерпретации археологического материала особую роль предков своего народа в развитии последних».

Гелиан Прохоров был потрясен, когда прочитал в солидной, на первый взгляд, монографии, выпущенной в 1993 году издательством «Наука», о результатах работы Дербентской экспедиции, семь лет (с 1983 по 1990) изучавшей стены древнего города. «Башнипорта, в которую я заплыл, эти подводные

археологи, получается, просто не заметили, зато увидели несуществующее продолжение под водой южной городской стены, дали фантастическую длину подводных стен и нафантазировали о поперечных стенах с проемами, закрывавшимися цепями», — писал Прохоров. С результатами работы экспедиции Гумилева эти археологи даже не были знакомы.

ПОЧЕМУ ГУМИЛЕВ НЕ ПОПАЛ В «АННАЛЫ»?

Теперь понятно, почему труды Абросова и Гумилева, опубликованные в шестидесятые, почти неизвестны современным исследователям. Если археологи даже не читают историков и не знают о работах предшественников, то о головоломных проблемах палеогеографии и климатологии нет и речи. У большинства современных ученых для проверки гипотез Гумилева просто нет ни квалификации, ни достаточной эрудиции. Разговоры об интеграции наук и междисциплинарном подходе остаются только разговорами.

Между тем представители естественных наук правоту Абросова и Гумилева скорее подтверждают. В недавнем исследовании директора Института медико-экологических проблем Российской академии медицинских наук Юрия Мизуна приводится знакомая нам по статьям Абросова и Гумилева картина. Водоносность рек Средней Азии тем выше, чем больше выпадает осадков в степях и на склонах гор. Повышение солнечной активности усиливает солнечную радиацию, которая непосредственно влияет на климат земли. Повышение или понижение солнечной активности влияет не только на направление циклонов, но и на объем переносимого ими влажного воздуха. Климат Сибири и, в еще большей степени, Средней Азии определяется объемом влажного воздуха, который переносят циклоны с Атлантики и Средиземного моря.[35]

Европейские историки уже давно писали о влиянии климата на исторический процесс. Например, резкое похолодание в Европе XIV века (начало малого ледникового периода) приостановило экономическое развитие, привело к неурожаям, голоду, эпидемиям. В Италии часто выпадал снег, на севере Франции и Германии вымерзали виноградники и фруктовые деревья. Холодные проливные дожди губили урожай, гнила пшеница, а рожь поражала ядовитая спорынья. Организм полуголодного человека плохо сопротивлялся болезням, и недавно цветущие страны Европы опустошила эпидемия чумы, завезенной в Европу в 1347 году. Население самых развитых областей Европы сократилось едва ли не наполовину.

Если изменения в сравнительно мягком, морском климате Европы вызвали такие страшные последствия, то что говорить о кочевниках, чье хозяйство всецело зависело от резко континентального климата Центральной Азии.

Историко-географические статьи Гумилева не случайно так охотно переводили в Европе и США. Гумилев тогда, сам того не зная, шел в одном направлении с историками второго поколения школы «Анналов», самой авторитетной исторической школы Европы. Правда, с трудами «анналистов» Гумилев почти не сталкивался. Достоверно известно только о его знакомстве с русским переводом «Истории климата с 1000 года» Эммануэля Ле Руа Ладюри. Эту книгу французского историка Гумилев не только включит в библиографию своего «Этногенеза и биосферы», но и еще раньше, в 1971-м, отрецензирует в журнале «Природа». Монографию Ле Руа Ладюри Гумилев назовет «явлением незаурядным» и с удовольствием будет ее цитировать: «Превратить историка в специалиста только по вопросам гуманитарных наук – это означает искалечить его. Историк – это человек, изучающий время и архивы, человек, для которого ничто из того, что является документальным и датированным, не может быть чуждым». «В этой сентенции подкупает требование изучать не только историю людей, но и историю природы…» – комментирует Гумилев. Хотя вообще-то к работе французского историка он относился несколько свысока. Лев Николаевич был уверен, что уже добился в науке много большего. Боюсь, это было не совсем так.

Фернан Бродель в своей знаменитой монографии «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (первое издание появилось в 1949 году) задает вопрос: «Изменился ли климат по сравнению с XVI веком?» и предлагает подробнейший план исследований: «Расширять объем доступной нам информации, попутно ее систематизируя и классифицируя по заранее намеченным группам, чтобы каждая описательная деталь становилась на свое место – показатели влажности, сухости, холода, тепла в соотнесении с датой и временем года. <…> Выделить затем последовательности сходных событий: сроки сбора винограда, даты появления на рынке первого свежеотжатого масла, первого зерна, первой кукурузы; собрать сведения о вырубке деревьев, об изменении водного режима рек, о сроках цветения растений, о начале озерного ледостава, об образовании и разрушении ледяного покрова Балтики, о наступлении и таянии ледников, о колебаниях уровня моря – все это равносильно установлению хронологии долгосрочных или краткосрочных колебаний климата.

Второй шаг заключается в согласовании полученных данных и поставленных проблем с общими гипотезами и положениями».

Гумилев не мог провести столь же основательное

исследование, чтобы доказать свою идею об изменении климата евразийских степей за последние две тысячи лет. Во-первых, в его распоряжении не было таких источников: история Средиземноморья оставила по себе много больше следов, вещественных и письменных, чем история причерноморских, прикаспийских, приаральских степей и полупустынь. Во-вторых, Гумилев не занимался историей хозяйства и историей повседневности, его больше привлекала традиционная политическая и менее исследованная этническая история. В-третьих, Лев Николаевич не любил углубляться в такие исследования, перепроверять гипотезы, казавшиеся ему и без того доказательными.

Возможно, поэтому его статьи и не приняли в «Анналы экономической и социальной истории» – известнейший, авторитетнейший, почти легендарный французский исторический журнал, который, собственно, и дал название исторической школе. Не помогло и посредничество весьма уважаемого французской научной элитой востоковеда Семена Шишмана, который пробивал статьи Гумилева в «*Cahiers du monde Russe et Sovietique*» и даже называл Гумилева «хазарским Шлиманом».

Часть X

ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

5 марта 1966 года, в день смерти Анны Ахматовой, Михаил Ардов приехал в ее последнюю ленинградскую квартиру на улице Ленина. Раздался звонок в дверь. Вошел Лев Николаевич, снял шапку и произнес: «Лучше бы было наоборот. Лучше бы я раньше нее умер». На похоронах Ахматовой он не давал операторам вести киносъемку и, по легенде, сломал две кинокамеры.

Но у Гумилева не было времени скорбеть слишком долго. Вскоре после похорон ему предстоял доклад на чтениях памяти академика Берга, в разгаре была работа над теорией этногенеза, в продажу вотвот должно было поступить «Открытие Хазарии», в издательстве уже давно лежала рукопись «Древних тюрков», Гумилев начал последнюю часть «Степной трилогии». Но время от времени ему все же приходилось отвлекаться научных занятий.

С легкой руки Михаила Ардова тяжба между Гумилевым и Пуниными (Ириной Николаевной и ее дочерью Анной Каминской) получила грозное название «пунические войны». Самого Льва Николаевича Ардов называл «Кунктатором», что тому чрезвычайно понравилось.[36]

Предыстория «пунических войн» начинается очень давно, в середине двадцатых, когда Анна Ахматова поселилась в Фонтанном доме, а маленькая Ирочка Пунина поневоле стала ее соседкой. Ахматова нянчилась с Ирочкой, учила ее французскому, а когда та выросла, вышла замуж и родила ребенка, стала нянчиться с Аничкой Каминской, «Малайкой», как ее называл дед – профессор Пунин.

«Ирина и Аня – единственные люди на земле, которые говорят мне "ты". Я рада, как в детстве», — говорила Ахматова в мае 1954-го. Правда, на земле еще был Лев, о котором Анна Андреевна почему-то забыла. Ему оставалось сидеть еще два года.

Никто не жил рядом с Ахматовой столько лет, как Ирина и Аня. Надолго они расстались только в сентябре 1941-го, когда Ахматову эвакуировали из Ленинграда, а Пунины еще на несколько месяцев остались в блокадном городе.

Ирину Ахматова видела гораздо чаще, чем собственного сына. Неудивительно, что Ахматова к Пуниной привязалась и в последние годы тратила на нее значительные средства.

Привычка свыше нам дана,
Замена счастию она…

Скупая и суровая к сыну, Ахматова, кажется, ничего не жалела для Ирочки и Анички. Чуковская была уверена, что только ради них Ахматова, уже тяжело больная, «в 76 лет брала нелюбимую работу – переводы…». 8 декабря 1966-го Лидия Корнеевна писала академику Жирмунскому: «А.А. любила Аню и всегда заботилась о деньгах, квартире, даче для этой семьи. <… > А.А. хотела, чтобы Аничка могла наряжаться, чтобы И.Н. могла лечиться…» Поскольку Ахматова в последние годы жизни зарабатывала много, но денег не копила, то гонорары шли в основном Пуниной и Каминской.

Друзья Ахматовой в большинстве своем недолюбливали Пу ниных, особенно Ирину.

«Жалкая, темная, больная, неглупая, жадная», — так писала о ней Лидия Чуковская, относившаяся к Пуниной лучше многих.

Надежда Мандельштам ждала от Ирины Пуниной «клеветы и гадостей».

Эмма Герштейн впервые увидела Ирину еще в 1937 году: «… эта девочка совсем не походила на обычных детей. Она посмотрела на меня зло, ехидно…» Заметим, что в 1937-м «девочке» шел уже шестнадцатый год, но даже два года спустя Ирина, уже замужняя женщина с ребенком, показалась Чуковской «растрепанной девочкой». С Ахматовой эта «девочка» обходилась довольно бесцеремонно: звала Анну Андреевну запросто «Аней» и стучала в ее дверь кулаками и даже каблуками.

«Пунины – одно из самых гнусных явлений, которое мне довелось наблюдать в своей жизни», — вспоминал Иосиф Бродский.

Но соседство Пуниной и Каминской со временем стало для Анны Андреевны потребностью. Ахматова совершенно не могла жить одна не только в квартире, но даже в санатории. Дело здесь не только в бытовой беспомощности Ахматовой – она нуждалась в обществе. Летом 1958-го в Болшеве Ахматова жаловалась Чуковской: «…одна я больше не могу. Следующий раз непременно возьму с собой Иру».

Так или иначе, Пунины ухаживали за Ахматовой, хотя делали это неохотно и не всегда добросовестно.

В июле 1956-го Наталия Ильина бранила Ирину Пунину: «Анна Андреевна одинока, заброшена, неустроенна».

Лидия Чуковская писала пространнее и жестче: «Союз писателей в писательском доме предоставил квартиру Ахматовой (не Пуниным), они, живя с нею, не считают себя обязанными создавать в этой квартире быт по ее образу и подобию, быт, соответствующий ее работе, ее болезни. Ее нраву, ее привычкам. Сколько бы ни усердствовали, выдавая себя за "семью

Ахматовой", — это ложь».

Допустим, Герштейн и Чуковская необъективны, но даже Юлиан Григорьевич Оксман, во время «пунических войн» принявший сторону Ирины и Анички, оценивал Пуниных еще резче и злее: «Дочь и даже внучка Пунина очень холодны к ней (к Ахматовой. – С.Б.), а она их обожает. <…> Я видел у нее Пуниных – и понял, что они ее ненавидят, а не бросают совсем только из корыстных соображений».

Эмма Герштейн описывает сцену, которая многое дает понять в отношениях Ахматовой и Пуниной. Дело было в Комарове, в начале шестидесятых: «…навстречу быстро идут две полузнакомые женщины. Это – бывшие соседки Ахматовой и Пуниных по квартире на Красной Конницы. Торопятся на станцию. А через минуту вижу, как их пытается догнать Анна Андреевна. Спотыкается о проступившие из-под земли огромные корни старых сосен, почти бежит. "Что случилось?" – спрашиваю я в ужасе. "Случилось большое несчастье, — задыхается Анна Андреевна, — я забыла в городе свою записную книжку". В эту минуту приблизилась Ира Пунина, медленно шедшая позади в пижамных штанах. "Как мне все это надоело", — брюзжит она».

Ахматова же относилась к Ире и Аничке заботливо и нежно, многое им прощала и была очень высокого мнения о душевных качествах Ирины Николаевны, считала ее благородной, справедливой и честной: «Ирочка никогда не посягнет на то, что принадлежит Леве…»

Ирина Пунина и Лев Гумилев враждовали друг с другом много лет. Эту вражду провоцировал еще покойный Николай Николаевич, демонстративно унижая Гумилева. Помните? «Масло только для Иры».

По словам Н.Я.Мандельштам, Ирина, узнав о возвращении Гумилева из лагеря, заплакала: «…до меня доносились вопли и рыдания Иры». «Ире бы волю, — комментировала рыдания Иры Надежда Яковлевна, — Лева просидел бы в лагере до конца своих дней. И не почему-либо, а ради доходов, которые она получала со старухи». Анатолий Найман был уверен, что именно Ирина настраивала Ахматову против сына.

После возвращения Гумилева из лагеря между Ириной и Львом случались и перемирия, например, в августе, когда оба поминали погибших отцов – расстрелянного Николая Степановича и умершего в лагере Николая Николаевича. Однажды подвыпивший и подобревший Гумилев, по свидетельству Ардова, даже произносил тост: «Ну, Миша, выпьем за то, чтобы Ира была хорошая». Но перемирие между ними никогда не могло стать прочным миром: «Ира и Лева ненавидят

друг друга», — говорила Нина Антоновна Ольшевская. Гумилев называл Ирину пиявкой, которая присосалась к его матери, когда та стала прилично зарабатывать.

Но Анна Андреевна уже попала в совершенную зависимость от Пуниных и очень огорчалась, что все вокруг так «плохо относятся к Ире».

Надежда Мандельштам была уверена, что Пунины только эксплуатируют Ахматову, а сами тем или иным способом выгоняют ее из дома, заставляют каждую зиму отправляться в Москву.

Ахматова и в самом деле все больше времени проводила в столице, где ей приходилось жить то у Ардовых на Ордынке, где всегда было много народу, то у своего литературного секретаря Ники Глен на Садовой-Каретной, где в большой коммунальной квартире ютились шесть семей, то у Марии Петровых на Беговой, то у Любови Давыдовны Большинцовой-Стенич в Сокольниках.

Наталия Ильина вспоминает, как по вечерам провожала Ахматову «на ночлег к кому-нибудь из друзей: к Марии Сергеевне Петровых, к Фаине Григорьевне Раневской или на квартиру Шенгели. <…> Мы влезаем в переполненный автобус. <…> Мест нет. Ахматова пробирается вперед, я задерживаюсь около кондукторши. Взяв билеты, поднимаю глаза и среди чужих голов и плеч различаю хорошо мне знакомый вязаный платок. <…> Старая женщина в потрепанной шубе, замотанная платком. <…> Ее толкают: "На следующей выхóдите?"».

Юлиан Оксман удивлялся, что Ахматова, «проводящая больше половины года в Москве, живет в таких трудных условиях – всегда "на краешке чужого гнезда", как бедная родственница». Лингвист А.А.Реформатский называл это «бедуинским образом жизни». Ахматовой нравилось его определение.

Иногда Ахматова как будто стряхивала с себя пунинское наваждение и вдруг с «нарастающим гневом» говорила Чуковской: «Ирочка и Аничка никогда не помнят ничего, что меня касается. Они хотят жить так, будто меня не существует на свете».

ЗАВЕЩАНИЕ АХМАТОВОЙ

20 сентября 1955 года, когда Гумилев в лагере еще таскал опилки из-под электропилы и писал Абросову об отражении аридизации климата Центральной Азии в китайских источниках, Ахматова неожиданно отправилась в нотариальную контору и написала завещание, по которому все имущество, «…где бы таковое ни находилось и в чем бы оно ни заключалось, наличные деньги, ценности, облигации госзаймов и причитающиеся мне гонорары от издательств, я завещаю в полную собственность ПУНИНОЙ Ирине Николаевне».

Ирина Пунина утверждала, будто решение Ахматовой было для нее совершенно неожиданным. В это поверить просто невозможно. Ахматова боялась смерти и вообще не любила говорить ни о завещании, ни о наследстве. Настолько не любила, что Маргарита Алигер была потрясена, услышав от нее слово «наследник»: «Наследник? Какое странное в устах ее слово! Значит, уже задумывалась о конце?» Разговор этот происходил осенью 1965-го в Боткинской больнице, за несколько месяцев до смерти Ахматовой. Но десять лет назад Ахматова была от мыслей о смерти, наследстве и наследниках гораздо дальше.

Трудно представить, чтобы Ахматова сам решилась пойти в нотариальную контору и вообще нашла туда дорогу без посторонней помощи. Но «посторонняя помощь» как раз оказалась под рукой. В нотариальную контору ее привела Ирина Пунина.

И почему вдруг она решила лишить Гумилева наследства именно осенью 1955-го? Если бы дело происходило весной 1955-го, во время ссоры, когда Лев писал Ахматовой полные упреков письма, когда он жаловался на мать Эмме Герштейн и Наталье Варбанец, тогда понятно. Но в сентябре 1955-го никаких следов новой ссоры не было. Более того, даже после ссоры 30 сентября 1961 года, когда они окончательно расстались, Ахматова нигде и никогда не говорила, что собирается лишить Гумилева наследства.

Написать столь чудовищное завещание Ахматова могла только под влиянием Ирины Пуниной.

Когда Надежда Мандельштам будет убеждать Ахматову уничтожить это завещание, Анна Андреевна станет без конца ссылаться на «Ирочку»: «Что скажет Ира? Она обидится, что я ей не доверяю…»; «Вы не знаете Ирочку…»; «Вдруг Ирочка узнает!»

Ахматова порвала завещание в день возвращения Гумилева, то есть 15 мая 1956 года. Но еще очень долго не могла собраться

поехать в нотариальную контору и отменить его официально, ведь у нотариуса хранится один из экземпляров, с которого, в случае необходимости, тут же сняли бы копию, и завещание вступило бы в законную силу. Почемуто Ахматова была уверена, что все эти формальности никакого значения не имеют, а после ее смерти бескорыстная и благородная Ира, разумеется, все и так отдаст законному наследнику: «Ирочка справедливая и все отдаст Леве…»

Ахматова поехала к нотариусу только под сильнейшим давлением Надежды Мандельштам и Анатолия Наймана, который, собственно, и отвел ее к нотариусу 29 апреля 1965 года. В отличие от Пуниной Найман защищал не свои интересы, а интересы Гумилева, с которым был едва знаком и который его, Най мана, не любил и не доверял ему, как и всему «еврейскому окружению» Ахматовой. Анатолий Генрихович в «пунических войнах» показал себя человеком бескорыстным и благородным.

В 2005 году на страницах журнала «Звезда» появилось интереснейшее исследование Анны Каминской «О завещании А.А.Ахматовой», где она выдвигает собственную версию истории завещания. Найману в этой истории отведена роль главного и, несомненно, отрицательного героя.

Каминская намекает, будто Найман подделал документ – «заявление» Ахматовой об отмене завещания. Аргументы такие: есть противоречия между показаниями Наймана на суде и его собственным рассказом об отмене завещания, который он поместил в свои «Записки об Анне Ахматовой». На суде Найман сказал, будто бы он отлучился, когда Ахматова писала свое заявление, а видел только, что Ахматова собственноручно поставила подпись. В своих «Записках» Найман рассказал, что сам по просьбе Ахматовой написал заявление, а та его только подписала. Подлинник заявления Каминская нашла в Центральном нотариальном архиве Санкт-Петербурга, он подтверждает правильность именно второй версии Наймана: текст написан его рукой, но подпись ахматовская.

Найман так описывает события в нотариальной конторе: «Ахматова сказала: "Я разрушаю прежнее свое завещание". Он (нотариус. – С.Б.) объяснил, что это надо сделать письменно. Она почти простонала: "У меня нет сил много писать". Договорились, что он продиктует, я напишу, а она подпишет».

Каминская недоумевает: почему же Анна Андреевна не стала писать сама? Разве она была немощным человеком? Ведь она продолжала вести свои записные книжки, причем в них есть записи, датированные 28 и 29 апреля 1965 года.

Трудно сказать, лукавит Анна Генриховна или в самом деле

не понимает разницы между записной книжкой и официальным документом в нотариальной конторе. Ахматова вообще не любила заниматься такого рода делами, даже посылки к сыну за нее отправляла Эмма Герштейн. Написать же официальный документ для нее всегда было подвигом. Ей, как и многим творческим людям, очень тяжело давался даже переход на официально-деловой стиль. Александр Николаевич Козырев недоумевал, почему письмо Ахматовой к Сталину составлено так безграмотно, полно орфографических и синтаксических ошибок. Хотя объяснить это как раз просто: перейти на официально-деловой стиль для нее было, видимо, все равно что заговорить на малознакомом языке. Чтобы избежать новых мучений, Ахматова и попросила Наймана.

Между прочим, завещание от 20 сентября 1955 года Ахматова тоже не писала, а лишь подписала текст, набранный машинисткой в нотариальной конторе.

Вот еще пример. Ахматова обещала дать поэту и переводчику Константину Богатыреву рекомендацию в Союз писателей, но все не могла собраться написать. Когда Лидия Чуковская спросила, в чем для нее трудность, Ахматова ответила: «Я просто не умею ничего писать. Ничего, кроме стихов. Вы это знаете. <…> Лидия Корнеевна, приготовьте мне шпаргалку! Умоляю вас! Для вас это пустяки». Это было 10 января 1963 года.

Завещание Ахматовой было составлено в двух экземплярах. Один из них в нотариальной конторе, другой – дома у Ахматовой. Каминская пишет, что завещание из нотариальной конторы таинственно исчезло, фактически обвиняет Наймана в подлоге, а нотариуса Крючкова – в должностном преступлении. Но после того как Анна Андреевна, по ее словам, «разрушила завещание», его и не должны были хранить в конторе. Завещание отправили в архив, где его и нашла Анна Каминская много лет спустя.

О судьбе того экземпляра завещания, что остался на руках Ахматовой, Каминская вовсе не упоминает. Надежда Мандельштам, напомним, рассказывала, что Ахматова порвала его в день возвращения Гумилева из лагеря, то есть 15 мая 1956-го. Каминская не могла не знать об этом свидетельстве, она его и не оспаривает, но и не упоминает в своем исследовании, так как оно совершенно не вписывается в ее версию.

Некоторые доказательства, приведенные Каминской, всерьез принимать не стоит. Например, заявление об отказе от завещания Ахматова написала не на бланке, а на тетрадном листке. В глазах Каминской это очень подозрительно. На самом же деле заявление можно писать на листе бумаги любого формата, ограничений здесь не было. Еще забавнее другой аргумент: «29 апреля – день

именин Ирины Николаевны Пуниной. <…> Трудно предположить, чтобы Анна Андреевна, человек глубоких религиозных традиций, в такой день решила поехать в нотариальную контору». Религиозность Ахматовой – отдельный и довольно спорный вопрос, а предположение Каминской, будто именины Ирины Пуниной были таким уж священным днем, критики не выдерживает.

Каминская ссылается на известный и нам разговор Мандельштам и Ахматовой, невольно подслушанный. Надежда Яковлевна убеждала Анну Андреевну отменить завещание. Каминская датирует разговор октябрем 1965-го, то есть спустя полгода после того, как Анна Андреевна его отменила. По версии Каминской, Ахматова и знать не знала о том, что отменила завещание. Но Каминская совершенно игнорирует известное письмо Н.Я.Мандельштам Л.Н.Гумилеву от 14 марта 1966 года, где история об отмене завещания изложена весьма подробно: Анна Андреевна не хотела отменять завещания, потому что боялась скандала с «Ирочкой» и была уверена, что все и без того достанется Леве. Но в конце концов Ахматова все-таки сообщила Мандельштам об уничтожении нотариальной копии.

Допустим, Надежда Яковлевна необъективна, но, по свидетельству совершенно незаинтересованной в деле Маргариты Алигер, Ахматова и в последние месяцы жизни называла Гумилева своим «самым близким человеком» и своим «единственным наследником». Намерения Анны Андреевны сомнений не вызывают. А вот версия Анны Каминской и само ее исследование производит крайне неприятное впечатление.

Друзья Ахматовой упоминали имя Анны реже, чем имя ее матери, только Надежда Мандельштам заметила, что Каминская «хитрее и осторожнее» матери. Одно время Каминская будто бы уговаривала маму: «Пусть все будет дяде Левочке», но в тяжбе против Гумилева Ирина и Аничка выступали единым фронтом. И почти сорок лет спустя после смерти Ахматовой Каминская даже не усомнилась в справедливости своих действий. Гумилев, единственный сын и наследник, был отстранен от ахматовского архива и не получил ни копейки за его продажу.

Не усомнилась Каминская и в справедливости завещания 1955 года, хотя оно вызывает в лучшем случае недоумение. Возможно, Чуковская, Герштейн и, в особенности, Мандельштам относились к Пуниной предвзято. Их словам можно не верить, но как не поверить фактам?

«КАКОЕ ЗЛОДЕЙСТВО…»

Еще за несколько лет до смерти Ахматовой Надежда Мандельштам, самый убежденный и последовательный противник Ирины и Ани, была уверена, что Пунина и Гумилев со временем будут судиться. Ее предсказание сбылось.

После смерти Ахматовой положение Пуниной и Каминской было незавидным: они лишились стабильного источника дохода. Лев Николаевич унаследовал все: и деньги Ахматовой, и авторские права, и ее архив. Деньги Гумилев получил и потратил их на памятник Ахматовой. А вот рукописи законному наследнику так и не достались: весь архив Ахматовой Пунина и Каминская продали за приличные по советским понятиям деньги – 7818 рублей 45 копеек.

Гумилев собирался передать все бумаги Ахматовой в Пушкинский Дом за символическую плату (100 рублей). На его стороне было и большинство ахматовских друзей: Чуковская, Герштейн, Харджиев, Найман, Жирмунский, Мандельштам и даже Михаил Ардов (тяжба неожиданно разделила отца и сына — Виктор Ардов поддержал Пуниных). Но Лев Николаевич сделал все, чтобы проиграть «пунические войны». Поэтому Лидия Корнеевна и назовет его поведение «предательством». Я бы назвал это иначе: цепь ошибок.

Ошибка первая. Гумилев не стал заниматься архивом матери. Если бы он взялся сам разбирать бумаги Ахматовой, даже Пунины не смогли бы ему помешать. Он мог бы контролировать ахматовский архив, который «физически» находился в руках Пуниных (в их с Ахматовой квартире).

Ошибка вторая. Гумилев категорически отказал Эмме Герштейн, когда та предложила свои услуги в работе с архивом. Не стал он допускать к ахматовскому архиву Нику Глен и Анатолия Наймана, которых ему рекомендовали Лидия Чуковская и Мария Петровых. «…Бумаги будет разбирать Аня…», — отрезал Гумилев. Удивительная непоследовательность для человека, всегда презиравшего «подлую пунинскую породу»! Позднее Пунина и Каминская будут утверждать, что получили деньги не за продажу архива, а именно за работу с ним.

Чуковская прокомментировала решение Гумилева словами героини Островского: «Какое злодейство». Пунина и Каминская совершенно не знали издательского и архивного дела. Лидия Корнеевна была просто потрясена «темнотой», непрофессионализмом Пуниной: «…рукописи Анны Андреевны она не считает архивом (!). Архив – это письма к Анне Андреевне

от читателей (!), подстрочники к переводам (!), чужие рукописи (!)». Не лучше была и Анна Каминская. После смерти Ахматовой «Лениздат» предложил Каминской взяться за составление и подготовку сборника прежде не публиковавшихся стихотворений Ахматовой. Но вскоре договор пришлось расторгнуть, потому что «по уровню своей квалификации Каминская оказалась не в состоянии должным образом подготовить рукопись».

Ошибка третья. Гумилев запретил включать Анатолия Наймана в комиссию по литературному наследству Ахматовой и вообще «подпускать к архиву», хотя Найман, один из самых близких к Ахматовой людей, был естественным союзником Гумилева. Он больше, чем кто-либо другой, сделал для отмены чудовищного завещания Ахматовой.

Ошибка четвертая. Гумилев пренебрег советами Надежды Мандельштам, которая еще 14 марта 1966-го отправила ему пространное письмо с исключительно точным анализом сложившегося положения дел и ценными рекомендациями. Мандельштам предлагала Гумилеву приехать в Москву, чтобы «обсудить дела по литературному наследству помимо комиссии». Но он не приехал.

Ошибка пятая. Гумилев вообще отказывался принимать услуги старых друзей Ахматовой и самонадеянно заявлял, что «уже сговорился с Пушкинским Домом». При этом договор с Пушкинским Домом он заключил еще до того, как истекли положенные для вступления в наследство шесть месяцев. Гумилев явно тяготился наследством и хотел сдать его государству как можно скорее.

Возможно, он совершил еще одну ошибку. Якобы 7 сентября 1966 года, то есть уже после договора с Пушкинским Домом, Гумилев в разговоре с Пуниной, Каминской и Мыльниковым, заведующим отделом рукописей Публичной библиотеки, согласился передать рукописи Публичной библиотеке. Более того, добавлял Мыльников, Гумилев будто бы сказал: «Деньги за архив выплатите этим двум женщинам». Сам Гумилев утверждал, что такого соглашения не было и быть не могло, но суд поверил Пуниной, Каминской и Мыльникову, хотя все трое были людьми заинтересованными – у всех троих были основания лгать и сочинять. Однако непоследовательное поведение Гумилева заставляет задуматься. Не мог ли он сказать что-то такое в спешке, желая отвязаться от надоедливых и совершенно чуждых ему людей, позабыв о договоре с Пушкинским Домом или не придав значения собственным словам? Всетаки вряд ли. Но полумифические слова Гумилева суд сочтет «устным соглашением», которое имеет юридическую силу.

Пунины продали бумаги Ахматовой в отдел рукописей Государственной публичной библиотеки и в Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ). Случилось то, чего больше всего боялись: архив Ахматовой был разделен. Зато Пунина и Каминская, по советским меркам, стали обеспеченными дамами: ЦГАЛИ выплатил им 4500 рублей, Публичная библиотека – 3318.

«Бедная мама! Она так беспокоилась о "своих бумажках", а то, что вышло с ними, пожалуй, наихудшее из всего», — писал Гумилев Эмме Герштейн.

Публичная библиотека и Центральный государственный архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), вероятно, были не худшими хранителями архива Ахматовой, чем Пушкинский Дом. «…Интересы русской культуры в данном случае совпали с Вашими интересами», — писал Пуниной и Каминской Юлиан Григорьевич Оксман, неожиданно выступивший на их стороне. Против ЦГАЛИ в принципе не возражала и Лидия Чуковская. Плохо другое – разделение архива, проблема, совершенно не волновавшая Пуниных.

Только 21 ноября, когда часть архива уже была продана, а Ирина получила от Публичной библиотеки первый транш (600 рублей), Пушкинский Дом подал иск к Ирине Пуниной, а Гумилев «вступил в процесс в качестве третьего лица на стороне истца».

«Пунические войны» тянулись дольше трех лет, ожесточение достигло такой степени, что в письмах и разговорах их участников все чаще стали встречаться военные, фронтовые слова: «Огромные победы на ахматовском фронте», — записывала Лидия Корнеевна Чуковская в декабре 1966-го. Неделю спустя академик Жирмунский, Найман и Михаил Ардов наконец «пробились в крепость», то есть в квартиру Пуниных.

Увы, несмотря на отдельные, и весьма значительные, успехи антипунинской коалиции, «враг» не был разбит. Не помогли ни квалифицированные юристы (Анатолий Лукьянов, будущий председатель Верховного Совета СССР, и ленинградский правовед, доктор наук, Юрий Кириллович Толстой), ни друзья Ахматовой – это при странном и непоследовательном поведении Гумилева до конца стоявшие на его стороне.

Почему же Гумилев вел себя так странно? Почему проиграл такое верное дело, почему сразу не воспользовался помощью, которую ему предлагали?

Для Пуниной, Каминской, Герштейн, Чуковской, Жирмунского, Оксмана архив Ахматовой был величайшей ценностью, и только для Гумилева – обузой.

Тяжба тянулась с 1966-го по 1969-й, а все его силы и время

поглощала наука. Вспомним письмо Н.Я.Мандельштам. Оно датировано 14 марта 1966 года. Через пару дней она ждала Гумилева у себя, но как раз 16 марта 1966-го Гумилев выступал с докладом на чтениях памяти академика Л.С.Берга. Через два месяца, 19 мая 1966-го, Гумилев выступил на заседании отделения этнографии Географического общества с еще одним, на этот раз программным докладом «Этнос как явление». В этом же 1966-м Гумилев впервые в жизни поехал на международный симпозиум в Прагу.

Во второй половине шестидесятых Гумилев завершал работу над пассионарной теорией этногенеза, занимался не только любимыми историей и географией, но и головоломными для гуманитария системологией, биологией и биофизикой, консультировался у Бориса Кузина в Институте биологии внутренних вод, у Тимофеева-Ресовского в Институте медицинской радиологии АМН СССР, ездил на Шелковское городище проверять свою гипотезу о Семендере.

Если бы рядом с ним была верная и грамотная помощница, вроде той же Эммы Герштейн, он не проиграл бы процесса. Но Наталья Викторовна не разбиралась в литературоведении. Когда ей представили Льва Николаевича как сына Ахматовой и Николая Гумилева, это не произвело на нее впечатления.

Наконец, как раз в годы «пунических войн» Гумилев женился. А пока он занимался исследованиями и сватался к Наталье Викторовне, Пунины договаривались о продаже архива.

P.S.

За научными исследованиями и тяжбой с Пуниными Гумилев не забыл о своем долге перед матерью.

В день похорон на могиле Анны Андреевны поставили простой деревянный крест. Гумилев решил поставить более солидный памятник. Ленинградскому скульптору Игнатьеву он заказал мраморный барельеф Ахматовой, а псковскому художнику, реставратору и кузнецу Смирнову – большой металлический крест. Всеволод Смирнов сделал крест и припаял к нему свинцового голубя. Символика понятна. Смирнов заявил Гумилеву, что сын должен непременно сам принести крест на могилу матери. Гумилев сам протащил по кладбищу в Комарове тяжелый крест и установил его над могилой. Крест он вкопал глубоко, накрепко.

Часть XI

ТРОЯН КАК УЧ ЫДУК

Шестидесятые годы – расцвет ученого Гумилева. Одних только хазарских исследований другому ученому хватило бы с избытком, но Гумилев занимался исторической географией, древней тибетской картографией, тюркологией, монголистикой, археологией. «Вы достигли вершины, акме научного творчества, его подлинно цветущего состояния», — писал Гумилеву Савицкий. В шестидесятые появляются его первые статьи по этнологии – ступени к давно задуманной пассионарной теории этногенеза. «У него все время было стремление работать, работать, работать», — вспоминала Наталья Симоновская, невеста, а затем жена Льва Николаевича.

В шестидесятые Гумилев начинает заниматься историей Древней Руси, причем сразу же обращается к источниковедению и древнерусской филологии, хотя источниковедение всегда казалось ему скучным, а филология и подавно. Неудивительно, что первая его работа по русской истории окончится громким скандалом. Речь пойдет о самой большой неудаче в научной карьере Гумилева.

Все началось с того, что 23 февраля 1963 года доктор исторических наук А.А.Зимин прочитал в Пушкинском Доме доклад «К изучению "Слова о полку Игореве"», где доказывал, будто оно написано не в XII, а в XVIII веке. Датировка «Слова» – вопрос не только научный, но и политический, поэтому выступление Зимина многие восприняли как «враждебную выходку».

Гумилев, конечно, был в курсе дела, к тому же его внимание к дискуссии привлек и Петр Николаевич Савицкий: «Западные "благодетели" России подняли шум. <…> Знаю, что специально "Словом" Вы не занимаетесь. Но все же нельзя отрицать, что судьба "Слова" небезразлична и для кочевниковеда», — писал он Льву Николаевичу в мае 1963 года. Гумилев и в самом деле заинтересовался новой для него темой – датировкой «Слова». Старый лагерник и закоренелый враг коммунистической власти, он не принял участия в травле Зимина. На датировку Гумилев посмотрел своим, особым взглядом.

В октябре 1964 года на заседании отделения этнографии Всесоюзного географического общества Гумилев изложил свои идеи об истинном смысле «Слова о полку Игореве» и предложил новую датировку. Доклад длился полтора часа, в зале было около сотни человек. Очевидно, слушатели были потрясены, потому что никто не сумел возразить Гумилеву, хотя никто его и не

поддержал.

Гумилев датировал «Слово» не концом восьмидесятых годов XII века, а сороковыми – пятидесятыми годами века XIII. Автор «Слова», по мнению Гумилева, призывал князей к единству не в борьбе с половцами, слабыми и раздробленными, неопасными, а к борьбе с могущественными и воинственными монголами. Значит, «Слово» принадлежит к традиции русского западничества, которое Гумилев будет разоблачать в книге «Древняя Русь и Великая степь». Гумилев вообще считал всех русских противников монголо-татар или дураками, или западниками, но к первым автор «Слова» явно не относился.

Гумилев считал, что автор «Слова» просто зашифровал реалии своего времени под XII век, потому что в середине века XIII открыто призывать на борьбу с монголами было небезопасно. Видимо, Лев Николаевич невольно переносил в прошлое опыт XX века. И все-таки нельзя сказать, чтобы датировка Гумилева была уж вовсе еретической и совершенно оригинальной. Даниил Натанович Альшиц, профессиональный историк-русист, хороший знакомый Гумилева, тоже датировал «Слово» XIII веком. Альшиц связывал его создание с возникшей после битвы на Калке (1223 год) монгольской угрозой. Гумилев же пошел гораздо дальше.

Поразительна аргументация Гумилева. Он пытается по-новому растолковать смысл некоторых «темных» мест из «Слова», так до конца и не объясненных комментаторами и переводчиками. В числе этих «темных» мест и трактовка слова «Троян»: «тропа Троянова», «века Трояновы», «земля Троянова».

Пересказать это я не в силах, придется процитировать:

«Допустим, что "Троян" – буквальный перевод понятия "Троица", но не с греческого языка и не русским переводчиком, а человеком, на родном языке которого отсутствовала категория грамматического рода. То есть это перевод термина "Уч Ыдук", сделанный тюрком на русский язык. Переводчик не стремился подчеркнуть тождество "Трояна" с "Троицей". Эти понятия для него совпадали не полностью, хотя он понимал, что и то и другое относится к христианству. Но рознь и вражда между несторианством и халкедонитством в XII–XIII вв. были столь велики, что русские князья в 1223 г. убили татарских послов-несториан. <…> Начало "эры Трояна" падает на эпоху, когда учение Нестория было осуждено на Эфесском соборе 431 г. <…> Окончательно анафема упорствовавшим несторианам была произнесена на Халкедонском соборе 451 г. <…> В промежутке между Эфесским и Халкедонским соборами лежит дата, от которой шел отсчет "веков Трояна". Такая дата могла иметь значение только для несториан».

Допустим, но что же тогда означает «земля Троянова», ведь в «Слове» это явно синоним Русской земли, а на Руси несторианства не было. Гумилев сам себя загнал в ловушку? Нет, утверждает Гумилев, Троянова земля – это не вся Русская земля, а только Черниговское княжество, где в начале XII века княжил будто бы уклонившийся в несторианскую ересь Олег Святославич. Ни одного свидетельства этого ни в одном источнике нет, но Гумилев рассуждает так: все враги Олега Святославича были православными, значит, Олег не мог не искать «другого варианта христианской веры». Вообще-то у доброй половины русских князей XI - начала XIII веков враги (князья соседних княжеств) тоже исповедовали православие, но только Олег удостоился сомнительной чести стать первым (и последним) русским несторианином.

Откуда Олег вообще мог узнать о несторианах? А помог его друг Боян, который нашел путь «чрес поля на горы», то есть, по мнению Гумилева, Боян, тайный агент Олега Святославича, отправился или в Закавказье, или на Тянь-Шань, к несторианам. В чем же выразилась «несторианская ориентация» Олега Святославича? «Дело ограничилось попустительством восточным купцам и, может быть, даже монахам, симпатией к ним… сведения об уклоне… князя в ересь не попали в официальные документы…»

Что же выиграл Олег Святославич от такого поступка? Он ведь, по мнению Гумилева, руководствовался политическим расчетом. И если обращение Олега осталось незамеченным, почему же автор «Слова» даже сто пятьдесят лет спустя называет Черниговскую землю «Трояновой», то есть, по мнению Гумилева, несторианской?

Если бы население Чернигова, Новгород-Северского, Путивля и Курска перешло в несторианство, то я поверил бы версии Гумилева, но у нас нет сведений ни об одном русском несторианине! Говорить просто не о чем.

Я рассказал только о «Трояне», у Гумилева есть и другие аргументы, но почти со всеми дело обстоит не лучше, чем с этим «Уч Ыдуком», будто бы переведенным на древнерусский язык непонятно кем и непонятно для кого.

В сущности, датировка Гумилева основана на нескольких догадках, превращенных им в постулаты, не требующие доказательств. Научной ценности она, на мой взгляд, не представляет.

ГЛАВА № 13

Весной 1965-го доклад Гумилева, подготовленный к печати, вновь обсуждали. На этот раз свое слово сказали историки. С критикой Гумилева выступили даже его друзья, Даниил Альшиц и Матвей Гуковский. Тем не менее в самом начале 1966 года Гумилев опубликовал свой доклад под названием «Монголы XIII в. и "Слово о полку Игореве"», а еще через год тот же доклад в несколько измененном виде вышел под заглавием «Несторианство и Древняя Русь».

Многие специалисты сначала вовсе не заметили его докладов или решили не связываться с Гумилевым. Сохранилось свидетельство Натальи Казакевич, которая дружила с Верой Лихачевой, дочерью академика Дмитрия Сергеевича Лихачева: «…папа не счел нужным реагировать на статью… не сочтя ее положения достойными серьезного обсуждения», — рассказывала Вера Дмитриевна своей подруге. Даже симпатизировавший Гумилеву Георгий Вернадский с ним не согласился, но, разбив его аргументацию, счел необходимым подсластить пилюлю: «Перечел статьи Льва Николаевича с большим интересом. Все, что он пишет, всегда будит мысль – даже когда я не могу согласиться с его построением».

Вероятно, о докладе Гумилева вскоре бы позабыли, но Лев Николаевич очень гордился этим исследованием и включил его в свою новую книгу «Поиски вымышленного царства», которая вышла в издательстве «Наука» десятитысячным тиражом. И грянул гром.

В 1971 году журнал «Вопросы истории» опубликовал рецензию Б.А.Рыбакова, академика и директора Института археологии, одного из самых влиятельных ученых-гуманитариев в Советском Союзе. Дать оценку всей книге Гумилева Рыбаков не мог, так как не разбирался в истории Центральной Азии, но для разгромной рецензии ему хватило и единственной «древнерусской» главы. По иронии судьбы, ее номер оказался тринадцатым.

Академик Рыбаков показал самонадеянность Гумилева, который настолько не умел читать древнерусские источники, что, цитируя Ипатьевскую летопись, сделал в «пяти строках семь ошибок». Гумилев доказывал, будто Див из «Слова» – это монгольское божество земли Этуген, которое в Ипатьевской летописи названо «земли дьяволом»: «…по современной орфографии должно было бы стоять "земле-дьяволу"», — уточняет Гумилев. Дефис Рыбаков принял за знак переноса, он прочитал

слово так: «земледьяволу». «Но ведь этого существа в самом тексте летописи нет, — пишет академик, — там говорится о том, что татарская знать поклоняется Солнцу, Луне, Земле, дьяволу и находящимся в аду предкам. Здесь две разных категории объектов поклонения: во-первых, природа (земля и небо) и, во-вторых, ад и его обитатели с хозяином этого места во главе. Никакого «земледьявола» нет; он слеплен Гумилевым из конца одной фразы и из начала другой».

Гумилев пояснил, что надо читать «земле-дьяволу», но тем самым лишь одну ошибку сменил на другую.

Справедливости ради замечу, что Борис Александрович Рыбаков не был таким уж бескорыстным служителем науки, а разгромная рецензия в научном журнале, видимо, стала хорошо рассчитанной местью.

Рыбаков, в соответствии с руководящими указаниями газеты «Правда», принижал историческое значение Хазарского каганата, а значит, и евреев. Борис Александрович, таким образом, зарабатывал очки на борьбе с «космополитизмом». Но, слабо разбираясь в головоломной хазарской истории, он поместил Хазарский каганат в калмыцких степях. Это противоречило не только данным археологических раскопок, но и письменным источникам. Михаил Илларионович, главный советский хазаровед, был принципиальным оппонентом Рыбакова. И вот теперь, пусть не сам Артамонов, а его ученик, научный редактор «Истории хазар», попал в лапы академика. Тринадцатая глава «Вымышленного царства» – дорогой подарок всем противникам Гумилева.

Александр Васильевич Суворов готов был скорее уложить костьми всю армию и сам погибнуть, чем отступить.

Николай Степанович Гумилев, в детстве проиграв состязание в беге какому-то мальчику, потерял сознание.

Лев Николаевич Гумилев совершенно не переносил и не признавал поражений. Он тут же бросился Рыбакову отвечать.

Демонстрируя широкую эрудицию (ссылки от «Шахнаме» до «Войны и мира»), Гумилев придрался почти что ко всем придиркам Рыбакова. Не побрезговал даже оружием массового поражения – ссылками на классиков марксизма-ленинизма: «Вспомним слова К.Маркса в его письме к Ф.Энгельсу от 5 марта 1856 года, что "Слово о полку Игореве" написано непосредственно перед вторжением татар. Но в 1185 году монгольские племена еще не были даже объединены…».

«Вопросы истории» печатать ответ Гумилева отказались, тогда Лев Николаевич обратился в «Известия Всесоюзного географического общества», где его по-прежнему привечали, и в

солиднейший журнал «Русская литература», который выпускал (и выпускает) Пушкинский Дом. Оба журнала ответы Гумилева напечатали, но «Русская литература» в пару к статье Гумилева опубликовала статью профессионального и добросовестного специалиста по истории русской книжности Льва Александровича Дмитриева. Того самого Дмитриева, который шесть лет спустя будет готовить вместе с академиком Лихачевым издание знаменитой серии «Памятники литературы Древней Руси» в двенадцати томах.

В отличие от хорошо известной статьи Рыбакова взвешенная и аргументированная статья Дмитриева «К спорам о датировке "Слова о полку Игореве"» почти неизвестна, хотя заслуживает не меньшего внимания.

Дмитриев вел спор корректнее Рыбакова, стараясь опираться только на факты. К фактам апеллировал и Гумилев: «…я опираюсь не на цитаты. Действительно, этот метод давно отвергнут историками. Я исхожу из несомненных фактов…»

Однако «несомненные факты» были на стороне Дмитриева. Вот Гумилев утверждает, что самостоятельные действия половцев против русских княжеств были редкостью: «после победы Мономаха в 1116 году… и до западного похода монголов в 1236 году, т. е. за 120 лет, только в 1184-1185 годах два половецких хана оказались противниками киевского князя Святослава…» Дмитриев проверяет утверждение Гумилева по Лаврентьевской летописи и находит многочисленные сведения о войнах с половцами. Более того, «…кроме этих записей о прямых войнах с половцами (а мы привели далеко не все), постоянно встречаются записи о том, что в таком-то году "мир сотвори с половци", хотя перед этим ни о каком столкновении не сообщается, т. е. целый ряд войн не отмечен в летописи», — констатирует Дмитриев.

Тем не менее Гумилев не отступит ни на шаг и спор с Дмитриевым продолжит позднее, в своей книге «Древняя Русь и Великая степь».

Впрочем, у тринадцатой главы «Поисков вымышленного царства» есть и свои поклонники. «Блестящая текстологическая источниковедческая работа», — так отзываются о ней создатели сайта «Жизнь и творческое наследие Льва Гумилева». Михаил Ардов, вообще-то критически воспринимавший научные работы Гумилева и не принявший идею пассионарности, гумилевскую датировку «Слова» неожиданно признал: «Там много спорных утверждений, но главная идея, на мой взгляд, верна. "Слово…" – отнюдь не произведение одного из участников похода князя Игоря, а сочинение более позднее, призывающее на самом деле к борьбе не с половцами, а с другими "погаными" – с татарами».

Ардов-младший вычитал идею не из книги, а из опубликованного в феврале 1966 года доклада «Монголы XIII века и "Слово о полку Игореве"». Идея Гумилева, видимо, так понравилась Ардову, что он даже поспешил рассказать Ахматовой об успехах сына. Это было во время их последнего разговора, уже в Боткинской больнице 1 марта 1966 года. «— Ну, как Лева?

— У него все хорошо, — отвечал я. — Между прочим, он датировал "Слово о полку Игореве".

— Ну вот в это я не верю, — отозвалась Анна Андреевна».

ПЕРФЕКТОЛОГИЧЕКИЙ РОМАН?

Скандал вокруг тринадцатой главы повредил профессиональной репутации Гумилева, зато «Поиски вымышленного царства» вышли за рамки академического сообщества. Интеллигентные читатели с удовольствием раскупали совершенно неординарную и увлекательную книгу. Одни только названия глав привлекают внимание: «Трилистник письменного стола», «Трилистник птичьего полета», «Трилистник кургана», «Трилистник мышиной норы», «Трилистник письменна древа».

История этой книги началась задолго до 1970 года. В декабре 1944-го Гумилев на перроне Киевского вокзала пообещал прислать Виктору Шкловскому свою трагедию в стихах. Свое обещание Гумилев исполнил. В декабре – январе он записал трагедию «Смерть князя Джамуги» и выслал Шкловскому, приложив к ней записку, которую и теперь прочесть интересно.

Гумилев писал трагедию «короткими солдатскими минутами», а потому просил прощения за почерк и дурную бумагу – удивительная деликатность, особенно для недавнего зэка, а в ту пору солдата. Но более всего современного читателя удивляет другое. Если судить по этой записке, содержание для Гумилева было тогда намного важнее формы. Он считал, что изучил историю монголов и биографию Чингисхана лучше Владимирцова и Бартольда, крупнейших русских востоковедов: «…концепция эпохи как борьба между военной демократией и родовой, степной аристократией – оригинальна. <…> На правильности ее я настаиваю, т. к. эта концепция есть плод моих многолетних занятий данным периодом.

Не имея возможности написать монографию, я написал трагедию».

Шкловский письмо получил, но сочинение Гумилева ему не понравилось. Шкловский «не то разочарованно, не то огорченно отозвался о Левиной трагедии», — вспоминала Эмма Герштейн.

Возможно, Шкловского отпугнула уже сама тема. Один только список действующих лиц навевает скуку. Для Гумилева это были живые, страстные, оригинальные личности, но читателю, даже такому неординарному, как Шкловский, имена Хубилая-буху, Ван-Хана, Белгутая, Мухули и даже Джамуги совершенно ничего не говорили. А избранная Гумилевым форма – длинная (пять действий) трагедия в стихах – оказалась неуклюжей, архаичной и совершенно не подходящей к поставленной задаче.

Авторская мысль о принципиальном отличии порядков, заведенных Тэмуджином (Чингисханом), от прежнего общественного строя монголов, который защищал Джамуга (Джамухасэчэн), подана прямолинейно. Вот как говорят об этом «простые монголы»:

Второй пастух
Ну что ж.
Тревожиться ими не стану.
Ведь скот от рожденья пасешь
Тому ли, другому, но – Хану.
И мне безразлично давно,
Под чьей пресмыкаться ногою.

Первый пастух
Ошибся ты, Хана – одно,
А сын Есугая – другое.
Здесь даже знатнейший нойон
Не смеет зарезать барана.

И кто здесь бывал награжден
За труд, за лишенья, за раны?
Тот – дарит седло, и коня,
И даже с себя малахаи,
Заслуги нухуров ценя
И щедро за них награждая.

Там – Хан говорит с пастухом,
Там – ценится только наука
Того, кто владеет копьем
Да метко стреляет из лука.

«Поиски вымышленного царства» намного художественнее «Смерти князя Джамуги», читать их легко и приятно, вот только неясен сам жанр книги. Сергей Иванович Руденко, известный археолог, еще с 1948 года хорошо знавший Гумилева, написал к его книге доброжелательное и даже лестное для Гумилева предисловие. Руденко, возможно, с подачи Гумилева, назвал «Поиски» «трактатом».

Журнал «Народы Азии и Африки» откликнулся на книгу Гумилева благожелательной и пространной рецензией

востоковеда Н.Ц.Мункуева. Рецензент оценил научное значение книги и заметил, что «по композиции и языку она приближается к произведению художественной прозы».

Но вскоре появилась и еще одна точка зрения. Яков Лурье позднее будет цитировать слова Анджея Поппе, известного историка, исследователя Киевской Руси: «…Возражая Б.Рыбакову, принявшему "слишком всерьез" и осудившему эту книгу, Поп пе охарактеризовал ее как «красивую болтовню (hu{1}bsche Plauderei) о странствованиях по вымышленным землям, некий "перфектологический" роман». По мнению польского историка, этот "перфектологический", т. е. обращенный к прошлому, роман так же фантастичен, как и "футурологические" романы, повествующие о будущем».

Обратим внимание: «Поиски вымышленного царства» – даже не исторический, а перфектологический роман. Для профессионального историка характеристика, казалось бы, убийственная. Но три года спустя после выхода «Поисков вымышленного царства» профессор Калифорнийского университета Хейден Уайт издал книгу, которая вскоре станет академическим бестселлером и заметно повлияет на представления об исторической науке. Называлась книга «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века». На русский язык ее переведут только через тридцать лет: западные интеллектуальные веяния вообще не слишком регулярно проникали в Советский Союз.

Книга Уайта очень скучная, но терпеливый читатель найдет в ней ценные мысли. Уайт показал, как тонка, подчас эфемерна грань между историком и писателем. Научная монография серьезного историка – это не набор фактов, умозаключений и доказательств, но и своего рода литературное произведение, и литературные приемы подчас оказывают решающее влияние на конечный результат.

Академик Рыбаков, суровый и принципиальный критик Гумилева, не только прибегал к историческим реконструкциям, подчас более смелым (если не сказать авантюрным), чем Гумилев, но и просто злоупотреблял ими.

В круг научных интересов Бориса Александровича входили темные и мифологизированные вопросы древнерусской истории: происхождение Руси, предки славян, славянское язычество. Естественно, что в таких вопросах без реконструкций не обойтись, ведь от древнерусских язычников до нас не дошло ни одного документа, а находки археологов молчаливы. «Язычество Древней Руси» и «Язычество древних славян» – в сущности, такие же перфектологические романы, как и «Поиски вымышленного

царства».

«…Попытки Б.А.Рыбакова усматривать в ряде былин непосредственные отклики на конкретные исторические события вызывали возражения фольклористов, указывавших на то, что исследователь не учитывал художественную природу былины (наличие "Бродячих сюжетов", переходящих из одного памятника в другой) и без достаточных оснований использовал отдельные варианты памятников, игнорируя другие версии, не дававшие материала для искомых исторических параллелей», — писал строгий и въедливый Яков Лурье. Проанализировав известную статью Рыбакова о «Слове Даниила Заточника», которую обычно приводят как большое достижение исторической мысли, Лурье доказывает, что она основана на точно такой же «системе догадок», как и тринадцатая глава «Поисков вымышленного царства». «Иными словами, и здесь, употребляя выражение самого Б.А.Рыбакова в его споре с Л.Н.Гумилевым, "соглашаться трудно, но и опровергать нечего". Перед нами – система догадок, "гиполептическая система"».

Но разница между сочинениями Гумилева и Рыбакова все-таки заметна. Рыбаков гораздо лучше знал древнерусские источники, Гумилев же превосходил его широтой кругозора, эрудицией и литературным даром.

Из письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец 17 августа 1955 года: «…я убежден, что история должна быть интересной, а не скучной. Этот тезис мне доставил в свое время немало неприятностей, но я решил плевать на шипение коллег – я сам знаю, что хорошо».

Его идеалом была «помесь Момсена с Майн Ридом», то есть солиднейшая научная монография, написанная как приключенческий роман. В «Древних тюрках», «Этногенезе и биосфере», «Хуннах в Китае» и, конечно, в книге «Древняя Русь и Великая степь» Гумилев к этому идеалу приблизился, хотя и прежде у него были удивительные удачи: «Глава получилась, кажется, неплохо – заиграла, как граненый аметист», — писал он из лагеря Василию Абросову.

Художник и ученый – разные профессии, даже разные типы мышления: пространственно-образное и абстрактно-логическое. Их антагонизм заложен самой физиологией человека, хотя история и знает людей, соединявших взаимоисключающие способности, от Леонардо да Винчи до Алексея Хомякова. Гумилев был профессиональным историком, но его мышление определяла всем известная «тяжелая наследственность», а потому он высоко ценил специалистов, соединявших интеллект ученого с даром художника, поэта или хотя бы просто умеющих

увлекательно и ярко рассказать читателю о собственных научных исследованиях. «Получив вечером книгу Окладникова, я начал ее вяло перелистывать и… не мог оторваться, пока не дочитал запоем до конца. Сейчас четыре часа ночи. Я в больнице и не могу спать – до того сильно впечатление. <…> Скучная археология читается как роман, нет, лучше чем роман, ибо я бросил Мюссе, не дочитав, ради Окладникова», — писал он Абросову.

Для Гумилева стиль значил не меньше научной аргументации.

Яков Лурье признавал, что монографии Гумилева читать гораздо интереснее и легче, чем романы Дмитрия Балашова, а ведь Балашов был популярен, знаменит, а его книги раскупали сот нями тысяч. Гумилев же критиковал книги даже уважаемых им французских историков А.Кордье и Р.Груссе за нехудожественность и «сухость». «Как справочник они полезны, но для того, чтобы возникла потребность в справках, необходим интерес к предмету, а он тонет в калейдоскопе имен, дат и фактов. Просто читать эти книги так же трудно, как технический справочник Хютте, да и незачем. Эстетического наслаждения не возникает, память бесплодно утомляется и выкидывает сведения, не нанизанные на какойлибо стержень».

Художник среди ученых, он мыслил совершенно иначе, поэтому так часто и озадачивал своих коллег. Владимир Полушин в библиографии к составленной им летописи «Гумилевы. 1720-2000» допустил изумительную ошибку. Вместо названия статьи Якова Лурье «Древняя Русь в сочинениях Льва Гумилева» он написал «Древняя Русь в воспоминаниях Льва Гумилева».

Другие ученые даже не возмущались, а недоумевали: откуда Гумилев взял, что новгородский князь Василий Александрович (сын Александра Невского) был «дурак и пьяница», да еще и «тихо-спокойно умер от пьянства»? Ни в одной летописи нет ничего подобного. «Как известно, Федор Ярунович был агентом папы и оклеветал князя Ярослава, приписав ему контакт с Лионским собором и, следовательно, измену монголам, с которыми тот хотел заключить союз». Кому известно? Из каких источников?

И как не вспомнить тут Ахматову.

По словам Корнея Чуковского, Анна Андреевна говорила «о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте» так, будто знала их лично. «Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова или академика Тарле», — добавляет Чуковский.

«Поиски вымышленного царства» биографы Гумилева

называют «венцом "Степной трилогии"», посвященной хуннам, тюркам и монголам. Но если история хуннов и даже древних тюрков была исследована сравнительно слабо, то с монголами дело обстоит иначе. История монголов известна очень хорошо, литература так велика и необозрима, что Гумилев вынужден был заметить: «Книг оказалось больше, чем я мог бы за всю жизнь прочесть».

Тюрками Гумилев занимался много лет и в конце концов стал одним из немногих специалистов в этой области. Но мог ли он, не знавший китайского и древнемонгольского, добавить что-либо ценное к истории монголов? Добавил ли?

«Поиски вымышленного царства», на первый взгляд, легковеснее «Хунну», не говоря уже о «Древних тюрках». Многие исторические сюжеты только намечены, история Великой степи с IX века по XIV-й едва прорисована. Гумилеву не удалось объяснить и причину возвышения монголов, ведь пассионарную теорию этногенеза он еще не использовал. Даже история несториан Центральной Азии, главная тема книги, обозначена пунктиром.

И тем не менее помимо несчастной датировки «Слова» в книге довольно много новых идей. Гумилев отказался от распространенного в науке отождествления религии монголов с шаманизмом и достаточно убедительно показал: шаманизм – верование, духовная практика, но никак не религия, тем более не государственная религия империи Чингисхана. А религией монголов Гумилев считал тибетскую «черную веру», бон, о которой он смог больше узнать, возможно, благодаря сотрудничеству с профессиональным востоковедом-тибетологом Брониславом Кузнецовым. В 1969 году Гумилев и Кузнецов выступили в Географическом обществе с совместным докладом «Бон (древняя тибетская религия)».

«Это совершенно ново, но едва ли можно считать доказанным этот тезис», — пишет вообще-то доброжелательный к Гумилеву Мункуев. Однако на этот раз Гумилев, кажется, прав. Его гипотеза не только логична, но и, главное, не противоречит источникам, прежде всего сочинениям Гильома де Рубрука, Джованни дель Плано Карпини, Рашид ад-Дина, Гайтона Армянина.

Уже эта гипотеза реабилитирует Гумилева как ученого. Между тем перед нами далеко не единственный успех Гумилева.

Свою идею гражданской войны между «аристократией и военной демократией» в трагедии о Джамуге Гумилев уточнил и дополнил. В 1941 году, когда Гумилев сочинял в Норильлаге первые варианты своей трагедии (один из них даже сохранился), Сергей Андреевич Козин выпустил перевод «Тайной истории»

(«Сокровенного сказания»). В руки Гумилева он мог попасть только после ноября 1945 года, когда «Смерть князя Джамуги» была уже сочинена, записана, отправлена и отвергнута Шкловским.

Гумилев превратил источниковедческий анализ «Тайной истории» в увлекательный детектив, который занимает большую часть четвертого раздела «Поисков вымышленного царства» – «Трилистник мышиной норы». Это не только литературный прием, но и метод анализа. Литературу у Гумилева невозможно отделить от науки: «И вот тут нам придется обратиться к самому кропотливому анализу, к разбору психологии действующих лиц трагедии начала XIII в. Тут нужны особые подходы к предмету и методика Шерлока Холмса, патера Брауна и даже Агаты Кристи. Тут мы будем ставить вопросы: как произошло то или иное преступление, кем оно совершено и кому оно было выгодно? Иными словами, из лживых источников мы попытаемся отжать крупицу правды. Хорошо еще, что в наших руках есть ключ ко всем замкам на всех дверях. Это один из участников событий – князь джаджиратов Джамухасэчэн, лучший друг и главный враг Чингисхана. В истории их взаимоотношений, как в фокусе кристалла, отразился тот перелом, после которого появилась на свет, как феникс из пепла, историческая Монголия».

Джамуха и Тэмуджин в детстве побратались и стали Андами (побратимами). Такое родство считалось выше кровного. Они и оставались друзьями даже после того, как Джамуха «силой вещей» оказался во главе врагов Тэмуджина. Из защитника свободы и поборника прав аристократии, каким Джамуха представал в трагедии Гумилева, он превратился в двойного агента. Защищая дело врагов Тэмуджина, он в конце концов довел их до полного разгрома. Оригинальная точка зрения, но она не противоречит фактам. Напротив, версия Гумилева многое объясняет.

И все-таки «Поиски вымышленного царства» – не история монголов, не история несториан, даже не история Чингисхана. Я бы назвал книгу Гумилева не «венцом "Степной трилогии"», а наброском очерков истории Евразии. «Поиски вымышленного царства» больше связаны не с «Хунну» или «Древними тюрками», а с его будущими книгами, прежде всего с бестселлером «Древняя Русь и Великая степь». «Поиски вымышленного царства» – первая попытка создать широкую панораму истории большей части Азии за несколько веков. В центре этой панорамы, разумеется, любимая Монголия, но история «степного византийства» (христиан несторианского исповедания в Центральной Азии) и

даже создание монгольской империи здесь – только важные фрагменты.

Гумилев со студенческих лет тяготел к всемирной истории, интересовался не только частными историческими проблемами, но и механизмом самого исторического процесса. Вспомним о несбывшейся мечте Гумилева поработать над одним из томов академической «Всемирной истории». Но такие издания появляются редко. Их создают десятки ученых, каждый получает свой фронт работ в соответствии со специализацией.

А мог ли один-единственный ученый, пользуясь общепринятыми методами работы, охватить историю государств и народов от Иерусалимского королевства до Маньчжурии за несколько веков? «Для того чтобы обычными методами достичь того, что сделано в данной книге, пришлось бы написать минимум четыре монографии, доступные только узкому кругу специалистов, и затратить на это всю жизнь», — писал профессор Руденко.

Поэтому Гумилев прибегает к совершенно другому методу работы. В «Поисках вымышленного царства» Гумилев переходит от общепринятого в исторической науке индуктивного метода к дедукции.

Профессор Руденко оценил дедуктивный метод Гумилева исключительно высоко: «В смысле быстроты получения надежного результата он относится к существующим методам, как алгебра к арифметике. <…> Метод Л.Н.Гумилева позволил избежать такой траты сил, которая привела бы примерно к тому же результату».

Такая оценка возмутила многих историков, от Бориса Рыбакова до Льва Клейна, но критики Гумилева на этот раз ошибаются. Я сам профессиональный историк, мне нравится копаться в тексте, изучать его досконально, вчитываться в подробности, ускользнувшие от внимания предшественников. Но метод Гумилева я признаю, более того, я завидую человеку, который владел им так блистательно, как Лев Гумилев. При работе над такими масштабными вопросами, которые интересовали Гумилева, традиционный, классический историко-филологический метод малоэффективен.

Правда, должен сделать одну поправку. Если ученый использует метод дедукции, то он должен, во-первых, исходить из научно обоснованных предпосылок. Во-вторых, быть готовым отказаться от них, если эти предпосылки входят в противоречие с исторической реальностью. Но Гумилев поступил иначе. Ему, человеку православному и в то же время очень любившему тюрков и монголов, нравилась сама идея степного христианства.

Поэтому он и поместил в центр своего повествования именно историю монгольских и уйгурских несториан, а создание «Слова…», главного шедевра древнерусской литературы, связал всё с тем же понравившимся ему сюжетом – монголы-христиане и их враги.

P.S.

Странная история произошла с названием книги. «Поиски вымышленного царства» (Легенда о «Государстве пресвитера Иоанна») — это именно авторское название, под которым книга и появилась в 1970 году в издательстве «Наука». Но в 1992 году издательство «Клышников, Комаров и К°» выпустило книгу под новым названием: «В поисках вымышленного царства». Это было пиратское издание, книга вышла большим тиражом – 50 тысяч экземпляров. В 1994 году издательство «Абрис» выпустило книгу Гумилева под тем же названием, тираж был тоже солидный – 30 тысяч. Вероятно, ларчик открывается просто. Все дело в издательской культуре начала девяностых. В то время многие книги Гумилева издатели-пираты печатали торопясь, на редактуре и корректуре экономили, думали только о прибыли. И книга Гумилева стала жертвой безграмотных и алчных коммерсантов. В спешке ей дали другое название.

Теперь солидные и цивилизованные издательства «Астрель» и «Айрис-пресс» выпускают книгу Гумилева под правильным, авторским названием, но тиражи новых изданий на порядок меньше, чем у пиратских книг начала девяностых. Поэтому бóльшая часть читателей Гумилева (в том числе и автор этих строк) впервые познакомились с его «перфектологическим романом» именно по этим дешевым и некачественным изданиям.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО

Образ жизни Гумилева первые десять послелагерных лет почти не менялся. Район Средней Рогатки, неподалеку от площади Победы, среди старых ленинградцев считался непрестижным – слишком далеко от центра. «Лева живет на необъятных просторах нашей родины», — насмешливо говорила Ахматова. По Московскому проспекту один за другим тянутся громоздкие сталинские дома. Всего-то семиэтажные, зато необычайно длинные – каждый на целый квартал. В конце пятидесятых это были новостройки, среди них и дом № 195. Большой и, на первый взгляд, очень внушительный, но поделенный на коммуналки. В одной из них, в квартире 218 на шестом этаже (недалеко от арки), и обитал Лев Николаевич.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 14 апреля 1957 года: «Я получил комнату, небольшую, но очень уютную, с прекрасным видом. Но где!!! Ты придешь в ужас. <…> Это последний дом, за которым кусты».

Один только путь на работу занимал 1 час 10 минут. Но вскоре Гумилев освоился на новом месте, привык жить на окраине и уже в июне 1957-го приглашал Абросова скорее приехать в гости, заманивая комфортом: «Комната приятная; квартира со всеми удобствами; сообщение с центром хорошее…»

Десять лет спустя Наталья Викторовна Симоновская, невеста Гумилева, оценит комнату хозяйским взглядом: «Маленькая – 12 метров, узкая, но светлая – в окно было видно много неба…»

Инна, жена Гелиана Прохорова, писала о жилье Гумилева на Московском проспекте подробнее и как-то теплее: «Комната его, хотя и была насквозь прокурена и шевелилась всеми обитавшими в ней клопами, но была удивительно уютна и даже артистична, и достигалось это всего лишь парой изящных миниатюр… и замечательным портретом Николая Степановича, прищуренный взгляд которого освещал комнату и всё, что в ней происходило».

Портрет Николая Гумилева Лев Гумилев заказал в начале шестидесятых годов своему коллеге по Эрмитажу, искусствоведу и художнику Виктору Павлову. Со временем Павлов станет известным и успешным художником-абстракционистом. Впрочем, вопрос об авторстве окончательно не решен. Гумилев, старый лагерник, попросил художника на всякий случай не подписывать картину: Николай Гумилев все еще оставался поэтом контрреволюционным. Мало ли что, оттепель кратковременна,

что последует за ней? Авторство удалось установить благодаря свидетельству вдовы художника. В то же время дочь Виктора Павлова утверждает, что ее отец не мог написать этой картины. Слишком не походит портрет Николая Гумилева на творческую манеру художника-абстракциониста.

Этот портрет нельзя было снимать на пленку, и когда много лет спустя, уже в другой квартире, один из гостей успеет сфотографировать портрет, Константин Иванов, новый и вернейший ученик Гумилева, заставит гостя засветить пленку.

Квартира была обставлена бедно. Книги стояли на самодельных полках, которые сколотил для Льва Николаевича его сосед Павел, поэт и алкоголик, занимавший соседнюю комнату вместе с женой Раисой. Поэтом он был непрофессиональным, то есть не состоял в Союзе писателей, значит, должен был зарабатывать на жизнь какимто иным способом, но о его профессии нам ничего не известно.

Другим соседом был Николай Иванович, милиционер, который будто бы шпионил за Гумилевым. Наталья Викторовна была в этом убеждена, тем более что сам Николай Иванович, крепко выпив, намекал на свои тайные обязанности. Друзья и ученики Гумилева охотно верили в легенду о вечно пьяном милиционере-стукаче, со временем легенда стала общепринятой. Но я в стукачество милиционера не верю. Во-первых, настоящие агенты не станут себя выдавать, зато неудачники и фантазеры любят намекать на свои связи со всемогущими и всеведающими «органами». Это придает им значимости в собственных глазах. Во-вторых, слежкой за диссидентами занимался КГБ, а не МВД. У милиционера не могло быть ни полномочий, ни соответствующих профессиональных навыков.

Гумилев был самым счастливым из жильцов коммуналки. Он до 1967 года жил один, а тот же Николай Иванович ютился в одной комнате с женой и сыном и в конце концов повесился. Почти как один чеховский герой – умер от двух распространенных на Руси болезней: от пьянства и от злой жены.

Наталья Викторовна утверждает, что кроме этих двух семей в квартире появлялись «какие-то тетки и дети», вероятно, родственники Павла или Николая Ивановича.

Вообще-то квартиру населяли те самые простые люди, которых Гумилев так недолюбливал в своей молодости. Но времена изменились. Как Анна Андреевна в поздние годы умела понравиться «народу», выпив, например, целую кружку пива в Коломенском, так и Лев Николаевич научился ладить с пролетариями. Все гости, посещавшие квартиру Гумилева на Московском проспекте, говорят о мирных отношениях прежде

неуживчивого и конфликтного Льва с соседями. Напротив, женщины помогали Гумилеву вести хозяйство, а он иногда нянчился с детьми. Та же самая злая жена Николая Ивановича гладила Гумилеву рубашки. Гумилев не лицемерил и не подделывался под окружающих, ведь он даже Савицкому написал о своих «простых и любезных соседях».

В общем, только человек, просидевший тринадцать лет в лагерях и до сорока пяти не имевший своего дома, мог радоваться такому жилью. И Гумилев радовался. Он не только умудрялся в таких условиях писать научные статьи и книги, но принимал своих интеллигентных гостей. К нему ходили друзья, знакомые, ученики. Народу было немного. Приходил Гелиан Прохоров с женой Инной. Приезжал из Великих Лук Василий Абросов – «друг Вася». Заходил Владимир Куренной, архитектор, преподаватель ЛИСИ (Гумилев познакомился с ним в экспедиции).

И, конечно же, к холостому еще мужчине приходили дамы. С первых послелагерных лет Гумилев вновь окружил себя женщинами. Среди его поклонниц были и совсем молоденькие, вроде девятнадцатилетней Натальи Казакевич, и немолодая уже Татьяна Крюкова, добрая и глубоко верующая женщина, к тому же весьма ученая. Долгое время она не могла (точнее, не пыталась) защитить диссертацию, но в 1972-м ей присвоят степень кандидата исторических наук «по совокупности заслуг», что было редким случаем в послевоенном СССР. Василий Абросов, например, несмотря на свои сорок статей и три монографии, этого так и не добился.

Крюкова была настоящей помощницей Гумилева. Вместе с сыном Александром они вычитывали корректуры гумилевских книг. Случалось, Татьяна Александровна даже гладила Гумилеву белье. Вместе они отмечали церковные праздники, на Пасху Татьяна Александровна всегда приносила крашеные яйца и кулич.

Если верить Инне Прохоровой, отношения Гумилева и Крюковой были платоническими, что не мешало ей ревновать Льва Николаевича к Инне Немиловой, «блестящей и очень светской эрмитажной красавице». Инна была «невероятно хороша: какая то лучистая и сверкающая, стройная, синеглазая, с тонкими смуглыми руками, к тому же прекрасно образованная и элегантная». Говорят, будто и теперь еще в Эрмитаже можно найти пожилых сотрудниц, что вспоминают об этом романе.

Для Инны Немиловой, замужней дамы, Лев Гумилев, уже немолодой мужчина, пусть и доктор наук, стал роковой страстью.

Она была в ярости, когда Гумилев решил уйти из Эрмитажа, сулила ему разные беды. Но предсказания не сбылись, а Инна и

Лев продолжали встречаться вплоть до знакомства Гумилева с будущей женой. Когда они все-таки расстались, дело дошло до того, что ко Льву Николаевичу пришел муж (!) Инны и просил не оставлять ее. После расставания первая красавица Эрмитажа, как говорят, «потускнела».

Вероятно, Гумилев удовлетворял не столько плоть, сколько собственное тщеславие. Вот он, недавно еще бесправный зэк, годами оторванный от научных занятий, теперь публикуется в солидных журналах, выпускает книги, защищает докторскую диссертацию и заводит романы с первыми красавицами. И всего добился только собственным умом и талантом.

Гумилев по-прежнему был остроумным и блестящим собеседником. Своим старым и новым знакомым он читал не только домашние лекции по истории, но и стихи Асеева, Анненского, Олейникова, ахматовскую «Поэму без героя», стихи Николая Гумилева. Инна Прохорова называет это «театром одного актера, и актера великолепного. Картавость и плохая дикция, как ни странно, это впечатление только усиливали. Говорил он прекрасным, рафинированным языком Серебряного века, смачно, но с чувством меры приправленным лагерным жаргоном».

Беседы шли под водку, которую закусывали черной икрой, колбасой, сыром. На все застолье хватало пяти рублей. За водкой, икрой и прочей закуской Гумилев посылал своего ученика Гелиана Прохорова.

Время от времени Лев Николаевич говорил: «Уши пухнут», — что означало «пора перекурить». Курил Гумилев легендарный «Беломор», курил беспрерывно. От постоянного курения над окном образовалось большое черное пятно. Он зажигал одну папиросу от другой и смотрел на собеседников сквозь густой дым. Гумилев вообще считал, что курить не вредно, и приводил в пример себя и Анну Андреевну. Такой стиль жизни очень походил на ахматовский (послевоенный и послесталинский).

С будущей женой, художницей Натальей Симоновской, Гумилев познакомился в Москве у своего старого, еще студенческих лет, приятеля Юрия Казмичева. В молодости Лев позировал Казмичеву (тот еще жил в Ленинграде), то есть подрабатывал у него натурщиком. 15 июня 1966 года Гумилев зашел к художнику в гости, а тот пригласил свою знакомую, Наталью Викторовну, приготовить угощение. Но тогда Лев Николаевич только приметил красивую москвичку и, видимо, взял на заметку. Юрий Казмичев, по словам Натальи Викторовны, сослужит роль свахи, но познакомиться поближе они, Гумилев и Симоновская, смогут только в августе 1966-го.

Вернувшись из Праги в конце августа, Гумилев подарил

новой знакомой свою книгу с дарственной надписью: «Очаровательной *Наталие Викторовне Симоновской* от автора. 30. VIII. 1966». Но роман развивался медленно, и следующий раз они с Натальей встретились только весной 1967-го, когда Гумилев приехал в Москву и через несколько дней сделал ей предложение.

В воспоминаниях Натальи Викторовны упомянута дата: 15 июня 1967 года. В этот день, годовщину их знакомства, она должна была приехать к нему в Ленинград, а между приездом и весенним московским романом прошло полтора месяца, значит, Гумилев сделал предложение в последних числах апреля или в самом начале мая.

Гумилев прислал ей открытку: «Я Вас жду 15-го. Всё в порядке. Пол вымыт». В условленный день он встретил ее на Московском вокзале и привез к себе, на Московский проспект. Они стали жить вместе, но официально поженились только в следующем, 1968 году. Шафером у Гумилева был Александр Алексин.

Решение Натальи Викторовны нетрудно понять. Лев Николаевич умел обольстить и более молодых, искушенных и привередливых дам. Наталья Викторовна была уже немолода, а руку ей предложил умный, талантливый, чрезвычайно интересный мужчина, к тому же доктор наук, старший научный сотрудник. «Наталья Викторовна была очень неглупа, коммуникабельна, весьма расчетлива и цепка», — пишет о ней Инна Прохорова.

Симоновская причисляла себя к «московскому бомонду». Ее принимали даже у Михалковых. Наталья Викторовна хвасталась, что за ней ухаживал знаменитый композитор Александров, автор государственного гимна СССР, «Священной войны», дирижер легендарного краснознаменного ансамбля, который и теперь носит его имя. Очевидно, речь шла о далеких временах ее молодости, потому что Александр Александров, автор «Священной войны», умер еще в 1946 году во время гастролей в советской оккупационной зоне Германии.

Но почему Гумилев выбрал именно Наталью Викторовну, ведь у него было много женщин и красивее, и моложе?

Наталья Гумилева вспоминала, что Лев Николаевич, прежде чем ухаживать, начал «дотошно расспрашивать» о ее происхождении, о семье, «пока не убедился, что все в порядке». Что же так интересовало в ее происхождении Льва Николаевича? Дворянская родословная Симоновской? Конечно, не только это. Гумилев со всеми женщинами, кроме Птицы, был достаточно расчетлив. Они были ему нужны как любовницы, как помощницы.

Наталья Викторовна сверх того должна была стать и хозяйкой, заботливой, любящей, в меру деловой, так необходимой немолодому и не слишком здоровому человеку.

За десять лет до брака Гумилев жаловался Савицкому, что вынужден тратить драгоценное время на покупки и стряпню, ведь хозяйство вести некому. Тогда же Савицкий настоятельно посоветовал: «Вам нужно жениться, дорогой Лев Николаевич! На Руси столько "девушек хороших". <…> Вы можете выбрать прекрасную подругу жизни и помощницу себе».

Гумилев и без Савицкого это прекрасно понимал, он все больше хотел семейной жизни: «Женатому легче работать, а мне предстоит завершение большой и любимой книги», — писал он брату.

Гумилев выбирал подругу и помощницу, и выбор у Гумилева был. Одновременно с Натальей он сделал предложение еще одной женщине, биологу по имени Зоя. Но та колебалась. «Если колеблется, то пусть не приезжает», — сказал Гумилев.

Свою невесту Гумилев сравнивал и с блестящей Инной Немиловой и остался доволен: «…контакт установлен, чего с *madame* (Немиловой. – С.Б.) я не мог достичь за 10 лет».

Расчет Гумилева совершенно оправдался. Лев Николаевич получил все, чего только мог желать. Жена оставит работу, чтобы посвятить мужу все время и силы. Вскоре она станет для него незаменимой. Жена выведет клопов, обставит комнату новой мебелью: купит новый диван, круглый столик, хороший антикварный письменный стол, настоящие застекленные полки (старые, сколоченные соседом Павлом полки, однажды обрушились Наталье Викторовне на голову).

Она будет хлопотать о новой квартире для мужа, печатать его новую диссертацию на пишущей машинке, терпеть его характер, который, кажется, только она одна считала «замечательным» и даже «идеальным». Удивительно, но за двадцать четыре года семейной жизни супруги не поссорились ни разу.

Было и еще одно обстоятельство, которое повлияло на выбор Гумилева. Теперь он не хотел детей, а Наталья Викторовна была уже немолода – ей было сорок шесть.

Ко всему прочему жена очень хорошо готовила. «Наталья Викторовна явилась ему как подарок судьбы. <…> В квартире появился порядок, чистота, ухоженность, прекрасный стол», — вспоминал Дмитрий Балашов.

Благодаря заботам жены Лев Николаевич «сделался всегда сыт и ухожен, получив, наконец, заветную тарелку супа, благодаря ее энергии и стараниям… перебрался хотя тоже в коммунальную, но гораздо лучшую квартиру в центре…», —

писала Инна Прохорова, вообще-то относившаяся к Симоновской недоброжелательно.

Гумилев, выбиравший жену весьма рационально, вскоре ее полюбил, в чем признался Василию Абросову, тогда еще лучшему другу. Гумилев благодарил Всевышнего за счастье, которого наконец дождался. Когда Прохоров еще бывал у Гумилева, Лев Николаевич признавался ему: «Мне, Геля, хорошо».

Впрочем, есть в этой благостной теме и неожиданный поворот. Ленинградские друзья Льва Николаевича его жену невзлюбили. В глазах Инны Прохоровой Наталья Симоновская была «представительницей другого, московского этноса», которая так и не прижилась в Ленинграде. Гелиан Прохоров пишет о жене Гумилева намного жестче. Он вспоминает слова, некогда сказанные Гумилевым: «"У женщин души нет, одно тело. Или одна душа. Но что-то одно". Наталья Викторовна, судя по всему, была женщиной первого типа», — пишет Прохоров.

Прохладно относилась к жене Гумилева и Эмма Герштейн, которую Лев Николаевич даже не стал знакомить с Натальей Викторовной. Ну, это вполне естественно.

Зато Надежда Яковлевна Мандельштам совершенно одобрила выбор Гумилева: «Наталья Викторовна прелестна всем – своей свободной манерой, естественностью, изяществом, добротой. <…> Она, как говорил Оська, ваша Встреча. <…> Я вспомнила, как вы по какому-то поводу у нас в Нащокинском крикнули: "Я тоже хочу иметь жену". Вот к вам пришла настоящая жена».

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК

Жизнь Гумилева в научном мире постепенно устраивалась. С осени 1956-го по 1962 год он, как мы помним, работал в Эрмитаже старшим научным сотрудником. В 1962-м Гумилев сменил «плавающую» ставку Эрмитажа на постоянную должность в Научно-исследовательском географо-экономическом институте ЛГУ (НИГЭИ ЛГУ). Сам Гумилев подчеркивал, что приглашением обязан лично ректору Александру Даниловичу Александрову, известному математику, будущему академику. Профессор Чистобаев, коллега Гумилева по институту и его биограф, считает, что Гумилеву помогли устроиться в институт географ Станислав Викентьевич Калесник и Евгений Никанорович Павловский, академик, президент Географического общества, тот самый знаменитый паразитолог Павловский, что был одним из руководителей Таджикской комплексной экспедиции 1932 года. Оба хорошо знали Гумилева по его оригинальным и ярким докладам в Географическом обществе и статьям, которые он достаточно регулярно печатал в научных журналах. Если о взаимоотношениях Павловского и Гумилева ничего не известно, то Калесник и в самом деле покровительствовал Гумилеву.

В мае 1964-го Калесника выдвинули на пост президента Географического общества, и Гумилев приехал, чтобы проголосовать за Калесника: «Он деловой, вежливый и культурный чело век, даже доброжелательный», — писал Гумилев Абросову. Гумилев не прогадал. На этом съезде Гумилева ввели в Ученый совет Географического общества.

Гумилев состоял в Географическом обществе с 1949-го, а с 1961-го возглавлял его этнографическое отделение. Географы с интересом относились к его сочинениям: «Мои работы по палеогеографии встречены куда более доброжелательно, чем по востоковедению», — писал Гумилев.

В университете же дела наладились не сразу. Гумилева приняли на должность младшего научного сотрудника с окладом всего в 160 рублей. На этой должности он проработал чуть больше года. Страдания испытывал не материальные, а моральные. Доктор наук на ставке мнс – все равно что генерал, командующий ротой или взводом: «…надо мной все смеются, что доктор сидит на 160 р<ублях>. Действительно глупо», — писал он Абросову.

Ученый совет геофака утвердил Гумилева на должность старшего научного сотрудника только 1 июля 1963-го. В 1965 году ВАК присвоил Гумилеву уже звание старшего научного

сотрудника. Теперь Гумилев получал 350 рублей! Это очень приличный оклад, для шестидесятых годов – просто замечательно. Гумилев, всю жизнь привыкший к бедности, даже нищете, теперь стал человеком обеспеченным. К тому же он вскоре возглавит Государственную предметную комиссию по географии и будет читать спецкурсы, хотя и нерегулярно. За все это полагались надбавки. Потолком официальной научной карьеры Гумилева станет должность ведущего научного сотрудника, которую он получит незадолго до пенсии.

Коллеги Гумилева по институту, Лавров и Чистобаев, оказались и первыми его биографами, поэтому о его работе мы знаем сравнительно много. Жизнь научного работника была спокойной, приятной, она способствовала долголетию и научной плодовитости. Появляться на службе можно было несколько раз в месяц. По свидетельству Лаврова, Гумилев приходил только «на заседания Ученого совета по диссертациям, причем делал это с огромным удовольствием и вкусом, ибо встречался здесь с друзьями. <…> Он мог с ними в коридоре покурить и неторопливо побеседовать, а после защиты… выпить по рюмке-другой». В середине семидесятых ВАК назначает Гумилева «членом специализированного Ученого совета по присуждению степеней доктора географических наук».

Диссертантов Гумилев любил озадачивать неожиданными вопросами, при случае ввязывался в дискуссии. Когда один из соискателей назвал население полиэтничного Эквадора единым этносом, «эквадорцы», Гумилев язвительно заметил: «А как назывался этнос Австро-Венгрии, где большинство составляли славяне? Австровенгры?»

Лето Гумилев проводил в Москве, в квартире Натальи Викторовны. Официальный отпуск старшего научного сотрудника – двадцать четыре рабочих дня – Гумилев продлевал вдвое: брал отпуск без содержания или зарабатывал отгулы. Однажды отгулов Гумилеву не дали, но он все равно уехал в Москву, уже никого не спрашивая. Формально это был повод для увольнения, но Гумилева никто даже не потревожил. Таков был вообще стиль работы в советских НИИ. Гумилев, надо сказать, свои деньги отрабатывал – писал статьи и книги, пусть и не совсем «по профилю института», но с географией все-таки связанные. О своей работе он вспоминал так: «В годы застоя кафедра экономической и социальной географии была для меня "экологической нишей", меня [никто] не гнал с работы, была возможность писать».

За четверть века в институте Гумилев лишь однажды чуть было не стал жертвой интриги. Гумилев находился как бы под

тройным подчинением: кафедры экономической и социальной географии, института и университета. На кафедре и в Ученом совете университета к нему относились хорошо, зато директор НИГЭИ Александр Иванович Зубков постепенно превратился в его врага.

Сначала Гумилев даже за глаза называл Зубкова уважительно: «Александр Иванович»: «Ал<ексан>др Ив<анович> отказался принять к рассмотрению мою работу о тюрках…» (3 мая 1964).

Затем Гумилев придумал своему начальнику другое имя: «Упырь не здоровается и не пускает в экспедиции» (19 июня 1966). «Упырь бесился и шумел, но разрешение поехать в экспедицию все-таки дал» (апрель 1967). «Упырь со мной не разговаривает и не дает никаких распоряжений. <…> Ожидаю очередного скандала в конце декабря при составлении годового отчета» (20 октября 1968).

Причины неприязни Зубкова к своему новому сотруднику не совсем ясны. Лавров считал, что тот просто завидовал Гумилеву. У Зубкова было мало публикаций, а Гумилев в шестидесятые много печатался и сумел с 1960-го по 1970-й опубликовать три монографии и одну научнопопулярную книгу. Может быть, так оно и было, ведь Лавров великолепно разбирался в обстановке. Сергей Борисович взял Гумилева под защиту, когда Зубков попытался уволить Гумилева.

Весной 1968-го подошел срок очередного переизбрания на должность. Эту процедуру, обычно формальную, при желании можно использовать против неугодного доцента, профессора, научного сотрудника. И вот научный семинар института неожиданно не рекомендовал переизбирать Гумилева. Претензия была в следующем: исследования Гумилева далеки от «направления и тематики института».

Однако судьба научного сотрудника была в руках Ученого совета университета, а он единогласно высказался за избрание Гумилева на новый срок. Недоброжелатели Гумилева отступились. Кажется, других неприятностей у него не было. «Это был самый лучший период моей жизни, — вспоминал Гумилев. — Я просто был счастлив, что я могу ходить на работу, что я могу читать лекции. <…> Все эти 25 лет, которые я в университете, я занимался этой работой, а в свободное время – отпускное и каникулярное – продолжал писать книги по истории, географии и этнологии».

В СССР ученый со степенью доктора наук по определению был человеком обеспеченным. Гумилев много печатался, а значит, получал гонорары. Со второй половины шестидесятых он уже не нуждался в деньгах. Впрочем, жил Гумилев по-прежнему

небогато. Однажды к нему в гости пришла актриса Алла Демидова. Они сидели на кухне, Гумилев курил, Демидова рассказывала, как читала «Реквием» за границей. Неожиданно вошла женщина и поставила чайник на плиту. Оказалось, что это соседка: «Ну да, я живу в коммунальной квартире», — сказал Лев Николаевич изумленной актрисе.

Гафазль Халилуллов, посетивший Гумилева в 1987-м, был поражен бедностью Гумилева. В Казани доктора наук обитали в просторных квартирах, заставленных книгами и антиквариатом, а Гумилев все еще ютился в коммуналке. Другой знакомый татарин, Дауд Аминов, посоветовал Гумилеву летом поехать на дачу. «Голубчик, нет у меня дачи, нет и автомобиля, и даже приличной квартиры нет», — ответил пожилой профессор.

В начале семидесятых Гумилев подал заявление на квартиру. Каждый год сотрудникам института давали однудве квартиры. Однажды выделили сразу несколько квартир, подошла и очередь Гумилева. Но вмешалось профсоюзное начальство, как и начальство партийное, Гумилева не любившее. Профорг нашел «законную» причину обойти Гумилева.

Дело в том, что Гумилев несколько лет был членом профбюро, куда Льва Николаевича избрали заочно – он задержался в отпуске. Когда Гумилев наконец вернулся из Москвы, коллеги «обрадовали» его новой почетной, но совершенно не нужной ему должностью. «Общественными делами» он, разумеется, не занимался, поэтому, когда настало время распределять квартиры, торжествующий профорг отклонил кандидатуру Гумилева: «за неучастие в общественной работе».

Своей машины у Гумилева никогда не было. Кажется, о машине он и не задумывался. Более того, ему даже не приходило в голову воспользоваться такси. Когда 15 июня 1967-го он встретил свою невесту на Московском вокзале, то, будто не догадываясь о существовании такси и носильщиков, взял «чемодан и сумку, снял ремень со своих брюк, просунул его через ручки чемодана и сумки и повесил это сооружение через плечо». Симоновская ужаснулась: «Срам какой! Как же мы пойдем так?» Так и пошли. Доктор наук, как заправский носильщик, дотащил вещи к трамвайной остановке, здесь путь только начинался: долго ехали по Лиговскому проспекту, там еще добирались до дома на Московском проспекте.

В СССР уже складывалось общество потребления. Правда, жизнь советского обывателя была скромнее и проще, чем у западногерманского или французского филистера. «Жигули» считались великолепной машиной, а «Волга» – роскошной, но сравнительная бедность ничего не меняла. Ленинград получал

столичное снабжение, к тому же рядом была самая дружественная из капиталистических стран. Финляндия делала сказочную прибыль, обслуживая бездонный советский рынок. Финские товары не исчезали с прилавков ленинградских магазинов даже в перестроечные восьмидесятые, когда дефицита стало больше, а жизнь тревожнее. А в шестидесятые и семидесятые болееменее обеспеченный житель Ленинграда и вовсе не бедствовал. В общем, не бедствовал и Гумилев, но от потребительства был даже более далек, чем его покойная мать.

«У меня здесь 2 чемодана книг и ни одной тряпки. Тряпки мне не нужны…» – писал он из лагеря. В 1956-1957 Гумилев, по словам Натальи Казакевич, ходил на службу в «старом, порыжевшем от времени, тесном, темном костюме» – очевидно, том самом, что Гумилев вместе с Михаилом Ардовым купили в комиссионном магазине. Правда, потом появился «новый синий костюм, быстро потерявший вид», — добавляет Казакевич. Десять лет спустя ничего не изменилось. «Одет он был в короткий пиджак, из рукавов которого выглядывали манжеты рубашки», — вспоминала Наталья Симоновская о первой встрече с Гумилевым.

Дома Лев Николаевич носил клетчатую рубашку и широкие сатиновые шаровары. Очень скромно, особенно если вспомнить о роскошном красном халате профессора Пунина, о шелковом японском халате Ахматовой. Правда, как-то Гумилеву подарили бухарский халат, но неизвестно, носил ли его Лев Николаевич.

Все это говорит не об отсутствии вкуса. У Гумилева были и вкус, и чувство стиля. Алла Демидова рассказывает, как впервые читала в Ленинграде ахматовский «Реквием». Зал филармонии переполнен, а в партере сидит сам Лев Гумилев с женою. Актриса долго не могла подобрать платье для выступления. Надеть вечернее платье – нельзя, но и выйти «по-таганski» – свитер, юбка, — просто как женщина из очереди «под "Крестами"» – невозможно: позади музыканты в смокингах и фраках. И тогда она надела муар: «Муар всегда выглядит со сцены мятым, хотя при ближайшем рассмотрении можно разглядеть, что это очень красивое платье». После представления в гримерную к актрисе зашел Гумилев. «Я, чтобы предвосхитить какие-то его слова, говорю: "Лев Николаевич, я дрожала как заячий хвост, когда увидела Вас в зале". — "Стоп, Алла, я сам дрожал как заячий хвост, когда шел на этот концерт, хотя забыл это чувство со времен оных… Потому что я терпеть не могу, когда актеры читают стихи, тем более Ахматову, тем более "Реквием", но… Вы были хорошо одеты… <…> Мама была бы довольна"».

Гумилев не привык жить комфортно. Во время Ангарской экспедиции он выпросил у Нины Ивочкиной большой «куб» за

плесневелого сыра, который она собиралась выбросить, срезал плесень и с удовольствием съел оставшийся сыр: «Мне стало страшно, — вспоминает Ивочкина. — Я вдруг поняла, какой благополучной жизнью мы жили. Никому из нас не пришло в голову срезать корку. Тут только я осознала, сколько же пришлось пережить Льву Николаевичу».

Но Гумилев не был и аскетом. О его жизнелюбии пишут практически все мемуаристы, просто его потребности были скромны. Даже простой суп из картошки и лука с тушенкой, что варили в Ангарской экспедиции, был для Гумилева «настоящим праздником». Наслаждение жизнью не переходило в вещизм или обжорство. Зато «он остро наслаждался городом, "прекраснейшей в мире рекой Фонтанкой", трапезой в каком нибудь ресторане, например, Витебского вокзала», — вспоминал Гелиан Прохоров.

Летом 1958 года Гумилев впервые в жизни поехал на курорт – лечить язву в Кисловодске: «Принял 11 ванн, и это поставило меня на ноги», — писал он брату в августе 1958-го. При язвенной болезни такое лечение надо повторять ежегодно, но Гумилев, кажется, больше не ездил на воды. В 1959-м он был на Рижском взморье, в 1960-м ограничился экспедицией в дельту Волги. Гумилев, разумеется, и позднее бывал на курортах, но крайне нерегулярно. После женитьбы он все чаще проводил июль и август в Москве, в спальном районе Новогиреево, где была прописана Наталья Викторовна.

Десять месяцев в году Гумилевы жили в Ленинграде. По выходным они садились в автобус и ехали в Павловск, Пушкин, Гатчину или родное Гумилеву Царское Село. Они гуляли по паркам, а Лев Николаевич часами читал стихи или рассказывал что нибудь из всемирной истории. Наталье Викторовне хотелось просто «мир созерцать, смотреть на всё вокруг и любоваться», она ведь была художницей. В ответ на ее просьбы просто отдохнуть Гумилев отвечал: «Ничего я не устаю. Я отдыхаю таким образом». И продолжал рассказывать об истории. История была ему интереснее всего на свете.

После возвращения из лагеря Гумилев хотел заниматься только наукой. Одно время он даже перестал читать современную литературу. Гумилев по-прежнему «мыслил стихами», но поэтов, появившихся после тридцатых годов, кажется, не знал вовсе.

Николай Олейников и Николай Заболоцкий, Пастернак и ахматовская «Поэма без героя» – вот его «пограничные рубежи» в поэзии.

Еще показательнее с прозой. Прозу Гумилев ценил, очевидно, намного ниже поэзии, а его вкусы застыли гдето в дочеховской эпохе. Впрочем, ни Чехова, ни позднего Льва Толстого Гумилев не

любил. «Крейцерову сонату» он даже успеет поругать в «Этногенезе и биосфере». Из европейских писателей больше любил, кажется, французов, но самыми современными для него остались Эмиль Золя и Анатоль Франс. Французская литература XX века его не заинтересовала.

Однажды Гумилев увидел Наталью Казакевич то ли с книгой, то ли с литературным журналом и, между прочим, заметил, что у него больше нет времени читать беллетристику.

Лев Николаевич лукавил. На самом деле он, как и всякий интеллигентный человек, почитывал литературные журналы и даже как-то рекомендовал Абросову роман Кочетова «Братья Ершовы». Правда, в гумилевский круг чтения не попали ни деревенская проза, ни Трифонов, ни Аксенов. Зато Гумилев неожиданно полюбил детективы и фантастику, преимущественно западную: Рэя Брэдбери, Станислава Лема. Из отечественных фантастов читал своего лагерного друга Сергея Снегова и Стругацких.

Из письма Льва Гумилева Оресту Высотскому от 15 июля 1986 года: «…самое приятное в жизни – чтение фантастики, которую пишут всё хуже и хуже».

НЕСОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Еще в разгар «пунических войн» Виктор Ардов направил в суд письмо, где характеризовал Льва Гумилева как человека несоветского. Михаил Ардов оценил это письмо как «политический донос на Гумилева». Даже в конце шестидесятых Гумилев, по словам Жолковского, «все еще ходил в диссидентах», хотя оснований для такой репутации вроде бы не было. С 1956-го он был совершенно погружен в научные исследования, общественной деятельностью почти не занимался, диссидентских писем не подписывал. Гумилев давно уже был «выездным»: ездил на на учные конгрессы в Прагу (1966) и Будапешт (1967), а в 1974-м приехал в Краков по приглашению Иржи Вронского, товарища по карагандинскому лагерю. Правда, это была его последняя поездка за границу.

В начале восьмидесятых литературовед Михаил Кралин спросил Гумилева, почему тот не поехал на симпозиум в Париж. «Ну что вы, меня даже в Монголию не выпускают!» – ответил Лев Николаевич. Лет за десять до этого разговора, в 1972 году, Очирын Намсрайжав прислала ему приглашение приехать в Монголию, но Гумилев, видимо, даже не попытается им воспользоваться: «Софья Власьевна не разрешит мне приехать», — ответит он.

Хотя разрешала же «Софья Власьевна» ездить в Польшу, Венгрию, Чехословакию. Гумилева могли не пускать в капиталистические страны. В Англию и Северную Америку ездили благонадежные сотрудники Института этнографии, вроде Козлова или самого академика Бромлея. Но уж с поездкой в Монголию не могло возникнуть какихлибо осложнений. Впрочем, для археологической экспедиции он был уже слишком стар, а научное сообщество Монголии его вряд ли интересовало. Даже первый монгольский академик Бямбын Ринчен не вполне оценил пассионарную теорию этногенеза. Он решил, что пассионарность сродни шаманизму, чем, конечно, очень порадовал бы противников «гумилевщины». В общем, Гумилеву незачем было ехать в Монголию.

Чехословацкие события 1968 года Гумилев оценил отнюдь не по-диссидентски: «А что же они, чехи, хотели за их предательство в Гражданскую войну? <…> Господь наказывает за грехи до третьего и четвертого колена», — с откровенным злорадством говорил Гумилев и подкреплял свои слова цитатой из Послания апостола Павла к римлянам: «Мне отмщение и Аз воздам».

Но даже здесь аргументация Гумилева совершенно

подтверждает слова Ардова: несоветский человек. Как и Ахматова, Гумилев непременно праздновал Рождество и Пасху, но игнорировал «красные дни календаря». Однажды, в конце восьмидесятых, знакомый Гумилевых Дауд Аминов позвонил Наталье Викторовне, чтобы поздравить с 8 Марта. Трубку взял Гумилев и тут же отчитал Аминова: «Как тебе, мусульманину, не стыдно отмечать языческий праздник?»

Сталина Гумилев ненавидел и насмешливо называл его «Корифей Наукович». Заводил антисоветские разговоры, читал антисоветские стихи Даниила Альшица (никогда не называя, не выдавая автора):

Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять,
Это мало – чекистов,
Карателей,
Стукачей, палачей,
Надзирателей…
Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять,
И прежде всего –
Писателей.

За дружеским застольем Гумилев не стеснялся антисоветских анекдотов и шуточек. Однажды прочел «садистский стишок»:

Дедушка в поле гранату нашел,
С этой гранатой к райкому пришел.
Дернул колечко, бросил в окно.
Дедушка старый – ему все равно.

Лев Гумилев, не диссидентствующий, но несоветский и довольно подозрительный человек, находился под надзором КГБ. Наталья Викторовна так много пишет об этом надзоре, что у читателя возникает сомнение: а не преувеличивает ли она? По ее словам, стучали на Гумилева и милиционер, сосед по квартире на Московском проспекте, и «тюремный служащий» – сосед по квартире на Большой Московской улице.

В стукачестве подозревали подружек Льва Николаевича, от Птицы до Инны Немиловой. Последняя, по словам жены Гумилева, «видимо, была прикреплена к нему». Доказательств для такого страшного обвинения не было вовсе, а невиновность Варбанец теперь подтверждена, но Наталья Викторовна до конца

своих дней не оставляла подозрений. Даже расставание Льва Николаевича с Гелианом Прохоровым она приписывала влиянию КГБ.

Теорию Гумилева, немарксистскую, но марксизму в общем-то не враждебную, было запрещено пропагандировать. Владимира Куренного, преподавателя Ленинградского инженерно строительного института (ЛИСИ), будто бы вызвали в КГБ и предупредили, чтобы не рассказывал студентам о теории Гумилева. Эту историю супругам Гумилевым передал сам Куренной.

Сотрудники КГБ заинтересовались и лекциями Льва Николаевича. Как-то раз, дело было в конце семидесятых годов, в кабинет к Сергею Лаврову пришел «очень скромный, внешне неприметный человек, представившийся: "Из КГБ", и завел разговор о лекциях Гумилева. Спрашивал: "Хорошо ли, что он их читает?"». В этой беседе Лавров показал себя умелым дипломатом и с блеском защитил Льва Николаевича:

«Я спросил гостя: слушает ли он "вражеские голоса"? Получив в ответ "да", я признался, что тоже иногда слушаю, но никогда еще не слышал там слов о младшем Гумилеве. Об Ахматовой – да, о Николае Степановиче – да, а вот о Льве Николаевиче – ни слова». Тогда Лавров осторожно поинтересовался: «"Спросите начальство, а хочет ли оно слышать по этим голосам и о Льве Николаевиче, к примеру, безработном?" Он понял всё молниеносно: "Мне понравился ваш ответ". Мы очень вежливо распрощались, и больше "оттуда" нас не беспокоили».

Но Лавров знал далеко не всё. Его и в самом деле больше не беспокоили, однако надзор за Гумилевым существовал, по всей видимости, до конца восьмидесятых. Анатолий Чистобаев, профессор ЛГУ, а затем и директор НИИ географии, вспоминает: «…не реже, чем раз в квартал, сотрудник соответствующего органа приезжал в институт, чтобы задать вопросы "по Гумилеву", причем не только директору, но и своим агентам».

Часть XII

ЧТО ТАКОЕ ЭТНОС?

Когда меня спрашивают, что же ценнее всего в научном наследии Гумилева, я не раздумывая отвечаю: пассионарная теория этногенеза и связанная с ней теория межэтнических контактов. Четырнадцать статей Гумилева, напечатанные «Вестником ЛГУ» с 1964-го по 1973-й, составили цикл «Ландшафт и этнос», девять из них посвящены теории этногенеза. В 1968-м, в разгар работы над теорией, Гумилев писал своему хорошему знакомому, биологу Б.С.Кузину: «…инкубационный период у меня кончился, и я просто оформляю мои мысли в статьи…»

Пассионарная теория этногенеза должна была ответить на три вопроса: 1. Что такое этнос и какое место он занимает в историческом процессе? 2. Какие законы определяют появление и развитие этноса? 3. Как этносы взаимодействуют между собой?

Греческое слово «этнос» Гумилев использовал вместо более распространенного латинского слова «нация» («natio», «nation») как менее политизированное. Термин «этнос» был и универсальным, и нейтральным, и сугубо научным.

Что делает русского русским, грузина грузином, чеченца чеченцем? Обыватель ответит: язык, или происхождение («кровь»), или культура, или «национальный характер» (он же «психический склад»). Но ученый возразит: русские дворяне во времена Александра I говорили друг с другом по-французски, по-французски читали, по-французски писали письма своим друзьям, женам и любовницам, некоторые вовсе не знали русского языка, однако оставались все-таки русскими людьми. Фридрих Великий тоже предпочитал говорить на французском, но тем не менее стал национальным героем Германии.

Общее происхождение – тоже миф, ведь почти все народы – результат этнического смешения. Многие русские дворянские фамилии имеют немецкое, польское, литовское, татарское происхождение. Предками французов были не только галлы, но и аквитаны, лигурийцы, римские колонисты, германоязычные франки и бургунды. Англичане, итальянцы, испанцы, немцы – все происходят от смешения разноязыких племен.

Многочисленный и «цивилизованный» этнос редко отличается общностью культуры: «Люди, которых мне приходилось встречать, отделены друг от друга почти непереходимыми расстояниями; и, живя в одном городе и одной стране, говоря на почти одинаковых языках, так же далеки друг от друга, как эскимос и австралиец», — заметил русский писатель и парижский таксист Гайто Газданов, сравнивая жизнь

французских пролетариев и французских интеллектуалов в двадцатые – тридцатые годы XX века. А ведь французы того времени – одна из самых консолидированных наций Европы. При старом порядке (до Великой французской революции) культурные различия между сословиями были гораздо значительнее.

Про общность психического склада говорить просто смешно. Какая общность психики может быть между футболистом и профессором математики? Между атеистом и религиозным фанатиком? Между мужчиной и женщиной наконец?

Но если не один признак, то, может быть, комплекс признаков создает этнос? Поиску этой комбинации признаков посвящены почти все исследования по теории этноса. Как средневековые алхимики пытались из ртути, серы и мышиного помета синтезировать золото, так этнологи, историки, антропологи и даже политики (например, И.В.Сталин) искали формулу нации, соединяя признаки более или менее произвольно.

В 1968 году, когда в печати уже появилось несколько важных теоретических статей Гумилева, Тимофеев-Ресовский тщетно пытался «выжать» из него четкое определение этноса. Гумилев же давал только первичное определение: «вид, порода», «форма существования вида *homo sapiens*», в сущности, повторяя определение С.М.Широкогорова, который, собственно, и ввел в отечественную науку понятие «этнос».

О своем открытии пассионарности Гумилев рассказывал едва ли не в каждом интервью, но о поисках «формулы» этноса, о ходе научной мысли он почти не рассказывал, да его и не спрашивали – слишком сложная тема. Не зря большая часть трактата «Этногенез и биосфера Земли» посвящена не пассионарности, а свойствам этноса.

Гумилев действовал методом исключения. Еще в апреле 1964 года он принес в редакцию «Вестника ЛГУ» статью под скромным и сугубо научным названием «По поводу предмета исторической географии» (опубликована в 1965-м). В этой статье Гумилев последовательно разобрал все существующие подходы к этнической идентичности и доказал, что они никуда не годятся, но этнос тем не менее реальность, с которой исследователь должен считаться: «…постоянным, обязательным признаком народности является личное признание каждой особи: "Мы такие-то, и все прочие люди не такие" – например, эллины и варвары, иудеи и необрезанные, китайцы и ху (все не китайцы). Это явление противопоставления одинаково характерно и для англичан, и для масаев, для французов, и ирокезов. Явление это отражает какой-то физический эффект, имеет физический

смысл…».

Физическая реальность. Этнос есть, но мы пока не можем сделать его научное описание. Поэтому Гумилев и ограничивается самым общим, первичным определением: этнос – форма «существования вида homo sapiens», «коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам. Он более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени, что и составляет проблему этногенеза».

17 февраля 1966 года Гумилев сделал доклад «О термине "этнос"» на заседании Отделения этнографии Географического общества СССР. Мы не знаем о реакции слушателей, но его публикация станет одной из самых цитируемых статей Гумилева в отечественной этнографической литературе.

В советской науке, несмотря на общепринятый материализм, уже тогда всё большее значение придавали националь ному или этническому самосознанию. В восьмидесятые годы этот подход восторжествует совершенно. Он господствует и теперь. Самосознание народа с этой точки зрения отражается прежде всего в самоназвании. Гумилев же доказывал в своем докладе, что этнос нельзя путать с этнонимом, и приводил несколько примеров несоответствия этноса и его названия. В VII веке до н. э. римлянами называли себя жители небольшого полиса в области Лациум. Но уже в I веке до н. э., после Союзнической войны, право римского гражданства и название «римляне» распространилось почти на всех жителей Италии, включая прежних злейших врагов Рима – самнитов, этрусков, цизальпийских галлов. А после эдикта Каракаллы (212 г. н. э.) римлянами начали называть всех подданных империи, включая египтян, евреев, кочевников Северной Африки и даже германцев, если они были римскими гражданами. Завоеватели франки называли римлянами романизированных жителей Галлии, а после исчезновения Западной Римской империи римлянами (ромеями) продолжали себя называть жители Византии, хотя даже латынь в их стране вытеснил греческий. Еще забавнее и убедительнее другой пример из статьи Гумилева: «…слово "татар" как синоним слова "монгол" попало в Восточную Европу и привилось в Поволжье, где местное население в знак лояльности хану Золотой Орды стало называть себя татарами. Зато потомки первоначальных носителей этого имени стали именовать себя монголами. С этого времени возникла современная научная терминология, когда татарский антропологический тип стали называть "монголоидным", а язык поволжских тюрков-кипчаков – татарским языком».

Нужно было найти какой-то новый подход, и Гумилев его

предложил все в том же февральском докладе 1966 года. На этот раз Гумилев отказывается от своей любимой дедукции и начинает, как и положено настоящему историку, не теоретизировать, а изучать, описывать этнос. Так он обращает внимание на важное свойство этноса/нации – неоднородность, иерархичность.

Деление некоторых этносов на рода и племена хорошо известно, и Гумилев считал его не признаком «отсталости», «архаичности», а важнейшей силой, скрепляющей единство народа: «Деление этноса на племена несет функцию скелета, на который можно наращивать мышцы и тем самым набирать силу…» Только сейчас, наблюдая жизнь ингушей и чеченцев в России или арабов и берберов во Франции, мы можем оценить, как прав был Гумилев.

Родовой строй делает этнос устойчивее. Но и народы, его лишенные, имеют сложную внутреннюю структуру: «… внутриэтническое дробление есть условие, поддерживающее целостность этноса и придающее ему устойчивость…» Позднее в статьях цикла «Ландшафт и этнос» Гумилев разработает целую систему этнической иерархии: консорции/конвиксии – субэтносы – этносы – суперэтносы. Умозрительный и, в сущности, фашистский идеал нации-монолита бесконечно далек от исторической реальности. Этнос разнообразен, и чем сложнее этническая система, тем она устойчивее.

ЭТНОС КАК СИСТЕМА

В своем февральском докладе Гумилев отнес этнос к явлениям природы, но не биологическим, а географическим. Сделать следующий и, возможно, важнейший шаг Гумилеву поможет как раз биолог, заведующий кафедрой генетики и селекции ЛГУ, автор первого в советской России современного учебника генетики Михаил Ефимович Лобашев.

Всякое живое существо, будь то котенок, щенок, слоненок или ребенок, появившись на свет, начинает приспосабливаться к окружающей среде. Родители его воспитывают и обучают. Кроме папы и мамы обучают родственники, старшие товарищи, друзья, воспитатели детского садика, школьные учителя и так далее. В обществе все это называется социализацией и передачей традиции, а Лобашев назвал – сигнальной наследственностью, характерной и для животных, и для человека. Гумилев применил идею Лобашева к теории этноса.

Новорожденный младенец не принадлежит еще ни к одному этносу, ни к одной нации, но с первых же дней жизни начинается его социализация: «В Полинезии учат плавать, в Сибири – ходить на лыжах, в древней Монголии – стрелять из лука и ездить верхом, в Европе – грамоте, чтобы человек читал газеты и принимал "профилактические меры" для избавления себя от неприятностей. Поведение, т. е. способность приспособить организм к новым условиям, рассматривается как результат биологического признака – способности к изменчивости».

Еще в Камышлаге Гумилев сделал интересное наблюдение: простые зэки, не изучавшие этнографии, не знакомые с теоретическими взглядами, допустим, С.М.Широкогорова, первого теоретика этнологии, тем не менее легко определяли этническую принадлежность солагерников. Причем никогда не путались. Узнавали друг друга и отделяли своих от чужих.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ В ТЕОРИИ ГУМИЛЕВА

Теоретические понятия ——— Воплощение в исторической реальности

Консорции – группы, объединенные общностью исторической судьбы, общностью интересов и какойлибо целью. ——— Фанатские группировки, банды, творческие объединения, политические партии.

Конвиксии – группы, объединенные общностью быта и семейными связями на протяжении нескольких поколений. ——— Сельские общины, городские «сотни», слободы, большие семьи.

Субэтнос – подсистема этноса, которая выделяется своим стереотипом поведения и комплиментарностью, положительной к своим, отрицательной к чужим. ——— Донские, кубанские, терские казаки, сибиряки, поморы.

Один из субэтносов может занимать господствующее положение в этнической системе. Например, на Украине XXX века господствующим субэтносом стали «западенцы».

Этнос – «устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам, что определяется ощущением комплиментарности, и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени. <…> Стереотип поведения служит фундаментом этнической традиции, включающей в себя культурные и мировоззренческие устои, формы общежития и хозяйства, имеющие в каждом этносе свои неповторимые особенности». ——— Русские, украинцы, французы, немцы, англичане, монголы и др.

Суперэтнос – «группа близких между собой этносов», обычно сопоставляется с известными задолго до Гумилева «цивилизациями», «культурными мирами», «культурно-историческими типами».——— Западноевропейский, российский, мусульманский, индийский и др.

Из интервью Льва Гумилева журналу «Юность»: «Был у меня такой приятель, харбинский метис: отец у него был китаец, а мать русская. Но мы называли его "белый комсомолец": нравы и

обычаи у него были такие же, как у наших комсомольцев, вел он себя совершенно так же, но только вместо "Капитала" Маркса читал Блаватскую и Папюса, мистические книги. Но как наши студенты сдают "Капитал" и ничего себе не оставляют, так и он ничего не знал. И пришли ко мне китайцы и спрашивают: "Как вы считаете, он ваш или нет?" Я подумал-подумал и говорю: "Наш, конечно, а то, что отец – китаец, это не имеет никакого значения. Он так же ругается, как мы все, так же филонит на работе, как мы все, так же стихи читает. Мы его считаем за своего". А те говорят, что не считают его за своего, хотя по закону, раз он сын китайца, должен быть китайцем».[37]

Этнос – не сборище похожих друг на друга людей, а сложная система, объединенная системными связями. Гумилев, только припоминая лагерные встречи с китайцами, персами, узбеками, евреями, шугнанцами, мог бы сделать такой вывод. Но для его развития Гумилеву понадобился системный подход, который в шестидесятые годы уже довольно хорошо знали биологи, а гуманитарии стали в нем толькот-олько разбираться.

Основоположником системного подхода считается биолог Людвиг фон Берталанфи, хотя за четверть века до Берталанфи к теории систем вплотную подошел известный русский философ-марксист, революционер, основатель и первый директор Института переливания крови Александр Александрович Богданов. В 1912 году Богданов опубликовал свою работу «Тектология: всеобщая организационная наука», которая долгое время оставалась незамеченной.

Гумилев читал не только Берталанфи, но и советских философов Э.Г.Юдина и В.Н.Садовского, подготовивших к печати сборник «Исследования по общей теории систем». Он изучал и охотно цитировал и сочинения биолога Александра Малиновского, сына Богданова, переводя научные абстракции на привычный для гуманитария образный язык – вероятно, чтобы понятнее было не только оппоненту и ученому читателю, но и себе самому:

«Простейшая система – семья состоит из мужчины и женщины и держится на их несходстве. Усложненная система – этнос или суперэтнос также держится не на сходстве входящих в него людей, но на устойчивости характера и направления закономерного, поддающегося моделированию изменения связей».

В конце семидесятых в трактате «Этногенез и биосфера Земли», разъясняя для простых читателей и ученых-гуманитариев сущность системного подхода, Гумилев снова приводил простой и всем понятный пример:

«Элементы системы: члены семьи и предметы их обихода, в том числе муж, жена, теща, сын, дочь, дом, колодец, кошка. Они составляют семью до тех пор, пока супруги не разведутся, дети не отколются, начав зарабатывать сами, теща не разругается с зятем, колодец не зацветет и кошка не заведет котят на чердаке. Если после этого они останутся в доме, хотя бы туда даже провели водопровод, это будет не семья, а заселенный участок, т. е. все элементы живой и косной природы останутся на месте, но система семьи исчезнет. <…> Реально существующим и действующим фактором системы являются не предметы, а связи, хотя они не имеют ни массы, ни заряда, ни температуры».

Система отличается от простой совокупности, как готический собор – от груды кирпичей. Как роман Диккенса – от набора букв латинского алфавита.

Системный подход позволил Гумилеву объяснить этническую иерархию и, главное, определить, что связывает людей в этносе: «…этнос – не простое скопище людей, теми или иными чертами похожих друг на друга, а целостность различных по вкусам и способностям людей, продуктов их деятельности, традиций, географической среды…»

Роль системных связей в этносе исполняет этническая традиция. Как человек адаптируется к своему окружению и природной среде, так и этнос адаптируется к ландшафту, приспосабливает его к своим нуждам, но и сам неизбежно приспосабливается к ландшафту, приспосабливается к этническому окружению. Так создается этническая традиция, создается и сам этнос. Этнос объединен этнической традицией, а не расовой общностью, не языком, даже не культурой, хотя язык и культура играют свою роль в создании системных связей.

В конце жизни, работая вместе со своим учеником Владимиром Мичуриным над словарем пассионарной теории этногенеза, Гумилев окончательно сформулирует понятие этнической традиции: «Иерархия стереотипов и правил поведения, культурных канонов, политических и хозяйственных форм, мировоззренческих установок, характерных для данного этноса и передаваемых из поколения в поколение. Накопленной этнической традицией, по сути дела, и определяется своеобразие каждого этноса, его место в ряду других народов».

Но традиция меняется, как меняется сам этнос. Одна из программных статей Льва Николаевича даже называется: «Этнос: состояние или процесс?» Разумеется, процесс, доказывает Гумилев.

ЭТНОГЕНЕЗ

В науке тогда господствовали взгляды на этногенез, сложившиеся еще в XIX веке. Становление и развитие народа подменялось становлением и развитием языка.

Но глоттогенез (происхождение языка) и этногенез (происхождение народа) — не одно и то же. В истории известны случаи, когда народ меняет родной язык. Тур Хейердал как-то заметил, что афроамериканцы происходят все-таки из Африки, «а не из Англии, как можно было бы считать по их речи».

В сороковые годы XIX века этнограф и путешественник Матиас Кастрен начал изучать язык тунгусов (эвенков) в селении Урульга. Семьдесят лет спустя его исследования продолжил Сергей Михайлович Широкогоров. И оказалось, что всего за семьдесят лет тунгусы Урульги забыли свой язык и перешли на бурятский, а самоназвание сменили с «эвенков» на «хамнаган». Если столь радикальные перемены случились за дватри поколения, то что же произойдет спустя дветри тысячи лет?

В VII веке до нашей эры на латыни говорило население Лациума – небольшой области в центре Италии. Со временем носители языка настолько преуспели в завоевательных войнах, что создали огромную империю, простиравшуюся от Британии до Палестины. Латынь в этой империи, естественно, была государственным языком.

После распада империи население не только Италии, но и Галлии, Аквитании, Иберии продолжало общаться на общепринятой латыни, правда, изрядно испорченной. При этом потомки галлов, аквитанов, лигуров, басков не состояли в родстве с настоящими римлянами, а лигуры, аквитаны и баски даже не были индоевропейцами.

В средние века на французском, окситанском, испанском, каталанском, то есть на разных вариантах испорченной латыни, заговорили народы, генетически с римлянами не связанные, а лишь приобщившиеся к римской культуре.

В XVI веке испанцы и португальцы завоевали Южную Америку. Они принесли с собой вирус оспы, огнестрельное оружие, католическую религию и романскую речь. В результате не только креолы, но даже индейцы, метисы и потомки вывезенных из Анголы чернокожих рабов заговорили на испанском и португальском.

Евреи в разных странах говорят на разных языках. Иврит относится к семитской группе афроазийской (семито-хамитской) языковой семьи, идиш – к германской группе индоевропейской

языковой семьи, горские евреи Дагестана говорят на языке, близком к персидскому.

Глоттогенез только вводит историка в заблуждение, а потому Гумилев его решительно отбросил и начал изучать только тот период этнической истории, что был более или менее освещен письменными источниками. Сам же термин «этногенез» Гумилев переосмыслил. Сложившись однажды, этнос не остается неизменным. Этнос живет, непрерывно развивается, меняется от поколения к поколению, от одной исторической эпохи к другой. Поэтому логично называть этногенезом жизнь этноса от появления до исчезновения.

ФАЗЫ ЭТНОГЕНЕЗА

«Гумилев буквально переносит законы развития организма на этногенез», — пишут критики пассионарной теории этногенеза. Но ведь природные процессы имеют начало и конец, каждая система, исчерпав ресурсы для развития, гибнет. Разрушаются горы, пересыхают реки, даже звезды не живут вечно, так неужели могут вечно существовать народы и государства? Сама идея о «старых» и «молодых» народах появилась задолго до Гумилева. Я говорю даже не о книгах Шпенглера и Данилевского. В XIX веке туманные и расплывчатые представления о «старых» и «молодых» нациях были распространены широко не в науке, а в обществе. Герой Лескова смеялся над «тысячелетней молодостью» русского народа, Лермонтов писал о «дряхлом» Востоке.

Теория Гумилева намного основательнее и сложнее. Гумилев сравнивал возраст этноса с возрастом человека, когда хотел доказать свою мысль с помощью красивого и убедительного примера, иллюстрации, не более. Сами «возрасты» этноса Гумилев выделял постепенно, и аналогии с возрастами человека здесь особой роли не играли.

19 мая 1966 года Гумилев выступил в Географическом обществе с докладом «Этнос как явление». Гумилев говорил, что многие этносы не занимаются преобразованием природы, а мирно сосуществуют с ней, встраиваясь в существующий ландшафт. Другие этносы, напротив, ландшафт преобразуют. Но интереснее другое: один и тот же народ в течение нескольких столетий занимается преобразованием природы, а потом веками только поддерживает созданный антропогенный ландшафт. Шумеры осушили болота в южной Месопотамии, провели к полям оросительные каналы и стали получать огромные урожаи ячменя. Так же действовали жители древнего Египта в долине Нила. Но, преобразовав ландшафт за несколько столетий, они перестали его менять и только поддерживали – чистили русла каналов от аллювия и песка, чинили дамбы: «…мы натолкнулись на новое, до сих пор не учтенное явление: изменение природы не результат постоянного воздействия народов на нее, а следствие кратковременных состояний в развитии самих народов», — делал вывод Гумилев.

На следующий год, 7 апреля 1967-го, в своем новом докладе «Этнос и категория времени» Гумилев обратил внимание на давно известный этнографам феномен: некоторые, в основном «отсталые» народы, не ведут привычного нам линейного счета времени, так как просто не видят в нем смысла. Им хватает

фенологического или циклического календаря, отражающего смену времен года, а некоторые племена обходятся и вовсе без отсчета времени, потому что живут в стабильных климатических условиях, например, в субэкваториальных лесах Новой Гвинеи.

Значит, в истории этноса возможны два состояния две фазы: творческое (динамичное, историческое) и застойное (стабильное). Гумилев, охотно принимавший не только географическую, но и биологическую терминологию, назвал такие «застойные» этносы «персистентами», от латинского *persisto* – упорствовать, а позднее стал использовать еще один биологический термин – «гомеостаз»: состояние неустойчивого равновесия с природной средой. У персистентных (гомеостатичных) народов этническая традиция меняется очень медленно, потому что новые поколения стараются воспроизводить образ жизни своих отцов и де дов. Правда, необходимость приспосабливаться видоизменяет даже их этническую традицию. Так, благодаря влиянию русских купцов и крестьян-переселенцев охотничьи племена Сибири научились стрелять из ружей и пить водку. Последнее вряд ли можно считать достижением, но ведь развитие этноса – это не путь от низшего к высшему.

В 1970 году в своей программной статье «Этногенез и этно сфера» Гумилев выделил уже не две, а четыре фазы развития этноса: исторического становления, исторического существования, исторического упадка, исторических реликтов. Последняя фаза и представляет собой этносперсистент. Эта схема слишком напоминает четыре «сезона» культуры Шпенглера. Но в 1979-м в трактате «Этногенез и биосфера Земли» количество фаз этногенеза возрастет до шестисеми, а в словаре понятий и терминов пассионарной теории этногенеза, составленном в конце восьмидесятых Л.Н.Гумилевым и его учеником В.А.Мичуриным, — до семивосьми. И это не предел дробления, потому что в классификации надо учитывать и переходы между фазами, у них ведь своя специфика.

У динамичного народа традиция меняется каждое поколение. Поэтому «люди сороковых годов» так не похожи на «шестидесятников». Со временем изменений накапливается все больше. Народ, беспрерывно развиваясь, меняется до неузнаваемости: «Разве можно узнать потомка свирепого сакса, убивавшего кельтских ребятишек, в веселом браконьере Робин Гуде или стрелке из "Белого отряда", а его прямого потомка – в матросекорсаре Фрэнсиса Дрейка или в "железнобоком" солдате Кромвеля? — писал Гумилев в трактате "Этногенез и биосфера Земли". — А их наследник – клерк лондонского Сити, то

аккуратный и чопорный в викторианскую эпоху, то длинноволосый декадент и наркоман XX века? А ведь Англия всегда была страной консервативной. Что же говорить о других этносах, на облик которых влияет не только внутреннее развитие, но и посторонние воздействия – культурные заимствования, завоевания, влекущие за собой принудительные изменения обычаев…»

ФАЗЫ ЭТНОГЕНЕЗА ПО ОСНОВНЫМ СОЧИНЕНИЯМ Л.Н.ГУМИЛЕВА

«Этногенез и этносфера» (1970) ——— Этногенез и биосфера Земли (1979) ——— Словарь понятий и терминов по теории этногенеза Л.Н.Гумилева (конец 1980-х)

Фаза исторического становления ——— Фаза подъема (делится на этапы: 1. Скрытый и 2. Явный подъем) ——— Фаза подъема

Фаза исторического существования ——— Акматическая фаза («пассионарный перегрев») ——— Акматическая фаза («пассионарный перегрев»)

Кризис фазы исторического существования ——— Фаза надлома ——— Фаза надлома

——— Инерционная фаза ——— Инерционная фаза

Фаза исторического упадка ——— Фаза обскурации ——— Фаза обскурации

Фаза исторических реликтов ——— Мемориальная фаза (делится на этапы: 1. Регенерация и 2. Реликт) ——— Фаза регенерации

——— Гомеостаз ——— Мемориальная фаза

——— ——— Этнический гомеостаз

Изменения происходят на глазах историка. В тридцатые годы немцы считали себя «высшей расой», стремились расширять «жизненное пространство» за счет чужих земель, не терпели рядом с собой даже евреев, цивилизованных и лояльных «чужаков», давно адаптировавшихся к немецкой культуре.

Их внуки стали мирными и толерантными людьми, которые все чаще называют себя даже не немцами, а просто европейцами. Они терпят в своей стране даже не очень лояльных инородцев, совершенно чуждых традициям европейской цивилизации. Немецкие женщины предпочитают лет до сорока развлекаться и детей не заводить или ограничиваться одним ребенком. Немецкие мужчины миролюбивы, они если и воюют, то под чужим, преимущественно американским командованием, и делают это крайне неохотно. А ведь метаморфоза заняла всего-навсего несколько десятилетий.

Казаки в XVII веке были неукротимыми головорезами, которые без поддержки государства не только отнимали лучшие земли у воинственных кавказских народов, но даже самостоятельно воевали с могущественной Османской империей

и захватывали крепости, которые не могли взять регулярные войска царя московского. В XIX веке терские казаки вели постоянную войну с соседями-чеченцами, причем сражались на равных. Но уже в начале двадцатого века положение дел переменилось. В январе 1919 года белогвардейский полковник И.Н.Беликов в докладной записке А.М.Драгомирову, помощнику главнокомандующего Добровольческой армией, сообщал, что казаки «трусливы, много пьянствуют, очень богаты. Никакой власти у казаков ни общей, ни в станицах… их начальники не приказывают, а только просят». В августе 1918 года ингуши разбили казаков, уничтожили Тарский хутор и предъявили Сунженской, Тарской и Аки-Юртовской станицам ультиматум: выселиться за Терек. Сроку им дали – два дня. И казаки покорно выселились, а соседи из Карабулакской и Слепцовской станиц не вступились за соплеменников. В наши дни оставшиеся на Северном Кавказе казаки горько сетуют, что государство не помогает им отстоять свою землю, не защищает, а сами они защищаться давно разучились.

Какая же сила так меняет этнические традиции народов, а значит, и сами народы? Гумилев бы ответил: англичане, немцы, французы, казаки растратили свою пассионарность.

ПАССИОНАРИИ, ГАРМОНИЧНЫЕ ЛЮДИ, СУБПАССИОНАРИИ

Самое корректное определение пассионарности выглядит так: «активность, проявляющаяся в стремлении индивида к цели (часто иллюзорной) и в способности к сверхнапряжениям и жертвенности ради этой цели».

В статье «Этногенез и этносфера» и в трактате «Этногенез и биосфера Земли» Гумилев описал пассионарность на нескольких ярких исторических примерах, которые слишком известны, чтобы на них останавливаться. Желающий всегда достанет книгу Гумилева и прочитает. Отмечу главное: Гумилев обратил внимание, что деятельность Наполеона, Суллы, Жанны д'Арк, Александра Македонского, Ганнибала невозможно объяснить рациональными, то есть корыстными мотивами, как привыкли объяснять всё и вся не только обыватели, но и ученые-обществоведы: «С точки зрения личных интересов Ганнибала, война была ему не нужна. <…> Ведь если бы шальная стрела попала в грудь карфагенского полководца, то его смерть не компенсировала бы никакая военная добыча, тем более что в деньгах он не нуждался. <…> Ради личной выгоды Ганнибал должен был сидеть в своем Гадесе и развлекаться; карфагенские старейшины должны были бы всеми силами поддерживать своего полководца; нумидийские всадники – дезертировать, чтобы не гибнуть за ненавистных карфагенских колонизаторов; испанские пращники – восстать и вернуть свободу. А все было наоборот!»

Биографии ярких и хорошо известных читателю персонажей всемирной истории ввели в заблуждение даже ученых читателей Гумилева. Михаил Илларионович Артамонов решил, что его ученик всего-навсего возродил старую «теорию героя и толпы». На самом деле пассионарная теория этногенеза не имела с ней ничего общего. Пассионарии не обязательно «великие личности», потому что пассионарность может сочетаться как с выдающимися способностями (у художников, писателей, ученых), так и со средними и даже невысокими. Пассионарии – просто «активные люди», которые чаще всего «находятся в составе масс», — сказал Гумилев в одной из своих лекций.

Без пассионарности практически невозможно творчество, как научное, так и литературное, потому что творческая работа требует длительного волевого интеллектуального и эмоционального напряжения (в терминологии Гумилева – «сверхнапряжения»). Исаак Ньютон, отдавший науке и

богословию все силы и всё время и больше ничем не интересовавшийся, был для Гумилева примером крайне высокой степени пассионарности.

Творчество требует жертвенности, пусть жертвой будет не жизнь и здоровье, а просто отказ от ближайших потребностей, не обязательно жизненно важных. В «Даре» Набокова есть замечательный фрагмент: литератор Годунов-Чердынцев, прежде чем пойти на маскарад, где его ожидало свидание с любимой, решил вычеркнуть одну из написанных им ранее фраз. Он задержался, сел за письменный стол и… за работой забыл о свидании. Приятный вечер не состоялся, зато была дописана книга.

Талантливый, но не пассионарный писатель с трудом может сосредоточиться на работе, ведь вокруг много соблазнов, отвлекающих от тяжелого, нервного, часто неблагодарного труда. С.А.Герасимов вспоминал, как признанный стилист советской литературы, король метафор Юрий Олеша приезжал в Одессу «с намерением писать, писать, писать, но писал мало, потому что вокруг было столько друзей и искушений. Спуститься в ресторан… где подавали вкуснейшие киевские котлеты… где можно было сидеть не торопясь… и говорить, говорить…»

Но и за письменным столом Олеша не мог сосредоточиться на работе: «Пишу эти строки в Одессе, куда приехал отдыхать от безделья. <…> Когда работа удается, усидеть на месте трудно. Странная неусидчивость заставляет встать и направиться на поиски еды, или к крану напиться воды, или просто поговорить с кем-нибудь. <…>

Моя деятельность сводится сейчас к тому, что в течение дня я заношу на бумагу дветри строчки размышлений. <…> Эта деятельность… составляет по величине не больше, чем, скажем, записки Толстого не то что в дневниках, а в той маленькой книжечке, которую он прятал от жены. А где же моя "Анна", мои "Война и мир", мое "Воскресенье" и т. д. Надо всё это обдумать и сделать выводы». И за этими грустными размышлениями следует строчка, на мой взгляд, объясняющая все: «Только что ел пломбир».

Вот он, ответ! Олеша был не способен сконцентрироваться на работе и отказаться ради нее даже от небольшого удовольствия.

Он сам назвал свое состояние «болезнью», с которой нельзя писать. Хотя это была не болезнь, а нормальный уровень пассио нарности, характерный для большинства гармоничных людей.

Нормальные, гармоничные люди (обыватели) могут быть умнее и талантливее пассионариев, а могут уступать им в способностях. Они достаточно активны, чтобы, скажем, получить

хорошую профессию и честно трудиться на благо себе и обществу, завести семью, обеспечить детей. Нормальное, процветающее общество – царство обывателя. Такой страной была, например, Сербия конца XIX – начала XX веков. Современный российский историк Андрей Шемякин назвал ее «раем для маленького человека». «В этой стране… нет бедных и… нищих; нет безземельных, как нет и крупных землевладельцев», — писал русский посол Н.В.Чарыков в 1901 году. В стране, только что освободившейся из-под турецкого ига, утвердился демократический конституционный режим: «Народ управляется сам собой, через своих представителей, которых избирают все, платящие налоги. Демократия, которую в других местах приходилось устанавливать путем силы… здесь существует как древнее учреждение и унаследованный обычай», — писал в те же годы бельгийский путешественник.

Но есть и еще один тип людей – субпассионарии. Субпассионарность – невозможность полноценно адаптироваться к среде (окружающей природе и обществу) из-за низкой активности, неспособности «сдерживать инстинктивные вожделения», «паразитизма», «нежелания заботиться о потомстве». Люди такого склада хорошо известны современному читателю и зрителю не столько из научных монографий, посвященных исследованиям люмпенпролетариата и разнообразных «отбросов общества», сколько из выпусков криминальной хроники, где корреспонденты так любят смаковать уродливую, но посвоему живописную жизнь мелких уголовников и бомжей.

В старых этносах-реликтах субпассионариев обычно немного, так как борьба за существование в суровом климате и тяжелых природных условиях способствует вымиранию субпассионариев и выживанию людей гармоничного склада. Но при благоприятных природных условиях или при искусственной (государственной) поддержке они могут размножиться и составить немалую часть популяции этноса. Гумилев заканчивает восьмую часть своего трактата «Этногенез и биосфера Земли» описанием народа онге (у Гумилева – онгхи), населяющего Малый Андаман, один из крупных островов Андаманского архипелага, что расположен в северо-восточной части Индийского океана между Индией и Мьянмой (географически гораздо ближе к Мьянме, но политически – это часть Индии): «…они попросту ленятся жить. Иногда предпочитают поголодать, чем искать пищу; женщины не хотят рожать; детей учат только одному – плавать. Взрослые хотят от цивилизованного мира только одного – табака. <…> Жизненный тонус онгхи понижен. Четвертая часть молодых

женщин бесплодны». Даже мелкие изменения внешней среды, например, смена рациона под влиянием европейцев или появление алкоголизма, губительны для племени.

А ведь то же самое происходит и в Сибири. Вот типичная зарисовка нравов в поселке Келлог Туруханского района. «Сидят несколько человек с детьми, — пишет иеромонах Арсений (Соколов). На полу – бутылка спирта и щука. Все гложут щуку и запивают спиртом». В Келлоге живут кеты, древний сибирский народ. Их численность также медленно сокращается, а этническая традиция деформирована.

Гумилев, как настоящий художник, мыслил образами. Однажды, объясняя, как меняется со временем стереотип поведения, он вспомнил лермонтовского купца Калашникова: для XVI века купец вел себя правильно, а для XIX века – нет. Гумилева, разумеется, начали ругать: купец – литературный герой, созданный воображением поэта, который жил не в XVI, а в XIX веке. Между тем Гумилев не доказывал, а иллюстрировал, пояснял свою мысль на понятном, доступном любому читателю примере.

Рискую нарваться на такое же обвинение, но все-таки позволю себе проиллюстрировать субпассионарность не историческим или бытовым (их грамотный читатель найдет великое множество), а литературным примером. Тем более что перед нами книга Романа Сенчина, основоположника «Нового реализма».

«Артем любил тихие занятия – в детском саду, куда ходил с плачем, чаще всего лепил из пластилина, катал в уголке машинки, в школе на переменах сторонился носящихся одноклассников; одно время чувствовал тягу к книгам, особенно к тем, где описывались путешествия, исследования дальних стран, но ни одну книгу от корки до корки не осилил – листал, выхватывая взглядом отдельные строки, даты, фамилии, рассматривал иллюстрации. Родители, видя его тихость, иногда говорили с усмешкой: "Философ растет. Всё думает". Но Артем как-то особенно ни о чем не думал, мало что замечал, запоминал. <…> Он рос здоровым, крепким, будто занимался физкультурой (а физкультуру он не любил больше всех других уроков), и в то же время какимто… Однажды он услышал слово, поразившее его, — слово это сказали не в его адрес, но с тех пор Артем часто мысленно повторял, обращая его к себе: "Недоделанный"».

ПАССИОНАРНОСТЬ В ЭТНОГЕНЕЗЕ

Гумилев никогда не утверждал, будто процесс этногенеза зависит от одной лишь пассионарности, ведь есть много других факторов: этническое окружение, географическая среда, уровень социально-экономического развития и технической оснащенности и т. д. Но все-таки большую роль играет явление, названное Гумилевым «пассионарным напряжением»: количество пассионариев в этносе, соотношение пассионариев с обывателями (гармоничными людьми) и субпассионариями.

Рост числа пассионариев ведет к экспансии этноса – демографической, военной, даже культурной. Европейцы отправлялись в крестовые походы, а позднее – в колонии, мусульмане – на джихад, японцы в XX веке чуть было не захватили половину Азии, но потерпели поражение. Колоссальная убыль пассионариев уменьшила их агрессивность, а потому оставшиеся сосредоточились на экспансии экономической – и преуспели.

Когда пассионариев становится слишком много (акматическая фаза), возникают бесчисленные внутренние конфликты, гражданские войны, которые мешают даже завоевательным походам. Резкое падение пассионарного напряжения этноса (фаза надлома, *breakdown* Арнольда Тойнби) приводит к затяжному внутреннему кризису, который завершается переходом к инерционной фазе – плавному (за 300-400 лет) снижению пассионарности этноса. Но постепенная утрата пассионарности, исчезновение пассионариев из популяции и размножение субпассионариев ослабляют этнос настолько, что он слабеет и становится все более уязвимым для внешних угроз.

Древние шумеры не только строили оросительные каналы и города с храмами-зиккуратами, но успешно отбивали нападения соседей-эламитов и даже захватывали пленных, которых потом заставляли трудиться в своих храмовых хозяйствах. Но в конце XXI века до н. э. в Месопотамию пришли кочевники-семиты – амореи, которые даже отдаленно не напоминали грозных монголов или арабов. У амореев не было ни лошадей, ни верблюдов, а значит, они были лишены характерной для кочевников завоевателей будущих эпох мобильности. Огромные стада овец давали им средства к существованию, но одновременно делали их уязвимыми, так что шумерскому государству III династии Ура ничто вроде бы не угрожало. Но миграция этих скромных пастухов погубила и династию, и государство, которое вскоре распалось. В Месопотамии

возобладали семиты, усвоившие часть шумерской культуры; шумерский язык существовал еще много столетий как священный «язык прорицаний», затем исчез, как исчез еще раньше и сам народ.

Во II тысячелетии появятся и исчезнут хетты, создавшие одну из самых сильных империй древности; арамеи распространятся так широко, что их язык станет на всем Леванте *lingva franka*, как теперь по всему миру английский, как в Европе позапрошлого века французский. Но уже к началу нашей эры память о хеттах стерлась; поарамейски еще говорили, но самих арамеев уже не было. Та же судьба постигла скифов, сарматов, мидян, халдеев, римлян, галлов. Из древних племен до нашего времени дожили немногие – евреи, армяне, ассирийцы, но все они переменились до неузнаваемости.

Но откуда берется пассионарность? В 1972 году, в статье «Этнология и историческая география» (цикл «Ландшафт и этнос») Гумилев впервые упоминает о «пассионарных толчках»: три-четыре раза за тысячу лет сразу в нескольких странах мира, часто отделенных друг от друга многими тысячами километров, начинаются процессы этногенеза: появляются новые этносы или до неузнаваемости меняются старые. Так, в VII веке принявшие ислам арабы одновременно начали войну против Ирана и Византии. Народ, прежде поставлявший соседям вспомогательные войска, надо сказать, довольно нестойкие, неожиданно начал одерживать победу за победой. Византия еле отбилась, а Иран был покорен, персам пришлось сменить зороастризм на ислам.

В это же время начинается подъем Тибета и Китая (империя Тан). В северо-западной Индии появляется новый этнос радж путов, который на несколько веков захватывает политическую гегемонию в Индии. В Японии происходит «Переворот Тайка» («Тайка» – «великая перемена»), определивший развитие Японии на несколько столетий вперед.

Если соединить регионы, где начались все эти события, получится огромная дуга: Аравийский полуостров – северо-западная Индия – Тибет – северный Китай – Япония.

Это странное явление Гумилев и назвал «пассионарным толчком», или «взрывом этногенеза». Таких толчков на территории Старого Света с XVIII века до н. э. по XIII век н. э. Гумилев насчитал девять. Все они вытянуты узкими полосами в меридиональном, или широтном, направлении. Позднее, уже в восьмидесятые годы, Гумилев составит список универсальных признаков пассионарного толчка.

Пассионарный толчок – разумеется, только гипотеза Гумилева, которую невозможно подтвердить до тех пор, пока не

будет выяснена физическая и биологическая природа пассионарности. Но сам Гумилев был уверен, что эту природу он уже изучил, понял, доказал.

ПАССИОНАРНОСТЬ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

Гумилев описал пассионарность как историк и географ. Если бы он остановился на этом, его вклад в науку уже был значительнее, чем вклад, допустим, Данилевского или Хантингтона, но, как мы помним, еще в камере Лефортова Гумилев попытался пойти дальше и «перекинуть мост» между историей и естествознанием.

Гумилев решил, что пассионарность имеет энергетическую природу, но какая это форма энергии, он не знал, а потому до середины шестидесятых годов рассказывал о своих наблюдениях и предположениях друзьям и знакомым, но в научных статьях даже не касался этой темы. Словосочетание «биохимическая энергия живого вещества» он встретил, вероятнее всего, в 1965 году, когда из печати вышла книга покойного академика Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окруже ния». Теперь все как будто встало на свои места. Пассионарии усваивают из окружающей среды больше энергии, чем необходимо для личного и видового самосохранения, и выдают эту энергию в виде осмысленных и социально значимых действий. Одни создают торговые компании, вроде Ост-Индской или Гвинейской, и не только торгуют, но и захватывают новые земли. Другие отправляются на священную войну с неверными. Третьи посвящают свою жизнь научным исследованиям, или живописи, или поэзии.

Гармоничные люди – обыватели – усваивают энергии достаточно, чтобы прожить самому и оставить потомство. Субпассионарные усваивают меньше энергии, чем требуется для нормальной жизни. А поскольку этногенез зависит от соотношения в этносе пассионариев, обывателей и субпассионариев, то этногенез имеет прямое отношение к термодинамике.

Очевидно, что пассионарность и субпассионарность – отклонения от нормы. Но откуда же берутся эти отклонения? И что вызывает пассионарные толчки? Если пассионарность – наследуемый признак, то появляется он, решил Гумилев, в результате мутации.

О мутациях Гумилев, никогда не обучавшийся на биофаке, впервые услышал в конце тридцатых. Он писал, что слово «мутация» подсказал ему «друг биолог, тоже студент». Другомбиологом был Николай Давиденков, «Николка», но с Николкой они расстались в пересыльной тюрьме, летом 1939-го. Значит, уже тогда Гумилев не только думал над интересовавшей

его научной проблемой, но и обсуждал ее с друзьями.

Но почему мутации охватывают такие огромные регионы? Гумилев рассуждал логично. Радиация – один из самых мощных мутагенных факторов, известных даже гуманитарию. Пассионарные толчки случаются не в одном и том же районе (допустим, в месте выхода на поверхность урановых руд), значит, земное происхождение радиации надо отбросить. Остаются космические лучи.

Гипотеза о влиянии внеземной радиации на этногенез возникла у Гумилева не позднее 1969 года. В письме к Тимофееву-Ресовскому (начало апреля 1969-го) Гумилев задает вопрос: «Не связано ли возникновение пасс. мутаций с космическими лучами?» И сам же отвечает: «Склоняюсь, что без этой гипотезы не обойтись».

Он не нашел поддержки у Тимофеева-Ресовского, но сторонники у идеи все-таки нашлись. Одним из первых Гумилева поддержал профессор М.М.Ермолаев, известный полярник и географ. Он даже рассказал Гумилеву, что «ночью космические излучения, или видимые, или ультрафиолетовые, пробивают ионосферу, проходят до поверхности Земли и воздействуют на мелкие организмы. Вирусы их очень чутко воспринимают и мутируют».

И лишь в конце семидесятых, на последних страницах своего трактата «Этногенез и биосфера Земли», Гумилев решился опубликовать свое предположение: «…пассионарный толчок… явно неземного происхождения. <…> При уменьшении солнечной активности защитные свойства ионосферы снижаются, и отдельные кванты или пучки излучения могут достигать земной поверхности. А жесткое излучение, как известно, вызывает мутации».

В середине восьмидесятых Гумилев излагал свою гипотезу уже гораздо увереннее, ведь его во всем поддерживал верный ученик – Константин Иванов. В 1984 году они вместе опубликовали статью, где механизм действия космических лучей был описан пространнее, чем в «Этногенезе».

Позитивист и материалист Гумилев понимал энергию правильно – как физическую величину, меру «способности физической системы совершать работу». «Связь между физической энергией и "энергетикой" человека – есть, конечно, — заметил мой знакомый математик, — если человека не кормить, он станет несколько вялым, а потом и вовсе загнется, это правда. Но это ничего, совершенно ничего не доказывает». И, как пишет биолог Александр Миронов, количество энергетически богатых соединений, полученных с пищей, «никаким образом не влияет на

особенности характера индивидуума, которые проявляются в "пассионарности". Так же как большее количество топлива в баке не увеличивает мощность двигателя».

Никакой специальной «биохимической энергии живого существа» просто не существует. Гумилев неверно понял книгу Вернадского.

С мутациями дела обстоят немногим лучше. Пассионарный толчок можно объяснить только стремительным (скачкообразным) распространением мутаций, что, с точки зрения современной науки, совершенно невозможно. «Гумилеву нужен скачок, т. е. резкое увеличение концентрации того или иного аллеля (варианта гена). В современной этногенетике такого неизвестно», — пишет биолог Елена Наймарк, консультировавшая автора этой книги. Сторонники теории Гумилева пришли к такому же выводу: «Пассионарность не может возникать каждый раз заново, т. к. это достаточно четкая и определенная характеристика, имеющая схожие проявления у разных этносов в разные исторические времена. Мутации явно не подходят из-за случайности их образования и ненаправленности мутагенеза».

Итак, энергетическая природа пассионарности и гипотеза о мутациях, стимулирующих этногенез, — столпы, на которых держалось все естественнонаучное обеспечение пассионарной теории этногенеза, — оказались миражами.

Лев Николаевич Гумилев ни при каких условиях не смог бы создать естественнонаучное обеспечение своей теории. Двадцатый век не дал нового Леонардо да Винчи. Науки разошлись слишком далеко. Один и тот же человек не мог профессионально разбираться в интригах при дворе императора Тайцзуна и в популяционной генетике, в еврейско-хазарской переписке X века и в термодинамике. Чудес не бывает.

Тем удивительнее, что научный поиск все-таки принес Гумилеву удачу. Это не оговорка. Гумилев, не зная физики и математики, все-таки правильно выбрал направление: он начал искать пассионарность в биологической природе человека, а не в привычных историку социально-экономических закономерностях.

Гумилев не пытался объяснить пассионарность и действием мистических, иррациональных сил, хотя этот путь сулил легкий и быстрый успех. Легче всего было объяснить пассионарность проявлением Мировой Воли, или Абсолютного Духа, или Провидения. Гумилев просто вышел бы за пределы верифицируемого научного знания, теория превратилась бы в учение, с которым спорить можно, но бессмысленно. Это область веры, а не знания. Если бы Гумилев так и сделал, то читателей бы

у него не убавилось, а критиков стало намного меньше.

Гумилев избрал самый трудный путь, для гуманитария мучительный, но единственно верный. Существование пассионарности, ее связь с этногенезом Гумилев доказал как историк. И верно наметил направление дальнейших поисков, открыл целую область для научных исследований. Пока эти исследования носят характер сугубо теоретический и к тому же любительский, но не всегда дилетантский. Несколько лет назад, когда «Гумилёвика» была весьма динамичным и посещаемым сайтом, на его форуме шла интересная дискуссия между профессиональными биологами. Редколлегия сайта подвела ее итоги и опубликовала выводы участников дискуссии. Оказалось, что «гены, определяющие степень пассионарности, уже находятся в геноме (часть особей в каждом этносе) вида *Homo sapiens*, мутация для "опассионаривания" не нужна», но они могут быть заблокированы («эпигенетическое блокирование») или разблокированы. Впрочем, дальше продолжать не стану. Желающие могут выйти на сайт, почитать и поспорить. Для меня важнее другое: биологи, даже поняв дилетантизм Гумилева, все-таки признали избранное им направление научного поиска перспективным.[38]

Значит, Гумилеву все-таки удалось навести «мост между науками». Когда-нибудь историк, филолог, биолог и физик вместе займутся решением проблемы, поставленной Львом Гумилевым еще на рубеже шестидесятых и семидесятых годов XX века.

МЕЖДУ ЗУБРОМ И ЛЬВОМ

Почему же Лев Гумилев в одиночку постигал премудрости генетики и биофизики, разве он не мог найти квалифицированных консультантов? Конечно, мог. Более того, Гумилев нашел не только консультантов, но даже соавтора.

Достоверно известно о сотрудничестве Гумилева по крайней мере с тремя биологами: заведующим кафедрой генетики и селекции Ленинградского университета М.Е.Лобашевым, заместителем директора Института биологии внутренних вод Б.С.Кузиным и заведующим отделом радиобиологии и экспериментальной генетики Института медицинской радиологии Н.В.Тимофеевым-Ресовским. Первые двое были серьезными учеными, третьего еще при жизни считали одним из величайших биологов современности.

Кажется, успешнее всего складывались отношения с Михаилом Ефимовичем Лобашевым. В конце концов, оба работали в Ленинградском университете, так что могли встретиться после лекций, как коллеги. Впервые Гумилев обратился к Лобашеву в ноябре 1965-го. Беседа получилась, по словам Гумилева, «очень приятной и полезной».

За консультацией Кузина приходилось ездить в Ярославскую область, где размещался его институт, а Тимофеев-Ресовский жил в подмосковном Обнинске, тоже при институте.

Влияние Лобашева, видимо, ограничилось идеей сигнальной наследственности. О Борисе Сергеевиче Кузине речь впереди, а вот о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском надо поговорить подробнее, ведь он чуть было не стал соавтором пассионарной теории этногенеза.

Тимофеев-Ресовский был личностью легендарной. Задолго до книги Даниила Гранина «Зубр» слава его гремела. Когда Тимофеев-Ресовский читал публичные лекции по генетике в Институте физических проблем, куда его пригласил академик Капица, и в МГУ на 16-м этаже главного здания, аудитория не могла вместить всех слушателей. Пришлось организовать трансляцию в холлах. Тимофеев-Ресовский был уже знаменит: генетик с мировым именем, помогавший вывести советскую науку из провала лысенковского мракобесия. Он был почетным членом нескольких европейских академий и лауреатом Кимберовской премии, которая считалась у генетиков почти такой же престижной, как Нобелевская.

Еще в 1925 году Тимофеева-Ресовского пригласили в берлинский институт мозга, где он проработал двадцать лет

(лучшие годы, самые богатые на фундаментальные открытия). Там Тимофеев-Ресовский сотрудничал с крупнейшими учеными его времени, в том числе с будущим лауреатом Нобелевской премии Максом Дельбрюком, в то время еще молодым физиком теоретиком, которого именно Тимофеев-Ресовский и «переманил в биологию». Наука – истинное отечество настоящего ученого. А в Германии (и веймарской, и нацистской) наукой было заниматься намного легче и безопаснее, чем в сталинском Советском Союзе. Тимофеев-Ресовский пересылал оттиски всех своих статей в СССР, в библиотеку имени Ленина, но их там никто не читал. Много лет спустя он найдет эти оттиски неразрезанными.

Позднее в СССР будут ходить слухи, будто Тимофеев-Ресовский ставил опыты на людях и вообще верно служил нацистской Германии. Доказательств не приводили, хотя при Институте мозга в самом деле была клиника, где до войны лечили психических больных, а во время войны – раненных в голову.[39]

Но «темное» прошлое Тимофеева-Ресовского не интересовало Гумилева, который был исключительно прагматичен, когда дело касалось научной теории. Тимофеев-Ресовский занимался теми областями биологии, что особенно интересовали Гумилева: популяционной генетикой, количественным изучением мутационного процесса, биофизическим анализом мутаций, радиационной генетикой, в том числе воздействием излучений на мутации.

Гумилев познакомился с Тимофеевым-Ресовским через Раису Львовну Берг, дочь академика Берга, весной 1967 года, что, видимо, оказалось несложно – дом Тимофеевых-Ресовских всегда был открыт для посетителей. Гумилев рассказал знаменитому биологу о своей теории и предложил сотрудничество, тот заинтересовался и на сотрудничество согласился. 1967 годом датирована запись в дневнике Гумилева: «Знакомство с Тимофеевым-Ресовским, начало совместной работы». О дальнейшем известно не так много. Гумилев в перерывах между редактированием «Древних тюрков», работой над «Поисками вымышленного царства» и статьями для «Вестника ЛГУ» приезжал в Обнинск, а Тимофеев-Ресовский дважды бывал в ленинградской квартире Гумилевых на Московском проспекте. Поскольку Николай Владимирович после перенесенной в Кар лаге пеллагры не мог обходиться без помощи учеников, то и в работе с Гумилевым принимал участие один из них, генетик Николай Глотов.

Тимофеев-Ресовский не уступал Гумилеву эрудицией, широтой интересов. В отличие от Гумилева он любил и

великолепно знал музыку, о живописи, об истории искусства судил с профессионализмом настоящего искусствоведа. Но и Лев Николаевич произвел сильное впечатление на биологов. Весной 1969 года Николай Глотов будет писать Гумилеву: «Мне же достаточно того удовольствия и наслаждения, которое я получил от знакомства с Вами, интереснейших дискуссий по проблемам, о которых я мало что знал. Я почувствовал, наконец, неповторимый запах истории. И это изумительно!»

С самим Зубром у Гумилева могло быть много общих тем для беседы. Гумилев гордился своим дворянством, и знакомство с настоящим потомком (по материнской линии) князей Всеволожских, которые даже Романовых считали «худородными», не могло его не привлечь. Князья Дмитрий и Владимир Всеволожские участвовали еще в Куликовской битве, где командовали передовым полком. Кроме того, Тимофеев-Ресовский был знаком с евразийцами – Карсавиным, Алексеевым, Сувчинским, а с Петром Николаевичем Савицким, многолетним корреспондентом Гумилева, даже дружил на рубеже двадцатых и тридцатых годов.

В 1968 году Гумилев, Тимофеев-Ресовский и Глотов начали готовить статью для журнала «Природа», где должна была появиться первая публикация, посвященная пассионарности и этногенезу. Тимофеев-Ресовский и Глотов отвечали за раздел «Популяционно-генетические основы этногенеза», Гумилев – за историческую и этнографическую часть, а также за стиль и композицию.

Сначала сотрудничество развивалось успешно. Гумилев ввел биологов в прекрасный мир всемирной истории, прежде им малоизвестный, а Тимофеев-Ресовский с Глотовым помогли «выправить ряд чисто естественно-исторических неправильностей» в построениях Гумилева.

Но вскоре между соавторами обнаружились такие разногласия, что дальнейшая совместная работа стала просто невозможной. Гумилев рассуждал не только как ученый, но и как художник. Ему хотелось создать теорию совершенную, которая с возможной полнотой объясняла бы пассионарность и этногенез. Статья должна была стать своего рода произведением искусства.

Но у биологов был свой взгляд: генетика – наука строгая, игнорировать научные представления или подгонять их под теорию они не могли, ведь такая публикация просто дискредитировала бы Тимофеева-Ресовского. Поэтому биологи внесли в статью поправки, которые показались Гумилеву неуместными. Глотов убеждал упрямого историка: «Недосказано очень многое, многое плохо сказано. Но это необходимый и

достаточный на сегодня (с моей точки зрения) минимум. Мне кажется, что огромным достоинством статьи является именно ее незавершенность в ряде существенных мест. Неполнота любой теории – всегда преимущество».

Бесполезно. Гумилев не любил отказываться от своих идей, даже если они и вступали в противоречие с новыми данными. Вспомним, как упорно он защищал свою датировку «Слова о полку Игореве», с какой неохотой вносил поправку в свои расчеты уровня Каспийского моря. А теория этногенеза была делом всей жизни.

Тимофеев-Ресовский был не менее упрям и авторитарен. К тому же он терпеть не мог нечетких, научно не обоснованных концепций, тем более не мог подписаться под статьей, которая прямо противоречила научным представлениям его (да и нашего) времени.

Надо сказать, что Николай Владимирович был человеком резким, крутым, экспансивным, решительным и довольно грубым. Потомок князей Всеволожских не отличался ни терпимостью, ни деликатностью. Однажды он чуть было не выгнал из дома двоих гостей, когда узнал, что они философы. По словам Тимофеева-Ресовского, он потратил в спорах с Гумилевым «максимум своей пассионарности». В конце концов доктор биологических наук обозвал доктора исторических наук «сумасшедшим параноиком, обуреваемым навязчивой идеей доказать существование пассионарности». После этого Гумилев к Тимофееву-Ресовскому больше не приезжал и, кажется, его не простил.

Но ученые вскоре обменялись письмами. Тимофеев-Ресовский попросил прощения, сославшись на «возбудимость своего характера» и на «блины с водкой», которые поспособствовали ссоре. Гумилев ответил обширным письмом, снабженным двумя таблицами, где демонстрировались разногласия между ним и биологами. Таблица изумила биологов еще больше. Глотов, ответивший на письмо Гумилева, заметил: «По крайней мере половину содержащихся в ней вопросов просто нельзя даже ставить».

Глотов, несомненно с санкции Тимофеева-Ресовского, поставил вопрос так: или в печать пойдет статья со всеми исправлениями и дополнениями, которые внесли они с Николаем Владимировичем, или же Гумилев может напечатать свой вариант статьи только под своим именем. Формулировки в письмах Глотова и Тимофеева дипломатичные, но позиция железная – ультиматум. И тогда Гумилев решил отказаться от соавторов. Он был достаточно уверен в своих силах. К тому же статья уже получила четыре положительные рецензии, необходимые для

публикации в журнале «Природа».

Есть, впрочем, еще одна точка зрения на разрыв Тимофеева Ресовского с Гумилевым. Наталья Викторовна Гумилева обвиняет Даниила Гранина, который будто бы «внушил Тимофееву-Ресовскому, что общение с Гумилевым для него нежелательно. <…> Разве это допустимо, чтобы две такие взрывные фамилии – Гумилев и Тимофеев-Ресовский – были рядом? И Тимофеев-Ресовский нагрубил Льву: прислал ему жуткое оскорбительное письмо, приведшее Льва в шок».

Доказательств Наталья Викторовна не приводит.

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ

В 1970 году новости о войнах и государственных переворотах приходили в основном из Африки, Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Власть над Ливией окончательно взял в свои руки молодой офицер Муаммар аль-Каддафи. Американцы безнадежно увязли в Южном Вьетнаме. А в богатой и благополучной Европе, не так давно пережившей «красный май» 1968-го, страсти улеглись настолько, что даже ничтожные, в сущности, события вроде распада группы «Битлз» казались чем-то значительным. В Югославии, правда, уже поднимался национализм – предвестие будущей катастрофы, но обыватели в соседних странах этого даже не заметили. Газеты и новостные агентства твердили о «разрядке» и предрекали скорый конец холодной войны.

Все просвещенные люди тогда следили за новым путешествием норвежского антрополога Тура Хейердала. На тростниковой лодке «Ра-2» он пересек Атлантический океан, доказав, что древние мореплаватели могли попасть из Африки в Америку.

Нобелевскую премию по литературе получил Солженицын (вернее, как раз не получил, не поехал за премией в Стокгольм), но советские граждане в большинстве своем еще не знали, кто это такой. В СССР пышно отпраздновали столетний юбилей Ленина. Революция стала далеким прошлым. Началась долгая и счастливая эпоха застоя.

Для Гумилева тихий и спокойный, воистину застойный 1970 год можно сравнить разве что с 1929-м, 1934-м, 1938-м, 1956-м годами, когда в судьбе Гумилева начинался крутой поворот.

Именно в семидесятые годы Лев Гумилев, доктор наук и старший научный сотрудник НИИ, женатый человек и уважаемый, солидный, хотя и не слишком известный ученый, стал превращаться в того самого Гумилева – возмутителя спокойствия.

Статья Гумилева и Тимофеева-Ресовского предназначалась для журнала «Природа». Это был журнал академический, но не специализированный, а научно-популярный. Отсюда и огромный для научного журнала тираж (к началу 1970-го – 41 тысяча, к началу 1971-го – 49 тысяч).

После географо-геологической серии «Вестника ЛГУ» публикация в «Природе» смотрелась роскошно. Главный редактором был лауреат Нобелевской премии академик Н.Г.Басов.

Первая часть обширной и хорошо иллюстрированной статьи Гумилева «Этногенез и этносфера» вышла в январском (вторая – в

февральском) номере «Природы». Статью дополняли этническая карта державы Ахеменидов и карта этноландшафтных регионов, где, по мнению Гумилева, возникали новые этносы. Наталья Викторовна сделала для этой статьи 24 иллюстрации, в основном это были изображения представителей древних народов, населявших Персию V века до нашей эры: вавилонянин, эламит, арий, скиф, согдиец, гондхарец и др. Образцами для Натальи Симоновской послужили знаменитые рельефы царского дворца в Персеполе, одной из столиц Ахеменидов.

Теорию Гумилева заметили. В восьмом номере «Природы» за 1970 год появились первые отклики на «Этногенез и этносферу». Географ Б.Н.Семевский, профессор ЛГУ, непосредственный начальник Гумилева, не стал вникать в сущность проблемы, но счел необходимым поддержать сотрудника своей кафедры. Правда, Семевский осторожно возразил Гумилеву: «Решающее значение для изменения природных условий людьми имеют социально экономические условия человеческого общества. <… > Сводить все воздействие к биологическим и психологическим факторам неправильно», — но завершил свою реплику довольно лестно: «Статья Л.Н.Гумилева – новое слово в науке», — и пожелал автору продолжать исследования. Так же поступил и профессор Дроздов, другой ленинградский географ.

Преподаватель Ленинградского инженерно-строительного института В.Н.Куренной сам был «гумилевцем», а потому его обширная (больше, чем у Семевского и Дроздова вместе взятых) статья посвящена в основном пересказу теории Гумилева с благожелательными комментариями.

Дебют теории, спорной, экстравагантной и совершенно чуждой не только марксистской истории и этнографии, но и вообще русской гуманитарной традиции, оказался удачным. Но радоваться было рано. Вскоре статью в «Природе» прочитают профессиональные историки, этнографы, философы-марксисты, они отнесутся к сочинению Гумилева совсем иначе. Во втором номере «Природы» за 1971 год выйдет новая подборка статей, посвященных теории этногенеза.

Редакция «Природы» поступила дипломатично: две ругательные статьи уравновесила двумя хвалебными.

Востоковед Бронислав Кузнецов не вступил в теоретический спор с этнографами, а проверил теорию Гумилева на знакомом историческом материале – истории Тибета – и сделал такой вывод: рост и падение уровня пассионарного напряжения отлично объясняют и подъем, и упадок Тибета в Средние века. Практика – лучший критерий истины, а значит, «оригинальная концепция взаимодействия природы и общества отвечает на вопросы,

поставленные в советской этнографической науке».

Московский географ Юрий Ефремов был единомышленником Гумилева. Он считал человечество «биосоциальным явлением», «неотъемлемым компонентом ландшафтной сферы». Противников такого подхода Ефремов обвинил в «географическом нигилизме»: «Человечество подчиняется не только общественным, но и природным законам; сосуществование, сопроявление этих законов – неизбежная реальность на все времена, пока существует биологический вид *Homo sapiens*…»

«Географических нигилистов» в журнале «Природа» представляли этнограф Виктор Козлов и археолог Михаил Артамонов – учитель, благодетель, покровитель Гумилева.

Артамонов был даже более резок, чем Козлов. Он принял пассионарность за новый вариант битой-перебитой «теории героя и толпы». Михаилу Илларионовичу не понравилась и гумилевская концепция этноса. У Гумилева этнос представал одним из главных действующих лиц всемирной истории, Артамонов же считал этнос «аморфной структурой», никак не связанной с ландшафтом и не имеющей «четких очертаний». Значение такого явления в истории невелико.

Гумилев не пожалел учителя и на страницах того же журнала разгромил его, поймав на фактических ошибках и логических противоречиях, а несколько месяцев спустя продолжит спор с Артамоновым в изящной, остроумной и беспощадной статье «Этнос – состояние или процесс?». Перечислив основные положения артамоновской статьи, Гумилев замечает: «Согласиться невозможно ни с чем» и сразу же разбивает, казалось бы, самый сильный аргумент учителя – «зависимость человека от природы тем меньше, чем выше его культурный уровень; это прописная истина».

«Организм человека входит в биосферу Земли и участвует в конверсии биоценоза, — пишет Гумилев. — М.И.Артамонов не может доказать, что профессор дышит иначе, чем бушмен, или размножается неполовым путем, или нечувствителен к воздействию на кожу серной кислоты, или он может не есть или, наоборот, съедать обед на сорок человек, или что на него иначе действует земное тяготение. А ведь это все зависимость от природы того самого организма, который действует и мыслит, применяется к изменяющейся среде и изменяет среду, приспосабливая ее к своим потребностям, объединяется в коллективы и в составе их создает государства. Мыслящая индивидуальность составляет единое целое с организмом и, значит, не выходит за пределы живой природы…»

Вот за этот «биологизм» Гумилева и будут ругать до конца

жизни. Особенной последовательностью и непримиримостью отличался Виктор Козлов. «Этнос – не биологическая, а социальная категория», — писал Козлов. Он первым обвинил Гумилева в «биологизме» и «географическом детерминизме». Вскоре эти обвинения тяжелым грузом потянут Гумилева на дно.

Вообще «биологизм» претил не только Козлову и его начальнику Юлиану Бромлею, но даже некоторым друзьям и соратникам Гумилева. Сергей Лавров, без колебаний принимавший даже самые сомнительные идеи Гумилева (от датировки «Слова о полку Игореве» до «евразийства»), отнесся к гумилевской концепции этноса неприязненно. Верный друг, всегда защищавший Гумилева даже от справедливой критики других ученых, тут же становился его критиком (правда, робким, вежливым и осторожным критиком), как только речь заходила о биологической или биосоциальной природе этноса. Пассионарной теории, делу всей жизни Гумилева, Лавров посвятил всего одну главу с примечательным названием «Свет и тени теории этногенеза». Он даже противопоставил «раннего», «задиристого» Гумилева Гумилеву «позднему»: «ранний» отказался считать этнос «социально-историческим явлением», «поздний» заявил, что «этнос – не биологическая категория».

Заметим, что «раннему» Гумилеву было под шестьдесят, а «позднему» – семьдесят. В таком возрасте люди редко меняют свои взгляды, да и противоречие, отмеченное Лавровым, мнимое.

«НАДВОЕ РАССЕКИТЕ ПРИЗНАЮЩИХ ДВА ЕСТЕСТВА!»

Гумилев мог легко разбить всех, кто приписывал ему «биологизм», ведь его представление об этносе как системе, объединенной этнической традицией, биологизмом назвать трудно. Стоило только назвать «сигнальную наследственность» социализацией и не утверждать, что этнос – «явление природы», как его бы оставили в покое.

Примечательно, что современные «биологизаторы» «своим» Гумилева как раз не считают. «Только затянувшимся недоразумением, а также справедливой критикой Гумилевым социологи заторских подходов к этничности можно объяснить квалификацию его взглядов на этничность как "биологизаторских"», — пишет Валерий Соловей, автор монографии «Кровь и почва русской истории». Известный русский националист Александр Севастьянов вообще назвал Гумилева «субъективным идеалистом» и поставил его в один ряд с академиком Тишковым, злейшим врагом всякой «гумилевщины».

Гумилев слишком хорошо знал этническую историю и этнографию, чтобы верить в чистоту крови и расы. «…Этнос – явление не биологическое и не социальное, а маргинальное, т. е. лежащее на границе социосферы и биосферы», — уточнял Гумилев. Значит, Гумилев все-таки разделял биологическое и социальное. В марте 1989-го Лев Гумилев в соавторстве с Константином Ивановым написал одну из последних своих статей, где, между прочим, заметил: «…коллективность – более общее свойство жизни, нежели социальность. Обязательными признаками последней являются, как известно, сознательные отношения между участниками и их способность к труду». Да, Лев Николаевич и Константин Павлович все-таки многое усвоили на занятиях по научному коммунизму.

Противопоставление природы и общества, биологического и социального – это сладкий самообман атеистов. Разделить в человеке биологическое и социальное невозможно, как невозможно надвое рассечь человека и при этом сохранить ему жизнь. Здесь уместен призыв византийских монофизитов, которые на Эфесском соборе кричали своим противникам – православным халкедонитам: «Надвое рассеките признающих два естества!»

Например, социальный конфликт между рабочими и хозяином фабрики, жадным буржуем, начинается с той же биологии: рабочие хотят есть, а голод – явление несомненно

биологическое, никак не социальное. Рабочие хотят жениться, заводить детей – инстинкт размножения тоже, как ни крути, связан с биологией. Рабочие хотят отдыхать два дня в неделю, но потребность в отдыхе диктуется нашим организмом. Обратим внимание: биологические инстинкты (пищевой, половой) прямо влияют на социальное поведение людей, так как же можно отделить биологическое от социального? Разве человек в своей социальной жизни не зависим от собственного тела?

Если человек – часть биосферы, то и животные не совсем чужды социальности. Есть такое понятие: общественные животные. Волки, бараны, морские котики, львы, сурикаты, лемуры, многие виды обезьян, наконец, пчелы и муравьи создают социальные организмы, иногда примитивные, иногда очень сложные. Ученые давно изучают эти сообщества животных и уже не первый десяток лет спорят о том, можно ли их сопоставлять с человеческим обществом. По-видимому, можно. Не случайно во второй половине XX века даже появилась новая наука – социобиология.

Этнос для Гумилева – форма существования вида *Homo sapiens*, но это не значит, что этнос – совершенный аналог муравейника или стаи: «Как человек отличается от прочих позвоночных, а он отличается радикально, так этносы не похожи на коллективы других животных».

В стае есть вожак – лидер, есть его приближенные, есть что-то вроде оппозиции (молодой самец, претендующий на власть), есть слабые – их допускают к разделу добычи в последнюю очередь. Противопоставить «сознательные» поступки человека инстинктивным действиям животных нельзя, потому что и люди часто действуют под влиянием инстинктов. Если сомневаетесь, понаблюдайте хотя бы за фанатами на стадионах. Животные, со своей стороны, нередко проявляют почти человеческую сообразительность, а их поведение иногда кажется разумным. Я сам был свидетелем замечательной сцены. Большой и сытый пес долго наблюдал за худым, изможденным и, по-видимому, голодным солдатом, что-то прикидывал, и в конце концов принес солдату большую кость: мол, поешь…

Лев Гумилев по сути был просто более последовательным материалистом, чем его противники – этнографы-марксисты. Природа и общество у него едины, точнее, общество – тоже часть природы.

В одном из интервью Гумилев рассказывал, как он объяснял сущность своих воззрений академику Трухановскому, главному редактору журнала «Вопросы истории»: «Человек имеет дело с четырьмя оболочками земли: атмосферой, литосферой,

гидросферой и биосферой. По литосфере мы ходим, атмосферой мы дышим, гидросфера пронизывает каждую клеточку нашего организма, а биосфера – это мы сами».[40]

ЛАНДШАФТ И ЭТНОС

Дискуссия в журнале «Природа» открыла два слабых места в теории Гумилева. Прежде всего, регионы этногенеза. Гумилев нанес на карту только шестнадцать регионов, где когда-либо складывались новые этносы. Гумилев считал, что благоприятные условия для этногенеза существуют только на стыках ландшафтов, где есть плавный переход между, скажем, горами и равниной, лесами и степью. Позднее он попытается свою точку зрения обосновать получше. В «Этногенезе и биосфере» он пишет не только убедительно, но и художественно:

«Далеко не всякая территория может оказаться месторазвитием (этот термин Гумилев заимствовал у П.Н.Савицкого. – С.Б.). Так, на пространстве Евразии на всей полосе сплошных лесов – тайги от Онежского озера до Охотского моря – не возникло ни одного народа, ни одной культуры. Все, что там есть или было, принесено с юга или с севера. Чистая, сплошная степь тоже не дает возможности развития. Дешт-и-Кыпчак, т. е. половецкие степи от Алтая до Карпат, — место без *Genius loci*. <…> Монотонный ландшафтный ареал стабилизирует обитающие в нем этносы, разнородный – стимулирует изменения, ведущие к появлению новых этнических образований».

Допустим, всё так, но ведь Гумилев в своей карте не придерживается выдвинутой им же самим идеи, на что обратил внимание даже друг Гумилева Юрий Ефремов. В обширной и очень благожелательной статье Ефремов все-таки заметил, что Гумилев подошел к делу поверхностно: «Спорным выглядит утверждение, что в Северной Америке "бескрайние леса и прерии не создают благоприятных условий для этногенеза". Почему же лесостепь на стыке этих лесов и прерий оказалась бесплоднее евразийской лесостепи? Какого разнообразия не хватило Америке? На карте полуостров Индостан – белое пятно, хотя влажно тропические леса соседствуют здесь с лесами муссонными сухотропическими и саваннами…».

На карту Гумилева не попали Северный Кавказ и Закавказье, хотя там природа как раз чрезвычайно разнообразна, а «стыки ландшафтов» встречаются сплошь и рядом. И даже ландшафт Дешт-и-Кыпчака не такой уж «монотонный». Еще в одном из самых первых писем (1 января 1957 года) Петр Савицкий критиковал эту идею Гумилева: «…мне кажется, что и в вопросах этногенеза месторазвитий было больше. <…> Нынешний Казахский "мелкосопочник" (с высотами до 1500 метров и выше:

массив Кызылрай – 1559 м), с его лесами и водами. <…> Между тем своими словами о половецкой степи "от Алтая до Карпат" Вы лишаете и его "гения места". <…> А Улатау, одна из "сокровищниц" Казахстана! А Мугоджары! А горы (Богдо и др.) над Астраханскими озерами! Всё это – заповедники степного мира, не только месторазвития вообще, но и этноместоразвития, места с "гением места!"»

Если быть последовательным, то к «пригодным» для начала этногенеза ландшафтам надо отнести большую часть суши, ведь обширные и совершенно «монотонные» ландшафты встречаются редко.

На самом деле у этой вроде бы научной идеи Гумилева основания скорее биографические. Гумилеву просто нравилось жить там, где сочетались ландшафты. Даже лагерная жизнь в местах живописных и разнообразных казалась легче. Гумилеву нравился Норильск, расположенный как раз на стыке тундры и лесотундры, но северная тайга в бассейне Нижней Тунгуски казалась совершенно безрадостной. Монотонные степи под Карагандой (Песчанлаг) и Омском (Камышлаг после 1953 года) нравились гораздо меньше живописных предгорий Алтая (Камышлаг до лета 1953 года).

Виктор Козлов в своей первой антигумилевской статье обратил внимание на еще одно слабое место теории этногенеза. Жизнь далеко не всех этносов умещается в отмеренные теорией сроки. В самом деле, китайцы существуют уже пятое тысячелетие, евреи известны с середины второго тысячелетия до нашей эры, японцы последние 150 лет совершенно не напоминают «старичков» мемориальной фазы этногенеза (Гумилев датировал начало их этногенеза VI веком нашей эры). Все это современные и весьма динамичные народы. Верна ли теория?

На одном интернет-сайте недавно встретил стишок:

> Мудр ты был, Гумилев, исчисливший сроки народам.
> Все же тебя опроверг малый евреев народ.

Сомнительно, чтобы и сам Гумилев «ответил, на какой стадии подобного развития находились, например, двести лет назад японский и китайский этносы и на какой стадии они находятся в настоящее время», — писал Виктор Козлов.

А ведь и правда – не отвечал. Юрий Ефремов вспоминал, что не раз спрашивал Гумилева: связано ли обновление Мэйдзи и «последующая агрессивность японцев» с пассионарностью, но тот всегда отмалчивался. Возможно, Гумилев просто боялся ошибиться из-за «аберрации близости», когда события на самом

деле малозначительные представляются современнику чем-то грандиозным.

Вероятно, была и другая причина молчать об этом «пробуждении Азии». Япония чуть ли не самая моноэтничная страна на свете. В XIX веке там не было меньшинств, если не считать вымирающих айнов на Хоккайдо, а значит, условия не благоприятствовали этногенезу.

По мнению Гумилева, этногенез начинается с появления небольшой популяции пассионариев. Если условия благоприятствуют, то пассионарии создают первоначальную консорцию (группу, объединенную общностью судьбы, — религиозную секту, разбойничью шайку и т. п.), которая, постепенно разрастаясь, начинает преобразовывать господствующий в обществе стереотип поведения. Если общество полиэтнично, то есть состоит из нескольких старых этносов со старыми этническими традициями, то «новые люди» могут эти старые традиции сломать и создать на развалинах нескольких старых этносов новый, который отличается новой этнической традицией.

Сильная этническая традиция не дала бы развернуться новому поколению пассионариев, их должны были перебить: «… в монолитных этносах у пассионариев было мало шансов уцелеть, но в мозаичных они прекрасно играли на внутренних противоречиях врагов». Так, пророк Мухаммад со своими махаджирами и ансарами использовал «вражду жителей Ятриба (Медины) к роду курейшитов, арабов – к евреям, северных бедуинов – к южным. Будущий византийский этнос вырос из христианской общины Павла в многоэтничной Малой Азии, тогда как монолитная Иудея уничтожила у себя группу евреев христиан».

Но ведь этот пример не все объясняет. Сам же Гумилев писал о пассионарном толчке I века, превратившем евреев в новый, молодой этнос, который бросил вызов Римской империи.

Гумилев описывал этническую историю евреев как историю трех, если не четырех разных народов: «…трансформации, возникавшие вследствие пассионарных толчков, видоизменяли их не менее, чем все прочие этносы. При этом менялись даже облик культуры и догмы религии, феномены куда более устойчивые, чем этнические стереотипы, но сохранялся этноним, что и вводило в заблуждение и невежественных людей, и даже ученых».

Кто спорит: соратники Иисуса Навина, истреблявшие население Ханаана, мало походят на суровых, но благочестивых ессеев и культурных эллинизированных саддукеев I века нашей эры. В Эдуарде Багрицком, Льве Троцком, Фаине Раневской,

Иосифе Бродском трудно узнать потомков арендаторов, мелких торговцев и шинкарей, уцелевших в страшные времена Хмельнитчины. И все-таки этническая традиция еврейского народа не прерывалась, а лишь менялась, как и этническая традиция китайцев, японцев, персов, русских, всех этносов, переживших уже не первый цикл этногенеза.

Разрыв с традицией в эпоху Мэйдзи, конечно, произошел, но преемственность между японцами времен сегуната Токугава и современными японцами очевидна.[41]

Вероятно, в теорию Гумилева надо внести поправку. Пассионарный толчок может привести не к созданию совершенно нового народа, а к обновлению старого. Гумилев не учел, что этническая традиция «старого» этноса может быть настолько крепкой, что появившиеся пассионарии просто примут старую этническую традицию. Не разрушат старую этническую систему, а включатся в нее, не уничтожат, а обновят.

ТРАМВАЙНЫЙ АНЕКДОТ И АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Лев Гумилев считал, что создал не только новую теорию, но даже новую науку – этнологию, которая отличалась от общеизвестной этнографии. Термин «этнология» (как синоним этнографии) был и прежде хорошо известен в континентальной Европе. В Северной Америке эта наука называлась культурной антропологией, в Англии – социальной антропологией. Этнография складывалась в XIX веке как наука об «отсталых» или «примитивных» обществах и культурах. Затем этнографы начали изучать традиционный быт простонародья, почти смыкаясь с фольклористикой. Этнографы десятилетиями изучали быт и нравы, описывали традиционную одежду, жилище, кухню. Но Гумилев ставил перед своей этнологией совсем другие задачи. Именно она должна ответить на третий вопрос пассионарной теории этногенеза: как этносы взаимодействуют между собой. Этнология должна изучать сам этногенез «как природный процесс», этническую историю, взаимоотношения этноса с ландшафтом и заниматься «этнической диагностикой», то есть исследовать, определять большую или меньшую близость этносов друг к другу.

Этнографы гумилевскую этнологию не признали, хотя сам термин «этнология» к началу девяностых стали употреблять гораздо чаще. В конце концов даже академический Институт этнографии переименовали в Институт этнологии и антропологии. Но к научным работам Гумилева там относились с пренебрежением. По словам Виктора Шнирельмана, главного научного сотрудника института, Гумилев, создавая свою теорию межэтнических контактов, опирался не на «научные данные по нормативной и поведенческой антропологии, а на "трамвайный анекдот", основанный на расхожих стереотипах».

Речь о том самом анекдоте, который Гумилев не только рассказывал на лекциях, но даже цитировал в научных работах. Смысл его в следующем: люди разных национальностей, то есть разной этнической принадлежности, в одних и тех же обстоятельствах будут вести себя по-разному. Если в трамвай, где едут русский, немец, кавказец (в более раннем варианте Гумилев уточнял – армянин) и татарин, войдет пьяный и начнет безобразничать и хамить пассажирам, то русский будет пьяного уговаривать, татарин не станет вмешиваться, немец остановит трамвай и вызовет милицию, а кавказец просто «даст в зубы».

«Крепко даст», — уточнял Гумилев в одной из своих телевизионных лекций.

Если бы Гумилев и в самом деле считал такой эпизод доказательством, даже говорить о гумилевской теории межэтнических контактов не стоило бы. Но для Гумилева трамвайный анекдот никогда не служил доказательством. Это была только эффектная, узнаваемая и весьма наглядная иллюстрация, не более. Гумилев создал свою теорию на совершенно другом материале.

Но вот однажды, просматривая новости в интернете, я наткнулся на заметку о происшествии пусть не в трамвае, а в маршрутке. Дело было 24 июня 2011 года в городе Липецке около трех часов дня по местному времени. В маршрутку № 359 вошел молодой человек с банкой пива. Вскоре он заснул, банка выпала из его ослабевших рук, и пиво начало заливать пол. Пассажиры на это безобразие реагировали вяло, но вот водитель-кавказец остановился, зашел в салон и начал избивать пьяного пассажира. Под горячую руку попала даже пассажирка, которая попыталась успокоить развоевавшегося водителя.

Я не считаю случай репрезентативным, ведь дело могло быть не в стереотипе поведения, а только в индивидуальных особенностях водителя-кавказца. Надо анализировать не один случай, а десятки, лучше – сотни таких же или похожих конфликтов. Но согласитесь, что события в этой истории развивались в точности по «трамвайному анекдоту» Льва Гумилева.

Часть XIII

САМАЯ СТРАШНАЯ КНИГА ГУМИЛЕВА

В этнографию Гумилев зашел как бы с черного хода. Этнографы изучали современные народы, а Гумилев – историю этносов, в большинстве своем уже исчезнувших, то есть занимался сугубо академическими фундаментальными исследованиями. Правда, его академическое исследование сейчас страшно читать.

В 1974 году в издательстве «Наука» под грифом Института востоковедения АН СССР вышла новая книга Гумилева – «Хунны в Китае». История создания этой книги и ее место в научном наследии Гумилева не вполне ясны даже почитателям Гумилева.

С одной стороны, «Хунны в Китае» – прямое продолжение «Хунну». Гумилев начинает там, где остановился в 1960 году: раскол хуннов во II веке нашей эры, победы сяньбийцев над хуннами и упадок древнего Китая, который так и не смог насладиться плодами победы над врагом, пятьсот лет угрожавшим его границам.

Окончание «Хуннов в Китае» – прямой переход к «Древним тюркам». Гибель химерной империи Тоба-Вэй – конец древнего Китая и конец древнего кочевого мира – освободила сцену для новой исторической трагедии. Исчезли старые декорации, погибли почти все герои, появилось пространство для новых.

Вскользь сказано даже о героях будущей «пьесы», например о полумифическом Ашине, который откочевал с отрядом соплеменников на Алтай. Его потомки создадут Тюркский каганат.

«Хунны в Китае» написаны позже других частей степной трилогии/тетралогии, хотя Гумилев начал собирать материал для будущей книги еще в лагере. 30 июля 1955 года он писал Эмме Герштейн, что довел историю Срединной Азии до X века нашей эры. Значит, события IV–V веков (время действия «Хуннов в Китае») в лагерных черновиках отчасти хотя бы отражены, но в середине пятидесятых в распоряжении Гумилева не было его этнологической теории, да и многие данные предстояло еще перепроверить.

По словам самого Гумилева, за «Хуннов в Китае» он взялся после «Поисков вымышленного царства», то есть в 1970 году. Работал он тогда очень быстро и писал очень много, но книга надолго застряла в издательстве. Редактор В.В.Кунин несколько раз заставлял Гумилева переделывать книгу и несколько сократил ее. Наталья Викторовна и много лет спустя вспоминала, как «издевался» над ее мужем проклятый редактор, а сам Лев

Николаевич жаловался: «Очень трудно мне было ее печатать, потому что редактор Востокиздата, которого мне дали, — Кунин такой был – он издевался надо мной так, как редактора могут издеваться, чувствуя свою полную безопасность».

Читатель уже знает, что словам Гумилева не всегда можно верить. Лев Николаевич вообще не любил, чтобы его редактировали. В конце восьмидесятых Гумилев говорил: «Я сам себе редактор!» – и друзья делали так, чтобы редактор только значился в выходных данных книги, но в текст не вмешивался. Кроме того, Лев Николаевич искренне считал себя «гонимым» ученым, а потому и в работе добросовестного редактора видел происки своих врагов.

На мой взгляд, правка книгу не испортила, что признал и сам Гумилев в предисловии к «Хуннам в Китае»: «Новый образ книги радует сердце автора».

Радует, признаюсь, и сердце немногочисленных читателей. «Хуннов в Китае» знают намного меньше, чем другие книги Гумилева. У многих просто не доходят до нее руки, ведь все спешат прочитать «самое главное», то есть «Этногенез и биосферу», «самое интересное», то есть «Древнюю Русь и Великую степь». Даже «Хунну», кажется, больше привлекает внимание, хотя бы как первая книга Гумилева. Сергей Лавров едва упоминает «Хун нов в Китае», разумеется, рядом с «Хунну». Обе книги показались ему «отчаянно трудными» из-за бесконечного потока совершенно незнакомых имен: Ван Ман, Цзун Ай, Тоба Гуй, Лю Юань, которого ни в коем случае нельзя путать с Ли Юанем, и еще десятки, если не сотни. В глазах европейца или русского все они сливаются в общий поток, кажутся неотличимыми, как лица самих китайцев.

Между тем «Хунны в Китае» интересны не только востоковедам. Это первая монография Гумилева, посвященная межэтническим контактам и этническим химерам. Научное значение книги выше, чем у всей степной трилогии, а для современной России она должны быть намного интереснее, чем «Древняя Русь…» или «От Руси до России». Надо вчитаться, чтобы понять эту увлекательную и очень страшную книгу.

ХИМЕРА НА ХУАНХЭ

Если «Поиски вымышленного царства» были историческим детективом, то «Хунны в Китае» – античная трагедия, где роль безжалостного и неумолимого рока исполняют открытые Гумилевым закономерности.

Стиль, как всегда, выдает в Гумилеве не только ученого, но и поэта: «Схватка тибетского яка с сяньбийским тигром весьма благоприятствовала китайскому дракону, но этот неуклюжий ящер опять все прозевал». В основе композиции – развернутая метафора пожара: «Тление», «Вспышка», «Костер», «Пожар», «Накал», «Полымя», «Три цвета пламени», «Зарево», «Огни гаснут», «Угли остывают», «Пепел».

Речь о пожаре межэтнической войны, продолжавшейся больше двух веков. В истории Китая эта эпоха называется «Шестнадцать варварских царств».

Все началось с массовой миграции кочевых племен. Французский тюрколог Рене Груссе сравнивал ее с Великим переселением народов, погубившим Римскую империю. Гумилев считал, что миграция степняков была вынужденной: в III веке Центральную Азию поразила засуха, и кочевники, чтобы не умереть от голода и жажды, поселились на северной окраине Китая. Ки тайцы их приняли кисло, но хуннам и переселившимся позднее сяньбийцам-муюнам (древним монголам) деваться было некуда. Китайские чиновники обижали мигрантов, даже продавали в рабство (чего церемониться с северными варварами?). Зато знатные хунны получали китайское образование и приобщались к величайшей культуре Восточной Азии. Но китайцами они так и не стали, китайцев своими не считали. Китайский сановник Цзян Тун писал, что варвары, переселившиеся в Китай, «пропитаны духом ненависти до мозга костей». Кочевники до поры до времени терпели, ждали своего часа.

Наконец хунны выбрали себе шанъюя (правителя) и восстали. Обстоятельства складывались благоприятно: великий Китай слабел от внутренних смут, дворцовых интриг и коррупции, всегдашней спутницы бюрократических империй. Китайцы в то время были народом многочисленным, но сравнительно инертным и невоинственным. Хунны победили и стали хозяевами огромной страны, и вот тут уж они дали волю своей ненависти: «Опьяненные победами, они выместили на китайском населении свои обиды и принесли ему столько горя, что установление мира между народами, населявшими Срединную равнину, стало не

только невозможным, но и неприемлемым для обеих враждующих сторон».

Предводитель восставших хуннов Лю Юань не хотел резни, он получил китайское образование, был не только доблестным, но и культурным человеком. Лю Юань хотел мира между китайцами и хуннами, говоря, что воюет не против китайского народа, а только против дурного правительства. Но его подданные рвались истреблять китайцев. «Эту армию не надо было подталкивать и воодушевлять на бой – ее просто было невозможно удержать», — пишет Гумилев.

Победоносные хунны создали хунно-китайское государство, а сам Лю Юань принял китайский титул вана (правителя), а затем объявил себя императором.

Потомки мигрантов стали оккупантами. Ради развлечения знатных хуннов поля китайских земледельцев превращались в охотничьи угодья. Чиновник-хунн мог потребовать у китайца красавицу дочь, быка или лошадь. Если тот отказывал, китайца всегда можно было обвинить в каком-нибудь уголовном деле и примерно наказать.

Потомки Лю Юаня правили страной недолго. Вскоре хунны растеряли свою пассионарность, а с нею и свою древнюю доблесть, но не обрели мудрости и трудолюбия китайцев. Через два поколения жизни в чужом климате, в чужом ландшафте, в окружении побежденного, но многочисленного и крайне неприятного для хуннов народа этническая традиция хуннов разрушилась. Они уже не пасли скот, а жили за счет китайского населения.

Моральные нормы были отброшены. Шла стремительная деградация народа. Примером умственного и нравственного уродства был наследный принц Ши Суй. Случалось, он приглашал на пир наложницу, «которая пела, играла на лютне или плясала перед гостями, после чего их угощали… ее мясом, украшенным ее отрезанной головой». Ни Китай до переселения хуннов, ни кочевья Великой степи не знали ничего подобного. Царевич даже попытался убить отца, но его вовремя разоблачили и казнили.

Гумилев всегда хуннам симпатизировал, оправдывал, превозносил их заслуги перед человечеством – от изобретения штанов до спасения западных стран от китайской угрозы. Но здесь и Гумилев вынужден признать: «Хуннские мечи и голод превратили богатую долину р. Вэй, житницу Северного Китая, в обширное кладбище».

В конце концов возмутились даже терпеливые китайцы. В 350 году, сорок шесть лет спустя после восстания Лю Юаня, приемный сын императора китаец Жань Минь совершил

переворот и позволил китайцам истребить хуннов и кулов (цзэ, цзэлу). Китайцы взялись за дело с таким энтузиазмом, что во время геноцида «погибло множество китайцев с возвышенными носами». Жань Минь пошел навстречу своему народу, а у китайцев в то время была одна цель – изгнать северных варваров, оккупировавших Поднебесную.

Но гибель южных хуннов не положила конец войне. На место хуннов и кулов пришли свирепые муюны, с запада в страну вторгались тибетцы, собственную империю попытались создать тангуты. Наконец, из Сибири пришли племена тоба (табгачи), родственные муюнам, но находившиеся под влиянием вовсе экзотичной для Срединной империи тунгусской культуры (они даже носили косы, как тунгусы). Табгачи держались дольше других, потому что дольше сохраняли свое этническое своеобразие. Но и они в конечном итоге начали терять свою этническую тра дицию и деградировать: «перестали обращаться к своим родовым духам и заполнили возникшую в психике пустоту… пьянством. Этот порок поразил больше всего их, не имевших повода бунтовать против своего хана…» В конце V века табгачи все больше забывали свои обычаи и перенимали китайские: «Императрица Фэн установила при своем дворе китайские моды. <…> Для детей знатных табгачей учредили школу с китайскими учителями». Табгачское государство становилось китайским. Процесс ускорил император Тоба-Хун II. В 495 году он запретил родной язык, одежду, прическу. Вместо них вводились китайский язык, одежда, прическа. Табгачские имена менялись на китайские, табгачам даже запретили браки с соплеменниками. Покойников запретили хоронить в степи. В сущности, тобатабгачи повторили судьбу хуннов, кулов и муюнов – они исчезли как народ, пусть и не так мучительно, как хунны.

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ХИМЕРА

Кто же виноват в этом кровавом кошмаре, продолжавшемся дольше двух веков? «…ответственность за разорение Северного Китая и гибель южных хуннов стоит возложить на Лю Юаня, который, увлекшись гуманистическими иллюзиями, не ведал, что творил», — пишет Гумилев. Лю Юань был уверен, что китайцы и хун ны могут жить в мире, стоит только установить разумный и справедливый порядок. Точно так же считал тангутский правитель Фу Цзянь II: «Фу Цзянь II сказал своим приближенным в духе либерального гуманизма: "Китайцы и варвары – все мои дети. Будем обращаться с ними хорошо, и не возникнет никакого зла"».

Иноплеменников Фу Цзянь II пытался задобрить, «привязать к себе милостью и материальной заинтересованностью». И все было хорошо до первого серьезного испытания. В 383 году Фу Цзянь II начал войну с южнокитайской империей Цзинь, слабой и нежизнеспособной. Казалось, исход войны предопределен. Но огромная армия Фу Цзяня состояла в основном из мобилизованных китайцев, которые после первой же неудачи просто дезертировали – разбежались (битва на реке Фэй). Боеспособность сохраняли немногочисленные тангуты и сяньбийцы, но когда сяньбийцы восстали, Фу Цзянь II отправил подавлять восстание сяньбийского же офицера, который тут же перешел на сторону повстанцев. Лоскутная империя распалась, а Фу Цзянь II, древнекитайский или, точнее, древнетангутский сторонник интернационализма и мультикультурализма, погиб в 385 году.

Но в чем же ошибки этих умных, талантливых, справедливых правителей? Почему древнекитайский мультикультурализм окончился катастрофой? «…Идея торжествует лишь в том случае, если она верна, — замечает Гумилев. — Осуществление неверной идеи влечет за собой тяжелые последствия, особенно когда оно проводится последовательно. Фу Цзянь II был человеком по тому времени образованным, но не профессиональным ученым. Это значит, что он был дилетантом. Ему были близки логические построения, а не иррациональная действительность, и он уверовал в то, что этническая принадлежность – рудимент, неактуальный в его просвещенном государстве».

Но этнос не рудимент первобытности, не миф, не выдумка и даже не социальное положение (наподобие сословия), которое можно сменить. Не только этногенез, но и межэтнические контакты определяются объективными законами, а не доброй или

злой волей политиков, дипломатов, военных: «Когда астрономы наблюдают близкое прохождение большой планеты и малого метеора, то их не удивляет, что последний, подчиняясь силе тяжести, либо падает на планету, либо становится ее спутником. И ни планета, ни метеор, ни законы тяготения не виноваты, потому что в природе нет места понятию вины. Но когда соприкасаются разные по быту и культуре этнические и суперэтнические целостности, разве может быть иначе? Воля и настроенность отдельных людей растворяются в статистических закономерностях этногенеза, отличающихся от законов природы только меньшей изученностью».

Хунны, муюны, кулы и даже табгачи были несовместимы с китайцами. Разница стереотипов поведения вызывала в лучшем случае непонимание, а в худшем – отвращение. Например, у хуннов и вообще у всех степняков Центральной Азии того времени был обычай: после смерти старшего брата его жены переходили к младшему брату, а жены и наложницы отца после его смерти переходили к сыну (кроме, разумеется, матери). Китайцев такой обычай шокировал, они считали это легализованным инцестом. Когда молодой хуннский шанъюй и по совместитель ству китайский император начал посещать гарем своего отца, первый министр империи китаец Цзинь Чжун объявил, что император живет с «собственными матерями», и поднял китайских патриотов на борьбу с потерявшим стыд варваром. Императора убили, его семью – истребили.

Степняки и китайцы жили как нервные, раздражительные и абсолютно чуждые друг другу соседи по коммуналке, только контакт на уровне этническом намного масштабнее и страшнее персонального уровня коммунальных споров.

Жизнь двух и более враждебных друг другу этносов на одной и той же территории превращает государство и общество в химеру – образование нестойкое и опасное для людей, в него входящих.

Сам термин «химера», «химерная целостность», «химерная конструкция» Гумилев заимствовал из… паразитологии. В этой науке «химерной конструкцией» называется сосуществование паразита и хозяина. Вероятно, сравнение все-таки не вполне удачное. Не обязательно один этнос эксплуатирует другой. Народы могут быть равноправны, как нации и национальности в бывшей Югославии, но положение этнической химеры от этого не станет прочным. Точнее будет античное значение слова «химера»: сочетание несочетаемого. Огнедышащее чудовище с головой льва, телом козы и хвостом дракона. Создание мрачное, злобное и нежизнеспособное.

Химеры обычно появляются на границах суперэтносов, когда не только в одной стране, в одном государстве (это еще куда ни шло), но в одном регионе и даже, бывает, в одном селении живут представители народов, друг с другом несовместимых. Жизнь в химерном государстве не обязательно тяжела. Например, в Югославии при Тито жили богаче, чем в соседней Болгарии, но страну раздирали межнациональные противоречия, которые и привели к развалу государства и кровавым столкновениям в Хорватии, Боснии, Косове.

«РАСПАЛСЯ ЖЕЛЕЗНЫЙ ОБРУЧ…»

Вообще-то отношения даже дружественных этносов могут быть конфликтны, ведь сами различия между людьми – уже повод для ссоры. Вспомним известное нам осеннее письмо Глотова ко Льву Николаевичу, где есть еще и такие слова: «Вначале все эти "не так" даже милы, а потом начинают раздражать: "Что за черт, все не по-русски!"»

К счастью, химера – не единственная форма межэтнических контактов. Возможны и другие варианты. Ассимиляция – поглощение одного этноса другим – как правило, происходит при неконфликтном этническом контакте, но возможна ассимиляция даже в этнической химере – поглощение тех же таб гачей в V веке китайцами. При пассионарных толчках возможна интеграция – создание нового этноса при слиянии нескольких старых.

Наконец, Гумилев выделил еще две формы межэтнических контактов, при которых этносы не сливаются, но и не враждуют: ксения (т. е. «гостья») и симбиоз. Ксения – нейтральная форма: народы живут рядом, не сливаясь, но и не мешая друг другу, как шведы и финны в современной Финляндии, валлийцы и англичане в Уэльсе, русские и башкиры в Уфе. При симбиозе, положительной форме межэтнических контактов, возникают отношения дружественные, когда этносы не соперничают, а взаимно дополняют друг друга. Гумилеву представлялось, что симбиоз и ксения совершенно различны, хотя на самом деле их разделение – научная проблема, Гумилевым до конца не решенная.

Более того, Гумилев допустил здесь логическую ошибку. Характер межэтнического контакта при химере или ксении определяется комплиментарностью, но симбиоз, помимо положительной комплиментарности, связан еще и с разделением труда: негры банту обеспечивают пигмеев железом, а пигмеи помогают банту ориентироваться в тропическом лесу, земледельцы-русские продают половцам зерно и покупают у них мясо и т. д. Но при чем здесь комплиментарность? Это же нормальный товарообмен. А торговля преодолевает любые границы, даже связанные с комплиментарностью. Если следовать логике, то своеобразный симбиоз был даже у китайцев с хуннами: китайцы поставляли хуннам просо, а сами покупали у них лошадей. Между тем комплиментарность у этих народов была как раз отрицательной, что Гумилев и доказал.

Вообще сама идея гумилевского симбиоза очень напоминает «комменсализм» из сочинения русского этнографа

С.М.Широкогорова: «Хотя каждый из комменсалистов может быть не зависим один от другого, но они могут видеть и взаимную выгоду: охотник может быть обеспечен продуктами земледелия в случае временной голодовки, а земледелец может иметь некоторые продукты охоты – мясо, меха, кожи и т. д. Примером таких отношений могут быть русские поселенцы Сибири и местные аборигены, а также этносы Южной Америки, уживающиеся на одной территории, — земледельцы и охотники Бразилии».

Если есть этносы, враждебные друг другу, а есть дружественные или по крайней мере нейтральные, значит, надо найти, что же именно возбуждает ненависть между народами. Межнациональная ненависть иррациональна, стало быть, бессмысленно искать ее причины в экономических интересах коммерсантов и политических амбициях государственных деятелей. В двухвековой войне на Хуанхэ не были заинтересованы ни «северные варвары», ни китайцы, однако война шла и кровь лилась. Гумилев объяснял конфликт китайцев и степняков несовместимостью их стереотипов поведения, их этнических традиций: «Одних защищал от врага род, других – государство. Сообразно всему накопленному и передаваемому из поколения в поколение опыту кочевники и китайцы сложились в разные, не похожие друг на друга суперэтносы, с разными стереотипами поведения и разными системами отсчета повседневных идеологических понятий. Произнося такие слова, как верность, честность, дружба, благодарность и т. п., хунн вкладывал в них один смысл, а китаец – другой».

Гумилев прав. Даже семьи различаются между собой, что же говорить о народах?! Это явление, характерное и для древнего Китая, и для современной России, и, допустим, для Европы XIX века. В декабре 1867 года Федор Михайлович Достоевский с возмущением писал своему другу Аполлону Николаевичу Майкову о порядках и образе жизни в Германии и Швейцарии: «Нравы дикие, о если б Вы знали, что они считают хорошим и что дурным».

Гумилев в своих теоретических трудах приводил множество примеров несовместимости стереотипов поведения. Греки презирали скифов за пьянство, а скифам были отвратительны греческие вакханалии. Крестоносцев возмущало многоженство арабов, арабы считали европейских женщин бесстыдницами, потому что те не закрывали лица чадрой. Чужие обычаи раздражают, оскорбляют, но еще хуже другое: различаются сами понятия хорошего и дурного, приемлемого и невозможного. И чем дальше этносы друг от друга (не географически, а

этнопсихологически), тем напряженнее должны быть отношения между ними. Поэтому Гумилев и пишет, что контакты между суперэтносами чаще всего приводят к возникновению химер.

Эпоха варварских царств не была исключением. Северные варвары не раз появлялись в Поднебесной то как завоеватели, то как наемники или даже союзники. Но всегда их отношения с китайцами оканчивались плохо.

Даже удачный, на первый взгляд, опыт первых ста лет империи Тан привел Китай к беде, что и описано Гумилевым в лучших главах его монографии «Древние тюрки». Основоположники династии Тан Ли Юань (император Гаоцзун) и его сын Ли Шиминь (император Тайцзун) умели находить общий язык с северными варварами и привлекали боеспособных степняков в китайскую армию. Центральная Азия превратилась в «резервуар великолепной боевой силы», из которого императоры Тан черпали наемников для бесконечных войн с тибетцами, корейцами, голубыми тюрками и уйгурами. Но нет для государства большей опасности, чем армия, укомплектованная инородцами. Для китайцев тюркские головорезы были ничем не лучше обычных варваров, а тюрки вели себя с мирным китайским населением как с чужаками.

Имперская гвардия, как говорят,
Быть может, и очень храбра на войне,

Но грубое варварство этих солдат
С туфанями может сравниться вполне.

Я слышу народа китайского стон.
Плывут мертвецы по великой реке,

А женщин и девушек, взятых в полон,
Терзают от их деревень вдалеке, —

писал китайский поэт Ду Фу

Степняки были недовольны, что образованные китайцы не давали им продвинуться по службе, и в 575 году взбунтовался танский военачальник тюркского происхождения Ань Лушань. Он занял обе столицы танского Китая, Лоян и Чаньань, а его солдатня зверствовала над беззащитными китайцами. Война быстро превратилась в межэтническую: «Солдаты знали, что они идут к захвату власти для защиты своих прав; китайцы понимали, что идут варвары – ху, которых надо истреблять. Единство

империи лопнуло по шву».

Своими силами подавить восстание не удалось, и китайцы вынуждены были пригласить для борьбы с повстанцами своего злейшего врага – уйгурского хана, так что «лекарство» оказалось таким же страшным, как и сама «болезнь». Победа над мятежниками стоила Китаю огромных жертв, а еще одно великое многонациональное государство доказало свою нежизнеспособность: «Распался железный обруч империи Тан, и народы, полтораста лет скованные им, разошлись, и каждый стал на свой путь развития», — заключает Гумилев.

P.S.

Но можно ли доверять востоковеду Гумилеву, которого синологи постоянно попрекали незнанием китайского и вольной интерпретацией источников? Слово специалистам.

В 1976 году журнал «Природа» напечатал две рецензии на «Хуннов в Китае». Одну, исключительно положительную, почти восторженную, написал доктор географических наук М.П.Петров, другую – известный московский синолог Л.С.Васильев (Киму Васильеву он только однофамилец).

Васильев был к Гумилеву строже. Но, перечислив все недостатки книги, Леонид Сергеевич неожиданно заключил: «Это отнюдь не означает, что всё в построениях Л.Н.Гумилева сомнительно и недостоверно. Как раз напротив, очень многое схвачено вполне точно, изложено достаточно убедительно и в принципе соответствует тому, как это реально протекало».

В переводе с научно-дипломатического это означало: хотя Гумилев в синологии дилетант, но его выводы данным науки не противоречат.

Васильев совершенно признал и главную идею книги: «… столкновение двух культур, двух традиций, кочевой и оседло земледельческой, трагично для обеих: несовместимость их слишком очевидна, что и приводит к катаклизмам, к своеобразной аннигиляции этносов. В принципе эта идея справедлива… (выделено мною. – С.Б.)».

Леонид Сергеевич, видимо, так же вжился в историю китайского народа, как Гумилев – в историю евразийских кочевников, и судил со своей, китайской точки зрения. Поэтому он сделал оговорку: Гумилев неверно понял суть трагедии. Трагедия – это «проникновение инородного тела в социальный организм», то есть сама миграция кочевников. Их гибель или ассимиляция в Китае вовсе не трагедия, а неизбежный результат столкновения несовместимых традиций. Васильев оказался даже более жестким гумилевцем, чем сам Гумилев. Погибли народы и

погибли, таков закон.

Часть XIV

КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ

«Разве когда новичок переступает порог камеры… разве тут же, в первое мгновение, ты не даешь ему оценки в главном – враг он или друг? И всегда безошибочно, вот что удивительно!» – писал Солженицын в романе «В круге первом».

Взаимная симпатия или антипатия, часто необъяснимая с точки зрения разума, была известна всегда. Это свойство, несомненно, присуще самой природе человека, и не только человека.

Гумилев, как и герои Солженицына, обратил внимание на это свойство в лагере. Еще в Норильске он с интересом заметил, как люди, прежде друг с другом не знакомые, иногда почемуто притягиваются друг к другу. Между ними возникает особая эмоциональная связь, появляется бескорыстная дружба. И еще, обратил внимание Гумилев, такая симпатия часто возникала между людьми одной национальности, а в некоторых случаях, например, у казахов, «совпадала с родоплеменным делением: аргын кушал с аргыном, найман с найманом». Люди, объединенные этой симпатией, которую Гумилев много лет спустя назовет «положительной комплиментарностью», помогали друг другу выжить. Солженицын констатировал: «национальность – едва ли не главный признак, по которому зэки отбираются в спасительный корпус *придурков*». Гумилев попытался это явление объяснить. Из наблюдений со временем вырастет гипотеза о комплиментарности, пожалуй, самая интересная и самая ценная в научном наследии Гумилева.

Положительная комплиментарность – бессознательная, рационально не обоснованная симпатия; отрицательная комплиментарность – точно такая же антипатия, не вызванная корыстными интересами. Явление, известное на всех уровнях, от персонального до этнического и даже суперэтнического. Собственно, она и проявляется в противопоставлении «своих» «чужим», она лежит в основе ксенофобии: «Внутриэтническая комплиментарность, как правило, полезна для этноса, являясь мощной охранительной силой. Но иногда она принимает уродливую, негативную форму ненависти ко всему чужому…»

Идея комплиментарности родилась из лагерных наблюдений Гумилева, из его вынужденных занятий «полевой этнографией». Комплиментарность фиксируется и в исторических источниках. Сам Гумилев блестяще доказал, что у китайцев с тюрками и монголами была отрицательная комплиментарность. Но исследовать это загадочное явление трудно, и к тому же сам

ученый не свободен от симпатий и антипатий. Ему приходится преодолевать и собственные чувства и стереотипы. Иногда у Гумилева это получалось. Ведь у него самого комплиментарность с теми же китайцами была как раз положительной. В лагере он, как мы помним, охотно общался с китайцами и старался как можно больше у них перенять. Это не помешало Гумилеву оценить отношения китайцев и «северных варваров» объективно и справедливо. Но положительная комплиментарность еще сыграет с ним не одну злую шутку.

Гумилев не только ввел новое понятие, но и, верный себе, попытался объяснить его, открыть и понять его природу. В принципе можно было ограничиться ссылкой на несходство и несовместимость стереотипов поведения, но ведь комплиментарность, как Гумилев мог судить из своих лагерных впечатлений, иногда проявлялась еще до настоящего знакомства, при первых же контактах между людьми. Путь уводил исследователя или в мистику, или в дебри биологии и биофизики.

Гумилев, убежденный позитивист, выбрал, разумеется, второе, используя понятие биополя, которое ввел в оборот российский биолог Александр Гурвич. Работы Гурвича не были ни паранаучными, ни бесперспективными, но они все-таки оказались в стороне от самых успешных и быстроразвивающихся разделов биологической науки. Зато введенное Гурвичем понятие «биополе» каким-то образом (возможно, благодаря статье в Большой советской энциклопедии) пошло «в народ» и обрело неожиданную популярность у разнообразных экстрасенсов, эзотериков, шарлатанов и просто сумасшедших. Эти люди, далекие от биологии и химии и вообще не понимавшие смысла понятия «поле», так часто и охотно использовали введенный Гурвичем термин, что в конце концов совершенно дискредитировали само понятие биополя. Теперь культурный и образованный человек, услышав это слово, невольно морщится.

О биополях Гумилев узнал от своего давнего, еще с тридцатых годов, знакомого Бориса Сергеевича Кузина.

Борис Сергеевич был русским ученым старой, еще дореволюционной культуры. Его интересы не ограничивались биологией. Кузин считал, что ученый, «которому неведома одержимость прекрасным и в котором великие произведения искусства не вызывают более сильных переживаний, чем хороший обед», никогда не скажет «великого слова в биологии».

Помимо современных европейских языков Кузин знал древнегреческий и латынь. После революции, когда латынь перестали преподавать, Кузин ходил заниматься к старому

латинисту, потому что хотел читать Горация в оригинале.

Кузин хорошо знал и современную литературу. Отправляясь в экспедицию, он брал с собой пару сборников Пастернака. С Мандельштамом Кузин даже подружился и попал из-за его злосчастного стихотворения в лагерь.

Свой срок Кузин отсидел в Казахстане, где его вскоре оценили как незаменимого специалиста. В Казахстане Борис Сергеевич защитил докторскую диссертацию и стал так известен в научных кругах, что академик Несмеянов рекомендовал его директору Института биологии внутренних вод Папанину. Тому самому легендарному полярнику, адмиралу, о котором в СССР сочиняли стихи и пели песни. Папанин был человеком смелым и независимым. Он пригласил Кузина на должность заместителя по научной работе:

«— Собирай бумаги и приезжай!

— Да ведь паспорт у меня хреновый.

— Х… с ним, бери хреновый паспорт и приезжай!» — вспоминал Кузин.

Должность заместителя директора института по научной работе Кузин занимал последние 23 года своей жизни.

Гумилев возобновил дружбу с Кузиным только во второй половине шестидесятых (первое сохранившееся письмо датировано январем 1966-го). Адрес Кузина Гумилев взял, вероятно, у Надежды Мандельштам, с которой Борис Сергеевич переписывался много лет. Гумилев не без удовольствия приезжал в Борок (Ярославская область), где размещался Институт биологии. Папанин создал сотрудникам такие условия, что восхищенный Гумилев назвал их быт «постпоместным».

Из письма Л.Н.Гумилева Б.С.Кузину. 17 июня 1967 года:

«Дорогой Борис Сергеевич! <…> Уезжать от Вас мне очень не хотелось. Было так хорошо, что и сказать нельзя. <…> Вспоминаю о Борке как Мильтон о потерянном рае. <…> Спасибо Вам, дорогой, милый друг, за прекрасные дни, беседы и очарование постпоместной жизни».

Разумеется, Гумилев ездил в Борок не отдыхать. Кузин после смерти Гурвича остался, если не считать зоолога Евгения Смирнова, единственным в СССР ученым, всерьез интересовавшимся теорией биологических полей. Он дал прочитать Гумилеву свою рукопись. Гумилев даже хотел помочь Кузину с публикацией этой статьи, но почемуто этого не сделал. Ее напечатают лишь в 1992 году в журнале «Вопросы философии», когда Бориса Сергеевича уже давно не будет на свете.

Поле координирует действия сообществ организмов, от

колонии клеток до сообществ животных, например морских котиков или тех же муравьев, «выполняющих сложные работы по постройке гнезда, по воспитанию молоди, сбору и распределению пищи, совершающих набеги за чужими куколками и проводящих предварительную шпионско-диверсионную работу в чужом муравейнике». Впрочем, дальше пересказывать статью Кузина не стану. Она доступна в интернете, так что всякий желающий может ее прочитать и оценить.

Гумилев попытался «выжать» из Кузина все, что было ценно для пассионарной теории этногенеза: «…без Ваших мыслей я не могу обойтись, — писал он Кузину. — Теория биологического поля!!! Есть она у меня на вооружении – новая наука родилась; нет – выкидыш». Но Кузину не нравилось, что у Гумилева к нему интерес не дружеский, а деловой, утилитарный. Они перешли на «ты», но со временем начали друг от друга отдаляться. Борису Сергеевичу было под семьдесят, его взгляды на историю давным-давно сформировались, а Гумилев говорил нечто столь странное и непривычное, что казалось старому ученому ахинеей. Кузин в глаза посмеивался: «Ах, Лева, ведь все может быть совсем не так!» А за глаза отзывался о Гумилеве довольно резко: «…главная причина чуши, которую он несет, — отсутствие европейского образования, которым отличалось поколение моих учителей. <… > Вести споры с людьми, знающими только то, что напечатано на русском языке (в лучшем случае – еще и на английском), бесполезно и очень утомительно».

Кузин советовал Гумилеву больше читать научную литературу не только на французском и английском, но хотя бы еще на немецком, а Гумилева это только раздражало. Как ни странно, Гумилев оказался прав! Для своей пассионарной теории этногенеза Гумилев не почерпнул бы в тогдашней (да и в сегодняшней) западной науке ничего ценного. Сама сфера исследований этноса, нации и национализма оказалась под таким подозрением у интеллектуальной элиты, что о свободе научного поиска европейским и даже многим американским ученым пришлось забыть. На Западе не было ничего подобного пассионарной теории этногенеза, что признали и немногочисленные европейские исследователи творчества Гумилева, например, Марлен Ларюэль.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЧАСЫ И АРКОЛЬСКИЙ МОСТ

Гумилев понимал, что идея поля недостаточно разработана даже в биологии, он же, гуманитарий, никогда не смог бы ее доказать. И все-таки решил использовать в качестве рабочей гипотезы, которая вроде бы не противоречила установленным фактам, а многие загадочные явления объясняла: «Этнос – это пассионарное поле одного ритма, ибо у другого этноса свой ритм». Ребенок не только усваивает этническую традицию, но и встраивается в «ритм этнического поля» своего этноса: «его биологическое поле начинает колебаться в унисон с полями окружающих».

Положительная комплиментарность объясняется совпадением ритмов полей, отрицательная – их несовпадением, какофонией. Значит, при межэтнических контактах происходит что-то вроде интерференции. Гумилев считал, что таким образом объяснил не только комплиментарность, но и, например, ностальгию, у которой, получается, есть не психологические, а прямо биофизические причины.

На самом деле некоторые факты плохо встраиваются в гипотезу этнических полей. Вот сам Лев Николаевич Гумилев, русский человек, имел отрицательную комплиментарность, скажем, с немцами (судя по его впечатлениям от Германии). Допустим, что таких, как он, большинство, но ведь среди русских встречаются германофилы. С татарами и казахами у Гумилева была положительная комплиментарность, но обо всех ли русских можно такое сказать?

При помощи гипотезы поля Гумилев попытался объяснить явление, хорошо известное еще в античности, но так и оставшееся загадкой, — влияние сильной, по Гумилеву – пассионарной – личности на окружающих: «Пассионарность обладает важным свойством: она заразительна. Это значит, что люди гармоничные (а еще в большей степени – импульсивные), оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны. Но как только достаточное расстояние отделяет их от пассионариев, они обретают свой природный… поведенческий облик». Гумилев приводил примеры преимущественно из военной истории: Наполеон при Лоди и на Аркольском мосту не только сам бросился на верную смерть, но и увлек за собой тысячи людей, которые в нормальном состоянии ни за что бы не пошли в столь рискованную атаку. Одно появление Суворова вызывало в войсках необыкновенный энтузиазм, как бы повышая их атакующую мощь.

В конце жизни Гумилев, по просьбе Владимира Мичурина взявшийся уточнить понятия своей теории, сформулировал понятие пассионарной индукции яснее и проще: «изменение настроений и поведения людей в присутствии более пассионарных личностей». Пассионарная индукция «пронизывает все этнические процессы, будучи основой всех массовых движений людей, инициаторами которых являются пассионарии, увлекающие за собой менее пассионарных людей. Таковы политические движения, крупные миграции, религиозные ереси и т. д.»

Нормальные, гармоничные люди не обязательно ведут себя как пассионарии, но, главное, они попадают под влияние этих пассионарных личностей. Гумилев приводил в пример знаменитую речь Достоевского о Пушкине. Но примеров можно привести множество.

Считается, что Сталин никогда не был хорошим оратором. Его речи, как правило, банальны и малоинтересны. Однако не только речи Сталина, но даже само его появление вызывало реакцию, которую обычно называют «массовым психозом» – явление, не объяснимое одним лишь страхом: «ОН стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. <…> Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть его – только видеть – для всех нас было счастьем. К нему все время с какимито вопросами обращалась Демченко. И мы все ревновали, завидовали – счастливая! Каждый его жест воспринимали с благоговением. Никогда я даже не считал себя способным на такие чувства. Когда ему аплодировали, он вынул часы (серебряные) и показал аудитории с прелестной улыбкой – все мы так и зашептали: "Часы, часы, он показал часы", — и потом, расходясь, уже возле вешалок, вновь вспоминали об этих часах.

Пастернак шептал мне все время о нем восторженные слова. <…> Домой мы шли вместе с Пастернаком, и оба упивались нашей радостью».

Это фрагмент из дневника Корнея Ивановича Чуковского. Почему же они с Пастернаком, серьезные, немолодые уже люди, превратились в восторженных обожателей маленького невзрачного тирана? Ведь Чуковский не помнит даже, сказал ли Сталин что-либо или только молчал и показывал на часы. Воздействие Сталина было не в словах, а в чем-то другом, на первый взгляд, совершенно иррациональном.

Сталин был, конечно, явлением экстраординарным, но такое воздействие на аудиторию – не исключение. Есть и другие, пусть и не столь яркие примеры.

Николай Заболоцкий не любил стихов Маяковского, но однажды, в начале двадцатых, он оказался на выступлении Маяковского, который как раз читал свою поэму «150 000 000». И здесь Заболоцкий «не мог противиться темпераменту» Маяковского, «проявлявшемуся во время выступлений и особенно во время диспутов с противниками. Тогда Николай вместе со всеми аплодировал и даже одобрительно кричал», — вспоминал друг Заболоцкого М.И.Касьянов. Но когда Маяковский уходил, волшебство исчезало, и Заболоцкий снова относился к Маяковскому холодно и даже смеялся над его поклонниками.

Дмитрий Сеземан, насмешливый человек со скептическим складом ума, навсегда запомнил, как читала свои стихи Марина Цветаева: «Было такое ощущение, что она жизнью отвечает за каждый стих. Я никогда ничего подобного не слышал. <…> Марина Ивановна читала как на эшафоте, как Мария Стюарт на эшафоте, с невероятной напряженностью, и она отвечала головой за каждый стих. Это на меня произвело громадное впечатление даже тогда, хотя я был глупый мальчишка».

Но ведь то же самое писали об Ахматовой: «Когда я уходила от Ахматовой (часто – к последнему поезду метро), особенно если она перед тем читала мне стихи, я шла, ног под собой не чуя – даже и физически, с ощущением такого ликования, для которого я и сейчас не могу найти слов», — вспоминала Ника Глен.

Я не знаю физической природы этого феномена, как не знал его и Гумилев. Но Гумилев объединил явления, внешне различные, но имеющие, видимо, одну природу: поведение полководца или просто воина на поле боя, воздействие поэта на слушателей, оратора – на толпу. Уже в этом его несомненная заслуга. Как и положено убежденному материалисту и позитивисту, он попытался найти научное объяснение, которое можно использовать как рабочую гипотезу. Как и в случае с природой пассионарности, Гумилев начал поиск в правильном направлении. Найти биологический и физический смысл пассионарной индукции и связать с психической деятельностью людей – задача ученых будущего. Для гуманитария гипотеза Гумилева не кажется ни противоречивой, ни невероятной. Она достаточно убедительна, логична и красива. По сравнению с ней привычные нам фразы («массовый психоз», «обаяние сильной личности» и т. п.) — только набор слов, не объясняющих вообще ничего.

ВТОРАЯ ДОКТОРСКАЯ

Однажды Наталья Викторовна Гумилева пожаловалась мужу: — Знаешь, Лев, что-то стало скучно. <…> Что бы нам такое придумать, как бы оживиться, всё-то одни огорчения.

— Хочешь, я вторую докторскую защищу?

— Хочу.

Вот так Наталья Викторовна простодушно приписала своему благотворному влиянию новую амбициозную затею мужа.

Но им руководило не только тщеславие, а естественное для ученого стремление соединить свои мысли, разбросанные по статьям в научных журналах, в одной книге. Тогда пассионарная теория этногенеза, «в черновом варианте» подготовленная уже в начале семидесятых, явилась бы научному миру во всей полноте. Гумилев просто не мог не взяться за такую работу: «…нет в моей душе покоя, и не по моей вине, а по вине моей природы. Хочу написать книгу. Без этого мне жизнь не мила», — признавался он Борису Кузину еще в ноябре 1968 года.

«Мною руководило чувство, знакомое и вам, журналистам: публично высказаться, поделиться накопившимися мыслями, материалами», — рассказывал Гумилев корреспонденту «Ленинградского рабочего» в 1988-м.

Гумилев писал все свои статьи и книги от руки, затем их печатала машинистка. Когда она по какой-то причине отказалась работать, Наталья Викторовна решила помочь мужу. Она купила у своей московской соседки старую, начала XX века, пишущую машинку «Континенталь» и начала набирать диссертацию мужа. Прежде Наталья Викторовна печатать не умела, поэтому учиться пришлось на ходу, текст отстукивать «двумя пальцами».

В то время Гумилев еще «ходил в диссидентах», а поскольку он никогда не работал втайне и любил рассказывать друзьям и знакомым о своих идеях, то не удивительно, что вскоре пошел слух, будто Гумилев «сочинил какуюто антимарксистскую работу». Наталья Викторовна была уверена, что ее муж находился под постоянным наблюдением госбезопасности. А тут стали еще бумаги пропадать. Уезжая из Ленинграда в Москву, Гумилев оставлял в ящике письменного стола записку: «Начальник! Шмоная, клади на место и книг не кради. Л.Гумилев».

В конце концов «с большими трудами, с потом и кровью вся работа была напечатана», — вспоминала Наталья Викторовна. На титульном листе этой рукописи впервые и появился заголовок: «Этногенез и биосфера Земли».

На кафедре и на географическом факультете Гумилева

поддержали. Еще одна ученая степень научного сотрудника выгодна начальству, если только сотрудник не претендует на новую ставку. Гумилев, уже давно доктор наук, на новую ставку не претендовал, ученая степень доктора географических наук была для него наградой нематериальной. Докторов наук много, но «дважды доктор наук» – редкость. А докторов, защитивших докторские диссертации не в смежных гуманитарных науках (допустим, в истории и филологии), а в гуманитарных (история) и естественных (география), вообще трудно отыскать.

23 мая 1974 года Гумилев вышел на защиту докторской диссертации. Он, как всегда, был готов к бою. Защиту начал словами: «Шпагу мне». Ему подали указку. Но воевать оказалось не с кем. Оппоненты были солидны, но доброжелательны – два доктора географических наук, Э.М.Мурзаев и А.М.Архангельский, и Ю.П.Алтухов, будущий академик, а тогда еще сравнительно молодой генетик, за год до Гумилева защитивший докторскую диссертацию. Ученый совет присвоил Гумилеву степень доктора географических наук, против был подан только один голос.

Однако триумф сорвался. ВАК неожиданно отказался утверждать новую ученую степень ленинградского историка. Ему пришлось ехать в Москву, где, по словам Сергея Лаврова, Гумилев в ответ на вопрос: «А кто же Вы все-таки такой: историк или географ?» «наговорил много лишнего и был провален. В Ленинград вернулся смущенный и несколько виноватый…»

Одновременно с отказом утвердить докторскую степень ВАК ввел Гумилева в специализированный ученый совет «по присуждению докторских степеней по экономической и социальной географии». Это выглядит чем-то вроде утешительного приза. Но почему же не присудить и саму степень, если ВАК, очевидно, оценил профессионализм Гумилева?

Решение ВАК основывалось на рецензии Юлиана Глебовича Саушкина, заведующего кафедрой экономической географии МГУ. Чистобаев называет Саушкина «тогдашним лидером экономико-географической науки». Прежде Саушкин Гумилева хвалил и ставил его работы по исторической географии выше «классических трудов С.П.Толстова». Но в своей рецензии Саушкин подчеркивает, что Гумилев – историк, а не географ: «… диссертация Л.Н.Гумилева ничего не внесла в географическую науку, не обогатила ее новыми научно доказанными положениями. В лучшем случае она показала направления и проблемы, еще ждущие своего научного решения. Не подлежит сомнению то, что работа вполне самостоятельна, написана ученым большой культуры с исключительно большой научной эрудицией, вызывающей всяческое уважение рецензента. В этом

отношении (несмотря на серьезные ошибки) она стоит выше многих докторских диссертаций, и если основной критерий – научная эрудиция и общая культура, то Л.Н.Гумилев есть доктор наук. (Впрочем, он и есть доктор исторических наук.) Но, повторяю еще раз, в географическую науку он должного вклада не сделал, даже уводит ее в сторону».

Лев Николаевич считал, что Саушкин просто свел с ним счеты, ведь Гумилев еще в 1967 году критиковал взгляды Саушки на на страницах «Вестника ЛГУ». Можно ли предположить такую злопамятность у гумилевского рецензента?

Свою версию выдвинул ленинградский биолог Юрий Вахин. По его словам, «научная общественность» (видимо, речь шла не столько о географах, сколько о биологах) возражала против, мягко говоря, нестрогого, а вернее, дилетантского подхода Гумилева к биологической науке вообще, а особенно – к генетике. Но открыть дискуссию с Гумилевым на защите эта «научная общественность» не решилась, зато «привычными закулисными маневрами она добилась отрицательного решения ВАК».

Сергей Лавров, друг и покровитель Гумилева, обращает внимание еще на одно обстоятельство: Льва Николаевича подвели «благодушие и некоторая расслабленность». Автореферат диссертации был написан и оформлен так небрежно, что Лавров пришел в ужас. А ваковский номер специальности, по которой защищался Гумилев (07.00.10 – «История науки и техники»), совершенно не соответствовал теме и содержанию диссертации.

Вероятно, чтобы оценить решение ВАК, надо вспомнить, какой год стоял на дворе. Диссертацию Гумилева не утвердили в 1976-м, когда Гумилев уже начал превращаться из уважаемого советского ученого в скандальную, почти одиозную фигуру: годом ранее Гумилев невольно спровоцировал большой скандал.

СКАНДАЛ В МУЗЕЕ ЭТНОГРАФИИ

История Тибета давно занимала Гумилева хотя бы из-за военного, политического, а позднее и религиозного влияния этой высокогорной страны на историю Монголии, Китая и китайского Западного края. К тому же у Гумилева был консультант, помощник и даже соавтор по одной из «тибетских» статей – уже известный нам востоковед и преподаватель тибетского языка Бронислав Кузнецов. «Тибетские» главы «Древних тюрков» и несколько специальных статей, посвященных политической истории Тибета, тибетской религии бон, древнетибетской картографии и даже стране Шамбале – из самых интересных и профессиональных у Гумилева.

С Тибетом Гумилева связывала и одна давняя работа. Вспомним, как в 1949 году профессор Н.В.Кюнер поручил своему ученику Гумилеву составить опись коллекции Агинского дацана. Хотя этот буддийский монастырь и располагался в Забайкалье, но лучшая часть коллекции (литые статуи будд и бодхисатв, буддийские иконы) имела тибетское или китайское происхождение. Опись Гумилев составил, деньги за нее получил, но по неопытности наделал много ошибок, о которых, вероятно, и не подозревал.

Когда Гумилев получил от издательства «Искусство» предложение написать книгу о коллекции Агинского дацана, то, конечно же, согласился. Тем более что жанр, на первый взгляд, не требовал много работы. «Старобурятская живопись» состоит из сравнительно небольшого художественного альбома из 54 иллюстраций (статуи и картины на буддийские религиозномифологические сюжеты), составленной Гумилевым синхронистической таблицы (история Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии с Тибетом и Китая с Маньчжурией) и вступительной статьи «История, открытая искусством». Впрочем, тут надо сделать поправку: вместо обычной вступительной историкоискусствоведческой статьи Гумилев написал увлекательное эссе об истории Тибета, буддизма, бона и даже манихейства. Бон и манихейство к сокровищам Агинского дацана отношения не имели, но ведь Гумилеву важнее была его мысль, а не картины и скульптуры, которые в лучшем случае годились на роль иллюстраций, да и то не всегда. Гумилев был ученымисториком, а не искусствоведом.

Рассуждения Гумилева о тибетском буддизме и особенно о боне как варианте митраизма были интересны, оригинальны и не вызвали возражений у востоковедов. К тому же Гумилев, работая

над статьей, консультировался с Борисом Ивановичем Панкратовым, синологом и специалистом по буддизму. К сожалению, он не догадался показать Панкратову иллюстрации и свои комментарии к ним. В 1975-м книга Гумилева вышла из печати, и только тогда престарелый (Панкратову было восемьдесят четыре года) востоковед обнаружил, что Гумилев совершенно не разбирается в тибетской иконографии.

10 июня 1976 года в конференц-зале Музея антропологии и этнографии Панкратов выступил с разоблачением Гумилева. В 55 иллюстрациях Панкратов нашел 20 ошибок. Например, на одной из картин архат – ученик Будды – сидит на олбоках, специальных подушках, а Гумилев решил, будто архат сидит на книгах. Позолоченное изображение Зеленой Тары (в буддизме – благое существо, помогающее людям, наподобие Богоматери в христианстве) Гумилев назвал Золотой Тарой и так далее.

Скандал состоялся, зал был полон, так что свидетелей оказалось больше, чем достаточно. Сотрудники музея были потрясены.

«Книга Гумилева – пятно для востоковедов! Дефектные описи составлены были 30 лет назад, мы благодарны Борису Ивановичу Панкратову», — воскликнула этнограф Б.Я.Волчок.

«Такие несообразности в иллюстрациях! Нельзя допустить, чтобы эта книга Гумилева попала за рубеж!» – горячился востоковед В.И.Рудой.

Гумилев оправдывался: он ориентировался на справочную литературу, однако негодующий Панкратов тут же ответил: «В иконографии каждое лыко в строку! Описывая иконы, нужно пользоваться консультацией специалистов, а не старыми справочниками!»

Наконец, «некто лысый» (журналистка И.Ломакина, сохранившая для нас запись этого обсуждения, не знала его имени) «с запальчивостью» обратился к автору книги: «Если у вас есть совесть, Лев Николаевич, вы должны добиться, чтобы работа, проделанная Панкратовым, была обнародована. Как? Так же, как добились, чтобы напечатали вашу книгу с такими ошибками! Так же добейтесь и этой публикации!»

Гумилев просто не ожидал, что дело примет такой оборот. Он готовился говорить о махаяне, хинаяне, боне, даже о манихействе, но иконографии он, скорее всего, не придавал значения, так что удар застал мастера научных дискуссий врасплох. Сначала он пытался защищаться, но позиция оказалась слишком слабой даже для такого опытного бойца. Его финальная реплика эмоциональна, но сумбурна, что вообще не характерно для Гумилева, которого всегда отличали логика, ирония и умение

защитить практически любое, пусть и самое спорное утверждение:

«Я считаю, что это провокация! Пусть попробует Панкратов это напечатать, ни "Искусство", ни другие издательства этого не сделают, им подавай печатные авторитеты! Борису Ивановичу давно пора не выступать, а писать и печатать… Унд зо вайтер!»

Даже друг Гумилева Юрий Ефремов, рецензировавший «Старобурятскую живопись» для «Природы», признал: «Аннотацион ная часть книги отражает уровень научных требований тридцатилетней давности». Это была еще очень мягкая, беззубая критика. Несколько жестче, но и точнее был специалист по кочевому искусству Джангар Бадмаевич Пюрвеев в журнале «Искусство». Перечислив несколько довольно грубых ошибок Гумилева, рецензент заметил: «…ценность работы не в аннотациях к иконам, заимствованных из общеизвестных справочников А.Грюнведеля и А.Гетти, а в оригинальном исследовании первой части книги, где автор прослеживает судьбу иконописной традиции, прошедшей от Индии до берегов Байкала».

Добавлю от себя: ценность – в оригинальном и блестящем исследовании по истории религий. С идеями, высказанными Гумилевым в 1975 году, мы встретимся еще не раз.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ

В декабре 1974 года, за полгода до скандала вокруг «Старобурятской живописи», «Вопросы истории» напечатали статью Виктора Ивановича Козлова «О биолого-географической концепции этнической истории». Это была уже третья антигумилевская статья Козлова. Первая, как мы помним, вышла в «Природе» в 1971-м, вторую опубликовала «Советская этнография» в 1973-м. Но третья статья была совершенно особой. Не уверен, что ее можно даже назвать полемической. Это иной жанр. Судите сами.

«Развитие марксистской исторической науки неизменно сопровождается острой идеологической борьбой против идеалистических и вульгарно-материалистических концепций. К числу последних относится географический детерминизм. <…> После открытия К.Марксом и Ф.Энгельсом общих законов исторического развития, реализующихся в деятельности людей, положительное значение географического детерминизма полностью сходит на нет, а сам он используется главным образом для обоснования геополитических и других реакционных концепций и учений».

Обвинение в географическом детерминизме было самой малой виной Гумилева. За ним нашлись преступления и пострашнее. Более всего возмутило Козлова как раз самое замечательное в работах Гумилева – теория межэтнических контактов. В самой идее Гумилева о естественности и непреодолимости межэтнических противоречий Козлов увидел едва ли не оправдание фашизма:

«Своей концепцией этнической истории Л.Н.Гумилев, по существу, оправдывает жестокие завоевания и кровопролитные межэтнические конфликты. В чем же виноваты Чингисхан, Наполеон или Гитлер и, главное, при чем тут феодальный или капиталистический строй, если "пассионарная" активность таких "героев" была вызвана биологическими мутациями, а сами они и поддерживающие их группы, проводя завоевательные войны, следовали лишь биогеографическим законам развития монгольского, французского или германского этносов?».

Гумилев редко пользовался термином «социалистическая нация» – Козлов не преминул это отметить. Гумилев печатался в американском журнале "*Soviet Geography*" – Козлов многозначительно заметил: «Статьи Л.Н.Гумилева охотно перепечатываются в буржуазной прессе». Даже безвредную, казалось бы, идею об этносе как процессе, возрастах этноса

Козлов истолковал так, будто Гумилев писал о неравенстве этносов. Что же тогда говорить об этнических химерах! Здесь Козлов прямо переходит на язык, абсолютно далекий от научного: «Л.Н.Гумилев, по существу, оправдывает национальную сегрегацию и евгенические законы о запрещении национально-смешанных браков, как это делают наиболее реакционные националистические и расистские партии буржуазного общества».

«В целом, — заключает Козлов, — развиваемые Л.Н.Гумилевым идеи не согласуются с историческим материализмом; многие из этих идей ведут к ошибочным выводам, усугубляемым тем, что они затрагивают очень щепетильную область, связанную с этническими отношениями и национальным вопросом, то есть с областью, которая является объектом постоянной и острой идеологической борьбы».

В советских научных спорах марксизм-ленинизм был чем-то вроде безотказного универсального оружия большой убойной силы. Обвинение в немарксизме, в «переходе на позиции буржуазной идеологии» переводили оппонента в статус диссидента. Перед ним закрывались двери издательств и редакций научных журналов. В худшем случае можно было и работы лишиться. Виктор Иванович должен был предвидеть все последствия своей статьи. Между прочим, даже сам Лев Николаевич не чуждался этого «оружия» и применял его, например, против ненавистного Бернштама. Если в сталинские времена «ученые сажали ученых», то теперь ученые просто уничтожали своих оппонентов, не всегда разбирая средства.

Свобода творчества в советской исторической науке – до сих пор вопрос спорный. С одной стороны, после смерти Сталина возродились научные дискуссии, советских ученых начали понемногу выпускать на международные конгрессы и симпозиумы. В университетах до девяностых годов в обязательном порядке изучали статью Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», но профессиональные историки первобытности уже с конца пятидесятых соглашались, что ни матриархата как особого этапа в развитии человечества, ни группового брака в истории не было. Марксистский контроль над исторической наукой был неравномерен. Византинистам жилось легче, чем специалистам по новейшей истории Запада, а история Киевской Руси была политизирована несравненно меньше истории СССР.

Строже всего официальная наука контролировала вопросы истории XX века, особенно такие болезненные, как революция 1917-го, пакт Молотова – Риббентропа, 1941 год. К ним пускали

только избранных – хорошо проверенных партийных историков. Любая ересь незамедлительно каралась. Александр Некрич, секретарь партийной организации Института всеобщей истории, после своей книги «1941. 22 июня» немедленно превратился из преуспевающего ученого в изгоя советского научного мира. Не крича исключили из партии, что для партийного историка бы ло своего рода анафемой. В конце концов он эмигрировал. Его книгу изъяли из всех библиотек.

Но Александру Моисеевичу еще повезло. Травля в СССР обернулась успехом на Западе, многочисленными переводами на европейские языки. Намного печальнее сложилась жизнь Виктора Холодковского, крупнейшего в СССР специалиста по истории Финляндии в XX веке. Однажды этот высокий, нескладный, даже внешне похожий на Дон Кихота сотрудник Института всеобщей истории произвел сенсацию. На какомто международном симпозиуме он заявил, что Зимняя война была вызвана сталинской агрессией против Финляндии. Холодковского уволили из института, он вынужден был зарабатывать на жизнь расклеиванием газет.

Теория и методология истории были политизированы основательно, тут исследователь должен был постоянно держаться верного курса. Многие темы вообще закрыли для исследования, даже самая безобидная работа могла стоить автору карьеры. Верхом теоретической смелости считалась вялотекущая дискуссия между ортодоксальными и неортодоксальными марксистами востоковедами. Первые отстаивали сталинскую (точнее, заимствованную Сталиным у В.В.Струве) концепцию пяти общественно-исторических формаций («пятичленку»), а вторые утверждали, что на Востоке вместо рабовладения и феодализма господствовал азиатский способ производства (АСП): власть и собственность принадлежат государству, а население представляло собой совокупность бесправных податных сословий. В пя тичленку азиатский способ производства не вписывался, но обвинить сторонников этой марксистской ереси в «антимарксизме» было затруднительно, потому что азиатский способ производства придумал именно Маркс.

Лев Гумилев до 1974 года счастливо избегал преследований. Правда, со временем Гумилеву приходилось уже пробивать свои статьи. Но у него были влиятельные друзья и просто доброжелатели. По иронии судьбы, одним из них оказался известный полярник, вице-президент (а с 1977-го – президент) Географического общества Алексей Федорович Трешников, директор того самого Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, что некогда выжил Ахматову из

Фонтанного дома. Позднее помогал Гумилеву физик Владимир Николаевич Красильников, с 1981 года занимавший в ЛГУ высокую должность проректора по науке.

Кроме того, и сам Лев Николаевич, опытный боец, мастер научных споров, умел пробивать свои труды. Профессор Жолковский вспоминает разговор Гумилева с заместителем главного редактора журнала «Народы Азии и Африки», ведущим научным сотрудником Института востоковедения Григорием Григорьевичем Котовским, сыном легендарного налетчика и красного командира. Жолковский пришел тогда в редакцию узнать о судьбе своей статьи. Дело было в 1969 году. Жолковского пригласили в редакцию «на всякий случай, если возникнут вопросы». Вопросы не возникли, а статья пошла в печать, но, услышав имя «Лев Николаевич» и догадавшись, о ком идет речь, Жолковский решил остаться и услышал интересный разговор.

Гумилев пробивал статью «Место исторической географии в востоковедных исследованиях», посвященную даже не теории, а методологии истории. Статью Лев Николаевич завершал рассказом об «историоскопическом методе». Работа историка проходит на нескольких уровнях (степенях приближения). Первый – история человечества как целого. Она развивается спонтанно, «по спирали, нижний конец которой теряется среди гоминид, освоивших огонь и технику каменных орудий, а верхний – уходит в будущее. На протяжении видимой части спирали просматриваются три явления: демографический взрыв, технический прогресс и смена социальноэкономических формаций». Второй уровень – этносфера. Это, собственно, уровень этнической истории, где заметно развитие этносов и суперэтносов, подъем одних и упадок других. Третий уровень – история одного народа. Четвертый – история отдельной эпохи. Пятый – жизнь отдельного человека.

Что немарксистского в этой схеме? Пожалуй, она вовсе не противоречит историческому материализму, тем более и ссылка на «смену социально-экономических формаций» есть. Но Котовский-младший был все-таки недоволен: у Гумилева не хватало «применения классовых, историко-материалистических критериев». Котовский не отказывал Гумилеву, но мягко, дипломатично требовал – переделать. Однако Гумилев переделывать отказался. Он «заговорил со столь невозмутимым спокойствием, что я ему немедленно позавидовал, — вспоминает Жолковский. — За его преувеличенной восточной любезностью стояла не толь ко бескомпромиссная, ахматовской закалки твердость, но и вызывающая, пусть символическая, апелляция к

насилию, в которой сказывался то ли киплинговский налет, унаследованный с отцовскими генами, то ли собственный зэковский опыт.

— Благодарю вас, глубокоуважаемый Григорий Григорьевич, за незаслуженно лестное мнение о моем скромном опусе. И вы абсолютно правы насчет классового подхода, каковой в нем, действительно, не нашел применения. Дело в том, что меня интересуют исторические закономерности более общего порядка. <…> Если, скажем, взять какого-нибудь человека, поднять его на самолете на высоту в несколько тысяч километров над каким-нибудь пустынным местом и сбросить оттуда вниз, то можно с более или менее полной достоверностью предсказать, что, ударившись о песок, он разобьется насмерть. И для того, чтобы прийти к этому научному выводу, вовсе не потребуется учет классовой принадлежности этого человека и социальных взаимоотношений между ним и владельцами самолета».

Даже современному читателю ответ Гумилева представляется логичным, аргументы же – совершенно неотразимыми. Но в ответе был и скрытый смысл, который раскрывает для нас Жолковский. Незадолго до этого разговора в Саудовской Аравии опробовали модернизированный способ казни – сбрасывание с самолета. Мир был потрясен, а советские люди узнали кое-что новое об арабах. Сообщение, попавшее в советскую прессу, было крайне неудобным «с официальной – подчеркнуто проарабской – точки зрения».

Статью Гумилева без изменений напечатали в первом номере «Народов Азии и Африки» за 1970 год. Между 1959 и 1975 годами Гумилеву удалось напечатать практически всё, что он написал. А ведь напечатать книгу в издательстве «Наука» было очень трудно. Даже историки куда более благополучные, чем Лев Николаевич, порой предпочитали не связываться с «Наукой». Книги Арона Гуревича «Наука» печатала, но свои знаменитые «Категории средневековой культуры» Арон Яковлевич предпочел отдать издательству «Искусство». А вот у Гумилева до 1975 года все книги выходили именно в системе главного академического издательства. Тем тяжелее он будет переживать новый период своей жизни: в следующий раз «Наука» напечатает его книгу только в 1990 году.

Часть XV

ЭТНОГЕНЕЗ И БИОСФЕРА

— «Этногенез и биосфера Земли»? Вы знаете, да, была такая книга. Удивительно интересная! Я ее с удовольствием прочитала. Правда, ее совсем зачитали, не помню, оставили ее на полке или нет, — говорила мне пожилая женщина, библиотекарь подсобного фонда Российской государственной библиотеки.

Главную книгу Льва Гумилева я впервые прочитал в 1993 году. Это было одно из многочисленных тогда пиратских изданий. Теперь в моей библиотеке стоит и новенький, хорошо изданный томик «Этногенеза». Но ни в пиратских изданиях начала девяностых, ни в современных качественных изданиях «Астрели» и «Айрис-пресс» не сохранилась вступительная статья профессора, этнографа Рудольфа Фердинандовича Итса, которая предваряла первое и второе издание «Этногенеза». В моем родном городе найти первое издание оказалось трудно. В одной библиотеке книга была столь зачитана, что ее пришлось отправить на реставрацию. Из другой вообще исчезла. Пришлось отправиться в Ленинку. Но и там «Этногенез» нашли не сразу. Тысячи читателей центрального подсобного фонда Ленинки привели книгу в негодность, пришлось искать другой экземпляр.

Но фантастический для научной книги успех придет на рубеже восьмидесятых и девяностых, а в середине семидесятых годов Гумилева неожиданно перестали печатать.

Вскоре после статьи Козлова двери издательств и редакции журналов стали все чаще закрываться перед Гумилевым. С Козловым Гумилев пикировался с 1971 года и теперь снова решил вступить в спор. В начале 1975-го Гумилев направил письмо в редакцию «Вопросов истории», приложив к нему свой ответ Козлову. Журнал долго не отвечал Гумилеву, дважды главный редактор член корреспондент Академии наук В.Г.Трухановский собирал редколлегию, но ответ Гумилева так и не вышел. Трухановский сообщил Гумилеву, что публикации помешал академик Бромлей, директор Института этнографии. Если учесть, что ближайшим соратником Бромлея был Козлов (они даже часто выступали в соавторстве), то можно предположить, что именно Юлиан Владимирович стоял за публикацией антигуми левской статьи.

Но у Гумилева и без Бромлея хватало влиятельных недоброжелателей. В 1977-м и 1978-м Трухановский дважды заказывал Гумилеву большие статьи по истории евразийских кочевников, и дважды их не пускал в печать академик Рыбаков, причем вторая статья уже прошла редактуру и была сверстана для

журнала. Гумилева перестал печатать даже родной «Вестник ЛГУ». В 1976 году главный редактор отклонил новую статью Гумилева «Факторы этногенеза». Так прервался знаменитый цикл «Ландшафт и этнос» (Гумилев называл его «сюитой»).

Биографы Гумилева и его ученики представляют травлю Гумилева как нечто исключительное. Между тем с подобными препятствиями сталкивались многие историки, чьи воззрения расходились с общепринятыми в советской науке. Вот только один пример. Блистательный медиевист Арон Яковлевич Гуревич считал себя человеком исключительно счастливым, просто баловнем судьбы. Но вот журнал «Вопросы истории» двадцать лет его не печатал (Гумилева этот журнал не печатал восемнадцать лет). Гуревич с конца пятидесятых по 1973 год был постоянным автором престижного сборника научных трудов «Средние века». Но однажды Гуревичу устроили проработку: он, оказывается, преувеличил роль католической церкви. Так его перестали печатать и «Средние века».

Полного запрета на публикации Гумилева не было. С ним продолжал сотрудничать журнал «Природа». Статьи Гумилева выходили в научных сборниках, в «Ученых записках» Ленинградского и даже Тартуского университетов. Правда, публикации были в основном проходными. «"Тайная" и "явная" история монголов XII–XIII вв.», «Монголы и меркиты в XII веке» – сюжеты из давно опубликованных «Поисков вымышленного царства». «История колебания уровня Каспия за 2000 лет» – тоже повторение старого.

Исключением была статья «Биосфера и импульсы сознания», одна из программных у Гумилева. Она вышла в двенадцатом номере «Природы» за 1978 год. Редакция журнала вновь, как и в 1970-1971-м, решила завязать дискуссию об этногенезе, тем более что Гумилев переформулировал и уточнил многие понятия по сравнению с рубежом шестидесятых и семидесятых годов и ввел термин «техносфера» – царство мертвых вещей. С техносферой он сопоставил ноосферу Вернадского: «А что дала нам ноосфера, даже если она действительно существует? От палеолита остались многочисленные кремневые отщепы и случайно оброненные скребки да рубила; от неолита – мусорные кучи на местах поселений. Античность представлена развалинами городов, а Средневековье – замков. Даже тогда, когда древние сооружения целиком доходят до нашего времени, как, например, пирамиды или Акрополь, это всегда инертные структуры, относительно медленно разрушающиеся. И вряд ли в наше время найдется человек, который бы предпочел видеть на месте лесов и степей груды отходов и бетонированные площадки. А ведь техника и ее

продукты – это овеществление разума. Что же касается произведений гениальных поэтов или философов, то они остаются в памяти людей, не образуя никакой особой "сферы"».

В этом же номере «Природы» появилась статья историка первобытности Абрама Исааковича Першица и географа Вадима Вячеславовича Покшишевского «Ипостаси этноса». Соавторы работали в Институте этнографии, то есть должны были представить официальную точку зрения советской этнографии. В общем, они так и сделали. При этом критика достаточно сдержанная, вполне академичная, без «запрещенных приемов», к которым недавно прибегал Козлов. Тяжелая артиллерия советских этнографов с ее бронебойно-зажигательными обвинениями в антимарксизме и фашизме на этот раз молчала. Авторы с Гумилевым не соглашались, но не нарушали этики нормального научного спора.

Сама дискуссия в авторитетном академическом журнале показывает, что даже после третьей статьи Козлова Гумилева признавали вполне профессиональным ученым, с которым не зазорно спорить на страницах солидного издания.

В 1975 году Ученый совет географического факультета рекомендовал к печати «географическую» диссертацию Гумилева, но издательство ЛГУ отказалось ее публиковать. Через два года Гумилев предложил рукопись «Этногенеза» издательству «Наука». На этот раз Гумилев заручился еще более основательной поддержкой. Он получил десять положительных рецензий, включая отзыв доктора биологических наук Н.Н.Смирнова, заместителя председателя биологической секции и международной секции Научного совета по проблемам биосферы Академии наук СССР. Вновь свою рекомендацию дал ученый совет геофака ЛГУ. Но издательство согласилось печатать книгу только под грифом Института этнографии и направило рукопись академику Бромлею, который такого грифа, конечно, не дал. Одновременно «Наука» не приняла у Гумилева заказанную для популярной серии небольшую книгу «История природы и история людей».

После двойной неудачи с издательством «Наука» стало ясно, что в ближайшее время напечатать «Этногенез» в советском издательстве не удастся, а переправлять за границу и печатать главный труд жизни в каком-нибудь Париже Гумилев не мог и не хотел. Во-первых, книга была вовсе не антисоветской, а потому для диссидентского движения ценности не представляла. Во-вторых, сам Гумилев не любил диссидентов. Печатать «Этногенез» надо было на родине, но как это сделать? И Гумилев решил депонировать свою книгу во Всесоюзном институте научной и

технической информации (ВИНИТИ).

Депонированная рукопись – это нечто среднее между нормальным изданием и анабиозом в ящике письменного стола. Однако и на это кладбище идей, концепций, сочинений надо было еще попасть. 30 октября 1978 года ученый совет ЛГУ представил рукопись Гумилева к депонированию, но только в первых числах марта следующего года Гумилев депонировал первые десять листов своей книги. Гумилев не терял времени даром: он расширял текст, дополнял, переписывал. В конце концов объем рукописи вырос почти на треть, и ВИНИТИ согласился принять ее разделенной на три выпуска.

После депонирования первой части случилась заминка: сотрудница ВИНИТИ О.Н.Ансберг чуть было не «зачитала» вторую и третью части, Гумилев даже пригрозил ей уголовной ответственностью. Только в октябре 1979-го депонирование было закончено. Так началась жизнь одной из самых оригинальных книг XX века.

В отечественной исторической мысли «Этногенез и биосфера Земли» не имел аналогов, потому что даже «Россия и Европа» Н.Я.Данилевского уступала книге Гумилева во всех отношениях – от стилистики до строгости научной терминологии. До 1979 года пассионарная теория этногенеза была распылена между двумя десятками статей, опубликованных научными журналами. Теперь Гумилев не только собрал все статьи, все идеи, мысли, догадки в одной книге, но и внес изменения. Именно по «Этногенезу и биосфере» надо изучать теорию Гумилева.

Всякое совершенное литературное произведение – загадка для читателя и критика, а «Этногенез» принадлежит и науке, и литературе. Несмотря на устрашающую терминологию, на чрезвычайную сложность самого предмета, на непривычность исследования, книга Гумилева читается на одном дыхании. Если красота – в самом деле критерий истинности научной теории, то теорию Гумилева следовало признать безупречной.

Но красота «Этногенеза» куплена дорогой ценой. Не зря Николай Глотов еще десять лет назад предостерегал Гумилева от красивых, но поспешных умозаключений, от изящных, но недоказанных гипотез. Трактат Гумилева соединил замечательные наблюдения, тонкие догадки, необычайные прозрения с многочисленными натяжками и упрощениями. Но еще удивительнее другое: сочетание в трактате науки с вероучением.

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЕРЕТИК?

До сих пор речь шла о науке, о литературе, об истории народов. Но последняя, девятая часть трактата «Этногенез и биосфера Земли» даже на первый взгляд кажется чем-то инородным. Она называется «Этногенез и культура» и состоит из двух глав: 37-й «Отрицательные значения в этногенезе» и 38-й «Биполярность этносферы».

Вроде бы та же естественнонаучная терминология, что и в предыдущих восьми частях. Вроде бы и здесь речь об этносах, пассионарности, истории, этнологии. На самом же деле девятая часть «Этногенеза» посвящена учению об антисистемах, которое принадлежит не науке, а философии, причем философии религиозной.

Центральный для учения об антисистемах вопрос – вопрос о природе добра и зла – к науке отношения не имеет. Гумилев задумался о природе зла (а значит и добра) скорее всего во время своего первого (1935) или второго (1938) следствия. Может быть, несколько позднее – в Норильском лагере. Первый результат его размышлений – «Посещение Асмодея» и «Волшебные папиросы», «осенняя» и «зимняя» сказки. Источников, которые позволили бы нам судить о развитии этого учения у Гумилева, очень мало. Видимо, Гумилев создал это учение параллельно пассионарной теории этногенеза.

Андрей Зелинский вспоминает, как Гумилев еще в 1959 году во время Астраханской экспедиции прочел целую «богословско философскую лекцию» об учении Иоанна Скотта Эригены, шотландского богослова IX века. Тридцать лет спустя в книге «Древняя Русь и Великая степь» Гумилев будет иллюстрировать свое учение об антисистемах в том числе учением Эригены.

Для Гумилева пассионарная теория этногенеза и учение об антисистемах были связаны. Но грамотный читатель и ученый исследователь должны их различать.

Впервые Гумилев изложил это учение не в монографии или в статье, а в художественном альбоме «Старобурятская живопись». В трактате «Этногенез и биосфера Земли» Гумилев развил и обосновал свое учение уже более последовательно и по своему убедительно.

Он начинает девятую главу «Этногенеза» дискуссией с Карлом Ясперсом, немецким философом. Сочинение Ясперса Гумилев прочел по-немецки, что само по себе говорит о чрезвычайном интересе русского ученого к немецкому экзистенциализму и его концепции «осевого времени».

Гумилев плохо читал по-немецки. Из письма к Б.С.Кузину 17 июня 1970 года: «В твоем письме противоречие: ты рекомендуешь читать немецкие работы и щадить себя. Или то, или другое, тем более что немецкий я знаю слабо». Гумилев брался за немецкую книгу, если действительно не мог без нее обойтись. Например, он добросовестно штудировал монографию Лю Мао цзая, известного немецкого тюрколога, с которым, между прочим, иногда сравнивают самого Гумилева.

Вообще-то Лев Николаевич, как и большинство историков, относился к философам снисходительно. Болтологи и бездельники, что с них взять? Но книга Ясперса его по-настоящему взволновала. Гумилев увидел в нем достойного противника: «…в число предшественников Ясперса, пусть не идейных, но исторических, следует зачислить Жана Кальвина и в какой-то мере Иоанна Скота Эригену, а в число противников его учения – Пелагия и естествоиспытателей, изучающих окружающий мир, а также историков, как эрудитской школы, так и теоретиков, например О.Тьери…»

Какое странное, диковинное сочетание! Естествоиспытатели, Огюстен Тьери и Пелагий – древний богослов, современник Иоанна Златоуста и главный оппонент блаженного Августина. Только Гумилев мог бы объединить их. Но как?

Лев Николаевич Гумилев, как мы знаем, был воспитан человеком православным: «Православным он был от рождения до самой смерти. Перед смертью он исповедовался и причащался», — вспоминала Наталья Викторовна Гумилева.

Веру он сохранил и даже укрепил в годы страшных гонений на религию, особенно на православную. С мужеством ранних христиан он исповедовал свою веру даже перед следователями МГБ.

> Из допроса Льва Гумилева. 23 декабря 1949 года. Лефортово.
>
> *Следователь МГБ майор Бурдин*. Вы верующий?
>
> *Гумилев*. Я глубоко религиозный.
>
> *Следователь*. Что это значит?
>
> *Гумилев*. Верю в существование Бога, души и загробной жизни. Как человек религиозный, я посещал церковь, где молился.
>
> *Следователь*. Вы занимались и религиозной пропагандой?
>
> *Гумилев*. Не отрицаю, что беседы религиозного характера со своими близкими и знакомыми я вел. Имел

место и такой факт, когда в 1948 году я по собственному желанию, в силу своих религиозных убеждений исполнял роль крестного отца при крещении одной своей знакомой – помощника библиотекаря Ленинградской библиотеки имени Салтыкова-Щедрина Гордон Марьяны Львовны. С этой самой Гордон, при моем содействии перекрещенной из иудейской веры в православную, я потом посещал церковь.

Следователь. Какой же вы советский ученый, вы – мракобес.

Гумилев. В известной мере это так.

Судя по воспоминаниям самой Марьяны Козыревой (в девичестве Гордон), Гумилев проявил при этом немалое рвение и упорство. В день крещения Марьяна, довольно легкомысленно относившаяся к этому важному делу, позабыла дома деньги и крестик. Тогда Гумилев велел подруге подождать его на улице, сам сходил к ней домой, взял всё необходимое, а потом уже до самой церкви шел с ней рядом и даже держал будущую крестницу за руку.

Еще до войны Гумилев убеждал креститься Эмму Герштейн. Крестником Гумилева стал его первый ученик, Гелиан Прохоров. Гумилев не повел его в церковь, как Марьяну Козыреву, но и не скрывал своей религиозности. То есть убеждал не словами, а личным примером. «Я все приглядывался к нему, чем он отличается от большинства людей и от меня тоже, — вспоминал Прохоров. — И потом понял, что верой. Верой, которая давала как бы добавочное измерение личности. Я плоский, а у него еще вертикальное есть. <…> Я сам со временем попросил его быть моим крестным отцом и крестился сравнительно взрослым под его влиянием».

Повседневная жизнь советского ученого как будто не оставляла места для религии, но Гумилев и в ленинградской коммуналке соблюдал православные традиции, а свою комнату на Московском проспекте попросил освятить. По словам Натальи Викторовны, в храме Гумилев бывал редко, но обязательно приходил на великие церковные праздники. Часто он приезжал в Гатчину, где служил отец Василий (Бутыло), духовник Гумилева. А вот Ольга Новикова пишет, что Гумилев каждую неделю бывал в храме, где обязательно исповедовался и причащался. Журналистке Людмиле Стеклянниковой Гумилев рассказывал, будто в 1935 году всерьез думал стать священником, но его отговорили: «У нас много священников-мучеников, и нам нужны светские апологеты».

Из воспоминаний отца Василия: «Ему очень нравились мои проповеди, на отпеваниях он внимательно слушал Евангелие, да еще и рукой иногда махнет, как будто подчеркнет: "Вот какая, мол, истина! Вот какая правда! Вот как Спаситель говорил!" Он очень был верующий…»

Отцу Василию как будто вторит другой священник, а в конце пятидесятых – в шестидесятые просто друг Гумилева, Михаил Ардов: «В нем я встретил первого в нашем интеллигентском кругу сознательного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо:

— Но мы-то с вами з н а е м (выделено Ардовым. – С.Б.), что Он воскрес».

Михаил Ардов принял православие в 1964-м и еще больше сдружился с Гумилевым как с одним из немногих верующих интеллигентов. Но со временем Ардов пришел к неожиданному заключению: взгляды Льва Гумилева «вовсе не православны». Это странное свойство Гумилева Ардов посчитал наследственным и вспомнил статью Ходасевича о Николае Гумилеве: «Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия».

С Михаилом Ардовым трудно не согласиться. Более того, я не уверен в том, что Льва Гумилева вообще можно считать христианином.

Гумилева более всего интересовал вопрос о добре и зле, а христианство, в том числе и христианство православное, этот вопрос решает непоследовательно. Дьявол – всего лишь падший ангел, который творит зло, а Бог, всемогущий и всеведущий, это зло до поры до времени попускает. Гумилев такой взгляд с негодованием отвергает, ведь Бог при такой трактовке оказывается соучастником дьявола, а значит – несет ответственность за все злодеяния, что совершаются на свете. Гумилев предпочел отказаться от веры во всемогущество и всеведение Бога, чем переложить на него ответственность за преступления и грехи. В этом и заключается его светская апологетика, а точнее – теодицея: «…если бы Он был вездесущ, то Он был бы и во зле, и в грехе, а этого нет. 6. Это так, потому что Он милостив, ибо если бы Он был всемогущ и не исправил бы зла мира сего, то это было бы не сострадание, а лицемерие».

Это цитата из так называемого «Апокрифа». Гумилев пишет, что он будто бы нашел в 1949 году в Государственном музее этнографии древний текст, написанный уйгурским алфавитом на неизвестном языке, а к тексту прилагался русский перевод, сделанный, судя по орфографии, еще до революции. Гумилев

добросовестно переписал перевод, который остался единственным следом этого текста, потому что оригинал пропал. По крайней мере он, Гумилев, вернувшись в Ленинград в 1956 году, не обнаружил этого сочинения ни в Этнографическом музее, ни в Государственном Эрмитаже. Гумилев приписал авторство неизвестному средневековому «турфанскому вольнодумцу» и все-таки опубликовал перевод, потому что счел мысли автора оригинальными и логичными.

Разумеется, дело шито белыми нитками, а Гумилев лишь слегка прикрывает собственное авторство флером мистификации. Судя по рассказу Гумилева, перевод был один, в то время как «Апокриф» Льва Гумилева существует в двух редакциях: краткой, но с комментарием (включен в книгу «Древняя Русь и Великая степь»), и пространной, но без комментария. Пространную редакцию издали в сборнике «Этносфера: история людей и история природы» уже после смерти Гумилева.

«Апокриф» – мистификация, но мистификация, рассчитанная на быстрое и легкое разоблачение. Наталья Викторовна прямо назвала «Апокриф» сочинением своего мужа, но и без этого признания ясно, что Гумилев просто выразил в «Апокрифе» свои мысли четко, кратко и не языком ученого, а скорее языком вероучителя.

Комментарий, сочиненный к "Апокрифу", тем более выдает истинное происхождение этого «турфанского вольнодумца». Чего стоит только цитата: «Небытие облекает частицы Света (фотоны) и влияет на свободную волю людей через ложь, через необратимость времени и через разрывы в пространстве». Согласитесь, такая лексика нехарактерна для дореволюционной России, где будто бы был сделан перевод, я уж молчу о средневековом Турфане.

Вероучение, изложенное Гумилевым, сложносоставное. Сам Гумилев прямо называет его источники: «желтая вера» (то есть ламаизм) Тибета, несторианство (как ответвление христианства) и «восточный вариант митраизма», который Гумилев отождествлял с тибетской религией бон.

ГУМИЛЕВ И ДЕМОНЫ

В мировоззрении Гумилева соединялись позитивизм ученого, дуалистическая картина мира, разделенного между Богом и сатаной, и вера в нечистую силу, в степных, горных, домовых созданий, которых обычно соотносят с духами, демонами, языческими богами. Эту нечисть он упоминает даже в своих научных работах, более всего в своем бестселлере «Древняя Русь и Великая степь». Причем Лев Гумилев, доктор исторических наук, советский ученый, старался вложить собственные мысли в чужие уста: «…языческие боги не считались надмирными существами… это живые организмы, но более могущественные, нежели люди, иначе устроенные, но соизмеримые с другими организмами, населяющими землю. Они просто на порядок совершеннее людей, как люди совершеннее муравьев». Эти взгляды Гумилев приписывает христианской Церкви, хотя и в православии, и в католицизме на проблему демонологии смотрят совершенно иначе.

Подход Гумилева к демонам как к высокоразвитым животным, в сущности, как к части биосферы очень далек от христианской традиции. У Гумилева демоны могут быть вредными и неприятными, но это вполне земные создания, к мировому злу никакого отношения не имеющие. От традиционного для русского православия двоеверия воззрения Гумилева отличались именно непреодолимой границей, отделяющей земную нечисть от сатаны, «отца лжи», окруженного сонмом огненных демонов, вроде ветхозаветного Яхве. Сатана – враг рода человеческого, а нечисть – просто наши невидимые (но реально существующие) соседи. Гумилев не без удовольствия цитирует опубликованный славистом Н.М.Гальковским источник («О посте к невежам в понеделок 2 недели»), где рассказывается о навьях (древнеславянских духах умерших), которые любили угощаться за счет добрых русских двоеверов. Крестьяне оставляли им кувшинчик молока, хлебца и мяса, а навьи их по-своему благодарили: «Мы же походили по болгаром, мы же по половцем, мы же по чуди, мы же по вятичам, мы же по словеном, мы же по иным землям, ни сяких людей могли есмы найти к сему добру, и чести, и послушанию, яко сии человецы».

Почти по Фалесу Милетскому: мир полон демонов, но не сатанинских, а земных, да еще поделенных если не по национальному, то уж точно по территориальному и этнокультурному принципу – славянские домовые, лешие, русалки, тюркские ал басты, карачулмусы, тибетские ракшасы и

еще многие существа, не обязательно злые.

Гумилев, вне всякого сомнения, был убежден в их реальности, иначе не затеял бы заочный спор со скептиками: «Поскольку многие люди либо видели этих чудовищ, либо ощущали их, не успев погибнуть благодаря заклинаниям или внезапному вмешательству соседей, то никакого сомнения в наличии болезнетворных существ, вызывающих то инфаркты, то анемию, то паралич, не возникало. Но ведь и мы недавно перестали сомневаться в существовании вирусов, хотя их можно видеть только через электронный микроскоп…»

Наталья Гумилева и Гелиан Прохоров пересказывали историю, которую им, видимо, не раз рассказывал Гумилев. Дело было в 1943 году, во время экспедиции на Нижнюю Тунгуску. Палатку, где жили Козырев и Гумилев, вдруг стало трясти, рядом с палаткой послышались чьи-то тяжелые, будто слоновьи, шаги. Пришлось выбраться наружу и осмотреться – чужих следов не нашли. Но с тех пор так и пошло каждый день: необъяснимый шум рядом с палаткой, чьито шаги. А однажды кто-то невидимый, но очень сильный взял Козырева за плечи и толкнул на торосы, да так, что астроном сломал себе два или три ребра. Тогда Гумилев догадался: это албаст, демон, хорошо известный народам Средней Азии, Сибири и даже Кавказа. Гумилев начал уговаривать албаста уйти.

Из рассказа Льва Гумилева, записанного Гелианом Прохоровым: «Я стал обращаться к духу. Сначала по-русски. Чувствую, не понимает. Тогда по-татарски. Не понимает. По-тунгусски – я тогда говорил по-тунгусски. Не понимает. По-французски – то же самое. Тогда я догадался заговорить с ним по-персидски. Понял! Я попросил его уйти. Тут на палатку налетел вихрь, сильный порыв ветра. <…> Пламя в лампе метнулось, чуть не погасло. И ушел».

Ираноязычный демон Гумилева послушался и оставил геологов в покое. Позднее «туземцы» (скорее всего, эвенки) рас сказали геологам, что те по невежеству поставили палатку как раз на тропе, по которой «ходили» местные духи, загородив им проход. После этого палатку, конечно, пришлось переставить.

Любопытно, что именно в Норильске Гумилев написал рассказ «Таду-вакка», где некий респектабельный джентльмен из Канберры по ночам превращался в отвратительное чудовище и нападал на людей и домашних животных. Впрочем, этот рассказ появился за два года до истории с албастом.

В омском лагере албасты, видимо, не водились. Зато там встречались китайцы, которых Гумилев расспрашивал о драконах. Один китаец рассказал, как еще в тридцатые годы (XX века!)

рядом с его родной деревней приземлился истомленный жарой дракон: «…он был очень большой, длинный и пах рыбой». Добрые китайские крестьяне оказали дракону первую помощь: поливали его водой. А затем «пошел сильный дождь, дракон ожил, оправился и улетел».

Савве Ямщикову Гумилев рассказывал еще одну историю. За ее достоверность не поручусь, но для Гумилева она очень характерна. Дело было, судя по всему, опятьтаки в 1943-м или 1944 м. Однажды он плыл на лодке по сибирской реке, увидел на берегу идола и решил его прихватить с собой, «чтобы в ближайший музей доставить. Тут река заволновалась, забурлила. Я понял, что лодка потонет, и быстро к берегу, к берегу. Идола поставил, и река сразу утихомирилась».

Север Сибири – вообще страна чудес. Например, в передовом колхозе имени Ленина, неподалеку от Туруханска, заместителем председателя колхоза был настоящий практикующий шаман, который, если верить Ариадне Эфрон, отбывавшей в тех краях ссылку, отвечал за «связь с массами». Может быть, там среди эвенков бродят и албасты, почему-то понимающие по-персидски.

Верить ли этим историям – пусть решит читатель. Лев Николаевич всегда любил фантазировать и сочинять. В экспедиции, у костра, или за письменным столом – неважно. Но вера Гумилева в демонов не уникальна. Вспомним, как уговаривал Гелиан Прохоров дух покойника-хазарина не противиться раскопкам, как заманивал существо из царства теней переселением в Эрмитаж.

ЛУЧШИЙ ДРУГ САТАНЫ

Судя по пространной редакции «Апокрифа», у гумилевского учения об антисистемах был еще один источник – ересь Мар киона (середина II века н. э.). Гумилев отнес учение Маркиона, которого богословы считают не гностиком, а христианским ересиархом, к «негативным», «жизнеотрицающим», по сути, сатанинским, что не помешало ему заимствовать некоторые идеи Маркиона (сочинения Маркиона не сохранились, о его взглядах мы можем судить только по христианской критике его учения).

Маркион прежде всего отрицал преемственность Ветхого и Нового Заветов. Он отредактировал Евангелие от Луки – убрал все ветхозаветные мотивы. Оставшиеся три Евангелия объявил иудейской фальшивкой.

Христианские богословы считали Маркиона опаснейшим еретиком, тем более что он создал собственную антицерковь, которая просуществовала несколько веков, конкурируя с христианской Церковью. Святой Поликарп Смирнский, встретив Мар киона в Риме, сказал: «Узнаю первенца сатаны».

Вслед за Маркионом автор пространной редакции «Апокрифа» называет Яхве «огненным демоном и лучшим другом Сатаны». Мусульманского Иблиса Гумилев отождествил не только с дьяволом, но и с Яхве: «Если это сопоставить с "казнями" ни в чем не повинных египтян, особенно новорожденных первенцев, с обманом девушек, у которых подруги взяли золотые украшения на праздник и убежали, не вернув их, с истреблением жителей Палестины, включая детей, то все это больше походит на облик Иблиса, нежели Аллаха».

В своих лекциях Гумилев отзывался о Боге Ветхого Завета и Его ангелах насмешливо, даже презрительно и очень зло: «… появился страшный бог, который закричал: "Ты должен принести мне в жертву – первенца!" А у этих древних семитов существовал такой обычай, что первого своего сына они убивали в жертву богу. А женето было жалко. Она быстренько взяла острый камень… сделала обрезание Моисею и "духу" или "богу", который там был… бросила окровавленный кусок мяса. И закричала: "Бери и уходи!" Ну, тот по глупости своей, по наивности – забрал и ушел».

Яхве – только огненный демон, но еще не сам Сатана. Природа «печального и алчущего» дьявола в том, что он не был сотворен Богом. Он – воплощенное Небытие, Ничто.

Но если сатана – это небытие, то что есть Бог? Бог – личность, создатель материального мира, последний же очень нравится

жизнелюбивому Гумилеву: «Бог добр, а значит мир, сотворенный им, благ». Поэтому все нормальные религии, с точки зрения Гумилева, должны благословлять мир, а все нормальные люди – любить мир, природу, биосферу.

Гумилев любил цитировать бонский гимн, переведенный ти бетологом Брониславом Кузнецовым.

Да будет неба сапфир!
Пусть желтое солнце – мир
Наполнит светом своим
Оранжево-золотым!
Да будут ночи полны
Жемчужным блеском луны!
Пускай от звезд и планет
Спускается тихий свет,
И радуги окоем
Сияет синим огнем.
Пусть поит дождь океан,
Пусть будет вечной земля,
Родительница добра;
Здесь так зелены поля,
Так много прекрасных стран!

Мир прекрасен и разумно устроен, даже болезнь и смерть – не зло, а следствие естественного порядка вещей. Более того, автор «Апокрифа» верит в переселение душ: «…чередование смертей и рождений – не зло, а благо. Вечная душа (атман) перерождается, забыв обиды и горе, перенесенные ею в предшествующей жизни. Цепь перерождений непрерывна».

Гимн жизни, гимн природе и мирозданию, возможно, и сочетался с «восточным митраизмом», но сочетался ли он с христианством, впитавшим в себя вполне «антисистемные», с точки зрения Гумилева, то есть мироотрицающие идеи? Мироотрицанием проникнуто «Откровение Иоанна Богослова». Образ жиз ни монахов, посвятивших себя Господу, прямо противоположен жизнерадостному гимну жизни; подвиги святых, умерщвлявших плоть постом и молитвами, тоже с трудом вписываются в гуми левскую концепцию «позитивного» мироощущения. Видимо, Гумилев не вполне понимал сущность христианства, но, по словам Михаила Ардова, был совершенно убежден, что его взгляды ни в чем не противоречат не только христианству вообще, но даже православию, то есть самой строгой, ортодоксальной ветви христианства.

Гумилев был уверен, что его религиозные воззрения не

противоречат и научной картине мира. Убежденный позитивист, не сомневавшийся в универсальности научного познания, он даже религию сделал материалистической. Это не так уж трудно, ведь Бог Гумилева – это творящее бытие. Если Его не персонифицировать, то противоречие с наукой и вовсе исчезнет. Материалисты считают, что в мире нет ничего, кроме материи (вещества и энергии), но разве не так же считал и Гумилев? Отсутствие материи – вакуум – тоже понятие физическое, вполне научное, его Гумилев и отождествил с понятиями Ничто, Пустота, Бездна: «…физики знают, что при интенсивных термодинамических процессах идет утрата вещества, преображающегося в световую энергию, а последняя уходит из своей системы в межгалактическую бездну. Это аннигиляция, которая не смерть, но страшнее смерти. <…> Древние мудрецы это знали. Они даже персонифицировали, как это было тогда принято, принцип аннигиляции и назвали его Люцифером, т. е. "носящим свет" (правильнее будет неточный перевод – уносящий свет; куда? — в бездну!). А бездну сопоставили с адом – самым страшным из всего, что могли вообразить. <…> Современная физика тоже оперирует этим понятием, конечно, называя его по-своему – вакуум. <…> Бездна – это пространство без дна, т. е. без конца, а следовательно, и без начала. <…> Вакуум – это мир без истории. В каждом малом объеме пространства непрерывно рождаются пары "частица – античастица", но тут же они взаимоуничтожаются, аннигилируются, испуская кванты света, которые, в свою очередь, "проваливаются в никуда". <…> Ну разве это не ад в понимании древних, считавших бессмертную душу частицей света?»

Учение поразительное. Материалистическая картина мира оказалась у Гумилева вполне религиозной, а понятия биологии, географии, физики обрели религиозный смысл. Даже большой взрыв трактуется как чудо творения: «Мир, созданный Богом, Им же и поддерживается, и развивается. К этому же выводу пришли современные физикикосмологи, которые истолковали создание мира как "первоначальный взрыв", то есть проявление надмирной Силы».

Гумилев разделил все религии и философские учения по одному признаку – отношению к биосфере и, шире, к природе и миру. Для жизнеутверждающих учений материальный мир – это благо, для жизнеотрицающих материальный мир – это зло. Первые славят Бытие, вторые – Небытие, Пустоту, Ничто. Первые защищают богатство и разнообразие жизни, вторые мечтают или уничтожить жизнь, или преобразовать ее до неузнаваемости. Первые охраняют природу, вторые ее разрушают: «На одном

полюсе стоит Дерсу Узала – образ, описанный В.К.Арсеньевым, на другом – изобретатель ДДТ, имени которого я не хочу знать».

АНТИСИСТЕМА

К жизнеотрицающим учениям Гумилев отнес гностицизм, манихейство, исмаилизм, павликианство, богомильство. Если вокруг такого учения формируется община из людей, искренне принимающих жизнеотрицание, то Гумилев называл такую общину «антисистемой». Антисистемы враждебны миру, природе, биосфере, опасны для существования нормальных этносов.

Вера в предопределение, по мнению Гумилева, тоже угодна дьяволу, потому что снимает ответственность с человека за поступки. Вот почему к людям с жизнеотрицающим мироощущением Гумилев отнес и блаженного Августина, и Жана Кальвина, а их противников, соответственно, к сторонникам добра и света, верующим в истинного Бога. Поэтому естествоиспытатели, изучающие биосферу, и оказались в одном лагере с Пелагием, последовательным сторонником свободы воли и оппонентом Августина.

В нормальных условиях нормальные люди к антисистеме не примкнут, такие общины образуются только в зонах негативных этнических контактов, внутри этнических химер, где, как в коммуналке с неуживчивыми соседями, все друг друга ненавидят, а нормальные этнические традиции искажаются из-за контактов с чужаками. В этнических химерах появляется много людей с жизнеотрицающим мироощущением, которые и объединяются в антисистемы.

На первый взгляд, учение очень логичное и удивительно непротиворечивое, но только на первый. Владимир Губайловский, не только профессиональный математик, но и человек, сведущий в современном естествознании, сразу же поймал Гумилева на дилетантизме:

«…Почему кванты, которые рождаются при аннигиляции, проваливаются в никуда? Они, может быть, тут же сталкиваются и порождают новые частицы, процесс-то обратимый. <…> Неплохо, кстати, было бы и успокоить своих читателей, вспомнив, например, что не могут все частицы вещества аннигилировать. Это противоречит закону сохранения барионного заряда. <…> Так что стремление социального человека к пустоте – то есть к уничтожению и смерти, образ которой Гумилев находит в аннигиляции и превращении всей массы в излучение, ограничено не только биологической природой и инстинктами человека, но и фундаментальным физическим законом. Но этот вывод никак с теорией этногенеза не связан.

Картина, нарисованная Гумилевым, красива и зловеща.

Чувствуешь себя виртуальной частицей, которая вот прямо сейчас и аннигилирует. <…> Но никогда никакая аналогия не была доказательством. У географии свои законы, у физики свои, и что бы там в физике микромира ни происходило, вряд ли это существенно для понимания этногенеза. Научное рассуждение так строиться не может».

Конечно, но ведь перед нами не наука, а религиозное учение, которое Гумилев только закамуфлировал под научное. Гумилев не обманывал своих читателей, «камуфляж» был искренней попыткой соединить несоединимое. Тем не менее для научного наследия Гумилева учение об антисистемах сослужило дурную службу. Оно оттолкнуло от Гумилева многих серьезных исследователей. Тот же Губайловский, сначала «очарованный» научной мыслью Гумилева, прочитав девятую часть «Этногенеза», превратился в последовательного критика «гумилевщины».

А ведь в учении об антисистемах еще немало слабых мест. Гумилев, не только историк, но и географ, к тому же много интересовавшийся проблемами экологии и развития биоценозов, не мог не знать, что почти все экологические преступления человечества совершены вовсе не представителями зловещих антисистем, а самыми обычными людьми, которые руководствовались не мироотрицанием, а банальной корыстью, жаждой легкой наживы. Леса на Аппенинском полуострове свели за много столетий до появления патаренов. Не альбигойцы сливали в Гаронну и Луару промышленные стоки. Не исмаилиты истребили туранского тигра.

К сожалению, последователи Гумилева превратили учение об антисистемах в нечто и вовсе карикатурное. К антисистемам отнесли не только коммунизм, но и «западный социализм» и либерализм. Что общего с жизнеотрицанием у сторонников социальной справедливости? Неужели же можно причислить к антисистемам рабочие партии, боровшиеся за повышение зарплаты, за восьмичасовой рабочий день и оплачиваемый отпуск? Что общего с мироотрицанием у защитников прав и свобод человека?

Более того, нельзя причислять к антисистемам и нацизм с коммунизмом. С последним все как будто ясно. Коммунистический идеал – всеобщее равенство в свободном бесклассовом обществе, справедливое распределение плодов труда, интернационализм и мир между народами – утопия, но никак не мироот рицающая. А нацизм и подавно далек от антисистем. Идеология нацизма представляла собой самый бесстыжий национальный эгоизм, она обернулась ужасом для Европы, но мир, жизнь, природу нацисты не отрицали никогда.

К сожалению, люди поверхностные и слабо знающие историю решили, что антисистемы и несут ответственность за самые страшные преступления, совершенные нацистами и коммунистами. Своим наивным последователям невольно подыграл и сам Гумилев, в одном из интервью назвавший Сталина человеком, сочетавшим пассионарность с «негативным, жизнеотрицающим выбором». Но Иосиф Виссарионович тоже любил жизнь, что не мешало ему уничтожать сотни тысяч невинных людей. При всем том он не стремился истребить всё живое на земле во имя слияния с абстрактным Абсолютом. Не причислил же Гумилев к антисистемам легизм правителя Шан Яна и не посчитал империю Цинь антисистемой, хотя немного найдется в истории человечества деспотов, подобных Цинь Ши Хуанди, хоронившему заживо последователей Конфуция.

ГУМИЛЕВ, ФИЛОНОВ И ЗАБОЛОЦКИЙ

Словом, если антисистемы и существуют, то они редко играют в истории человечества важную роль. А вот люди с жизнеотрица ющим мироощущением – не миф. В первую очередь вспоминаешь, конечно, Шопенгауэра. Странно, что Гумилев спорил в своем трактате с Ясперсом, а не с его идейным предшественником.

Зато в истории русской литературы Гумилев нашел поэта с жизнеотрицающим мироощущением – Николая Заболоцкого. Гумилев всегда цитировал только одно стихотворение Заболоцкого, «Лодейников», и всегда только один фрагмент:

Лодейников склонился над листами,
И в этот миг привиделся ему
Огромный червь, железными зубами
Схвативший лист и прянувший во тьму.
Так вот она, гармония природы,
Так вот они, ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вздыхая, шепчутся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок…

Комментарий Гумилева к «Лодейникову» предельно точен: «В этих прекрасных стихах, как в фокусе линзы телескопа, соединены взгляды гностиков, манихеев, альбигойцев, карматов, махаянистов – короче, всех, кто считал материю злом, а мир – поприщем для страданий».

О мироощущении Заболоцкого я впервые услышал в телевизионной лекции Гумилева из цикла «Этносы земли». Я был очень удивлен и решил, что Гумилев просто плохо знал стихи Заболоцкого, ведь «Метаморфозы» и особенно «Завещание»

противоречили «Лодейникову».

Потом я предположил, что отношение Гумилева к Заболоцкому сложилось под влиянием матери. Ахматова и Заболоцкий, как известно, друг друга не любили. Анна Андреевна знала о воинственном антифеминизме Заболоцкого: «Он убежден, что женщин нельзя подпускать к искусству – вот в чем идея!». Но были вещи и похуже антифеминизма. Однажды Ахматова в негодовании сказала Чуковской: «Я только теперь узнала, за что меня терпеть не может Заболоцкий. Ему, видите ли, не нравятся мои стихи!»

На самом деле не Гумилев, а я плохо знал Заболоцкого. Только прочитав «Столбцы», «Безумного волка», «Школу жуков» и «Торжество земледелия», я оценил интуицию Гумилева. Он был совершенно прав. Согласно Заболоцкому, мир природы несовершенен, ведь он основан на неизбежном и перманентном преступлении – убийстве и поедании трупов. Заболоцкого ужасало господство смерти в этом мире, ее неизбежность и, главное, необходимость. Как можно любить природу, когда в ней царит смерть? Что сказать о поэте, который даже варку супа описывал как гнусное преступление:

> Когда б мы видели в сиянии лучей
> блаженное младенчество растений –
> мы, верно б, опустились на колени
> перед кипящею кастрюлькой овощей.

Это для вегетарианцев. А вот для всех остальных:

> Там примус выстроен, как дыба,
> На нем, от ужаса треща,
> Чахоточная воет рыба
> В зеленых масляных прыщах;
>
> Там трупы вымытых животных
> Лежат на противнях холодных
> И чугуны – купели слез –
> Венчают зла апофеоз.

Заболоцкий, как и Гумилев, дитя XX века, искал спасение в технократических утопиях. Звери у него переходили на прямое питание солнечной энергией и непосредственно усваивали химические элементы. Не стало хищников и жертв, вместо «вековечной давильни» появилось царство разума, где растения и

животные не поедают друг друга, но предаются философским беседам:

Там кони, химии друзья,
Хлебали щи из ста молекул,
Иные, в воздухе вися,
Смотрели, кто с небес приехал.
Корова в формулах и лентах
Пекла пирог из элементов,
И перед нею в банке рос
Большой химический овес.
<…>
Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поет,
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведет.

Заболоцкого Гумилев упоминал даже, казалось бы, в очень далеком от русской поэзии контексте: «Маздак считал, примерно как наш поэт Заболоцкий, что природа – это гадость, это ад, это кошмар, а разум – светлый, который у людей есть, — это носитель блага».

В глазах Льва Гумилева антагонистом Заболоцкого был Николай Гумилев, само воплощение жизни, а для Льва – вечный идеал и образец для подражания. Николай Гумилев любил женщин, любил Родину, ценил интеллектуальные радости, но не чужд был и радостям телесным. Он любил мир, любил и войну. Он был соприроден этому миру, колесо Сансары оборачивалось не вечным страданием, но вечной жизнью:

С сотворения мира стократы
Умирая, менялся прах:
Этот камень рычал когда-то,
Этот плющ парил в облаках.
Убивая и воскрешая,
Набухая вселенской душой –
В этом воля земли святая,
Непонятная ей самой.

Н.Гумилев. Поэма начала

Но есть и еще один повод подивиться интуиции Гумилева. Вспомним, что впервые Гумилев написал о мировом зле в

«осенней» и «зимней» сказках. Художник (Хозяин чар) из «Волшебных папирос» списан, вероятно, с Павла Филонова, а само действие сказки происходит в пространстве картины «Пир королей».

О творчестве Филонова Гумилев мог разговаривать с двумя высококвалифицированными искусствоведами – Пуниным и Харджиевым. Картины Филонова юный Гумилев мог увидеть еще в 1929-1930 годах на одном из закрытых просмотров в Русском музее, где разместилась персональная выставка художника, так и не открытая для широкой публики. Более того, Гумилев упоминает даже о своей встрече с Филоновым: «… я видел несчастного и воодушевленного Филонова». Льва могли познакомить с художником опятьтаки Харджиев и Пунин.

Но вряд ли Гумилев знал, что еще в двадцатые годы Николай Заболоцкий учился у Павла Филонова.

ЛЕКЦИИ ГУМИЛЕВА

«Преподавание без науки – тоска, научные занятия без преподавания – это скорбь». Но когда же Гумилев начал читать лекции? По словам Нины Ивочкиной, дело было еще в 1957 году. Ивочкина, студентка истфака, специализировалась на кафедре археологии, которой заведовал профессор Артамонов. Летом 1957 года в Ангарской экспедиции она познакомилась с Гумилевым. Лев Николаевич, видимо, произвел на нее сильное впечатление. И вот осенью 1957-го она пришла к заведующему кафедрой и попросила, чтобы Гумилев прочел студентам курс «истории тюрков». Михаилу Илларионовичу идея понравилась. С Гумилевым он не только сотрудничал, но и дружил, их отношения испортятся только в 1970-м, после дискуссии в журнале «Природа». Артамонов обещал Ивочкиной, что Гумилев прочтет им спецкурс.

Если верить Ивочкиной, сам Гумилев такого поворота не ожидал: «Во всяком случае, некоторое время глаза у него были недоуменные. А потом сказал что-то вроде того, что от меня, оказывается, многого можно ожидать, или как теперь говорят, "с тобою не соскучишься"». Вопрос был решен. Вот так, в 1957-1958-м учебном году Гумилев прочел на историческом факультете ЛГУ свой первый курс лекций.

Не скажу, чтобы эта история казалась мне сомнительной или вовсе неправдоподобной. Но многое здесь неясно. Нина Ивочкина тогда перешла только на третий курс. Могла ли она так повлиять на судьбу старшего научного сотрудника Гумилева? Обладала ли таким влиянием на могущественного тогда Артамонова? Может быть, Нина Владимировна несколько преувеличила свои заслуги? Более того, невероятна и датировка первого курса Гумилева. Даже факультативный курс необходимо включить в учебный план, который составляется по крайней мере за несколько месяцев до начала занятий. Если разговор между Ивочкиной и Артамоновым происходил в сентябре или октябре 1957 го, профессор при всем желании не мог бы поставить лекции Гумилева в учебный план. Не сохранилось и документальных подтверждений. Наконец, во второй половине пятидесятых Гумилев продолжал переписку с Василием Абросовым. «Другу Васе» он сообщал обо всех заметных событиях в своей жизни, прежде всего научной. О лекциях же не упоминается до самого декабря 1959 года.

Из письма Льва Гумилева Василию Абросову от 25 декабря 1959 года: «Завтра оформляюсь в университет читать

факультативный курс – "Кочевники Центральной Азии"».

Видимо, ошибка Ивочкиной в датировке вызвана самой банальной причиной: Ивочкина писала мемуары о Гумилеве в старости, специально для сборника «Вспоминая Л.Н.Гумилева», выпущенного в 2003 году.

Устраиваясь на работу в Экономико-географический институт ЛГУ, Гумилев оговаривал, что будет читать специальные курсы «на историческом факультете при кафедре археологии, по договоренности с деканом исторического факультета проф. В.В.Мавродиным и зав. кафедрой археологии проф. М.И.Артамоновым».

Уже поздней осенью 1962-го он читал курс лекций, правда, не у археологов, а на кафедре истории Средних веков, которой заведовал еще один хороший знакомый Гумилева Матвей Гуков ский. Спецкурс был посвящен истории монголов. Гумилеву нравилось читать лекции, хотя он и жаловался, что преподавание «поглощает очень много сил. После лекций я целый день ничего не могу делать».

В отличие от его будущих лекций по народоведению этот курс популярностью не пользовался. В 1962-м на лекции Гумилева ходили только два человека – Гелиан Прохоров и Юрий Кавтарад зе. Последний иногда пропускал занятия, и Гумилев тогда шел с Гелианом гулять по городу, превращая лекцию в беседу. «Это было так упоительно интересно», — вспоминал Прохоров.

И тогда же Гумилев в своих лекциях начал переходить историко-географические рамки кочевниковедения, его лекции охватывали историю «всех стран от Китая до Ирана и Византии», давали «почти полную историю Азии и Восточной Европы вместе». Однако студенты не спешили записаться на спецкурс Гумилева, почти все они мало интересовались историей тюрков и монголов. А будущие тюркологи шли учиться на восточный факультет.

Осенью 1963-го Гумилев снова читал лекции при кафедре археологии, но благодарных слушателей, очевидно, не нашел. Тщетно Савицкий желал своему другу «воспитать молодых энтузиастов кочевниковедения».

«Сегодня я начал читать третьему курсу. У студентов подготовка нуль, вернее, 1, т<о> е<сть> у них уже отбита охота учиться. И вот этакое надо переучивать!» – писал Гумилев Абросову.[42]

В 1971-1972 годах Гумилев начал читать на географическом факультете два курса: «Народоведение» и «География населения». Последний предназначался для студентов вечернего отделения. А

«Народоведение» было факультативным курсом для студентов геофака.

Содержание курса можно передать так: всемирная история с точки зрения пассионарной теории этногенеза. По словам Гумилева, на первую лекцию к нему пришла только одна студентка, да и та хотела уйти: «За нею два парня ухаживали и поджидали за дверью, я вышел и сказал им: "Нет, идите, идите, вы останетесь дураками, а она будет хоть одна культурная женщина". На следующий день явилась вся группа».

В отличие от спецкурса о тюрках и монголах «Народоведение» и «География населения» быстро обрели популярность: «Обычно студенты часто смываются с лекций (это не секрет, об этом часто ставился вопрос на Ученом совете: как их надо записывать и принуждать к посещению). С моих лекций студенты перестали смываться после второй или третьей лекции. После этого стали ходить сотрудники института и слушать, что я читаю», — рассказывал Гумилев.

Кроме студентов геофака стали приходить и вольнослушатели «со всего Ленинграда». Ольга Новикова пишет, что вольнослушатели у Гумилева появились в 1974-м. Но Ольга Тимофеева, выпускница геологического факультета ЛГУ, утверждает, что начала слушать лекции Гумилева уже в 1972 году, когда училась в аспирантуре. Значит, она и была одной из первых вольнослушательниц. Тимофеева пришла послушать сына Ахматовой и Николая Гумилева, совершенно не представляя, что ее ждет.

Гумилев предложил студентам прочитать две свои лекции без перерыва, чтобы можно было закончить занятие на десять минут раньше. Все согласились, но из затеи ничего не вышло: «…всякий раз лекция заканчивалась гораздо позже, так как слушатели не только забывали смотреть на часы, но, не имея сил оторвать взгляд от удивительного рассказчика, даже записать ничего не могли».

В том же 1972-м лекции Гумилева слушал географ О.Г.Бекшенев: «Это был великий артист! — вспоминал Олег Георгиевич. — Впечатление производил необыкновенное. Гумилев хранил в памяти множество дат и фактов, хотя никакими записями он не пользовался. Перед Гумилевым не было даже листочка с планом, при этом лекции были необычайно хорошо структурированы. Но после лекций в головах не оставалось ничего, потому что никто не конспектировал, все только слушали, не могли оторваться».

Мы знаем о лекциях Гумилева не только по легендам. Слушатели начали приносить на лекции аудиомагнитофоны. Все

старались сесть поближе к лектору, а тем, кому не повезло, приходилось тянуть руки с микрофонами через головы других слушателей. Лекции Гумилева, таким образом, попали в ту же категорию, что песни Высоцкого. Их так же записывали, чтобы слушать дома, «законсервировав» при помощи современной техники голос любимого артиста.

Гумилев не любил, когда его лекции конспектировали. Однажды он сказал студентке, задавшей какой-то глупый вопрос: «Я профессор, я читаю лекцию, вы ее записываете, чего я не требую, кстати сказать; я требую, чтобы Вы понимали, а Вы записываете, зря, но это Ваше дело».

Гумилев, как настоящий артист, наслаждался вниманием слушателей, а не диктовал учебное пособие к зачету. Для подготовки к зачету лекции были не нужны. Гумилев на зачете давал ка кое-нибудь неожиданное задание. Например, приносил этнографическую карту СССР, составленную В.И.Козловым, и просил найти хотя бы две ошибки, которые допустил его недруг-этнограф.

Не все задания были так сложны и так оригинальны. На зачете по «Географии народонаселения» Гумилев называл страну, допустим, Бразилию или Боливию, и надо было ответить, на каком континенте она расположена, на каких языках говорят ее жители, что производят. Если студент отвечал, что Бразилию населяют бразильцы, которые говорят «на бразильском языке, а производят бразильский кофе», — зачет приходилось пересдавать.

Не поставил он зачет и студенту, который сказал, будто во Франции есть река Лаура.

В семидесятые годы народу на спецкурсе Гумилева было еще не так много. Он признавался Савве Ямщикову: «Я читаю для двадцати, может быть, тридцати человек». Зато вольнослушателей было намного больше, чем студентов, так что университетский факультатив понемногу стал превращаться в курс публичных лекций, все более популярных. «На лекции, которые Лев Николаевич читал десятку студентов-географов в университете, приходило до двухсот вольнослушателей. Люди сидели в проходах, вдоль стен, стояли у дверей в коридоре. Лектору оставался свободным небольшой пятачок около кафедры и географической карты».

«Его лекции увлекали, на них рвались и люди "со стороны"», — писал Сергей Лавров.

В начале восьмидесятых Гумилев читал обычно два раза в неделю. Позднее, после того как на геофаке ему сократили лекционную нагрузку, раз в неделю. К лекциям Гумилев

готовился тщательно. С самого утра ничего не ел, надевал свой лучший костюм. По словам Стеклянниковой, Гумилев в такие дни «выглядел торжественно, взволнованно, как жених перед свадьбой». Обедал он уже после лекции, поздним вечером.

Гумилева стали приглашать с лекциями в общество «Знание». Что это за общество, теперь помнят только те, кому больше сорока. Советский проект был основан на идеях просвещения. Новый человек, советский человек, должен быть в курсе новейших достижений науки, поэтому государство не жалело денег на рас пространение знаний. Многие преподаватели университетов подрабатывали именно чтением лекций в обществе «Знание».

Гумилев оказался для общества «Знание» просто находкой. На его лекции не надо было ни заманивать, ни загонять. Все 750 мест большого зала Центрального лектория на Литейном проспекте были заполнены, иногда люди даже сидели друг у друга на коленях. Приходилось устанавливать динамики в соседнем помещении, там Гумилева не видели, только слышали. За билетами на лекции стояли очереди.

Конечно, не каждый раз у Гумилева было столько слушателей, не всегда он выступал и в такой громадной аудитории, но Гумилев охотно читал лекции везде, куда его приглашали. В начале восьмидесятых он ходил на Грибоедов канал читать лекции в Ленинградском финансово-экономическом институте, ездил с лекциями в Гатчину – в Ленинградский институт ядерной физики. Приглашали его и в Ленинградское отделение Института земного магнетизма.

Начались и поездки, прежде всего в Москву и Новосибирск. Савва Ямщиков устроил лекцию Гумилева в Центральном доме художника на Крымском валу. Лев Николаевич выступал часа два. Зал вмещал 800 человек, но «собралось около тысячи человек, сидели на ступеньках в проходах – "висели на люстрах"».

В знаменитом Новосибирском академгородке, если верить Гумилеву, успех был огромным. В зал пускали по билетам, «но там были две двери – в одну впускали, другая была закрытая, — вспоминал Гумилев. — Так вошедший подходил к закрытой двери, под нее подсовывал билет, его товарищ брал и снова проходил».

Особенно ценили лекции Гумилева «естественники» и «технари»: инженеры, химики, географы, биологи. Научно-техническая интеллигенция была его самой благодарной аудиторией. Теория Гумилева привлекала инженеров и ученых системностью, логикой, по Гумилеву было легко учить историю, запоминать и понимать ход исторического процесса.

Олег Бекшенев говорил мне, что восхищала именно стройная

организация его лекций. Даже пересыпанные шуточками и анекдотами, они не теряли логики построения научной мысли.

Впрочем, есть и другие отзывы.

Протоиерей **Михаил Ардов**: «Само его выступление (а я ни до, ни после его публичных лекций не слушал) произвело на меня несколько тягостное впечатление. Разумеется, говорил он блистательно – сыпал фактами, именами, датами, парадоксальными суждениями… Но все это как-то легковесно, несолидно, эдакий научный Аркадий Райкин, виртуоз на профессорской кафедре…»

Историк книги **Геннадий Фанфурин**: «Гумилев – лектор как лектор, ничего особенного. Он напоминал пожилого директора завода. Говорил спокойно, сознавая собственную значимость. Эрудиция его была огромна, но вы ничего не потеряли, что его не слышали. Телевизионные лекции даже лучше, там он не отвлекался на анекдоты».

Даже эти отзывы, в сущности, не меняют картины. Одним нравится манера Гумилева читать лекции, другим нет – дело вкуса.

Неожиданный успех Гумилева вызвал у начальства беспокойство. Хотя в лекциях Гумилева не было ничего антисоветского, пассионарная теория этногенеза легко уживалась с марксизмом, Гумилев благонадежным человеком никогда не считался. Иногда он позволял себе даже некоторые идейные «вольности». М.Г.Козырева вспоминает одну из них.

Лев Гумилев. Когда я был геодезистом…

Голос из зала. А когда вы были геодезистом?

Лев Гумилев. Когда все порядочные люди были геодезистами.

И вот его лекции начали переносить из большой аудитории в маленькую, которая не могла вместить всех слушателей. Иногда курс «по звонку из парткома» приостанавливали. Лекции не то чтобы вовсе запрещали, а «не рекомендовали» их читать. Бывало, покровитель Гумилева С.Б.Лавров советовал ему переждать некоторое время, не читать лекции, чтобы затем возобновить.

В 1981 году Гумилев подготовил свой курс лекций к печати и отправился знакомой дорогой – в редакцию «Восточная литература» издательства «Наука». Главный редактор восточной литературы Олег Константинович Дрейер, давний знакомый Гумилева, рукопись принял – и вернул уже через два дня, вообще запретив приходить в редакцию. Дрейер, правда, прямо не отказал, а поставил условие: напечатаем, если какую-либо из работ Гумилева примут к печати «Вопросы истории». В этом журнале Гумилев не печатался с 1969 года. Тогда он предложил свой курс лекций в издательство Ленинградского университета,

но и здесь получил отказ. Курс лекций выйдет только в 1990 году под названием «География этноса в исторический период». В конце девяностых его переиздадут уже под авторским названием «Конец и вновь начало». Но устная речь заметно отличается от письменной, и «География этноса» – это упрощенный и сильно упрощенный вариант «Этногенеза и биосферы», предназначенный для массового читателя.

Очарование гумилевских лекций лучше передает сборник «Струна истории», где опубликована расшифровка курса «Этнологии», который Гумилев прочитал в Ленинградском университете в 1977 году. Записал этот курс Константин Иванов, который со второй половины семидесятых приносил магнитофон на все лекции учителя, а расшифровала и снабдила комментариями Ольга Новикова.

Недавно вышла и аудиокнига, но слушать ее дольше пяти минут я не смог. Гумилевский текст там озвучен равнодушным голосом артиста. Насколько же проигрывает этот правильный, с идеальной дикцией голос живой речи Гумилева! Лучше уж просто купить настоящую, напечатанную книгу и прочитать. Со страниц как будто звучит подлинный голос Льва Николаевича.

Как известно, Лев Николаевич страдал дефектами речи. Фраза «Ира была хорошая» у Гумилева звучала так: «Ива была ховошая». «И как вы меня понимаете? Я же 33 буквы не выговариваю!» – спрашивал Гумилев своих студентов. Он, разумеется, кокетничал, рисовался. Гумилев знал: эти изъяны лишь придают ему шарм.

Я хотел написать и о собственных впечатлениях от курса Гумилева. Разумеется, с Гумилевым я не встречался, но в начале девяностых по Ленинградскому телевидению, которое как раз начали смотреть и в моем родном городе, шел цикл его лекций под названием «Этносы Земли». После этих передач я и увлекся «гумилевщиной».

Вообще-то я всегда предпочитал слушать профессора, который не потакает публике и не развлекает ее анекдотами. Но Гумилев – случай исключительный. Ольга Тимофеева говорит о Гумилеве-лекторе: «речь его завораживала». Это точное слово – «завораживала». Дело не только в опыте, в мастерстве, отточенном годами. Вспомним, что еще в 1931-м в горах Хамар-Даба на девятнадцатилетний Лев собирал своих товарищей-геологов вокруг таежного костра и рассказывал им удивительные истории, превращая фантазии в быль. И товарищи забывали об усталости, о раннем подъеме, о тяжелой работе… Лекции Гумилева ни с чем не сравнимы, а потому я не стану больше о них рассказывать.

НАЧАЛО ПОПУЛЯРНОСТИ

В последние годы жизни Льва Гумилева называли «популярным», «известным», «модным», но громовая слава последних лет не была внезапной. Уже в шестидесятые годы на лекции Гумилева в Географическом обществе было трудно попасть.

«Лекции Гумилева в середине 70-х годов, начале 80-х годов были явлением не столько научной, сколько культурной жизни Ленинграда, явлением, формировавшим мировоззрение значительной части молодой питерской интеллигенции», — писал математик Александр Норин в университетской газете. Он ничуть не преувеличивал. Не случайно же в 1981-м к Гумилеву обратилась редакция Ленинградского радио и предложила заключить договор на трансляцию курса «Народоведения».

Но популярность Гумилеву все больше создавали не лекции, а сочинения. Синолог Леонид Васильев еще в 1976-м писал, что книги Гумилева не залеживаются на прилавках.

Вопреки легенде, которую все больше распространяют враги «гумилевщины», книги и статьи Льва Николаевича привлекали не только технарей. «Чрезвычайно интересная статья Л.Н.Гумилева ("Биосфера и импульсы сознания") в двенадцатой "Природе"», — записал в январе 1979-го Игорь Дедков, известнейший тогда, наряду с Владимиром Лакшиным и Львом Аннинским, литературный критик.

После другой статьи в «Природе» писатель Дмитрий Балашов настолько заинтересовался творчеством Гумилева, что отправился в Публичную библиотеку и заказал там все вышедшие к тому времени книги Гумилева.

Тираж «Природы» тогда достигал 85 000, так что после нескольких статей в этом журнале Гумилев стал известен и людям, совершенно не интересовавшимся историей тюрков и монголов. На рубеже семидесятых и восьмидесятых его все реже пускали на страницы научных журналов, зато солидные толстые литера турные журналы интересовались им все больше. В 1980-м его напечатает иллюстрированный «Огонек», популярнейший советский журнал.

В 1976 году журнал «Дружба народов» попросил Гумилева оценить профессионализм советских исторических романов о Древней Руси. Недавно появились «Русь изначальная» и «Русь великая» Валентина Иванова, Дмитрий Балашов издал «Младшего сына». Гумилев оценивал советские исторические романы доброжелательно, но снисходительно. Нашел ошибки даже у

своего нового друга Балашова. А самое главное, Гумилев использовал страницы многотиражного литературного журнала для пропаганды своих идей.

Статья Гумилева (она называлась «С точки зрения Клио») вышла в февральском номере «Дружбы народов» за 1977 год. Ее сразу же заметили, пошли отклики, завязалась дискуссия. К печати статью готовил известный критик Лев Аннинский. Он был явно воодушевлен успехом (пусть и несколько скандальным) публикации: «Вообще придется, конечно, притупить страсти – они носят национальную подкладку и для нас /Д[ружбы] Н[ародов]/ особенно опасны. А то у Сулейменова тюркские амбиции, у Селезнева – славянские. <…> Буду кричать: стойте, православные! Не убивайте друг друга!», — писал Гумилеву Лев Аннинский.

А через два года Гумилев депонировал «Этногенез и биосферу». И здесь началось нечто необычайное.

У Гумилева уже были постоянные читатели, которые ждали его нового сочинения. И вот пошел слух, что Гумилев написал свою главную книгу, только она чуть ли не под запретом. Но есть один способ ее достать.

Из дневника Игоря Дедкова, 18 декабря 1980 года: «Д.Балашов… сказал, что высоко ценит взгляды Л.Н.Гумилева на историю и что можно выписать из какой-то (он-то назвал, да я не мог там записать) люберецкой всесоюзной научной конторы наложенным платежом его главную, т. е. гумилевскую, работу, размноженную ротапринтным или каким-то другим способом в целях научной информации…»

«Люберецкой всесоюзной научной конторой» и был ВИНИТИ. Дедков вскоре узнал, что к чему, и уже в феврале получил первую часть «Этногенеза». Трактат Гумилева не только заказывали и читали, но и передавали из рук в руки. Математик из Караганды Сергей Нурмаганбетов заказал копию рукописи в ВИНИТИ. Не дождавшись, попросил копию у своего научного руководителя, который заказал трактат Гумилева несколько ранее, но и тут не повезло – текст уже затерялся у кого-то из знакомых.

К началу восьмидесятых тиражи старых книг Гумилева были давно распроданы, новые издания не выходили, а спрос на них рос, вот и появились на черном рынке ротапринтные копии. Разумеется, на черный рынок попал и «Этногенез». Сотрудники типографии выносили под одеждой «три ротапринтных тома за ограду типографии, а к ним подходили и спрашивали: "Гумилев есть?" и покупали». На черном рынке цена «Этногенеза и биосферы» достигала 30 рублей. Это, конечно, не абсолютный рекорд. Фотокопия скандального романа Валентина Пикуля «У

последней черты» достигала 60 рублей. Но и 30 рублей для книги, изданной в СССР, — деньги бешеные. Цена научной книги тогда колебалась обычно между одним и тремя рублями. Например, «Хунны в Китае» стоили в магазине всего 1 рубль, а «Старобурятская живопись», самая дорогая книга Гумилева, — 3 рубля 91 копейку.

Константин Иванов рассказывает о спекуляции «Этногенезом» несколько иначе. По его словам, копию депонированной рукописи типографские рабочие продавали за три бутылки водки.

В конце 1982 года копирование Гумилева прекратили. Этому есть два объяснения. Первое, распространенное среди учеников, последователей и поклонников Льва Николаевича: козни тайных и явных врагов Гумилева. Второе принадлежит жене Гумилева, Наталье Викторовне: «После депонирования рукописи в ВИНИТИ несколько тысяч экземпляров этой работы было напечатано по заказам читателей. Вся типография ВИНИТИ работала на копирование Гумилева. <…> Потом руководство ВИНИТИ наконец сказало, что больше печатать не будут, потому что сколько же можно – ибо научная организация, где книга была одобрена, должна ее напечатать».

Такой «научной организацией» был Ленинградский университет, он и в самом деле выпустит «Этногенез и биосферу Земли» в своем издательстве, но это будет уже в 1989 году.

Всего же, по официальным данным, ВИНИТИ сделал более двух тысяч копий «Этногенеза». Сколько же копий было подпольно изготовлено в типографии ВИНИТИ и продано на черном рынке, мы никогда не узнаем.

Часть XVI

НОВАЯ КВАРТИРА БЕЗ СТАРЫХ ДРУЗЕЙ

После женитьбы жизнь Гумилева медленно, но неуклонно менялась. Веселая жизнь немолодого холостяка с долгими научными спорами и чтением стихов, со старыми друзьями и подругами стала воспоминанием. Хотя отдельную квартиру Гумилев от университета так и не получил, в 1974-м он все-таки перебрался с окраины в центр города, на Большую Московскую улицу, 4. Инна Прохорова приписывает этот переезд деятельной и практичной Наталье Викторовне, а сама Наталья Викторовна – визиту высокого гостя, академика Ринчена: «…в один прекрасный день к нам пришел изумительной красоты старый монгол. <…> Он был в роскошном синем халате с золотыми бляхами, в шапке из чернобурой лисы». Другой раз Наталья Викторовна говорила, что «роскошный синий халат» был подпоясан «поясом с серебряными бляхами».

Бямбын Ринчен (он же Ринчен Бимбаев) — монгольский ученый, филолог и поэт, переводивший на монгольский язык Пушкина, Гоголя, Маяковского и Шолохова, был одним из самых ярких и уж точно экзотичных друзей Гумилева. Судя по переписке с Гумилевым, это был просвещенный, мыслящий, широко образованный человек. Помимо русского и монгольского он знал английский, французский, маньчжурский, тибетский и ки тайский. Между прочим, академик Ринчен был дядей давней подруги Гумилева, Очирын Намсрайжав. Переписка Гумилева и Ринчена началась в 1967 году с вежливых деловых писем. Гумилев посылал монгольскому академику свои книги и оттиски статей, а Ринчен консультировал Гумилева по вопросам монгольской религии и мифологии. В начале семидесятых письма стали уже совершенно дружескими, а в конце 1973-го Ринчен посетил Гумилева в его комнатке на Московском проспекте, после чего и последовало приглашение переселиться в квартиру побольше и получше. Знатных иностранных гостей не годилось принимать в двенадцатиметровой комнате на окраине.

На Большой Московской Льва Николаевича и Наталью Викторовну ожидала вовсе не отдельная квартира, а новая коммуналка, но большая, красивая: «старая петербургская комната с высоким потолком, украшенным лепниной, и окнами во двор, а не на шумную улицу», — так описывал новую квартиру Дмитрий Балашов. Инна Прохорова назвала ее «комфортабельным жилищем».

Прохорова и Балашов помнили жизнь Гумилева на Московском проспекте, поэтому так высоко оценили новое жилье.

Зато профессор Лавров, впервые заглянувший вместе с женой в гости к своему коллеге, как будто поморщился: «…нас ужаснула уже лестница. Старинный, казалось, никогда не ремонтировавшийся дом, темная-темная лестница, и на площадке валялся пьяный. Застойный запах говорил, что это норма, а не эпизод. Дом-то буквально соседствовал со станцией метро "Владимирская", да еще и "полудиким" рынком рядом, со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.

После этой смрадной лестницы вы попадали в маленький, но такой уютный оазис – комнату-кабинет, она же столовая, она же спальня. Над столом – известный портрет отца в военной форме, фотография всей семьи – Анна Андреевна, Николай Степанович и Лева».

Первые впечатления журналистки Людмилы Стеклянниковой были хуже даже лавровских. Она не сразу поняла, что попала в коммуналку, потому что образ жизни советского доктора наук в то уже сытое и сравнительно благополучное время не вязался с коммуналкой.

«Справа от входной двери – мрачная, давно не знавшая ремонта кухня, там какие-то люди. Мрачный узкий недлинный коридор. Проходим в первую по коридору дверь. Большая темноватая комната. Два больших окна зашторены темно-бордовыми (сколько помню) шторами. <…> Слева от двери – старый платяной шкаф, тоже темный. Прямо – большой обеденный стол, а за ним – у правого зашторенного окна – стол письменный. Севший за него оказывался спиной к двери, да и ко всей комнате. <…> Профессорская жена[43] проходит за шкаф и садится на диван, это был диван-кровать, на котором они спали. Про себя думаю: что, она так и будет сидеть здесь во время нашей работы? Неужели нельзя уйти в другую комнату? (Я ведь пришла в профессорскую квартиру!) Только потом я узнала, что другой комнаты не было. Точнее, была, но жил в ней тюремный надзиратель с семьей…»

Но Гумилеву новая квартира очень понравилась. Центр города, рядом музей Достоевского, а неподалеку дом, в котором жил Чернышевский. Поэтому Гумилев говорил, что живет теперь между двумя каторжниками, а саму Большую Московскую называл «улицей трех каторжников».

Старым друзьям в новом доме места не нашлось.

В первой половине восьмидесятых сменилось окружение Гумилева. Он расстался почти со всеми прежними друзьями. Многих просто не стало. В 1968-м умер Савицкий, в 1969-м – Руденко, в 1971-м – Гуковский. В 1972-м скончался Артамонов: профессор умер прямо за письменным столом, работая над новой

статьей.

Но многие старые друзья были живы и здоровы, однако Гумилев потерял к ним интерес, как говорят, не без влияния Натальи Викторовны: «Московская дама, художница, которую он привез из Москвы, сразу начала ревниво отстранять меня от дома», — вспоминал Гелиан Прохоров.

Инна Мееровна поддержала мужа: «Поменяв его быт и стиль, жена поменяла и всё его окружение. Был "сдан в утиль" даже преданнейший и беззащитный Вася Абросов, старый друг… бескорыстно отдавший ему в пользование свой талант и мысли, отказавшийся ради него от собственной научной карьеры».

Разрыв с Абросовым – одна из самых темных страниц в биографии Гумилева. Они дружили уже четверть века. Без помощи Абросова не было бы «Открытия Хазарии» и статей по исторической географии. Без Абросова Гумилев вряд ли стал бы географом и не навел бы «мост между науками». Наконец, без этих блестящих историко-географических успехов Гумилев не получил бы места в НИИ экономической географии. Значит, и своей работой Гумилев во многом обязан бескорыстному, умному и доброму другу Васе.

Гумилев Абросова очень ценил, ставил его выше всех друзей и знакомых: «Это мой единственный друг, не покидавший меня в беде».

Абросов часто гостил у Гумилева на Московском проспекте, даже готовил, помогал вести хозяйство, несмотря на свою инвалидность. Когда Абросов как-то не смог приехать в Ленинград из-за охоты на кабанов, Гумилев в шутку пенял ему: «Очень жаль, что ты предпочел диких свиней культурному льву». Гумилев всегда был рад видеть друга Васю: «Помни и знай: мой дом – твой дом, и все, что я могу, для тебя – сделаю».

31 июля 1967-го, то есть уже после женитьбы, Гумилев написал завещание на имя Абросова и попросил: «Когда умру – поставь мне пристойный памятник».

Но уже в 1968-м Лев Николаевич все реже писал Абросову в Великие Луки. Друг Вася еще приезжал в гости, но потом, видимо, понял: он здесь лишний. За весь 1969 год Абросов получил от Гумилева только два письма, затем наступил перерыв. Последнее письмо Гумилева к Абросову, сугубо деловое и очень короткое, датировано 30 мая 1973 года. А что было потом?

«С Абросовым у нас сложились прохладные отношения… видимо, из-за его склероза», — писала Наталья Викторовна Оресту Высотскому.

Что за ерунда, при чем тут склероз и страдал ли им Абросов? В семидесятые годы Абросов работал ихтиологом, в свободное

время писал научные работы. У него стали выходить не только статьи, но и монографии. Орест Высотский и Гелиан Прохоров продолжали переписываться с Абросовым, никакой склероз почемуто не мешал переписке. Нет, тут дело в чем-то другом.

Переезжая на новую квартиру, Гумилев даже не сообщил Абросову нового адреса. Когда Абросов все-таки узнал адрес и по слал Гумилеву поздравление с именинами, тот не ответил. Так и оборвалась связь между ними. Абросов однажды позвонил Гумилеву. Вопреки обыкновению, трубку взяла не Наталья Викторовна, а сам Гумилев. Абросов спросил: «Когда к Львам можно зайти?» В ответ Василий Никифорович услышал: «Меня нет дома. Я умер». Лев Николаевич повесил трубку.

Хуже того, в декабре 1984-го, возобновляя переписку с Орестом Высотским, Гумилев напомнил брату две его провинности: не ответил на письмо Натальи Викторовны и вел переписку с «Васькой, который одурел от склероза».

Вася не возмущался, не сопротивлялся, он только горько сожалел, вспоминая прежние, как теперь казалось, счастливые дни: «Я считаю, что Н.В. как баба сделала огромную ошибку, отделив Л.Н. от всего старого окружения. <…> Зачем ей было становиться между ним и нами? <…> Как всё раньше было хорошо!»

Но потом Абросов, видимо, пересмотрел свои взгляды на старого друга и, сопоставив факты, пришел к выводу и вовсе грустному. Он писал Оресту Высотскому: «Я так же, как и Вы, удивляюсь перерождению души у Вашего брата. <…> Сначала Ваш брат забыл тетушку, которая его кормила и учила в Бежецке, затем порвал связи с матерью, единственным братом, со мною… и со всеми старыми знакомыми».

В семидесятые расстроились отношения Гумилева и с Орестом Высотским после того, как тот не ответил на письмо Натальи Викторовны. «Мы, естественно, решили, что общаться с нами ты не хочешь. Ну и не надо!» – писала Высотскому обиженная Симоновская-Гумилева.

Но в середине восьмидесятых переписка братьев возобновилась. Лев Николаевич ценил родственные связи выше дружеских, поэтому решил восстановить отношения с Орестом Николаевичем: «Ты наверняка думал, что я – свинья, но это было ошибочно. Я по-прежнему твой брат Лев».

С друзьями Гумилев не был так сентиментален. Наталья Викторовна, вероятно, только выполняла желания мужа, быть может, и не высказанные прямо. Заниматься дальше гетерохронностью увлажнения евразийских степей Гумилев не собирался, ему казалось, что задача решена, а значит, не стало

потребности и в сотрудничестве с Абросовым. К тому же «друг Вася» слишком много знал о прошлом Гумилева и мог бы – не по злому умыслу, но по неосторожности – разрушить величественный мифологический образ великого Гумилева. Не случайно же Лев Николаевич помещал себя между Достоевским и Чернышевским, это ведь была не только шутка. А «большой, доброжелательный, совершенно не светский однорукий Вася… никак не вписывался в новый спектакль», — заметила Инна Прохорова.

Но и задолго до брака с Натальей Симоновской Гумилев позабыл о Сверчковой, разругался с Хваном, поссорился с Николаем Козыревым. История этого разрыва тоже не вполне ясна. Еще в 1957-м Гумилев радовался, что живет неподалеку от своего товарища по Норильлагу, а в 1958-м они совершенно разошлись. В июне 1961-го Гумилев и Козырев встретились на улице, Козырев пригласил старого друга в гости, но Лев Николаевич дал понять: «восстановление отношений нецелесообразно».

После женитьбы Гумилев расстался и с Татьяной Крюковой, которая еще весной 1967-го вычитывала корректуру «Древних тюрков».

Оборвались и отношения с Эммой Герштейн, так твердо отстаивавшей права Гумилева на архив Ахматовой. В отличие от безответного «друга Васи» и скромной Татьяны Крюковой Эмма Григорьевна решилась напомнить о себе и своих заслугах и попрекнуть забывчивого друга: «Лева, а Лева! <…> Если я посылала Вам книги, карты и все, что нужно, чтобы Вы могли работать над своими "Хунну", если Ваша рукопись, благодаря мне, уже была прочитана крупнейшими специалистами, пока Вы работали в сапожной мастерской или таскали опилки… то я имею право на ознакомление с Вашими дальнейшими трудами. Покупать же, следить за выходом Ваших книг или брать их в библиотеке – я не буду принципиально (здесь и далее подчеркнуто Эммой Герштейн. – С.Б.). Итак, не скупитесь – пришлите мне Вашу последнюю книгу и неплохо бы и предыдущие – толстые и дорогие!»

С Эммой Григорьевной он все-таки будет переписываться, но их отношения станут исключительно деловыми.

Теоретически Гумилев мог бы поддерживать дружбу и с Гели аном Прохоровым, который вырос в квалифицированного историка и филолога, специалиста по русскому летописанию. Они могли бы найти общий язык. Прохоров, правда, писал, будто он стал со временем осторожнее относиться к «игре мысли» Льва Николаевича. Но если не беседы, то книги Гумилева продолжали

оказывать на Прохорова прямо-таки магнетическое влияние даже много лет спустя. Он готов был согласиться с важнейшей для Гумилева мыслью, что татарского ига будто бы не было. Со своей стороны, Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая степь» будет ссылаться на статью Прохорова о Лаврентьевской летописи, но отношения прервал.

Наталья Викторовна обвинила Гелиана Михайловича в страшном грехе: «Гелиан начал ему почему-то грубить, перестал быть внимательным, отказался быть продолжателем идей Льва – видимо, его тоже о чем-то предупредили, а может, и завербовали. Лев называл это "гусиным словом". "Какое-то гусиное слово людям говорят, и они сразу отходят от меня"».

Обвинение сколь серьезное, столь и бездоказательное, аргументация же и вовсе абсурдная. Завербованный агент должен не грубить, а, напротив, входить в доверие. Может быть, Прохорову просто не советовали водиться с Гумилевым как с человеком ненадежным, явно несоветским? Но ведь и сам Прохоров, под влиянием Гумилева принявший православие и, видимо, не стеснявшийся его открыто исповедовать, был фигурой даже более подозрительной, чем Гумилев. После того как Прохоров «послал Солженицыну по цепочке доверенных лиц» воспоминания бывшего офицера лейб-гвардии Семеновского полка Ю.В.Макарова, органы произвели обыск в его квартире. Прохорова не уволили из Пушкинского Дома только благодаря заступничеству академика Лихачева.

Гелиан Михайлович рассказывает о расставании с учителем совершенно иначе. Он обвиняет саму Наталью Викторовну, «московскую даму», «художницу», которая «отфутболила» его, как отфутболила и других старых друзей, казавшихся ей «бесполезными». Но в другом рассказе Прохорова обстоятельства его размолвки с учителем показаны интереснее и сложнее: «…он как-то спросил: хотите со мной излагать пассионарную теорию? Я сказал, буду счастлив, но при одном условии – что он научит меня думать. Что я буду тоже думать, не только как магнитофон записывать, я сам буду писать. <…> Ну, он иногда в шутку так, не без влияния жены, говорил: достаточно того, что думаю я».

Гумилев теперь нуждался не в дискуссиях с коллегами, а в квалифицированных и грамотных помощниках, которые помог ли бы доработать пассионарную теорию этногенеза, но не заставляли бы его эту теорию переосмысливать.

Настоящие открытия делаются, как правило, в молодости. Это относится не только к математикам и физикам, но и к историкам; просто гуманитарию требуется гораздо больше времени, чтобы проверить и доказать свое открытие. Гумилев

открыл пассионарность в двадцать шесть лет. К гипотезе о биофизической природе пассионарности он пришел в тридцать семь. А в 1976-м Гумилеву было шестьдесят четыре года. Пересматривать пассионарную теорию этногенеза он уже не мог и не хотел. Он вносил в нее лишь отдельные дополнения, штрихи, ибо стоило пересмотреть естественнонаучную основу, как обрушилась бы часть здания. Потребовался бы не ремонт, но перестройка и перепланировка, а у старого больного человека уже не было на это ни времени, ни сил. Тем более что нашлись ученые, которые поддерживали Гумилева во всем и обосновывали именно его взгляды, подкрепляя их графиками и формулами.

ВЕРНЫЙ УЧЕНИК

Лекции Гумилева слушали тысячи людей. Многие на время становились настоящими «гумилевцами», но проходило время, лекции забывались, появлялись новые кумиры и новые убеждения. Русский националист Александр Севастьянов, например, хоть и вспоминает о «блистательных рассказах» Гумилева и не без удовольствия цитирует его «остроумные и убедительные апофатические эскапады», но предпочитает теории этногенеза старые и новые фантазии о крови и расе. Даже взгляды Бромлея ему ближе взглядов Гумилева.

Но была еще одна группа слушателей: встреча с Гумилевым навсегда изменила их жизнь. «Вокруг Л[ьва] Н[иколаевича] быстро формировалась команда серьезных ребят, а "гумилевская тематика" на кафедре разрасталась», — вспоминал Сергей Лавров.

Среди студенток, посещавших лекции Гумилева, была и Вера Полозкова. В 1976 году она познакомилась со своим будущим мужем, аспирантом-химиком Константином Ивановым. Вера и привела молодого человека на лекцию Льва Николаевича. Боюсь, она и предположить не могла последствий этого шага.

Константин Павлович Иванов был в Ленинградском университете своим человеком. Его мать много лет работала в университетском отделе кадров, нередко она приводила маленького Костю к себе на работу. Он еще в детские годы знал многих профессоров и доцентов, а случалось, приходил после школы и в ректорат. Отца Кости звали Павел Михайлович. Он работал в КГБ, в знаменитом на весь Ленинград Большом доме на Литейном проспекте.

К 1976 году жизнь Константина Павловича складывалась как будто удачно и вполне предсказуемо: химфак – работа в университетском НИИ химии – аспирантура. Семья была и без того не бедной, а Константин к тому же нашел денежную работу. Он научился обращаться с топором, пилой и молотком, набрал бригаду шабашников и каждое лето отправлялся на Новгород чину. Шабашники заключали договор с колхозом или совхозом, получали материалы и строили дома, коровники, свинарники, овчарни. Работа прибыльная. Шабашники, случалось, получали больше университетских профессоров. Но, конечно, не ради одних только денег ездил Константин Иванов в новгородские деревни. Вероятно, была у него и душевная потребность. Он вообще был человеком творческим. Сочинял стихи, писал музыку, пел романсы собственного сочинения. Семейная жизнь принесет

ему счастье отцовства. Жена родит ему сына и четырех дочерей.

Все знакомые Иванова описывают его как человека сильного, упрямого, бесстрашного, очень энергичного и авторитарного. Тем удивительнее, что встреча с Гумилевым и лекции о, казалось бы, чуждых современному молодому человеку тюркских каганах и китайских вельможах кардинально изменили жизнь Константина Иванова. Сын высокопоставленного чекиста станет, быть может, самым верным, самым преданным и самым близким учеником старого зэка. Как будто пересеклись параллельные прямые.

Иванов бросил аспирантуру и стал добровольным помощником Гумилева, его оруженосцем. Он приходил на лекции вместе с учителем и записывал их на магнитофон. Когда редактор ВИНИТИ унесла домой копии второй и третьей частей трактата и начала показывать их своим знакомым, именно Иванов отыскал ее дом (не зря же он сын чекиста!) и даже попытался вычислить тех самых знакомых. Иванов пробивал рукописи Гумилева в печать. Гумилеву потребовалось подкрепить свою теорию графиками и формулами – Иванов тут же пришел на помощь. Что из этого получилось, мы еще узнаем, а пока Иванов стал для Гумилева так же необходим, как Хван во время работы над китайскими источниками по тюркской ономастике или как Прохоров в Дербенте.

Время шло, менялся и Гумилев. С начала восьмидесятых он все чаще болел. Иногда на лекцию его приводили под руки. И понемногу он начал поручать Иванову прочитать лекцию вместо себя. Если лекция была сдвоенной, Гумилев читал первую часть, а после перерыва лекцию дочитывал уже Константин Иванов. В 1983 году Иванов прочел курс народоведения вместо Гумилева.

Гумилев по мере сил помогал карьере своего нового ученика. В 1981 году Иванов благодаря протекции Гумилева и доктора географических наук Анатолия Чистобаева получил место в НИИ географии, а в 1985 году защитил диссертацию. Правда, Гумилев отказался стать официальным научным руководителем Иванова и предложил в качестве руководителя профессора Чистобаева: «Мои враги, а их у меня, как Вам известно, немало, будут действовать и против Кости. Зачем я буду создавать ему дополнительные трудности, а у вас всё получится». Так научным руководителем Иванова стал Чистобаев, Гумилеву же досталась роль научного консультанта.

Такая система сложилась еще раньше, во время работы Гумилева со студентами. По словам Ольги Новиковой, Гумилеву выделяли в год одного-двух дипломников, но их научным руководителем числился не он, а Сергей Лавров, который после смерти профессора Семевского получил кафедру социальной и

экономической географии. Гумилев же был рецензентом или научным консультантом. Это делалось в интересах студентов.

Между тем научное руководство аспирантами и тогда, и теперь оставалось обязательным условием для профессорского звания. Лавров, например, воспитал полсотни кандидатов и докторов наук. А под руководством Гумилева защитился только один его ученик – географ Вячеслав Ермолаев. Впрочем, Марина Козырева свидетельствует, что у Гумилева были не только курсовики и дипломники, но даже иностранные аспиранты, на пример, кореец по имени Пак. Но Пак уехал на родину, а Вячеслав Юрьевич Ермолаев (для Гумилева – Слава Ермолаев) в 1991-1992 годах, как говорят, даже оттеснил Иванова. Одна из последних статей Гумилева – «Горе от иллюзий» – написана в соавторстве не с Ивановым, а именно с Ермолаевым.

В самом деле оттеснил или нет, сказать не берусь. Но первое охлаждение между Ивановым и Гумилевым случилось в 1987-м, когда Константин Павлович, готовивший к депонированию в ВИНИТИ четвертый выпуск «Этногенеза и биосферы Земли» («Тысячелетие вокруг Каспия»), по словам Чистобаева, «вписал в графу "научный редактор" собственную фамилию». Гумилев отреагировал неожиданно резко. Он позвонил Чистобаеву и заявил: «У меня к Вам есть деликатный разговор. Мне стало известно о редактировании моего главного научного труда одним из сотрудников института. Я действительно просил его помочь мне подготовить материалы к изданию, но о редактировании рукописи мы не договаривались. Мне редактор не нужен».

История странная. Неужели Гумилев не мог ограничиться разговором с Ивановым, а не беспокоить начальника? Впрочем, учитель и ученик вскоре позабыли о ней, и Гумилев даже поблагодарил Иванова за помощь в депонировании. Все восьмидесятые годы Иванов оставался правой рукой Гумилева, хотя у того появились и новые ученики.

Вячеслав Ермолаев стал учеником Гумилева в конце семидесятых, а в самом начале восьмидесятых в окружении Гумилева появилась Ольга Новикова, химик и будущий сотрудник Государственного Эрмитажа (специалист по лакам и краскам, необходимым в том числе и для реставрации картин). Она с детства любила историю и воспитывалась на книгах академической серии «Литературные памятники». «Иудейская война» Иосифа Флавия была ее домашним чтением. Но больше всего Ольгу увлекала русская история до 1917 года. Както раз ей в руки попал журнал со статьей Гумилева о Куликовской битве. Ольга Новикова настолько заинтересовалась взглядами Льва Гумилева, что стала искать другие научные труды историка и

заказала копию «Этногенеза и биосферы» в типографии ВИНИТИ, а затем нашла и самого автора. Найти оказалось не просто – рекламы никакой не было. Гумилев сразу поразил ее – его стиль и подача материала сильно отличались от лекций советских университетских историков. Она даже осмелилась задать ему вопрос (не каждый был на такое способен, многие слушатели просто робели перед взглядом и эрудицией Гумилева).

Она стала не только регулярно посещать лекции Льва Николаевича, но и оповещать и собирать других слушателей. Однажды Ольга услышала от учителя: «Вы наша». В доме Гумилевых принимали не всех. «…Характера он, надо сказать, был довольно крутого и не всех людей встречал дружелюбно. Он никогда не забывал опыта лагерного прошлого с предательством и обманом», — писал Айдер Куркчи.

Лет за девять или десять до знакомства с Новиковой в двери еще старой квартиры на Московском проспекте постучался странный человек – бородатый, в русских сапогах и косоворотке, какую тогда носили только артисты фольклорных ансамблей, да и то на сцене. Это был писатель Дмитрий Балашов. Вскоре он станет, наверное, самым популярным после Валентина Пикуля советским историческим романистом. В доме Гумилевых его поначалу приняли «не то за актера, не то за ряженого». «Встретил меня Лев Николаевич ежом», — вспоминал позднее Балашов. Но писатель не стал обижаться на неприветливость и подозрительность ученого и со временем тоже стал «своим». Более того, Балашов будет считать Гумилева своим учителем.

Владимир Маслов пришел на лекции Гумилева или в одно время с Ивановым, или даже раньше. Он был старше Иванова, а в НИИ географии работал еще с 1967 года. Гумилеву он был не столько учеником, сколько коллегой и хорошим знакомым. Владимир Маслов утверждал, будто бы первым признал теорию Гумилева.

Маслов читал в обществе «Знание» собственный курс лекций об этносах Земли, и в семейном архиве Масловых сохранился даже отзыв Гумилева: «План лекций считаю оригинальным, удачно составленным, интересным и нужным для советской аудитории». В отличие от Иванова Маслов, поссорившись с начальством, вскоре покинул Институт географии и перешел в НИИ комплексных социологических исследований, а в 1983 году умер странной, нелепой смертью: во время марафонского забега Пушкин – Ленинград «не рассчитал силы, сошел с дистанции и тут же скончался». Но жена Владимира, Елена Маслова, осталась в окружении Гумилева.

В начале восьмидесятых в окружение Гумилева приняли

радиожурналистку Людмилу Стеклянникову, с середины восьмидесятых – Владимира Мичурина, будущего аспиранта Института озероведения и составителя самого полного «Словаря понятий и терминов теории этногенеза Л.Н.Гумилева».

МАЛЫЙ ДВОР

В последние годы жизни Ахматову окружал королевский двор, пусть маленький, бедный, но зато с настоящей королевой. Свой двор был и у Льва Николаевича. Он мог бы соперничать и с ахматовским. Вот именно – мог бы. А на самом деле попал в тень ахматовского. Это не случайно. Анну Андреевну окружали почти исключительно профессиональные литераторы и литературные редакторы, а при дворе «дофина» их, в общем-то, не было. В его окружении не нашлось новой Лидии Чуковской. Разрозненные воспоминания Дмитрия Балашова, Ольги Новиковой, Людмилы Стеклянниковой, Айдера Куркчи не могут заменить труд профессионального литературоведа и редактора. И все-таки они дают некоторое представление о «застольных беседах» престарелого ученого, его образе жизни, вкусах, быте, о его друзьях, его приближенных.

Савва Ямщиков, уникальный художник-реставратор, был, конечно, не учеником, а приятелем, даже другом Льва Гумилева. Они познакомились летом 1968 года, когда Лев Николаевич приехал в Псков к Всеволоду Смирнову.[44] Смирнов как раз работал над памятником Ахматовой – большим чугунным крестом. Ямщиков почти каждый вечер заходил к Смирнову в гости, там он и повстречался с Гумилевым и его женой.

Застолье у Смирнова было устроено на древнерусский манер: вместо фарфора и хрусталя советских сервизов – старинные чаши и братины. Меню было под стать посуде. Ели мясо, купленное на псковском рынке и поджаренное на кузнечном горне, подавали кузнечный суп: «В ведро бросали всякую всячину: сосиски, рыбу, капусту, томатную пасту, ветчину, лук… Варился суп на кузнечном горне, подавался в изобилии, съедался с наслаждением». Гумилев с ностальгией будет вспоминать эту трапезу. «Такой еды, как в Пскове у Всеволода Петровича, ни в одном ресторане не подадут», — передает его слова Ямщиков.

Ямщиков и Гумилев расстались друзьями. Очевидно, они не виделись несколько лет; по крайней мере на Московском проспекте Ямщиков не бывал, а новую квартиру Гумилева, напротив, знал очень хорошо: «…одним из самых притягательных мест (в Ленинграде. – С.Б.) была коммунальная квартира на Большой Московской, рядом с Владимирским собором и Свечным переулком Достоевского».

Благодаря жене Ямщикова, балерине Кировского театра Валентине Ганибаловой, Лев Николаевич с Натальей Викторовной иногда выбирались на балет, хотя вообще-то Гумилев театралом

не был, а музыку не любил.

С шестидесятых годов Гумилев был знаком и с Айдером Куркчи, сыном преуспевающего советского архитектора, старшим научным сотрудником Института истории архитектуры. Не уверен, что их отношения можно назвать дружбой, скорее это было деловое сотрудничество, от которого Айдер Измаилович со временем извлек много пользы. Со своей стороны Куркчи устроил Гумилеву несколько публикаций в журнале «Декоративное искусство».

Наконец, в окружение Гумилева входил и его непосредственный начальник Сергей Борисович Лавров, получивший кафедру после смерти профессора Семевского. Это был элегантный и очень представительный мужчина в твидовом пиджаке. Лавров занимался экономической географией Западной Германии, бывал за границей, читал лекции в Гамбурге и Западном Берлине, дружил с гроссмейстером Корчным. Студентки влюблялись в умного, элегантного и еще довольно молодого профессора.

На рубеже шестидесятых и семидесятых Лавров был секретарем парткома Ленинградского университета. Даже оставив эту должность, он сохранил и связи, и умение ориентироваться в «политической» обстановке на факультете, в институте, университете. По крайней мере даже эмиграция его друга Виктора Корчного в 1976 году не так уж сильно повредила его карьере.

В отличие от других покровителей Гумилева – академика Трешникова, директора Арктического института и президента Географического общества, и профессора Красильникова, проректора ЛГУ по науке, — Лавров бывал у Гумилева в гостях и даже принимал гумилевские идеи (правда, выборочно). Неслучайно именно Лавров станет одним из первых биографов Льва Гумилева.

В восьмидесятые годы Гумилев подружился с Александром Михайловичем Панченко, известным филологом, будущим академиком, сотрудником славного Пушкинского Дома. Панченко учился в Ленинграде и Праге (в Карловом университете). Его научным руководителем был академик Лихачев. К восьмидесятым годам Александр Михайлович имел репутацию выдающегося специалиста по истории культуры Древней Руси. Общение с ним повлияло на поздние работы Гумилева, посвященные как раз древнерусской истории.

Панченко не разделял многих воззрений Льва Николаевича на историю. Они сходились в редких случаях: историческое значение Александра Невского, опричнина Ивана Грозного,

признаки фазы надлома в России XIX века и т. п. Но татаро-монгольское иго Панченко упорно называл не «союзом» и не «симбиозом», а именно игом.

Как ни удивительно на первый взгляд, Панченко и Гумилев даже написали книгу – «Чтобы свеча не погасла». Это вообще единственная книга Гумилева, написанная в официальном соавторстве. Правда, книга на самом деле была не написана, а, очевидно, составлена из фрагментов их научных статей и монографий. Диалога двух ученых не получилось, не вышло и спора: Панченко уходил от столкновения со своим другом, а Гумилев не настаивал.

Гораздо лучше получилась беседа Гумилева, Иванова и Панченко, опубликованная в шестой книжке журнала «Литературная учеба» за 1990 год.

В 1992 году Александр Михайлович напишет предисловие к последней книге Гумилева, а в 1994-м подготовит публикацию его переписки с Ахматовой. Тогда Эмма Герштейн обвинит Панченко в необъективности: «К сожалению, в комментарии и вступительной статье академика теплое чувство дружбы взяло верх над требовательностью ученого». Эмма Григорьевна не знала, что Панченко был, пожалуй, самым объективным человеком в окружении Гумилева.

За формирование нового окружения Льва Николаевича отвечала, разумеется, Наталья Викторовна. Гумилев был совершенно доволен «кадровой политикой» своей жены, как доволен был и образом жизни, который окончательно установился именно в квартире на Большой Московской. Савва Ямщиков заметил, что Наталья Викторовна «была поистине вторым "я" своего мужа, понимала малейшее его движение, не то что слово».

Атмосфера на Большой Московской напоминала, пожалуй, атмосферу квартиры Ардовых на Ордынке или последней ленинградской квартиры Ахматовой. Лев Николаевич в старости походил на свою мать не только внешне.

Анна Андреевна была приветлива, дружелюбна и гостеприимна с теми, кто ее почитал, ценил, превозносил. Людей, не почитавших ее талант, Ахматова не принимала и не поощряла, она их опасалась. В день ее похорон Наталья Варбанец записала в дневнике: «Она всё боялась, что я напишу про нее мемуары, и порой позировала мне для них. Вообще она меня словно опасалась. <…> М<ожет> б<ыть>, во мне было недостаточно рабского восхищения…» Ахматова, старательно создававшая собственный миф, не терпела даже доброжелательных, но неуклюжих людей, которые касались того, чего касаться не

следовало.

Искусствовед и литературовед Эрих Голлербах в одной статье осмелился указать, что девичья фамилия Ахматовой – Горенко. «И как он смел! Кто ему позволил! <…> Дурак какой», — негодовала Ахматова.

В окружении Гумилева тоже оставались только люди, признающие гениальность Льва Николаевича. Из воспоминаний Саввы Ямщикова: «Приезжая в 80-е годы в Ленинград, сначала один, а потом с подраставшей дочкой, я первым делом спешил к Льву Николаевичу – духовно окормиться. Огромной радостью был и каждый его приход на выставки, которые я проводил в петербургском Манеже».

Людмила Стеклянникова назвала своего сына в честь Льва Гумилева. Дмитрий Балашов простодушно пересказывал знакомый нам анекдот, как «в пограничном конфликте с Китаем на Амуре, когда китайская сторона запросила часть нашей территории, кто-то умный выложил на стол переговоров книги Л.Н.Гумилева, доказав историческую необоснованность китайских претензий. И те, неволею, сняли свои требования».

Гумилев даже сердился на Балашова, упрекал его: «Вы, однако, мне, как я ни прошу, критических замечаний не делаете!

— Я учусь у вас, Лев Николаевич! Я читаю ваши работы как учебник и критическим оком взглянуть на них попросту не могу, не тот у меня уровень», — отвечал писатель.

Между тем Дмитрий Балашов был знаком с Валентином Яниным, знаменитым историкомрусистом и археологом, даже консультировался у него. Да и сам Дмитрий Михайлович зря прибедняется. Он добросовестно изучил историю Новгородской и Московской Руси. Но Гумилев его как будто заворожил.

Гумилев и на старости лет очаровывал девушек и дам. Людмила Стеклянникова, в 1981 году редактор литературно-драматической студии Ленинградского радио, еще до знакомства с Гумилевым получила задание подготовить трансляцию гумилевского курса лекций. Работа показалась ей скучной и тягостной, поэтому она засунула лекции подальше в стол, затянув дело. Шло время, торопил главный редактор, и вот однажды зазвонил телефон. Незнакомый сильно грассирующий мужской голос спросил Людмилу Дмитриевну, а затем, не представившись, начал читать Блока:

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла…

Так Гумилев сразу же и устыдил, и заинтересовал, и не обидел легкомысленную журналистку, и даже привлек на свою сторону.

Впрочем, галантность его была и вполне бескорыстной. Наталья Казакевич вспоминает, как зимой 1984-го Гумилев, еле стоявший на больных ногах, в метро уступил ей свободное место: «Я знаю, сколько мне лет, но не могу допустить, чтобы моя дама стояла».

Но не только и не столько женщин покорял Гумилев. Мужчины, умные, талантливые, самолюбивые мужчины безоговорочно признавали его первенство: «И конечно, это был стол, за которым надо было слушать только Льва Николаевича, — вспоминал Савва Ямщиков. — Негромко, неторопливо, с характерным петербургско-университетским грассированием он рассказывал о теории этногенеза, о книгах, которые пишет, и о своей жизни».

Как и Ахматова, Гумилев был гостеприимен. Гостей первым делом сажали за стол и кормили. Старшеклассник из Новосибирска Андрей Рогачевский впервые в жизни попробовал миндальное печенье именно у Гумилева; в другой раз Лев Николаевич пригласил этого, в сущности малознакомого человека, на обед: «…пили какоето чудесное марочное грузинское вино». Точно так же усаживали за стол и филолога Михаила Кралина (кормили гречневой кашей с печенкой), и, лет восемь-девять спустя, Александра Невзорова, в то время телевизионную суперзвезду.

Впервые я увидел Гумилева как раз в программе «600 секунд»: репортер ел в гостях у Льва Николаевича какой-то супчик. Комментарий Невзорова был, кажется, такой: в этом доме первым делом сажают за стол.

Из интервью Александра Невзорова Дмитрию Гордону 8 июля 2011 года: «…он жил через 3 дома от меня. И я начал по вечерам, поскольку у меня была абсолютно холостяцкая жизнь, к нему просто заходить ужинать. Просто столоваться. Они это все безобразие терпели и даже любили».

Припозднившиеся ученики оставались у Гумилева на ночь. Вячеслав Ермолаев жил тогда на другом конце города, поэтому иногда ночевал в квартире Гумилева. Дмитрий Балашов, случалось, гостил в квартире Гумилевых целыми неделями. У Балашова не было своего жилья в Ленинграде, но ему приходилось работать в Публичной библиотеке, собирать материалы для новых романов о Московской Руси – вот Гумилев

и выручал друга. А ведь Лев Николаевич до 1988-го жил в коммунальной квартире. Но он готов был терпеть и некоторые неудобства. Ради чего?

Из беседы Гелиана Прохорова с Еленой Масловой: «…у Льва Николаевича были две главные потребности в жизни. Это, во-первых, стремление к истине. А во-вторых, он очень нуждался в дружеской и родственной любви. Ему всегда этого не хватало…»

Но у друзей и учеников Гумилева были и свои «обязанности», принятые ими, разумеется, добровольно. Марина Козыре ва переводила Гумилеву английские и американские монографии и печатала латиничную часть библиографии – на пишущей машинке Гумилева не было латиницы. Константин Иванов составлял графики и пытался перевести пассионарную теорию этногенеза на язык математических формул. Ольга Новикова каждый год приносила новогоднюю елку. Лев Николаевич радовался с ней, еще молоденькой девушкой, как ребенок, чуть не прыгал у елки. Как будто возвращался тот Левушка-Гумилевушка, что исчез в лагерной пыли, переродился, перековался в бойца, храмовника, гладиатора. Вероятно, сравнительное благополучие последних двадцати пяти лет жизни (если позабыть о нападках оппонентов, бойкоте издательств и научных журналов) помогло оттаять его детской душе.

Из воспоминаний Натальи Викторовны Гумилевой: «Иногда, если он ложился спать раньше, я его благословляла и целовала в лоб. А он всегда говорил: "Спасибо". В нем было столько детского!»

Ученики за глаза называли Гумилева «дедушкой», но он иногда казался гораздо моложе серьезного и солидного Константина Иванова. Андрею Рогачевскому Гумилев показался «невысоким, смешным, острым на язык, картавящим человечком».

Дмитрий Балашов был совершенно покорен своим учителем: «Постепенно он всё более раскрывался в своем обычном, домашнем облике, с этим своим соленым лагерным юмором, который в его устах приобретал странно аристократический оттенок, со вспышками гнева и яростного веселья, с блеском глаз и потиранием рук, и тогда въяве виделось, что в этой стареющей плоти заключен вечно молодой и потому вечно творческий дух».

Гумилев вносил в дружеское общение некоторый порядок. Поскольку квартира была невелика, а Лев Николаевич должен был всё больше отдыхать, собирать каждый вечер компанию учеников он не мог. Поэтому за каждым из учеников был закреплен определенный день недели: в понедельник приходил Иванов, во вторник – Ермолаев, в среду – Новикова и т. д.

В быту Гумилев был большим оригиналом. Его чудачества

превосходят чудачества Ахматовой, хотя и не дотягивают до чудачеств Суворова. Гумилев, например, не любил картошку и считал, что она серьезно осложнила жизнь русского крестьянина. «Раньше зерно посеял и ждешь сбора урожая. А с картошкой? И посадка ее тяжелая, а потом полоть, окапывать дважды вручную и копать – тяжелый труд». Во всем следуя вкусам мужа, Наталья Викторовна вместо супа с картошкой варила суп с репой.

На вокзал Гумилев приходил не позднее чем за час до поезда: «Вдруг его раньше времени отправят?»

Свой день рождения Гумилев не праздновал, но по-своему отмечал. Обычно 1 октября он отправлялся за город, в Пушкин, который по привычке называл Царским Селом, в Павловск или в Гатчину; гулял и обдумывал планы на будущий год. Праздник был не в октябре, а в марте, когда Лев Николаевич отмечал именины.

В первых числах марта Церковь празднует память двух святых по имени Лев. 5 марта – день Льва Катанского, сицилийского епископа, современника Карла Великого. Он прославился тем, что как-то обезвредил чародея Илиодора, смущавшего народ ложными чудесами: обвязал его шею омофором, повел к разведенному на площади костру и вступил в огонь. Чародей сгорел, а епископ остался жив. Но этого святого Гумилев не считал своим, к тому же 5 марта умерла Ахматова.

Именины свои Гумилев отмечал 3 марта, в день святителя Льва, папы Римского, который жил в V веке, во времена глубокого упадка Римской империи, когда варвары – готы, гунны, вандалы – опустошали уже не только провинции, но и вторгались в Лациум. В 452 году Лев остановил нашествие гуннов: встретился с их вождем Аттилой и убедил того повернуть назад. Как ему это удалось – неизвестно, но Гумилев полагал: раз Лев I сумел договориться с гуннами, значит, не смотрел на кочевников, как на звероподобных варваров, а находил с ними общий язык. Кроме того, Лев I был неутомимым борцом с ересями, в частности, воевал с манихейством. А Гумилев, посвятивший свою главную книгу «охране природной среды от антисистем», считал манихейство учением жизнеотрицающим, то есть антисистемным. Так что святой Лев был для Льва Гумилева не только небесным покровителем, но и своего рода предшественником.

Лев Гумилев не любил радио: «…радио не могу слушать – оно орет, скрипит, прибавляет шума и мешает думать. У меня мечта: квартира на бестрамвайной улице, с ванной и без радио», — писал он Наталье Варбанец еще в мае 1955 года.

Неприязнь к радио он сохранил и после лагеря. В 1962 году Льва Николаевича пригласили в Казань на конференцию, устро

или в многоместный гостиничный номер. Историк и археолог Петр Старостин запомнил сцену, которая произошла однажды утром: «…кто-то из нас громко включил радио, и раздался его ворчливый голос: "Да выключите вы эту шарманку!" "Что же? — спрашиваем мы, — вы радио совсем не слушаете?" "Нет", — отвечает гость. "И газет не читаете?" "Коечто почитываю, — говорит Гумилев, — иногда"».

Сотрудников радиостанций Гумилев называл «радиотами». Он несколько смягчился к ним лишь после того, как подписал договор на курс лекций с Ленинградским радио, а радиожурналистка Людмила Стеклянникова стала едва ли не ежедневной его гостьей.

«Вот телевизор я завел бы – он интереснее», — признавался Гумилев всё в том же майском письме к Птице. Возможно, на любовь к телевидению повлияло его увлечение массовым кино, ведь в лагере киносеансы были одним из немногих развлечений. Точно не известно, в каком году у Гумилева появился собственный телевизор. Но в квартире на Большой Московской он безусловно был – стоял на кухне, чтобы и соседи могли смотреть. Вероятно, это было не только проявлением широты души, потому что и в отдельной квартире Гумилев оставил телевизор на кухне. Последний его телевизор – большая и современная для начала девяностых Toshiba – и сейчас стоит на кухне музея квартиры.

Ахматова, как известно, много лет не готовила и даже, кажется, сама не кипятила воду. Так сложилось, что самые обычные домашние, бытовые заботы охотно принимали на себя ее почитатели: зажигали газ, включали проигрыватель, ставили пластинки. Мария Белкина, наблюдавшая быт Ахматовой в Ташкенте, с удивлением замечала: «Я ни разу не видела, чтобы Анна Андреевна принесла себе воду или сама вынесла помои, это всегда за нее делали какие-то нарядные женщины – актрисы или чьито жены, которые поодиночке или табунками приходили в ее келью…» Однажды Ахматова пожаловалась Раневской: «Я сама мыла голову!» В Ленинграде и Москве эта сторона ахматовского образа жизни не изменилась.

Лев Николаевич в последние годы вполне перенял ахматов ский образ жизни. Наталья Викторовна была прекрасной хозяйкой, но с возрастом ей все труднее было справляться с домаш ними обязанностями. «Мы оба еле обслуживаем друг друга», — жаловался Гумилев Оресту Высотскому в декабре 1984-го. Да и походы с авоськами по магазинам совсем не сочетались со статусом профессорской жены.

На помощь пришли ученики и друзья.

Начиная со второй половины восьмидесятых прекрасное

ленинградское снабжение стало светлым воспоминанием о безоблачном прошлом. Опустели прилавки магазинов, появились длинные очереди.

Как-то Гумилеву за лекцию в МИД СССР в качестве гонорара помимо денег (73 рубля) дали большую пачку чая: «…чай был хорошим, поэтому я считаю, что не прогадал», — говорил он. В 1990 году даже папиросы стали дефицитом, а Гумилев не мог жить без своего любимого «Беломора». Других папирос не признавал. Ученики собирали для него папиросы в авоську, когда она наполнялась – передавали Льву Николаевичу.

Елена Маслова доставала продукты в магазинах. Константину Иванову, как многодетному отцу, полагались продуктовые заказы, и он непременно делился ими с учителем. Ольга Новикова получала у себя на работе молоко и несла Льву Николаевичу.

Помощь учеников и друзей не только сохраняла силы, нервы, здоровье Льва Николаевича и Натальи Викторовны, но и продлевала им жизнь.

«МЕРА ВСЕМУ ЧЕТВЕРТИНКА»

Ахматову очень заботил ее будущий образ в чужих воспоминаниях, поэтому она пыталась по мере сил направить потенциальных мемуаристов в нужную ей сторону. Вспомним, как она подправила линию своего носа на рисунке Тышлера, горбинка показалась ей слишком велика. Жест символический. Ее высказывания были хорошо продуманы, точно рассчитаны на собеседников: великий поэт создает миф о великом поэте.

Создавал ли свой миф Лев Гумилев? Если и создавал, то очень непоследовательно. Превратить собственную жизнь в служение посмертному (да хоть и прижизненному) образу он явно не мог и не хотел. Поэтому его застольные беседы были откровенны и весьма неполиткорректны. Но никакая откровенность не может объяснить некоторых совершенно невероятных заявлений, добросовестно записанных собеседниками и сотрапезниками.

Из беседы с Айдером Куркчи: «Жалко, мы, русские, народ художественный, но неверующий. Розанов все наврал, как и Белинский, я не люблю их семинарские размышления. Мама была неверующая, Мандельштам начинал как чуткий православный человек, но потом, ах! Цветаева – так это вообще берегиня, идолище…»

Кстати о Марине Ивановне. Если верить Андрею Рогачевскому, то Гумилев даже причислил Цветаеву к стукачам, правда, затем уточнил, что «стукачом был ее муж Эфрон», потому что «закладывал» видных белогвардейцев.

Вообще тема стукачества возникала в самом необычном контексте. Например, Гумилев рассказывал Рогачевскому, будто «Пушкин пошел стреляться с Дантесом, чтобы спасти свою посмертную славу (чтобы умереть, но не дать объявить себя стукачом)».

Передо мною запись беседы Льва Гумилева с Айдером Куркчи, напечатанная не врагами Гумилева, а напротив, людьми, много лет бескорыстно собиравшими свидетельства о его жизни. Текст напоминает расшифровку магнитофонной записи, не прошедшую редактуру. Разумеется, это делает его намного более ценным. Чтение интересное, я бы даже сказал – забавное. Гумилев рассуждает здесь о Серебряном веке и его наследии. Вообще-то он не очень любил эту тему. Еще Рогачевский обратил внимание, что Гумилеву интереснее были вопросы о его трактате «Этногенез и биосфера», чем беседа об акмеизме. Тем не менее Лев Николаевич, кровное дитя Серебряного века, порадовал всех

читателей свежестью мысли и неординарностью трактовок, иной раз ставящей в тупик:

«Стихи, надо сказать, погубили Белую армию. Она вся состояла из стихотворцев, нация рифмоплетов, но так же проиграла и Парфия когда-то Крассу,[45] который в стихах ни бум-бум. <…> Художник Мани[46] меня интересовал, я начал о нем книгу, но не закончил, серьезность замысла погубила, как белых. А красных? — спрашиваете вы. Их погубили корысть, точнее, серьезность, с которой они бескорыстно служили – чему? — уж и припомнить никто не может. А нельзя быть серьезным все время. Серьезность – это же оттого, что обсуждается, где выпить и как достать. Мера всему – четвертинка. Или бутылка…»

Лев Николаевич, вне всякого сомнения, рассказывал столь удивительные вещи за бутылочкой, поэтому не станем относиться к ним слишком серьезно.

Друзья Гумилева, Ольга Новикова и Марина Козырева, отрицают любовь Гумилева к алкоголю, но, боюсь, они не то чтобы идеализируют его образ, а упрощают. Ладно Куркчи, но Сергея Лаврова в непочтительном отношении к памяти Гумилева не упрекнешь, а он вспоминал интересный случай:

«Както Л.Н. попросил меня познакомить его с коллегой-историком, довольно известным профессором: "Позовите его с супругой к нам, выпьем, поговорим!" Я сделал все как полагалось, помню, нашел какоето красное шампанское, а на столе была вкусная еда, приготовленная Наталией Викторовной, и бутылка "Лимонной" – тогда еще отменной водки. Мы с Л.Н. как-то незаметно опустошили ее "за разговором", а гость ограничился каплей шампанского, несмотря на все наши уговоры и явную "комплиментарность" "Лимонной" с закуской на столе. На следующий день мы с Л.Н. встретились на факультете, и он с некоторым укором и непередаваемо милой картавостью молвил: "Ну, Сергей Борисович, ну какой же это профессор, который о науке не говорит и водки не пьет!"»

К людям выпивающим Гумилев относился гораздо снисходительнее. В день знакомства с Гумилевым Савва Ямщиков явно выпил лишнее и уснул прямо посреди комнаты на кальке с чертежом будущего креста, того самого, что Гумилев и Смирнов установят на могиле Ахматовой в Комарово. Проспав несколько часов, Савелий Васильевич открыл глаза и увидел участливо склонившегося над ним Гумилева: «"Вы прямо как воин на васнецовском поле лежите. Я подходил все время, проверял, но чувствовал, что дышите. А теперь можно и к столу. Мы ваш уголок за вами сохранили", — я еще не знал, как добр этот

строгий, серьезный человек, насколько тактичной и по-мужски цельной бывает его заботливость», — вспоминал Савва Ямщиков. Однако этим история не закончилась. Наутро отправились в Псково-Печерский монастырь, а оттуда – в Изборск. И Гумилев, внимательно посмотрев на своего нового товарища, сказал: «Савелий Васильевич, когда вы там в звоннице на кальке лежали, я подумал, что с вами можно быть откровенным. Вы всегда, когда в Петербурге будете, — милости прошу, я буду рад».

Хотя Рогачевский пил вместе с Гумилевым «какое-то чудесное марочное грузинское вино», любимым напитком Льва Николаевича, видимо, оставалась водочка. Между прочим, и в этом он был истинным сыном Анны Андреевны.

Однажды на Сицилии в отеле «Эксельсиор» Александр Трифонович Твардовский пришел в номер к Ахматовой, чтобы поздравить ее с премией. «Она приняла меня так, — вспоминал Твардовский, — словно мы были уже давно знакомы. Но я все же с некоторой опаской – женщина немолодая, может быть, сердечница – спрашиваю ее: а не отметить ли нам некоторым образом ее награждение? "Ну конечно же, конечно!" – обрадовалась она. "Тогда, может быть, я закажу по этому поводу бутылку какого-нибудь итальянского вина?" И вдруг слышу от нее: "Ах, Александр Трифонович, а может быть, водочки?" И с такой располагающей простотой это было сказано и с таким удовольствием! А у меня как раз оставалась в чемодане бутылка заветной, я тут же ринулся к себе, в свой номер».

Лев Николаевич пил водку и до войны, и на фронте, и по возвращении с фронта, и в молодости, и в старости. Гумилев усвоил советский (не русский, в дореволюционной России не было ничего подобного, а именно советский) обычай приходить в гости с бутылкой. С бутылкой монгольской водки он пришел к Аполлону Кузьмину, профессору МГУ, лидеру движения «Отечество». Когда Айдер Куркчи впервые пожаловал в московскую квартиру Гумилевых, Лев Николаевич спросил его, «решительно и резко»:

— А, случайно, чекушку вы не захватили?

— Конечно, захватил.

— Ну вот и хорошо, — засмеялся он.

Наконец, сам Лев Николаевич с удовольствием рассказывал историю о том, как он придумал понятие «Серебряный век», а мама в благодарность дала ему денег на чекушку. На самом деле понятие «Серебряный век» появилось значительно раньше. Гумилев создавал собственный миф.

Разумеется, Гумилев не был пьяницей, не уходил в запои, не напивался до бесчувствия. Ни друзья, ни враги не могут найти в

его долгой жизни ничего подобного. Более того, любой нормальный человек на месте Гумилева наверняка бы спился. Большинству хватило бы и половины испытаний, выпавших на жизнь ученого. И можно только позавидовать крепости нервов, психическому здоровью, психологической стойкости, природному оптимизму.

«Лев Николаевич, хотя и прошел лагеря, — не походил на сломленного человека. Общался непринужденно – с юмором. Не унывал. Я бы сказал, что это был матерый и даже хитрый исследователь с гибким, проницательным умом», — вспоминает Петр Старостин.

Гумилев не топил горе в литрах спиртного. Очевидно, он легко переносил алкоголь, так что водка и вино для него были всего лишь маленьким удовольствием. А такой жизнелюбивый человек, как Лев Гумилев, и не собирался себе в чем-то отказывать. «Водка – понятие психологическое», — говорил он.

Часть XVII

МАРКСИСТСКАЯ МЫСЛЬ

Несоветскую и немарксистскую сущность теории этногенеза, как мы помним, первым «изобличил» Виктор Козлов в 1974 году. В 1982-м Гумилеву пришлось пережить новую, несравненно более сильную идеологическую атаку. Ее нечаянно спровоцировал кандидат философских наук Юрий Мефодиевич Бородай.

Бородай первым отрецензировал «Этногенез и биосферу» в научном журнале. Рецензия вышла в четвертом номере «Природы» за 1981 год и осталась незамеченной. Скандал случился после небольшой статьи Бородая «Этнические контакты и окружающая среда», посвященной химерам и антисистемам. «Природа» напечатала ее в сентябре 1981-го.

У этих публикаций Бородая есть одно несомненное достоинство – смелость рецензента. Во-первых, хвалить теорию Гумилева мало кто решался. Это в конце восьмидесятых и начале девяностых вступительные статьи к сочинениям Гумилева будут писать академики – Панченко и Лихачев. А в начале восьмидесятых положение Гумилева в академическом мире было шатким, и светила науки не спешили ему помочь.

Во-вторых, «Этногенез» рецензировать очень трудно. Надо знать историю Рима и древнего Китая, разбираться в исторической географии и медиевистике, философии экзистенциализма и мутагенезе. Наконец, рецензент обязан сопоставить сочинение Гумилева с работами предшественников, поместить книгу в научный, историкокультурный и философский контекст.

Но Бородай ограничился простым пересказом Гумилева.

Статья Бородая вызвала бурю в Академии наук, 12 ноября 1981 года ее даже обсуждали на заседании Президиума Академии и вынесли постановление: осудили публикацию Бородая и признали «вредность распространения среди широких кругов читателей методологически не продуманных, не обоснованных и не состоятельных идей». Разъяснить тем самым «широким кругам» читателей несостоятельность и вредоносность идей Гумилева – Бородая должна была разгромная статья, подписанная академиком Кедровым, членкором Академии наук Григуле вичем и доктором философских наук Крывелевым. «Природа» напечатала ее в марте 1982 года.

На этот раз против Гумилева выступили светила марксистской мысли. Самым ярким и самым уважаемым из них был, несомненно, Бонифатий Михайлович Кедров – один из создателей журнала «Вопросы философии» и его первый главный

редактор, трижды кавалер ордена Ленина, автор более тысячи научных трудов не только по философии, но и по химии. Два года он возглавлял академический Институт философии.

Алексей Федорович Лосев считал академика Кедрова человеком умным и честным. Биография Бонифатия Михайловича слова Лосева подтверждает. Поздней осенью 1941-го, когда научные работники спешно собирали чемоданы и отправлялись в Ташкент или Ашхабад, Кедров сражался в ополчении, командовал расчетом орудия.

При всем при том Кедров был убежденным коммунистом, а его научная карьера стояла на прочном марксистско-ленинском фундаменте. В партию он вступил в 1918-м, семнадцати лет от роду. Работал в «Правде» под началом Марии Ильиничны Ульяновой, а затем перешел в ЧК. Учился в Институте красной профессуры. Даже в химической науке он, как и положено истинному философумарксисту, находил борьбу материализма с идеализмом, механицизмом и агностицизмом.

Соавторы Кедрова были, с марксистской точки зрения, еще колоритнее.

Иосиф Аронович Крывелев в молодые годы подвизался научным сотрудником Центрального совета Союза воинствующих безбожников. Он занимался марксистской критикой Библии, историей иудаизма и христианства. Крывелев доказывал неисторичность не только Иисуса Христа, но даже апостолов Петра и Павла.

Иосиф Ромуальдович Григулевич, выпускник Высшей школы социальных наук при университете Сорбонны, занялся наукой, только оставив основную работу. Лучшую часть своей жизни он провел в Испании, Аргентине, Мексике, Уругвае, Бразилии, Италии. Профессиональный разведчик, работавший под началом легендарного советского резидента в Испании А.М.Орлова, организатор похищения каталонского троцкиста Андреу Нина и покушения (неудачного) на Троцкого, резидент в Аргентине и создатель агентурной сети в Южной Америке. Позднее он станет одним из создателей Института Латинской Америки, защитит две диссертации и будет писать книги о Сикейросе (своем боевом товарище), Сальвадоре Альенде, Че Геваре. Вероятно, кругозор Иосифа Ромуальдовича был широким, но в своих книгах и статьях он, разумеется, держался исторического материализма.

Вот с такими людьми пришлось столкнуться Гумилеву и Бородаю в начале восьмидесятых.

Гумилеву часто приходилось встречаться с критикой востоковедов (Васильев, Кляшторный), историков (Лурье, Рыбаков), этнографов (Бромлей, Козлов), но критика философов-

марксистов была чем-то совершенно особым.

Лукавый Валентин Катаев сказал как-то о памятном для матери Льва Николаевича постановлении Жданова: «Оно наполнило нашу жизнь новым воздухом». Полагаю, что слова Валентина Петровича в этом случае столь же уместны. Вчитаемся же в текст, который появился во времена уже вполне вегетарианские.

Вот философы, пересказав взгляды Гумилева и Бородая на этнические химеры и смешение народов, тут же прибегли к универсальному в СССР оружию:

«Такие утверждения неверны и прямо и непосредственно противостоят линии нашей партии и социалистического государства на всемерное сближение наций и на перспективу (хотя и отдаленную) их слияния в едином социалистическом человечестве. Наукообразные словечки, обильно и непрестанно повторяемые Ю.М.Бородаем, призваны лишь замаскировать антинаучную, антисоциальную направленность всей его (Гумилева. – С.Б.) концепции. <…> Вызываемая пассионарностью этническая агрессивность оценивается Ю.М.Бородаем как положительное явление, ведущее к благодетельным для судеб народов последствиям. <…> Как с этой точки зрения должна рассматриваться борьба за мир? Как антипассионарное движение?

<…> Публикацию такого материала, дающего неправильное антинаучное освещение ряда важнейших проблем, следует решительно признать ошибочной».

После этой статьи сотрудничество журнала «Природа» с Гумилевым прекратилось навсегда. У Льва Николаевича начались неприятности. Ему даже рекомендовали прекратить чтение лекций в обществе «Знание». Гумилев разорвал отношения с Бородаем.

Почему же? Ведь Бородай не придумал ничего нового, а только изложил идеи Гумилева своими словами? В томто и дело, что своими. В статье Бородая не было изящества, не было гумилевского стиля. Даже читатели с ученой степенью подпадали под очарование этого стиля и прощали автору самые рискованные идеи. Бородай к тому же несколько упростил взгляды Гумилева, сделал их удобной мишенью для критики. Этого ему, очевидно, и не простил Гумилев.

РУССКАЯ ПАРТИЯ

Недолгая дружба Гумилева с Бородаем была, вероятно, связана не только с увлечением философа пассионарной теорией. Бородай был патриотом-почвенником, как и почти всё окружение Гумилева, исключая, пожалуй, Марину Козыреву. А быть почвенником в восьмидесятые годы значило быть изгоем. Жолковский упоминает о «репутации шовиниста-этногенетика» Гумилева, что «набирала силу» уже в семидесятые годы. Гумилев, правда, оказался счастливым исключением. Несмотря на «дурную» репутацию, его любили, охотно читали и слушали.

Тем более его любили и почитали люди идейно близкие. Гумилев был для многих православных почвенников «своим». В семидесятые-восьмидесятые годы Гумилев по-прежнему не только исповедовал православие, как ему казалось, вполне ортодоксально, но и по мере сил распространял его. Людей, ре шившихся принять святое крещение, Гумилев привозил в Гатчину, к своему духовнику отцу Василию Бутыло. Когда у Людмилы Стеклянниковой родился сын, Лев Николаевич стал его крестным отцом. Именно Гумилев привел Константина Иванова, получившего вполне советское воспитание, к православию. В восьмидесятые годы Иванов и Гумилев вместе становились на молитву перед иконой в квартире Льва Николаевича. Друзья, по крайней мере, Иванов и Стеклянникова, покидая квартиру Гумилева, читали молитву «Ангелу-хранителю».

Вообще Лев Николаевич был хорошо известен в Ленинградской митрополии. Сам митрополит Ленинградский и Новгородский Антоний поздравлял Гумилева с Пасхой и Рождеством. Его преемник митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн будет называть Гумилева «нашим великим соотечественником» и «ученым-патриотом».

Такой образ жизни и образ мыслей должен был в свое время сблизить Гумилева с так называемой «русской партией» – неформальной группировкой, существовавшей в советской номенклатуре и интеллектуальной (прежде всего литературной и художественной) элите.

В семидесятые годы Гумилев познакомился с активистами русского самиздата, В.Осиповым и С.Мельниковой. Он даже получал самиздатовские журналы русских националистов «Вече» (тираж около 60 экземпляров) и «Московский сборник» (тираж 20-25 экземпляров). Оба журнала расходились в узком кругу, среди «своих». Между прочим, в восьмом номере журнала «Вече» появилась даже апологетическая статья о Льве Гумилеве. Гумилев

был знаком с одним из активистов русской партии, Сергеем Семановым, и дружил с Игорем Шафаревичем, талантливым математиком и едва ли не самым ярким тогда мыслителем-националистом. На его знаменитую «Русофобию» Гумилев даже будет ссылаться: «Очень хорошее сочинение, очень убедительное. К нему ничего добавить не могу».

Но в начале восьмидесятых годов после статей Гумилева, отрицавших татаро-монгольское иго, русские националисты уже не считали Гумилева своим, а почвенники Чивилихин и Кузьмин были среди его самых последовательных, непримиримых критиков. Сергей Викулов, главный редактор «Нашего современника», литературного флагмана всей «русской партии», отказывался Гумилева печатать. Василий Белов «с некоторой осторожностью относился к Балашову, зная, что он исповедует "веру" Л.Н.Гумилева».

Гумилев, со своей стороны, прошелся по «славянофилам» и «националистам» в одном из своих самых первых интервью: «Нынешние "славянофилы" путают хамство и патриотизм, подхалимаж с любовью к Родине. Почему-то считается, что надо обязательно ругать другие народы, в них видеть источник бед и опасностей. А не в себе, не в своем народе выдавливать и выкорчевывать рабство». Если верить Айдеру Куркчи, Гумилев будто бы называл этих национально мыслящих недоброжелателей «черными полковниками», по аналогии с греческой ультраправой хунтой.

И все-таки Гумилев, возможно, помимо своей воли, принял участие в одной из акций «русской партии».

На рубеже семидесятых и восьмидесятых началось последнее наступление «русской партии» на либералов, западников и евреев: в 1979-м «Наш современник» напечатал роман Валентина Пикуля «Нечистая сила» (в журнальном варианте – «У последней черты»), где было непривычно много сказано о еврейском окружении императрицы Александры Федоровны и Григория Распутина. Роман стал супербестселлером. А тем временем «Москва» и «Комсомольская правда» обличали современное (подразумевалось – «еврейское») искусство. Философ Е.Евсеев опубликовал книгу «Сионизм в системе антикоммунизма». Из станицы Вешенской поддерживал своих соратников престарелый, но все еще грозный Михаил Шолохов.

«ЗИГЗАГ ИСТОРИИ»

В 1978 году Гумилев получил роскошный заказ на очерк о Хазарии для научно-популярного альманаха «Прометей». Альманах выпускала редакция популярнейшей серии «Жизнь замечательных людей». Он поступал, кажется, во все библиотеки Советского Союза, тираж достигал 100 тысяч. Впервые Гумилев писал для столь массового издания.

Повторять «Открытие Хазарии» Гумилев не стал. Он написал совершенно новое сочинение, более художественное, чем науч ное. В истории идей оно сопоставимо разве что с «Протоколами сионских мудрецов». Но «Протоколы» были просто фальшивкой, а гумилевский «Зигзаг истории» соединял историческое исследование с фантазией незаурядного писателя.

«Зигзаг истории» рассказывает о том, как евреи захватили власть в Хазарском каганате, кагана обратили в иудаизм, местную тюркскую знать частью истребили, частью выгнали и создали химерное государство, где немногочисленная еврейская община господствовала над многочисленным, но бесправным хазарским населением. Реальная власть теперь принадлежала не кагану, а еврейскому «царю», которого называли или тюркским словом «бек» (князь), или арабским словом «малик» (царь). Хазарское простонародье в иудаизм не обращали, потому что иудеем (равно как и персом-зороастрийцем или индусом) надо родиться.

Основой хазарской экономики служила международная торговля: купцы-евреи контролировали не только Великий шелковый путь (из Китая в Западную Европу), но и торговый путь по Волге и Каме в Биармию (Великую Пермь). К тому же еврейское правительство Хазарии вело успешные завоевательные войны. Побежденные народы – буртасы, аланы, булгары, славянские племена северян и радимичей – вынуждены были платить дань, а некоторым приходилось и хуже: аланов заставили отказаться от христианства, а русам (полянам), жителям побежденного Киевского каганата, пришлось воевать во имя хазарских интересов с мусульманами на южном берегу Каспийского моря и с византийцами на Черном море.

Конец «хазарскому игу» положил князь Святослав, который разрушил столицу каганата Итиль, древнюю столицу и резиденцию хазарского наместника – Семендер и донскую крепость Саркел. «Хазарские евреи, уцелевшие в 965 г., рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане (горские евреи), другие – в Крыму

(караимы). Потеряв связь с ведущей общиной, эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад иудео-хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой».

Как ни странно, гумилевская версия хазарской истории не противоречит фактам. Беда в другом – фактов очень мало, потому что трехсотлетняя история Хазарского каганата слабо освещена источниками, да и сами источники противоречивы. Даже дата разгрома Хазарии Святославом точно не установлена. Согласно «Повести временных лет» Святослав разбил хазар в 965 году. Арабский географ и путешественник ибн-Хаукаль датирует это событие 358 годом Хиджры, что соответствует 968/969 годам от Рождества Христова. Кому верить? Конечно, ибн-Хаукалю. «Повесть временных лет» составляли в начале XII века при дворе киевского великого князя, а ибн-Хаукаль жил в середине Хго, то есть был современником Святослава. В русской летописи упомянут только разгром Саркела (Белой Вежи), а ибн-Хаукаль писал о разрушении Итиля и Семендера. Наконец, ибн-Хаукаль был профессиональным разведчиком, так что умел сведения добывать и перепроверять, а для монаха Киево-Печерской лавры хазары были уже далекой историей. Тем не менее большинство историков, в том числе и Гумилев, датируют поход Святослава именно 965 годом.

Это только одна из множества исторических проблем, связанных с историей Хазарского каганата. Споры вызывает всё – от происхождения хазар (это неразрешимая проблема) до границ государства.

Гумилев не останавливается там, где смолкает документ, а продолжает, пытаясь восстановить неизвестное по немногим сохранившимся сведениям. Все историки Хазарского каганата не могут обойтись без реконструкций, но Гумилев реконструирует больше и смелее, чем другие. К тому же он не бесстрастен, не объективен, а, напротив, крайне заинтересован в совершенно определенном, заданном изначально результате исследования. Разделить в сочинении Гумилева литературу, науку и политику совершенно невозможно.

Взгляд Гумилева на историю Хазарского каганата не абсолютно оригинален. Многое Лев Николаевич заимствовал у своего учителя, Михаила Илларионовича Артамонова.

Лев Гумилев, научный редактор «Истории хазар», еще в пятидесятые разделял его взгляды.

Из письма Льва Гумилева Петру Савицкому 19 декабря 1956 года: «…евреи, просочившись из Византии в Итиль, захватили "по блату" (другого термина не могу подыскать) все видные

должности и, опираясь на наемную туркменскую гвардию, установили в Хазарии деспотический режим, жертвой которого оказались простодушные хазары…» Но в сочинении Гумилева были и принципиальные отличия от артамоновской «Истории хазар». Михаил Илларионович не верил, что хазары могли подчинить Киевское княжество (каганат), а для Гумилева это одна из самых главных идей.

Хазары, или хазарские евреи, и в самом деле собирали дань не только с вятичей и северян, но и с полян, то есть с жителей Киева и киевской округи.

Из Повести временных лет: «И набрели на них хазары, на сидящих в лесах на горах, и сказали хазары: "Платите нам дань". Поляне, посовещавшись, дали от дыма по мечу, и отнесли их хазары к своему князю и к старейшинам своим и сказали им: "Вот, новую дань нашли". Те же спросили у них: "Откуда?" Они же ответили им: "В лесу на горах над рекою Днепром". Опять спросили те: "А что дали?" Они же показали меч. И сказали старцы хазарские: "Не на добро дань эта, княже: мы добыли ее оружием, острым только с одной стороны, — саблями, а у этих оружие обоюдоострое – мечи. Им суждено собирать дань и с нас, и с иных земель". И сбылось все это, ибо не по своей воле говорили они, но по Божьей воле».

Еще Карамзин справедливо называл этот рассказ «басней», сочиненной много позднее, «в счастливые времена оружия российского», когда от поверженного Хазарского каганата остались только развалины крепостей. Для Гумилева же главным источником о столкновении русов с хазарами послужили не скупые и туманные записи русского летописца, а уже знакомый нам «кембриджский документ» – сохранившийся отрывок из письма безымянного хазарского еврея к Хасдаю ибн-Шапруту, придворному врачу правителя мусульманской Испании, известному дипломату и покровителю евреев. В этом письме говорится о том, как «достопочтенный Песах», хазарский военачальник, разбил русского князя и даже заставил его начать в интересах Хазарии войну против византийского императора Романа Лакапина (неудачные походы князя Игоря на Царьград в 941-м и 944-м).

Историк Яков Лурье, последовательный критик Гумилева, в подчинение Руси хазарским евреям не верит, а «кембриджский документ» считает источником «сугубо недостоверным». По словам Лурье, это не письмо хазарского еврея, жившего в середине X века, а «сочинение византийского еврейского автора XII или XIII в.».

Когда Яков Соломонович писал свою статью, он, несомненно,

был убежден, что знает источники гораздо лучше Гумилева. Между тем еще в 1982 году, то есть за двенадцать лет до статьи Лурье, американский гебраист Норман Голб доказал подлинность «кембриджского документа». Более того, теперь известен еще один документ, которого не было в распоряжении Гумилева, — письмо еврейской общины Киева о сборе денег для выкупа задолжавшего соплеменника. Письмо составлено на иврите, но на письме есть тюркская руническая надпись «я прочел это», сделанная, как предполагают, представителем хазарской администрации Киева. Если толкование надписи верно (а на этот счет есть большие сомнения), то подчинение Киева и Русской земли Хазарскому каганату было даже более унизительным, чем предполагал Гумилев.

Истина на стороне Гумилева, вот только что это нам дает? Хазарское иго не миф, но как долго оно продолжалось? Несколько лет или несколько десятилетий? Насколько тяжким оно было? Вятичи в шестидесятые годы X века платили уже не по белке с дыма, а «по щелягу с сохи». Много это или мало, мы не знаем. Щеляг – серебряная монета неизвестного достоинства, само слово «щеляг» (искаженное «шиллинг») появилось намного позднее описанных летописцем событий X века.

Гумилев расписывает хазарское иго черными красками, а вот археолог Владимир Петрухин, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, считает, будто хазарское господство пошло славянским племенам на пользу: «Эпоха Хазарского каганата являлась одновременно и расцветом славянской колонизации лесостепи Восточной Европы, когда славяне доходят до Дона и их поселения существуют в относительной безопасности: кочевники не угрожали им до тех пор, пока сильна была власть кагана». Кстати, таких взглядов на русско-хазарские отношения придерживался еще Ключевский, хотя в его распоряжении не было этих археологических источников.

Последние станицы «Зигзага истории» посвящены экскурсу в историю антисистем. Хазарский каганат Гумилев называет не только этнической химерой, что, может быть, и верно, но и «антисистемой». Где он там нашел антисистему, понять трудно. Правда, Гумилев пишет, что евреи принесли в Хазарию маздакизм – учение персидского визиря Маздака, которое Гумилев считает жизнеотрицающим. На мой взгляд, Гумилев не прав, но не будем спорить по мелочам. Только вот сам Гумилев все в том же «Зигзаге истории» утверждает, что евреи-маздакиты, переселившись в Хазарию в VI веке, позабыли не то что маздакизм, а даже основы собственной религии, которую

пришлось восстанавливать другим, более «интеллигентным» евреям, переселившимся в Хазарию уже в VIII столетии. Так откуда же взялась антисистема?

Может быть, дело в иудаизме? Если исходить из классификации религий, предложенной самим Гумилевым, то иудаизм – позитивное вероучение, лишенное даже тех элементов жизнеотрицания, что есть в христианстве. Мир для иудеев – творение Божие, жизнь иудея ориентирована в первую очередь на успех в материальном, посюстороннем мире. Получается, что Гумилев из неприязни к евреям готов вступить в противоречие не только с логикой и смыслом, но и с собственным учением об антисистемах? Более того, в монографии «Древняя Русь и Великая степь» он напишет: «На души киевских славяно-россов посягали и жрецы Перуна, и латинские прелаты, и греческие монахи. Было не исключено и появление мусульманских мулл. <…> Но представителей антисистем не было и в помине, хотя печальный и алчущий дух, Сатана, бродил по опаленным солнцем холмам Лангедока, по пескам Сахары и Аравии, по горным теснинам Ирана и Памира, а на Востоке он даже посетил Ордос, назвавшись "бесконечным светом". Но ни на Руси, ни в Сибири в X в. он не появлялся. Это была прямая заслуга князя Святослава Игоревича».

Понятно, какой именно эпизод из жизни Святослава Игоревича упоминает здесь Лев Николаевич.

Гумилев относился к иудаизму с неприязнью. Вспомним, что ветхозаветный Яхве был для него «огненным демоном» и «лучшим другом сатаны», а в своих лекциях Лев Николаевич над священной историей Израиля едва ли не глумился: «…некий Авраам с семейством… пограбил каких-то сирийских кочевников. Он имел сына Исаака, которого хотел принести в жертву богу Яхве или какому-то своему богу, которому он поклонялся. <…> Трудно сказать точно – там называется "Элохим", то есть разные боги. Но Ангел его удержал, сказал: "Не надо"».

В апреле 1981-го редакция вернула очерк автору. Гумилев подал на редакцию в суд и добился выплаты гонорара, но напечатать «Зигзаг истории» ему так и не удалось.

Гумилев еще легко отделался, потому что в начале восьмидесятых Юрий Андропов, не терпевший русских националистов, устроил настоящий разгром «русской партии». Несколько человек лишились работы, писатель Леонид Бородин сел в тюрьму, других просто припугнули.

Только в 1989-м Гумилев включит несколько видоизмененный очерк в книгу «Древняя Русь и Великая степь», которая вышла тиражом в 50 тысяч. В своем первоначальном виде «Зигзаг истории» появится только в 1993 м году в сборнике

«Этносфера: история людей и история природы», то есть уже после смерти автора.

Ружье все-таки выстрелило, пусть и с опозданием в десять пятнадцать лет. Поскольку «Древнюю Русь» переиздавали из года в год, гумилевская версия хазарской истории пошла в народ. История о стране, покоренной хитрыми евреями, которые сами не работают, но эксплуатируют и грабят несчастное, забитое, запуганное население, оказалась близка сердцу всякого антисемита. Хазария из предмета академических исследований, интересных только кружку археологов и востоковедов, превратилась в политический вопрос. В девяностые годы на страницах газеты «Завтра» одна за другой выходили статьи о «новой Хазарии» (России, ограбленной евреями-олигархами), «электронной Хазарии» (медиаимперии олигарха Владимира Гусинского). Редактор «Завтра» Александр Проханов включил «новую Хазарию» в свой бестселлер «Господин Гексоген».

«Хазария» стала мифом, который охотно использовали в своих целях даже люди, далекие от русского национализма. Одни – как литературную игру (Дмитрий Быков в романе «ЖД»), другие – как нечто большее (Герман Садулаев в романе «Таблетка»). Впрочем, садулаевская трактовка перекликается с классической, прохановской. В книгах Александра Проханова «новая Хазария» – это Россия, захваченная евреями и превращенная в нечто вроде резервного Израиля на случай гибели еврейского государства в Палестине.

Другая версия представляет Хазарию метафизической империей («глобальной Хазарией»), антиподом Святой Руси. Связь с Хазарией из сочинения Гумилева здесь просматривается не так явно, тем более что у современного хазарского мифа есть еще один источник – книга английского писателя Артура Кестлера «Тринадцатое колено – Хазарская империя и ее наследие». Идея Кестлера в следующем: хазары – тюрки-кочевники, принявшие иудаизм. Именно они, а не настоящие евреи, стали предками всех европейских и российских евреев. По свидетельству Ольги Новиковой, почерпнувшей сведения, вероятно, у самого Гумилева, Кестлер в начале семидесятых обращался к Гумилеву с предложением о сотрудничестве, но тот отказался и, более того, уже в «Зигзаге истории» подверг книгу Кестлера уничтожающей критике. Все это не помешало Татьяне Грачевой, политологу и сотруднику Центра военно-стратегических исследований Генштаба Вооруженных сил России, соединить два хазарских мифа, гумилевский и кестлеровский. Но пересказать читателю содержание ее книги «Святая Русь против Хазарии» я не в силах (слаб мой язык!), а цитировать – просто не

решаюсь.

ГУМИЛЕВ И ЕВРЕИ

Репутацию антисемита Гумилев, очевидно, приобрел еще в тридцатые годы. Правда, почти все сведения на этот счет нам известны только из одного источника – мемуаров Эммы Герштейн.

В конце июня 1934 года Эмма Герштейн приехала в Ленинград. Остановилась она на Васильевском острове, в квартире Евгения Эмильевича Мандельштама, брата Осипа Эмильевича. Позвонила от него в дом на Фонтанке. Евгений Эмильевич это слышал: «Вы говорили с сыном Анны Андреевны? Остерегайтесь его, у него могут быть нехорошие знакомства… Вообще… я бы не хотел… из моей квартиры…»

Уже в 1937-м ленинградские родственники, не знавшие о любовной связи Эммы и Льва, сразу насторожились: «Ты бываешь в Шереметевском дворце? Там живут одни черносотенцы. Мы знаем – у нас есть там коекакие знакомые. А ты у кого бываешь? У Ахматовой? О, избегай ее сына…» Но Эмма не только не прислушалась к советам, а даже принимала Гумилева на квартире своей двоюродной сестры «в большом холодном доме на Гре ческом проспекте». Сестра тоже предостерегала Эмму от «черносотенства Левы».

За что же молодой Гумилев приобрел репутацию черносотенца? Слухи и подозрения надо подтверждать доказательствами: репутации часто складываются на пустом месте.

В тридцатые годы московское окружение Гумилева состояло в основном из евреев. В Москве Гумилев, как мы помним, останавливался или у Ардовых, или у Мандельштамов, или у Герштейн. Эмма несколько лет была верной подругой Льва. С Осипом Эмильевичем Мандельштамом Гумилев дружил несколько месяцев, вплоть до ареста поэта.

Правда, наряду с друзьями-евреями у Гумилева появились и евреи-враги, от профессора Бернштама до заведующего спецчастью ЛГУ Шварцера, который написал Гумилеву чудовищную характеристику. Но у Гумилева и русских врагов хватало. Более того, молодой Лев, с таким трудом поступивший в университет, по словам Ахматовой, которые дошли до нас в передаче Герштейн, повторял: «"Теперь я понимаю евреев", имея в виду процентную норму для евреев при поступлении в университет в царской России».

Но осенью 1935-го, незадолго до своего ареста, Гумилев скажет Эмме: «Прими православие». Точно так же уже в конце

сороковых Гумилев будет склонять к перемене веры свою новую подругу Марьяну Гордон, тоже еврейку.

В январе 1938 года Гумилев в разговоре с Эммой, между прочим, заметил: «Как глупо делают люди, которые рожают детей от смешанных браков. Через каких-нибудь восемь лет, когда в России будет фашизм, детей от евреев нигде не будут принимать, в общество не будут пускать, как метисов или мулатов».

Из текста никак не следует, будто Гумилев считал фашизм для России благом, а расовую сегрегацию – достижением. Напротив, этот мрачный и, к счастью, не оправдавшийся прогноз можно было бы и вовсе не упоминать, если бы он не перекликался с поздним, начала восьмидесятых годов разговором Гумилева и его знакомого, старшеклассника из Новосибирска, а затем студента филфака МГУ Андрея Рогачевского. Умудренный опытом Лев Николаевич поучал молодого друга: «…никогда не женитесь на еврейке. В этом нет никакого антисемитизма. Просто до войны сие было неактуально, а теперь принимает всё большее значение. Выиграть Вы вряд ли что-нибудь выиграете, а проиграть можете всё. Опасность эту не надо недооценивать, потому что все они сексапильны и замаскированы».

Насчет сексапильности евреек Гумилеву, конечно, виднее, для нас важно другое: связь между высказываниями двадцатипятилетнего молодого человека (Гумилев в январе 1938-го) и семидесятилетнего доктора наук (Гумилев в начале восьмидесятых).

Когда в лагере Гумилев «за хулу на пресвятую Богородицу» вызвал на дуэль Сергея Снегова и предложил ему выбрать секундантов, тот предложил «Штишевского или Федю Витенза». На это Гумилев ответил: «Витенз не подойдет, он еврей». Что это? Пережиток дворянского высокомерия? Почему еврей не годится в секунданты, чем он хуже немца, русского или поляка?

Впрочем, Гумилева военных и первых послевоенных лет в антисемитизме как будто никто и не думал подозревать. Среди его знакомых по-прежнему было немало евреев. Евреи встречались и среди его новых солагерников. Как мы помним, уголовники даже приняли Гумилева за еврея. Впрочем, Льва Николаевича это привело в ярость: «Если только этот тип еще раз обзовет меня жидом… я ему яйца оборву!..»

После возвращения из лагеря и вплоть до конца шестидесятых у Гумилева не переводились если не друзья-евреи, то по крайней мере хорошие знакомые. Историк Ренессанса Матвей Гуковский вместе с Артамоновым покровительствовал Гумилеву в Эрмитаже и даже защищал его монографию «Хунну» от критики востоковедов. Поэт Матвей Грубиян по-дружески

советовал Гумилеву заняться переводами. Историк-русист, сотрудник Публичной библиотеки Даниил Альшиц познакомился с Гумилевым еще в 1956-м. Они вместе ходили обедать в ресторане «Северный» на Садовой улице, обсуждали вопросы древнерусской истории. От Альшица Гумилев и почерпнул идею датировать «Слово о полку Игореве» XIII веком, хотя сам Гумилев, как мы помним, пошел гораздо дальше. Альшиц присутствовал и на защите Гумилева, где увидел редактора издательства «Восточная литература» Тамару Мельникову, свою будущую жену. Даже много лет спустя Даниил Натанович называл Гумилева «человеком высочайшей эрудиции, глубокого тонкого ума и яркой талантливости», удивлялся, как Гумилев, чья жизнь с самого детства «была переполнена и незаслуженными огорчениями, и тяжелы ми душевными переживаниями, не говоря уже о многочисленных мучениях в тюрьмах и лагерях», сумел сохранить доброжелательность, улыбчивость и чувство юмора.

Вряд ли еврей стал бы писать так о закоренелом антисемите. Иосиф Бродский, не раз встречавшийся с Гумилевым в середине шестидесятых, тоже не упоминал о его антисемитизме.

Правда, уже в 1966 году Ирина Пунина отговаривала Евгению Самойловну Ласкину, сотрудницу журнала «Москва», встречаться с Гумилевым, потому чтоде «Лев Николаевич не любит евреев». Но когда Ласкина пересказала этот слух Лидии Корнеевне Чуковской, та усомнилась: «Правда это о Леве? Или нарочно распускаемая ложь?»

Во время «пунических войн» на стороне Гумилева выступили Надежда Мандельштам, Иосиф Бродский, Эмма Герштейн, Анатолий Найман и даже Михаил Ардов – практически все «еврейское окружение» Ахматовой, кроме Виктора Ардова. Эмма Гер штейн в суде так непреклонно защищала права Гумилева, что кто-то из «гумилевского» лагеря предложил читать ее фамилию как «Фрауштейн», то есть «фрау камень».

Но в шестидесятые годы Гумилев еще не разорвал отношений с друзьями-евреями. Напротив, евреи оставались в числе самых близких к нему людей. Эмма Герштейн запомнила характерный эпизод. Это было в тот самый день, когда тело Ахматовой привезли в Ленинград: «Гроб выносят и ставят на грузовик. На его высокой платформе уже стоит сын Ахматовой Лев Николаевич. В это время Надя (Н.Я.Мандельштам. – С.Б.) безоглядно бросилась к Леве, и там, на высокой платформе грузовика, они обнялись и плакали».

Правда, в восьмидесятые годы Гумилев как будто позабудет о помощи ахматовских друзей-евреев. Напротив, именно евреев он обвинит в своей ссоре с матерью. Достанется даже Эмме

Герштейн. Ирину Пунину, своего заклятого врага, Гумилев тоже уличит в связях с мировым еврейством: «…всё имущество моей матери, как вещи, так и то, что дорого для всего Советского Союза, — ее черновики, было захвачено ее соседкой Пуниной (по мужу Рубинштейн) и присвоено ею себе».

Роман Альбертович Рубинштейн, человек милейший, особой роли в «пунических войнах» не сыграл. Судя по воспоминаниям Анатолия Наймана, муж Пуниной был скорее фигурой комической. Но Гумилев принципиально подчеркнул «еврейский след» в таком важном для него деле.

Фразу о «Пуниной (по мужу Рубинштейн)» Гумилев произнес в 1987 году, ему исполнилось уже семьдесят пять лет. Известно, что с годами одни пороки исчезают, другие же разрастаются, как поганые грибы. Гумилев семидесятых – восьмидесятых вновь обрел дурную репутацию. На сей раз не без оснований.

Михаил Давидович Эльзон, даже работая над первым научным изданием стихов Николая Гумилева, не решился обратиться к его сыну именно из-за репутации Льва Николаевича: «…я не рискнул в свое время обратиться к человеку, любимым высказыванием которого (по легенде) было: "Русскому больному – русский врач" (свидетельство заведующего редакцией издательства "Наука" В.Л.Афанасьева)».

Если верить радиожурналистке Людмиле Стеклянниковой, Гумилев даже говаривал, будто «у Сталина было одно правильное дело – дело врачей».

Встречались у Гумилева и другие высказывания в том же духе, но это самое поразительное. Он был уверен, что евреи всех талантливых русских «берут на заметку» и «не дают им ходу», по этой причине не дают хода и его трудам. Сергею Семанову, известному русскому националисту, Гумилев сказал однажды: «Вы же понимаете, почему меня так поносят евреи?»

Разговоры с Рогачевским, Семановым и Стеклянниковой относятся к первой половине восьмидесятых, когда труды Гумилева ругали и не пускали в печать почти исключительно русские – Новосельцев, Плетнева, Бромлей, Козлов, Ковальченко, Рыбаков, Чивилихин, Кузьмин, причем трое последних были русскими почвенниками, националистами. Евреи-гонители, евреи-критики или остались в прошлом (Бернштам), или появятся в будущем (Лурье, Шнирельман, Янов), но сама связь между национальностью и приверженностью к теории этногенеза, мягко говоря, сомнительна.

В сознании многих русских антисемитов тех лет еврейство соединялось с масонством. Название либеральной газеты перестроечных времен «Московские новости» Гумилев

переиначивал в «Масонские новости», а Маргарет Тэтчер считал масоном «очень высокого ранга». Андрей Рогачевский записал несколько высказываний Льва Николаевича о зловещей роли масонов в русской истории: «"Пушкина погубили масоны (когда он [вступая в их общество] давал клятву, думал – это игрушки). Он писал патриотические вещи. Ему поставили ультиматум: или пиши то, что нам нужно, или мы объявим тебя стукачом. <…> Смерть Пушкина была выгодна только масонам – не царю же и не Бенкендорфу!" Я спросил, кому конкретно. В ответ прозвучало: "Например, Чаадаеву. Он был западником, принял католичество"».

Путь из евреев в масоны, а из масонов в католики изумляет, ведь масоны как раз были врагами католичества, а уравнивать западничество, еврейство и масонство и вовсе нелепо.

Быть антисемитом у нас – значит быть изгоем, непорядочным, «нерукопожатным» человеком, поэтому Инна Мееровна Прохорова в своих воспоминаниях о Льве Николаевиче решительно возражает всем недоброжелателям: «Нет ничего более чуждого Л.Н., чем антисемитизм…» Защищая Гумилева, Прохорова перекладывает ответственность на плечи Натальи Викторовны: «…не будучи в состоянии подняться до него – она постаралась опустить его до рупора собственных банальных националистических мыслей…» Рогачевский вспоминает, как после рассказа Гумилева о походе хазарского полководца Песаха на Киев Наталья Викторовна тут же прокомментировала: «Вот видишь, Лев, эти песахи уже тогда нам вредили!» Рогачевский, впрочем, не поддержал идею о «вредном влиянии» жены, но поведал о другой версии, ходившей тогда в кругах, близких ко Льву Николаевичу: на воззрения Гумилева «сатанинское влияние» оказал его «секретарь», некто К., под которым угадывается ученик Гумилева Константин Иванов.

Я не верю в сказки о «вредном влиянии», испортившем «хорошего человека». Гумилеву в год знакомства с Натальей Викторовной было за пятьдесят, с Ивановым он познакомился в 1976 году – Льву Николаевичу было уже за шестьдесят. Он всегда оставался человеком волевым, упрямым, убежденным в собственной правоте, и свои идеи Гумилев готов был отстаивать «от Сорбонны включительно до костра исключительно».

Эмма Герштейн прямо называла Льва Гумилева «антисемитом» и приписывала его антисемитизм влиянию бабушки, Анны Ивановны Гумилевой. Эмма Григорьевна знала Гумилева лучше, чем кто-либо другой, к ее словам стоит прислушаться.

Следствие по делу Николая Гумилева вел чекист Якобсон, а

все «Таганцевское дело» курировал Яков Саулович Агранов (Соренсон), которого сам Дзержинский называл «инквизитором». Вот и получается, что русского поэта погубили два еврея.[47]

Как могла Анна Ивановна относиться к убийцам своего сына? Что она могла сказать своему внуку, который вскоре после гибели отца почувствовал, что значит быть сыном контрреволюционера? Мы, конечно, знаем, что роль евреев, грузин, латышей в революции 1917 года велика, но все-таки это была именно русская революция и русский народ сыграл в ней роль исключительную, решающую. Среди следователей ЧК, ОГПУ, НКВД встречались русские, поляки, латыши, грузины. Дзержинский, Берзин, Ежов были не лучше и не добрее Агранова, Френкеля или Ягоды. Но легко говорить нам сейчас, легко анализировать спустя девяносто лет. А что должна была думать бедная Анна Ивановна? Как нам ее осудить?

Гумилева воспитали в благоговении к отцу. Как же он мог относиться к его убийцам? Конечно, он понимал, что преступления нескольких чекистов нельзя распространять на весь народ, но ведь человеком управляет не только рассудок, но и чувства.

Пепел Клааса, пепел сожженного отца стучал в грудь Тиля Уленшпигеля. «Пепел» расстрелянного отца стучал в груди Льва Гумилева. Поэтому он так легко и так надолго запоминал зло, если оно было сделано ему евреем. И так же легко забывал добро, сделанное другим евреем. Он как будто позабыл самоотверженность Эммы Герштейн, помощь Матвея Гуковского, дружбу с Осипом Мандельштамом, но зато помнил чекиста Аксельрода, который арестовал его в октябре 1935-го, помнил профессора Бернштама, помнил заведующего спецчастью Шварцера, помнил старшего лейтенанта Финкельштейна.

К счастью для всех, Гумилев не узнал об одной истории, которая произошла на могиле Ахматовой поздней осенью 1968 года. Мы помним, что Гумилев как раз установил на кладбище в Комарове памятник своей матери. А несколько недель или даже дней спустя в Комарово приехали Бродский и Найман. Отправились на ахматовскую могилу.

Из книги Анатолия Наймана «Рассказы об Анне Ахматовой»: «Мы увидели над ней новый крест, махину, огромный, металлический, той фактуры и того художественного исполнения, которые царили тогда во вкусах, насаждаемых журналом "Юность" и молодежными кафе. К одной из поперечин был привинчен грубый муляж голубки из дешевого блестящего свинца или цинка. Рядом валялся деревянный крест, простой, соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. <…> Это

было оскорбительно и невозможно, как ослепляющая глаз пощечина. И мы принялись выдирать новый, чтобы поставить старый. Земля была промерзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не получилось».

Вернувшись в Ленинград, Найман и Бродский рассказали эту историю Жирмунскому. Престарелый академик понял, какой беды удалось избежать. Он встал и перекрестился: «Какое счастье! Два еврея вырывают православный крест из могилы – вы понимаете, что это значит?»

Перекрестимся и мы вслед за Жирмунским. Бог уберег. Страшно представить реакцию Гумилева, страшно подумать, какие последствия имел бы легкомысленный поступок двух молодых поэтов.

Когда стихи Николая Гумилева вышли в «Большой серии "Библиотека поэта"», М.Д.Эльзон все-таки принес книгу Льву Николаевичу. Дело было, видимо, уже в 1989 году, у Гумилева младшего как раз вышла новая монография – «Древняя Русь и Великая степь». Но Гумилев долго не хотел дарить ее Эльзону, и лишь 17 декабря 1989-го сменил гнев на милость, и даже подписал: «Дорогому Михаилу Давидовичу Эльзону от автора. Л.Гумилев».

Однажды они сидели со Львом Николаевичем на кухне, у Гумилева из глаз текли слезы: «Михаил Давидович, я не виноват, что у моего отца и у меня все следователи были евреи и меня очень больно били». Хотя у Льва Николаевича следователи были по преимуществу русскими, по крайней мере носили вполне русские фамилии. Вряд ли Андрей Кузьмич Бурдин, Иван Никитич Меркулов или Василий Петрович Штукатуров были хорошо замаскированными иудеями. Фамилия Бархударьян тоже отнюдь не еврейская. Но Льву Гумилеву было довольно и следователей, погубивших его отца.

Впрочем, есть и еще одна версия. Почему бы не применить к «еврейскому вопросу» Гумилева его собственную гипотезу о комплиментарности? Быть может, он не случайно так быстро поссорился с Бернштамом, так внезапно попал в опалу у Финкельштейна?

Трудно сказать, ведь к Эмме Герштейн в тридцатые годы у него не было неприязни, и с Ардовыми Гумилев тогда дружил. Дружеские отношения с Н.Я.Мандельштам, дамой резкой и ядовитой, Гумилев сохранял очень долго. Несмотря на «дурную» репутацию Гумилева, которая к 1980 году уже прочно сложилась, Надежда Яковлевна приглашала его и Наталью Викторовну в гости: «Милые Наташа и Левка! <…> Приехали бы – было бы очень мило. Левка ведь доктор наук и многокнижный человек:

туда на такси за трешку, обратно – поездом». Письмо Надежда Яковлевна завершала своей обычной в таких случаях фразой: «Целую вас обоих».

Так что природной юдофобии, то есть отрицательной комплиментарности к евреям, у Гумилева все-таки не было.

Видимо, росток антисемитизма появился еще в детские годы. Несколько десятилетий он не развивался, но и не погибал, не исчезал никогда. А в последние двадцать пять лет жизни этот росток разросся, созрел, дал плоды, в том числе и плоды творческие.

Создается впечатление, будто бы с годами Гумилев относился к евреям все хуже, что сказывалось и на его научных работах. Между тем сама теория Гумилева позволяет совершенно разрушить антисемитские мифы, от «кровавого навета» до «всемирного еврейского заговора». Более того, теория Гумилева непротиворечиво объясняет истоки и причины антисемитизма. Не зря Сергей Семанов, издатель и публицист, летописец русского национального движения, однажды запальчиво бросил Гумилеву: «Ваш бытовой антисемитизм вполне уживается со служением Сиону».

Но отбросим эмоции Гумилева, оставим только железную логику его теории межэтнических контактов. Современные евреи – суперэтнос, то есть система из нескольких относительно близких друг другу этносов: сефарды, ашкенази и т. д. Контакты на суперэтническом уровне всегда болезненны, вспомним историю «варварских царств» в Поднебесной, Украину при Хмельницком или Индию времен Аурангзеба, когда могущественное государство Великих Моголов начало разваливаться из-за взаимной враждебности индусов и мусульман. Из примеров поближе – Югославия и Кавказ.

Столкновение суперэтносов, если оно длится десятилетия или столетия, всегда трагично. Но евреи привыкли жить в условиях такого контакта если не с Навуходоносора, то уж точно со времени Иудейских войн. Трагедия продолжалась из столетия в столетие. Постоянная жизнь в агрессивном, враждебном окружении закалила народ, сделала его устойчивым, но эти же свойства способствовали взаимному отторжению евреев и других народов, с которыми вместе им приходилось жить: немцев, французов, поляков, украинцев, русских, даже англичан. Комплиментарность евреев с большинством европейских этносов оказалась отрицательной. Правых и виноватых здесь не найти, отношения между народами не определяются волей отдельных людей, а казнить историю и природу мы не в силах.

Нет народов-преступников. И сам Гумилев в своей самой

скандальной, едва ли не антисемитской работе в конце концов возвращается к логике своей теории: «Может показаться, что агрессия в интересах купеческой верхушки иудейской общины, произведенная руками хорезмийских наемников и воинственных русов, была плодом злой воли хазарских царей Вениамина, Аарона и Иосифа. <…> Но если мы попытаемся осудить за создавшуюся ситуацию иудейскую общину Хазарии, то немедленно встанет вопрос: а чего было ждать?»

Культуролог Константин Фрумкин с удивлением заметил, что теория Гумилева не позволяет свалить все беды народа (Фрумкин писал о русских) на происки евреев или козни Запада. Если у русских и евреев комплиментарность отрицательная (хотя я, например, в этом не уверен), то из теории Гумилева неизбежно следует, что вины еврейского народа в этом нет, как нет и вины народа русского.

Этногенезом и межэтническими контактами управляет не воля злодеев, интриганов, манипуляторов, а объективные закономерности, за которыми, возможно, стоят законы природы.

Значит, все сказки о всемирном заговоре, все фальшивки вроде «Протоколов сионских мудрецов» на самом деле ничего не стоят.

Случай с евреями оказался не каким-то странным, не виданным в мировой истории исключением. Антисемитизм – лишь частный случай отрицательной комплиментарности, примеров которой в истории – не сосчитать.

Однако теория Гумилева оправдывает народы, а не отдельных людей. Неприязнь немца к еврею или еврея к немцу – не преступление, ведь мы не считаем преступлением любовь или антипатию. Но вот если немец убьет еврея или донесет на него в гестапо, то это будет уже преступление, которое нельзя оправдать никакими закономерностями этногенеза.

Часть XVIII

МИРОЛЮБИВЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ

Русский историк Аполлон Кузьмин много лет начинал свою лекцию о татаро-монгольском иге с того, что доставал из портфеля старый, 1980-го года, журнал «Огонек» и, собрав весь отпущенный ему природой сарказм, зачитывал фразу: «В XIV веке на Руси антиордынские настроения выкристаллизовались в мощное движение, связанное с новым взрывом этногенеза, которое возглавил Сергий Радонежский». Слушатели хохотали: Кузьмин цитировал скандально известную статью Гумилева «Эхо Куликовской битвы».

Гумилев писал в «Огоньке» и еще раньше в «Дружбе народов» («С точки зрения Клио») о вещах поразительных. Не только простой читатель или советский интеллектуал, но и профессиональный историк, должно быть, с изумлением протирал свои очки: да так ли, верно ли он прочитал? Оказывается, Александр Невский помог хану Батыю, вождю оккупантов и поработителей, погубителю русской земли, удержаться у власти и взамен «потребовал и получил помощь против немцев и германофилов». Это было неправдой, но неправда померкла перед другими, еще более грандиозными «открытиями» Гумилева.

Татаро-монгольское иго под его пером превратилось в «союз» с Ордой или русско-татарский «симбиоз». Оккупанты стали защитниками Руси от немецкой и литовской угроз, а Куликовскую битву, как оказалось, выиграли потомки крещеных татар, перешедших на службу московскому князю. Более того, великий князь Дмитрий Иванович на Куликовом поле сражался с «агрессией Запада и союзной с ней ордой Мамая».

Эта, мягко говоря, неортодоксальная версия русской истории была изложена Гумилевым ясно, логично, убедительно, с присущим ему литературным блеском.

Но чтобы оценить взгляды Гумилева на отношения русских с татарами, монголами, половцами, нам придется перенестись на десять лет вперед, когда из печати вышли последние и очень популярные книги Гумилева – «Древняя Русь и Великая степь» (первый тираж – 50 тысяч, потом книга переиздавалась каждый год) и «От Руси до России» (первый тираж – 100 тысяч). Там Гумилев сказал все, что мог, все, что хотел.

Прежде всего степняки, в особенности монголы XII-XIII веков, для Гумилева – образец доблести, мужества, честности, благородства: «…монголам XII в. показалось бы удивительным, что можно отдавать жизнь ради приобретения земель, которых

так много, ибо население было редким, или стада овец, потому что их следовало быстро зарезать для угощения соплеменников. Но идти на смертельный риск, чтобы смыть обиду или выручить родственника, — это они считали естественным и для себя обязательным. Без твердого принципа взаимовыручки малочисленные скотоводческие племена существовать не могли».

Именно благородство монголов, то ли врожденное, то ли привитое Чингисханом, и стало причиной монгольских завоеваний. Вот правитель Хорезма Мухаммед Гази приказал убить монгольских послов, и монголам не оставалось ничего другого, как разгромить его государство, сжечь и разграбить процветающие города – Ургенч, Самарканд, Бухару, Балх, Мерв. Дальнейшее завоевание Ближнего Востока – покорение Ирана, Закавказья, Сирии, уничтожение Багдадского халифата – были вызваны всего лишь необходимостью «закрепиться на какомто рубеже». Этот процесс занял сорок лет, «какой-то рубеж» искали на пространстве от Амударьи до Иерусалима. Таких миролюбивых завоевателей еще не знала история.

В очерке о «Черной легенде» Гумилев уточнил задачу монголов: они, оказывается, должны были «отогнать врагов от своих установившихся границ, чтобы в случае продолжения войны с Китаем не получить удар в спину». Широка же была монгольская «спина»! Читатель, не поленись, возьми карту и посмотри, где находится Багдад, где Палестина, а где Китай.

Взятие Багдада войсками Хулагу в 1258 году стало одной из крупнейших катастроф в истории культуры, сопоставимой с разрушением Рима вандалами. А уничтожение багдадского Дома Мудрости – исламской академии, основанной халифом ал-Мамуном, — можно сравнить разве что с гибелью Александрийской библиотеки. Погибли бесценные рукописи – плоды золотого века арабской литературы, науки, философии. Волны Тигра почернели от смытых чернил. Были разрушены дворцы и мечети, больницы и библиотеки. Гибель же десятков тысяч жителей страшно и представить.

Дорого же обошлось человечеству стремление монголов «закрепиться на каком-то рубеже».

КАК УБИВАЮТ ГОСТЕЙ

Согласно Гумилеву, монголы завоевали бóльшую часть Евразии просто потому, что должны были как-то отомстить за своих послов, убитых злыми русскими, хорезмийцами, европейцами. Вдумаемся: жизнь монгольских послов (исполнявших помимо дипломатических и шпионские обязанности) была, по мнению Гумилева, намного ценнее, чем жизни сотен тысяч жителей богатых, культурных, процветающих стран.

Вот и в битве на Калке, и в разорении татарами Русской земли Гумилев обвиняет в первую очередь русских князей, которые в 1223 году приказали убить монгольских послов. Гумилев недоумевает, почему историки до Георгия Вернадского не обращали на это внимания: «А ведь это подлое преступление, гостеубийство, предательство доверившегося!» Гумилев искренне возмущается вероломством русских и превозносит нравственность монголов: «Предателей и гостеубийц уничтожали беспощадно вместе с родственниками, ибо, считали они, склонность к предательству – наследственный признак. <…> Города, в которых были убиты парламентеры, монголы называли "злыми городами" и громили их, считая, что это справедливо».

Здесь Лев Николаевич противоречит самому себе. В книге «Древняя Русь и Великая степь» он списывает причину завоевательных войн на конфликт культур: китайцы, русские, хорезмийцы, венгры не понимали, что послов убивать нельзя, а монголы мстили невеждам: «…из-за убийства послов погибла империя Сун и была разорена Венгрия. Католические и мусульманские авторы приписывали эти разрушения особой кровожадности монголов, умалчивая о причинах этих войн».

Но в этой же книге Гумилев утверждает, будто русские понимали и одобряли действия монгольских «мстителей»: «Так были разрушены Балх и Козельск, причем последнему никто не оказал помощи, хотя рядом были Смоленск, Киев и Чернигов, а владимирский князь Ярослав ходил с войском на Литву. Видимо, они знали, из-за чего гибнет Козельск. И отнюдь ему не сочувствовали». Кстати, жители Козельска монгольских «парламентеров» не убивали. Поэтому Гумилев делает оговорку: Козельск пострадал как город, относившийся к Черниговскому княжеству, а черниговский князь Мстислав участвовал в убийстве монгольских послов перед сражением на Калке. Получается, что убийство посла – повод для геноцида?

Если верить Гумилеву, монголы были просто уникальным в

истории человечества народом – они никогда не лгали и оттого были слишком доверчивы, легко поддавались на чужие хитрости, ведь они и вообразить не могли, что такое обман. Вот и в XIV веке хан Тохтамыш, наивный и честный сибиряк, поверит гнусному доносу суздальских князей и пойдет войной на великого князя Дмитрия Ивановича, которому был обязан победой над своим соперником Мамаем.

Вообще-то история похода Тохтамыша на Москву всегда считалась образцом вероломства. За сто сорок лет до похода Тохтамыша о коварстве монголов писал Джованни дель Плано Карпини, посол папы Римского, который побывал в середине XIII века при дворе великого хана: «…они гораздо более лживы, чем другие люди, и в них не обретается никакой почти правды; вна чале, правда, они льстивы, а под конец жалят как скорпион. Они коварны и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью».

А не лжет ли папский легат? А зачем же ему лгать? Монголы оставили по себе такую память в Польше, Богемии, Венгрии и Хорватии, что трудиться над созданием образа врага не было никакой необходимости. К тому же Плано Карпини пишет не только о дурных, но и о хороших качествах монголов: их взаимовыручке, выносливости, о целомудрии женщин, о дружбе мужчин. Кроме того, сам Лев Николаевич охотно ссылался на сочинение Плано Карпини, следовательно, вполне доверял свидетельству папского легата. Только вот его характеристику нравственного облика монголов ни разу не вспомнил.

Не вспомнил Гумилев и «Повесть о разорении Рязани Батыем», где говорится как раз об убийстве послов, только не татарских, а русских. Князь рязанский Юрий Федорович сам отправился с послами в лагерь Батыя на реку Воронеж и просил того не ходить войной на Рязанскую землю. Батый выдвинул встречное условие – потребовал жену князя: «Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей». Когда князь с негодованием отказался от такого лестного предложения, Батый приказал убить князя и его спутников. Может быть, Гумилев не доверял источнику, ведь «Повесть о разорении Рязани Батыем» – произведение художественное? Доверял, ведь он эту повесть цитировал, опирался на нее, например, в своей книге «От Руси до России».

Как вполне доверял и Плано Карпини, который рассказал о том, как Туракина, мать хана Гуюка, отравила великого князя Ярослава Всеволодовича. Если трактовать это преступление так, как Гумилев трактует убийства монгольских послов, то окажется, что перед нами то же самое предательство доверившегося! Значит, и монголы были достойны повального геноцида, если бы

русские витязи каким-то чудом могли добраться до берегов Толы и Керулена? Оказывается, нет, ведь и в этом убийстве виноваты не монголы, а русские: «доверчивая», «импульсивная» Туракина, «простодушная сибирячка», поверила доносу русского мерзавца и, самое главное, «агента Лионского собора», то есть католического шпиона боярина Федора Яруновича. На самом деле ни о каком доносе не было и речи. Перед нами фантазия, которую трудно выдать даже за реконструкцию.

«ВЕЛИКИЙ КАВАЛЕРИЙСКИЙ РЕЙД»

Вообще русским в сочинениях Гумилева крепко достается. Они не только вероломно убивают беззащитных монгольских парламентеров, но даже имеют наглость сопротивляться доблестным монгольским войскам.

Известно, что ни рязанские князья, ни великий князь Владимирский Юрий Всеволодович не участвовали в битве на Калке, а значит, не были причастны и к убийству послов. Но именно на рязанскую и владимиро-суздальскую землю пришелся первый, самый страшный удар Батыя и Субудай-багатура.

В чем была их вина? В том, что не сдались монголам. Вместо того чтобы дать монголам все необходимое – от продовольствия и фуража до жен и девиц, — русские посмели оказать сопротивление, а всем, кто воевал с монголами, Гумилев, мягко говоря, не сочувствовал. Зато Гумилев с симпатией писал о предателях и трусах, предпочитавших откупиться от монголов и обеспечить их свежими конями и продовольствием: «Жители богатого торгового Углича, например, довольно быстро нашли общий язык с монголами». Так же поступили и жители Болоховской земли на верхнем Южном Буге: «Оказалось, что ссориться с татарами вовсе не обязательно». Гумилеву и в голову бы не пришло хвалить русских, без боя сдавшихся, скажем, немцам, шведам или полякам. Солдат и сын солдата, он восхищался воинской доблестью даже нелюбимых им евреев. Но как только дело касалось войн с половцами, монголами, татарами, все менялось.

В чем виноваты жители Торжка, поголовно вырезанные монголами? В том, что не сдались вовремя. Кто виноват в разгроме Владимира, Киева, Рязани? Князья, которые не смогли ни договориться с монголами, ни организовать крепкую оборону. Ну допустим. А сами монголы неужели вовсе ответственности не несут? Скажете, время такое было, все были жестоки. Гумилев охотно вспоминает о жестокости противников монголов: новгородцы изрубили суздальцев в битве при Липице, наемники хорезм-шаха Мухаммеда разграбили Самарканд, войска его сына Джелаль-ад-Дина, злейшего врага монголов, еще до прихода последних разорили Грузию, немцы насаждали католичество огнем и мечом. Всё так, жестокость монголов соответствовала жестокости их врагов, но нравы монголов ужасали даже привычных ко всему современников: «…они обычно берут иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в растопленном виде на дома, и везде, где огонь попадает на этот жир, он горит,

так сказать, неугасимо», — писал Плано Карпини.

Георгий Владимирович Вернадский, русский историк, в молодости евразиец, писал о жестокостях монголов по возможности сдержанно, однако и он признавал: «Даже если число мужчин, женщин и детей, убитых на пути их вторжения, преувеличено хронистами, общее число жертв монгольских войн могло достигать нескольких миллионов. Счет потерь шокирует. Ни одна территория и период истории не знали подобной концентрации массовых убийств».

«Бегло, не заметив противника, прошла монгольская 30-тысячная рать через нашу Русскую землю, преследуя уходящих половцев, а затем через Польшу, Венгрию, Болгарию и вернулась домой», — писал Гумилев в 1989 году. Он представил нашествие Батыя «большим набегом» или «великим кавалерийским рейдом», который будто бы особого вреда Русской земле принести не мог, ведь зимой 1238-го монголы взяли и сожгли всего-то «14 деревянных городов».

Но откуда вообще появилась цифра 14 городов? Выдумал ее Гумилев? Нет, не выдумал, хотя и ссылку, где положено, не дал. А цифра эта взята из Лаврентьевской летописи, где сказано, что четырнадцать городов татары «в един февраль месяц взяша». Только за один месяц! А всего за военную кампанию, которая началась в ноябре 1237-го, а окончилась к лету 1238-го? Более сорока городов, среди них стольный Владимир, Старая Рязань, Суздаль, Переяславль-Залесский, Волок Ламский, Кашин, Тверь, Ржев, Дорогобуж, Вязьма, Стародуб-на-Клязьме, Боголюбов, Торжок, Коломна, Москва. Даже до северной далекой Вологды дошли татаро-монгольские отряды. Древний Муром и богатый торговый Нижний Новгород монголы разорили позднее, уже в 1239 году. В том же году дошла очередь и до богатой Черниговской земли, в 1240 году – до Киева, одного из самых больших, самых богатых и культурных городов тогдашней Европы. Гумилев лишь мельком упоминает о взятии Киева. Летописец писал подробнее и ярче: «Взяша Киев татары, и святую Софию разграбили, и монастыри все, и взяли иконы и кресты и узорочье церковное, а людей, от мала до велика, всех убили мечом».

Пять лет спустя в бывшем стольном граде Русской земли побывал известный нам Плано Карпини. Он оставил нам достоверное описание Киевщины: «Когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на поле, ибо этот город был весьма большой и очень многолюдный; а теперь он сведен почти ни на что, едва существует там двести домов, а людей там держат они в самом

тяжелом рабстве».

«ПАМЯТЬ»

Отношения между русскими землями и Золотой Ордой, сначала западным форпостом Монгольской империи, а затем и самостоятельным степным государством, созданным потомками Джучи – старшего сына Чингисхана, обычно называют татаро монгольским игом, а Гумилев называл эти отношения русско татарским то «симбиозом», то «союзом». Суть этого симбиоза, напомним, в следующем. Татары вовсе не собирались устанавливать свою власть над Русью, потому что у них было слишком мало сил. Но Руси угрожало наступление агрессивных европейских государств – Швеции, Дании, Ливонского ордена, и мудрый Александр Невский заключил союз с ханом Батыем, побратался с его сыном Сартаком, заставил корыстных и недальновидных русичей выплачивать татарам дань, а взамен татары стали защищать Русскую землю от немцев, шведов, литовцев. Так благодаря симбиозу с татарами сохранилась и со временем расцвела самобытная русская культура, укрепилась православная церковь. В общем, русские платили татарам не дань, а за свою безопасность, а татары свои деньги честно отработали, да и платили им русские не так много.

Немудрено, что все разумные русичи должны были радоваться такому «союзу с Ордой». Воевать же с татарами могли только люди бездарные, глупые, недальновидные, да просто пьяные. Новгородский князь Василий Александрович, поддержавший антимонгольские выступления горожан, по словам Гумилева, был «дурак и пьяница», хотя ни об умственных способностях князя, ни о пристрастии к алкоголю историкам ничего не известно. Новгородским смутьянам по приказу Александра Невско го выкалывали глаза. Гумилев интерпретировал мотивы князя следующим образом: «Глаза человеку все равно не нужны, если он не видит, что вокруг делается».

Суздальцы, которых в 1377 году разбил на реке Пьяне ордынский царевич Арапша (Арабшах), «все были пьяны». Москвичи, оказавшие в 1382 году войскам хана Тохтамыша сопротивление, по словам Гумилева, хотели «только выпить и погулять», а когда «был выпит весь запас спиртного», решили наконец «договориться с татарами». То есть протрезвели.

На самом деле о пьянстве москвичей в 1382-м говорится только в Новгородско-Софийском летописном своде: его составители оправдывали митрополита Киприана, который бросил свою паству на произвол судьбы и бежал из Москвы перед

нашествием татар. В других источниках ничего подобного нет. Гумилев, так любивший покритиковать летописцев, здесь почему то без критики принимает однуединственную, видимо, близкую ему точку зрения.

Столь «свежий» взгляд на историю России возмутил историков. Первые дискуссии о татаро-монгольском иге начались еще в конце семидесятых – начале восьмидесятых. Но самым ярким и талантливым критиком Гумилева оказался не профессиональный историк вроде Кузьмина, Лурье или Толочко, а русский писатель Владимир Алексеевич Чивилихин, автор книги, которая навеки останется в истории русской культуры. Речь – о романеэссе «Память».[48]

Эта книга не поддается пересказу. Жанровые рамки романа эссе объединили автобиографическую прозу, литературоведческие изыскания (об авторстве «Слова о полку Игореве»), публицистику и несколько исторических исследований, весьма профессиональных, со ссылками на источники, с разбором историографии вопроса. Поражает их размах: от судьбы малоизвестных декабристов до древнейшей истории славян. Сам Чивилихин называл композиционным центром книги героическую оборону Козельска, маленькой деревянной крепости, которая на семь недель задержала войска Батыя и Субудай-багатура. История монгольского похода на Русь и борьба русских людей против татаро-монгольского ига занимает добрую половину второй части романа.

Чивилихин скромно не называет себя историком, но признается, что предпочитает изучать прошлое Руси не по сочинениям Карамзина, Ключевского, Соловьева, Насонова (хотя историографию знал прекрасно), а непосредственно по русским летописям. Судя по этой книге, Чивилихин стал очень хорошим знатоком русского летописания. По крайней мере, если сравнить его с доктором исторических наук, главным героем нашей книги.

Чивилихин, исследователь добросовестный, даже дотошный, внимательно изучил сочинения Гумилева. В пассионарной теории этногенеза, правда, он совершенно не разобрался, да она Чивилихина и не заинтересовала. Другое дело – «кавалерийский рейд» Батыя и русско-татарский «симбиоз».

Вот Чивилихин цитирует Гумилева: «Две кампании, выигранные монголами в 1237-1238 и 1240 гг., ненамного уменьшили русский военный потенциал. Например, в Великой Руси пострадали города Рязань, Владимир и маленькие Суздаль, Торжок и Козельск».

«Две короткие фразы, но сколько в них пренебрежения очевидными данными истории, сколько сознательно

передернутых фактов, сколько оскорбительного для наших предков, а значит, и для нас!» — негодует Чивилихин.

«Что бы вы подумали, дорогой читатель, — продолжает автор "Памяти", — если б вдруг узнали, что в 2700 году, то есть также через семьсот с лишним лет после событий, некий ученый напечатает на нашей с вами родине книгу, в которой сделает следующее сенсационное открытие: за несколько кампаний, "выигранных" немецкими фашистами в 1941-1942 гг., пострадали города Минск, Сталинград и маленькие Торжок, Жиздра и Козельск? Такое сравнение при всей его полемичности хорошо иллюстрирует методику Л.Н.Гумилева. Ведь почти во всех русских городах орда полностью уничтожала жилища и население, включая, как сообщается в летописях, младенцев, "сосущих млеко"».

ПИСАТЕЛЬ ПРОТИВ СОЧИНИТЕЛЯ

Чивилихин подметил не исторический, а лингвистический метод Гумилева. Такой метод применяют, чтобы ввести в заблуждение собеседника, не покривив душой и не погрешив против истины. Этим искусством в совершенстве владеют опытные политики и высококлассные журналисты. Вот как рассказывает о таком «литературном» методе русский писатель Георгий Владимов.

Иван Степанович Конев поставил памятник в честь разгрома Корсунь-Шевченковской группировки немцев и велел выбить на пьедестале надпись, которую сам же и сочинил: «Не будучи филологом – и против истины не греша, — замечает Владимов, — он проявит, однако, немалую тонкость в понимании русской фразеологии, где подлежащее и сказуемое имеют решающее преимущество перед вялым дополнением: "Здесь танкисты 2-го Украинского фронта под командованием генерала армии И.С.Конева пожали руки танкистам 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Н.Ф.Ватутина, тем самым завершив окружение вражеской группировки немецко-фашистских войск…"»

А ведь лет сорок никто и не замечал хитрости Ивана Степановича, при этом бóльшая часть славы за Корсунь-Шевченковскую операцию досталась именно ему и его фронту.

Если уж генерал умел так тонко использовать возможности русского языка, то что говорить о Льве Николаевиче? Сын двух поэтов и сам блестящий писатель, Гумилев понимал, как правильно избранное слово или даже интонация могут изменить смысл написанного. Правда, в отличие от маршала Конева, он обращал внимание не столько на синтаксис, сколько на лексику. Туракину, мать великого хана Гуюка, Гумилев называл «простодушной сибирячкой». Так отравительницу великого князя Ярослава Всеволодовича Гумилев превратил в милую, хочется даже сказать – добрую (простодушие ассоциируется у нас с добротой) женщину, в жертву коварной интриги русского боярина. Настоящая мать Гуюка, видимо, была женщиной совсем другого склада, а травили гостей эти «простодушные» люди не так уж редко. Именно от яда умер Есугей-багатур, отец Чингисхана. До сих пор не ясно, умер ли от пьянства сын Чингисхана великий хан Угэдей, или же его отравила еще одна «простодушная сибирячка».

«Литературный» метод понравился Гумилеву, и вот уже хан Тохтамыш предстает под пером Гумилева (точнее, под клавишами

его пишущей машинки «Континенталь») «простодушным, честным сибиряком», которого обманывают коварные суздальские князья, хотя этот «честный сибиряк» подлым обманом взял Москву и устроил в городе резню. Редкий для средневековья случай: мы достаточно точно знаем даже количество жертв – 24 тысячи человек. Это почти всё население города с пригородами, ведь за московскими стенами искали спасения и жители соседних деревень. Кроме того, татары грабили церкви, срывали с икон драгоценные оклады, а иконы топтали. Соборные церкви были до самых стропил набиты книгами. Все они погибли в один день.

Метод работал почти безотказно. Двадцатитысячную армию Кит-Буги-нойона Гумилев назвал «крошечной», и Сергей Борисович Лавров, доктор наук и президент Географического общества, послушно повторил за Гумилевым: «крошечная армия». Между тем двадцать тысяч для Средневековья – это очень много. С двадцатью тысячами Субудай и Джэбе победили русских в битве на Калке. Лишь немногим больше, видимо, было войско Батыя – 30 тысяч. В те времена друг с другом воевали не миллионные армии, а небольшие отряды, дружины профессиональных воинов.

Наконец, в своей бесконечной войне за честь и доброе имя степных народов Гумилев все чаще называл кочевников «авелями», а земледельцев «каинами», и опять-таки против истины не грешил. Библейский Авель и самом деле был пастухом.

«Литературный» метод Гумилев использовал по необходимости, ведь ему приходилось защищать практически безнадежную позицию. Русские летописи единодушно писали о безжалостности татар, о разрушении русских городов, о постоянной угрозе, от которой приходилось или откупаться серебром, или отбиваться копьями и стрелами. Наверное, поэтому Гумилев так не любил летописи и летописцев. И вот что интересно. Лев Гумилев, сам профессиональный археолог, до 1967-го почти каждое лето проводивший в экспедициях, практически не привлекает археологические источники в своих «древнерусских» статьях и книгах. Почему же? Ведь археология как раз и дает возможность проверить правдивость летописца.

В том-то и дело, что раскопки подтверждают картину страшного разгрома. Вот в 1946 году археологи во время раскопок на Большой Житомирской улице Киева «обнаружили огромное количество беспорядочно лежащих человеческих костей. В хорошо сохранившейся печи найдены два маленьких скелетика». Дети пытались спастись в остывшей печи от монгольских ли сабель, или от начинавшегося пожара. И это только один из множества примеров. Типичная картина раскопок: битые горшки, случайно оброненные серьги, кольца, ножики,

фрагменты чьей-то кольчуги и еще много всего, остатки зданий, а выше – слой золы и пепла.

Гумилев писал, будто бы сожженные монголами города отстроили уже весною. Богатое же воображение у Льва Николаевича! Многие города вообще не возродились. Некому их было отстраивать, жителей или перебили, или угнали в полон. Старая Рязань, большой даже по масштабам тогдашней Европы город с населением 25 тысяч или 30 тысяч жителей (в три раза больше Бристоля и Гамбурга), после Батыева разорения так и не оправилась. Столицу Рязанского княжества перенесли в Переяславль-Рязанский (нынешнюю Рязань). Разорили монголы и другой Переяславль, расположенный в Поднепровье – древней Русской земле. 3 марта 1239 года «взяли татары Переяславль-Русский, и епископа убили, и людей избили, и град пожгли огнем, и людей полона много взяли». Один из самых значительных городов южной Руси опустел. Каменный собор лежал в развалинах до середины XVII века. Прежнего значения этот город себе так и не вернул.

Иные города теперь известны нам только по древнерусским летописям, а где искать их развалины, мы даже не знаем. Другие, как, например, Вщиж (северо-западнее Брянска), открытый академиком Рыбаковым, теперь известны только благодаря археологическим раскопкам.

Но поход Батыя был только началом великого разорения Русской земли. С середины XIII века русские княжества платили дань правителю Золотой Орды. Крестьяне платили по половине гривны серебра с сохи, горожане – по половине гривны со двора, то есть с хозяйства. Гривна – это увесистый слиток серебра. Для удобства расчетов гривну стали рубить на два, так и появился рубль. Слиток серебра с двух сох, с двух крестьянских хозяйств – это много даже для процветающей страны, а тем более много для страны, разоренной частыми и жестокими набегами степняков.

Была еще тамга – таможенная пошлина, — ее платили золотом, был «ям» (на оплату заведенной татарами почтовой службы), были многочисленные «подарки», которые требовали себе татары, приезжавшие в русские земли по делам, были, наконец, взятки ордынским чиновникам, подарки ханским женам – в руках хана был ярлык на княжение, и этот ярлык еще надо было получить…

Неудивительно, что на долгие годы на Руси прекратилось каменное строительство, пришло в упадок ювелирное искусство (уровня начала XIII века русские мастера не смогут достигнуть и к веку XV). В стране просто не стало платежеспособных заказчиков, да и лучших мастеров монголы угнали в Каракорум.

Немудрено, что в разоренной стране не хватало денег, чтобы выплатить дань. Что же было тогда? Де Рубрук пишет: «Когда русские не могут дать больше золота или серебра – татары уводят их и их малюток, как стада, чтобы караулить их животных». Работорговля была прибыльным делом, а русские рабы (в Европе их иногда называли «белыми татарами») появлялись в гвардии египетского султана, в прислуге богатых итальянских домов, в гаремах развращенных восточных правителей.

И такая жизнь продолжалась больше двух веков! Нет, если использовать теорию Гумилева, то перед нами никак не симбиоз, а самая настоящая химера.

Но, может быть, жертвы были оправданы, а «союз с Ордой» спас русскую землю от худшей напасти, от коварных папских прелатов, от беспощадных псов-рыцарей, от порабощения не только физического, но и духовного? Может быть, Гумилев прав, и татарская помощь стоила любых жертв? Вот только вопрос, а в чем же заключалась эта помощь? На Чудском озере никаких монголов не было, не появились они и позже. 18 февраля 1268 года русское войско под командованием Дмитрия Александровича (одного из сыновей Александра Невского) и псковского князя Довмонта (крещеного литовца, сына литовского князя Миндовга от полоцкой княжны) разгромила отборное датско-немецкое войско в знаменитой Раковорской битве. Немецких рыцарей погибло больше, чем даже на Чудском озере. Татары здесь русским никак не помогали. Сам Лев Николаевич после долгих поисков нашел только одно свидетельство того, как татары послали на помощь русским небольшой отряд, который так и не вступил в дело, потому что немцы поспешили заключить мир. Татары даже за деньги не спешили проливать свою кровь ради русских интересов, а вот русским приходилось воевать во имя интересов татарских. Русские ратники участвовали и в междоусобной войне между Тохтой и Ногаем, и в покорении кавказских горцев. Так что и здесь русской земле и русским людям от «симбиоза» был сплошной вред.

С литовцами татары, конечно, воевали, но что русским от этих войн? Сам по себе поход татар на Литву через русские земли был величайшим несчастьем именно для русских, потому что татары не щадили земель своих «союзников».

Сторонники Гумилева любят приводить такой пример. Был выбор перед русскими княжествами. Александр Невский решил подчиниться монголам, и на месте Залесской Украины (Владимиро-Суздальской земли) выросла Великая Россия. А вот Даниил Галицкий опирался на Запад, искал поддержки у венгерского и польского королей, получал корону от Папы Римского, и в результате на много веков юго-западная Русь стала провинцией польско-литовского государства.

На самом деле особенного выбора у русских князей не было. И Александр Невский, и Даниил Галицкий умерли ордынскими данниками. Лев Данилович хоть и унаследовал от своего отца западнический титул «короля Руси» и претендовал на польскую корону, но продолжал платить дань Орде, а галицко-волынские воины участвовали в татарских походах и набегах на Польшу и

Литву.

Но в 1362 году великий князь литовский Ольгерд разбил татар в битве при Синих Водах. Татаро-монгольское иго в юго-западной Руси пало, а Литва и Польша начали воевать друг с другом за Галицию и Волынь. Так что с функцией «защиты» русских земель от угрозы с Запада татары тоже не справились. Именно это завоевание, а не выбор Даниила Галицкого или Михаила Черниговского, привело древние русские земли под власть сначала языческих, а затем и католических правителей. Но это уже другая история.

Гумилев изображает вторую половину XIII века и начало века XIV как лучшую пору русско-татаро-монгольского «симбиоза». «До 1313 г. на огромном Евразийском пространстве сохранялся "Золотой век"», — рассказывал Гумилев своему знакомому татарину Дауду Аминову. «Так союз с Ордой во второй половине XIII века принес Северо-восточной Руси вожделенный покой и твердый порядок», — писал Гумилев в своей последней книге.

Запомним эту фразу и посмотрим, что же было на самом деле. Советский историк Вадим Викторович Каргалов подсчитал, что во второй половине XIII века татары вторгались в пределы русских княжеств четырнадцать раз.

Владимир Чивилихин первым выступил против гумилевской концепции «симбиоза». Знаток русских летописей, он сделал сводку (правда, неполную) татарских набегов, приходившихся как раз на время «вожделенного покоя и твердого мира». Приведем здесь только один пример.

1293 год. «Самый страшный год второй половины XIII века. За краткой летописной строкой "в лето 6801 Дюдень приходилъ на Русь и плени градов 14 и пожьже" кроется, по сути, новое нашествие, что не уступало, пожалуй, разору при нашествии Бату-Субудая, потому что Дюдень никуда не спешил, и летописец смело делает это сравнение, ибо враги "села и волости и монастыри" и "всю землю пусту сотвориша", людей не только из городов и сел, но даже "из лесов изведоша" в полон. Были разорены Муром, Москва, Коломна, Владимир, Суздаль, Юрьев, Переяславль, Можайск, Волок, Дмитров, Угличе-Поле».

1293 год. «Того же лета царевичь Татарский Тахтамиръ при еде изъ Орды на Тферь, и многу тягость учини людемъ». По пути сквозь владимирские земли этот отряд «овехъ посече, а овехъ в полон поведе».

1293 год. Местный князь приглашал ордынскую рать под Ярославль для подавления народного восстания.

Три набега за один год! В ближайших к Орде районах Руси грабить стало нечего – от Мурома до Твери золотоордынское

воинство «положиша всю землю пусту».

Обратим внимание: Гумилев сочиняет, сочиняет изящно, легко, по-своему убедительно, но именно сочиняет. А Чивилихин цитирует летописи, которые так не любил Гумилев. Не знаю, на чьей стороне будет читатель, а я, безусловно, признаю победу Чивилихина. Прав был русский писатель: «Далекое – горькое и страшное! — время».

НЕЧТО ПОЛОСАТОЕ

Гнев и ярость – спутники бессилия. В спорах с Чивилихиным Гумилеву не хватало аргументов, это лишь усиливало его горячность. Лев Гумилев признавался, что одно имя Чивилихина рождает в нем «нечто полосатое».

Антигумилевские главы романа «Память» впервые появились в двенадцатом номере журнала «Наш современник» за 1980 год. Гумилев, всегда плохо переносивший критику, назвал публикацию «бесцеремонной выходкой Чивилихина» и тут же сочинил обширный – на целый печатный лист – ответ, однако «Наш современник» не стал его печатать. Уязвленный Гумилев попытался завязать дискуссию в другом журнале, мобилизовал на поддержку своих сторонников, В.Е.Старикова и Ю.М.Бородая, написал вместе с ними статью под названием «Провалы в памяти», но не смог напечатать ее ни в академических «Вопросах истории», ни в литературной «Дружбе народов».

Между тем роман «Память» охотно раскупали читатели и хвалили критики. В журнале «Молодая гвардия», идейном собрате «Нашего современника», появилась рецензия Аполлона Кузьмина. Роману Чивилихина посвящены только три первые страницы, дальше – почти до самого конца статьи – критика Гумилева. Критика очень грубая, злобная, за гранью фола. Это пощечина, оплеуха, а не рецензия.

Кузьмин решил пригвоздить к позорному столбу не только евразийские сочинения Гумилева, но и его пассионарную теорию. Кузьмин понял теорию этногенеза довольно примитивно: из космоса на некоторые избранные народы снисходит «небесная благодать» – пассионарность, и одни «буйствуют от избытка пассионарности», а другие «изнывают» от ее нехватки. Это подход и стиль журналиста, а не ученого. Но Кузьмина можно понять. Он был оскорблен как русский историк и просто как русский человек, потому что Гумилев вслед за евразийцами (Кузьмин одним из первых отнес Гумилева именно к продолжателям евразийцев) начал искать у «палачей и угнетателей» «какие-то добродетели». В глазах Кузьмина евразийцы, а вместе с ними и Гумилев, были настоящими русофобами, вот против этой «русофобии» и боролся Кузьмин. Отсюда неакадемический подход, грубость, журналистские обороты.

Оставить без внимания статью, которая появилась в одном из самых популярных советских литературных журналов, было невозможно. Гумилев решил ответить на «разнузданную брань Кузьмина». На этот раз он действовал более тонко. Вместо того

чтобы отправить статью в редакцию обычным (через почту) способом, он решил зайти, так сказать, с тыла. «Молодая гвардия» считалась комсомольским журналом, поэтому Константин Иванов, уже тогда правая рука учителя, передал ответ Гумилева через ЦК ВЛКСМ, но и это не возымело действия. Редакция «Молодой гвардии» твердо стояла на стороне Чивилихина и Кузьмина.

В марте 1982 года Гумилев (невиданное дело!) обращается в партийный журнал «Коммунист» с просьбой напечатать его ответ Чивилихину и Кузьмину. Письмо психологически объяснимое: Гумилев уже второй год не мог ответить своим оппонентам, седьмой год не выходили его книги, отменяли даже его лекции. После удачных дебютов в «Дружбе народов» и «Огоньке» снова закрылся путь к массовому читателю. В том же году ВИНИТИ приостановил копирование «Этногенеза и биосферы». Словом, Гумилев сочинял послание Ричарду Ивановичу Косолапову, главному редактору «Коммуниста», не в самом светлом душевном состоянии.

В этом письме поражает все, начиная от прямо-таки зощенковского зачина («Разрешите обратиться к Вам, хотя я и беспартийный») и заканчивая ссылками на Маркса, Энгельса, Плеханова и даже на Брежнева. Перед нами не аргументированный ответ ученого, а какой-то «громокипящий кубок» гнева.

Кузьмину и Чивилихину он приписывает мысли, которые ни тот ни другой, конечно, не высказывали, да и высказать бы не посмели: «Всякий, кто видит в тюрко-монголах какие-либо добродетели, тот реакционер, русофоб, надругатель, спекулянт и шарлатан. <…> Если А.Кузьмин прав, то главным русофобом был Александр Невский, побратавшийся с сыном Батыя Сартаком, а за ним Иван Калита, Иван III, Минин и Пожарский, Богдан Хмельницкий, Петр Великий, посылавший "низовые силы" по льду Ботнического залива в Швецию».

Ничего дурного в современных казахах, узбеках, татарах не искали. Чивилихин даже о татаро-монголах писал очень осторожно. Не знаю, был ли Чивилихин искренен, или просто обходил болезненный и уже тогда опасный национальный вопрос: советская историческая наука татаро-монгольское иго не отрицала, но и связывать иго с деятельностью пусть даже далеких предков современных народов не полагалось. Гумилев бил как раз в самое уязвимое место, прозрачно намекая на расизм и разжигание межнациональной розни: «Кузьмин предлагает считать "дикими", то есть неполноценными, тюрко-монгольские народы Советского Союза. Поэтому каждый "русофил" должен их

презирать как потомков палачей. <…> Итак, чтобы угодить А.Кузьмину, надо 1) относиться с оскорбительным пренебрежением к четверти советских граждан; 2) отказаться от диалектического материализма и 3) признать благом завоевание нашей страны, если оно идет с Запада. <…> Есть ли хоть один советский патриот, который бы с этим согласился?»

Гумилев, человек совершенно несоветский, усвоил кое-что от советской манеры вести научную дискуссию.

В конце жизни Гумилев рассказывал своему ученику Вячеславу Ермолаеву: «…поступив в университет и начав изучать всеобщую историю на первом курсе, я с удивлением обнаружил, что в истории Евразии есть свои "индейцы" – тюрки и монголы. Я увидел, что аборигены евразийской степи так же мужественны, верны слову, наивны, как и коренные жители североамериканских прерий и лесов Канады. <…> И те, и другие считались равно "дикими", отсталыми народами, лишенными права на уважение к их самобытности. "Господи, — подумал я, — да за что же им такие немилости?"»

Вот так противники «мужественных» и «наивных» кочевников как бы оказались в одном ряду с кровожадными бледнолицыми, которые устроили индейцам в Новом Свете настоящую бойню. Убедительно? Нет. Аргументы Льва Николаевича никуда не годятся. Вот если бы апачи, семинолы, кечуа или ирокезы построили большой флот, переправились в Европу и начали ее завоевывать, тогда в сравнении появился бы очевидный смысл. Если бы ирокезы, как некогда монголы, опустошили Русь, Венгрию и южную Польшу, да, тогда я согласился бы с Гумилевым.

ЧЕРНАЯ ЛЕГЕНДА И СВЕТЛЫЙ МИФ, ИЛИ НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Правоту своего критика Гумилев никогда не признавал, но иногда фактически критику принимал и потихоньку менял свою позицию, перегруппировывал силы для новой борьбы. В статье 1977 года Гумилев выдвинул такое объяснение повсеместному распространению антиордынских, антитатарских настроений в древнерусских источниках – летописях, повестях, исторических песнях. Оказывается, во всем виноват ислам. В 1313 году хан Узбек «обусурменился» – заставил перейти в мусульманскую веру всю, как мы бы сказали, военно-политическую элиту Золотой Орды. И все переменилось. На место симбиоза с ордой пришло иго, на место дружбы – религиозная вражда.

Получается, с «погаными» (язычниками) русские прекрасно ладили, но бусурмане сразу же стали злейшими врагами.

Чивилихин и здесь легко разгромил Гумилева. Он обратил внимание, что в отношениях мусульманских ханов Узбека и Джанибека к русским княжествам особенных перемен по сравнению со временами хановязычников не найти. При Узбеке и Джанибеке татарские «рати» ходили на Русь не чаще, чем в «благословенные» времена Батыя, Сартака, Менгу-Тимура, Телебуги и Тохты.

Вскоре Гумилев перестал придавать такое значение исламу и выдвинул другую, на мой взгляд, совершенно неправдоподобную версию.

Еще в 1982 году «Новый мир» заказал Гумилеву статью о «черной легенде», с которой будто бы пошла ненависть европейцев к монголам. Гумилев статью подготовил, но редакция в 1984 году вернула ее автору. Статья под названием «Черная легенда: историко-психологический этюд» вышла через пять лет в азербайджанском журнале «Хазар». Судя по выходным данным, написал эту статью Гумилев не один, а в соавторстве, что вообще-то делал довольно редко. Соавтором стал искусствовед Айдер Куркчи.

По абсурдности выводов и тенденциозности трактовок «Черная легенда» превосходит даже тринадцатую главу «Поисков вымышленного царства». «Этюд» рассказывает о том, как смелые и честные монголы-христиане во главе с Кит-Бугой-нойоном попытались освободить Ближний Восток от власти мусульманских правителей, вернуть христианам Гроб Господень, ворваться в мусульманский Египет, в то время уже захваченный воинами-

рабами – мамлюками. Но жадные, корыстные, бессовестные европейцы, в первую очередь тамплиеры, монголам не только не помогли, но сделали все, чтобы помешать. Чтобы обелить свое имя, избежать обвинений в предательстве, тамплиеры цинично оболгали бедных татаро-монголов: «Они выкинули неожиданный трюк: дали распространение "черной легенде" о татарах. Самую большую силу имеет обыкновенная сплетня, анонимка, «Где-то рассказывали…», «Кто-то видел…», «Как же, все знают, что…» – и так можно нести любую околесицу в придорожной таверне, на пиру у графа, когда все пьяны, или вечером в монастыре, где даже домино (монашеская игра) надоело. И вот по всей Европе шли россказни, что монголы – это татары, а татары на самом деле тартары, т. е. исчадия ада: "Они мучают пленных, истребляют всё живое, дома и поля с садами. Они нарочно испортили каналы в Средней Азии у мусульман, которые, конечно, враги христианства, но не цивилизации. <…> Все знают, что греки гораздо хуже мусульман. А русские… да что и говорить! Они держатся только благодаря помощи великого хана, а то бы их давно скрутили братья тевтонского ордена. Это верно! Сам патер Рубрук написал, а мне читал каноник церкви святого Дениса. Поверьте мне, друг мой, и тогда мы выпьем вместе анжуйского". И вот шла подобная брехня через всю католическую Европу, через весь христианский мир, отравляя умы и ожесточая сердца. Это и была "черная легенда", принесшая не меньше зла, чем "черная смерть" – чума».

Все это была не ложь, ведь писатели, как известно, не лгут, они – сочиняют. Перед нами вовсе не средневековая «анонимка», а сочинение Льва Николаевича Гумилева. Этот монолог пьяного тамплиера – чистой воды фантазия, которая не опирается ни на один исторический документ.

На самом деле европейская военно-политическая и церковная элита была информирована о монголах достаточно хорошо, не зря же ездили в Каракорум папский легат Джованни дель Плано Карпини, посланники французского короля Андре Лонжюмо и все тот же Гильом (Вильгельм) де Рубрук. А простой народ судил о монголах не по рассказам тамплиеров, которых, кстати, вскоре перебил французский король Филипп Красивый, а уж скорее по свидетельствам польских, немецких, богемских, венгерских, хорватских беженцев, которые чудом спаслись от монгольских сабель.

Но если даже допустить, будто монголы не уничтожали Багдад и Дамаск, Самарканд и Балх, Чернигов и Владимир, а все преступления степняков придумали клеветники-тамплиеры, то неизбежно возникает вопрос: откуда же взялся русский вариант

«черной легенды»? Неужели православные монахи-летописцы поверили россказням нечестивых латинян? Откуда они вообще о них узнали? Неужели же русские гусляры, распевавшие песнь о Щелкане Дюдентьевиче, были агентами Жака де Моле, сожженного на костре за двадцать лет до смерти Чол-хана?

Впрочем, в те же самые годы Гумилев в частных беседах высказал и другую мысль: «черную легенду» придумали не тамплиеры, а европейские ученые, «чтобы доказать превосходство европейцев над азиатами». В ноябре 1989 года Гумилев рассказал Дауду Аминову, что «черную легенду» «завезли в Россию во второй половине XVIII века дворянские сынки из Западной Европы, куда они ездили учиться в тамошних университетах. До этого времени в России и не подозревали, что было "татарское иго"».

Но как же тогда летописи, песни, повести, былины, созданные задолго до восемнадцатого века? Или всё это – грандиозная подделка? Если иго придумано в восемнадцатом веке, то и вся древняя история – результат грандиозной фальсификации. Только чьей? И зачем? Впрочем, в такие дебри Гумилева, к счастью, не заносило.

АРСЛАН-БЕЙ

Лев Николаевич не лицемерил, он и в самом деле уверил себя, что монголы опасности для Руси не представляли. Разве могли друзья из Великой степи угрожать своим оседлым русским братьям? Спорить с Гумилевым о татаро-монголах было совершенно бессмысленно, он просто не хотел слышать собеседника.

Аполлон Кузьмин вспоминал об одной беседе с Гумилевым. Оба, вероятно, не хотели враждовать, их беседе должна была помочь бутылка монгольской водки. Но не помогла и водка. Кузьмин так передавал содержание беседы:

Лев Гумилев. Да не было никакого нашествия!

Аполлон Кузьмин. А разрушенные города?

Лев Гумилев. Князья их сами разрушали!

Аполлон Кузьмин. А как же летописи?

Лев Гумилев. Летописи подделаны!

Любовь к тюркам и монголам, как мы помним, началась еще с юности. Молодой Лев Гумилев принимал монголов такими, какими они были на самом деле, не приукрашивая действительность. Еще до ареста 1938 года Гумилев сочинил маленькую поэму под названием «Диспут о счастье», которую позднее включит в свою стихотворную трагедию «Смерть князя Джамуги».

«Диспут о счастье» – вольный поэтический пересказ легенды, которую приводит Рашид-ад-Дин, составитель «Сборника летописей» (нечто вроде официальной истории монголов, написанной по заказу ильхана – монгольского правителя Персии). Содержание легенды таково. Однажды Чингисхан спросил своих соратников, в чем на свете счастье? Ни один ответ ему не понравился, а потому великий хан в конце беседы изложил собственную точку зрения на этот вечный вопрос:

«Вы нехорошо сказали! [Величайшее] наслаждение и удовольствие для мужа состоит в том, чтобы подавить возмутившегося и победить врага, вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет; заставить его замужних женщин рыдать и обливаться слезами, [в том, чтобы] сесть на его хорошего хода с гладкими крупами меринов,[в том, чтобы] превратить животы его прекрасноликих супруг в ночное платье для сна и подстилку, смотреть на их розоцветные ланиты и целовать их, а их сладкие губы цвета грудной ягоды – сосать!»

Перед нами идеал грабителя, насильника и убийцы, но молодого Льва Гумилева он не испугал. Лев, тогда еще открытый

и чуждый лукавства юноша, перевел слова восточной летописи на язык русской поэзии:

Нет! Счастье, нойоны, неведомо вам.
Но тайну я эту открою:
Врага босиком провести по камням,
Добыв его с легкого боя;
Смотреть, как огонь пробежал по стенам,
Как плачут и мечутся вдовы,
Как жены бросаются к милым мужьям,
Напрасно срывая оковы;
И видеть мужей затуманенный взор
(Их цепь обвивает стальная),
Играя на их дочерей и сестер
И с жен их одежды срывая,
А после, врагу наступивши на грудь,
В последние вслушаться стоны
И, в сердце вонзивши, кинжал повернуть…
Не в этом ли счастье, нойоны?

Но в своих научных и «перфектологических» книгах Гумилев к этой легенде больше не возвращался. Слишком уж она не соответствовала тому образу Чингисхана и его монголов, старательно, даже любовно создававшемуся на страницах «Поисков вымышленного царства» или «Древней Руси».

Переписка Гумилева с Петром Николаевичем Савицким подтверждает, что уже во второй половине пятидесятых годов тюрко-монголофильство Гумилева простиралось очень далеко. Даже Савицкому приходилось то и дело одергивать своего ленинградского друга. Например, 11 мая 1958 года Гумилев писал Савицкому, будто в XIV–XV веках «монгольский эпос, переведенный на русский язык», был «наскоро» переделан в «киевский цикл былин». Тут даже «шеф евразийства» возмутился: «Русская традиция была уже и до XIV века. Мне кажется – просто невозможно сомневаться в истинности этого факта. <…> Корни нашего эпоса (какова бы ни была эпоха его возникновения) уходят глубоко в "мать сыру землю"; в нем есть многое, не зависящее ни от какого перевода». К этой идее Гумилев, кажется, больше не возвращался.

В семидесятые-восьмидесятые годы на квартиру Гумилева все чаще приезжали любимые им монголы, казахи, узбеки. Дарили халаты, тюбетейки, малахаи. В ноябре 1989 года пришли три татарина, Наталья Викторовна только всплеснула руками: «Боже мой, наконец-то вы пришли! Лева все сетует, вот, мол, навестили

меня казахи, монголы, азербайджанцы, а татар всё нет и нет!»

За дружеской беседой Гумилев поведал о своем «татарском» происхождении (из «самарских татар»). «Гордитесь, что вы татары!», — сказал Гумилев Дауду Аминову и его спутникам на прощание. Потрясенный Аминов прослезился.

На самом деле Аминов был далеко не первым татарином, переступившим порог квартиры Гумилева. Еще зимой 1987 года Гумилеву позвонил Гафазль Халилуллов, корреспондент казанского журнала «Чаян». В трубке он расслышал грассирующий голос:

«— Вы татарин? <…>

— Да, конечно, — отвечаю я.

— Тогда приезжайте, — и категорически добавляет: – Сейчас же. Метро "Владимирская". Улица Большая Московская».

Гумилев, конечно, не был ни татарином, ни монголом, ни казахом. Он оставался русским человеком. Но как есть русские англоманы или германофилы, так и Гумилев был русским тюркофилом.

Еще в тридцатые годы Гумилев впервые отрастил «татарские» усы. В Камышлаге он смахивал на настоящего казаха или узбека. После возвращения в Ленинград внешность Гумилева как будто утратила восточные черты, хотя Дауд Аминов утверждал, что Гумилев и в старости внешне подходил под один из антропологических типов, распространенных у казанских татар. Зато в старости вместо своей обычной подписи «L» или «Leon» Гумилев все чаще подписывался «Арслан», «Арсланбей», «Арсланбек». «Дауду от Арсланбея», — так в день знакомства с Аминовым Гумилев подписал свою книгу. Свое приветствие Всемирному конгрессу татар Гумилев подписал так: «Арсланбек (Лев) Гумилев».

«Арслан» в переводе с тюркского значит «лев». А «бек» или «бей» указывает на «благородное» происхождение.

Русские друзья даже сочиняли на эту тему шуточные стихи:

И у всех у этих тюрок
Самый главный человек –
Нравом лют, рассудком юрок,
Лев, великий Арсланбек.

Кажется, впервые Арсланбеком назвал Гумилева Савицкий в письме от 31 марта 1966 года. В начале семидесятых монгольский академик Ринчен так обращался к своему русскому другу: «Неповторимый и дорогой мой Арслане!», «Арслане!», «Арслане

мини», «Erkin Arslan». Ринчену Гумилев, очевидно, тоже поведал о своем татарском происхождении, потому что в одном письме к Гумилеву, полном восточных любезностей, академик Ринчен упомянул «кровь степных витязей, бесстрашных и не гнущих свои выи перед сонмищем врагов», что течет-де в жилах у Арслана – Льва Гумилева, и призвал на помощь православному Льву Николаевичу древнее языческое божество «Коке Монгре Тенгри Синих Монголов».

Часть XIX

ГЛУХИЕ ГОДЫ

Период с 1982-го по 1987-й – глухое для Гумилева время. Издательства и редакции журналов возвращали Гумилеву рукописи, иногда выплачивая часть гонорара. «…Меня никуда не звали и нигде не печатали», — вспоминал он несколько лет спустя. Правда, оставались редкие (одна-две за год) и малозначительные публикации в сборниках научных трудов с непроизносимыми названиями: «Географические исследования для целей планирования, проектирования, разработки и реализации комплексных программ: Тезисы докладов Секции I VIII съезда Географического общества СССР», но путь в «Историю СССР», «Вопросы истории», «Вестник древней истории» был фактически закрыт после решения Президиума Академии наук.

В 1985 году бульдозером проехал по Гумилеву партийный историк Юрий Афанасьев. Будущий герой перестройки и пламенный антикоммунист критиковал тогда русских ученых и писателей, чьи произведения не вписывались в систему советских, коммунистических взглядов на историю России. Почти каждую страницу украшала ссылка на Маркса, Энгельса или Ленина.

Из статьи Юрия Афанасьева «Прошлое и мы»: «Принцип партийности, предполагающий четкость социальноклассовых критериев в отношении к прошлому, остается актуальнейшим и сегодня. <…> В прямом противоречии с марксистско-ленинскими критериями разрабатывались так называемые евразийские теории с их антиисторическим, внеклассовым, биолого-энергетическим подходом к прошлому: периоды подъемов и спадов некой пассионарности в мировой истории, "симбиоз" Орды и Руси в XIII–XV веках и т. п.»

Отлучение Гумилева от научных журналов историков не красит. К тому же Льва Гумилева упрекали не столько в настоящих ошибках, сколько в «методологически неверных построениях», которые «опасны серьезными идеологическими и практически политическими ошибками». Это позорные формулировки. Серьезному ученому стыдно к ним обращаться. Увы, Гумилева не пускали в печать не функционеры из ЦК КПСС, не чиновники, а именно серьезные историки. Вот, например, «Заключение комиссии Отделения истории АН СССР о работах Л.Н.Гумилева»: «…построения Л.Н.Гумилева… органически связаны с уже давно разоблаченными буржуазными теориями географического детерминизма, социального дарвинизма и геополитики, с идеалистической теорией "героев и толпы", с

национализмом и расизмом. <…> Наука не может развиваться без дискуссий. И дискуссии по этим вопросам уже не раз велись в научной печати, показав теоретическую несостоятельность изложенных выше взглядов Л.Н.Гумилева, практическую вредность их широкого распространения. В этом основная причина отказа в публикации работ Л.Н.Гумилева».

Документ подписали известные ученые. Вот их имена, страна должна знать своих героев.

Иван Дмитриевич Ковальченко, член-корреспондент АН СССР, в 1987-м его изберут действительным членом Академии наук. Ковальченко – специалист по аграрной истории, основоположник советской исторической информатики и клиометрии. Первый в СССР историк, начавший использовать математические методы. Несколько поколений студентов изучали источниковедение по учебникам Ковальченко.

Анатолий Петрович Новосельцев, член-корреспондент АН СССР, блестящий востоковед-медиевист, полиглот, вне всякого сомнения крупный ученый.

Виктор Иванович Козлов, доктор исторических наук, один из крупнейших в СССР этнографов; читатель его уже хорошо знает.

Светлана Александровна Плетнева, доктор исторических наук, лауреат Государственной премии. Плетнева, как и Гумилев, была ученицей Артамонова. Она работала в академическом Институте археологии, продолжала раскопки, начатые учителем.

Павел Иванович Пучков, доктор исторических наук, сотрудник Института этнографии и профессор Университета дружбы народов, изучал народы Океании и Меланезии. В середине 1980-х Пучков уже считался одним из крупнейших советских этнографов.

Более всего удивляет и огорчает подпись академика Новосельцева, ведь в документе есть такая фраза: «В работах Л.Н.Гумилева немало бездоказательных, парадоксальных выводов, основанных не на анализе источников, а на "нетрадиционности мышления", стремлении противопоставить свои взгляды "официальным точкам зрения". Такова идея о неожиданном исчезновении (затоплении) Хазарии, хотя такого бедствия не было…»

Несколько лет спустя тот же Новосельцев напишет нечто прямо противоположное: «…знаменитая хазарская столица Атиль (Итиль) так и не была найдена. Гумилев вполне правдоподобно объяснил это изменениями нижнего течения Волги и особенно устья этой реки на протяжении столетий после разрушения хазарского центра».

Но в комиссии Академии наук не хватало одного человека, который, пожалуй, был главным оппонентом Гумилева в

семидесятые и восьмидесятые годы.

БАРМАЛЕЙ

Этого своего многолетнего оппонента, директора Института этнографии АН СССР академика Юлиана Владимировича Бромлея Гумилев прозвал Бармалеем. Настало время сказать хотя бы несколько слов о нем, тем более что разговор выйдет далеко за рамки академических споров. Ученики Бромлея (Галина Старовойтова) и его ставленники (Валерий Тишков) много лет влияли и влияют на национальную политику Российского государства.

Юлиан Бромлей – сын профессора истории Владимира Сергеевича Сергеева и Натальи Николаевны Бромлей, машинистки наркомата иностранных дел, позднее преподававшей английский язык (в том числе на историческом факультете МГУ). Юлиан родился в гражданском браке, а потому был записан на фамилию матери, происходившей из семьи обрусевших англичан.

Эта семья ведет свою родословную от англичанина, который жил во Франции, а потому был мобилизован в армию Наполеона. Во время кампании 1812 года его, раненого, приютила какая-то «богатая латгальская вдова», родившая от него четырех сыновей. Так потомки английского солдата французской армии остались в России. В 1857 году братья Бромлей разбогатели настолько, что построили в Москве завод, который существует, разумеется, под другим названием, и в наши дни (Московский станкостроительный завод «Красный пролетарий»). Но уже дед Бромлея совершенно разорился, так что в 1917-м Наталья Бром лей к «господствующему классу» не принадлежала.

Юлиан родился в 1921 году. В 1939-м поступил на физический факультет МГУ, но долго учиться ему там не пришлось: в том же году его призвали в Красную армию. Начало Великой Отечественной он встретил авиамехаником на аэродроме под Брестом. В обороне легендарной крепости Бромлей не участвовал. Вместе с одним летчиком они нашли грузовик-полуторку, заправили топливом бензобак и рванули на восток, обогнав колонну немецких танков. Вскоре товарищи присоединились к отступающим частям Красной армии.

О дальнейшей службе Ю.В.Бромлея в армии известно мало. Закончил войну на 1-м Белорусском, принимал участие в Берлинской операции. Как и Гумилев, был награжден только медалями «За взятие Берлина» и «За победу в Великой Отечественной войне» и демобилизовался то ли в октябре, то ли в ноябре 1945-го, опятьтаки приблизительно в одно время с Гумилевым.

Хотя Бромлей отслужил в армии шесть лет, он дослужился только до звания старшего сержанта.

Восстанавливаться на физфаке Бромлей не стал. Теперь он выбрал другую, более перспективную для себя специальность – поступил на исторический факультет МГУ, где вскоре стал специализироваться у академика Бориса Дмитриевича Грекова. По словам этнографа Севьяна Израилевича Вайнштейна, который знал Бромлея с университетских лет, выбор научного руководителя Бромлей считал самой большой удачей в жизни.

Академик Греков был покровителем влиятельным, даже могущественным, а Бромлей был ему полезен. В 1950-м Бромлей окончил университет, и Борис Дмитриевич тут же взял его к себе в Институт славяноведения АН СССР.

Но и сам Бромлей не терял времени даром. Уже в студенческие годы он стал секретарем комсомольской организации на кафедре истории южных и западных славян. Этнограф Ю.И.Семенов, видимо, не зря называл Бромлея «искушенным в различного рода интригах, которые велись в научном и околонаучном мире». И после смерти академика Грекова (1953) Бромлей всегда находил влиятельных покровителей. Он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Усиление феодального гнета в хорватской деревне в XVI в. и крестьянское восстание 1573 г.», а в 1958-м уже стал ученым секретарем отделения истории АН СССР! Ему тогда было всего тридцать семь лет. В 1965-м он защитил докторскую («Становление феодализма в Хорватии») и получил просто фантастическое назначение – пост директора Института этнографии Академии наук.

Этнографы были возмущены, ведь Бромлей, историк-медиевист, никак не был связан с их наукой. Против Бромлея выступил известный ленинградский этнограф Рудольф Фердинандович Итс, его поддержали коллеги: они просили отдел науки ЦК КПСС не утверждать Бромлея. Даже сторонники Бромлея признавали, что ему не хватало этнографических знаний. Но позиции Бромлея в ЦК, видимо, были несокрушимы. Отдел науки Бромлея утвердил, и 1 января 1966 года он стал директором института. Этот пост он оставит только двадцать три года спустя, передав власть своему бывшему заместителю Валерию Тишкову, который возглавляет институт и по сей день.

«Эпоху Бромлея» в институте, однако, и теперь вспоминают добром. Бромлей оказался не только успешным карьеристом, но и отличным организатором. По словам известного социолога и сексолога Игоря Кона, Бромлей превратил «Институт этнографии в крупный центр изучения национальных отношений».

Если отличать теоретическую этнологию от собственно этнографии – описания традиционного быта и нравов народов, преимущественно отсталых, то у Бромлея, пожалуй, не меньше оснований считаться этнологом, чем у Льва Гумилева. Бромлей возродил интерес к изучению теории этноса, этнопсихологии, к исследованиям национального характера, кажется, совершенно оставленный после Широкогорова, Бромлей поддерживал перспективные научные идеи и проекты, способствовал развитию этносоциологии.

Науке противопоказан изоляционизм, и Бромлей охотно отправлял сотрудников института в командировки на международные симпозиумы и конгрессы; пробивал командировки даже беспартийным сотрудникам.

Бромлей оказался настолько дальновиден и умен, что не стал сводить счеты с учеными, протестовавшими против его назначения, а предпочел найти с ними общий язык. В результате тот же Рудольф Фердинандович Итс, заведующий кафедрой этнографии ЛГУ, крупный ученый и, по словам С.Б.Лаврова, «очень порядочный, хороший человек», написал хвалебную рецензию на монографию Бромлея «Этнос и этнография». В 1982-м Бромлей даже назначит Итса заведующим Ленинградским отделением института. Так вместо влиятельного и авторитетного врага он обрел союзника.

Для понимания личности Бромлея характерен следующий эпизод. В 1948 году молодой этнограф С.И.Вайнштейн, вернувшись из экспедиции, написал на имя Г.М.Маленкова письмо, где рассказал о бедственном положении кетов, древнего сибирского народа. Кетов заставляли почти всю выловленную рыбу сдавать государству, а они традиционно кормились только рыбной ловлей и охотой. За это письмо Вайнштейна исключили из комсомола, обвинив в клевете на национальную политику партии и правительства. Бромлей, тогда уже член партбюро, не помешал исключению, но после пришел утешать товарища и сохранил с ним хорошие отношения.

В жизни Бромлей был человеком, видимо, приятным и незаносчивым, несмотря на свой карьеризм. Козлов вспоминает об их совместной поездке в Лондон в 1978 году. Советских ученых поселили в небольшой гостинице. Козлов обнаружил, что в его номере «нельзя пользоваться кипятильником. В номере же Бромлея такая возможность была, и директор по утрам в пижаме, пока его супруга нежилась в постели», приносил Козлову «кружку кипятка для завтрака и бритья».

ДВЕ ТЕОРИИ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПЛАГИАТЕ

Достигнув к сорока пяти годам вершины административной карьеры (вершины научной карьеры достигнет в пятьдесят пять лет, став академиком), Юлиан Владимирович всерьез занялся новой для себя наукой. Он хотел стать не только организатором, но и теоретиком, признанным ученым.

Случай в истории не уникальный. Могущественный в последние годы жизни Н.Я.Марр провел в Академию наук своего ученика И.И.Мещанинова, который после смерти Марра оказался «признанным главой советского языкознания». И вот, став академиком, Иван Иванович Мещанинов «начал серьезно учиться лингвистической науке» у действительно выдающихся лингвистов А.П.Рифтина и С.Д.Кацнельсона, да к тому же помог многим известным филологам, попавшим в опалу при Марре.

Гумилев и Бромлей обнародовали свои теории почти одновременно, во второй половине шестидесятых, но в советской этнографической науке теория Гумилева не будет принята ни в семидесятые годы, ни позднее, а теория Бромлея станет на двадцать лет если не общепринятой, то очень авторитетной.

Свои взгляды на теорию этноса Бромлей изложил в монографии «Этнос и этнография» (М., 1973), а потом не раз их уточнял и дополнял, издавая одну книгу за другой. В каждой он не забывал упомянуть и покритиковать «биологогеографическую» концепцию Гумилева, а Гумилев отвечал ему своими статьями, если их удавалось напечатать.

В 1985 году ученик Гумилева Константин Иванов опубликовал в «Известиях Всесоюзного географического общества» статью, где доказывал, что Бромлей присвоил не только многие идеи Льва Николаевича, но даже термины, введенные Гумилевым в оборот. В числе последних было, например, понятие «этнос», хорошо известное в этнографии по крайней мере со времен Широкогорова, то есть с начала двадцатых годов XX века.

Иванов не употребляет слова «плагиат», но фактически пишет именно о плагиате и заканчивает статью словами: «Так есть ли два учения об этносе в советской науке? Нет! Есть одна теория, одно учение, и его дальнейшая разработка настоятельно необходима». Иванов подразумевает, что есть только теория Гумилева.

Самое поразительное, что Иванов действовал по указанию

самого Гумилева. С.Б.Лавров видел черновик этой статьи, подписанный не только Ивановым, но и Гумилевым. Учитель и ученик были соавторами, и только позднее Гумилев, видимо, решил, что статья должна выйти под фамилией Иванова.

В своих воспоминаниях, надиктованных 16 сентября 1986 года на диктофон Анатолию Ивановичу Лукьянову, Гумилев, в сущности, обвиняет Бромлея в плагиате: «…академик Бромлей (очень способный человек, очень восприимчивый), присутствуя на моих докладах, повторял их содержание у себя в институте, о чем мне сообщали его сотрудники, поздравляя с тем, что я получил первого ученика. Потом он издавал книги, употребляя мои определения, мои дефиниции, и таким образом моя работа оказалась принятой (хотя и без моего авторства). Институт этнографии работал по моим идеям и работает до сих пор».

В 1988 году Гумилев уже в печати обвинил Бромлея: «… теория этногенеза была создана и даже приписана Ю.В.Бромлею, цитировавшему положения автора без отсылочных сносок». Бромлею пришлось сочинять ответ для журнала «Знамя», где появилась статья Гумилева.

А кое-что общее в теориях Гумилева и Бромлея все-таки было, даже много общего. Оба писали об иерархической структуре этноса, причем представления о структуре у них сходные. Бром лей, как и Гумилев, считал этнос динамической системой. В книге «Очерки теории этноса» (1982) Бромлей применяет системный подход к этносу почти так, как это делал еще в семидесятые годы Гумилев, но Гумилев опирался на основоположников системного подхода (фон Берталанфи), советских биологов (А.А.Малиновский) и только потом на советских философов (В.Н.Садовский, Э.Г.Юдин), а Бромлей – исключительно на советских философов-марксистов (В.П.Кузьмин, В.Г.Афанасьев).

И все бы хорошо, но есть одно странное противоречие: и до этой книги, и, что важнее, позднее Бромлей путал понятия «система» и «совокупность», совершенно не отличая их друг от друга. Через пять лет после выхода «Очерков теории этноса» Бром лей пишет вещи, которые прямо противоречат провозглашенному им же системному подходу: «…этнос (в узком значении этого термина) может быть определен как исторически сложившаяся на определенной территории совокупность людей, обладающих общими относительно стабильными особенностями языка, культуры и психики, а также сознанием своего единства и отличия от других подобных образований (самосознание), фиксированным в самоназвании (этнониме)».

Перед нами еще одна «алхимическая формула», каких уже много было (и еще много будет) в отечественной этнографии.

А все-таки был ли плагиат? Поставим вопрос иначе: а что вообще Бромлей знал о теории Гумилева? Ответ будет неожиданным: он этой теории толком никогда не знал.

«По его (Гумилева. – С.Б.) мнению, этнос – популяция, т. е. биологическая единица», — писал Бромлей в опубликованных в 1988 году «Национальных процессах в СССР». А каждый читатель Гумилева знает, что в трактате «Этногенез и биосфера Земли» есть даже параграф под названием «Этнос – не популяция». Но мы не станем спешить, не станем ерничать и смеяться над заслуженным и уважаемым человеком. В конце концов, «Национальные процессы в СССР» – книга не вполне научная. Судя по тиражу (10 тысяч), карманному формату и облегченному содержанию, книжка была адресована не ученым коллегам, но и не массовому читателю, а партийной и советской номенклатуре: чиновникам, депутатам Верховного Совета и т. п. Посмотрим, что же Бромлей писал в своих солидных научных монографиях.

«Сведя сущность этноса к "физической или биологической реальности", Л.Н.Гумилев в конечном счете отождествил его с популяцией» («Этнос и этнография», 1973).

«Л.Н.Гумилев принял сопряженную с этносом популяцию за сам этнос» («Очерки теории этноса», 1982).

А вот мы нашли и первоисточник: Бромлей ссылается на доклад Гумилева «О термине "этнос"», опубликованный в 1967 году в третьем выпуске «Докладов Географического общества». Там есть слова: «…мы можем охарактеризовать этнос как биологическую единицу, таксономически стоящую ниже вида, как *populatio*». Но Гумилев не случайно вместо русской формы слова «популяция» употребил латинскую, то есть и здесь Гумилев не считал этнос популяцией.

В этом докладе Гумилев сделал только первый шаг к теории этноса, второй шаг – доклад «Этнос как явление» – последовал всего три месяца спустя. Опубликован он был в том же третьем выпуске «Докладов Географического общества». Бромлею стоило только перелистнуть семьдесят страниц, чтобы убедиться – представления Гумилева об этносе ничего общего с популяцией не имели. Но он почему-то этого не сделал.

В сочинениях Бромлея с 1970 по 1987 годы есть ссылки только на две работы Гумилева: на тот самый доклад «О термине "этнос"» и на статью «Этногенез и этносфера», благо она была опубликована в том же номере журнала «Природа», что и статья Бромлея. Спору нет, обе статьи из важнейших, но в одном только

цикле «Ландшафт и этнос» – четырнадцать статей. Они небольшие и написаны языком, понятным не только академикам. Наконец, в 1979-1980-м Гумилев депонировал в ВИНИТИ свой трактат «Этногенез и биосфера Земли», слава о котором вышла далеко за рамки академических кругов. Юлиан Владимирович не мог не слышать об этом трактате, но за девять лет не прочитал главный труд своего главного научного оппонента. Можно ли представить, что кто-то станет судить о марксизме даже не по «Коммунистическому манифесту», а по «Тезисам о Фейербахе» и в руки не возьмет «Капитал»?

Бромлей мог бы и вовсе не читать трактат Гумилева, но на досуге хотя бы пролистать двенадцатый номер журнала «Природа» за 1978 год. Этот журнал должны были выписывать в институте. Так вот, на странице 98 Бромлей прочел бы золотые слова Гумилева: «Подчеркнем, что было бы неверно называть этнос популяцией. <…> Этнос – явление не биологическое и не социальное, а маргинальное, т. е. лежащее на границе социосферы и биосферы».

Ах, какую комедию могли бы сочинить Ильф и Петров, если бы сидели сейчас на моем месте и занимались таким рутинным делом, как сверка сносок! Ведь в своей книге «Этносоциальные процессы: теория, история, современность» (М., 1987) Бромлей горестно сетует: «К сожалению, представления об этносе как биологической единице довольно живучи». И приводит ссылку на ту самую девятилетней давности статью Гумилева «Биосфера и импульсы сознания»!

Правда, «Этногенез и биосферу» Бромлей все-таки осилит во второй половине 1988 года. Тогда Юлиан Владимирович решит, что Гумилев переменил свое мнение об этносе. Если бы академик хоть сколько-нибудь внимательно следил за научными трудами своего оппонента, то не только избежал бы такой досадной ошибки, но и не ввел бы в заблуждение своих коллег.

В 1986 году географ Яков Машбиц и фольклорист Кирилл Чистов (величина мирового значения!) напечатали в «Известиях Всесоюзного географического общества» ответ на антибром леевское сочинение Константина Иванова. Два почтенных доктора наук в очередной раз повторили за Бромлеем тезис об этносе-популяции у Гумилева. Будто перед нами не доктора наук, а переписчики: стоит одному допустить ошибку, как она тиражируется из одного «научного» сочинения в другое. Впрочем, Лев Гумилев и Константин Иванов в дискуссии с Бромлеем были тоже не на высоте: Гумилев мог бы легко поймать Бромлея на ошибках, вместо этого они с Ивановым фактически обвинили академика в плагиате, но этого грозного обвинения так и не

доказали.

Между прочим, академик Бромлей не только спорил с Гумилевым, но и в своих ранних работах опирался на гумилевские наблюдения, тезисы, идеи. В монографии «Этнос и этнография» Бромлей, например, заимствовал у Гумилева мысль об относительности понятия «этнос».

Гумилев: «…чтобы казанский татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или Китай. Там, на фоне совершенно иной культуры, он назовет себя русским, прибавив, что, собственно говоря, он татарин. А в Новой Гвинее он же назовет себя европейцем».

Бромлей: «…нормандцы и гасконцы на своей родине выделяют себя среди других французов. Но за пределами Франции они прежде всего французы, а затем уже нормандцы и гасконцы. Попав в Японию, белорус на фоне совершенно иной культуры назовет себя сначала русским, прибавив, затем, что он, собственно говоря, белорус. А на Новой Гвинее он назовет себя европейцем».

Чужую мысль академик себе не приписал, а где надо поставил ссылку на Гумилева. Это только один из примеров. Со своей стороны, и Лев Гумилев охотно заимствовал у Бромлея идею об эндогамии этноса. Оказывается, даже в многонациональных государствах люди заключают браки преимущественно с сопле менниками. Идею Бромлей подкрепил впечатляющими примерами. В 1925 году в РСФСР 99,1 % русских мужчин заключали браки с русскими женщинами, 97,9 % башкир женились на башкирках, 97,5 % марийцев – на марийках. Власти социалистических государств охотно пропагандировали многонациональные браки, тем не менее даже в полиэтничной Югославии сохранилась эндогамность.

Гумилев, разумеется, отметил этот «решительный и важный шаг» академика Бромлея. И если бы Гумилев всегда был терпелив и доброжелателен к оппоненту в научном споре, а Бромлей относился к сочинениям подозрительного «биологизатора» из ленинградского географического НИИ внимательнее, полемика могла быть и более корректной, и более полезной для ее участников.

СМЕРТЬ С ГАЗЕТОЙ В РУКАХ

Увы, Гумилев в научном споре был беспощадным бретером, а товарищу Бромлею не хватало времени читать сочинения своих оппонентов. Потом не стало времени и для оригинальных научных исследований. Бромлей однажды признался В.И.Козлову: «Я стал больше работать ножницами, чем пером». Зато Юлиан Владимирович, несмотря на занятость, не забывал о «самом главном».

Если вы не первый год занимаетесь наукой, то всегда обращаете внимание не только на текст, но и на ссылки. В Средние века схоласты переняли у арабов прогрессивную научную методику: ссылаться на источники (тогда – на Библию и Аристотеля) и на сочинения предшественников. Ссылки могут очень многое рассказать об авторе книги. Если книга посвящена, допустим, гражданской войне в Испании, а ссылки все сплошь русскоязычные – плохо. Автор только переписывал чужие книги и пересказывал своими словами чужие мысли, а испанского языка он, может быть, и не знает.

Откроем наугад книгу Бромлея «Этно-социальные процессы: теория, история, современность». Так, страница 146. Под текстом две ссылки: 1. на Программу Коммунистической партии Советского Союза: Новая редакция. М., 1986. С. 43; 2. на «Политический доклад», сделанный Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза М.С.Горбачевым от имени Центрального Комитета партии и обращенный к XXVII съезду КПСС.

Не будем упрощать. В монографии Бромлея много ссылок на серьезные исследования, на дельные книги и статьи отечественных этнографов, западных этнологов и антропологов. Но изобилие «марксистских» ссылок все-таки бросается в глаза. А ведь это не какой-нибудь мрачный 1937-й или сумрачный 1947-й, это 1987-й. Еще год назад провозглашена гласность, то есть свобода слова. Литературные журналы печатают «Котлован» Андрея Платонова и «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова, а здесь такое марксистское благолепие.

Одна из глав книги Бромлея называется «Гуманизм ленинской национальной политики». Но чуткий к духу эпохи ученый успел накатать и более современные главы: «Конституция многонациональной державы и некоторые вопросы управления межнациональными отношениями» и даже «Этнические аспекты прав человека и этнография». Вот так, и Ленину место нашлось, и правам человека.

Впрочем, занятная деталь: на доклады Горбачева (если кто помнит это пустозвонство) Бромлей ссылается почти так же часто, как на Ленина. В этом весь Бромлей. Убежден, что в наши дни Юлиан Владимирович выиграл бы немало грантов на тему «Воспитание толерантности в мультикультурном обществе» или «Противодействие ксенофобии и экстремизму». Не дожил.[49]

В семидесятые и в первой половине восьмидесятых Бромлей, директор института и академик, входивший в редколлегии нескольких научных журналов, мог весьма серьезно осложнить жизнь Гумилева. Но во второй половине восьмидесятых всё переменилось. Статьи Гумилева вновь стали печатать, одна за другой выходили его книги, Гумилев начал появляться на телевидении. Интервью у него спешили взять корреспонденты центральных газет, и Лев Николаевич получил в свои руки оружие, которое прежде использовали против него. 24 мая 1990 года газета «Московская правда» напечатала интервью Гумилева, где он довольно резко отозвался о своем оппоненте-академике. По словам Гумилева, из-за несостоятельности теоретических воззрений Бромлея на этнос ученые не сумели вовремя предсказать межэтнические конфликты времен перестройки: «… началась резня, которой по теории быть не должно». Хотя Гумилев несколько упрощал теорию Бромлея, в целом критика была справедливой и очень острой.

Институт этнографии двадцать три года под руководством Бромлея занимался исследованиями этнических процессов и тем не менее не предвидел подъема национализма, который уже в 1990 году поставил страну на грань развала (это был год «парада суверенитетов»). Правда, однажды перед очередным партийным съездом Бромлей подготовил для ЦК КПСС «записку» о национальных проблемах, но прежде показал ее вице-президенту Академии наук П.Н.Федосееву, который и похоронил эту записку в своем сейфе. Но ведь сам Бромлей еще с 1969 года был председателем Научного совета по национальным проблемам при секции общественных наук Президиума АН СССР. Он мог обойтись и без посредников. У Юлиана Владимировича было достаточно влияния и связей, чтобы обратиться в ЦК или прямо к руководству Политбюро и КГБ, поскольку речь шла о безопасности страны, о ее будущем, о жизни десятков тысяч людей, которые погибнут в межнациональных войнах недалекого будущего. И не главному ли теоретику этнографии следовало предвидеть эти войны? Не предотвратить, в предотвращение не верил и Гумилев, но предвидеть, подготовиться: «Если бы жители Помпеи знали о предстоящей вспышке Везувия, они бы не стали дожидаться гибели, а просто ушли».

Обойденный военными наградами, Бромлей получал за свое директорство государственные ордена и престижные премии, но национальная политика СССР была, что ни говори, провалена. Жители нашей Помпеи не получили предупреждения.

Бромлею газета с интервью Гумилева попала в руки если не 24, то 25 или 26 мая 1990-го. Он лежал в больнице Академии наук и обсуждал с академиком Ю.А.Поляковым свои перспективы. Пост директора института Бромлей оставил в 1989-м, став «почетным директором», но собирался, подлечившись, трудиться в системе Академии наук. Интервью Гумилева «настолько взволновало уже серьезно больного ученого, что его состояние заметно ухудшилось, и в беседах с Ю.А.Поляковым он уже не затрагивал своих планов на будущее». Через несколько дней у Бромлея случился инфаркт, и 4 июня 1990 года его не стало.

ИЗ-ПОД ГЛЫБ

Но вернемся на несколько лет назад, когда в стране только-только начиналась перестройка, а книги Льва Гумилева еще лежали в ящике письменного стола. В те годы историческая наука, зачищенная от вольнодумия и вольнодумцев, заметно отставала от литературы. Как будто на часах историков был не 1985-1986-й, а 1975-й. Неслучайно «Капитаны» и «Жираф» пришли к читателю раньше «Древней Руси» и «Географии этноса в исторический период».

В 1986-м начали печатать стихи Николая Гумилева. Правда, и прежде отдельные стихотворения проникали на страницы хрестоматий, а имя Николая Степановича было известно даже читателям Большой советской энциклопедии: «…русский поэт… принимал участие в работе издательства "Всемирная литерату ра", вел занятия в поэтических студиях. Особенности поэзии Г. — чеканность ритмов, красочность, гордая приподнятость тона. Недостатки его поэзии – экзотичность, уход от современности, культ силы, восхваление волевого начала. Г. не принял революции, оказался причастным к контрреволюционному заговору и в числе его участников был расстрелян».

И вдруг в апреле 1986-го к столетнему юбилею Николая Гумилева стихи этого «контрреволюционера» появились сразу в двух многотиражных изданиях – «Литературной России» и «Огоньке».

Публикация в «Огоньке» готовилась сотрудниками как целая спецоперация. В первой половине восьмидесятых, еще при Анатолии Софронове, вполне советском и даже одиозно-советском редакторе, в «Огоньке» печатали стихи Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, но Гумилев оставался в лучшем случае «хорошим контрреволюционным поэтом». Напечатать его стихи в журнале, одновременно популярном и официозном, — решение политическое. К счастью для читателей Николая Гумилева, его юбилей пришелся на редакционное междуцарствие. Время убежденного коммуниста Софронова кончилось, а эпоха Коротича, осторожного царедворца, который, кажется, шагу не делал, не посоветовавшись со своим патроном – секретарем ЦК Александром Яковлевым, еще не началась.

Впрочем, без Яковлева обойтись все равно не могли. Чтобы заручиться поддержкой ЦК, пришлось прибегнуть к тяжелой артиллерии: составить письмо от имени деятелей культуры. Первым откликнулся академик Лихачев. Помимо Лихачева письмо подписали академик Петрянов-Соколов, лауреат

Ленинской премии, главный редактор журнала «Химия и жизнь» и председатель Всесоюзного общества книголюбов, писатели Валентин Распутин и Евгений Евтушенко (оба находились тогда на вершине своего успеха). Подписали письмо и Вениамин Каверин, популярнейший прозаик, на книгах которого были воспитаны миллионы советских читателей, и художник Илья Глазунов, знаменитый и фантастически успешный, и, наконец, лауреат Государственной премии, издатель и литературовед Илья Зильберштейн.

Организационную работу провели сотрудники журнала. Ради подписи Валентина Распутина корреспондент «Огонька» Феликс Медведев специально прилетел в Иркутск, получил подпись и тут же улетел.

Александр Яковлев не решился отказать таким солидным людям, и редакция «Огонька» получила вельможное согласие на публикацию. А могла ведь и не получить. Когда «Огонек», уже при Коротиче, попытается напечатать ахматовский «Реквием», Яковлев своего согласия не даст, Коротич не станет спорить, а «Реквием» напечатает либеральный «Октябрь», уже не советуясь ни с Яковлевым, ни с Горбачевым.

16 апреля 1986 года вышел очередной номер «Огонька», с Лениным на обложке (праздновалась 116-я ленинская годовщина) и еще тремя портретами Ильича – в самом сердце журнала, где обычно печатали репродукции великих, талантливых или просто модных художников. В глубине журнала притаился и Гумилев. Публикация не такая уж и большая – с двадцать шестой по двадцать восьмую страницу, при этом часть одной страницы заняла вступительная заметка Владимира Енишерлова, часть другой – фотография Гумилева, сделанная в 1921 году Наппельбаумом. На двадцать восьмой странице верстальщик «Огонька» умудрился разместить три стихотворения, хотя часть страницы занял некролог Валентину Катаеву, а часть – фотографии хоккейных тренеров: в разгаре был очередной чемпионат мира.

В подборку Гумилева вошли «Волшебная скрипка», «Капитаны», «Орел», «Лес», «Портрет мужчины», «Жираф», «Когда из темной бездны жизни», «Андрей Рублев».

Я твердо, я так сладко знаю,
С искусством иноков знаком,
Что лик жены подобен раю,
Обетованному Творцом.

Нос – это древа ствол высокий;

Две тонкие дуги бровей
Над ним раскинулись, широки,
Изгибом пальмовых ветвей.

В апреле 1986-го редакция была «на связи» со Львом Гумилевым. Правда, на журнал он не подписывался и в киосках его, видимо, не покупал, потому что получил свой номер «Огонька» только 25 апреля и тут же отправил Владимиру Енишерлову поздравительную открытку: «Дорогой Владимир Петрович! Огромное спасибо за журнал и письмо. Подборка удачная, врезка – талантливая. Это счастье!»

Но «Огонек» не был первым. «Литературная Россия», газета Союза писателей РСФСР, на свой страх и риск напечатала стихи Николая Гумилева (с небольшим предисловием Бориса Примерова) на пять дней раньше. Риск оправдался. «Литературная Россия» опередила не только «Огонек», но и респектабельную «Литературную газету», которая отметила юбилей Николая Гумилева уже задним числом, спешно напечатав статью Евгения Евтушенко. Правда, «Литгазета» едва избежала скандала. Евтушенко, человек талантливый, предприимчивый и чутконосый, но несколько поверхностный, походя бросил совершенно ненужную фразу: «… в некоторых советских публикациях, посвященных нынешнему столетнему юбилею, его (Николая Гумилева. – С.Б.) сложный поэтический и жизненный путь бездумно косметизируется чуть ли не под оперный образ с привкусом "Гей, славяне!"».

Евтушенко попал пальцем в небо. Если не считать нескольких строчек Бориса Примерова, единственной юбилейной «советской публикацией» о Николае Гумилеве было предисловие Владимира Енишерлова в «Огоньке». Но там славянофильством и не пахло.

Из статьи Владимира Енишерлова в журнале «Литературное наследие»: «Возмущенный Л.Н.Гумилев послал в "Литературную газету" жесткое письмо с требованием объяснить, что имел автор в виду, ибо "Огонек", например, не давал повода к каким либо инсинуациям со стороны новоявленного защитника поэзии его отца. Владимир Радзишевский, работавший тогда в газете, ответил Льву Николаевичу, что Евтушенко "сказал ему, что нашел "славянофильские мотивы" в стихотворении Гумилева "Ольга", напечатанном "Литературной Россией". "А почему не "Гей, исландцы!" – смеялся Лев Николаевич, — ведь стихотворение отца начинается: "Эльга, Эльга! — звучало над полями… " <…> А Эльга – из исландских саг"».

Тем временем «Современная драматургия» и журнал «Театр»

напечатали «Отравленную тунику». Стихи Николая Гумилева начали печатать «Новый мир», «Знамя» и «Дружба народов».

Книги Гумилева-младшего вскоре тоже начнут готовить к печати. Времена менялись. В ноябре 1985-го защитил кандидатскую диссертацию Константин Иванов. В 1986-м на геофаке восстановили прерванный было курс народоведения. Льва Гумилева снова приглашали читать лекции в научно-исследовательские институты. Его слава и авторитет были уже так велики, что в первой половине 1986-го Лев Николаевич получил приглашение прочитать несколько лекций в МИДе. Опыт оказался неудачным: «аудитория поразила его своей косностью и тупостью», а сам лектор не понравился аудитории.

Из интервью Льва Гумилева: «Однажды меня, например, пригласили в МИД для того, чтобы я прочитал им лекцию о межнациональных отношениях. Я им рассказывал о том, что такое этнос, который теперь называют нация, какие фазы он переживает и что от этих фаз можно ждать в будущем. Но там, в МИДе, по-видимому, хотели услышать советы, а я советов не даю. Советы – это по их части. Я могу научить человека разбираться в чем-то, но выписать рецепт я не могу и не хочу. Тем более что все рецепты им без меня известны».

МЕЖДУ ЮБИЛЕЯМИ

В декабре 1986-го Гумилев приехал в Москву на восьмидесятилетие академика Лихачева. После юбилея Гумилева пригласили в Центральный дом литераторов. Там его принимали намного лучше, чем в МИДе. Лев Николаевич читал стихи отца: «Многим тогда показалось, что звучит голос самого поэта», — вспоминал Владимир Енишерлов. Правда, никто из присутствовавших не слышал, как читал стихи Николай Гумилев, но тем интереснее эффект, произведенный Львом Гумилевым. Он вообще очень хорошо читал стихи, особенно стихи Ахматовой и Николая Гумилева.

С 1988-го начали издавать уже и книги Николая Гумилева. Разрешение на будущий выпуск лучших стихотворений Н.С.Гумилева в «Библиотеке "Огонька"» получили еще весной 1986-го. Тираж этой красно-белой серии – 100 тысяч. К лету 1986-го книгу уже подготовили к печати, но Коротич задержал ее выход до марта 1988-го. В том же 1988-м в либеральной Грузии вышел толстый (около 500 страниц) том стихотворений и поэм Николая Гумилева, а в Ленинграде Михаил Эльзон подготовил первое научное издание Н.С.Гумилева в Большой серии «Библиотеки поэта».

А тем временем приближалось столетие Ахматовой, которое предполагалось отметить с масштабом государственным и даже международным: 1989-й ЮНЕСКО объявила годом Ахматовой. Ленинградские власти загодя расселили «ахматовский» флигель Фонтанного дома, хотя концепция будущего музея еще обсуждалась. Музей Ахматовой в 1988-м числился филиалом музея Достоевского, что располагался совсем близко к дому Льва Николаевича. Гумилев по мере сил помогал советами и консультациями, но в общем-то создание музея его не слишком занимало. Еще в 1976-м Эмма Герштейн упрекала его в письме: «5-го 10 лет со дня смерти Анны Андреевны! Пора бы заняться серьезнее вопросом о ее литературном наследии». Но Гумилев дорабатывал «Этногенез и биосферу Земли». Когда ему было заниматься литературным наследием? Где взять время и силы?

Когда летом 1988 года Михаил Кралин уговаривал Гумилева прийти в Фонд культуры, где решалась судьба будущего музея, Лев Николаевич сначала отмахнулся: «Положил я на это дело с прибором…» С трудом Кралин сумел вытащить Гумилева в Фонд культуры. Дорогого гостя привезли на машине и подготовили к схватке.

Дело в том, что Ирина Пунина и Анна Каминская предлагали

создать в Фонтанном доме музей русского авангарда, где главным персонажем оказался бы Николай Николаевич Пунин. В противостоянии пунинцев и ахматовцев Гумилев, разумеется, мог взять только сторону последних. Авторитет единственного сына и наследника и слава непобедимого мастера дискуссий делали Гумилева важной, даже незаменимой фигурой в предстоящей партии, которую Кралин назвал «генеральным сражением». Поэтому литературовед и не пожалел усилий: «…это был блестящий спектакль из истории нравов, и он играл в этом спектакле во всеоружии ума и таланта». Гумилев выступал после Анны Каминской, уже немолодой дамы. С присущими ему остроумием и бесцеремонностью он высмеял чужую идею:

«Ты, Анька, очень хорошо рассказала, кто в какой комнате жил. Только ты почему-то забыла упомянуть свою родную бабушку Анну Евгеньевну, а ведь она была очень порядочным человеком! Ну ладно, давайте устроим музей-гарем: ты, Ирка, развесишь фотокарточки своих любовников, я повешу свою Птицу, то-то будет славно!»

Пунины этот бой проиграли, но открывшийся в июне 1989 го Музей Ахматовой Гумилев все равно не жаловал. Вероятно, из-за тягостных воспоминаний – ведь на Фонтанке, 34 прошли не лучшие годы: «жить мне, надо сказать, в этой квартире… было довольно скверно», — вспоминал он. Гумилеву больше нравился народный музей Ахматовой, открытый еще в 1976 году в ПТУ на Кронштадтской, 15 благодаря усилиям простой учительницы Валентины Андреевны Биличенко и ее помощников. Любопытно, что ПТУ работало при судостроительном заводе имени А.А.Жданова.

Возможно, Лев Николаевич недолюбливал Музей Ахматовой по другой причине: Гумилеву не нравилось, что семейная жизнь его матери стала предметом научных исследований. А кому это, собственно говоря, понравилось бы? Есть такой анекдот. Будто бы историку Петру Ивановичу Бартеневу, издателю журнала «Русский архив», явилась Екатерина Великая: «Сукин сын! — сказала государыня ученому. — Уж как я старалась многое укрыть от потомков, а ты узнал обо мне всё…» С этими словами императрица ударила историка веером по носу.

Может быть, поэтому Лев Николаевич, в отличие от «брата Орика», практически ничего не сделал, чтобы увековечить память любимого отца. В лучшем случае мог прочитать стихи на творческом вечере или проконсультировать очередного гумилевоведа и рассказать немного «о папе» или «о маме». Вот характерный случай. В субботний вечер 15 апреля 1989 года в Ленинграде состоялся вечер «Золотое сердце России»,

посвященный Николаю Гумилеву. Вечер вел Никита Толстой. Стихи читала Наталья Минаева. Режиссер И.Алимпиев показал киноленту «Африканская охота». Орест Высотский показывал слайд-программу «Об отце». Был там и Лев Гумилев – в качестве гостя.

Если Орест Николаевич последние годы жизни посвятил памяти отца, то Лев Николаевич был поразительно равнодушен даже к изданию его книг: «Да плюнь ты на это! Либо напечатают его книгу, либо нет, но нам с тобой это как мертвому клизма!»

Когда Орест Высотский решил проконсультироваться с братом об издании «Африканского дневника», Лев Николаевич сначала отмахнулся («всецело твое дело»), а потом все-таки заметил: «…опубликовать надо. Папа одобрил бы», — но дал понять, что заниматься издательскими делами не намерен. Пусть брат хлопочет: «…это дело твое».

У Льва Гумилева была своя судьба, своя жизнь, далекая от интересов литературоведения. Тратить ее на дела литературоведческие и мемориальные он не собирался. Слон не может заниматься исследованием жизни слонов. Лев Гумилев как личность творческая ничуть не уступал своим родителям. Вскоре он это докажет, а его слава, пусть ненадолго, но превзойдет славу отца.

ВЫСОКИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

Судьба Льва Николаевича решалась весной 1987 года в кабинетах ЦК КПСС. В марте Гумилев направил в ЦК на имя А.И.Лукьянова письмо, где и пожаловался, что научные издательства и журналы не печатают его книг. Вероятно, письмо посоветовал ему написать сам Лукьянов. С Анатолием Ивановичем Гумилев познакомился еще во времена «пунических войн». Лукьянов, квалифицированный юрист и сотрудник аппарата Президиума Верховного Совета СССР, попытался Гумилеву помочь, впрочем, без особого успеха.

С тех пор деловое знакомство с юристом и перспективным советским чиновником не прерывалось, тем более что Лукьянов очень любил Ахматову, сам писал стихи (под псевдонимами «Осенев» и «Днепров») и собирал фонотеку – голоса поэтов. В его фонотеку попал и Лев Гумилев: 16 сентября 1986 года Лукьянов записал на магнитофон «Автобиографию» Льва Николаевича. На нее я не раз ссылался в этой книге. Позднее Лукьянов оценит идеи Гумилева, но тогда, в 1986-м, ему, кажется, интереснее были родители ученого. Даже в записке, адресованной Александру Яковлеву, Лукьянов называет Льва Николаевича «сыном Гумилева».

Из воспоминаний Анатолия Лукьянова: «Теперь я с трепетом вновь и вновь включаю магнитофон, чтобы услышать эту запись, в которой Лев Николаевич не только поведал обо всех перипетиях своей трудной жизни, но и прочитал три коротких стихотворения о подвигах Геракла, подаренных маленькому Леве отцом во время одного из приездов в Бежецк. Стихи эти не вошли в собрания сочинений Н.С.Гумилева. Но дело было не только в самих неопубликованных стихах знаменитого мэтра. Оказалось, что чтение этих стихов Львом Николаевичем удивительно точно совпадало по тембру и интонации с интонациями отца, запись голоса которого имелась у меня и была копией с записи на восковом валике фонографа Петроградского института живого слова, сделанной в феврале 1920 года».

В годы ранней перестройки начался новый карьерный взлет Анатолия Лукьянова. Он стал заведующим общим отделом ЦК КПСС, кандидатом в члены Политбюро. В 1989-м Лукьянов займет пост первого заместителя Председателя Верховного Совета СССР, то есть формально – второго после Горбачева лица в государстве.

Издательства, науку, литературу курировал не Лукьянов, а все тот же секретарь ЦК Александр Яковлев. Лукьянов переадресовал ему письмо Гумилева и приложил записку

следующего содержания: «Нельзя ли все же определенно и ясно выяснить в издательствах, чем они руководствуются, отказывая в публикации идей сына Гумилева». Яковлев решения принимать не стал, а спустил письмо по инстанциям – В. Григорьеву в отдел науки и Ю.Склярову в отдел пропаганды, те, в свою очередь, сделали запрос в Академию наук и получили из отделения истории АН СССР ответ, для Гумилева крайне неблагоприятный. Его содержание читателю известно, поэтому не стану на нем останавливаться. Интересно другое. Вопреки заключению академической комиссии Григорьев и Скляров приняли решение в пользу Гумилева. ВИНИТИ рекомендовали возобновить копирование «Этногенеза», а ректору Ленинградского университета, директору издательства «Наука» и главному редактору журнала «Вопросы истории» было «поручено внимательно и объективно рассматривать представляемые т. Гумилевым работы».

Несомненно, на решение Григорьева и Склярова повлияла позиция Лукьянова, который даже в записке для Яковлева подчеркнул, что хотел бы узнать результаты дела. Поддержка такого большого начальника предопределила дальнейшую судьбу сочинений Гумилева, тем более что в мае 1987-го Льва Николаевича поддержали еще одним письмом, адресованным Александру Яковлеву: «Мы обращаемся к Вам с предложением опубликовать труды доктора исторических и географических наук, профессора Льва Николаевича Гумилева, в первую очередь – его капитальное исследование "Этногенез и биосфера Земли". <…> Оппоненты Л.Н.Гумилева… добились фактического запрещения его работ. О какой демократии или демократизации науки может идти речь, если маститый ученый лишен даже печатной возможности ответить своим оппонентам».

Михаил Эльзон считает, что письмо было инициировано Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, «так как его подпись стоит первой»: в письмах такого рода первым обычно стоит имя самого авторитетного, самого известного человека, а с Лихачевым в советских гуманитарных науках тогда мало кто мог сравниться.

Гумилев был знаком с Лихачевым со второй половины шестидесятых. В сохранившемся письме от 15 апреля 1969 года Лихачев приглашает Гумилева в гости. Неизвестно, воспользовался ли Гумилев приглашением Лихачева. В любом случае друзьями они не стали, хотя, несомненно, относились друг к другу с интересом. Гумилев не уставал подчеркивать, что в своей трактовке «Слова о полку Игореве» и «Повести временных лет» опирается на исследования Лихачева, а Лихачев в 1984-м написал положительный отзыв на «Древнюю Русь и Великую

степь» и «Тысячелетие вокруг Каспия», тогда еще рукописи, которые Гумилев собирался депонировать. В 1987-м Лихачев вновь помог Гумилеву, но не был инициатором или составителем письма.

Кроме лихачевской под письмом стоят подписи члена-корреспондента АН СССР Валентина Янина, знаменитого историка и археолога, писателя Дмитрия Балашова и секретаря Новгородской писательской организации Бориса Романова. Эти подписи и указывают на истинного автора письма. По всей видимости, им был Дмитрий Балашов. С Валентином Лаврентьевичем Яниным, начальником Новгородской археологической экспедиции, Балашов был знаком и не раз у него консультировался, например, во время работы над романом «Младший сын». Поэт Борис Романов, бывший капитан дальнего плавания, как раз в восьмидесятые годы стал покровителем Балашова. Однажды он даже выручил его будущую жену Ольгу, когда ее чуть было не отчислили из института «за аморалку» (она жила с Дмитрием Михайловичем без регистрации в загсе).

Этот бой друзья Гумилева выиграли. Уже осенью 1987-го публикации пошли одна за другой.

Лукьянов и позднее не забывал Льва Николаевича. Когда Гумилеву показалось, будто издательство «Мысль» слишком долго тянет с его книгой «Древняя Русь и Великая степь», он, очевидно, снова прибег к помощи Анатолия Ивановича. Лукьянов тогда «буквально топал ногами на руководство издательства "Мысль", требуя ускорить ее печатание». Только представьте: Анатолий Иванович Лукьянов – человек, которого в то время уже знает вся страна (он ведет заседания Съезда народных депутатов вместе с Горбачевым), корректный юрист, доктор наук, топает ногами на издателей…

ВРЕМЯ ГУМИЛЕВА

Вторая половина 1987 года – начало невиданного взлета его славы. Осенью Гумилев прочитал в обществе «Знание» цикл лекций о славяно-русском этногенезе. В ноябре 1987-го «Вопросы истории» напечатали его статью «Люди и природа Великой Степи». Еще одну статью напечатали «Известия ВГО». Следующие годы – с 1988-го и по 1992-й – печатали всё, что Гумилев только предлагал. За один 1988 год у него вышло больше публикаций, чем за предыдущие десять лет.

Прошли времена, когда Гумилев пытался пристроить свою статью или исторический очерк. Теперь ему заказывали, его упрашивали, ему предлагали. 1 января 1988-го Лев Аннинский просил у Гумилева для только что созданной в «Дружбе народов» рубрики «Нация и мир» фрагмент из «Этногенеза и биосферы» страниц на тридцать или сорок.

Публикации в литературных «толстяках» принесли ему сотни тысяч новых читателей. В апрельском номере журнала «Знамя» за 1988 год вышла «Биография научной теории, или Автонекролог». Тираж этого журнала тогда достигал полумиллиона экземпляров, и все они расходились по подписке или в розницу. Значит, только эта публикация дала Гумилеву, по крайней мере, полмиллиона читателей.

«Биография научной теории» – самое сжатое и в то же время увлекательное изложение пассионарной теории этногенеза. Гумилев рассказал об истории своего открытия, о системном подходе, этнической иерархии, о влиянии ландшафта на этнос, об этногенезе, комплиментарности, даже о собственной жизни и способах исторического познания. Всё это – на нескольких страничках. Своего рода шедевр. Текст с литературной точки зрения безупречный, без единого лишнего слова.

За последние четыре года жизни у Гумилева вышло пять книг, а ведь еще в середине восьмидесятых Гумилев, кажется, уже потерял надежду напечатать при жизни книгу, потому и решил депонировать в ВИНИТИ рукописи двух своих новых монографий: «Тысячелетие вокруг Каспия» и «Древняя Русь и Великая степь». Они считались, соответственно, четвертой и пятой частями трактата «Этногенез и биосфера Земли».

«Тысячелетие» – взгляд на историю Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы и даже Китая с точки зрения пассионарной теории этногенеза. Здесь Гумилев показывает, как работает его теория этногенеза, если ее применить для анализа исторического процесса.

С «Древней Русью» дело обстоит несколько сложнее.

Судя по отзыву Д.С.Лихачева, первоначально «Древняя Русь и Великая степь» состояла всего из трех частей, причем ее центральной частью был отвергнутый редакторами «Прометея» «Зигзаг истории». К «Зигзагу истории» Гумилев написал «Введение», историко-географический обзор и «Эпилог». Так сформировалось ядро будущей книги. Временные рамки ее ограничивались XII веком, преддверием будущей «погибели земли русской».

Но откуда же взялось все остальное, ведь окончательный вариант «Древней Руси» вдвое длиннее, а его хронологические рамки простираются до первой трети XV века? В этом нам поможет одно малоизвестное интервью, которое Гумилев дал для специального выпуска «Альманаха библиофила», посвященного монгольской книге.

«Работая над книгой "Деяния монголов", половина которой – десять листов – уже готова, рассматривая исторические события с точки зрения пассионарной теории этногенеза, я пришел к фантастическому выводу: войны монголов были оборонительными. Их все время трогали и вынуждали обороняться. А они давали сдачи так сильно, что побеждали. Ведь поводом для битвы под Козельском послужило убийство монгольских послов князем Мстиславом Черниговским. Войны с Венгрией, Хорезмом, Южным Китаем были вызваны теми же причинами, а не тягой к грабежу».

Эти мысли хорошо знакомы читателю гумилевской «Древней Руси». В 1989 году «Деяния монголов» вошли в ее состав, подарив название 4-й части. Как это произошло, мы точно не знаем. Интервью Гумилева опубликовано в 1988-м, но записано было, вероятно, еще в 1987-м. Значит, Гумилев решил вместо двух книг издать одну, зато гораздо более солидную. Возможно, решение это он принял не без влияния своего редактора.

Редактировал «Древнюю Русь и Великую степь» Андрей Геннадьевич Шемарин, будущий банкир и писатель. Лев Николаевич, не терпевший редактирования и редакторов, с Шемариным подружился и даже собирался вместе с ним выпить водки, хотя тот и задавал Гумилеву «самые интимные, самые ехидные вопросы», а сама редактура заняла два года.

За полгода до появления «Древней Руси» издательство Ленинградского университета наконец-то выпустило «Этногенез и биосферу Земли». Отзыв на книгу написал Лихачев, а вступительную статью – Рудольф Итс, заведующий кафедрой этнографии ЛГУ, вообще-то никогда не признававший пассионарной теории этногенеза. Итс вышел из положения, не

покривив душой. Он оценил главный научный труд Гумилева прежде всего как первоклассное литературное произведение, осторожно заметив, что не знает ни одного этнографа, который принимает эту оригинальную теорию этногенеза.

Из предисловия Рудольфа Итса к первому изданию «Этногенеза и биосферы Земли»: «Сознаюсь, что чтение увлекательных по манере изложения книг Льва Николаевича Гумилева… нередко создавало у меня иллюзию чтения некоего научно-фантастического романа, где объективные факты истории соседствуют с блестящими логическими пассажами и даже домыслами, выстроенными в гипотетические цепи. <…> Хотя автор допускает резкие суждения и обороты, нельзя не отдать должное яркости и даже определенной злободневности его описаний. <…> Особенно автору удались описания мрачно-трагических периодов в жизни этноса, которые он иллюстрирует примерами из истории Древнего мира…».

Честный, осторожный и консервативный Итс был, конечно, не одинок. Теорию Гумилева в научном мире теперь не только ругали, но и обсуждали. Академические «Народы Азии и Африки» (с 1991 года – журнал «Восток») откликнулись на «Этногенез» и «Древнюю Русь» доброжелательными, хотя и несколько ироничными рецензиями М.И.Чемерисской.

Наступило время Гумилева. Тираж первого издания «Этногенеза» – 11 тысяч – был личным рекордом Гумилева, однако для 1989 года он был уже явно недостаточен. Книгу расхватали, с первых же дней она превратилась в библиографическую редкость. Достать ее в Ленинграде или Москве было практически невозможно. Вячеславу Огрызко – а ведь он был главным редактором «Литературной России» – удалось купить «Этногенез» только в далеком Кемерово. В 1990 году «Гидрометеоиздат» выпустил «Этногенез» уже потрясающим для научной книги тиражом – 50 тысяч, но и на этот раз книга очень быстро разошлась.

В том же 1990-м издательство «Наука» тридцатитысячным тиражом напечатало лекционный курс Гумилева под предельно наукообразным, но бессмысленным названием «География этноса в исторический период». В «Советском писателе» стотысячным тиражом вышли беседы Гумилева и Панченко, а еще год спустя в уже совсем не советском, охваченном азербайджанским национализмом Баку напечатают «Тысячелетие вокруг Каспия».

Гумилев становился звездой.

В 1989 году на Ленинградском телевидении записали пятнадцать лекций Гумилева, в том же году наконецто пустили в эфир цикл лекций, записанных на Ленинградском радио в 1981

году. Теперь о Гумилеве и его теории этногенеза узнали миллионы.

Есть сведения, что Гумилев уже в 1990-м году начал получать престижные премии. Но документальных подтверждений этому немного. В «Хронике» Ольги Новиковой упомянуто, будто в 1990 м Ленинградский университет наградил Гумилева «первой премией» за «Этногенез и биосферу Земли». Между тем сохранился документ, опубликованный, между прочим, даже на сайте «Гумилёвика». Это диплом о присуждении Гумилеву университетской первой премии за «Этногенез и биосферу Земли», но датирован он 25 января 1993 года. Гумилева уже полгода не было на свете.

В 1991 году М.И.Чемерисская начала свою рецензию на «Древнюю Русь и Великую степь» так: «Большая радость, но вместе с тем и больше ответственность – начать рецензию с поздравления: осенью минувшего года Л.Н.Гумилев за книгу "Древняя Русь и Великая степь" удостоен Государственной премии». Однако больше ни в одном источнике нет упоминаний о награждении Гумилева этой премией, второй по значимости после Ленинской. Да и сам Гумилев ни разу не упоминал о Государственной премии, а ведь он любил признание и славу, так что вряд ли из скромности не сообщил бы о такой награде. Документы, подтверждающие это награждение, тоже не известны. Значит, Чемерисская путает. Возможно, речь идет о награждении Гумилева премией им. А.В.Луначарского или о том, что Книжная палата СССР назвала «Древнюю Русь и Великую степь» лучшей книгой 1990 года.

Позднее Гумилев получит много наград, от азербайджанской «Алмазной звезды Гаджи Зейналабдина Тагиева» до премии «Вехи», присужденной Государственной Думой РФ. Но все они будут посмертными.

Вершиной его успехов стало бы избрание в Академию наук. Его кандидатуру выдвинули в 1990 году географы, но обстоятельства этого события неясны. Официальная версия, представленная повсюду, от Википедии до «Хроники» Новиковой, выглядит так. 15 мая 1990 года в Географическом обществе отмечали двадцатипятилетний юбилей пассионарной теории этногенеза. Среди участников был молодой географ, лимнолог, бывший морской офицер Леонид Колотило, он первым и предложил выдвинуть Гумилева в Академию наук. Инициативу поддержали.

Но Анатолий Чистобаев утверждает, что именно он предложил выдвинуть Гумилева в Академию, и было это на Ученом совете, который состоялся сразу после закрытия

проходившего в Казани IX съезда Всесоюзного географического общества. Съезд проходил в сентябре 1990-го. Академик Трешников в то время уже тяжело болел и в Казань не приехал. Руководил работой съезда Сергей Лавров, который, как ни странно, предложение Чистобаева не поддержал, отмолчался. Невозможно представить, что Чистобаев не знал о майском выдвижении Гумилева. Так или иначе, в Академию ученого выдвинули, но 7 декабря 1990-го на заседании Президиума Академии наук Гумилева забаллотировали.

Из воспоминаний Саввы Ямщикова: «…мы с Львом Николаевичем на кухне, и позвонили из Москвы: сообщили Гумилеву, что он не избран в членкоры. <…> Я попробовал сгладить ситуацию: "Лев Николаевич, вы расстроились…" Он и тут всё обратил в шутку: "Савелий, бросьте! Ну есть немножко осадок. Но разница только в том, что, если бы я получил звание, мы бы выпили одну бутылку, а теперь нужно две, потому что вроде бы я и достоин, а в то же время нет"».

Решение президиума было предопределено. Еще несколько лет назад именно комиссия Отделения истории АН СССР до последнего выступала против даже публикации работ Гумилева. Спустя всего четыре года превратить изгоя в академика – это было слишком. Академия наук в позднесоветские времена представляла собой закрытую корпорацию, со своими правилами игры, традициями, особой системой личных связей. Одного научного авторитета для вступления в Академию могло и не хватить. Игорь Михайлович Дьяконов был в научном мире намного более авторитетным человеком, чем Гумилев, однако и его в Академию не пустили. Возможно, припомнили востоковеду нарушение академической субординации – многолетнюю вражду с В.В.Струве. Пришлось Дьяконову, крупнейшему в России специалисту по истории Древнего Востока, довольствоваться статусом академика Российской академии естественных наук (РАЕН).

Всего три недели спустя после неудачи в АН СССР академиком РАЕН стал и Гумилев, его избрали 29 декабря 1990-го.

РАЕН создали в августе 1990-го в противовес бюрократизированной Академии наук. Когда Гумилева избирали в РАЕН, статус и дальнейшая судьба этой Академии были неясны. В наши дни РАЕН – общественная организация с репутацией весьма двусмысленной. Ее академиками становятся как настоящие, серьезные ученые, так и личности, далекие от науки, — астрологи, рериховцы, альтернативные медики и т. п. Действительными членами РАЕН избраны Григорий Грабовой и

Михаил Горбачев, Виктор Петрик и Рамзан Кадыров. Но в 1990-м о таких чудесах еще не ведали, а потому Лев Николаевич был, видимо, доволен. До конца дней будет подписываться: «академик РАЕН Л.Н.Гумилев».

В годы всеобщего признания и громкой славы противники Гумилева никуда не исчезли. В «Советской этнографии» с новой антигумилевской статьей выступил Виктор Козлов. В 1990 году вышла многострадальная полемическая статья Якова Лурье, написанная еще по горячим следам дискуссии между Гумилевым и Рыбаковым. Лурье, как мы помним, основательно прошелся не только по Гумилеву, но и по могущественному в начале семидесятых академику. Однако Лурье дали понять, что антирыбаковскую часть статьи следует убрать. Он поступил иначе: напечатал свою статью восемнадцать лет спустя, когда появилась возможность критиковать и не таких светил, как Рыбаков.

В апрельском номере «Невы» за 1992 год под рубрикой «Политический клуб "Альтернатива"» появилась целая подборка ан тигумилевских материалов. Открывалась она гневным (с обвинениями в антисемитизме) письмом в редакцию некого Александра Тюрина. Критика Игоря Дьяконова и Льва Клейна была мягче, причем Игорь Михайлович даже заинтересовался теорией этногенеза, а Лев Клейн защитил Гумилева от обвинений в антисемитизме.

У Гумилева оказалось много не только оппонентов, но и недоброжелателей и даже врагов. Однажды я заказал в Свердловской областной научной библиотеке журнал «Знамя», чтобы своими глазами увидеть первую публикацию гумилевского «Автонекролога». Оказалось, что какой-то неведомый читатель, скорее всего как раз в том далеком 1988-м, оставил на статье Гумилева довольно злобные комментарии синей шариковой ручкой. А завершил и вовсе потрясающей фразой: «Да сдохни скорее, уж из ума выжил». От всей души надеюсь, что галантный Лев Николаевич первым пропустил неизвестного читателя в царство теней. Но такой комментарий – тоже свидетельство популярности. Бессильная злоба недоброжелателей – тоже своего рода награда.

Часть XX

«ОТ РУСИ ДО РОССИИ»

Свою последнюю книгу «От Руси до России» Гумилев написал по просьбе учеников. Это была научно-популярная книга, предназначенная прежде всего школьникам, а также всем, кто интересуется историей, но не любит читать толстые монографии с сотнями ссылок на источники и обширными историографическими обзорами.

«От Руси до России» нуждалась в хорошем редакторе. Академик Панченко написал предисловие, но заниматься редактурой ему было недосуг, да он никогда и не стал бы за это браться: Александр Михайлович хорошо знал характер своего друга. Редактором книги обозначен С.В.Фомин, он же занимался составлением исторических карт. В работе над рукописью участвовал Вячеслав Ермолаев, бывший аспирант Гумилева. К сожалению, редакторы пропустили даже фактические ошибки. Вот Гумилев пишет, будто первый московский князь Даниил, младший сын Александра Невского, «воевал мало», а «единственным его завоеванием стала Коломна». На самом деле Даниил расширил земли своего княжества по меньшей мере в три раза! Из маленького удела оно превратилось в одно из самых значительных княжеств Северо-Восточной Руси. Только Переяславль Даниил присоединил мирным путем, его завещал московскому князю бездетный переяславский князь Иван. Но чаще Даниилу Московскому приходилось сражаться, причем не только с другими князьями, но и с татарами: «тое же осени (1285 года. – С.Б.) князь Данила Московский ходи на Рязань ратию и бися у города у Переяславля (речь о Переяславле Рязанском. – С.Б.) и одоле князь Данило и много татар изби, а князя Константина Рязанского изнимав приводе на Москву».

«От Руси до России» обычно рекомендуют тем, кто впервые берет в руки сочинения Гумилева. В этой действительно увлекательной книге Гумилев умудрился на нескольких страницах изложить свою теорию этногенеза, а затем проиллюстрировать ее на примере знакомом и близком просвещенному читателю – на истории России от Киевской Руси до империи Петра Великого.

Незадолго до смерти Гумилев успел получить сигнальный экземпляр, который и теперь хранится в его музееквартире на Коломенской улице. Стотысячный тираж разошелся очень скоро, а несколько лет спустя «От Руси до России» включили в список учебников и учебных пособий, рекомендованных для изучения в школе.

У меня особые отношения с этой книгой. «От Руси до России» – первая книга Гумилева, которую я прочел. Прочел, разумеется, с наслаждением, как и потом буду читать все книги Гумилева. Между тем рекомендовать ее школьникам я бы теперь не рискнул. Дело даже не в ошибках, хотя ошибок хватает. Важнее другое – книга написана не столько Гумилевым-ученым, сколько Гумилевым-художником. А в последние годы жизни Гумилев был к тому же художником идейным. Еще с 1980 года он доказывал, будто даже в Куликовской битве проклятая Европа выступила против русских и крещеных татар.

Гумилев доказывал, что главный враг России – Запад. А во времена Куликовской битвы Запад представляли Ганза, Ливонский орден, генуэзские колонии в Крыму и, конечно, Святой престол. Последний, правда, как раз в те годы находился в глубочайшем упадке: один папа сидел в Риме, другой – в Авиньоне, западный христианский мир был расколот. Англия, богатые города Фландрии и северной Италии поддерживали Рим, Франция и Кастилия – Авиньон. Раскол длился больше четверти века до самого Констанцского собора. В общем, в 1380 году Запад был поглощен своими делами.

Но Гумилев пересочинил историю. Мамая он представил марионеткой жадных генуэзцев, которые хотели получить концессии на Руси, «в районе Великого Устюга». Мамай будто бы попытался договориться с великим князем Дмитрием, еще не Донским: «Если бы Дмитрий согласился на эту сделку, Московская Русь в очень короткое время превратилась бы в торговую колонию генуэзцев. И хотя многим в Москве предложение казалось выгодным, свое слово сказала церковь. Преподобный Сергий Радонежский заявил, что с латинянами никаких дел быть не может…» В общем, Мамаю отказали, и он, исполняя приказ генуэзских купцов, пошел воевать.

Эта история производит впечатление как на простых читателей, так и на историков. Читатели удивляются, как понятны, как современны, оказывается, проблемы шестисотлетней давности. А историки не могут понять, где Гумилев всё это взял. «Откуда заимствовал автор эту цитату? В Троицкой и близких к ней летописях, несмотря на их интерес к Сергию, нет вообще никаких сведений об отношении Сергия к иноземцам. Но и в источниках XV века – в Житии Сергия, в Новгородско-Софийском своде – ни слова не говорится о его заявлениях против "латинян". Источники богатого подробностями повествования Гумилева о событиях вокруг Куликовской битвы остаются неизвестными», — пишет ироничный и дипломатичный Яков Лурье.

Остается вспомнить известную нам опечатку: «Древняя Русь в *воспоминаниях* Льва Гумилева». Перед нами не открытие ученого, а плод художественного вымысла, очень талантливого, а потому и убедительного вымысла. Он создавал здесь новую, художественную реальность, которая и теперь кажется убедительнее реальности исторической.

Итальянские наемники («фряги» или «фрязи») действительно участвовали в Куликовской битве на стороне Мамая, но нет никаких оснований считать самого Мамая генуэзской или венецианской марионеткой. Гумилев почемуто полагал, будто у Мамая не было денег на вербовку наемников, поэтому он и обращался к иноземным купцам. Но Золотая Орда была обширным и небедным государством. Мамаю хватало собственной казны.

Ни русские историки, ни летописцы – современники Куликовской битвы или позднейшие переписчики – не искали здесь «католический» след, им такое даже и в голову не приходило. Никто до Гумилева не приписывал победу военной доблести перешедших на русскую службу татар. Впрочем, Лев Николаевич в своих книгах подавал эту мысль осторожно, намеками, зато в лекциях не стеснялся самых фантастических заявлений. Например, московских бояр, составлявших «и правительство, и Думу, и Совет, и высшее и среднее командование войск», Гумилев почему то назвал «незаконными потомками хана». Забавная версия, ведь в одной только Куликовской битве погибло 483 боярина (не только московских, но и ростовских, можайских, серпуховских, суздальских, владимирских, костромских, переяславских, звенигородских, угличских). Да, ханы времени не теряли, трудились вовсю.

На несчастье Гумилева, в летописях сохранилось слишком много сведений о Куликовской битве и ее героях, чтобы мы могли, как в случае с хазарскими евреями, полагаться на реконструкции.

Откроем Симеоновскую летопись, где есть краткий список русских военачальников, погибших на поле Куликовом. Читаем: «князь Федор Романович Белозерский, сын его князь Иван Федорович, Семен Михайлович, Микула Васильевич, Михайло Иванович Окинфович, Андрей Серкизовъ, Тимофей Волуи, Михайло Бренковъ, Лев Морозовъ, Семен Меликъ, Александр Пересветъ и инии мнози».

В этом списке только один потомок крещеных татар – Андрей Серкизов (Серкиз, Серкизович, Черкизович), единственный сын ордынского царевича Серкиза, перешедшего на службу московскому князю. Кто же остальные? Два Белозерских князя,

московские бояре и Александр Пересвет, инок-воин, происходивший из брянских бояр. Никаких сведений о татарском происхождении хоть кого-нибудь из них, кроме Андрея Серкизовича, нет. Соотношение русских и крещеных татар здесь, как видим, 11:1 (одиннадцать к одному).

В других летописях встречаются еще многие имена князей, бояр и даже простых воинов, сражавшихся в Куликовской битве. Но достоверных сведений о крещеных татарах и там не найти.

Если орда Мамая и в самом деле была разноплеменной, то войско великого князя Дмитрия Ивановича состояло почти исключительно из русских. Во всех источниках подчеркивается, что на битву вышли именно русские люди, и сражались они «за землю Рускую, за веру христианскую». Победа на Куликовом поле – это русская победа.

Если уж говорить о нерусских участниках битвы, то в первую очередь следует упомянуть вовсе не татар, а литовцев. Великий князь литовский Ягайло Ольгердович был союзником Мамая, но вот его сводные братья Андрей и Дмитрий за несколько лет до Куликовской битвы перешли на русскую службу.

«Молвит Андрей Ольгердович своему брату: "Брат Дмитрий, два брата мы с тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы Гедими новы, а правнуки мы Сколомендовы. Соберем, брат, любимых панов удалой Литвы, храбрых удальцов, и сами сядем на своих борзых коней и поглядим на быстрый Дон, напьемся из него шлемом воды, испытаем мечи свои литовские о шлемы татарские, а сулицы немецкие о кольчуги басурманские"».

Оба князя в Куликовской битве сражались плечом к плечу с русскими князьями и боярами (русского или скандинавского происхождения). Между прочим, двоюродный брат московского великого князя, один из героев битвы, князь Владимир Андреевич Серпуховской был женат на дочери Ольгерда Елене, сестре Ягайло.

Наконец, надо вспомнить о главном герое битвы, об организаторе победы. Именно этот человек «расставлял полки», то есть планировал военную операцию. Именно он со своим засадным полком нанес решающий удар по войску Мамая и переломил ход сражения. Это был «нарочитый воевода» и «полководец изрядный», лучший военачальник в армии московского князя. Речь идет о князе Дмитрии Волынском-Боброке. Он был тоже Гедиминовичем, Андрею и Дмитрию приходился двоюродным братом.

Как видим, «Запад» был скорее на стороне князя Дмитрия. Что касается Ягайло, то он, вопреки мнению Гумилева, в 1380 году еще не был ни католиком, ни западником. Он был

прагматиком, а потому заключал союзы то с Тевтонским орденом, то с Польшей, то с Ордой. Между прочим, в 1381 году Тохтамыш дал Ягайле ярлык на великое княжение, то есть формально литовский князь признал (ненадолго) себя вассалом того самого «простодушного» степного хана, что был так любезен сердцу Льва Николаевича. Только в 1386 году Ягайло крестился в католическую веру и стал польским королем Владиславом.

Историческая реальность XIV века слишком далека от исторических фантазий Льва Николаевича.

Первым критиком татарофильской интерпретации Куликовской битвы стал Петр Николаевич Савицкий. Еще в январе 1958 года он узнал из письма о «неортодоксальных» воззрениях Льва Николаевича на Куликовскую битву, однако новую интерпретацию истории не принял: «…мне кажется, что Вы несколько *преувеличиваете* (здесь и далее выделено Савицким. – С.Б.) роль татар на русской стороне в Куликовской битве. Ведь в наших летописях сохранились довольно подробные списки и собравшихся ратей, и павших в сражении. И можно ручаться, что огромное их большинство – *коренные русские люди*».

Однако версия Гумилева понравилась не только наивным читателям, но и Вадиму Кожинову, серьезному филологу, ученику Михаила Михайловича Бахтина, сотруднику академического Института мировой литературы. Гумилева Кожинов критиковал за неточности, но принял именно его версию: на поле Куликовом воевали не с Востоком, а с Западом, не с евразийскими кочевниками, а с наемниками проклятых латинян.

Писатель и фольклорист Дмитрий Балашов, находившийся под сильным влиянием Гумилева, тоже согласился с автором «От Руси до России». Принял татаро-фильскую версию и Сергей Лавров, президент Русского географического общества, достойный, порядочный человек и серьезный ученый. Почему так случилось?

Чтобы продолжать разговор, нам придется вернуться в двадцатые годы XX века. Волшебное слово «евразийство» сейчас известно даже тем, кто не выучился читать. Между тем мало кто понимает его смысл. Не уверен, что даже советники и референты, подсказавшие Путину и Назарбаеву словосочетание «Евразийский союз», вполне понимают, о чем идет речь. Понятие стало слишком общим, слишком расплывчатым. Любого тюркофи ла у нас называют «евразийцем», любой тюркский, монгольский, а иногда и палеосибирский народ называют «евразийским». Любой совместный с Казахстаном, Киргизией или Узбекистаном проект, будь то таможенный союз или какой-нибудь фестиваль, тут же норовят связать с евразийством. Первоначально же евразийство

возникло как идейное течение, больше политическое, чем философское или тем более научное.

ЕВРАЗИЙСТВО

История евразийства начинается в Софии, где в 1920 году тридцатилетний русский филолог Николай Сергеевич Трубецкой, эмигрант, недавно получивший место в Софийском университете, опубликовал небольшую брошюру под названием «Европа и человечество».

Главная мысль князя Трубецкого – европейцы только собственную культуру считают общечеловеческой, хотя она, в сущности, не хуже, но и не лучше всех прочих культур. Более того, высших и низших культур вообще нет, писал Трубецкой, предвосхищая Тура Хейердала и современных идеологов мультикультурализма: «Дело тут не в том, что "дикари" по своему развитию ниже европейцев, а в том, что развитие европейцев и дикарей направлено в разные стороны, что европейцы и "дикари", по всему своему житейскому укладу и по вытекающей из этого уклада психологии, максимально отличаются друг от друга… "высших" и "низших" культур и народов вообще нет, а есть лишь культуры и народы, более или менее похожие друг на друга». Европеизацию Трубецкой считал безусловным злом. Всякий народ, решивший «присоединиться к Европе», теперь «светит отраженным светом» и даже уподобляется обезьяне, которая подражает чужим повадкам. Такой народ обречен на вечное подражательство, вечную отсталость, вечное подчинение романо германцам, материальную и духовную зависимость от них.

Брошюра была рассчитана на таких же русских эмигрантов, как сам князь. Один из них, Петр Николаевич Савицкий, сначала с Трубецким не согласился, но спустя недолгое время стал его единомышленником.

Отвернувшись от Европы, русские интеллектуалы начали искать новых друзей. Славяне, даже православные, их уже не привлекали. Николай Трубецкой, Петр Савицкий и присоединившиеся к ним Петр Сувчинский, Георгий Флоровский, конечно же, прекрасно знали и труды славянофилов, и панславизм Николая Яковлевича Данилевского. Автор «России и Европы», прямой идейный предшественник князя Трубецкого, еще в семидесятые годы XIX века мечтал о создании общеславянского государства со столицей в освобожденном от мусульманского ига Царьграде. Но за пятьдесят лет, что минули со времен первой публикации «России и Европы», самые горячие сторонники славянства усомнились в жизнеспособности панславизма.

Нужен был новый друг, и славянофилы его нашли легко. В 1921 году в Софии вышел сборник статей «Исход к Востоку», где

и появилось уже настоящее, классическое евразийство, которое будет более или менее успешно развиваться лет десять.

Избрав новыми друзьями и союзниками русского народа тюрков и монголов, евразийцы, на первый взгляд, ничего нового не выдумали. Почти все европейские русофобы давно и охотно причисляли русских к монгольскому миру. Французский историк и политический деятель Анри Мартен, современник Николая Данилевского, писал, что русские не славяне и вообще не индоевропейцы, они только внешне похожи на европейцев, а на самом деле принадлежат к «тюрко-алтайскому племени». Отсюда их склонность к суевериям, «раболепие» и «непроницаемость для просвещения». О татарском облике Московии времен Ивана Грозного писал польский историк Казимир Валишевский. Французский шовинист Анри Масси считал Россию страной исключительно азиатской. «Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства», — писал Карл Маркс. С европейцами соглашались и русские западники. Василий Осипович Ключевский называл Россию XVIII века государством «восточноазиатской конструкции… с европейски украшенным фасадом». Евразийцы согласились с этой формулировкой, они лишь поменяли знак. В глазах французского шовиниста и русского западника связь с монголами была тягчайшим обвинением, в глазах евразийцев – очень хорошим делом.

Российская государственность для них начиналась не с Киевской Руси, а с племенных объединений скифов, гуннов и, разумеется, с улуса Джучи, то есть с удела старшего сына Чингисхана. Хотя монгольское завоевание принесло Руси неисчислимые беды, польза от него намного превзошла вред. Россия восприняла не только формы, но и дух монгольской государственности:

«…Монгольское нашествие было бедствием ужасающим, погубившим на Руси сотни тысяч, а м.б. и миллионы людей, уничтожившим множество неоценимых памятников древнерусской культуры. <…> Но только слепой может отрицать, что на великую всемирно-историческую арену Русь [вышла], в свое время, именно "монгольским игом", превратившимся для Руси в великую монголо-татарскую "школу"», — писал Савицкий.

Возможно, евразийцы были искренни, когда называли Аттилу «батюшкой», а Чингисхана «великим организатором» и «суровым отцом нашим», но их монголофильство преследовало цель сугубо прагматическую: оправдать существование Российского государства, по крайней мере в границах Советского Союза. Монархия уже не могла бы объединить страну. В неизбежном

поражении коммунизма евразийцы двадцатых не сомневались. Это поражение сулило столь же неизбежный распад Советского Союза. Предотвратить его могла только новая идеология, объединяющая русских, украинцев, татар, узбеков, кавказцев, словом, все народы России. Такую идеологию и пытались создать евразийцы.

Все народы, населявшие Россию, они признали евразийскими, а ее территорию (в советских границах) назвали Евразией. Петр Николаевич Савицкий обосновал географическое единство Евразии, которое требовало единства политического. Трубецкой пытался обосновать единство культурное и духовное. Наука была у евразийцев служанкой политики.

Евразийцы пытались доказать, что многочисленные народы России хотя и различаются между собой и происхождением, и образом жизни, и религией, но все-таки составляют особую «многонародную личность», «евразийскую нацию».

Серьезных доказательств они так и не представили. Хуже того, евразийцы в принципе не были способны найти такие доказательства. Идеологию евразийства создавали люди образованные, талантливые, но в истории и этнографии Центральной Азии совершенно не компетентные. Среди евразийцев не нашлось профессиональных востоковедов. Даже Петр Савицкий, пожалуй, единственный человек, посвятивший евразийству свою жизнь и не отказавшийся от него до конца своих дней, признавался, что до середины двадцатых годов почти ничего не знал о домонгольских степных культурах и государствах.

В двадцатые Савицкий начал следить за публикациями по истории Центральной Азии и даже изобрел термин «кочевниковедение», который тридцать лет спустя очень понравится Льву Гумилеву. «Пламенное сердце кочевниковеда! Вот что нужно для того, чтобы охватить в полноте историю Старого Света…» – писал Савицкий Гумилеву. Увы, даже самое пламенное сердце не заменит профессиональной подготовки историка и филолога, а филологическая подготовка Савицкого для кочевниковеда не подходила. Петр Николаевич мог свободно читать лекции на немецком и французском, знал английский и норвежский, в Праге освоил чешский, но с восточными языками знаком не был, да и времени для научных исследований у него не хватало. Савицкий жил преподаванием, а все свободное время отдавал организационной работе и евразийской публицистике. К тому же в его распоряжении не было даже тех источников, с которыми мог работать Гумилев.

Савицкий признавался Гумилеву, что после оккупации

Чехословакии немцами (весной 1939-го) перестал посещать пражские библиотеки, а значит, перестал читать научные журналы и следить за новинками. Правда, в его распоряжении была огромная (10 тысяч томов) семейная библиотека, а друзья из Америки, Англии и СССР время от времени присылали ему книги. Но для занятий востоковедением этого мало. Савицкий помогал Гумилеву советами, подбадривал, иногда критиковал, но ведь Петр Николаевич не был ни тюркологом, ни монголистом. Самые дельные его замечания касались русской истории.

Наконец, темперамент Петра Николаевича больше подходил публицисту, чем исследователю. Петр Николаевич был человеком чересчур увлекающимся. Темперамент мешал ему даже больше, чем Гумилеву. «Над альбомом "Древнее искусство Алтая" я пропел песнь торжествующего кочевниковеда», — писал он Вернадскому и Гумилеву. Воодушевленный советскими успехами в космосе, Савицкий писал своему ленинградскому другу: «Мир земных кочевников перерождается в мир кочевников Вселенной. <…> Вперед же, на новые кочевья Вселенной!» Возможно, неоевразийцу Дугину это и понравится. Александр Проханов будет в восхищении. Но даже Гумилев, кажется, остался равнодушен и к полетам в космос, и к таким странным обобщениям.

Савицкий привлек к сотрудничеству в «Евразийском книгоиздательстве» искусствоведа и археолога Николая Петровича Толля, который преподавал тогда в Пражском университете и был вицедиректором Семинария (института) имени Н.П.Кондакова, созданного русскими эмигрантами, учениками знаменитого византиниста. Возможно, привлечь Толля к сотрудничеству помогли родственные связи – Николай Петрович был женат на Нине Вернадской, сестре евразийца Георгия Вернадского. Но и Толль был не тюркологом и не «кочевниковедом», а иранистом и византинистом. Для «Евразийского книгоиздательства» он написал небольшую, 77 страниц, книгу «Скифы и гунны: из истории кочевого мира» и сам же признал, что его сочинение «не представляет по существу ничего нового и лишь является попыткой изложить хорошо известные историкам факты…» В общем, это была хорошая компилятивная работа, полезная для начинающих востоковедов и для всех, кто недавно увлекся такой экзотической темой, то есть для людей вроде самого Савицкого.

Больше в евразийской деятельности Толль не участвовал, потому что вскоре получил место в Йельском университете, где и продолжал заниматься иранистикой, а не тюркологией. Уже после войны Савицкий с огорчением узнал, что Толль вообще

оставил науку и занялся разведением кур.

Еще раньше Толля переехал в США Георгий Вернадский. Вопреки распространенному заблуждению Георгий Владимирович не принадлежал к собственно идеологам движения, хотя и печатался в евразийских сборниках, выпустил в евразийском издательстве свое «Начертание русской истории». Востоковедческой подготовки он тоже не имел, а до революции занимался преимущественно сюжетами, весьма далекими от евразийства. Его магистерская диссертация называлась так: «Русское масонство в царствование Екатерины II». Только во второй половине двадцатых Вернадский, правда, не зная необходимого для историка Центральной Азии китайского языка, все-таки взялся и за кочевниковедение. Но главные труды Георгия Вернадского, сделавшие ему имя в науке, вышли в США, когда от классического евразийства остались одни воспоминания. Связь его многотомной «*History of Russia*» с евразийством довольно слаба.

Как ни странно, даже критики евразийства редко обращают внимание на одно весьма примечательное обстоятельство: любовь евразийцев к тюркам и монголам была заочной и, так сказать, платонической. Русские и польские (тот же Петр Петрович Сувчинский) аристократы, чье детство проходило с немецкими боннами и французскими гувернантками в родовых имениях и богатых особняках, — что знали они о монгольских аймаках и киргизских аилах? Где могли наблюдать трогательное славяно-тюркское единство? Мало кто из них видел в жизни живого монгола или казаха. Их знакомство с евразийскими народами обычно исчерпывалось знакомством с дворникомтатарином. Савицкий, возможно, встречал калмыков в Гражданскую войну (в одной статье Савицкого есть на это намек), но ни времени, ни возможности заниматься этнографическими исследованиями у него тогда не было. Годы Гражданской войны Савицкий провел в основном за границей, в Париже, где служил представителем А.И.Деникина. Не зря отец Георгий Флоровский, сам бывший евразиец, обратил внимание на прекраснодушное невежество своих бывших товарищей и посоветовал им изучить хотя бы печальную историю православных миссий в «евразийском» мире, прежде чем судить о евразийском единстве.

Евразийцы, не знавшие толком ни Азии, ни Евразии, между прочим, и не стремились поближе познакомиться с киргизами, монголами и татарами. Даже Николай Трубецкой, больше других хваливший Чингисхана и его преемников, предпочитал жить не в Урге или Кашгаре, а в прекрасной Вене, куда он перебрался уже в 1922 году. Карсавин жил во Франции, потом в Литве.

«Я – большой "обличитель" Запада; смею думать, знаю его, но "не приемлю"», — признавался Савицкий Гумилеву. Латиницу – и ту Савицкий называл «нечестивой», английский язык – «тарабарским языком».

Тем не менее не принимавший Запада Савицкий почти всю жизнь прожил именно на Западе, хотя однажды Петру Николаевичу представилась возможность побывать на просторах Евразии. Много лет он провел в мордовском Дубравлаге. Вскоре после смерти Сталина Савицкий вышел на свободу и вернулся в Прагу. Он много ездил по нелюбимой Европе, но никогда не стремился попасть в любимую Азию. Классическое евразийство могло быть и пражским, и парижским, и венским, и даже эстонским, но только не монгольским, не уйгурским, вообще не азиатским.

Дело евразийцев было обречено и по другой причине. Евразийцы оставались людьми православными, некоторые из них – глубоко верующими. Основу духовной жизни они видели только в православии, но большинство степных народов, столь любезных сердцам евразийцев, исповедовали ислам или буддизм. К этим религиям евразийцы относились пренебрежительно или прямо враждебно. В их глазах догматика ислама была «бедной, плоской и банальной; мораль – грубой и элементарной». К буддизму относились еще хуже: его прямо считали разновидностью язычества. Николай Трубецкой, посвятивший восточным религиям специальную статью, назвал буддизм проповедью «духовного самоубийства», в которой видна «печать сатаны». Индуизм внушал Трубецкому не меньшее отвращение, потому что ведические боги слишком уж смахивали на бесов.

Горячая религиозность, которую недоброжелатель непременно назвал бы фанатизмом, евразийцам немало повредила. Духовным антагонистом православия для них был даже не коммунизм, а католицизм. Противоборство с ним казалось столь важным, что один из первых евразийских сборников «Россия и латинство» был посвящен этой теме. Специально для борьбы с латинством пригласили Льва Карсавина, человека эрудированного и весьма искушенного в богословии, религиозной философии, истории христианства: «Все недостатки Карсавина я очень хорошо знаю. Но знаю и то, что в будущем придется еще страшно бороться с латинством. И в этом отношении он ни с кем не сравним… Я думаю привлечь Карсавина только как спеца…» – писал Сувчинский Трубецкому. Уже к середине двадцатых Карсавин стал душой знаменитого евразийского семинара в Клама ре, пригороде Парижа, где сформировался один из важнейших центров евразийства.

Но и другие евразийцы вносили свою лепту в дело борьбы с фантомом католической опасности. Савицкий сравнивал католицизм с большевизмом, причем не в пользу первого: жертвы большевиков погибают, но спасают душу, католики же ведут человека к духовной гибели, «от Истины полной к извращению Истины, от Церкви Христовой к сообществу, предавшему начала церковные в жертву человеческой гордыне». Сувчинский опасался, что католичество вновь, как в Смутное время, попытается «овладеть русским народом». На каких облаках они жили?

Страстная вера привела к политической слепоте. Вот уж кому в двадцатые годы было не до экспансии, так это католикам. Римский папа со времен объединения Италии жил в своем Ватиканском дворце на птичьих правах. Только в 1929 году Муссолини заключит с папой конкордат и позволит ему воссоздать крошечное государство в центре Рима. Во Франции все левые партии, от радикалов до коммунистов, отличались бешеной ненавистью к католической церкви: «гадину» давили при всяком удобном случае. Они уже добились отделения церкви от государства, вытеснив религию в частную жизнь. Отсталая Испания, скованная диктатурой Примо де Риверы, стояла на пороге жесточайших гонений на церковь, которые начнутся, как только к власти придет Народный фронт. В такой обстановке католицизму было явно не до религиозных войн с православием. Удар евразийцев пришелся в пустоту.

Благодаря усилиям Николая Трубецкого, Петра Савицкого и особенно юриста Николая Алексеева евразийство превратилось в оригинальную политическую идеологию. Евразийцы надеялись, что их учение со временем займет место коммунизма, неизбежный крах которого ожидался в самом скором времени. Перефразируя Маркса, Савицкий утверждал: «Евразийцы объясняют историческую действительность и в то же время ставят своей задачей сделать ее иной».

При всей своей ненависти к Западу евразийцы оставались подлинными европейцами, а потому идеи заимствовали не в Китае или Иране, а в Италии или Германии. Политическим строем евразийского государства должна была стать идеократия, то есть власть элиты, сформированной на основе приверженности людей, в нее включенных, «идееправительнице», «идеесиле», но разве перед их глазами не было примера? Идеократия евразийцев напоминает не только политический режим Советского Союза, но и фашистский режим в Италии.

Будем справедливы к евразийцам: слово «фашизм» здесь неуместно. Да и настоящий фашизм в двадцатые годы не был так

страшен. Гитлер еще только шел к власти, а Муссолини скорее привлекал стороннего наблюдателя, чем отпугивал. Италия не знала ни массового террора, ни расизма. В тридцатые годы евразийцы будут уже куда осторожнее писать об идеократии. Князь Трубецкой заявит, что «идеей-правительницей» может служить только «благо совокупности народов», населяющих Россию-Евразию. С этим трудно поспорить, но мысль, в сущности, банальная.

Русская интеллигенция еще с XIX века плохо воспринимала идеи, враждебные ее обычному западничеству. О славянофилах за пределами Москвы едва знали. Их журнал «Русская беседа» издавался в убыток. Алексей Степанович Хомяков писал Ивану Сергеевичу Аксакову, который с 1858 года стал фактически главным редактором журнала: «"Беседа" не может существовать сама по себе, и причина этому очень грустная. Для нее нет в России читателя!» Не нашлось читателя и для «России и Европы» Николая Яковлевича Данилевского. Тираж в 1200 экземпляров едва распродали за пятнадцать лет. На этом фоне судьба евразийства поначалу казалась счастливой.

Пожалуй, главным центром евразийства, более важным, чем Кламар, стала Прага. Евразийцы не только регулярно выпускали сборники статей, издавали «Евразийский временник» и «Евразийскую хронику», но и охотно выступали с публичными лекциями, которые имели успех у русских эмигрантов. Евразийство быстро распространялось, захватывая центры русской эмиграции, от Белграда до Берлина. Были сторонники евразийства и в Бельгии, Болгарии, Латвии, Эстонии. К середине двадцатых годов движение хотя и подвергалось уже критике (как либеральной, так и монархической), было на подъеме. Но уже к началу тридцатых популярность евразийства пошла на убыль.

Среди парижских евразийцев были не только теоретики, но и люди дела, умевшие похищать документы и стрелять из-за угла, — такие как Сергей Эфрон и Константин Родзевич; по своему складу они резко отличались от Трубецкого и даже Савицкого. «Парижане» ускорили неизбежный закат евразийства.

В конце двадцатых в движении произошел раскол. Его причиной обычно считают соперничество Савицкого и Сувчинского и, главное, сближение парижских евразийцев с большевиками. Это верно, но распад движения был предопределен. И дело не в том, что правые, пражские евразийцы, поссорились с левыми, парижскими. Евразийство просто утратило актуальность. Заниматься востоковедением никто не хотел. Практическая же задача – захват власти в СССР и создание новой «идеокра тии» – была очевидной утопией. Советская власть стояла крепко, о

скорой победе и мечтать не приходилось.

С конца двадцатых от евразийства отошел Карсавин, после его отъезда в Литву кламарский (парижский) семинар евразийцев пришел в упадок. Бицилли и Флоровский превратились в критиков евразийства. Трубецкой евразийству не изменял, но явно им тяготился, жаловался, что публицистика не только трудно дается ему, но и отвлекает от научных занятий. Сергей Эфрон уверял, что уже в 1928-1929 годах перешел на «советскую платформу». Так же поступил Дмитрий Святополк-Мирский и другие левые. Как известно, этот исторический переход привел их к сотрудничеству с ОГПУ. Евразийство оказалось для них лишь пересадочной станцией на пути в Советский Союз.

Паладином евразийства до конца своих дней (в апреле 1968 года) оставался Петр Николаевич Савицкий. Гумилев нашел в нем родственную душу, но был ли он сам евразийцем?

ГУМИЛЕВ И ЕВРАЗИЙЦЫ

«Вообще меня называют евразийцем – и я не отказываюсь», — не раз говорил Гумилев. Трудно найти его интервью, где речь не заходила бы о евразийцах и евразийстве. А еще прежде, в интервью газете «Молодежь Якутии», Гумилев заявил прямо: «Я евразиец!»

Самые образованные советские интеллектуалы слышали о евразийстве задолго до перестройки. Лев Аннинский упоминает «неудобоваримые тени» евразийцев еще в письме ко Льву Гумилеву от 25 мая 1977 года. Чивилихин и Кузьмин, ознакомившись со взглядами Гумилева на татаро-монгольское иго, тут же вспомнили о евразийстве.

Себя Гумилев считал «последним евразийцем». Ученики и последователи безоговорочно признали Гумилева классиком евразийства, их сетевой журнал в начале нулевых выходил под неизменным эпиграфом из последнего интервью Гумилева: «Если Россия будет спасена, то только как евразийская держава и только через евразийство».

В последние годы жизни Гумилев часто говорил и даже писал о евразийцах, но писал как-то странно: «…в теории этногенеза у них отсутствует понятие "пассионарность". Вообще им очень не хватало естествознания». Возможно, евразийцам и не хватало естествознания, но вот чем-чем, а теорией этногенеза они никогда не занимались.

Его похвалы тоже звучали очень странно. «Это была мощная историческая школа», — сказал Гумилев в интервью журналу «Наш современник». Неясно, заблуждается Гумилев или издевается. Карсавин занимался европейской медиевистикой, Вернадский – историей России. Их взгляды на историю совершенно различались. Какая уж тут историческая школа? Не считать же евразийцами американских учеников Георгия Вернадского?

«Первой прочитанной мною евразийской книгой было историческое исследование Хара-Давана о Чингисхане. Позже я прочел в Публичной библиотеке книгу Толля о скифах», — вспоминал Гумилев. Более чем интересное признание. О «евразийстве» ираниста и птицевода Николая Толля читатель уже знает, разберемся с Хара-Даваном.

Эренжен Хара-Даван родился в калмыцком кочевье в 1883 году, но сумел получить хорошее образование и «выйти в люди». Он учился сначала в Астрахани, а затем – в Петербурге, в Военно-медицинской академии, некоторое время слушал лекции и в

Тартуском университете. В 1920 году он вместе с остатками белой армии покинул Россию. В истории Хара-Даван остался как основатель первого в Европе буддийского храма (в Белграде) и автор довольно основательного исследования: «Чингисхан как полководец и его наследие: культурноисторический очерк Монгольской империи XII–XIV веков» (Белград, 1929).

Книга Хара-Давана импонировала евразийцам, ведь там прославлялся образ монгольского завоевателя, которого Савицкий будет позднее называть «великим и суровым отцом нашим». Влияние монгольской государственности на российскую калмыцкий историклюбитель тоже признавал. Однако сам Хара Даван к евразийскому движению не принадлежал.

Если не считать Толля и Хара-Давана, Гумилев упоминал только трех настоящих евразийцев: Георгия Вернадского, Петра Савицкого и князя Николая Трубецкого. Имен Сувчинского, Фло ровского, Карсавина он никогда не называл. Не найти в трудах Л.Н.Гумилева и ссылок на работы правоведа Николая Алексеева.

Несмотря на некоторую общность, взгляды Гумилева и евразийцев чаще расходились, причем расходились в самых важных для евразийства «практических» вопросах. Евразийцы включали в «евразийскую нацию» или «многонародную личность» все народы Советского Союза, а Гумилев насчитал в СССР по меньшей мере семь суперэтносов.

Гумилев практически не касался политических взглядов евразийцев и их государственноправовой теории. Он даже не упоминал политологические статьи Савицкого, о статье Трубецкого «Об идееправительнице идеократического государства» писал довольно туманно. Такую сдержанность легко объяснить советской цензурой: почти всю сознательную жизнь Гумилев провел при политическом режиме, исключавшем возможность свободно и публично высказать свое мнение на сей счет. Однако и в своих поздних интервью Гумилев, охотно рассуждавший на «евразийские» темы, эту тему не затрагивал. Однажды в беседе с писателем Дмитрием Балашовым Гумилев применил термин «идеократия», характеризуя теократический режим митрополита Алексия, фактически правившего при малолетнем Дмитрии Ивановиче (будущем Дмитрии Донском). Объединяющей «идеейсилой» тогда являлось православие. Однако для более поздних эпох православную идеократию Л.Н.Гумилев идеалом не считал, ведь по мере расширения «ареала российского суперэтноса» «светлая Русь с ее относительным мировоззренческим и поведенческим единством» ушла в прошлое.

Интересно, что Гумилев, много и охотно критиковавший

Запад (особенно в последние годы жизни), не критиковал ни либеральную демократию, ни рыночную экономику, ни тем более правовое государство. С его точки зрения неумеренное заимствование достижений Запада плохо лишь тем, что Россия просто не готова их воспринять. Он считал, что российский суперэтнос на 500 лет «моложе» романо-германского, именно поэтому «западноевропейцев отличает развитая техника, налаженный быт, господство порядка, опирающегося на право. Всё это – итог длительного исторического развития». Вопрос о государственном строе и форме правления был для него вообще малоинтересен. Здесь он очень далек от евразийства.

При всем своем европоненавистничестве Гумилев не присоединялся и к евразийской критике католицизма, вовсе игнорировал богословские вопросы, так занимавшие евразийцев. А если бы евразийцы узнали о настоящих взглядах Гумилева на религию, то никогда бы не признали в нем своего.

Так был ли Гумилев евразийцем? Смотря что считать евразийством. Если к евразийцам причислять всех сторонников русско-тюрко-монгольского братства, то, конечно, был. Если считать евразийством политическую идеологию, созданную русскими эмигрантами в Праге, Вене и Париже, то, конечно, не был. В старости Гумилеву идеология была совершенно не интересна.

ЗМЕЙ ТУГАРИН

Для Гумилева евразийство было не политической идеологией, а образом мысли. Он пытался доказать, будто Русь – это продолжение Орды, а многие русские люди – потомки крещеных татар. Последние пятнадцать лет жизни он потратил на доказательство этой идеи. Русские ученые еще с XIX века спорили о роли монголов в истории русской государственности. Карамзин и Костомаров признали влияние Золотой Орды, а Соловьев считал, что это влияние ограничилось бесчисленными потерями и разрушениями, которые причинили ордынцы Русской земле. Соловьевской точки зрения держался и академик Платонов. Борис Дмитриевич Греков с присущей ему категоричностью заявил: «Не при содействии татар, а именно в процессе тяжелой борьбы русского народа с золотоордынским гнетом создалось Русское государство с Москвой во главе. Не Золотая Орда его создала, а родилось оно вопреки воле татарского хана, вопреки интересам его власти». Долгое время эта точка зрения господствовала в советской науке.

Между тем, по всей видимости, правы были как раз Карамзин, Костомаров, Савицкий, Вернадский и Гумилев. Власть великого князя московского слишком напоминала власть великого хана, а порядки в Московской Руси мало походили на порядки древнерусских вечевых городов, где князь был не самодержцем, а всего лишь должностным лицом, нередко выборным. Символично, что отороченная мехом золотая шапка, которой до XVIII века венчали русских царей, не имела отношения ни к императору Константину Мономаху, ни к Владимиру Всеволодовичу Мономаху, а, вероятно, была изготовлена ювелирами Бухары, Самарканда или Казани где-то на рубеже XIII-XIV веков.

Но история страны и народа намного шире истории государства, а русская культура начала складываться задолго до нашествия Батыя. Да и традиции Золотой Орды со временем слабели, сменялись новыми, пришедшими из Европы идеями, модами, вкусами. Московский Кремль строили итальянские и русские, а не татарские архитекторы. Дворцы и сады Петербурга, Царского Села, Павловска, Ораниенбаума создавали итальянцы, немцы, шотландцы, французы. Какой евразиец найдет в истории русской культуры монгольского Монферрана?

Но культуру Гумилев называл техносферой, царством мертвых вещей и овеществленных идей, а как же быть с живыми народами, с тем самым «евразийским братством», о котором

писал Николай Трубецкой, которое много лет защищал Лев Гумилев?

Представления о евразийском единстве, появившиеся в XX веке в умах русских европейцев, воскресли в сознании советских интеллигентов, разочаровавшихся в коммунизме, потрясенных распадом страны, сумгаитским погромом, войной в Нагорном Карабахе, триумфом национализма в Прибалтике и на Украине, в Закавказье и Ферганской долине. В девяностые годы как будто повторилась коллизия начала двадцатых: евразийством решили заменить коммунизм.

Сергей Борисович Лавров болезненно переживал распад Советского Союза, повальное распространение русофобии, агрессивное западничество, презрение к национальным интересам. Лавров и его единомышленники видели в евразийстве оправдание и объяснение ушедшей империи, а главное, идейное и даже научное обоснование строительства новой империи. Жизнь без империи, как тогда казалось, лишилась смысла. Отсюда и популярность экстравагантных геополитических построений, в которых русские почему-то оказывались наследниками не Владимира Святого и Ярослава Мудрого, а Тоньюкука и Бумын-кагана или Бату-хана и Менгу-Тимура.

Между тем современники Куликовской битвы, их сыновья и внуки совсем иначе смотрели на историю и «геополитику» Куликовской битвы: «Пойдем, братья, в северную сторону – удел сына Ноева Афета, от которого берет свое начало православный русский народ. Взойдем на горы Киевские, взглянем на славный Днепр, а потом и на всю землю Русскую. И после того посмотрим на земли восточные – удел сына Ноева Сима, от которого пошли хинове – поганые татары, басурманы. Вот они-то на реке на Каяле и одолели род Афетов. С той поры земля Русская невесела; от Калкской битвы до Мамаева побоища тоской и печалью охвачена, плачет, сыновей своих поминая – князей, и бояр, и удалых людей, которые оставили дома свои, жен, и детей, и всё достояние свое и, заслужив честь и славу мира этого, головы свои положили за землю Русскую и за веру христианскую», — писал автор «Задонщины».

Гумилеву так и не удалось подвести под евразийство научную основу. В «Древних тюрках» Гумилев оставался прежде всего ученым, историком, его книга доказывает, что объективных причин для объединения у евразийских народов не было. Степные племена боролись с агрессией тюрков всеми силами. Вот как сам Гумилев описывает сражение между тюрками и тюргешами в Отюкеньской черни (697 год): «Ожесточение при войне было

сильным – не щадили ни женщин, ни детей. Их обращали в позорное рабство или просто убивали».

В «Эхе Куликовской битвы», «Черной легенде», «От Руси до России», в блистательной, увлекательной и даже научной книге «Древняя Русь и Великая степь» Гумилев все больше приносил науку в жертву своей искренней, бескорыстной, иррациональной любви к монголам. Михаил Ардов вспоминал один свой разговор с Гумилевым: «…зашла речь о стихотворении Алексея Толстого "Змей Тугарин", Лев Николаевич знал его наизусть. Я помню, как он читал мрачные пророчества, которые "змей Тугарин", "приплывший от Черного моря", возглашает в Киеве, на пиру у князя Владимира:

И начал он петь на неведомый лад:
"Владычество – смелым награда!
Ты, княже, могуч и казною богат,
И помнит ладьи твои дальний Царьград —
Ой ладо, ой ладушки-ладо!

Но род твой не вечно судьбою храним.
Настанет тяжелое время,
Обнимут твой Киев и пламя, и дым,
И внуки твои будут внукам моим
Держать золоченое стремя!"

<…>
Певец продолжает: "Смешна моя весть
И вашему уху обидна?
Кто мог бы из вас оскорбление снесть?
Бесценное русским сокровище честь,
Их клятва: да будет мне стыдно!

На вече народном вершится их суд,
Обиды смывает с них поле –
Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече – каганская воля!"

<…>
Но тот продолжает, осклабивши пасть:
"Обычай вы наш переймете,
На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины всласть,
Вы Русью ее назовете!"

<…>

Тут Лев Николаевич посмотрел на меня с некоторым лукавством и произнес:

— Змей Тугарин – это я».

ЕВРАЗИЙСКОЕ БРАТСТВО

Положительная комплиментарность самого Гумилева к монголам и татарам не вызывает сомнений, но можно ли то же самое сказать и о русском народе?

Во времена Батыя монголы не проявляли к русским особого почтения. По версии Гумилева, великий князь владимирский Ярослав Всеволодович был ценнейшим союзником монголов. Значит, монголы должны были отнестись к нему с почтением. Между тем, по словам Джованни дель Плано Карпини, с Ярославом в Каракоруме обращались пренебрежительно: «… знатный муж Ярослав, великий князь Русии, а также сын царя и царицы грузинских и много великих султанов… не получали среди них никакого должного почета, но приставленные к ним татары, какого бы то низкого звания они ни были, шли впереди их и занимали всегда первое и главное место, а, наоборот, часто тем надлежало сидеть сзади зада их».

Если так относились к русским князьям, то каково жилось простым ремесленникам, которых монголы перевезли в Каракорум?

Гумилев писал, будто бы ненависть к татарам появилась не во времена Батыева нашествия и не в благословенные годы русско-татарского симбиоза (то есть в самые страшные, беспросветные времена татаро-монгольского ига), а много позднее, в конце XIV века, когда «узурпатор Мамай стал налаживать связи с католиками против православной Москвы». Так ли?

Ростовские князья одно время были «татарофилами». В 1238 году Ростов сдался татаро-монгольскому войску без сопротивления, поэтому не был разорен, как Владимир или Старая Рязань. Это не преминул отметить и Гумилев, разумеется, с похвалой. Татары и позднее охотно приезжали в Ростов. Именно там поселился царевич Петр Ордынский, первый чингисид, который принял православие, основал в Ростове монастырь и вообще отличался такой набожностью, что со временем был канонизирован православной церковью. Но даже в Ростове народ не поддерживал коллаборационизм своих правителей. В 1289 году ростовчане взбунтовались против татар, ограбили и выгнали их из города. В 1327 году жители Твери куда страшнее расправились с послом самого хана Узбека Чолханом (Шевкалом, Щелканом Дудентьевичем). Этот посол довел тверичей до такого ожесточения, что они, не побоявшись ханского гнева, сожгли самого Чолхана, а «гостей ординских старых и новопришедших,

иже с Щелканом Дюденевич пришли, еще не бишася, но всех изсекоша, а иных истопиша, а иных в костры дров складше сожгоша».

Сведения о восстании против Чолхана сохранились в Тверском летописном своде, составленном, по мнению Я.С.Лурье, «бесспорно до столкновения с Мамаем».

В народной памяти Чолхан остался надолго. Этому событию посвящена историческая песнь «О Щелкане Дудентьевиче» и «Повесть о Шевкале». Читая русские повести, исторические песни и былины, где татары почти всегда предстают злейшими врагами русского народа, противниками русских богатырей, невольно сомневаешься в словах евразийца Трубецкого о «евразийском братстве народов».

Николай Сергеевич, напомним, с евразийскими народами был знаком преимущественно заочно – как лингвист. Но вот другой его соратник по евразийству, Георгий Владимирович Вернадский, был не только профессиональным, но и честным историком, а потому написал даже о вещах, которые никак не укладывались в евразийскую картину мира.

Великий князь московский Василий Темный, подобно Льву Гумилеву, был татарофилом. Однажды князь попал в плен к татарам, но те обращались с ним хорошо, и Василий, вернувшись на великокняжеский престол, начал принимать татар, даже не крещеных, на службу и давать им «в кормление» русские города. Русские люди были крайне недовольны притоком понаехавших на русскую службу татар. Возмущением воспользовался двоюродный брат Василия Дмитрий Шемяка, соперник Василия в борьбе за власть. Шемяке удалось дискредитировать Василия, и тому пришлось пойти на уступки: под давлением «общественности», поддержанной православными епископами и митрополитом Ионой, Василий начал селить служилых татар не на собственно русской земле, а на окраине. Пусть дружественные татары стерегут русскую землю от недружественных, но чтобы на Руси не появлялись!

И все-таки самое поразительное свидетельство ненависти русских к «евразийским» оккупантам я нашел… в книге Льва Гумилева «Древняя Русь и Великая степь». Гумилев доказывал, что русские в годы Батыева нашествия воевали плохо, вели себя недальновидно и друг другу не помогали. При этом он так увлекся, что поведал миру поразительную историю. Передаю слово великому ученому:

«Мой покойный друг профессор Н.В.Тимофеев-Ресовский рассказал мне по детским воспоминаниям, что около Козельска есть село Поганкино, жители которого снабжали провиантом

монголов, осаждавших "злой город". Память об этом событии была в XX в. настолько жива, что козляне не сватали поганкинских девиц и своих не отдавали замуж в Поганкино».

Козельские краеведы считают, что Тимофеев-Ресовский перепутал название, но деревня с такой дурной репутацией и в самом деле существует, только называется она Дешовки. Название же трактуется так, будто жители задешево продались Батыю и снабжали его войско необходимыми припасами. Существует и легенда о глупой девке или бабе, которая за дешевый подарок (бусы или зеркальце) показала монголам тайный ход на другой берег Жиздры. Эта легенда жива и теперь, хотя о «половом бойкоте» давно уже нет и речи.

Попробуем оценить это и в самом деле невероятное явление.

Осада Козельска – это весна 1238 года.

В 1611 году поляки сожгли Москву, огромный и богатый город! В 1612 году Москву освободило земское ополчение под командованием князя Пожарского. События грандиозные, в самом деле исторические. И происходили они четыреста лет назад. Давно? Давно, но все же намного ближе к нам, чем осада Козельска. И что же? Когда в 2005 году власть учредила государственный праздник «День народного единства» в честь победы русского ополчения, россияне просто не поняли, о чем идет речь.

В 1941-м началась самая страшная, самая великая война, которую только вел наш народ. Никогда ее не должны были забыть. Однако же теперь все чаще встречаются студенты, которые путают Вторую мировую с Первой мировой и даже не знают, что такое Сталинградская битва. С каждым годом таких все больше. А ведь прошло каких-то семьдесят лет, еще живы десятки тысяч ветеранов той великой войны.

А жители Козельска помнили Батыево разорение более семисот лет! И более семисот лет презирали далеких потомков тех трусов и предателей, что помогали врагу в тринадцатом веке!

Конечно, память народная – не всегда справедливый судья, но может ли историк и этнолог ее игнорировать? И случайно ли из памяти народной татары со временем вытеснили половцев, печенегов, черных клобуков и других степняков? «Все "степные кочевники" стушевались здесь и уступили одному образу – татарского хана и его подручных, — писал академик Греков. — Татарская власть запечатлелась в памяти народной настолько глубоко, что в наших былинах вместо тех или иных врагов, с какими приходилось сталкиваться русскому народу на протяжении многих веков его истории, везде называются одни "татаровья", олицетворением которых является царь Калин,

нередко выступающий под именем Батыя Батыевича, иначе Бутыги или Бутеяна Бутеяновича, или же, наконец, Мамая».

БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

По словам Николая Трубецкого, не русские свергли татаро-монгольское иго, а ханская ставка всего лишь переехала в Москву, московский царь заменил ордынского хана. Вот так к русским перешла историческая задача, недавно выполненная монголами, — объединить Евразию.

Допустим. Только вот народы Евразии никак не хотели объединяться. К тому же московские великие князья и цари, завоевывая ханство за ханством, преследовали не какую-то абстрактную историческую или мистическую цель, а всего лишь хотели обезопасить русские земли.

Казанское ханство несколько десятилетий держало в страхе жителей Мурома, Нижнего Новгорода, Владимира, Шуи, Костромы, Юрьева-Польского, Галича и даже далеких Вологды, То тьмы, Устюга, Вятки. А ведь русские города в те годы были не столько торгово-ремесленными центрами, сколько крепостями. За их стенами русские крестьяне спасались от набегов татарских.

А ведь помимо казанских набегов были еще крымские и ногайские.

Вот что говорится о последствиях татарских набегов в «Казанской истории», написанной современником событий, бывшим русским пленником, освобожденным после взятия Казани:

«Многие города русские запустели от поганых. Рязанская земля и Северская крымским мечом погублены. Низовская же вся земля, Галич, и Устюг, и Вятка, и Пермь от казанцев запустели. И было тогда беды за многие годы от казанцев и черемисов больше, чем при Батые. <…> Многие грады русские разрушены, и травой и быльем заросли села и деревни, многие области опустели от варваров. И продавали русский плен в дальние страны, где вера наша неизвестна и выйти откуда невозможно…»

Автор «Казанской истории», конечно, необъективен, а его сочинение – настоящая публицистика XVI века, но и публицистика может служить источником, а частые татарские набеги и опустошения подтверждаются летописцами.

2 октября 1552 года русские войска наконец-то взяли Казань и присоединили земли этого ханства к России. Но чего стоила эта победа! Много недель огромная русская армия с немецкими военными инженерами, с лучшей во всей Восточной Европе артиллерией, во главе с самим Иваном Грозным и его непобедимым воеводой Михаилом Воротынским, фактическим руководителем осады, стояла под стенами Казани. Но что значит

стояла? Сражалась! Отбивая вылазки, делая подкопы под стены и башни. Казанские татары сочинений евразийцев не читали, а потому сопротивлялись русским до последней возможности, умирали, пишет Карамзин, но не сдавались, говоря: «Не хотим прощения! В башне Русь, на стене Русь: не боимся; поставим иную башню, иную стену; все умрем или отсидимся!»

В этот страшный день русские войска освободили в Казани тысячи русских пленников. Уже на обратном пути, в Нижнем Новгороде, царя Ивана и его воевод встречали жители и «обливались слезами благодарности за вечное избавление от ужасных набегов казанских». Если бы не эта блистательная победа, то Иван Грозный, безумный и жестокий тиран, не занял бы в памяти народной такого важного места.

Впрочем, победа 1552 года не означала полного замирения казанцев. Вскоре татары и черемисы (марийцы) восстали, и царю вновь пришлось послать своих лучших воевод – Андрея Курбского, Ивана Шереметева, Даниила Адашева, Ивана Мстиславского – с карательной экспедицией: «…после взятия Казани нужно было еще пять лет опустошительной войны, чтоб усмирить все народы, прежде от нее зависевшие», — писал Сергей Соловьев в своей фундаментальной «Истории России».

Но еще в тридцатые годы XVII века татар под страхом смертной казни не допускали в Казанский кремль, стратегически важный объект, где располагался русский военный гарнизон.

Лев Николаевич историей после XV века почти не занимался, когда же ему приходилось в лекциях или в своей последней книге рассказывать о событиях XVI, XVII, XVIII веков, то ошибался он чаще обыкновенного. Войну с Казанским ханством он назвал «единственным понастоящему кровавым эпизодом в продвижении России» на восток, «встречь солнца». Эти слова простительны разве что школьнику, воспитанному на политкорректных учебниках истории. Между тем только покорение Урала и Западной Сибири заняло около двух веков. Оно началось задолго до Ермака, во времена князей Ермолая Верейского и Михаила Пермского, а закончилось уже в первой половине XVII века, когда погибли последние сыновья Кучума, поднимавшие против русских восстание за восстанием. Впрочем, башкирские восстания XVIII века служили кровавым эпилогом к выигранной русскими битве за Урал. Последнее из этих восстаний совпало с пугачевщиной. Гумилев полагал, будто сибирские народы – манси, ханты, тунгусы – «не вступали в борьбу с русскими», и сделал из этого заведомо ошибочного утверждения ошибочный вывод: «Очевидно, ни одна из сторон не давала повода для конфликта». Боюсь, Гумилев ничего не знал о воинственных

жителях мансийских государств, созданных на Пелыме и Конде. Между прочим, еще в 1956 году Савицкий посоветовал Гумилеву почитать литературу о манси, об их военных успехах, о «достаточно развитой исторической жизни» обитателей бассейна Оби.

После падения Казанского и Астраханского ханств прежние враги в самом деле «широкой рекой» потекли на русскую службу. Далеко не все уже принимали крещение, многие служилые татары оставались мусульманами. Иван Грозный, вообще щедрый к чужеземцам, охотно раздавал им русские земли. В опричнине было много не только немцев, но и татар, и черкесов, родственников второй жены Ивана IV.

Каковы же последствия массового приема татар и кавказцев на русскую службу? Против ливонских немцев, шведов и поляков они воевали хорошо. Однако в 1571 году крымский хан Девлет-Гирей объявил неверным священную войну и пошел на Москву, и тогда к его войску примкнули не только ногаи, но и черкесы во главе с князем Темрюком, тестем царя Ивана. Мусульмане начали переходить на сторону крымского хана, в Поволжье вспыхнуло антимосковское восстание. Царь Иван бежал, не приняв боя, а Девлет-Гирей сжег Москву. Это было четвертое разорение Москвы татарами. Первое случилось еще при походе Батыя, второй раз Москву опустошила Дюденева рать, третий раз – «простодушный» Тохтамыш. На следующий год крымский хан снова отправился на Москву, но был разбит Михаилом Воротынским.

С тех пор южная граница России еще два века находилась под угрозой татарских набегов. В Смутное время крымцы доходили до Боровска и Домодедовской волости. Последний набег крымских татар на русскую землю случился в царствование Екатерины Великой, в январе 1768 года. Правда, дальше Новороссии крымцев не пустили.

Вдумаемся в этот поразительный факт. Вторая половина XVIII века. В Европе давно уже эпоха Просвещения. Парижане охотно раскупают «Энциклопедию наук, искусств и ремесел», в театрах идут пьесы Вольтера. Господа в напудренных париках и расшитых золотом камзолах обсуждают сочинения Дидро. Джеймс Кук вступает на землю Новой Зеландии. В Аяччо у Карло Буонапарте и Летиции Рамолино рождается сын, который получит итальянское имя Наполеоне, а за полгода до него в Москве родился будущий баснописец Иван Андреевич Крылов. В Москве уже существует университет, его основоположник Ми хайло Васильевич Ломоносов только недавно скончался в почете и славе. А на далекой теперь южной границе Руси татары сжигают крестьянские хаты, захватывают в плен сильных, работящих

мужчин и прекрасных юношей и девушек, вяжут их веревками и отправляют в Крым, чтобы затем с выгодой перепродать. Как будто во времена если не Батыя, то Девлет-Гирея.

Под стенами Казани и у русских, и у казанцев была своя правда. Но никогда не существовало в реальности и той самой идиллии евразийского братства, о котором так охотно писали Николай Трубецкой, Петр Савицкий и Лев Гумилев.

Татары уже давно живут в мире и дружбе с русскими людьми. И кто же будет спорить с тем, что современные русские, украинцы, монголы, узбеки, казахи должны с уважением относиться друг к другу, вместе работать, дружить, сотрудничать – но и не впадать в гибельный самообман. Рассчитывать стоит на разум, на общность интересов, на сложившиеся традиции добрососедства, а не на абстрактное «евразийское братство». Изучать же межэтнические отношения надо добросовестно, не утаивая ни хорошего, ни дурного, не прятать правду от читателя, не обманывать и не обманываться самим. А розовые очки евразийства нам лучше выбросить навсегда.

ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ

«Лев Гумилев умирал вместе со страной», — напишет Сергей Лавров в последней главе своей книги «Лев Гумилев. Судьба и идея». Сергей Борисович не был профессиональным литератором, писал суховато, скучновато, но иногда находил удачные, запоминающиеся образы. Вот и здесь он взял верный тон. Перестройка. Всё рушится. Бездарные демократы развалили Советский Союз. Откуда ни возьмись подняли головы злобные националисты и начали рвать на части Советское государство. А Гумилев умирал под скрип отравленного критического пера Александра Янова, «одной из гнуснейших фигур импортно-российской публицистики». Не забытый, но непонятый.

Верна ли эта картина? Конечно, верна, ведь она передает мысли и чувства самого Сергея Лаврова. Но коммунист, бывший партсекретарь, депутат Верховного Совета СССР, член фракции «Союз», которая противостояла либералам из «Межрегиональной группы», смотрел на жизнь иначе, чем герой его книги. Ведь Лев Гумилев появился на свет совсем в другой стране. Коммунистический режим был враждебен Гумилеву. Он мог с ним мириться, приспосабливаться, но советская власть оставалась ему чужда и враждебна: «…все-таки с 1918 года, а мне было 6 лет, всё, что я помню, — это жизнь вне нормы. Это чудовищно – то, что было», — говорил он Айдеру Куркчи.

Перестройку Гумилев оценивал по-своему: «…не стоила бы гроша наша жизнь, если не надежда на перемены. Как и многие, я верил в перестройку, ждал ее», — рассказывал Гумилев в интервью журналу «Природа и человек».

Сейчас русские патриоты уже забыли, что самые первые годы перестройки стали временем надежд не для одних западников и либералов. В августе 1986 года правительство отказалось от проекта поворота рек – большая и бесспорная победа в долгих и, казалось, безнадежных войнах с Минводхозом и Академией наук. Антиалкогольная кампания, которую будут проклинать виноделы и пьяницы, была вовсе не фарсом, не примером начальственного идиотизма. В 1985-1987 резко сократилась мужская смертность. Десятки тысяч мужей и отцов, интеллектуалов и работяг не погибли в пьяных драках, спьяну не попали под колеса легковушек и грузовиков, не скончались от перепоя. Зато резко увеличилась рождаемость. Женщины тоже надеялись, что пришли хорошие времена, когда для детей найдутся новые квартиры, а протрезвевшие мужья будут приносить домой всю зарплату.

В 1988-м Русская Православная Церковь отмечала 1000-летие

крещения Руси, и власть стала понемногу снимать те ограничения, что десятилетиями сковывали Церковь. Впервые со времен Великой Отечественной верующим начали возвращать храмы. Разрешили звонить в колокола, и теперь по еще вполне советским городам разносился радостный колокольный звон. Он и в самом деле был радостный. Я в то время не верил в Бога, но помню, как приятно было слышать звон церковных колоколов рядом с храмом, тогда единственным в моем родном городе.

Константин Иванов с присущей ему жаждой деятельности быстро включился в новое дело. Он убеждал ректора ЛГУ академика Станислава Меркурьева вернуть верующим университетский храм апостолов Петра и Павла, открыть его для богослужений. Ректор, убежденный атеист, ответил: «Только через мой труп». Свое слово ректор сдержал. Два года спустя после смерти Меркурьева в храме начали совершать богослужения. Ни Иванов, ни Гумилев не дожили до этих дней.

Как же Гумилев должен был оценивать перемены?

Гумилев решил, что русский народ, а вместе с ним и весь российский суперэтнос вышел из фазы надлома. Началась инерционная фаза этногенеза, сравнительно благоприятная для развития экономики, науки, искусства, культуры. Гумилеву казалось, будто он успел увидеть на своем веку конец этой фазы и начало нового времени, для России и русских – времени спокойного, благополучного, счастливого: «Вспомните, я первым назвал появление у нас в Питере нового Августа и его императрицы – Горбачевых. <…> История этногенеза постучалась в наши заколоченные окна, и я постарался открыть истории дверь. Я видел в 85 году в телевизоре нормальное лицо говорящего человека, и я понял, что спазм в этногенезе заканчивается, что я вижу Обывателя в высоком значении слова, мне стало ясно: наступает этнический плавный переход в покой. <…> Наступает инерционная фаза…»

Лев Николаевич вообще был оптимистом. Между тем именно Лев Гумилев предсказал распад Советского Союза: «Я же вам сказал еще в 72 году, что русская империя начнет разлагаться, разламываться, правильно по краям суперэтносов».

Правда, я много раз слышал, как ученые хвастались сбывшимися прогнозами, хотя не было никаких доказательств, что они когда-то делали эти прогнозы. Историки и востоковеды сетуют, что руководство СССР в 1979-м, перед вводом войск в Афганистан, не посоветовалось с ними, с такими умными, уж они бы подсказали правильное решение, спасли бы Советскую страну. Но вот беда: все прогнозы сделаны *post factum*, спустя много лет после исторического решения Политбюро. Это все равно, как

предсказывать результат футбольного матча, досмотрев его до конца. А что все эти мудрецы думали в 1979-м, никто не знает. Но случай Гумилева совершенно иной, ведь его слова подтверждаются независимым источником.

Из воспоминаний Ольги Тимофеевой, в 1972-м посещавшей лекции Гумилева на географическом факультете ЛГУ: «Однажды, говоря о расцвете и гибели могучей древней империи, он объяснил, что в течение нескольких столетий, благодаря таланту полководцев, отлично обученной и прекрасно вооруженной армии, одна страна сумела завоевать и подчинить себе много других стран, населенных чуждыми по языку и обычаям народами. Порабощенные народы из страха быть поголовно истребленными внешне выражали верноподданнические настроения по отношению к завоевателям, а втайне копили ненависть и мечтали о свободе. И как только власть в стране-завоевателе ослабевала, подневольные народы восставали, обретали свободу, и огромная империя разваливалась на куски. Гумилев, подробно и красочно об этом рассказавший, неожиданно задал слушателям вопрос: "А не существуют ли в наше время такие сверхдержавы, которые со временем неизбежно развалятся?" <…> Никто на вопрос не ответил: то ли не поняли, то ли испугались».

Между тем в своих интервью 1988-1989 годов Гумилев смотрел на будущее страны как будто оптимистично. Когда его спрашивали, как же быть с межнациональными конфликтами, Гумилев отвечал так, как, наверное, ответил бы каждый второй интеллигент: надо уважать чужие обычаи и нравы, не навязывать своих, не обижать национальные меньшинства, тогда всё как-нибудь устроится. Не нужно быть Львом Гумилевым, чтобы повторять такие банальности. Но, может быть, все это говорит лишь о том, что у Гумилева тогда не было ясных представлений о задачах национальной политики? Гумилев же не раз подчеркивал, что он ученый, его дело – понять, что происходит, и объяснить это людям, а принимать решения должны другие. А может быть, Гумилев не всегда был откровенен с журналистами. Он ведь понимал, что его слова станут известны миллионам, а зачем, если распад страны все равно неизбежен? Смертельно больному не всегда нужно знать правду. Сам Гумилев, предсказывав распад в 1972-м, повторил свой прогноз в 1986-м. А в декабре 1990-го в интервью «Ленинградской правде» он то ли проговорился, то ли прямо заявил: «Не нужно исходить из мифологических представлений о сути этнических процессов и строить в соответствии с этим практическую политику. Не нужно заставлять всех жить вместе. Лучше жить порознь, зато в мире».

Когда опешивший корреспондент уточнил: «Выходит, распад Союза – благо для его народов?» – Лев Николаевич постарался его успокоить: «Отнюдь нет. Говоря "порознь", имею в виду не государственное устройство. Оно может быть любым, и от этого мало что зависит».

РОССИЙСКИЙ СУПЕРЭТНОС И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

В распаде СССР не все вписывалось в картину, нарисованную Гумилевым. Он считал, что империя начнет распадаться «по краям суперэтносов». Значит, верил, что хотя бы часть союзных республик останется с Россией. К российскому (евразийскому) суперэтносу Гумилев причислял не только русских и украинцев, но и казанских татар, казахов, киргизов, узбеков и др. В качестве неопровержимого доказательства он приводил свой лагерный опыт: вместе с русскими и восточными украинцами обедали вместе казахи, татары, башкиры, хакасы, зато прибалты и даже западные украинцы держались особняком. Но все-таки очень давние этнографические заметки одного крайне субъективного наблюдателя вряд ли можно считать надежным доказательством. Видимо, евразийские убеждения, точнее, бескорыстная любовь к татарам и казахам мешали Гумилеву провести трезвый научный анализ, опираясь на свою же собственную теорию этногенеза.

Между тем события в стране вписывались в теорию этногенеза, но совершенно опровергали евразийство. Первый межнациональный конфликт произошел не в Прибалтике и даже не в Нагорном Карабахе, а в Якутии. Молодежная ссора на катке переросла в трехдневную драку между русскими и якутами. Затем студенты-якуты пошли на демонстрацию под лозунгами «Якутия для якутов» и «Долой русских», избили русского милиционера и призывали разгромить здание республиканского МВД. При этом в шовинизме демонстранты обвиняли именно русских и припоминали им завоевание Якутии. Следующий конфликт случился в Казахстане, который современные сторонники Гумилева считают цитаделью евразийства.

Со сталинских времен во всех союзных республиках сложилась традиция: на пост Первого секретаря республиканской компартии ставить только национальные кадры. Так интернационализм, а часто и хозяйственная целесообразность приносились в жертву национализму. И оказалось, что не зря.

Казахстаном с хрущевских времен управлял Динмухамед Кунаев. Он Горбачеву не нравился – человек прошлого, — и Михаил Сергеевич решил его отправить на пенсию, о чем предупредил самого Кунаева. Тот подчинился партийной дисциплине, но подготовил для Горбачева ловушку, в которую тот и угодил. Кунаев сказал Горбачеву, слабо разбиравшемуся в казахских национальных кадрах, что сейчас среди казахов нет

достойного кандидата на столь высокий пост, и посоветовал назначить кого-нибудь из русских. Выбор пал на опытного хозяйственника Геннадия Колбина. Как только стало известно о кадровых перестановках, в Алма-Ате вспыхнули волнения. На центральной площади им. Брежнева под лозунгом «Каждому народу – своего вождя» собралась толпа, которая быстро вооружилась палками, камнями, металлическими прутьями. Их вскоре пустили в ход против милиции и сотрудников КГБ, пытавшихся разогнать митинг. Беспорядки продолжались четыре дня, порядок навели только введенные в город внутренние войска и поднятые по тревоге курсанты училища МВД. В отличие от Якутска, в Алма-Ате появились уже и жертвы: 1200 раненых и трое погибших.

Гумилев ничего не говорил об этих событиях, никак их не комментировал. Он всегда доказывал, будто народы Средней Азии – природные друзья русских, доказательств приводил всего три.

Во-первых, он сам легко находил общий язык с казахами, узбеками, таджиками. Во-вторых, «Средняя Азия вполне имела возможность отделиться от России, потому что обе железные дороги, соединявшие юг страны с Москвой, были перерезаны: одна – Дутовым, другая – мусаватистами в Азербайджане. Однако даже попытки такой не было сделано». А в-третьих, казахские жузы (союзы племен) добровольно присоединились к России.

Но личный опыт – слишком слабый аргумент, ведь сам же Гумилев подчеркивал, что комплиментарность – явление статистическое. Что до второго аргумента, то перед нами самый настоящий самообман. Все было как раз наоборот. Хивинское ханство и Бухарский эмират объявили о своей независимости. В состав советской России стремилась войти провозглашенная в Ташкенте Туркестанская республика, но кто ею руководил? Вот состав Военно-революционного штаба Туркестанской советской республики: Колесов (председатель), Белов, Буренко, Калашников, Клевлеев, Федермессер, Шумилов. Это 1918 год. А вот состав Реввоенсовета республики в 1919-м: Белов, Брегадзе, Востросаблин, Железов.

Казахские же жузы попросились в российское подданство не от хорошей жизни. Они просто боролись за выживание. В первой половине XVIII века само существование казахского народа было под угрозой. С юга на казахские кочевья нападали хивинцы и бухарцы, с северо-запада – яицкие казаки и волжские калмыки, но самая страшная опасность исходила с востока. Джунгары (западные монголы), не подозревавшие о «евразийском братстве», постоянно терроризировали своими набегами казахские кочевья.

Даже после того как регулярная армия империи Цин уничтожила Джунгарское ханство и перебила западных монголов, положение казахов оставалось шатким. Потому то они и продолжали переходить под покровительство России. Система была очень удобной для казахов, ведь они получали защиту от иноплеменников, а России не служили и налогов не платили. Как только русские пытались превратить номинальную власть над казахскими жузами в реальную, начались восстания. Первое вспыхнуло еще во времена Екатерины II. На годы правления ее внука, Николая I, пришлись два крупных казахских восстания. Последнее восстание началось в 1916 году, а его вождь Амангельды Иманов сумел продержаться со своими повстанцами до распада Российской империи.

Древний Мавераннахр был подчинен военной силой. Причем войскам Черняева, Веревкина, Кауфмана противостояли не только плохо вооруженные армии Коканда, Хивы и Бухары. На борьбу с неверными поднялись и тысячи простых сартов, как называли русские оседлое мусульманское население Средней Азии. В 1868 году генерал Кауфман взял древний Самарканд, но стоило основным силам покинуть город, как в солдат малочисленного русского гарнизона полетели камни. На помощь восставшим жителям пришла огромная армия эмира Бухарского. Русский гарнизон, запертый в цитадели, выдержал недельную осаду. Семьсот солдат против 65 тысяч бухарцев и десятков тысяч восставших жителей Самарканда. Выстояли и дождались подкрепления. Найдется ли русский писатель, который когда-нибудь напишет об этом? Завоевание Средней Азии осталось для нас в картинах Верещагина, участника самаркандской обороны 1868-го.

Все это напоминает завоевание англичанами Индии, с той лишь разницей, что британцы в Индии сказочно обогатились, а России ее новые владения приносили одни расходы.

Конечно, сопротивление в Туркестане было намного слабее, чем на Северном Кавказе, где целые народы предпочитали махаджирство (изгнание) или гибель подчинению русским. В Средней Азии были долгие периоды мирной и сравнительно безопасной жизни. Крепкая власть Белого царя обеспечила мир и порядок в стране, еще недавно страдавшей от беспрестанных междоусобных войн. Русские принесли в Среднюю Азию современную медицину и европейскую технику. Уже в советское время нищий Туркестан, где смертность едва ли не превышала рождаемость, превратился в процветающую землю с богатыми кишлаками и красивыми современными городами. Но чем все это закончилось?

Гумилев не дожил до трагедии русского населения Средней Азии, а сведения о бегстве русского населения из «евразийского» Казахстана были государственной тайной. Историк Р.Г.Пи хоя пишет, что только с 1979-го по 1988-й из Казахстана выехало в Россию около 400 тысяч русских. Но разве Гумилев ничего не знал о грандиозном восстании 1916 года? Киргизы, казахи, дунгане, сарты нападали на русские селения, мужчин убивали (обычно забивали палками насмерть), а женщин и детей захватывали в плен. Восстание было подавлено, около полумиллиона человек переселилось в Китай, спасаясь от репрессий.

Главной причиной Туркестанского восстания считается земельный вопрос: власть отнимала земли у местных жителей, в особенности у кочевых казахов и киргизов, и передавала их русским поселенцам, что не могло не вызвать возмущения и даже ненависти. Поводом к восстанию стала мобилизация мужчин на строительство оборонительных сооружений. Сартам и киргизам далекая Первая мировая война была совершенно непонятна и не нужна, ведь германцев и австрийцев они в глаза не видели.

Но ведь была и еще одна причина. Русские устанавливали в Средней Азии привычные порядки, которые азиатам казались дикими, невозможными, неприемлемыми. Например, семиреченский губернатор велел во всех мечетях и медресе вывесить портреты императора. Висят же портреты в гимназиях, так пусть и туземцы уважают государя! В Ташкенте русские пустили трамвай, дело хорошее, но зато предусмотрели в вагонах особые места для людей в «туземной одежде».[50] В присутствии офицеров и чиновников «туземцы» должны были вставать и кланяться, и неважно, кто этот «туземец» – резвый бача или седобородый аксакал с больными ногами. После того как Туркестан объявили на военном положении, туземцам запретили продавать железнодорожные билеты. Но ведь перед нами тот самый конфликт этнических традиций, что описан Гумилевым еще в «Древних тюрках», «Хуннах в Китае», «Тысячелетии вокруг Каспия». И дело не только в надменности и недальновидности царских чиновников – конфликты вспыхивали и между простыми людьми. Несхожесть стереотипов поведения порождала взаимную неприязнь, высокомерие одних и глухую злобу других.

Особенно дурно складывались отношения между недавними переселенцами из России и киргизами. По словам поэта и переводчика А.Н.Зорина, «…с появлением переселенцев… отношения сразу стали враждебными. Киргизов они называли "собаками". <…> Между русскими, главным образом новосельцами, и киргизами установились враждебные отношения:

со стороны русских явная, а со стороны киргизов скрытая злоба против русских». Пренебрежительное отношение некоторых русских к «азиатам» проявлялось и много лет спустя, уже в советское время.

Из воспоминаний Михаила Ардова: «В шестидесятых годах мой младший брат Борис был актером театра "Современник". Помнится, летом его включили в группу артистов, которая отправилась в Казахстан "обслуживать целинников". Сначала они оказались в Алма-Ате и попали там на американскую выставку. И вот мой брат стал свидетелем беседы, она происходила между местным жителем (из русских) и американцем. Наш соотечественник говорил: «Ну что же вы так негров не любите? Линчуете их… Вот мы тут с казахами живем – и ничего, терпим!»

МОНАРХИСТ И ДЕМОКРАТ

В октябре 1935 года в кабинете следователя Штукатурова Николай Николаевич Пунин дал показания, будто Лев Гумилев «высказывал симпатии принципам монархизма» и считал необходимым заменить советскую власть монархией. О монархизме Гумилева поведал следователю студент истфака Игорь Поляков, а Валерий Махаев, признавший Гумилева «человеком явно антисоветским», еще и уточнил: «Гумилев считал правильным государственным устройством монархию. Однако реставрацию династии Романовых он считал невозможной, так как Романовы себя скомпрометировали. Лучший вариант – это монархия с консультативным советом, состоящим из дворян».

Поверим на слово, допустим, что Гумилев в тридцатые годы был монархистом. При его, казалось, полной несовместимости с коммунистической властью, с миром, в котором ему (вспомним Эмму Герштейн) «не было предусмотрено… никакого места», монархизм Гумилева не удивляет. Но сохранил ли он верность монархизму и позднее?

Уже первое следствие на долгие годы отучило Льва Гумилева разговаривать о политике даже с самыми близкими людьми. А научные работы Гумилева не позволяют причислить его к монархистам, сторонникам олигархии, демократии, аристократии. Нельзя сказать, что сильной руке тюркских каганов и монгольских ханов он симпатизировал больше, чем племенным союзам теле, кыпчаков (где власть хана была ограничена) или карлуков, у которых даже не было ханской власти.

В последние десять лет жизни Гумилев уже мог без страха говорить о политике. Что же стало с его политическими убеждениями? Людмила Стекляникова называет Гумилева «убежденным монархистом и горячим патриотом». Ольга Новикова тоже считает Гумилева православным монархистом. Но сам Гумилев слова учеников и друзей не подтверждает.

Монархистами могли быть люди, романтически настроенные, утописты и мечтатели. «Реставрации досоветской России быть не может, трамвай ушел…» – говорил Гумилев, разбиравшийся в законах истории намного лучше своих друзей.

В одном из последних и самых значимых интервью Гумилева речь зашла как раз о монархии. На прямой вопрос: «А каково было место в евразийстве монархической идеи, на Ваш взгляд?» – Гумилев ответил: «…довольно слабое место они отводили в общественном устройстве России монархическому принципу. Петра Первого Трубецкой ругает всеми словами, а монархическая

идея – он считал – может быть, а может и не быть, он не хотел предрешать выбор народа. Самое главное – "не попасть к немцам на галеру", к европейцам то есть. Я с ним полностью согласен, это самое главное».

Как видим, особенного интереса к монархии у Гумилева не было. Он ведь не был ни политиком, ни политическим мыслителем. Главное – избавиться от западничества, а общественный строй и политический режим – дело второстепенное. Но, разумеется, Гумилев не принимал ни коммунизма, ни социализма, не сочувствовал левым. Людмила Стеклянникова записала замечательную и редкую для советского гражданина, даже такого, как Гумилев, оценку гражданской войны в Испании:

«Говоря об Испании, восхищался генералом Франко: он спас страну от того, что случилось в России в 1917 году и после него, — долгой Гражданской войны. В Гражданской войне в Испании также воевали революционеры всех мастей, в том числе и из Советского Союза, но Франко не дал себя победить. И надолго установилось "над всей Испанией безоблачное небо"».

Гумилев был, пожалуй, прав, хотя и не изучал историю гражданской войны в Испании. Режим Народного фронта с самого начала напоминал большевистский. Республиканцы взрывали церкви, убивали священников, насмехались над верующими. Не случайно на сторону франкистов в конечном счете встало большинство испанцев, а республиканцы держались довольно долго из-за поддержки басков и каталонцев, которые традиционно боролись против кастильцев.

Революционеров Гумилев вообще терпеть не мог. Он даже декабристов ненавидел: был уверен, будто декабристы «все до одного» были масонами.

Как видим, политические взгляды Гумилева были консервативными, хотя и довольно аморфными. Впрочем, ни критики Гумилева, ни его друзья не обращали внимания на очень интересное обстоятельство. Гумилев, много и охотно критиковавший Запад (особенно в последние годы жизни), никак не прокомментировал критику Трубецким западной демократии. На статьи евразийца Алексеева, принципиального критика либеральной демократии, Гумилев вообще не обратил внимания. Правда, по словам Ольги Новиковой, он считал, будто демократия – слишком дорогостоящий способ управления.

«— …А вы демократ, Лев Николаевич?

— Нет, ни в коем случае! <…> Какой я демократ? Я старый солдат».

Это слова из небольшого интервью Гумилева журналистке

Л.Щукиной, редактору «НТК600», сотруднице Александра Невзорова. Но эти слова сказаны уже в 1991 году, когда слово «демократ» стало антонимом слова «патриот», а демократические убеждения ассоциировались только с ненавистным Гумилеву западничеством.

Но демократия – способ правления, а не только политический ярлык. А к демократической форме правления Гумилев относился очень даже сочувственно. В книге «Древняя Русь и Великая степь» есть замечательный эпизод. Дело было в начале XIV века, когда несколько епископов обвинили (как считал Гумилев – несправедливо) митрополита Петра в торговле церковными должностями: «И вот тутто, — пишет Гумилев, — произошло неожиданное: в дело вмешался народ, потребовавший созвать собор для разбора обвинений, предъявленных митрополиту. Великий князь был вынужден согласиться с общественным мнением». На собор в Переяславле-Залесском явились не только епископы, но также игумены, монахи, священники и миряне. Обсуждение окончилось полным оправданием митрополита. Если это не церковная демократия, то что же? Такую форму власти Гумилев противопоставляет папской теократии и византийской «симфонии» императора и патриарха.

Сейчас не важно, насколько соответствовала действительности гумилевская интерпретация событий 1311 года, тем более что Гумилев нашел для них совершенно фантастическое объяснение. Оказывается, церковную демократию принесли на Русь… так любимые Львом Николаевичем крещеные татары и татарские жены. Будто бы христиане Центральной Азии не привыкли слепо подчиняться велениям патриарха, митрополита, епископа. Миряне и простые священники будто бы сами решали важные церковные вопросы. И вот во времена русскотатарского «симбиоза» татары и принесли русским новый стереотип поведения. Разумеется, перед нами еще одно сочинение Льва Николаевича, не подкрепленное историческими источниками. Но сейчас интереснее другое: в церковной жизни Гумилеву симпатична именно демократия, а ведь религия занимала в его жизни место более значительное, чем государство.

НЕВЗОРОВ

После того как волевым решением товарища Сталина совсем еще молодой Лев Гумилев был освобожден из тюрьмы, он обходил политику десятой дорогой. И даже в последние годы жизни подчеркивал, что занимается историей до XVIII века, не дальше. Но рубеж восьмидесятых и девяностых был временем настолько политизированным, что разговоры о реформах и гласности велись даже на «Голубом огоньке». Семьи распадались потому, что супруги расходились во взглядах на прошлое и будущее России. Съезды народных депутатов были самыми популярными телепрограммами.

Естественно, что в политику вольно или невольно вовлекали и Гумилева. Вячеслав Ермолаев и Владимир Мичурин были помощниками Сергея Лаврова, депутата Верховного Совета СССР, члена фракции «Союз». Константин Иванов баллотировался в городскую думу. Большинство друзей и учеников Гумилева держались имперских взглядов, по крайней мере не симпатизировали западникам-либералам. Гумилев западников тоже не любил. Даже Ярослав Мудрый получил от историка негативную оценку за свою прозападную династическую политику и за поход на православный Константинополь.

Но политика XII века интересовала Гумилева намного больше современной, к тому же он боялся аберрации близости – распространенного заблуждения, когда мелкие, незначительные события раздуваются современниками до масштабов вселенских. Он не ввязывался в современные конфликты и старался уйти от прямых вопросов: главное – «не попасть к немцам на галеры», не утратить национальной самобытности, не слиться с европейским миром. Все остальное – неважно.

Пожалуй, больше других откровенности от Гумилева добился Александр Невзоров.

Человек редкого таланта, своего рода уникум, как будто воплотивший лучшие и худшие черты репортера, Невзоров стал телезвездой сначала ленинградского, а затем и всероссийского масштаба – масштаб всесоюзный уже перестал существовать. В январе 1991-го он снял фильм под названием «Наши». Фильм состоял из пяти частей, которые выходили с 15 января по 2 февраля 1991-го. Особенно сильное впечатление произвели первые две серии – «Башня» и «Болеслав», посвященные захвату советскими омоновцами и спецназовцами Вильнюсского телецентра.

Еще в 1990 году Литва объявила о своей независимости.

Только год спустя власть попыталась навести порядок. Председатель КГБ Владимир Крючков вспоминал, как в конце декабря 1990 года «на совещании у Горбачева было принято решение применить силу против экстремистов в Латвии и Литве». В Литве события развертывались несколько дней – с 11 по 13 января. В них участвовал спецназ КГБ «Альфа», десантники Псковской дивизии и прославленный Невзоровым вильнюсский ОМОН. Советские войска заняли Дом печати и Вильнюсский телецентр с телевизионной башней. В боях за телецентр погибло 13 или 15 человек.

Вся либеральная общественность, в ту пору многочисленная и разнородная, от донецких шахтеров до московских интеллигентов, стала на сторону литовцев. Прекраснодушное стремление защищать «нашу и вашу свободу» удваивалось страхом: а вдруг Литва – это репетиция для всей страны? И сами власти перепугались настолько, что никто не взял на себя ответственность за ввод войск. Президент Горбачев и министр обороны Язов заявили, будто никаких приказов десантникам, «Альфе» и ОМОНу вообще не отдавали. Вот в этот момент сначала на ленинградском телевидении, а затем по первому общесоюзному каналу показали первые серии «Наших». Даже либералы завороженно смотрели этот своего рода репортерский шедевр. На всю страну раздавались чеканные слова Невзорова:

«Они стоят здесь, под башней и в башне, на всех двадцати ее этажах, в танках, возле чадных костерков, возле ограды. Небритые, немытые, оплеванные. Через годы здесь, под башней телецентра, эти сто шестьдесят десантников, ошельмованных, оплеванных, изгнанных и из армии, но все равно оставшихся здесь охранять башню, должны стоять в бронзе».

Невзоров рассказывал, будто бы сам Гумилев позвонил ему в редакцию: «Я тоже наш, — сказал он изуродованным инсультом голосом. <…> Приходите, мы вас накормим варениками».

Так ли это на самом деле, я не знаю. Но помню, в одной из невзоровских телепрограмм репортер прямо спросил Гумилева: «Вы наш?» Тот ответил: «Ну конечно, наш. Литовцы для меня в общемто чужие». Первую часть фразы воспроизвожу по памяти, вторую процитировала М.И.Чемерисская в одной из первых статей, посвященных научному наследию Гумилева. Я мог допустить неточность, но убежден, что смысла не исказил.

До сих пор друзья Льва Николаевича его оправдывают, как будто он совершил нечто дурное. Между тем Гумилев вел себя достойно и честно. В январе 1991-го своя правда была у литовцев и латышей, боровшихся за независимость, своя у Болеслава Макутыновича, командира вильнюсского ОМОНа, и Чеслава

Млынека, командира рижского ОМОНа. Они остались верны присяге.

Гумилев порвал с интеллигентской традицией, заложенной еще Герценом: сочувствовать не своим, а тем, кто прав. Правыми тогда считали литовцев, а Невзоров всегда любил бороться с самым сильным противником. Вот и здесь он решил бросить перчатку обществу. Но ведь нельзя сказать, что Гумилев пошел у Невзорова на поводу. Деление на «наших» и «не наших» – фундаментально, и пассионарная теория Гумилева невозможна без этого деления.

Но тогда, в 1991-м, поступок Гумилева не понял даже единокровный брат. Орест и полгода спустя попрекал Льва Гумилева.

Из письма Ореста Высотского Льву Гумилеву от 24 августа 1991 года: «Как же случилась с тобой метаморфоза? Неужели толпы стукачей, которыми ты, по твоим же словам, был постоянно окружен, так изменили твои убеждения? Как ты мог генерала Макашова принять за генерала Корнилова, пуговский ОМОН – за доблестных юнкеров?»

Невзорова в доме Гумилевых принимали, одно время Лев Николаевич даже повесил у себя в прихожей календарь с Невзоровым, скачущим на коне. Невзорова он называл «типичным пассионарием» и был совершенно прав. Но потом, кажется, разочаровался в нем.

Думаю, что Гумилев был для Невзорова только необходимым элементом в грандиозной картине, которую он создавал своими программами «600 секунд». Сам Невзоров считает иначе: «…для меня это был просто такой вот друг, очень изувеченный инсультом старичок с вечно незаправленной рубашкой».

Сейчас Невзоров с гордостью говорит, что учился военному делу у Александра Лебедя и Льва Рохлина, а истории – у Льва Гумилева. По словам Невзорова, Гумилев с ним «занимался» и дарил свои книги с дарственными надписями. Если Невзоров и Гумилев впервые встретились зимой 1991-го, то их занятия могли продолжаться чуть больше года. Хотя вряд ли они так уж часто встречались: Невзоров был занят новыми съемками, а Гумилев тяжело болел.

Исторические взгляды Невзорова бесконечно далеки от гумилевских. Невзоров верит в прогресс и считает, будто Россия отстала от Запада на семьсот лет. Между тем в теории Гумилева нет места для «религии прогресса».

Часть XXI

ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ

В конце жизни Гумилеву снова пришлось менять квартиру. Еще в апреле 1988-го соседи Гумилева переехали в новый дом, а Лев Николаевич с Натальей Викторовной остались хозяевами всей двухкомнатной. Они даже начали делать ремонт, но Гумилеву было жалко времени, поэтому с ремонтом не спешили. Как выяснилось, не зря. Как раз под домом на Большой Московской строили станцию метро «Достоевская», прокладывали переход с «Достоевской» на «Владимирскую». В результате дом начал оседать, жить в нем стало опасно, и в конце 1989-го городские власти стали расселять жильцов. Квартиры давали на окраинах, в далеких спальных районах. Получили свой ордер и Гумилевы – они должны были уехать на озеро Долгое. Но Гумилев ехать отказался, ведь такой переезд стал бы настоящей ссылкой. Метро «Комендантский проспект» тогда еще не построили, автомобиля у Льва Николаевича не было. Спальный район – это, в сущности, другой город, совсем не похожий на тот старый Петроград-Ленинград, куда его возил отец, где Левушка гулял в двадцатые с Павлом Лукницким, куда переселился в 1929-м. «Дорогие берега Фонтанки» навсегда ушли бы из его жизни, а остаток дней он вынужден был бы коротать среди безликих многоэтажек. Гумилев подарил свой ордер соседям, а сам остался в аварийном доме.

И все-таки переехать пришлось. По словам М.Г.Козыревой, помог с переездом Михаил Александрович Дудин, старый знакомый Ахматовой, советский поэт-фронтовик и большой начальник. Дудин был человеком очень энергичным, несомненно, пассионарным. Его усилиями в Ленинграде появился музей защитников Ханко и Зеленый пояс славы – от Ладоги до Ленинграда. Он и выхлопотал для Гумилева новую отдельную квартиру в центре города – в самом начале Коломенской улицы, на перекрестке с Кузнечным переулком. От старой квартиры Гумилева – минут семь или десять пешком.

Я не стану описывать эту небольшую двухкомнатную квартиру. Петербуржцы знают последний адрес Гумилева. Теперь на улице Коломенской, 1 находится Мемориальный музей-квартира. А все остальные могут легко найти в интернете фотографии рабочего кабинета Гумилева. Трудно разыскать только фотографии кухни с довольно приличной для начала девяностых газовой плитой, до сих пор работающим холодильником, хорошим японским телевизором и очень скромным зеленым кухонным гарнитуром. Спальня же не

сохранилась, зато на вешалке висят его пальто и шляпа, а посетители музея, случается, оставляют свои шубы и куртки рядом, на соседних крючках.

По словам Людмилы Стеклянниковой, Гумилев переезд на новую, самую комфортабельную в его жизни квартиру «воспринимал без радости». Вскоре после переезда у Гумилева случился инсульт, он был частично парализован. Гумилев начал поправляться, даже шутил: «Меняю инсульт на два инфаркта», — но здоровье к нему так и не вернулось.

Гумилев как-то спросил Ольгу Новикову: «Вот всё думаю, почему после инсульта выжил? <…> Зачем меня Господь оставил еще жить, что я еще не сделал?» После 1956 года жизнь Гумилева была совершенно подчинена его призванию. В 1987-начале 1988-го, когда не вышли еще «Этногенез», «Древняя Русь» и «География этноса в исторический период», он не хотел умирать и был уверен, что не умрет, пока не окончит работу.

Из интервью Льва Гумилева «Альманаху библиофила»: «У меня много написано про монголов, но я не даю в печать. Чтобы не умереть. Пока в столе лежит незаконченная рукопись, требующая работы, она спасает меня от смерти».

В 1986-м баксы (казахский шаман) предсказал ему смерть через пять лет и семь месяцев, то есть в 1992 году. Сам Гумилев говорил, что и не рассчитывал на такую долгую жизнь. Он готовился умереть еще в середине пятидесятых, не надеялся дожить до конца лагерного срока: «Каждый день в лагере был как последний». В конце пятидесятых – начале шестидесятых Гумилева настолько мучила язва, что он, случалось, жаловался своему первому ученику: «Геля, я скоро умру». Даже в 1988-м он говорил, что умрет в 1991-м, на год раньше предсказанного шаманом. Но прав оказался все-таки шаман.

С начала восьмидесятых здоровье Льва Николаевича становилось все хуже. К язве двенадцатиперстной кишки и спазму френикуса добавилась тяжелая болезнь ног, из-за которой его теперь под руки вводили в аудиторию.

Наталья Казакевич, много лет не видевшая Льва Николаевича, встретила его снова зимой 1984-го на 10-й линии Васильевского острова, где Гумилев читал лекцию в одной из университетских аудиторий. Учеников почему-то не оказалось рядом, машины у Гумилева не было, поэтому пошли к метро. Льва Николаевича мучили боли в ногах: «Еще год тому назад я мог бы погулять с вами по линиям…» – грустно заметил он. «Л.Н. шел, пересиливая боль. Время от времени он прислонялся спиной к стене дома и поднимал поочередно ноги, чтобы боль отпустила». Казакевич, со слов Гумилева, назвала его болезнь

«облитерирующим эндартериитом». Хотя симптомы указывают скорее на запущенную варикозную болезнь. В июне 1984-го впервые с лагерных времен вернулась болезнь сердца. Вскоре ему поставили еще один грозный диагноз.

«Несколько раз он падал в университете после лекции – выключалось сознание», — вспоминала Людмила Стеклянникова.

1 июня 1987 года Гумилев вышел на пенсию, но продолжал числиться на геофаке ведущим научным сотрудником-консультантом.

Осенью 1990-го в Таврическом дворце Гумилев прочел свою последнюю лекцию. Сорок минут он рассказывал об этногенезе русского народа, но после лекции ему стало хуже, силы его оставили. Ему приходилось подолгу лежать.

Диагностика и лечение осложнялись недоверием Гумилева к врачам, особенно к врачам университетской и академических поликлиник. Несколько раз он сбегал из стационаров.

Однажды, видимо, решив обмануть «врачей-убийц», он отправился на Московский проспект в местную поликлинику, к которой был приписан лет двадцать назад. И врач простой районной поликлиники поставила ему верный диагноз: сахарный диабет. На большинстве фотографий тех лет Гумилев – довольно полный человек. Но Ольга Новикова вспоминает, что Лев Николаевич, случалось, резко худел, потом снова полнел, что характерно для этой болезни. Язва и диабет требовали строгой диеты, а Гумилев, проголодавший полжизни, диету не соблюдал, что тоже должно было ускорить неизбежный конец.

Гумилеву присылали приглашения из Франции, Венгрии, Монголии, Казахстана, но сил на далекие путешествия уже не осталось.

В последние годы жизни Гумилев ездил по Ленинграду, прощался с городом, показывал ученикам места, где жил, гулял, работал много лет назад. С женой и друзьями, как и прежде, приезжал в любимые южные пригороды Ленинграда. Природа Карельского перешейка ему не нравилась. Только июль-август 1991-го он провел в поселке Солнечном (Оллила), известном своими дюнами и песчаными пляжами на берегу Финского залива, неподалеку от Репино – знаменитой Куоккалы. Как и Ахматова в последние годы жизни, Гумилев и на отдыхе не оставался один. Помимо Натальи Викторовны приезжали друзья, составлявшие его ближнее окружение. На даче в Солнечном их застал августовский путч. Все, кроме Гумилева, были взволнованы. По словам Ольги Новиковой, когда стало известно об аресте Лукьянова, Гумилев «выкурил "беломорину" и кратко сказал: "Статья 58-я – измена Родине. Нам рекомендовали не

волноваться. Следующая волна – русская"».

ГУМИЛЕВ И ЖИВОТНЫЕ

Однажды Гумилев сказал Людмиле Стеклянниковой: «У Вас сынок, а у меня доченька – моя пассионарная теория». Других детей не завел. И, как многие бездетные люди, Гумилев со временем завел домашних животных.

Тема «Гумилев и животные» не получила в литературе хоть какого-то освещения. Биографам и мемуаристам она не казалась интересной или серьезной. Между тем отношение Гумилева к «братьям меньшим» было частью его мировоззрения. Природа – прекрасное творение Бога, если не само его воплощение. К тому же Лев Николаевич любил животных всегда. Вспомним, как в далеком 1932 году в Гиссарской долине он пожалел жабу, спас ее от ножа естествоиспытателя, не побоявшись гнева начальства. В последние годы жизни Гумилев, с подозрением относившийся ко всякого рода международным организациям, тем не менее сочувствовал Гринпису. Правда, не одобрял вегетарианства, а борьбу Брижит Бардо против одежды из натурального меха будто бы приписывал… идейному наследию альбигойства. Но вегетарианство и в самом деле противоестественно, а вот охрана природы – необходима. И Гумилев по мере сил ее охранял. Когда неподалеку от Новгорода Великого решили построить очередной химкомбинат, Гумилев вместе с Балашовым, Яниным, Залыгиным, Романовым подписал письмо с требованием отказаться от опасного и вредного предприятия. Письмо удалось передать Генеральному секретарю ЦК КПСС Горбачеву. Комбинат строить не стали: то ли повлияло мнение общественности, то ли просто денег не хватило.

О начале своей общественной деятельности (довольно скромной, но зато, несомненно, «зеленой») Гумилев рассказывал так: «Я, грешный человек, первый выступил как "зеленый" и чуть чуть не лишился работы. Меня спасла опала Хрущева. Я сказал, что поворот рек в Казахстан – губительная вещь. Авторам проекта я говорил: если вы пустите воду быстро, она пропилит каньон – там же мягкие почвы, и воды не достать; а если пустить медленно – канал заилится. Как же тогда на меня напустились!»

Найти в независимых источниках более точные сведения об этом эпизоде из жизни Гумилева не удалось. Подробности про снятие Хрущева и угрозу лишиться работы вызывают сомнения. Но для нас важнее другое: Гумилев сам себя назвал «зеленым».

Разумеется, Лев Николаевич не мог не любить и домашних животных. Прежде всего надо отметить его наследственное (от Ахматовой) котолюбие. Еще в конце сороковых Пунин поручил

Гумилеву ухаживать за больной кошкой Андромедой. Правда, Андромеду спасти не удалось.

В одном из своих первых писем в лагерь Наталья Варбанец сообщила Гумилеву о кончине кошки Руськи и появлении новой кошки, на что Гумилев немедленно откликнулся: «Очень мне стало жалко Руську – такая нахальница, но как она была мила. Новую кошку я не знаю – она мне чужая».

Сравнительно благополучные летние месяцы 1955 года у Гумилева были связаны в том числе и с кошками, о котах и кошках он писал и Эмме Герштейн, и Наталье Варбанец.

Из письма Наталье Варбанец 27 июля 1955 года. «У нас очень много цветов, просто Гулистан; по вечерам они сильно благоухают. Я люблю сидеть… в беседке и читать "Введение в индийскую философию", а кругом среди цветов носятся кошки».

Кошка – извечный символ тепла, уюта, тихого счастья – появляется в октябрьском письме к Наталье Варбанец: «Кругом меня звездная ночь, топится печка, на коленях сидит ласковая кошка, на столе чай, халва и книги – я один на ночном дежурстве».

В послелагерные годы условия жизни в коммунальной квартире не способствовали появлению домашних любимцев. Тем не менее в 1972 году, то есть еще на Московском проспекте, Лев Николаевич «спас и принес домой котика Васю». О дальнейшей жизни Васи, равно как о появлении/исчезновении новых котов и кошек, не хватает сведений. Но я помню, как на рубеже восьмидесятых и девяностых, когда Гумилев начал превращаться во всесоюзную знаменитость, камера телевизионщиков поймала в объектив кошку, что сидела на рабочем столе Льва Николаевича, а хозяин нещадно обкуривал ее своим «Беломором». На фотографии 1989 года Гумилев держит на руках небольшую черно белую кошку. Но подробных и достоверных сведений о котах и кошках Гумилева не сообщают даже его ученики и друзья. Несколько больше мы знаем о собаке.

Гумилев не вписывается в построенные Ахматовой ряды соответствий: чай – собака – Пастернак; кофе – кошка – Мандельштам.

Самым известным домашним животным Гумилева стал не кот, а именно пес по кличке Алтын. Фотографиями Гумилева и Алтына украсили свои книги Лавров, Ахметшин и Чистобаев, причем у Чистобаева фотография подписана следующим образом: «Л.Н.Гумилев с другом Алтыном». Нам известны даже годы жизни Алтына, по крайней мере с момента его появления в квартире Гумилева. Лев Николаевич взял его в 1974-м, а скончался Алтын 26 мая 1984-го. Это был маленький светло-рыжий песик,

очевидно, некрупная дворняга. Он спокойно сидел на коленях у Льва Николаевича или на руках у Натальи Викторовны.

Из воспоминаний Дмитрия Балашова: Гумилев «уже трудно ходил и, нуждаясь в прогулках, завел собаку золотистой масти, Алтына ("алтын" по-татарски – "золотой"), которую очень любил и очень долго и упрямо спасал от естественной собачьей старости, пока пес сам не стал уже проситься умереть».

Привязанность Гумилева к собакам была известна и раньше. Еще летом 1931 года на Хамар-Дабане к молодому Гумилеву прибился пес Яшка, и Гумилев, по словам Анны Дашковой, ходил по таежным маршрутам, «обычно сопровождаемый верным Яшкой».

И как не упомянуть лошадей! В научных экспедициях, начиная с Хамар-Дабана и заканчивая поисками хазарских городов, они были незаменимы. Судя по одной из фотографий, сделанной где-то в шестидесятые, Гумилев-младший не был таким лихим кавалеристом, как его отец, но достаточно крепко сидел в седле. Наконец, в таджикской экспедиции были еще верблюды. Документальных подтверждений не сохранилось, но мы же с вами не сомневаемся: верблюды были!

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Еще с осени 1991-го Гумилева мучили боли в печени. Болезнь продолжалась несколько месяцев, Гумилев, по своему обыкновению, избегал госпитализации. В начале апреля Людмила Стеклянникова пришла к нему по журналистским делам. Гумилев положил ее руку себе на живот и, очевидно, превозмогая невыносимую боль, начал отвечать на вопросы. Та прервала интервью, надеясь встретиться с Гумилевым уже на Пасху, которая приходилась на 26 апреля, но встреча не состоялась. 7 апреля Гумилева с печеночной коликой увезли в больницу Академии наук. Диагноз – желчекаменная болезнь и хронический холецистит. Болезнь тяжелая, однако лечению поддается. Но Гумилев знал, что доживает последние недели.

Дмитрий Балашов, с грустью наблюдавший, как стареет и теряет силы его учитель, стал замечать в глазах Гумилева «тот же обреченно-умученный и покорный взгляд, что у его верного Алтына накануне смерти».

За полтора года до смерти Гумилев начал прощаться со старыми знакомыми, о которых прежде мог не вспоминать годами. 2 февраля 1991 года он подарил Эмме Герштейн экземпляр «Этногенеза и биосферы» с дарственной надписью.

В начале мая 1992-го Очирын Намсрайжав, возвращаясь из Лондона в Улан-Батор, позвонила Гумилеву и услышала его слова: «Дни мои сочтены. Я послал Вам последнее письмо…» Вернувшись в Улан-Батор, она прочитала: «Я очень искренно Вас любил. Знайте это, ибо я вижу конец. Ваш верный Арслан».

Попрощаться с Натальей Варбанец Гумилев не мог. Птицы уже несколько лет как не было среди живых.

В начале мая Гумилева выписали из больницы, но в доме на Коломенской улице он пробыл только неделю. В «Хронике» Ольги Новиковой выписка из больницы обозначена 18 мая, а повторная госпитализация – 19 мая, но это, видимо, ошибка. По воспоминаниям Натальи Викторовны, Гумилев пробыл дома целую неделю, значит, его выписали не 18, а несколько раньше. На время этой последней домашней недели приходится, очевидно, звонок Намсрайжав.

Дома у Гумилева поднялась температура, усилились боли, и ему вновь пришлось лечь в стационар.

Ученики посменно дежурили у его постели. Гелиан Прохоров, много лет не общавшийся с учителем, приехал, как только узнал о болезни Гумилева. Днем с Гумилевым обычно сидели женщины – Елена Маслова, Инна Прохорова, Ольга Новикова и другие.

Мужчины сидели по вечерам и ночью, читали ему книги.

Последние недели Гумилева произвели такое впечатление на Инну Прохорову, что она записала в своих воспоминаниях: «… жизнь его кончилась, вернувшись к житию». Но Лев Николаевич не был «святым Львом», и в страданиях он оставался прежним человеком. Константин Иванов читал ему «Четьи Минеи», и когда он уходил, Гумилев просил Ольгу Новикову: «Оля, я же все это давно знаю наизусть! Давайте почитаем… фантастику».

Гелиан Прохоров беседовал с ним об истории, как в старые добрые времена на Московском проспекте или еще раньше – в купе кисловодского поезда, где они впервые и повстречались.

23 мая Гумилеву сделали операцию – удалили желчный пузырь. Родные и друзья Гумилева, от Натальи Викторовны до Елены Масловой и Дмитрия Балашова, считали эту, роковую для Гумилева, операцию ненужной и вредной: «Его нельзя было класть на операцию. Они ему удалили весь желчный пузырь, а этого нельзя было делать – ткани были очень тонкие. Лопнула его чуть зарубцевавшаяся язва и образовались новые язвы, началось сильное кровотечение».

Но операция – всегда большой риск. Врачи хорошо знали состояние Гумилева; если они решились оперировать, значит, не было другого выхода.

Когда у Гумилева открылось сильное кровотечение, потребовалось переливание крови. Кто-то из учеников сообщил об этом Александру Невзорову, и тот объявил городу и миру, что требуется кровь для Льва Гумилева. Как свидетельствует Наталья Викторовна, Невзорова, кажется, недолюбливавшая, «доноров пришло много».

Слава Гумилева достигла своего пика в мае – июне 1992-го, когда он, «бледный, опухший, опутанный проводами», лежал в отдельной реанимационной палате. Ленинградские газеты печатали сообщения о здоровье Гумилева. Сергей Лавров удивлялся: «Когда еще пресса (пусть местная) давала такие сводки? Разве что в 53-м…»

А по ленинградскому радио как раз читали «Древнюю Русь и Великую степь».

1992-й – первый год постсоветской России – вообще был временем странным, тревожным, скорее мрачным. Зарплаты не хватало на самые необходимые продукты. Коммунисты начали выводить на митинги толпы людей и устраивали грандиозные демонстрации. Демонстранты били ложками о пустые кастрюли и требовали возвращения советской власти, благо система Советов еще существовала. Люди жили в предчувствии гражданской войны. Но тогда, весной 1992-го, борьба за выживание еще не

вытеснила привычку читать книги и с уважением относиться к их автору. Судьбой ученого еще интересовались больше, чем новым платьем поп-звезды.

Донорская кровь Гумилева уже спасти не могла, ведь нельзя спасти человека, который прошел свой жизненный путь до конца. «Я написал всё, что хотел. Теперь я могу умирать», — сказал он Гелиану Прохорову.

Наталья Викторовна пишет, что успела его навестить вскоре после неудачной операции, принесла ему кашу – Гумилев не ел больничной пищи. Простилась. Напоследок он немного поругал жену: она не положила в кашу чернослива.

Что было дальше, не совсем ясно. Последние две недели жизни Гумилев провел в коме. Константин Иванов, вернув себе положение первого ученика и продолжателя дела, в начале июля 1992-го сказал Стеклянниковой: «Знаешь, ведь Лев Николаевич умер 28 мая. До 15 июня его держали на аппаратуре. Он был без сознания. 15-го отключили аппарат и объявили о смерти». Это было около 23.00.

Сам Гумилев встретил смерть спокойно. Свой «Автонекролог», напечатанный «Знаменем», он написал в 1986 году. Возможно, это было после предсказания шамана. В «Автонекрологе» были и такие слова: «…подлинное научное открытие, доведенное до людей, ради которых ученые живут и трудятся, — это способ самопогашения души и сердца. И хорошо, если первооткрыватель после свершения покинет мир. Он останется в памяти близких, в истории Науки».

Хоронили Гумилева 20 июня 1992-го. В Географическом обществе была гражданская панихида, отпевали в недавно открытом храме Воскресения Христова на Обводном канале. Этот храм только-только вернули Церкви, там даже стены не были еще оштукатурены, о росписях и говорить не приходилось. Но храм Воскресения Христова помогал восстанавливать Константин Иванов, взявший на себя роль главного распорядителя.

Наталья Викторовна и друзья Гумилева решили похоронить ученого в Александро-Невской лавре, но разрешение начальства получили не сразу. Мэр города Анатолий Собчак неосторожно предложил похороны на Литературных мостках Волкова кладбища, чем едва не спровоцировал огромный скандал. В обществе, крайне политизированном, похороны могли превратиться в политическую манифестацию. В патриотической прессе уже писали о «посмертной опале», которую власти демократической России будто бы наложили на великого ученого. У Смольного появился пикет неизвестных гумилевцев с плакатом «Позор мэру!». В это время Александр Невзоров как раз развернул

войну с Анатолием Собчаком, а мэр, возразив против похорон в лавре, становился удобной мишенью. Но Собчак мудро уступил, хоронить разрешили на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

«Тысячи людей различных национальностей пришли в церковь, где шло отпевание, заполнили Никольское кладбище», — вспоминал Сергей Лавров. «Народу было много, может быть, очень», — писал Михаил Эльзон. Как жаль, что этим, несомненно, очень умным и порядочным людям не хватало темперамента, эмоций и просто дара слова, чтобы описать этот печальный, но величественный день. Между тем похороны Льва Николаевича в самом деле были грандиозными.

Из интервью Александра Невзорова Дмитрию Гордону 8 июля 2011 года: «…я пришел в Александро-Невскую лавру и увидел 10 тысяч человек. Вот тут до меня чего-то стало доходить. А когда меня еще и протолкнули в первые ряды и я встал рядом с еще не закопанной могилой и увидел почетные караулы, увидел министров, увидел весь цвет тогдашней России, вот тогда до меня потихонечку дошло, с кем я так непринужденно хихикал, курил "Беломор" и говорил о Тамерлане и Таците».

Порядок на похоронах поддерживали «казаки, в своей старинно-красивой форме» и крепкие молодые ребята с красными повязками на руках. Некоторые приняли их за членов общества «Память», но, по словам Лаврова, это были «невзоровские "наши"». [51] По словам Лаврова, «наши» позвонили ему перед гражданской панихидой и предложили свою помощь, помощь приняли, и порядок был обеспечен: похороны не превратились в Ходынку.

История часто смеется над людьми. Вот и в печальный день 20 июня 1992 года в Александро-Невской лавре я вижу ее горькую усмешку. Тринадцать лет Гумилев провел в лагерях, выдержал три следствия, где его били, пытали, где лишили здоровья. И вот теперь рядом с гробом старого зэка стояли внук генерала МГБ Александр Невзоров и сын чекиста Константин Иванов. Один провожал друга или, по крайней мере, хорошего знакомого, другой – своего учителя.

Часть XXII

БЕЗ НАСЛЕДНИКОВ

Наследники, конечно, у Гумилева были. Все имущество и, конечно же, авторские права на сочинения Льва Гумилева и Анны Ахматовой достались Наталье Викторовне. Она пережила Льва Николаевича на двенадцать лет. С 2004 года наследство перешло к ее племяннице.

Но речь о совсем другом наследстве. Гумилев не создал своей научной школы, да к этому он и не стремился. А как же ученики?

Первым и самым замечательным учеником Гумилева был Гелиан Прохоров. Сейчас он доктор филологических наук, главный научный сотрудник Пушкинского Дома, автор нескольких солидных монографий. Даже Наталья Викторовна, которая вообще-то Прохорова недолюбливала, назвала именно его, а не Иванова или Ермолаева, главным учеником Гумилева. Прохоров считал Гумилева «главным человеком» в своей жизни, но в исследованиях теорию Гумилева никогда не применял.

«Костя будет заниматься наукой, а Слава – издавать книги», — говорил Лев Николаевич своим молодым ученикам, Константину Иванову и Вячеславу Ермолаеву. Пожелание Гумилева исполнялось лишь несколько месяцев.

В июле 1992-го появился Фонд Льва Гумилева. Президентом избрали академика Панченко, вицепрезидентом – профессора Лаврова. Но эти немолодые и очень занятые люди должны были подкрепить Фонд своим авторитетом. Повседневная работа оставалась Вячеславу Ермолаеву, председателю правления Фонда. В феврале 1993-го место Ермолаева занял психолог Михаил Коваленко, который в конце девяностых отошел от дел. Сейчас этот Фонд не существует даже на бумаге.

В начале 1990х Ермолаев вместе с Владимиром Мичуриным подготовили к изданию несколько книг Гумилева. Это были сборники статей «Этносфера», «Ритмы Евразии» и «Черная легенда», их еще называют «серой серией» по цвету обложки. Они выходили в московском издательстве «Экопрос». По сравнению с пиратскими изданиями старых книг Гумилева «серая серия» и в самом деле очень хороша. Но ни Ермолаеву, ни Мичурину не хватало издательского опыта. Они не были и профессиональными редакторами, что отразилось на качестве самих изданий. Так, в состав «Черной легенды» они включили беседы Гумилева с журналистом Альянсом Сабировым («Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы»), хотя эти беседы напоминают довольно грубую компиляцию из двух старых (1988 и 1989 годов) интервью, которые Гумилев давал тому же Сабирову, и

фрагментов книг и статей Гумилева, вплоть до «Этногенеза и биосферы Земли». Даже в «Этносфере», лучшем сборнике «серой серии», есть издательские ошибки.

В 1994-м Наталья Викторовна передала права на издание оборотистому Айдеру Куркчи, который затеял издание пятнадцатитомного собрания сочинений Льва Николаевича и даже создал под него специальный фонд «Мир Л.Н.Гумилева». Только в нулевые издание книг вернулось к ученикам Льва Николаевича, а в 1998-м появился просветительский интернетпортал «Гумилёвика». Он остается самым интересным и самым информативным сайтом, посвященным Льву Гумилеву.

Летом 1992 года Константин Иванов вернул себе место главного ученика и преемника. Именно он взял на себя заботы о похоронах учителя.

Но с этими похоронами связана прямо-таки мистическая история, как будто предопределившая судьбу Константина Иванова. Известняковый четырехконечный крест установят на могиле Гумилева позднее, а тогда, в июне 1992-го, поставили временный деревянный. Почемуто вместо одного креста привезли два, и Константин Павлович взял и принес к себе домой «бесхозный» второй крест. Через полгода этот крест поставят над могилой Константина Иванова.

Смерть его была страшной. 18 декабря Иванова зарезали почти на пороге собственной квартиры, он умер на руках жены и пятерых детей.

Град Петров уже стал «бандитским Петербургом», и убийства не были редкостью. Как говорят, Иванов оказался на пути бандитов, которые устроили в церкви нелегальный склад и по ночам вывозили оттуда товары. Иванов установил за ними слежку и, возможно, собирался использовать против бандитов-бизнесменов свои семейные связи, однако его самого выследили и убили.

Анатолий Чистобаев приводит и другую версию. В НИИ географии начались кражи: похищали компьютеры и прочую оргтехнику. Это сейчас компьютер или ксерокс кажется не бог весть какой ценностью, а в начале девяностых это был дефицитный и ценный товар, который можно было легко перепродать, заработав фантастические деньги. Писатель Леонид Бородин, получив итальянский компьютер «*Olivetti*», его продал и на вырученные деньги учредил настоящую литературную премию. Так что кражи из НИИ географии были делом настолько серьезным, что Иванов привлек к делу Большой дом. Расследование пошло, и незадолго до смерти Иванов сказал: «Скоро я назову вора».

Как бы там ни было, убийство не раскрыли. Гибель Константина Иванова оказалась потерей невосполнимой. Человек энергичный, несомненно, пассионарный, Иванов планировал поставить развитие пассионарной теории этногенеза на новый уровень. Иванов умел и любил пробивать свои идеи и сам мог бы со временем сделать не только научную, но и административную карьеру. Он уже заведовал лабораторией этнической географии ЛГУ и фактически руководил этнографическими исследованиями на геофаке и в НИИ географии, писал докторскую диссертацию.

Люди, даже не особенно близкие к Иванову, вспоминают его как человека редкого для наших дней. На рубеже восьмидесятых и девяностых сам президент СССР Михаил Горбачев не стеснялся ездить по миру и собирать подачки, как милостыню. Дамы в норковых шубах и мужчины в хороших дубленках чуть не дрались из-за гуманитарной помощи, посылок с чечевицей и сухим молоком, которые отправляли «голодающим русским» сбитые с толку европейские и американские обыватели. В ЛГУ тоже распределяли гуманитарную помощь – дефицитное мыло. Каждому сотруднику полагалось по десять кусков. Многодетной семье Иванова мыло было не лишним, но взять подачку он отказался. Более того, убедил еще двадцать человек отказаться от гуманитарной помощи. «Отказники» передали Иванову всё мыло, а тот сложил все куски в мешок и пошел в главное здание университета. Со словами «Мы, русские, в подачках не нуждаемся» Иванов бросил мешок с мылом на стол ректора.

Смелость, гордость, деловые качества Иванова несомненны, но как насчет собственно науки?

А ГДЕ ЖЕ НАУКА?

Константин Иванов занимался этнической демографией, экономической и социальной географией, ездил в экспедиции на русский Север, в Западную Сибирь, проводил исследования «по хоздоговорам», или, как бы мы сейчас сказали, по грантам.

Из интервью Льва Гумилева газете «Советская культура»: «Константин Павлович Иванов, мой ученик, исследовал связь между миграциями людей и состоянием животноводства в Архангельской области. Цепочка – очень грубо – получилась такая: русские как этнос связаны с пойменными ландшафтами. Сочной травой, которую они скашивают, кормят коров. А коров надо доить. Традиционно этим занимались женщины. Но женщины теперь все чаще уезжают в город учиться, заводят там семьи и не возвращаются. Вот так уменьшается и количество коров…

Корр.: Где же теперь это исследование?

Лев Гумилев: – Было отдано Архангельскому облисполкому. Иванову даже дали премию».

Диссертация Иванова «Эколого-географическое исследование сельскохозяйственного населения Нечерноземной зоны РСФСР» была посвящена этой же проблеме, но он заметно рас ширил материал за счет еще нескольких областей Великороссии, которую в СССР называли унизительно-политкорректным словом «Нечерноземье».

Иванов доказывал совершенно гумилевскую мысль. Не только этническая, но и субэтническая принадлежность закладывается в детстве, когда человек учится необходимым жизненным навыкам: как заготавливать сено, доить корову, самому валять валенки. Взрослый горожанин просто физически не сможет освоить десятки, если не сотни необходимых в деревенской жизни навыков, поэтому миграция сельских жителей в города – процесс необратимый. Горожанину не вернуться в деревню, разве как дачником.

Хуже того, не только миграция в города, но и переселение жителей маленьких деревень в большие и благоустроенные поселки подтачивает сельское хозяйство. Крестьянин без приусадебного участка и подсобного хозяйства тоже обречен. Его дети уже не будут знать и половины всего, что необходимо сельскому жителю. Их путь – в город и только в город. Так советская модернизация совершенно подорвала сельское хозяйство: просто некому стало работать на земле. Мысль не такая уж новая, но Иванов доказывал ее цифрами, фактами,

статистическими выкладками.

В девяностые годы исследование Иванова обретет новый практический смысл.

В Россию приехали десятки тысяч беженцев из Казахстана, Средней Азии, с Кавказа, даже из Тувы. Спасали свою жизнь от «братьев» по «евразийскому суперэтносу». Покидали жители и северные города – обедневшие и опустевшие в начале девяностых Норильск, Дудинку, Певек. Их охотно размещали на пустующих землях, в домах, оставленных прежними жителями. Места всем в России хватало. Ехали не бездельники, не алкоголики. Нормальные работящие мужики и бабы. Собирались устроиться на новом месте и работать, работать, строиться, богатеть. Но большинство уже через несколько лет или переселились в города, или спились, мало кто поднялся. По Иванову, иначе и быть не могло.

Сейчас, читая суховатую, в сравнении с сочинениями Гумилева, диссертацию Иванова, понимаешь, какого дельного человека потеряла наша наука.

В последние годы жизни Иванов изучал северные народы – хантов, манси, селькупов, ненцев. Работал не как этнограф (для этого у Иванова не было квалификации), а как демограф. На жизнь этих народов Иванов смотрел сквозь очки гумилевской теории – и вновь оказался прав. «Малые народы» Сибири – не отсталые, а, напротив, слишком древние, «не дети, а старички», и попытки советской власти способствовать их развитию привели или к ассимиляции русскими, или к вымиранию. Лесные охотничьи племена и северные кочевники отдавали детей в интернаты, где их учили совершенно не нужным в тайге и тундре вещам: алгебре, физике, русской литературе, — но не учили, как построить чум или поймать острогой рыбу. Так появлялись люди, не адаптированные к природной среде и утратившие этническую традицию своего народа. Получали образование, но потом устраивались работать кладовщиками, истопниками, чернорабочими или вовсе не находили (потому что не искали) себе работы, а пасти оленей или охотиться они уже не умели.

Написал Иванов не так уж много, а из написанного далеко не всё успел напечатать. В 1998 году друзья Иванова собрали его рукописи, включая и кандидатскую диссертацию, в отдельную книгу «Проблемы этнической географии».

И все-таки я не думаю, что Константин Иванов смог бы «двинуть вперед» теорию Гумилева.

Во-первых, Иванов не был историком. Но ведь именно историческая наука дает самый ценный материал для теории Гумилева. Ее не могут заменить ни этнография, ни демография,

ни социология.

Во-вторых, Иванов был профессиональным химиком. Тем удивительнее, что он не нашел у Гумилева ни ошибок, ни натяжек, ни дилетантских упрощений – всего того, в чем обвиняют Льва Николаевича биологи и физики. Даже «биохимическую энергию живого вещества» Иванов принял.

В-третьих, именно Иванову принадлежат первые попытки математизировать пассионарную теорию этногенеза. Даже у гуманитария они вызывают изумление и досаду.

В 1989 году читатели «Этногенеза и биосферы» с уважением рассматривали кривую этногенеза, составленную Гумилевым при помощи Константина Иванова. Кривая этногенеза, построенная в декартовой системе координат, походит на кривую костра, взрыва порохового склада и увядающего листа. Замечательно, но как же удалось измерить пассионарность? На индивидуальном уровне это пока невозможно, невозможно и на этническом. Еще никому не удалось подсчитать процент пассионариев в популяции. Кроме того, до сих пор не известно, как, собственно, передается пассионарный признак. Иванов же безоговорочно принял гипотезу Гумилева о мутации, но биологи (в том числе сторонники Гумилева) ее отрицают.

Интересно, что ни в одном своем сочинении Иванов не спорит с учителем даже по частностям. Это сплошное начетничество, если не считать замечательных демографических исследований, где Иванов просто применял теорию Гумилева в готовом виде.

Вячеслава Ермолаева Гумилев не прочил себе в преемники, хотя тот защитил в 1990-м кандидатскую диссертацию и немного печатался в «Известиях ВГО». Стиль Ермолаева сравнивают иногда со стилем самого Гумилева, но Вячеслав Юрьевич не брался даже за научно-популярные книги, не говоря уже о монографиях. В девяностые годы он оставил науку. Лишь время от времени писал публицистические статьи, случалось, весьма интересные. Кажется, он первым из гумилевцев усомнился в евразийстве и даже не согласился со взглядами учителя. После нескольких лет молчания Ермолаев напечатал в малоизвестном журнале с диковинным названием «Дети фельдмаршала» статью под названием «Сумерки на голубом небе: Казахстан и "евразийские" легенды». Оказывается, особенного братства русских и казахов никогда не было: «…фактология российско-казахских отношений не подтверждает повально распространившихся "евразийских" иллюзий. <…> Великая степь жила в обскурации. Пали ее сумерки и на голубое небо тюркского Казахстана. Вот здесь-то и скрыт настоящий

побудительный мотив казахской тяги к "евразийской" интеграции с Россией. Иждивенческие императивы поведения, порожденные этнической старостью, просто не позволяют стране выживать без помощи».

Но все-таки перед нами только хорошая публицистика, а не научное исследование. Вернуться в науку Вячеславу Юрьевичу не удалось. В 2002 году Ермолаев предложил новый способ измерения пассионарности. Он попытался оценить пассионарность коммунистической партии («субэтноса коммунистов») по «скорости изменения темпов прироста/убыли числа членов и кандидатов в члены партии». Получилось, что в начале шестидесятых и даже в начале восьмидесятых партия была намного пассионарнее, чем в начале двадцатых. Порочный метод принес заведомо ошибочные результаты.

Но был еще третий, самый молодой и, пожалуй, самый загадочный ученик Гумилева – Владимир Мичурин. Крупнейшим научным достижением Владимира Мичурина стал «Словарь понятий и терминов теории этногенеза Л.Н.Гумилева». Еще до Мичурина словарь составил Ермолаев, но Мичурин далеко превзошел своего товарища. Я знаю людей, которые освоили теорию Гумилева именно благодаря словарю Мичурина. Впрочем, Мичурина ли? Сам Владимир Аскольдович рассказывал, что настоящим автором словаря был Гумилев. Просто внимательный и настойчивый ученик просил подробно разъяснить смысл каждого термина, умел правильно задать вопрос, а Гумилев разъяснял. Впервые словарь напечатали в замечательном сборнике «Этносфера: история людей и история природы».

В августе 1992-го «Наш современник» напечатал статью Мичурина «Возрождение Ирана в свете теории этногенеза», где тот применил теорию этногенеза к истории Ирана XIX-XX веков. Применил удачно – доказал, что в Иране в самом деле начался новый виток этногенеза. Конечно, статья Мичурина тоже не научная. Это отличная историческая публицистика. Вот если бы Владимир Аскольдович выучил фарси и всерьез занялся новейшей историей Ирана, он мог бы превратиться в настоящего ученого-востоковеда. Увы. Наступившие девяностые заставили бросить науку многих перспективных ученых. Владимир Мичурин даже не защитил диссертации. Он пошел работать в Федеральную миграционную службу. Свое географическое образование дополнил дипломом Академии госслужбы. Как и Ермолаев, Мичурин ограничивался статьями, в основном – о политической жизни современной России. Перспективный молодой ученый превратился в консервативного публициста, причем далеко не самого яркого.

В Москве идеи Гумилева пропагандировал Игорь Шишкин. Читал он и лекции по теории Гумилева. Сейчас Шишкин занимает довольно высокий пост – заместителя директора Института стран СНГ. Я читал много его статей, но научных исследований, развивающих теорию этногенеза, среди них так и не нашел.

ДУГИН И ГУМИЛЕВ, ИЛИ ФАЛЬШИВЫЙ НАСЛЕДНИК

В девяностые годы даже среди поклонников Гумилева имена Иванова, Ермолаева, Мичурина, Шишкина мало знали. Их совершенно закрыла исполинская тень Александра Дугина.

До начала девяностых Александр Гелиевич Дугин был вполне андеграундным персонажем. Поклонник мистика Юрия Мамлеева, соратник оккультиста Евгения Головина и тогда еще безвестного философаисламиста Гейдара Джемаля, Дугин выучил несколько европейских языков и увлекся идеями европейских эзотериков, мистиков, геополитиков и просто ультраправых мыслителей, совершенно неизвестных в Советском Союзе. В девяностые годы Дугин переведет и перескажет своими словами их сочинения и, таким образом, познакомит интеллигентного читателя с трудами Рене Генона, Юлиуса Эволы, Германа Вирта, Карла Шмитта и Карла Хаусхофера. По дугинским «Основам геополитики» будут учиться студенты гуманитарных вузов.

В 1989 году Дугин написал свою первую монографию «Пути Абсолюта», где пропагандировал идеи «тотального традиционализма», весьма экстравагантного, а для советского читателя – и вовсе инопланетного учения. Основоположником «тотального» (или «интегрального») традиционализма был французский мыслитель Рене Генон, истинный учитель Александра Гелиевича.

В том же году Дугин познакомился с Александром Прохановым, который редактировал тогда «Советскую литературу» и пытался сделать этот журнал интеллектуальным и респектабельным. Проханов предложил молодому эзотерику написать на актуальную тему, применив на практике положения тотального традиционализма. Вскоре Дугин стал постоянным автором и основанной Прохановым газеты «День» (с ноября 1993 года – «Завтра»).

Хотя уже в начале девяностых Дугин приобрел репутацию правого интеллектуала, фантастически эрудированного и оригинального мыслителя, он все еще оставался подлинным маргиналом и как философ, и как политический деятель.

В середине девяностых Дугин писал о консервативной революции и национал-большевизме, стремясь встроить их в эклектику интегрального традиционализма. Однако идеология консервативной революции также представляла скорее академический интерес. Не получилось и с национал-

большевизмом. Дугин стал вместе с Эдуардом Лимоновым идеологом и одним из основателей национал-большевистской партии. Но принципиальный нонконформизм Лимонова не оставлял шансов когда-нибудь сблизиться с Кремлем, войти в круг избранных. С Лимоновым Дугин разошелся достаточно быстро.

Выбраться с обочины политической жизни, где он прозябал вместе с «нерукопожатными» тогда Прохановым и Лимоновым, Дугину помогло евразийство.

Александр Гелиевич утверждает, будто познакомился с идеями евразийцев еще в середине восьмидесятых. Однако в его ранних произведениях влияния евразийских идей незаметно. Даже в книге под названием «Мистерии Евразии» евразийству посвящен всего один абзац в начале второй главы: «Наиболее глубокие русские мыслители XX века, высказавшие действительно важные соображения о судьбе России, — это, бесспорно, "евразийцы", идеологи особого "третьепутистского" крыла первой русской эмиграции». Ни имен, ни ссылок.

Дугин стал знаменит после выхода монографии «Основы геополитики», выдержавшей несколько переизданий. Именно там Александр Гелиевич впервые обратился к Савицкому и Гумилеву. Дугин понял раньше многих, что в современном мире важна не идеология, а бренд, не лицо, а маска. Философ может легко провести собственные идеи под маской чужой идеологии, практически не рискуя, что его разоблачат.

На самом деле ни евразийцы двадцатых, ни Лев Гумилев в систему интегрального традиционализма не встраивались: «Наследие Льва Гумилева принимается, — писал Дугин, — но при этом теория пассионарности сопрягается с учением о "циркуляции элит" итальянского социолога Вильфреда Паре то, а религиоведческие взгляды Гумилева корректируются на основании школы европейских традиционалистов (Генон, Эвола и т. д.)».

Это все равно, как если бы патриарх Кирилл заявил: «Православное христианство корректируется на основании культа Одина и Фрейи». К циркуляции элит по Вильфредо Парето теория Гумилева тоже никакого отношения не имеет. Дугин понял теорию этногенеза по-своему. Пассионарный толчок он назвал всплеском «биологической и духовной энергии», хотя существование особой «духовной» энергии Гумилев никогда не признавал.

Но Дугина это и не интересовало, ведь он не евразиец и не гумилевец, а «интегральный традиционалист». Уже четверть века Дугин пропагандирует учение, которое совершенно отвергает

современную цивилизацию со всеми ее атрибутами. Цель традиционалистов, формулирует Дугин, «полный и бескомпромиссный возврат к ценностям традиционной священной цивилизации, чьим абсолютным отрицанием является современная, материалистическая и секулярная цивилизация».

Разумеется, традиционализм отрицает и современную науку. Критике научного мировоззрения целиком посвящена одна из книг Дугина – «Эволюция парадигмальных оснований науки». Дугин – принципиальный противник научного познания, может быть, поэтому его книги пестрят забавными фактическими ошибками. Пока он рассуждает о символах, знаках и тайных смыслах, все идет хорошо, но стоит Дугину обратиться к истории или физической (а не «сакральной») географии, как профессор превращается в двоечника.

Дугин забыл имя убийцы Бориса и Глеба, назвав Святополка Окаянного Ярополком. Разрушителя Иерусалима Тита Флавия Веспасиана Дугин перепутал с известным римским историком Титом Ливием, Кемалистскую революцию – с Младотурецкой. Дугин всерьез полагает, что кальвинизм – это государственная религия Англии. В «Основах геополитики» философ сделал выдающееся географическое «открытие», поведав читателю, что от Байкала до Тихого океана тянется «сплошная зона северных лесов, постепенно и незаметно переходящих в леса тропические».

Нет, Дугин вовсе не невежда. Судя по его трудам, Александр Гелиевич – человек в высшей степени эрудированный. Просто историческая и географическая реальность, равно как и другие феномены материального мира, не имеют для него значения. Для Дугина важнее «священная, сакральная подоплека»: «… сакральное мировоззрение понимает всё как символ, как нечто неравное самому себе, как нечто указующее на иные, духовные, метафизические сферы, на трансцендентные модальности Бытия». [52]

Анатолий Иванович Лукьянов из дугинской «Конспирологии» узнал о себе потрясающие сведения. Оказывается, товарищ Лукьянов, сам того не ведая, с 1987 года был «протектором Ордена "Полярных", Евразийского Ордена, надеждой Вечного Имперского Рима», а генерал-полковник Штеменко еще раньше служил агентом этого ордена и выполнял некую «полярную миссию». Все это невозможно ни опровергнуть, ни доказать, потому что конспирология – своего рода религия. Конспирология и тотальный традиционализм находятся за пределами научного познания.

Евразийцы были образованными и культурными европейцами. Они высоко ставили научное знание, не принимали

восточной мистики и верили в прогресс. Даже экстравагантную идею о благодетельном влиянии нашествия гуннов евразиец Савицкий оправдывал именно интересами прогресса: «…переход от рабовладения к крепостничеству – подготовлялся уже и раньше. Но походы Аттилы безусловно ускорили этот переход. Поэтому их (походов гуннов. – С.Б.) характер хоть и разрушительный (в плане ведения военных действий), но прогрессивный (выделено Савицким. – С.Б.)».

Лев Гумилев был еще большим материалистом и позитивистом, чем Савицкий и Вернадскиймладший. Всем, кто по недоразумению принимает Гумилева за мистика, я рекомендую его давнюю статью «Страна Шамбала в легенде и в истории». Гумилев взялся искать историческую основу тибетской легенды о Шамбале и даже нашел ей место на исторической карте.

В шестидесятые годы XX века тибетские эмигранты начали публиковать в Индии и Англии древние рукописи, среди которых попадались географические карты, в том числе карта Шамбалы.

Гумилев изучал древнетибетские карты вместе с профессиональным востоковедом Брониславом Кузнецовым, в 1969 году они опубликовали статью «Две традиции древнетибетской картографии», где Кузнецов отвечал за филологическую часть, а Гумилев за историю и историческую географию.

На карте Шамбалы Гумилеву удалось расшифровать часть географических названий: «сак» (саки, ираноязычные племена, родственные скифам), «Пун» (Финикия), «Страна, где собраны жрецы» (Вавилон), Барпасаргад (Пасаргады, одна из столиц Персии эпохи Ахеменидов). Так Гумилев вычислил не только географическое положение Шамбалы, но и время создания легенды – III-II века до нашей эры, время существования государства Селевкидов. Его центром была Сирия, по-персидски «Шам». Пригодился Гумилеву персидский язык: «…а слово "боло" означает "верх", "поверхность". Следовательно, Шамбала переводится как "господство Сирии", что и соответствовало действительности».

Селевкиды – потомки Селевка Никатора, одного из полководцев Александра Македонского, — создали на Ближнем Востоке огромное, богатое государство, где процветали ремесла и торговля. Самым славным городом этой монархии была Антиохия на Орон те, она «в течение многих веков представлялась прообразом веселой, разгульной и беззаботной жизни, а один из кварталов ее – Дафнэ – был местом, где танцовщицы впервые открыли "стриптиз". Поэтому неудивительно, — заключает Гумилев, — что тибетские горцы, встречавшиеся с сирийскими

купцами в Хотане, Каш гарии и Балхе, наслушались рассказов о веселой жизни, и это дало достаточный повод для создания утопии, которая пережила и Селевкидскую монархию, и порожденные ею веселые беспутства».

НИЩЕТА ФИЛОСОФИИ

Иногда Льва Гумилева ошибочно относят к философам. Разумеется, чаще всего это делают сами философы. Они даже защищают диссертации по теории этногенеза. Но разве может философ оценить труд историка? Чем он может его дополнить? Тем более развить? Вот типичный случай. Доктор философских наук Андрей Владимирович Шабада, автор многих сочинений, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, написал для энциклопедии «Культурология. XX век» словарную статью «Гумилев Лев Николаевич». Прочитаем и прокомментируем.

«*Культурогич. концепция Г. отрицает цикличность*…»

Всё наоборот. Концепция Гумилева не культурологическая. И цикличности она не отрицает.

«*Исследуя проблему происхождения культуры, Г. принимает концепцию С.Лема*…»

Гумилев никогда не исследовал проблему происхождения культуры, а сочинения Станислава Лема никакого отношения к теории этногенеза не имеют.

Среди философов несколько выделяется добросовестный, эрудированный и критически мыслящий Константин Фрумкин, автор любопытной монографии «Пассионарность: приключения одной идеи». Фрумкин пишет не столько об идеях Гумилева, сколько о способах их интерпретации отечественными философами, политологами, журналистами и просто безумцами. Фрумкин ироничен, холоден и насмешлив. Ему удалось избрать верный тон. Теорию Гумилева Фрумкин не вполне принимает. Во первых, его совершенно не интересует биологическая природа человека. Человек для него прежде всего субъект социальных отношений, схема без плоти и крови.

Во-вторых, Фрумкин хорошо разбирается в истории идей, а собственно всемирную историю знает гораздо хуже. Отсюда и его ошибки.

Фрумкин признал, что пассионарность существует, но решил объяснить ее по-своему: комбинацией социальных факторов. уровнем жизни, повседневностью насилия, монокультурностью, маргинализацией. Но рассмотрим для примера хотя бы его последний аргумент.

Люди, выброшенные обстоятельствами из привычной социальной среды, вынуждены бороться за выживание и проявлять при этом повышенную агрессивность. Примеры – беглые крестьяне, становившиеся казаками, викинги, абреки. Фрумкин понимает, что «ортодоксальный сторонник Гумилева»

ему возразит: «будущих викингов потому и изгоняли, что они были пассионариями». И Фрумкин спешит выдвинуть контраргумент: «… в любой общности неизменно рождаются люди с разным характером. <…> В любой общности могут появляться индивиды, склонные нарушать коллективную мораль и корпоративные шаблоны поведения. <…> В случае со Скандинавией, вероятно, дело заключалось в том, что изгнание являлось стандартной процедурой в "обычном праве" крестьянских общин».

Но почему же в XII веке викингов не стало? Куда они исчезли? И почему их не было, скажем, в веке VII м? Природная среда оставалась стабильной, община не исчезла, экономическое развитие шло своим чередом, но только с конца VIII века по XI век викинги наводили ужас на Европу, плавали на своих утлых драккарах и шнеккерах до Исландии, Гренландии и Северной Америки. Почему их не было раньше? Куда они исчезли позднее, если «люди с разными характерами» рождаются постоянно? Как же теперь потомки грозных викингов позволяют себя безнаказанно убивать вооруженному безумцу, не пытаясь защититься или хотя бы убежать? Нет, «социальные» объяснения Константина Фрумкина ничего не объясняют. Пассионарная теория этногенеза намного лучше соответствует историческим фактам и повседневному опыту, чем спекуляции социальной философии.

В мелководном и мутном ручейке философской мысли не найти истины.

О Гумилеве писали и психологи, даже разрабатывали тесты, чтобы «выявить» пассионарность и субпассионарность человека, например, в отделе кадров. Автором этой идеи был, кажется, Константин Иванов, по крайней мере в составленном им плане «Основные направления и задачи этнологических исследований» был и такой пункт. По свидетельству Лаврова, сам Лев Гумилев прошел такое тестирование.

Тестировать на пассионарность – дело совершенно бессмысленное. Пассионарий легко себя проявит, деятельность скажет о его природе лучше всякого теста. То же самое касается и субпассионарности.

Через десять лет после смерти Гумилева Рубин Сайфуллин, кандидат политических наук из Татарстана, написал монографию под названием «Теория этногенеза и всемирный исторический процесс». Поскольку книга получилась большая и толстая, на автора стали смотреть с уважением. Вот он, продолжатель Гумилева, ведь Сайфуллин решил усовершенствовать теорию этногенеза и обогатить ее понятийный аппарат новым термином –

гиперэтнос.

Величие поставленной задачи забавно смотрится на фоне убогой библиографии. Всего 43 книги, из них 7 сочинений Гумилева, 5 словарей и 12 учебников.

О профессионализме Сайфуллина-историка можно судить хотя бы по такому факту. Он решил вычислить этногенез японцев и проделал-таки «исследование», базируясь всего на одном сочинении – старом советском учебнике «История Японии», изданном в далеком 1988-м. У нас на истфаке студентов с такой подготовкой не пустили бы и на семинарское занятие. Развивать теорию этногенеза, не зная истории, — все равно что изучать теоретическую физику, не зная математики.

Впрочем, с математикой у Сайфуллина тоже неважно: с легкостью необыкновенной он подсчитывает процент пассионариев в обществе, хотя каким образом ему это удается, никто не знает. А ведь точно так же пытался подсчитать процент пассионариев и политолог Владимир Махнач, который даже читал лекции о теории Гумилева.

Что там Махнач, если даже самые интересные работы гумилевцев, например статьи Владимира Мичурина об этногенезе персов, Макса Зильберта о евреях-ашкенази, не выходили за рамки хорошей исторической публицистики.

Зато мистические интерпретации Гумилева росли, как бледные поганки теплым и влажным летом. Впрочем, ученые, не знавшие истории, но пытавшиеся придать пассионарной теории солидность и вернуть Гумилева в мир науки, писали вещи и абсурднее, и смешнее. Некто Айзатулин вывел формулу роста пас сионарности и даже предложил единицу измерения пассионарного напряжения – 1 гумил. Но что скрывается за этой величиной, так и осталось неизвестным.

КОМЕДИЯ ОШИБОК

Несколько лет назад мне в руки попалась одна книжка. Прочитав на обложке название «Зарождение пассионарной России», я уже не мог пройти мимо. Иногда полезно начинать чтение с конца. Последние две страницы книжки занимал словарик, где авторы растолковали свой терминологический аппарат. Уже сами названия словарных статей говорили о многом: «Пассионарная идеология», «Духовное поле пассионарности», «Суперпассионарий». Что, впечатляет? Нет? Тогда прочтем толкование. «Духовное поле пассионарности – духовное единение социально активных членов общества, ориентирующихся на пассионарный центр, созданный суперпассионариями, индуцирующими пассионарную идеологию. Пребывание в этом духовном центре имеет мистический характер и открывает новые, не виданные ранее горизонты развития цивилизации, постижения гармонии Вселенной».

Прочитав этот словарик, можно было бы знакомство с книжкой и закончить. Но любопытство взяло верх. Осилив все тридцать страниц, я убедился в том, что сей опус – самая грубая компиляция из нескольких идей, воспринятых крайне примитивно, если не извращенно. Здесь есть не только теория Гумилева, но и марксизм, и Данилевский, и Фрейд, и даже Вернадский с его учением о ноосфере, которое, кстати, Гумилев никогда не принимал, равно как и «сакральную географию» – ее авторы тоже почемуто приписали Льву Николаевичу. Смесь, само собой, получилась неудобоваримая. Впрочем, местами читать забавно: «Рождение пассионарного романо-германского этноса началось со знаменитой речи папы Урбана II на Клермонтском соборе 1095 г., призвавшего Запад к крестовому походу против арабов. Эта речь зажгла пассионарный огонь, который разгорелся в виде костров духовно-рыцарских орденов, ставших основой зарождения пассионарной элиты Запада».

Ну разве не прелесть? Всякие мелочи (Первый крестовый поход вообще-то был направлен не против арабов, а против турок-сельджуков) опустим. Перед заревом от «костров духовно-рыцарских орденов» всё меркнет.

Напоследок я прочитал о будущем «пассионарном центре», при котором следует непременно открыть особый PR-отдел.

Зачем так подробно писать о слабенькой книжке, напечатанной авторами явно за свой счет? А затем, что добрая половина литературы о Гумилеве и его теории этногенеза написана на таком вот уровне.

Даже биографы Льва Гумилева не избежали самых непростительных, абсурдных ошибок. В серии «ЖЗЛ» вышла книга философа Валерия Демина «Лев Гумилев». Среди ее многочисленных недостатков бросается в глаза главный – полное непонимание Деминым теории этногенеза. Гумилев создал собственный терминологический аппарат, но Демин предпочитает ему терминологию профессиональных экстрасенсов, целителей и астрологов. Гумилевская «пассионарность» и «ноосфера» Вернадского соседствуют здесь с «теллурической энергией», «энергетикой сакрального места», «внутренней энергетикой Матери-земли» и «благотворным излучением Космоса».

Льва Гумилева Демин причисляет к «русским космистам», хотя «русский космизм» никогда не был ни единым философским направлением, ни тем более наукой. Этот «космизм» придумали авторы современных учебников по истории русской философии. В «русские космисты» записали мыслителей, имеющих мало общего друг с другом. Связь с ними Гумилева и вовсе сомнительна. Научное и философское наследие В.И.Вернадского Гумилев принимал выборочно. Философские воззрения К.Э.Циолковского и Н.Федорова идеям Гумилева прямо противоположны.

Книга Татьяны Фроловской «Евразийский Лев» ни в чем не уступает сочинению Валерия Демина. А кое в чем и превосходит.

С потрясающей развязностью она судит о личной жизни Ахматовой: «Выбор Анной Андреевной в мужья Шилейко и Пунина нехорошо изумлял недальновидностью и ошибочностью». Полагаю, что Ахматова несколько лучше разбиралась в своих мужьях, чем биограф ее сына. Важнее фактические ошибки.

Вот Фроловская пишет, что Гумилев сразу после школы пытался поступить на исторический факультет университета, хотя в Ленинградском университете тогда вообще не было тако го факультета. Она пишет, будто Гумилев участвовал в «малярийной экспедиции» на Памире. На высокогорьях Памира комары не живут, малярийные экспедиции туда не посылают, а Гумилев в 1932-м работал в долинах, в предгорьях, но не на «крыше мира».

Порадовала Татьяна Фроловская и удивительным историко географо-филологическим открытием, затмившим все написанное. Оказывается, "Золотая Орда", иногда под именем "Киргиз-Кайсацкая орда", продержалась – "под рукою" «"Белого царя" – вплоть до Первой мировой войны».

Просвещенного читателя это открытие отсылает не к истории, а к русской поэзии.

Богоподобная царевна

Киргиз-Кайсацкия орды!
Которой мудрость несравненна
Открыла верные следы
Царевичу младому Хлору
Взойти на ту высоку гору,
Где роза без шипов растет,
Где добродетель обитает:
Она мой дух и ум пленяет…

Быть может, здесь все-таки есть исторический смысл? Киргиз-кайсаки – это казахи, а Казахское ханство действительно образовалось после распада Золотой Орды. Но ко временам Первой мировой даже от ханства остались только воспоминания.

Но более всего огорчает полное непонимание теории Гумилева. По словам Фроловской, «гумилевская теория этногенеза исключает приверженность к какой бы то ни было национальности». Мысль, совершенно чуждая Льву Николаевичу. Национальность и есть этнос, а Гумилев считал, что нет человека вне этноса.

Фроловская заявляет: чем больше Гумилев писал о пассионариях, «тем больше и сам становился таковым». Столь оригинальный способ пассионарной индукции, вероятно, изумил бы Льва Николаевича, ведь пассионарность – признак, передаваемый генетически.

Но самой нелепой фразой книги я считаю вот эту: «Немецкий философ Шпенглер, близко подошедший к открытию пассионарных явлений ближнего космоса…» Дальше можно не читать. Все и так ясно.

С такими друзьями Льву Николаевичу и врагов не надо.[53]

ИСТОРИКИ И ГУМИЛЕВ

На симпозиумах и научных конференциях я не раз слышал одну и ту же фразу: «Ни один настоящий историк не принимает всерьез теорию Гумилева». Это не совсем так, хотя я действительно не знаю историков, взявших ее на вооружение. Зато знаю историков, которые отнеслись к ней с интересом. Гелиан Прохоров не применял теорию этногенеза в своих научных работах, но отзывался о ней доброжелательно. Но вот Игоря Дьяконова теория этногенеза всерьез заинтересовала: «Его книга "Этногенез и биосфера Земли", — писал Игорь Михайлович, — содер жит немало оригинальных идей, над которыми стоит задуматься. <…> Л.Н.Гумилев глубоко прав, когда утверждает, что этнос не связан ни с расой, ни с языком, ни даже… с религией». Дьяконов признал даже пассионарность: «Явление это имеет огромное, часто ключевое историческое значение, хотя до сих пор проходило для историков незамеченным», — притом что находил в пассионарной теории этногенеза недостатки, недоработки, которые уже известны и читателю этой книги.

Дьяконов совершенно не принял «Древнюю Русь и Великую степь», в особенности хазарские главы, нашел там и бездоказательность, и ошибки.

Что делать, ошибки бывают у всех историков, не избежали их, между прочим, и критики Гумилева: Панарин, Шнирельман, Элез, Паин и даже профессиональный русист Яков Лурье.

Виктор Шнирельман, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, перенял у Виктора Козлова роль главного оппонента Гумилева. Самого непримиримого, самого последовательного. Но критик Гумилева и гумилевщины, оказывается, слабо знает работы Гумилева.

Из статьи Виктора Шнирельмана в академическом журнале «Этнографическое обозрение»: «Гумилев избегал ссылаться на авторов, мягко говоря, непопулярных в СССР, — одни из них были связаны с дореволюционной историографией, другие испытали на себе гонения в советское время либо их произведения подверглись испепеляющей критике и оказались не в чести. <… > Например, одним из важнейших источников, откуда автор теории этногенеза черпал как факты, так и теоретические выкладки, были богатые эмпирическими материалами произведения Г.Е.Грумм-Гржимайло, исходившего из расовой теории и подвергшегося суровой критике в конце 1920х годов».

Прочитав это, я не поверил своим глазам. Полноте, да не обман ли зрения? Так ли я понял? Гумилев не ссылался на Грумм

Гржимайло? Снимите с полки «Древних тюрков» и откройте следующую за титульным листом страницу. Вот что вы там прочтете: «Я на всю жизнь сохраню память о тех, кто помог мне выполнить эту работу и кого уже давно нет среди нас, о моем замечательном предшественнике, моем друге Г.Е.Грумм-Гржимайло, прославившем историю народов Центральной Азии и умершем в ожидании признания…»

В докторской Гумилева – десятки ссылок на «Западную Монголию и Урянхайский край», ту самую книгу Грумм-Гржимайло, что упомянул в своей статье Шнирельман. Но мало этого, в историографическом обзоре Гумилев пишет о Грумм-Гржимайло больше, чем о всех других русских историках Центральной Азии вместе взятых. Для «Известий ВГО» и для журнала «Природа» Гумилев писал статьи о Григории Ефимовиче, а в библиографии «Этногенеза и биосферы» – четыре работы Грумм-Гржимайло.

Шнирельман – серьезный ученый. Тем досаднее его ошибки и незнание теории этногенеза, которую он взялся критиковать. Да взялся не один, а вместе с историком Сергеем Панариным, тоже доктором наук, главным редактором журнала «Вестник Евразии».

Из статьи Виктора Шнирельмана и Сергея Панарина в независимом научном журнале «Вестник Евразии»: «…он (Гумилев. – С.Б.) объявляет австралийских аборигенов, бушменов и эскимосов старыми этносами. Но по его теории, старые этносы находятся в "фазе цивилизации", "инерционной фазе", на которой им свойственны накопительство, расцвет материальной культуры и хищническое отношение к природе. Ничего подобного у австралийцев, бушменов и эскимосов не наблюдается…»

А вот это уже ошибка серьезная. Инерционная фаза далеко не последняя в цикле этногенеза. Все перечисленные народы пережили свою «фазу цивилизации» и давно уже вернулись в этнический гомеостаз – состояние равновесия с этнической и природной средой. Что же, Панарин и Шнирельман даже не знали последовательности фаз этногенеза, основных положений научной теории, которую взялись критиковать?!

Впрочем, философ Андрей Элез «Этногенез и биосферу» вообще не прочитал. Он ограничился научно-популярной книгой «География этноса в исторический период» и несколькими статьями Гумилева и укоризненно заметил, что в книгах Гумилева нет ссылок на русского этнографа Широкогорова. Но в «Этногенезе и биосфере» есть не только ссылка, а даже целый параграф под названием «"Этнос" – сочинение С.М.Широкогорова».

Вот знаменитый политолог Эмиль Паин и его книга

«Этнополитический маятник». Книга, в общем, любопытная, но сейчас интересно, что он написал о Гумилеве. Сначала Эмиль Абрамович всё пишет правильно, хотя и прямолинейно, несколько огрубляя теорию: «Этнос – это коллектив, который отличается от других этносов стереотипом поведения». Но дальше ученый начинает фантазировать: «Гумилев полагал, что эти стереотипы практически неизменны на протяжении всего времени этнической общности… 1200-1500 лет».

Дада, Эмиль Паин тоже не читал «Этногенез и биосферу», где есть даже глава «Изменчивость стереотипов поведения».

Самые серьезные и самые досадные ошибки Гумилева – результат его «евразийства», точнее, тюркофильства. Правда, именно «евразийство» принесло Гумилеву тысячи новых поклонников в Казани, Астане, Алма-Ате, Ташкенте, Улан-Удэ, может быть, даже в Улан-Баторе и Кызыле. Гумилев сделал то, что оказалось не под силу казахским и татарским академикам и докторам наук: он подарил тюркским и монгольским народам новое место во всемирной истории. Не зря уже после смерти на Гумилева пролился дождь почестей и наград. В 1992-м из Азербайджана прислали Алмазную звезду Тугая, в 1996-м в Астане создали Евразийский университет имени Льва Гумилева, в 2005 м татары открыли в Казани памятник Гумилеву. Даже мемориальную доску в доме на Коломенской улице, где Гумилев провел последние два года жизни, установили на деньги Республики Татарстан. Власти Петербурга о табличке не позаботились.

Но за признание Гумилев дорого заплатил. Теперь не только историк-русист, вроде Кузьмина или Лурье, но даже герой романа Дмитрия Быкова «ЖД» размышляет о Гумилеве: «у него любой школьник десять подтасовок на главу найдет». Константин Иванов писал о людях, которые, услышав фамилию «Гумилев», спешили пересказать популярный тогда анекдот: «Знаем, знаем: татарского ига не было, а был ввод ограниченного контингента золотоордынских войск по просьбе московских и ростово-суздальских князей». Историки не могли простить Гумилеву ошибки, передержки и просто фантазии. Не могли простить и «пренебрежение» источниками.

Безусловно, историку надо извлекать факты из исторических документов, а не из книг предшественников. Но, с другой стороны, если бы Гумилев пользовался таким старым, надежным, дедовским методом, никогда бы он не создал пассионарной теории этногенеза, не написал бы даже половины своих книг. Метод Гумилева – брать факты из обобщающих монографий и со поставлять – был единственно возможным. Может быть, кто

нибудь знает исследователя, который предложил более научную и фундаментальную теорию? Игорь Дьяконов в последние годы жизни попытался создать собственную периодизацию всемирной истории и написал книгу под названием «Пути истории». Периодизацию Дьяконова можно охарактеризовать одним словом: «беспомощная». В советской исторической науке такая задача оказалось под силу только Льву Гумилеву.

Но коллеги не оценили его труд. Почему? А потому что историки, в большинстве своем, не ценят теоретиков. Петербургскому историку Борису Романову приписывают фразу: «Заниматься методологией истории – все равно что доить козла».

Но совсем без теории нельзя, и вот историки идут на поклон к философам и социологам, хотя те создают совершенно умозрительные модели.

Есть такая теория модернизации. Она заменила теперь исторический материализм. Странно, что историки до сих пор против нее не восстали, ведь эта теория совершенно игнорирует историческую реальность. Например, с точки зрения теории модернизации роскошная Византийская империя и первобытное племя в Меланезии относятся к одному типу общества – традиционному, хотя что же у них общего?

Еще хуже с теорией этноса. Лев Клейн, один из самых принципиальных критиков Гумилева, пишет: «…могло бы создаться впечатление, что мне нечего противопоставить представлениям Гумилева, что, как бы они ни были шатки, других нет. Это не так. Есть ряд весьма разработанных концепций этноса, признаваемых в советской и мировой науке. Я придерживаюсь одной из них, ныне, пожалуй, наиболее авторитетной. Она связывает этнос со сферой коллективного сознания, изучаемого социальной психологией».

Этот взгляд господствует в нашей науке, а в Канаде, США и в Европе он практически общепринятый. Самый главный признак этноса или нации – этническое (национальное) самосознание. Если человек считает себя французом, значит, он француз, считает себя немцем, значит, немец. А как узнать, что он там считает? А просто спросить, ответ и будет проявлением этнического или национального самосознания. Идеал идеализма: слово становится плотью, сознание рождает бытие. Даже удивительно, как такая теория могла победить в советской науке задолго до падения коммунизма.

Но вот пример совершенно реалистический, более того – массовый. Во время переписи населения наши этнографы открыли на просторах России совершенно новые идентичности. Сотни, если не тысячи людей в графе «национальность» указали:

«эльф», «гоблин», «гном» и даже «тролль». Вот так этнографы попали в яму, которую сами же нечаянно вырыли. А ведь им ничего не остается, как признать появление в России всех этих «идентичностей». Более того, я уверен, что люди, записавшиеся эльфами или гномами, могли быть совершенно серьезны.

Так что, теория Гумилева псевдонаучна, а взгляды этнографов научны? И этнос гоблинов или эльфов – это результат применения строго научной теории?

При всех недостатках теории Гумилева она выглядит куда более достоверной и научно обоснованной.

Но главное направление в критике Гумилева – вовсе не научное, а политическое.

Козлов, Шнирельман, Панарин, Янов, Клейн – почти все известные критики Гумилева – уверены: теория Гумилева опасна, безнравственна и политически вредна.

Виктор Козлов еще в 1974-м году заявил, что Гумилев оправдывает все злодеяния мировой истории: «В чем же виноваты Чингисхан, Наполеон или Гитлер и, главное, при чем тут феодальный или капиталистический строй, если "пассионарная" активность таких "героев" была вызвана биологическими мутациями, а сами они и поддерживающие их группы, проводя завоевательные войны, следовали лишь биогеографическим законам развития монгольского, французского или германского этносов?»

Через восемнадцать лет Лев Клейн своими словами повторил мысль Козлова, а в 2000 году Панарин и Шнирельман обвинили Гумилева в грехе более тяжком: «…целому ряду этнических групп застой буквально предписан» и сделали страшный вывод: «… тотальная биологизация исторического процесса, осуществленная Гумилевым, дает… квазинаучное обоснование для культивирования этнического снобизма с примесью расизма». Между тем Лев Гумилев прямо утверждал: «Неполноценных этносов нет!»

Другие ученые считали отсталые племена детьми, которые почему-то остановились в развитии, а Гумилев называл их «старичками». Они давным-давно прожили бурную молодость и блистательный расцвет, а теперь стали пенсионерами. Но Гумилев никогда не ставил старичков ниже молодых. Напротив, он вместе с Константином Ивановым предлагал создать, например, древним сибирским народам особые условия, при которых те могли бы сохранить свою традиционную культуру, а значит, и самих себя. Что здесь безнравственного? Безнравственно «модернизировать» жизнь древних народов. Это все равно что заставлять столетних старцев бегать стометровку.

Иной и не добежит…

А ведь критики Гумилева не остановились даже перед обвинением Гумилева в культурном расизме, нацизме, фашизме. Клейн писал, что Гумилев оправдывает мораль апартеида. Но дальше других пошел Шнирельман: «От нацистов Гумилева отличало лишь то, что упадок древних обществ они объясняли расовым смешением, а он – этническим». Вот так Гумилева, который в 1945-м сбивал «фокке-вульфы» под Альтдаммом и расстреливал атакующих нацистов под Тойпицем, поставили в один ряд с идеологами национал-социализма.

Очень не хочется верить, что конфликты между народами могут быть закономерны и неизбежны. Верить хочется во что-то доброе, хорошее. В слияние социалистических наций в едином советском народе, как Виктор Козлов в 1974-м. Или в глобализацию, как Виктор Шнирельман в 2006-м. Но чем это кончится, неужели непонятно? Ведь между статьями Козлова и Шнирельмана – кровавые погромы в Сумгаите и Баку, война в Карабахе, повсеместное торжество национализма, распад Советского Союза, бегство сотен тысяч русских из Средней Азии, чеченские войны наконец.

ГУМИЛЕВ И ЗАПАД

В шестидесятые годы Гелиан Прохоров спрашивал Льва Гумилева, почему тот не перебежал к англичанам в 1945-м? Гумилев ведь не был советским человеком, ненавидел Сталина, пережил три ареста и два следствия, отсидел в лагерях уже пять лет. Гумилев как будто отмахивался: «Геля, они бы меня выдали».

А ведь теоретически Гумилев мог носить форму британской, французской (деголлевской) и даже американской армии. Мог бы, если бы Ахматова эмигрировала вместе с ним или просто отправила сына за границу. Его будущее не было предопределено.

Вероятно, четырнадцатилетний Лева и не знал, что его судьба решалась где-то между осенью 1924-го и осенью 1926-го. Сохранилось по меньшей мере два свидетельства, по которым можно судить о намерениях Ахматовой.

В октябре 1924-го эмигрировал историк и литературовед Владимир Вейдле, и Ахматова попросила его «навести в парижской русской гимназии справки насчет условий, на которых приняли бы туда ее сына, если бы они решились отправить его в Париж…»

Еще интереснее письмо Марины Цветаевой к Анне Ахматовой, отправленное в ноябре 1926 года:

«Дорогая Анна Андреевна, Пишу Вам по радостному поводу Вашего приезда. <…> Одна ли Вы едете или с семьей (мать, сын). Но как бы ни ехали, езжайте смело. <…> Напишите мне тотчас же: когда – одна или с семьей – решение или мечта…»

Ахматова отказалась эмигрировать, осталась «со своим народом». Она сделала правильный выбор. Поэтесса Серебряного века могла стать великим русским поэтом только на Родине.

А если бы она уехала, как могла сложиться судьба Льва Гумилева?

Ахматова часто спрашивала себя: «А что бы было, если б он воспитывался за границей? <…> Он знал бы насколько языков, работал на раскопках с Ростовцевым, перед ним открылась бы дорога ученого, к которой он был предназначен».

Анна Андреевна была совершенно права. Гумилев не провел бы тринадцать лет в лагерях. Ему не пришлось бы годами зарабатывать рабочий стаж, чтобы поступить в университет. Он окончил бы Сорбонну или Кембридж, а потом мог бы преподавать и заниматься научными исследованиями в Европе, а мог и переехать в США. Например, в тот же Нью-Хейвен, где работали Георгий Вернадский и Михаил Ростовцев, величайший антиковед – историк и археолог.

Языки Гумилев учил бы не в лагере, а в университете. Тюркскими языками овладел бы в совершенстве, научился бы читать по-китайски. Словом, Лев Николаевич стал бы востоковедом мирового уровня. Возможно, затмил бы Эдуарда Шаванна и Рене Груссе. Ездил на международные конгрессы по несколько раз в год. Гумилев сделал бы блестящую академическую карьеру.

А мог бы он создать свою теорию этногенеза?

Академик Панченко считал, что тюрьма помогла Гумилеву: «Неволя определяет и тематику, и, так сказать, методологию творчества».

Не верю я в целительную силу тюрьмы. Сомневаюсь, будто баланда и пайка сырого хлеба способствуют гуманитарным исследованиям, а недостаток сахара и фосфора стимулирует работу мозга. Да, Гумилев размышлял об этногенезе во время долгого пути из барака на работу. Но он еще лучше мог бы размышлять, скажем, по дороге из своего загородного особняка в университет. Идея пассионарности пришла Гумилеву, когда он лежал под нарами в «Крестах». А могла бы еще скорее прийти, допустим, после партии в лаун-теннис или во время вечерних размышлений над стаканчиком виски в каком-нибудь лондонском клубе, за чашкой кофе в парижском кафе.

Гумилев, несомненно, создал бы на Западе свою теорию и, возможно, сделал бы это гораздо раньше. Вопрос в другом: как бы он эту теорию опубликовал? Виктор Козлов сомневался, что Гумилев смог бы напечатать свою книгу в западных университетских издательствах: «Идеи естественности кровавых межэтнических конфликтов не были бы приняты и на Западе, где к националистической пропаганде относятся с очень большим осуждением…» Козлов часто бывал на Западе и хорошо ориентировался в европейской и североамериканской научной жизни.

Возможно, Гумилеву и удалось бы напечатать «Этногенез и биосферу», но тогда еще хуже: от него бы все отвернулись. Не только академики и редакторы издательств, как в СССР. А вообще все «порядочные люди».

После Второй мировой войны всякий исследователь нации, этноса, этнической идентичности казался фигурой подозрительной. О свободе творчества, свободе дискуссий не могло быть и речи. Профессор Кембриджа Эрнест Геллнер и профессор Лондонского университета Эрик Хобсбаум, «законодатели мод» в европейских Nationalism studies, последовательно подменяли научное исследование моральным осуждением.

Гумилев современные нации считал этносами, а всемирную историю изучал прежде всего как историю этносов (наций).

Это было бы просто вызовом западным неомарксистам, левым профессорам, директорам научных центров. Как ни странно, советская наука в шестидесятые-восьмидесятые годы давала Гумилеву большую свободу. Ярлык «антимарксиста» и «биологизатора» только подогрел интерес читателя к теории этногенеза.

На Западе ее судьба была бы печальна. Гумилев, конечно, не попал бы под арест, но испортил бы себе карьеру, лишился кафедры. Китайские и афроамериканские студенты могли и освистать такого преподавателя, остальные – просто бойкотировать его лекции. Шумный, скандальный успех последних лет жизни был бы невозможен. Вместо него – остракизм и забвение. Вот такова была бы судьба теории этногенеза.

Не верите? Давайте проверим.

Английское издание «Этногенеза и биосферы» появилось на год раньше, чем русское, но его даже не заметили.

Первым западным ученым, написавшим о Гумилеве, был профессор Массачусетского технологического института Лорен Грэхэм. Он занимался историей науки в СССР. В свою книгу он включил и главу о Гумилеве. Гумилева он не читал. Вообще не читал. В это трудно поверить, но профессор признался, что не сумел достать копию депонированной рукописи «Этногенеза», а потому составил себе представление о теории Гумилева по двум статьям: Бородая Ю.М. «Этнические контакты и окружающая среда» и Кедрова Б.М., Григулевича И.Р., Крывелева И.А. «По поводу статьи Ю.М.Бородая».

Спасибо профессору за честность, но уровень американского науковедения просто изумляет.

Правда, в 1988-м некто Джамиль Браунсон защитил в канадском университете Саймона Фрезера диссертацию «*Landscape and ethnos: An assessment of L.N.Gumilev's theory of historical geography*». Сейчас о Гумилеве довольно толково пишет Марлен Ларюэль, но даже ей Гумилев интересен не как историк-теоретик, а как представитель «правого дискурса» в России.

В.В.Гудаков защитил во Франции диссертацию, используя идеи Гумилева, но при обсуждении диссертации именно эти идеи, по словам Гудакова, «вызвали острейшую дискуссию методологического характера, связанную с особенностями французской историографии и ментальности».

Разницу между восприятием Гумилева в России и на Западе особенно хорошо показал философ Григорий Померанц еще в

1990 году.

Из статьи Григория Померанца в журнале «Общественные науки:

«…Я попытался оценить его (Льва Гумилева. – С.Б.) теорию и включил критику ее в статью. <…> Когда статья была напечатана, я послал оттиск покойному ныне г-ну Кейюа, в журнал "Диожен". Г-н Кейюа ответил, что статья подходит, но надо опустить критику теории этносов: она неинтересна западному читателю».

Наконец, Гумилев после «Зигзага истории» получил репутацию антисемита. От людей с такой репутацией на Западе после 1945 года просто шарахаются. Взгляды Гумилева были одиозны, а в обществе победившего конформизма одиозных авторов подвергали негласному бойкоту. В СССР человек, писавший о запретном, был героем. Во Франции, Великобритании, Канаде – отщепенцем.

Гумилев станет интересен западным ученым только тогда, когда изменится до неузнаваемости сам западный мир.

Эпилог

В книгах друзей Гумилева и в статьях его врагов я часто встречал словосочетание «учение Льва Гумилева». Быть сторонником Гумилева – значит не только признавать теорию этногенеза, но и верить в «симбиоз с Ордой», в победу потомков крещеных татар на Куликовом поле, во все ошибки и несообразности, которых немало у Льва Николаевича. Разумеется, на такое способны лишь люди, навсегда плененные Гумилевым, попавшие под власть его чар. Когда-то таких людей было очень много, теперь их всё меньше. Когда-то и я был таким, но чары закончились. Теперь я вижу, что пассионарная теория этногенеза – это одно, палеогеография – другое, востоковедение – тертье, евразийство – четвертое.

Единого «учения Гумилева», на мой взгляд, нет. Есть научное наследие русского историка Льва Гумилева. Наследие очень богатое: сочинения по востоковедению, палеогеографии, этнологии, всемирной истории, истории России. Одни устарели еще при жизни автора, другие же бессмертны. Позволю себе одну историческую аналогию.

Из книги Александра Герцена «Былое и думы»: «Гегель во время своего профессорства в Берлине, долею от старости, а вдвое от довольства местом и почетом, намеренно взвинтил свою философию над земным уровнем и держался в среде, где все современные интересы и страсти становятся довольно безразличны, как здания и села с воздушного шара. <…> Настоящий Гегель был тот скромный профессор в Иене, друг Гельдерлина, который спас под полой свою "Феноменологию", когда Наполеон входил в город; тогда… он не читал своих лекций о философии религии, а писал гениальные вещи, вроде статьи "о палаче и о смертной казни", напечатанной в Розенкранцевой биографии».

Однажды, уже в конце жизни, Гумилев, возвращаясь с прогулки, сообщил Ольге Новиковой: «Оленька! Я – спасу Россию!» Вероятно, это была шутка. Хотя в тот же час Лев Николаевич стал рассказывать своей ученице о евразийце Николае Трубецком – Гумилев как раз писал о нем статью для журнала «Наше наследие». Это была одна из последних научных работ в его жизни. Друзья и поклонники Гумилева обычно воспринимают слова о спасении России как еще один аргумент в пользу евразийства.

Прошли годы. Теперь в евразийство верят главным образом романтики и политики. Иногда те и другие даже встречаются

друг с другом, например, в московском центре Льва Гумилева, где проходят круглые столы и фуршеты, концерты и вечера, посвященные евразийству. Люди в смокингах и фраках поднимают тосты в честь Гумилева и евразийства. Только вот какое отношение эти гумилевцы-евразийцы имеют к теории этногенеза, что они вообще знают об идеях Гумилева, о его научных взглядах? На сайте этого центра есть вкладка «Сакральная география». Открыв ее, легко убедиться, как далеки воззрения Павла Зарифуллина, директора центра, от пассионарной теории этногенеза.

Меня часто спрашивали, о ком я пишу книгу. Я отвечал: «О Гумилеве». О, как интересно, а за что его все-таки расстреляли? Или: «А почему он бросил Ахматову?» Или «Да, я тоже очень люблю его стихи». Все мои собеседники – человек пятнадцать, — услышав фамилию «Гумилев», тут же вспоминали Николая Гумилева. В начале девяностых такого нельзя было и представить. Николая Гумилева охотно читали, но слава Гумилева-сына затмевала славу Гумилева-отца.

В наши дни слава Льва Гумилева стала меньше, успех – тише. Он вышел из интеллектуальной моды. Ему все чаще припоминают ошибки, а евразийские фантазии о благотворном влиянии татаро-монгольского ига вызывают раздражение. Чем больше в России мигрантов из Средней Азии, тем меньше веры в спасительное для России братство с народами Великой степи. А потому оставим евразийцам упоительные фантазии. Пусть утешаются. В эпоху нового переселения народов актуальны совсем другие идеи Гумилева.

Будущее России и Европы, наша судьбы и судьба наших детей зависят от национальной политики. Не ждет ли нас судьба Китая времен варварских царств? Или Римской империи? Вот здесь и можно вспомнить слова о спасении России.

Критики называют теорию Гумилева мрачной, но станем ли мы ругать врача, который просто ставит больному диагноз? Лучше знать горькую правду, чем утешать себя сказками и побасенками про дружбу народов и свет просвещения, который должен рассеять мрак невежества и ксенофобии.

Впрочем, я все-таки не согласен с критиками Гумилева. Его взгляд на мир вовсе не мрачен. Да, межнациональные конфликты неизбежны. Да, народы не вечны. Зато вечно этническое разнообразие.

Нет ничего печальнее и примитивнее, чем скучный мир глобализации. Вроде Бориса Друбецкого, каким его увидела Наташа Ростова: «Серый и узкий, как часы в столовой».

Скука глобализации, растворение народов в едином

человечестве – всё это не только пошло, но и совершенно нереалистично. Мир, разделенный на этносы и цивилизации, жесток, зато это сложный, многоцветный, живой мир, полный творчества и жизни.

Из беседы Льва Гумилева с Айдером Куркчи: «Когда я умру, не говорите, что я был милым и ворчливым стариком, знающим всё про всё. Вранье. Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы. Должен сказать серьезно: предмет моей науки довольно строг, хотя и не общепринят; предмет мой – разнообразие».

Именной указатель

А

Аарон
Абакумов В.С.
Аббат Прево (см. *Прево д'Экзиль А.Ф.*)
Абросов В.Н.
Аввакум Петров
Август Гай Юлий Цезарь Октавиан
Августин Аврелий
Аверченко А.Т
Авраам (библ.)
Агеносова О.А.
Агранов Я.С. (Сорензон Я.Ш.)
Адашев Даниил
Аденауэр К.
Айзатуллин Т.А.
Аксаков И.С.
Аксельрод М.
ал-Мамун
Аксенов В.П.
Александр I
Александр Невский
Александр Македонский
Александра Федоровна (императрица)
Александров А.В.
Александров А.Д. (ректор)
Алексеев Н.Н.
Алексин А.А.
Али Мухаммад (Али Мухаммед) из Шираза
Алигер М.И.
Алимпиев И.Е.
Алкивиад
Алтухов Ю.П.
Алтын (собака)
Альба Фернандо Альварес де Толедо
Альшиц Д.Н.
Аминов Д.А.
Анаксагорова А.К.
Андрей Ольгердович
Андрей Серкизовъ (Серкизович, Черкизов)
Андреев А.А.
Андрей Ярославич
Андромеда (кошка)

Андропов Ю.В.
Анжелика (см. *Дашкова А.Д.*)
Аникеева (Аникиева) В.Н.
Анненский И.Ф.
Аннинский Л.А.
Ансберг О.Н.
Антокольский П.Г
Антоний (Мельников А.С., митрополит Ленинградский и Новгородский)
Анучин В.А.
Ань-Лушань
Апулей Луций
Арапша (Арабшах)
Арбатова М.И.
Ардов В.Е.
Ардов М.В.
Ардовы
Аренс А.Е.
Аренс Л.Е.
Аристов Н.А.
Аристотель
Аронова З.Д.
Арсеньев В.К.
Арсланбей (Арсланбек)
Артамонов М.И.
Арутюнян Ю.В.
Архангельский А.М.
Асеев Н.Н.
Аурангзеб
Афанасьев В.Г
Афанасьев В.Л.
Афанасьев Н.П.
Афанасьев Ю.Н.
Ахмат (хан)
Ахматова А.А.
Ахматова П.Ф.
Ахметшин Ш.К.
Ашшурбанапал
Б
Баб (см. *Али Мухаммад (Али Мухаммеда) из Шираза*)
Бабаев Э.Г
Бабель И.Э.
Бабков В.В.
Багрицкий (Дзюбин) Э.Г

Байбаков Н.К.
Байрон Дж.Г.
Балашов Д.Н.
Баратынский Е.А.
Бардо Б.
Бартенев П.И.
Бартольд В.В.
Бархударьян (Бархударян) А.К.
Басов Н.Г
Баталов А.В.
Батраков С.П.
Батый (Бату-хан)
Батюшков К.Н.
Бахвалов А.П.
Бахрам Чубин
Безыменский А.И.
Бейбарс
Бекман А.О.
Бекшенев О.Г
Белавская А.П.
Белгутай
Белецкий В.Д.
Беликов И.Н.
Белкина М.И.
Бёлль Г.Т
Белов В.И. (писатель)
Белов И.П. (член РВС Туркестана)
Белов П.А. (генерал)
Берке
Бенешевич В.Н.
Бенкендорф А.Х.
Бенуа де А.
Берадзе И.Г
Берг графиня (см. *Гросс П.О.*)
Берг Л.С.
Берг Р.Л.
Бергсон А.
Бердяев Н.А.
Берзин (Берзиньш) Э.
Берия Л.П.
Берлин И.
Бернштам А.Н.
Бернштейн Б.М.
Берталанфи фон Л.

Бессонов Е.И.
Бетховен Л. ван
Бжезинский З.
Бикерман Э.Дж.
Биличенко В.А.
Бицилли П.М.
Бичурин Н.Я.
Блаватская Е.П.
Блок А.А.
Богатырев К.П.
Богданов А.А.
Богданова-Бельская (см. *Гросс П.О.*)
Богдашевский Ю.Г.
Бодрийяр Ж.
Болдырев А.Н.
Болосы шеху-кэхань (см. *Ирбис-Ышбара*)
Больцман Л.
Большинцова (Стенич) Л.Д.
Бондарчук С.Ф.
Борин А.П.
Борис св. (князь)
Боровков А.К.
Бородай Ю.М.
Бородин Л.И.
Ботичелли Сандро
Боян
Брандт Вилли
Браунсон Дж.
Брегадзе И.Г.
Брежнев Л.И.
Бренковъ Михаил
Бродель Ф.
Бродский И.А.
Бройдо Г.И.
Бромлей Н.Н.
Бромлей Ю.В.
Бронштейн М.П.
Бузинов В.
Букина Л.
Булгаков М.А.
Булгакова Е.С.
Бунин И.А.
Бумынкаган
Буонапарте К.

Бурдин А.К.
Буренко
Бутыло (о. Василий)
Бухарин Н.И.
Бушмаков
Быков Д.Л.
Быков Л.Ф.
Быкова Т.А.
Быстролетов Д.А.
Брэдбери Р
Бэр К.

В

Вавилов Н.И.
Вагнер Р.
Ваддах
Вайнштейн О.Л.
Вайнштейн С.И.
Валишевский К.
Валя (см. *Смирновы*)
Ван Ман
Ванхан
Варбанец В.Е.
Варбанец Н.В. (Мумма, Птица)
Варустин Л.Э.
Василий Александрович (князь)
Васильев К.В.
Васильев Л.С.
Василий Темный
Вася (кот)
Ватутин Н.Ф.
Вахин Ю.Б.
Вебер М.
Вейдле В.В.
Вельяминов Тимофей
Вениамин
Вепринцев Б.Н.
Вера
Верёвкин Н.А.
Верещагин В.В.
Верн Ж.
Вересаев В.В.
Вернадский В.И.
Вернадский Г. В.
Вернадская Н.В.
Веспасиан Тит Флавий
Вигдорчик Е.Г. (см. *Херувимова-Лапина Е.Г.*)
Вильгельм (Гильом) де Рубрук
Вильгельм Завоеватель
Вильгельм Оранский
Виндельбандт В.
Винников И.Н.
Виноградов В.Б.
Вирт Г

Витенз Ф.
Витте С.Ю.
Вишневская Г.П.
Владимир Святославич (князь)
Владимир Андреевич Серпуховской (князь)
Владимир Всеволодович Мономах
Владимир Всеволож (князь)
Владимирцов Б.Я.
Владимов Г.Н.
Владислав (см. *Ягайло Ольгердович*)
Вова (Шакалик – см. *Смирновы*)
Вознесенский А.А.
Вознесенский Л.А.
Вознесенский Н.А.
Волобуев П.В.
Волуи (Волуй) Тимофей
Волчок Б.Я.
Вольпе Ц.С.
Вольтер (Ф.М. Аруэ)
Вольценбур О.Э.
Вонсовский С.В.
Воробьев М.В.
Воронович В.Н.
Воротынский М.
Ворошилов К.Е.
Вострасаблин А.П.
Врангель П.Н.
Вронский И.
Всеволожский В. (см. *Владимир Всеволож* (князь)
Всеволожский Д. (см. *Дмитрий Всеволож* (князь)
Высотская И.О.
Высотская Л.О.
Высотская О.Н.
Высотский Н.Н.
Высотский Н.О. (Коля)
Высотский О.Н.
Вяземский П.А.

Г

Гаген Т.
Гадло А.В.
Гаевский А.
Гаель А.Г.
Газданов Г. И.
Гай Марий
Гайдар А.П.
Гайтон Армянин
Гальковский Н.М.
Гальперина (Осмеркина) Е.К.
Ганелин Р.Ш.
Ганнибал
Ганибалова В.М.
Гаоцзун (см. *Ли Юань*)
Гаранин С.Н.
Гареев М.А.
Гаршин Вс. М.
Гафуров Б.Г.
Гегель Г.В.Ф.
Гедеминовичи
Гейне Г.
Геллнер Э.
Генон Р.
Генрих II (король)
Герасимов С.А.
Гельдерлин Ф. И.Х.
Геродот
Гёте И.В.
Гетти А.
Герцен А.И.
Герштейн Э.Г.
Гиббон Э.
Гильгамеш
Гильдебрандт-Арбенина О.Н.
Гинзбург Л.Я.
Гитлер А.
Глеб св. (князь)
Глебова Л.Н.
Глебова Т.Н.
Глекин Г.В.
Глен Н.Н.

Глоба П.П.
Глотов Н.В.
Гнучева В.В.
Гоголев А.И.
Гоголь Н.В.
Голб Н.
Голлербах Э.Ф.
Головачев В.Д.
Головникова О.В.
Гомер
Гончаров В.А.
Гор Г.
Гораций Квинт Флакк
Горбатов А.В.
Горбачев М.С.
Горбунов Н.П.
Гордон Д.И.
Гордон Л.С.
Гордон М.Л. (см. *Козырева М.Л.*)
Горемыкин И.Л.
Горенко А.Э.
Горенко И.Э.
Горловский С.С.
Горностаев И.И.
Грабовой Г.
Гранин Д.А.
Грацианский Н.П.
Грачева Т. В.
Гревс И.М.
Греков Б.П.
Григорьев В.А.
Григорьев В.В.
Григулевич И.Р
Гродецкий В.В.
Гросс П.О.
Грубиян М.М.
Грумм-Гржимайло А.Г
Грумм-Гржимайло Г.Е.
Груссе Р.
Грызлов Б.В.
Грюнведель А.
Грэхэм Л.
Губайловский В.А.
Гудаков В.В.

Гуков
Гуковский М.А.
Гумилев Д.С.
Гумилев Н.С.
Гумилев С.Я.
Гумилева (Фрейганг) А.А.
Гумилева (Львова) А.И.
Гумилева (Энгельгардт) А.Н.
Гумилева Е.Н.
Гумилева (Симоновская) Н.В.
Гурвич А.Г.
Гуревич А.Я.
Гус Ян
Гусинский В.А.
Гутнова Е.В.
Гуттенберг И.
Гуюк
Гюго В.

Д

Давиденков Н.С.
Давиденков С.Н.
Даниил Галицкий
Даниил (Данила, Данило) Московский
Даниил Пронский
Данилевский Н.Я.
Данлоп Д.М.
Данте Алигьери
Дашкова А.Д.
Девлет-Гирей
Дедков И.А.
Делла-Вос-Кардовская О.Л.
Дельбрюк М.
Демидова А.С.
Демин В.Н.
Деникин А.И.
Дерюжинская (см. *Гросс П.О.*)
Джамуха (Джамуга)
Джанибек
Джелальаддин
Джемаль Г.Д.
Джилас М.
Джованни (Иоанн) дель Плано Карпини
Джойс Дж.
Джучи
Дидро Д.
Диккенс Ч.
Дирак П-А.-М.
Дмитрий Александрович (князь)
Дмитрий Волынский-Боброк (князь)
Дмитрий Всеволож
Дмитрий Донской
Дмитрий Ольгердович
Дмитрий Шемяка
Дмитриев Л.А.
Дмитриев (военный юрист)
Днепров (см. *Лукьянов А.И.*)
Добиаш-Рождественская О.А.
Довмонт
Дорошин М.
Драгомиров А.М.

Дрезен А.К.
Дрейер О.К.
Дрейк Ф.
Дроздов О.А.
Дубельт Л.В.
Дубровская Н.
Дубровский С.М.
Дугин А.Г
Дудин М.А.
Думан Л.И.
Ду Фу
Дюгеклен (Дю Геклен) Б.
Дюдень
Дюма А.
Дьяконов И.М.
Дьяконов М.М.

Е

Евсеев Е.С.
Евтушенко Е.А.
Егоров В.
Едигей
Ежов Н.И.
Екатерина II Великая
Елена Ольгердовна
Енишерлов В.П.
Ерехович (Ерихович) Л.Д.
Ерехович (Ерихович) Н.П.
Ермак Тимофеевич
Ермолаев В.Ю.
Ермолаев М.М.
Ермолай Верейский
Есенин С.А.
Есугей-багатур
Ефремов Ю.К.

Ж

Жак де Моле
Жанна д'Арк
Жань Минь
Жданов А.А.
Жебелёв С.А.
Железов Ф.Л.
Жирмунский В.М.
Жолковский А.К.
Жуков Г.К.
Жуковский В.А.

З

Заболоцкий Н.А.
Завадовский М.М.
Завенягин А.П.
Загоскин Н.П.
Заднепровский Ю.А.
Зайдель Г.С.
Заковский Л.М.
Залыгин С.П.
Зарифуллин П.В.
Зеленев Е.И.
Зеленцова М.В.
Зелинский А.Н.
Зенина Л.В.
Зенкевич М.А.
Зенон
Зернова Р.А.
Зильберман (см. *Ардов В.Е.*) З
ильберт М.М.
Зильберштейн И.С.
Зимин А.А.
Зиновьев (Апфельбаум) Г.Е.
Знаменская М.Ф.
Золя Э.
Зомбарт В.
Зорин А.Н.
Зощенко М.М.
Зубков А.И.
Зубов М.
Зыков Л.А.

И

Иакинф (см. *Бичурин Н.Я.*)
Ибаррури Д.
Иби Бололюй (см. *Ирбис-Ышбара*)
Ибн-Хаукаль Абдул-Касим-Мухамед
Ибрагимбек
Иван I Калита
Иван III
Иван IV Грозный
Иван Федорович Белозерский
Иванов А.В.
Иванов Г.В.
Иванов В.Д.
Иванов К.П.
Иванов П.М.
Иванов С.
Ивочкина Н.В.
Игорь Святославич
Иисус Навин
Ильина Н.И.
Ильф (Файнзильберг) И.А.
Иловайский Д.И.
Иманов А.
Ингвар Путешественник
Иоанн Златоуст
Иоанн о. (Постников)
Иоанн (Снычёв И.М., митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский)
Иоанн Скот Эриугена
Иоанн Схоластик
Иоахим Флорский
Иосафат Барбаро
Иосиф (правитель Хазарии)
Иосиф Флавий
Ирбис Ышбара
Ириней Лионский
Истеми-хан
Итс Р.Ф.

К

Кавтарадзе Ю.
Каганович Л.М.
Каддафи-аль М.
Кадыров Р.А.
Казакевич Н.И.
Казаков В.
Казанин М.И.
Казанская Т.Б.
Казмичев Ю.М.
Калашников А.
Калесник С.В.
Калугин О.
Кальвин Ж.
Кальченко (Рябой)
Каменев (Розенфельд) Л.Б.
Каминская А.Г.
Кандзо Наруми
Кант И.
Канчуков Е.
Капур Радж
Карамзин Н.М.
Каргалов В.В.
Карл V Габсбург
Карл VI Безумный
Карл Великий
Карл V Мудрый
Карл III Толстый
Карне М.
Карсавин Л.П.
Касаткина Л.И.
Касьянов М.И.
Кастрен М.
Кастро Ф.
Катаев В.П.
Катилина Луций Сергий
Кауфман К.П.
Кафка Ф.
Кацкель С.Д.
Кацнельсон И.С.
Кацнельсон С.Д.
Квинт Фабий Максим

Кедров Б.М.
Кейюа
Керкис Ю.Я.
Кёстлер А.
Кирилл (епископ)
Киров С.М.
Кирсанов С.И. (поэт)
Кирсанов (учитель из Бежецка)
Кит-Буга-нойон
Клава (повариха)
Клевлеев А.
Клейн Л.С.
Климент Александрийский
Климин Ф.А.
Клычков С.А.
Ключевский В.О.
Кляшторный С.Г
Ковалев С.И.
Коваленко М.И.
Коваленко С.А.
Ковальченко И.Д.
Коган
Кожин Ю.Ф.
Кожинов В.В.
Козин С.А.
Козлов А.А.
Козлов В.И.
Козырев А.А.
Козырев А.Н.
Козырев К.А.
Козырев Н.А.
Козырева М.Г.
Козырева (Гордон) М.Л.
Коковцев П.К.
Колбин Г. В.
Колесов Ф.И.
Колоколов Вс. С.
Колотило Л.Г
Колумб Христофор
Коля Чуковский (см. *Чуковский Н.К.*)
Кон И.С.
Конан Дойл А.
Кондаков Н.П.
Конев И.С.

Кони А.Ф.
Кононов А.Н.
Конрад Н.И.
Конт О.
Конюхова Т.Г
Кордье А.
Коркин П.А.
Корнатовский Н.А.
Корнилов Л.Г
Королев С.П.
Коротич В.А.
Кортес Эрнан
Корчной В.Л.
Косминский Е.А.
Косолапов Р. И.
Костомаров Н.И.
Котовский Г.Г.
Кочетов Вс. А.
Кошелев В.А.
Кралин М.М.
Красильников В.Н.
Красс Марк
Крачковский И.Ю.
Краюхин С.
Кристи Агата (Маллоуэн А.М.К.)
Кроль Ю.Л.
Кромвель Оливер
Кротов Я.
Крывелев И.А.
Крылов И.А.
Крымский А.Е.
Крюкова Т.А.
Крючков В.А. (КГБ)
Крючков (нотариус)
Ксенофонт
Кудрова И.В.
Кузин Б.С.
Кузмин М.А.
Кузнецов А.А.
Кузнецов Б.И.
Кузьмин А.Г
Кузьмин-Караваев С.А.
Кузьмина-Караваева К.Ф. (см. *Лампе К.Ф.*)
Кузьмины-Караваевы

Кук Дж.
Кунаев Д.А.
Кунин В.В.
Купер Дж.Ф.
Курбский Андрей
Куренной В.Н.
Курет-эль Айн
Куркчи А.И.
Кутуз
Кучум
Кычанов Е.И.
Кюнер Н.В.
Кюстин А. де

Л

Лавр Георгиевич (см. *Корнилов Л.Г.*)
Лавров С.Б.
Лазуркин М.С.
Лазуркина Д.А.
Лампе К.Ф.
Лаппо-Данилевский А.С.
Лара (см. *Высотская Л.О.*)
Ларюэль М.
Ласкина Е.С.
Ле Руа Ладюри Э.
Лебедь А.И.
Лев св. (епископ Катанский)
Лев св. (папа Римский)
Левинсон А.Г. (см. *Левинтон А.Г.*)
Левинтон А.Г
Лелевич Г. (Калмансон Л.Г.)
Лем С.
Леметр Ж.
Лендвай З.Н.
Леонардо да Винчи
Леонтьев К.Н.
Лермонтов М.Ю.
Лесгафт П.Ф.
Лесков Н.С.
Ливий Тит
Лимонов Э.В.
Лина Самойловна (см. *Финкельштейн Л.С.*)
Липкин С.И.
Лихачев Д.С.
Лихачева В.Д.
Ли Ши-минь
Ли Юань
Лобашев М.Е.
Лозинский М.Л.
Ломакина И.
Ломоносов М.В.
Лонжюмо Андре
Лондон Дж.
Лосев А.Ф.
Луговской В.А.
Лукницкая В.К.

Лукницкий П.Н.
Лукьянов А.И.
Луначарский А.В.
Лурье С.Я.
Лурье Я.С.
Лысов В.
Львов Л.В.
Львов Л.И.
Львова А.И. (см. *Гумилева А.И.*)
Львова А. (Агата) И.
Львова В. (Варвара) И.
Львовы
Льюис Дж.
Любимова А.В.
Люблинская А.Д.
Люблинский В.С.
Лю-Мао-цзай
Люсаныч
Лютер Мартин
Лю Юань

М

Мавлоно-чорки
Мавродин В.В.
Мазон А.
Майков А.Н.
Майн Рид
Маканин В.С.
Макаров Ю.В.
Макарова А.Б.
Макарова В.Г
Макашов А.М.
Макиндер Х.Дж.
Маковский С.К.
Макутынович Б.Л.
Маленков Г.М.
Малиновский А.А.
Малов С.Е.
Малышев В.А.
Мамай
Мамлеев Ю.В.
Мандельштам Е.Э.
Мандельштам Н.Я.
Мандельштам О.Э.
Мани
Мануйлов В.А.
Марий Гай
Мария Стюарт
Марина (см. *Чуковская М.Н.*)
Маркион
Маркс К.
Марр Н.Я.
Мартэн А.
Марченко А.М.
Маслов В.А.
Маслова Е.В.
Масси А.
Матвеева А.М.
Матусевич
Махаев В.Н.
Махди
Махнач В.Л.
Машбиц Я.Г.

Маяковский В.В.
Медведев Ф.Н.
Медведева И.Н. (см. *Томашевская И.Н.*)
Мелик (Милюк) Семен
Мельникова С.А.
Мельникова Т.А.
Менгу-Тимур
Менделеев Д.И.
Меньшиков Л.Н.
Меркулов И.Н.
Меркурьев С.П.
Меркурьева В.А.
Мещанинов И.И.
Мизун Ю.В.
Мизун Ю.Г
Миклухо-Маклай Н.Н.
Микоян А.И.
Микула Васильевич
Милашевский В.
Милашов С.С.
Милюк (князь)
Милюков Я.И.
Милюкова А.И.
Минаева Н.
Миндовг
Минин Козьма
Миронов А.
Митрохин Н.А.
Михаил Пермский (князь)
Михайло Иванович Окинфович (Акинфович)
Михалковы
Мичурин В.А.
Млынек Ч.Г
Модильяни А.
Моисей (библ.)
Молотов В.М.
Моммзен Т
Морган Г
Морозова О.
Морозовъ Лев
Москвин Н. (Колька)
Моянчур Гэле-хан
Мстислав Черниговский
Мстиславский Иван

Мумма (см. *Варбанец Н.В.*)
Мункуев Н.Ц.
Мункэ
Муран А.(Ефимов И.)
Мурзаев Э.М.
Мурсалиев А.
Муссолини Б.
Мухаммад (Мухаммед, Мохаммед, Магомет)
Мухаммед Гази
Мухули
Муюн Цзюнь
Мыльников А.С.
Мюллер А.
Мюссе А.

Н

Набоков В.В.
Назарбаев Н.А.
Найман А.Г
Наймарк Е.
Наполеон I Бонапарт
Наппельбаум И.М.
Нарбут В.И.
Насонов А.Н.
Неведомская В.А.
Невзоров А.Г.
Неврюй
Некрич А.М.
Немилова И.С.
Нессельроде К.В.
Нестеренко В.
Нестор
Нефедов С.А.
Нехотин В.В.
Никитин А.Г.
Николай св. Мирликийский
Николай Иванович (милиционер)
Ницше Ф.В.
Новикова О.Г.
Новосельцев А.П.
Нострадамус Мишель
Нора
Нурмаганбетов С.Б.
Ньютон И.

О

Оболенские
Огрызко В.В.
Одоевцева (Гейнике И.Г.) И.В.
Озеров Ю.Н.
Окладников А.П.
Оксман Ю.Г
Олег Святославич (князь)
Олейников Н.М.
Олеша Ю.К.
Ольгерд
Ольденбург С.Ф.
Ольшевская Н.А.
Орбели И.А.
Орлов А.М.
Орлов В.Н.
Орлов (военюрист)
Осенев (см. *Лукьянов А.И.*)
Осипов В.Н.
Осмеркин А.А.
Островская С.К.
Островский А.Н.
Очирын Намсрайжав

П

Павел (апостол)
Павел (сосед)
Павликов Л.К.
Павлов В.А. (художник)
Павлов В.А. (соавтор книги «Зарождение пассионарной России»)
Павлов И.П.
Павлов-Сильванский Н.П.
Павловский Е.Н.
Паин Э.А.
Палицын Н.
Панарин С.А.
Панкратов Б.И.
Панов Я.Ф.
Панфилова М.
Панченко А.М.
Паршина (Курочкина) А.В.
Пастернак Б.Л.
Пахомий о.
Паттон Дж.
Певзнер С.Б.
Педди-Кабецкая (см. *Гросс П.О.*)
Пелагий
Перепелкин Ю.Я.
Пересвет Александр
Переслегин А.Н.
Перикл
Перовская С.Л.
Перхорович Ф.И.
Петр I Великий
Петр Ордынский
Петрарка Ф.
Петрик В.И.
Петров В.Н.
Петров (Катаев) Е.П.
Петров М.П.
Петрова-Коршунова О.П.
Петровых М.С.
Петрухин В.Я.
Петрушевский И.П.
Пелльо П.

Петрянов-Соколов И.В.
Печковский Н.К.
Пигулевская Н.В.
Пикуль В.С.
Пильняк (Вогау) Б.А.
Пинкус Е.М.
Платон
Платонов А.П.
Платонов С.Ф. (академик)
Плетнева С.А.
Плеханов Г. В.
Плутарх
Подольский И.И.
Пожарский Д.М.
Поздеева Л.Д.
Позднякова Т.
Покровский М.Н.
Покшишевский В.В.
Полибий
Поликарп св.
Смирнский
Полозкова В.
Полушин В.Л.
Полушин Д.В.
Поляков И.В.
Поляков Ю.А.
Померанц Г. С.
Поппе А.
Поппе Н.Н.
Поспелов П.Н.
Постников И.Н. (см. *Иоанн о.(Постников*)
Правдухин В.П.
Прево д'Экзиль А.Ф.
Привалова Н.И.
Примаков Е.М.
Примеров Б.Т.
Приселков М.Д.
Прокопий Кесарийский
Пропп В.Я.
Проханов А.А.
Прохоров Г.М.
Прохорова И.М.
Пруст М.
Пумпянский Л.В.

Пунин А.Н.
Пунин Н.Н.
Пунина И.Н.
Путин В.В.
Пучков П.И.
Пучковский Я.
Пушкин А.С.
Пюрвеев Д.Б.
Пяст В.А.

Р

Радзишевский В.
Разин Степан Тимофеевич
Раиса (соседка Гумилева)
Рамолино Л.
Раневская Ф.Г
Ранке фон Л.
Раньо Неро
Распутин В.Г
Распэ Р.Э.
Рассел Б.
Рашид-ад-Дин
Резин М.
Рейхман Е.
Ремарк Э.М.
Репин И.Е.
Рерих Н.К.
Рерих Ю.Н.
Реформатский А.А.
Ржевская Е.М.
Риббентроп И.
Риккерт Г.
Ринчен Бямбын (Ринчен Бимбаев)
Рифтин А.П.
Ричард I Львиное Сердце
Рогачевский А.
Родзевич К.
Роман Лакапин
Романов Б.А.
Романов Н.А. (император Николай II)
Роскина Н.А.
Россет (Смирнова) А.О.
Ростовцев М. И.
Ростропович М.Л.
Рохлин Л.Я.
Рубинштейн Р.А.
Рудаков Б.С.
Руденко Р.А.
Руденко С.И.
Руднев Л.В.
Рудой В.И.
Рузвельт Ф.Д.

Русецкий Г.
Руссет О.П.
Руська (кошка)
Рыбаков А.Н.
Рыбаков Б.А.
Рыскулов Т.Р
Рязанов Э.А.

С

Сабиров А.
Савицкий И.П.
Савицкий П.Н.
Савкин И.
Савченко А.Ф.
Садовский В.Н.
Садулаев Г.У.
Сайфуллин Р.Г
Саканян Е.С.
Салтанов
Самойлов Д.С.
Сарнов Б.М.
Сартак
Саушкин Ю.Г.
Сверчков Н.Л.
Сверчкова (Гумилева) А.С. (тетя Шура, тетя Хуха)
Сверчкова М.Л. (Маруся)
Святополк Изяславич
Святополк-Мирский Д.П.
Святополк Окаянный
Святослав Ярославич
Севастьянов А.Н.
Седов В.В.
Седов Л.Л. (Лёва Седов)
Сеземан Д.В.
Сеид-Алимхан
Сейфуллина Л.Н. Селевк Никатор Селье Г
Семен Михайлович (боярин)
Семанов С.Н.
Семевский Б.Н.
Семиз Д.
Сенчин Р.В.
Сервантес Сааведра Мигель де
Сергеев В.С.
Сергеев С.М.
Сергий Радонежский
Серпинский С.С.
Сеславина Е.
Сидорова Н.А.
Сикейрос А. Х.Д.
Симонов К.М.

Симоновская Н.В. (см. *Гумилева Н.В.*)
Скляров Ю.А.
Скобелев М.Д.
Сладкевич Н.Г
Смеляков Я.
Смирнов Вс. П.
Смирнов Е.
Смирнов Н.Н.
Смирновы
Снегов С.А. (см. *Штейн С.А.*)
Соболев
Собольщиков В.И.
Собчак А.А.
Соколова Н.
Солженицын А.И.
Соловей В.Д.
Соловьев В.С.
Соловьев С.М.
Софронов А.В.
Срезневская (Тюльпанова) В.С.
Ставиский Б.Я.
Сталин И.В.
Станюкович Т.
Станюковичи
Старовойтова Г. В.
Старостин П.Н.
Старынкевич (см. *Гросс П.О.*)
Стеклянникова Л.Д.
Стивенсон Р.-Л.
Степанов (подполковник госбезопасности)
Столыпин П.А.
Столяр А.П.
Струве В.В.
Струве П.Б.
Стругацкие
Субудай-багатур
Суворов А.В.
Суворов В. (Резун В.Б.)
Суворов Вл.
Сувчинский П.П.
Сулейменов О.О.
Сулла Луций Корнелий
Сурков А.А.
Сусленко В.К.

Сципион Публий Корнелий
Сыджабгухан (см. *Ирбис-Ышбара*)
Сыма Цянь (Сымацянь)
Сышехукэхань (см. *Ирбис-Ышбара*)

Т

Тайцзун (см. *Ли Ши-минь*)
Тамерлан (Тимур)
Тап (собака)
Тарасов Б.П.
Тарковский А.А.
Тарле Е.В.
Тархова Н.С.
Татьяна (см. *Крюкова Т.А.*)
Тахтамиръ (царевич)
Твардовский А.Т.
Телебуга (Тула-Буга)
Телидэли (см. *Ирбис-Ышбара*)
Теодорих (король)
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс
Тимирязев К.А.
Тимофеев-Ресовский Н.В.
Тимофеева О.Б.
Тимошенко С.К.
Тириар Ж.
Тито (Броз) И.
Тишков В.А.
Тоба Гуй
Тоба-Хун II
Тойнби А.
Токугава
Толистегин (см. *Ирбис-Ышбара*)
Толль Н.П.
Толочко П.П.
Толстая С.А.
Толстов С.П.
Толстой А.Н.
Толстой Л.Н.
Толстой Н.А.
Толстой Ю.К.
Томашевская (Медведева) И.Н.
Тоньюкук
Топоров В.Л.
Топоров В.Н.
Тохта (хан)
Тохтамыш (хан)
Трешников А.Ф.

Трифонов Ю.В.
Троцкий (Бронштейн) Л.Д.
Трубецкой Н.С.
Трумэн Г
Трухановский В.Г
Трушнович А.Р
Туда-Менгу
Тумповская М.М.
Тураев Б.А.
Туракина
Тургенев И.С.
Тынянов Ю.Н.
Тьерри О.
Тюрин А.
Тютчев Ф.И.
Тэйлор (Тейлор, Тайлор) Э.Б.
Тэмуджин
Тэтчер М.

У

Уайльд О.
Уайт Х.
Удальцов А.Д.
Удальцова З.В.
Угедей (Угэдей)
Узбек
Урбан II
Успенский Д.Г.
Устинов Д.Ф.
Устрялов Н.В.
Уэллс Г.Дж.

Ф

Фабий Максим (см. *Квинт Фабий Максим*)
Фадеев А.А.
Фалес Милетский
Фанфурин Г.А.
Федермессер И.Я.
Федор Романович Белозерский
Федор Ярунович (боярин)
Федоров Н.Ф.
Федоров (есаул)
Федосеев П.Н.
Федотыч (шофер)
Фейнберг И.Л.
Феогнид Мегарский
Ферсман А.Е.
Фет (Шеншин) А.А.
Филимонов (следователь)
Филипп II Август
Филипп II Габсбург
Филипп IV Красивый
Филиппов С.Н.
Филонов П.Н.
Финкельштейн Л.С.
Финкельштейн С.М.
Фирдоуси
Фихте И.Г
Флейшман Д.
Флоренский П.А.
Флоровский Г.В.
Фомина Л.
Фомин С.В.
Франко И.Я.
Франс А.Ф.
Фрейд З.
Фрейман А.А.
Френкель Н.А.
Фридман А.А.
Фриновский М.П.
Фроловская Т. Л.
Фроянов И.Я.
Фрумкин К.Г
Фу Цзянь (Фу Цзянь II)

Фукс М.Б.
Фукуяма Ф.
Фэн

Ц

Цветаева М.И.
Цезарь Гай Юлий
Цезарь (см. *Вольпе Ц.С.*)
Цзинь Чжун
Цзун Ай
Цзян Тун
Цицерон Марк Тулий
Циолковский К.Э.

Х

Хаббл Э.
Хазин Е.Я.
Хазина Н.Я. (см. *Мандельштам Н.Я.*)
Халилуллов Г.
Халтурин С.
Хаммурапи
Ханна Дж. Г.
Хантингтон С.
Хара-Даван Э.
Харальд (Харольд) Саксонский
Харджиев Н.И.
Хасдай ибн Шапрут (Хисдай ибн Шафрут)
Хаукаль ибн (см. Ибн-Хаукаль Абдул-Касим-Мухамед)
Хаусхофер К.
Хван М.Ф.
Хейердал Т
Хёйзинга Й.
Херувимова (Херувимова-Лапина, Вигдорчик) Е.Г.
Хийшалов А.
Хмельницкий Богдан
Хобсбаум Э.
Ходасевич В.Ф.
Холодковский В.
Хомяков А.С.
Хрущев Н.С.
Хубилайбуху
Хулагу

Ч

Чаадаев П.Я.
Чагатай (хан)
Чарыков Н.В.
Че Гевара
Чегодаева А.Я.
Чегодаевы
Чейз Дж.Х.
Чемерисская М.И.
Черемных М.
Черепнин Л.В.
Чернова Е.Б.
Черных В.А.
Черняев М.Г
Чернышевский Н.Г.
Черчилль Р.
Черчилль У.
Чехов А.П.
Чивилихин А.Т.
Чивилихин В.А.
Чингисхан (Чингис-хан, Чингиз-хан)
Чижевский А.Л.
Чистобаев А.И.
Чистов К.В.
Чолхан
Чуковская Л.К.
Чуковская М.Н.
Чуковский К.И.
Чуковский Н.К.
Чулкова Н.Г.

Ш

Шабада А.В.
Шабанов И.В.
Шаванн Э.-Э.
Шаламов В.Т.
Шафаревич И.Р.
Шевкал (см. *Чол-хан*)
Шварцер
Шекспир У.
Шемарин А.Г.
Шемякин А.Л.
Шенгели Г.А.
Шенталинский В.А.
Шервинский В.Д.
Шервинский С.В.
Шереметев Иван
Шестов Л.И.
Ши Суй
Шикин В.
Шилейко В.К.
Шиллер Ф.
Шимон Африканович
Широкогоров С.М.
Шишкин И.Б.
Шишкин И.И.
Шишкин И.С.
Шкаратан О.И.
Шкловский В.Б.
Шкловская-Корди В.Г.
Шмидт К. (см. *Штирнер М.*)
Шмитт К.
Шнирельман В.А.
Шнитников А.В.
Шноль С.Э.
Шолохов М.А.
Шопенгауэр А.
Шпенглер О.
Шрёдер Г.
Штейн В.М.
Штейн С.А.
Штемпель Н.Е.
Штернберг Л.Я.

Штирнер М.
Штишевский И.
Штром
Штукатуров В.П. Шубинский В.И. Шумилов Н.В. Шумовский Т.А.

Щ

Щелкан Дюдентьевич (см. *Чолхан*)
Щукина Л.

Э

Эберман В.А.
Эвола Ю.
Эйнштейн А.
Элез А.Й.
Эльзон М.Д.
Энгельгардт (см. *Гумилева А.Н.*)
Энгельс Ф.
Эпикур
Эрдели И.
Эренбург И.Г
Эрдэмто Рыгдылон
Эригена (см. *Иоанн Скот Эриугена*)
Эфрон А.С.
Эфрон С.Я.

Ю

Югурта
Юдин Э.Г
Юдина М.В.
Юй Лян
Юнгер Э.
Юрий Данилович
Юрий Федорович (князь)
Юркун (Юркунас) Ю.И.
Юстин (Иустин)
Юсупов Ф.Ф.

Я

Яблоков А.В.
Ягайло Ольгердович
Ягода Г. Г
Якобсон
Яковлев А.Н.
Якубовский А.Ю.
Ямщиков С.В.
Янин В.Л.
Янов А.Л.
Яншин А.Л.
Ярослав Всеволодович
Ярослав Мудрый
Ярослав Ярославич
Ясенский Б. (В.Я.)
Ясинский И.И.
Ясперс К.
Яшка (собака)

Библиография

Неопубликованные документы и письма

1.[Зачетная книжка] студента исторического факультета Ленинградского государственного университета им. Бубнова Гумилева Л.Н. // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

2. Отзыв [на работу рядового Гумилева Л.Н. по вопросам тактики на материале истории воинской части Полевая почта 26047] 28 октября 1945 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

3. Характеристика на старшего научного сотрудника НИГЭИ ЛГУ Гумилева Льва Николаевича // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

4. Письмо Л.А. Аннинского Л.Н. Гумилеву. 25 мая 1977 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

5. Письмо Л.А. Аннинского Л.Н. Гумилеву. 1 января 1988 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

6. Письмо Е.И. Бычкова Л.Н. Гумилеву. 1988 год // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

7. Письмо Э.Г. Герштейн Л.Н. Гумилеву. 12 февраля 1980 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

8. Письмо Н.В. Глотова Л.Н. Гумилеву. 13 августа 1968 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

9. Письмо Н.В. Глотова Л.Н. Гумилеву. 20 октября 1968 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

10. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 11 февраля 1956 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

11. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 1 марта 1956 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

12. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 1 июля 1966 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

13. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 17 октября 1966 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

14. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 2 февраля 1967 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

15. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 21 июня 1967 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

16. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 1 марта 1976 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

17. Письмо Л.Н. Гумилева Э.Г. Герштейн. 13 октября 1987

года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
18. Письмо Ю.Я. Керкиса Л.Н. Гумилеву. 29 декабря 1976 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
19. Письмо С.А. Кузьмина-Караваева Л.Н. Гумилеву. 8 августа 1975 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
20. Письмо З.Н. Лендвая Л.Н. Гумилеву.[без даты] // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
21. Письмо Н.Я. Мандельштам Л.Н. Гумилеву. 1966 год. // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
22. Письмо Н.Я. Мандельштам Л.Н. Гумилеву. 27 января 1968 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
23. Письмо Н.Я. Мандельштам Л.Н. Гумилеву. 27 мая 1980 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
24. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 30 апреля 1967 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
25. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 22 января 1968 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
26. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 23 февраля 1968 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
27. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 18 августа 1971 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
28. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 23 марта 1972 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
29. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 5 апреля 1974 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
30. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 30 сентября 1974 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
31. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 3 декабря 1975 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
32. Письмо Б. Ринчена Л.Н. Гумилеву. 10 декабря 1976 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
33. Письмо И.П. Савицкого Л.Н. Гумилеву. 23 ноября 1970 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
34. Письмо М.Б. Фукса Л.Н. Гумилеву. 3 мая 1991 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
35. Письмо М.Ф. Хвана Л.Н. Гумилеву. 9 мая 1962 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
36. Письмо М.Ф. Хвана Л.Н. Гумилеву. 4 апреля 1966 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
37. Письмо М.Ф. Хвана Т.А. Крюковой. 6 января 1968 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
38. Письмо И.Б. Шишкина Л.Н. Гумилеву. 7 февраля 1969 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.
39. Письмо И.Б. Шишкина Л.Н. Гумилеву. 16 февраля 1973

года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

40. Письмо И.Б. Шишкина Л.Н. Гумилеву. 2 января 1974 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

41. Письмо И.Б. Шишкина Л.Н. Гумилеву. 16 января 1974 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

42. Письмо А.Л. Яншина Л.Н. Гумилеву. 7 марта 1990 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

43. Письмо из журнала «Природа» Л.Н. Гумилеву. 2 апреля 1982 года // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

44. Поздравительные открытки митрополита Ленинградского и Новгородского Антония // Музей Ахматовой. Документы и автографы. Фонд 21.

Сочинения Л.Н. Гумилева

45. Гумилев Л.Н. Автобиография. Воспоминания о родителях // Лев Гумилев: Судьба и идеи. М.: Айрис-Пресс, 2008. С. 7—16.

46. Гумилев Л.Н. Автонекролог // Лев Гумилев: Судьба и идеи. М.: Айрис-Пресс, 2008. С. 17-36.

47. Гумилев Л.Н. Апокрифический диалог // Нева. 1988. № 3. С.

201—207.

48. Гумилев Л.Н. Биосфера и импульсы сознания // Природа. 1978. № 12. С. 97—105.

49. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб.: Абрис, 1994.

50. Гумилев Л.Н. Где же тогда Семендер? // История СССР. 1969. № 3. С. 242-243.

51. Гумилев Л.Н. Год рождения 1380 //Декоративное искусство. 1980. № 12. С. 3435.

52. Гумилев Л.Н. «Дар слов мне был обещан от природы»[

Полное собрание художественного творческого наследия / вступ. статья, подгот. текста и коммент. М.Г. Козыревой и В.Н. Вороновича. СПб.: Росток, 2004.

53. Гумилев Л.Н. Довоенный Норильск // Вспоминая Л.Н. Гумилева. Воспоминания. Публикации. Исследования. СПб.: Росток, 2003.

54. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М.: Комаров, Клышников и К, 1993.

55. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1993.

56. Гумилев Л.Н. Закон Божий: Начальные сведения для младшего возраста / предисл. Л.Н. Гумилева. Л.: Худож. лит.,

1990.

57. Гумилев Л.Н. Из истории Евразии. М.: Экопрос, 1993.

58. Гумилев Л.Н.Историкофилософские труды князя Н.С. Трубецкого (заметки последнего евразийца) // Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс: Универс, 1995. С. 31-54.

59. Гумилев Л.Н. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? // Русская литература. 1972. № 1. С. 73-82.

60. Гумилев Л.Н., Кузнецов Б.И. Опыт разбора тибетской пиктографии // Декоративное искусство. 1972. № 5. С. 26-31.

61. Гумилев Л.Н. От истории людей к истории природы // Природа. 1971. № 11. С. 117-118. Рец. на кн.: Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года: пер. с франц. Л.: Гидрометеоиздат, 1970.

62. Гумилев Л.Н. От Руси до России. СПб.: ЮНА, 1992.

63. Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. М.: Айрис-Пресс, 2009.

64. Гумилев Л.Н. С точки зрения Клио // Дружба народов. 1977. № 2. С. 247-262.

65.. Гумилев Л.Н.[Рецензия] // Народы Азии и Африки. 1965. № 6. С. 178-179. Рец. на кн.: Кляшторный С.Г.Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М.: Наука, 1964.

66. Гумилев Л.Н.Старобурятская живопись. Исторические сюжеты в иконографии Агинского дацана. М.: Искусство, 1975.

67. Гумилев Л.Н. Статуэтки воинов из Туюк-Мазара // Сборник Музея антропологии и этнографии. М. — Л., 1949. Т. XII. С. 232-253.

68. Гумилев Л.Н. Струна истории. Лекции по этнологии / сост., предисл. и коммент. О.Г. Новиковой. М.: Айрис-Пресс, 2008.

69. Гумилев Л.Н.Хунну. Хунны в Китае. М.: Айрис-Пресс, 2008.

70. Гумилев Л.Н. Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-Пресс, 2007.

71. Гумилев Л.Н., Куркчи АИ.Черная легенда (историкопсихологиче ский этюд) // Хазар. 1989. № 1, 2.

72. Гумилев Л.Н., Панченко А.МЧтобы свеча не погасла. Диалог. Л.: Советский писатель, 1990.

73. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: ДИДИК, 1997.

74. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Айрис-Пресс, 2004.

75. Гумилев Л.Н.Этносфера: история людей и история природы. М.: Экопрос, 1993.

76. Гумилев Л.Н. Эхо Куликовской битвы // Огонек. 1980.

№ 36. С. 16-17.

Интервью Л.Н. Гумилева

77. Гумилев Л.Н. В Горбачеве я вижу Августа[Электронный ресурс] / беседу ведет Сергей Краюхин // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. 1991. URL: http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article71.htm.

78. Гумилев Л.Н. Всем нам завещана Россия / беседу ведет майор В. Казаков // Красная звезда. 1989. 21 сентября. С. 4.

79. Гумилев Л.Н. Законы времени / беседу ведет Е. Канчукова // Литературное обозрение. 1990. № 3. С. 3-9.

80. Гумилев Л.Н. Имя собственное / беседу ведет В. Шикин // Природа и человек. 1988. № 9. С. 47-48.

81. Гумилев Л.Н.[Беседа Л.Н. Гумилева с В.К. Сусленко] [Электронный ресурс] / беседу ведет В.К. Сусленко // Жизнь и творческое наследие Л.Н. Гумилева. 1991. URL: http://levgumilev.spbu.ru/node/263 (дата обращения 10.01.2012).

82. Гумилев Л.Н. Искать то, что верно / беседу ведет В. Огрызко // Советская литература. 1990. № 1. С. 72-76.

83. Гумилев Л.Н. История – наука естественная, или Визит к профессору Гумилеву / беседу ведет Вл. Суворов // Сельская молодежь. 1988. № 2. С. 44-49.

84. Гумилев Л.Н. История требует справедливости… / беседу ведет Л. Букина // Книга Монголии. Альманах библиофила. Вып. 24. М., 1988. С. 341-351.

85. Гумилев Л.Н. К мрачным типам себя не отношу [Электронный ресурс] / беседу ведет спец. корр. журнала «Чаян» Г. Халилуллов // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/articles/Article35.htm (дата обращения 15.01.2011).

86. Гумилев Л.Н. Мы абсолютно самобытны… / беседу ведет В. Лысов // Невское время. 1992. 12 августа.

87. Гумилев Л.Н. Мы живем в большой коммунальной квартире / беседу ведет Н. Дубровская // Неделя. 1991. № 6. С. 10-11.

88. Гумилев Л.Н. Негасимые костры / беседу ведет В. Нестеренко // Ленинградский рабочий. 1988. 14 марта.

89. Гумилев Л.Н. Никакой мистики // Юность. 1990. № 2. С. 2-6.

90. Гумилев Л.Н. О людях, на нас не похожих / беседу ведет Елена Се славина // Советская культура. 1988. 15 сентября. С. 6.

91. Гумилев Л.Н. Прародина якутов. Где она? / беседу ведет Август Му ран (Иван Ефимов) // Молодежь Якутии. 1989. 30 марта.

92. Гумилев Л.Н. Скажу вам по секрету, что если Россия будет

спасена, то только как евразийская держава / беседу ведет И. Савкин // Социум. 1992. № 5.

93. Гумилев Л.Н. Чего стоит мудрость? / беседу ведет Т. Гаген // Ленинградский университет. 1987. 20 ноября.

94. Гумилев Л.Н. Чтобы свеча не погасла / беседу ведет Л. Фомина // Московская правда. 1990. 24 мая.

Письма. Мемуары. Дневники. Опубликованные документы

95. А.А. Ахматова в письмах к Харджиеву (1930—1960е гг.) / вступ. статья, публ. и коммент. Э. Бабаева // Вопросы литературы. 1989. № 6. С. 214-247.

96. Анна Ахматова в записях Дувакина. М.: Наталис, 1999.

97. Ардов М. Довески // Новый мир. 2010. № 8. С. 84—141.

98. Ардов МЛегендарная Ордынка. Портреты. М.: Б.С.Г. — Пресс, 2001.

99. Ахматова А.А. Собрание сочинений: в6 т. М.: Эллис Лак, 2000-2001. Т. 5.

100. Ахметшин Ш.К. Лев Николаевич Гумилев. СПб.: Славия, 2011.

101. Бернштейн Б. О Пунине. Взгляд из аудитории [Электронный ресурс] // Альманах Портфолио. URL: http://www.portfolio.org/ (дата обращения 01.03.2011)

102. Воспоминания о Ю. Олеше. М.: Советский писатель, 1975.

103. Вспоминая Ахматову. Иосиф Бродский – Соломон Волков. Диалоги. М.: Независимая газета, 1992.

104. Вспоминая Л.Н. Гумилева: Воспоминания. Публикации. Исследования. СПб.: Росток, 2003.

105. Ганелин Р.Ш. В.В. Мавродин и истфак: отрывочные воспоминания // Мавродинские чтения. 2008. Петербургская школа и российская историческая наука: дискуссионные вопросы истории историографии, источниковедения: материалы Всероссийской конференции, посвященной 100летию со дня рождения профессора Владимира Васильевича Мавродина. СПб., 2009.

106. Герштейн Э.Г.Из записок об Анне Ахматовой / публ., предисл. и прим. С.А. Надеева // Знамя. 2009. № 1. С. 147-170.

107. Герштейн Э.Г.Мемуары. СПб.: Инапресс, 1998.

108. Герштейн Э.Г.Мемуары. М.: Захаров, 2002.

109. Герштейн Э.Г. Мемуары и факты: Об освобождении Льва Гумилева // Горизонт. 1989. № 6. С. 55-64.

110. Герштейн Э.Г. Тридцатые годы // Воспоминания об Анне

Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991.

111. Гильдебрандт-Арбенина О. Гумилев [Электронный ресурс] // Николай Гумилев. Электронное собрание сочинений. URL: http://gumilev.ru/biography/90/ (дата обращения 10.07.2011)

112. Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство, 2002.

113. Гитович С. Об Анне Андреевне // Об Анне Ахматовой: стихи, эссе, воспоминания, письма / сост. М.М. Кралин. Л.: Лениздат, 1990. С. 330-356.

114. Глёкин Г. Встречи с Ахматовой (Из дневниковых записей 1959-1966 годов) // Вопросы литературы. 1997. № 2. С. 302-323.

115. Глен Н. Вокруг старых записей // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991. С. 627-639.

116. Гранин Д. Листопад // Звезда. 2008. № 1. С. 49-86.

117. Гумилев Л.Н. Тридцать писем Васе. 1949-1956 гг. / публ. Г.М. Прохорова // Мера. 1994. № 4(6). С. 112-143.

118. Гумилева Н.В. Воспоминания // Лев Гумилев: Судьба и идеи. М. Айрис-Пресс, 2008. С. 457-485.

119. Гумилева Н.В. Документы // Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: ДИ – ДИК, 1997. С. 615-618.

120. Гуревич А.Я. История историка. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.

121. Дедков И.Дневник. 1953-1994. М.: Прогресс-Плеяда, 2005.

122. Демидова А. Заполняя паузу. М.: Зебра Е, 2007.

123. Дервиз Т. Рядом с большой историей. Очерки частной жизни середины XX века // Звезда. 2008. № 9. С. 75-93; № 10. С. 70-88; 2009. № 3. С. 138-148.

124. Дьяконов И.М. Книга воспоминаний. СПб., 1995.

125. «Живя в чужих словах чужого дня…»: воспоминания [о Л.Н.Гумилеве]. СПб.: Росток, 2006.

126. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления: в 3 т. М.: Новости, 1992. Т. 1-3.

127. Зернова Р. На море и обратно. Иерусалим, 1998.

128. «И зачем нужно было столько лгать?»: Письма Льва Гумилева к Наталье Варбанец из лагеря: 1950-1956. СПб.: Агат, 2005.

129. Ильина Н. Анна Ахматова, какой я ее видела // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991. С. 569-594.

130. Калугин О. Дело КГБ на Анну Ахматову // Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М.: Рудоми но, 1994. С. 72-79.

131. Кон И. Эпоху не выбирают. Автобиографические заметки

[Электронный ресурс] // University of Nevada Las Vegas: Center for Democratic Culture. URL: http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Memoirs/kon.html (дата обращения 07.06.2011).

132. Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. Надежда Мандельштам. 192 письма к Б.С. Кузину. СПб.: Инапресс, 1999.

133. Куркчи А. Л.Н. Гумилев и его время. Ч. I [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/matter/Article041.htm (дата обращения 04.04.2011).

134. Лев Николаевич Гумилев. Письма к матери брата, О.Н. Высотской, другу, В.Н. Абросову, и брату, О.Н. Высотскому (1945-1991) / сост. Г.М. Прохоров. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, 2008.

135. Л.Н. Гумилев – А.А. Ахматовой. Письма, не дошедшие до адресата / публ., вступ. статья и коммент. В.Н. Абросимовой // Знамя. 2011. № 6. С. 141-151.

136. Лукницкая В. Любовник. Рыцарь. Летописец (Три сенсации из Серебряного века). СПб.: Сударыня, 2005.

137. Лукницкий П.Н. ALUMINA. Встречи с Анной Ахматовой: в 2 т. Paris, YMCAPRESS, 1991. Т. 1: 1924-1925 гг.

138. Любимова А.В. Записи о встречах [Электронный ресурс] // «Ты выдумал меня…»:[сайт, посвященный творчеству Анны Ахматовой]. URL: http://www.akhmatova.org/articles/lubimova.htm. (дата обращения 06.06.2011).

139. Мандельштам Н.Я. Воспоминания. М.: Вагриус, 2006.

140. Мандельштам Н.Я. Вторая книга. М.: Вагриус, 2006.

141. Мандельштам Н.Я. Об Ахматовой. М.: Новое издательство, 2007.

142. «Милая, дорогая мамочка… — Дорогой мой Левушка». Переписка Л.Н. Гумилева и А.А. Ахматовой (1950 – сер. 1954) / подгот. текстов Н.И. Крайневой, прим. М.Г. Козыревой, Н.И. Крайневой, А.Я. Разумова // Звезда. 2007. № 8. С. 122-148.

143. Моллер Н.С. Иакинф Бичурин в далеких воспоминаниях его внучки // Русская старина, 1888. Т. 59. № 8. С. 272-300.

144. Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М.: АСТ: Зебра Е, 2009.

145. Н. Гумилев, А. Ахматова: По материалам историколитературной коллекции П. Лукницкого / Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН; отв. ред. А.И. Павловский. СПб.: Наука, 2005.

146. Н.С. Гумилев: pro et contra / сост., вступ. статья и прим. Ю.В. Зоб нина. СПб.: Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2000.

147. Обсуждение книги Л.Н. Гумилева «Старобурятская живопись» в Музее антропологии и этнографии (МАЭ), Ленинград, 10 июня 1976 г [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/matter/Article23.htm (дата обращения 05.07.2011).

148. Одоевцева И. На берегах Невы. СПб.: Азбукаклассика, 2007.

149. Олеша Ю. Книга прощания. М.: Вагриус, 1999.

150. Оксман Ю.Г. Из дневника, которого я не веду // Воспоминания об Анне Ахматовой. М.: Советский писатель, 1991. С. 640-647.

151. Очирын Намсрайжав. Мои встречи (Лев Гумилев, Анастасия Цветаева, Юрий Рерих) [Электронный ресурс] // Вестник Ариаварты. 2005. № 1-2 (8-9). С. 34-46. URL: http://www.lomonosov.org/kartina3/ariavarta/vestnik/6/034046.pdf (дата обращения 07.07.2011).

152. Очирын Намсрайжав. Письма Льву Гумилеву (1970-1991) [Электронный ресурс] // Вестник Ариаварты. 2005. № 1-2 (8-9). С. 47-55. URL: http://www.lomonosov.org/kartina3/ariavarta/vestnik/6/047055.pdf (дата обращения 07.07.2011).

153. Переписка А.А. Ахматовой с Л.Н. Гумилевым // Звезда. 1994. № 4. С. 176-188.

154. Переписка Л.Н. Гумилева с Н.В. Тимофеевым-Ресовским и его учеником Н.В. Глотовым // Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: ДИ–ДИК, 1997. С. 619-629.

155. Петров В. Фонтанный дом // Наше наследие. 1988. № 4. С.102-108.

156. Письма Л.Н. Гумилева П.Н. Савицкому. 1956 год // Геополитика и безопасность. 2009. № 1(5). С. 101-107.

157. Письма П.Н. Савицкого Л.Н. Гумилеву. 1956 год // Геополитика и безопасность. 2008. № 4. С. 86—101.

158. Письма П.Н. Савицкого Л.Н. Гумилеву. 1957 год // Геополитика и безопасность. 2009. № 1 (5). С. 108-129.

159. Письма П.Н. Савицкого Л.Н. Гумилеву. 1958-1959 годы // Геополитика и безопасность. 2009. № 2-3 (6-7). С. 129-155.

160. Письма П.Н. Савицкого Л.Н. Гумилеву. 1963-1964 годы // Геополитика и безопасность. 2010. № 1 (9). С. 80—107.

161. Письма П.Н. Савицкого Л.Н. Гумилеву. 1965-1968 годы // Геополитика и безопасность. 2010. № 2 (10). С. 114-134.

162. Письмо П.Н. Савицкого Ф.И. Успенскому // Славяноведение. 1992. № 4. С. 83-85.

163. Прохоров Г.М. О переписке Л.Н. Гумилева и В.Н. Абросова // Мера. 1994. № 4 (6). С. 109-111.

164. Пунин Н.Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М., 2000.

165. Рогачевский А. Лев Гумилев и еврейский вопрос // Заметки по еврейской истории: сетевой журнал еврейской истории, традиции, культуры. № 25. URL: http://www.berkovichzametki.com/Nomer25/ Rogachevsky1.htm (дата обращения 09.10.2011).

166. Роскина Н. «Как будто прощаюсь снова…» // Звезда. 1989. № 6. С.

88—105.

167. Стеклянникова Л.Д. Вечная память // Лев Гумилев: Судьба и идеи. М.: Айрис-Пресс, 2008. С. 546-572.

168. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М.: ТЕРРА, 1991.

169. Топоров В. Двойное дно. Признания скандалиста. М.: Захаров, 1999.

170. Трушнович А.Р. Воспоминания корниловца [Электронный ресурс] // Добровольческий Корпус. URL: http://www.dk1868.ru/history/ zap-korn5.htm (дата обращения 20.02.2011).

171. Чуковская Л.К.Записки об Анне Ахматовой: в 3 т. М.: Время, 2007. Т. 1-3.

172. Чуковская Л.К.Прочерк. М.: Время, 2009.

173. Чуковский К.И. Дневник: в 3 т. М.: ПРОЗАиК, 2011. Т. 3: 1936-1969.

174. Чуковский К.И.Дневник 1901-1929. М.: Современный писатель, 1997.

175. Чуковский К.И., Чуковская Л.К.Переписка: 1912-1969. М.: Новое литературное обозрение, 2004.

176. Эльзон М. Что помню // «Я всем прощение дарую». Ахматовский сборник. М. — СПб.: Альянс-Архео, 2006.

177. Ямщиков С. Он оставил нам надежду. Воспоминания о Льве Гумилеве // Завтра. 2006. 22 февраля. № 8 (621). С. 7.

178. Ямщиков С. Счастье общения // Лев Гумилев: Судьба и идеи. М.: Айрис-Пресс, 2008. С. 531-544.

Опубликованные интервью

179. Баталов А.В. «Ахматова дала мне деньги на первый автомобиль» [Электронный ресурс] / беседу ведет А.Мехтиев // Авторский сайт Александра Казакевича. URL: http://www.akazak.ru/tvorchestvomoixdruzej/qintervyuqazaramextieva/76aleksejbatalovlaxmatovadalamnedenginapervyj

(дата обращения 07.07.2012).

180. Беседа Г. Прохорова и Е. Масловой [Электронный ресурс] // Жизнь и творческое наследие Л.Н. Гумилева. URL: http://levgu milev.spbu.ru/node/317 (дата обращения 10.01.2012).

181. Вайнштейн С.И. С С.И.Вайнштейном беседует В.А.Тишков [Электронный ресурс] // [Личный сайт Валерия Тишкова]. URL: http://www.valerytishkov.ru/cntnt/besedy-s-u/vajnshtejn.html (дата обращения 02.04.2011).

182. Гумилева Н.В. «Пассионарии не обязательно бывают вождями». Памяти Л.Н. Гумилева / беседу ведет А. Воронцов // Московский журнал. 1993. № 12. С. 2-10.

183. Невзоров А.Г. Александр Невзоров в гостях у Дмитрия Гордона [Электронный ресурс] / беседу ведет Д. Гордон // Официальный сайт Александра Невзорова. URL: http://nevzorov.tv/2011/07/alek sandrnevzorovvgostyahudmitriya/ (дата обращения 01.12.2011).

184. Озеров Ю.Н. Человек, который дважды брал Европу [Электронный ресурс] / беседу ведет В. Матизен // Национальный кинопортал film.ru. URL: http://www.film.ru/article.asp?id=2815 (дата обращения 30.04.2009).

185. Прохоров Г.М. Интервью с Гелианом Михайловичем Прохоровым [Электронный ресурс] / беседу ведет А.Чесноков // Православие на Коста дель Соль: сайт Вознесенского прихода Русской Православной Церкви в провинции Малага (Испания). URL: http://orthodoxmalaga.com/content/view/17/ (дата обращения 09.09.2011).

186. Прохоров Г.М. «Мой любимый XIV век» [Электронный ресурс] / беседу ведет Н. Ларина // Истина и жизнь. Ежемесячный журнал о человеке, духовности и культуре. 2006. № 11. URL: http://www.istina.religare.ru/article173.html (дата обращения 15.06.2011).

187. Прохоров Г.М.Скрывать православную культуру антинародно [Электронный ресурс] / беседу ведет Н. Ларина // Фома. 2006. № 11/43. URL: http://www.foma.ru/article/index.php?news=2496 (дата обращения 15.06.2011).

188. Сеземан Д. Марина Цветаева, Георгий Эфрон и возвращение в СССР. Ч.1 [Электронный ресурс] / беседу ведет М. Соколов // Радио «Свобода». 2006. 28 августа. URL: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/262693.html.

189. Who is who мистер Гумилев?: круглый стол в редакции журнала «Элита Татарстана» [Электронный ресурс] / круглый стол ведет В.Яковлев. // Элита Татарстана. URL: http://www.elitat.ru/index.php?rubrika=2&st=513&type=3&str=59 (дата обращения 09.01.2012).

Беседы, устные свидетельства

190. Свидетельство Олега Георгиевича Бекшенёва. Записано 4 февраля 2011.

191. Свидетельство Геннадия Александровича Фанфурина. Записано в отделе редкой книги РНБ 28 октября 2011.

192. Беседы с Мариной Георгиевной Козыревой в музее-квартире Л.Н. Гумилева. 24 и 27 октября 2011.

193. Беседа с Ольгой Геннадьевной Новиковой. 20 октября 2011.

194. Беседа с Гелианом Михайловичем Прохоровым. 8 февраля 2012.

Источники по истории Древнего мира и Средних веков

195. Барбабо Иосафат. Путешествие в Тану // Альманах «Арабески истории». Вып. 5-6. Каспийский транзит. Т. 2. М.: ДИ – ДИК, 1996.

196. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена: в 3 т. М., 1950. Т. 1.

197. Вильгельм де Рубрук. Путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрука в лето благости 1253 [Электронный ресурс] // Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Rubruk/frametext2.htm (дата обращения 15.08.2011).

198. Задонщина // Изборник. Повести Древней Руси. М., 1987. С.

190—199.

199. Иоанн де Плано Карпини. История монгалов, именуемых нами татарами // История монголов. М.: Алгоритм, 2008.

200. Лаврентьевская летопись [Электронный ресурс] // Библиотека Якова Кротова. URL: http://krotov.info/acts/12/pvl/lavr27.htm (дата обращения 01.08.2011).

201. Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). Вып. 1. М.: Наука, 1968 // Восточная литература. Библиотека текстов Средневековья [Электронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/I/Syma_Tsjan/Mat_sunnu_1/framevved.htm (дата обращения 15.08.2011).

202. Памятники Куликовского цикла. СПб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1998.

203. Повесть временных лет. По Лаврентьевской летописи 1377 г. / под гот. текста, пер. с древнерус. и коммент. Д.С. Лихачева; под ред. В.П. Адриановой-Перетц. СПб.: Наука, 1999.

204. Повесть о разорении Рязани Батыем // Изборник: Повести Древней Руси. М., 1987. С. 150-163.
205. Повесть о Шевкале // Изборник: Повести Древней Руси. М., 1987. С. 186-187.
206. Полное собрание русских летописей. Т. 10, 13.
207. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. 1. Кн. 2. М. — Л.: АН СССР, 1952 // Восточная литература. Библиотека текстов Средневековья[64]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus16/Rasidaddin-2/kniga2/frametext11.html (дата обращения 01.08.2011)

Энциклопедии, словари

208. Большая советская энциклопедия: в 30 т. М.: Советская энциклопедия, 1978. Т. 30.
209. Ермолаев В.Ю. Толковый словарь понятий и терминов [Электронный ресурс] / под ред. Л.Н. Гумилева // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/ARGS/args800.htm (дата обращения 08.08.2009).
210. Мень А.В. Библиологический словарь: в 3 т. М.: Фонд Александра Меня, 2002. Т. 1-3.
211. Мичурин В.А. Словарь понятий и терминов теории этногенеза Л.Н. Гумилева / под ред. Л.Н. Гумилева // Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М.: Экопрос, 1993. С. 493-542.
212. Энциклопедический словарь. СПб.: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 1890-1907.
213. Энциклопедия Третьего рейха. М., 1999.

Газеты

214. Дело. Аналитический еженедельник.
215. День. Газета духовной оппозиции.
216. Еврейские новости.
217. Завтра. Газета государства российского.
218. Известия.
219. Комсомольская правда.
220. Красная звезда.
221. Ленинградский рабочий.
222. Ленинградский университет.

223. Литературная газета.
224. Литературная Россия.
225. МК в Питере.
226. Московская правда.
227. Мурманский Вестник.
228. Народная правда.
229. Невское время.
230. Правда.
231. Санкт-Петербургский университет.
232. Советская культура.
233. Татарский мир – Татар Деньясы.

Литература

234. Абаринов В. Похождения и превращения Дмитрия Быстролетова [Электронный ресурс] // Совершенно секретно. URL: http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/2555 (дата обращения 04.04.2011).

235. Абросов В.Н. Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон // Известия Всесоюзного географического общества. 1962. № 4. С. 325-328.

236. Айзатулин Т.А. Теория России: Геоподоснова и моделирование. М., 1999.

237. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство / сост. А. Дугин, Д. Та раторин. М.: Аграф, 1998.

238. Алексеева С.В., Соколов Р.А. Козельск. Полевая этнографическая практика кафедры исторического регионоведения // Международная научная конференция «Полевая этнография – 2006»: материалы конференции. СПб.: Левша, 2007. С. 238-240.

239. Амалиева Г. «Сочувствую РКП(б), так как она дала мне возможность учиться в вузе…» Социальная поддержка и контроль студентов Казанского университета в 1920е годы // Советская социальная политика 1920—1930х годов: идеология и повседневность / под ред. П. Романова и Е. Ярской-Смирновой. М., 2007.

240. Аминов Д. Наш Арсланбей // Ахметшин Ш.К. Лев Николаевич Гумилев. СПб.: Славия, 2011.

241. Андреевский Г.В. Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930-1940е годы. М.: Молодая гвардия, 2003.

242. Антипина В. Повседневная жизнь советских писателей. 1930-1950 годы. М.: Молодая гвардия, 2005.

243. Арбатова М.Мне 40 лет…: автобиографический роман. М.: Захаров: АСТ, 1999.

244. Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962.

245. Артамонов М.И. Снова «герои» и «толпа»? // Природа. 1971. № 2. С. 75-77.

246. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М.: Аспект-Пресс, 1999.

247. Афанасьев Ю. Прошлое и мы // Коммунист. 1985. № 14. С. 105-116.

248. Ахматова без глянца. СПб.: Амфора, 2007.

249. Бабков В.В., Саканян Е.С. Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский. 1900-1981. М.: Памятники исторической мысли, 2002.

250. Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. М.: Восточная литература, 2002.

251. Белавская А.П. О Василии Никифоровиче Абросове // Мера. 1994. № 4 (6). С. 103-105.

252. Белкина М.Скрещение судеб. М.: Эллис Лак, 2008.

253. Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. Л., 1951.

254. Бессонов Е. На Берлин! М.: Эксмо: Яуза, 2005.

255. Бородай Ю.М. В поисках этногенного фактора // Природа. 1981. № 4. С. 124-126.

256. Бородай Ю.М. Этнические контакты и окружающая среда // Природа. 1981. № 9. С. 82-85.

257. Бородкин Л.И., Эртц С. Никель в Заполярье: труд заключенных Но рильлага // ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008.

258. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.: Языки славянской культуры, 2002.

259. Бромлей Ю.В. К вопросу о сущности этноса // Природа. 1970. № 2. С. 51-55.

260. Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов. М: Наука, 1988. С. 43.

261. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.

262. Бромлей Ю.В. По поводу одного «автонекролога» // Знамя. 1988. № 12. С. 229-232.

263. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. М.: Наука, 1973.

264. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М.: Наука, 1987.

265. Бромлей Ю.В., Козлов В.И. Ленинизм и основные тенденции этнических процессов // Советская этнография. 1970. № 1. С. 3—14.

266. Бузинов В. Анна Каминская. Дочь Фонтанного дома

[Электронный ресурс] // Аналитический еженедельник «Дело». 15.09.2003. URL: http://www.idelo.ru/294/27.html (дата обращения 30.07.2011).

267. Быков Д. Борис Пастернак. М.: Молодая гвардия, 2006.

268. Быков Д. ЖД: поэма. М.: Вагриус, 2007.

269. Быстролетов Д.А. Пир бессмертных. Человечность. Книга девятая. М., 1991.

270. Быстролетов Д.А. Путешествие на край ночи. М.: Современник, 1996.

271. В Государственном Эрмитаже и Ленинградском отделении Института народов Азии АН СССР // Вестник древней истории. 1962. № 3. С. 202-210.

272. Вайнахи и имперская власть: проблема Чечни и Ингушетии во внутренней политике России и СССР (начало XIX – середина XX в.). М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011.

273. Вайнштейн С.И.Юлиан Владимирович Бромлей: человек, гражданин, ученый // Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX. М.: Наука, 2004. С. 608-627.

274. Варбанец Н.В. Йоханн Гутенберг и начало книгопечатания в Европе. Опыт нового прочтения материала. М.: Книга, 1980.

275. Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1998.

276. Васильев К.В. [Рецензия] // Вестник древней истории. 1961. № 2. С. 120-124. Рец. на кн.: Гумилев Л.Н. Хунну. М.: ИВЛ, 1960.

277. Васильев Л.С. Природа и история в книге Л.Н. Гумилева [Хунны в Китае. М.: Наука, 1974]. С точки зрения синолога… // Природа. 1976. № 4. С. 154-156.

278. Вахтин Ю.Б. Мутации пассионарности Л.Н. Гумилева: возникновение и фенотипическое проявление [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumile vica.kulichki.net/debate/Article20.htm.

279. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М.: Наука, 1987.

280. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. М.: Аграф, Тверь: Леан, 2000.

281. Вернадский Г.В. Московское царство. Ч. I. М.: Аграф, Тверь: Ле ан, 2000.

282. Виноградов В.Б. Открыт ли Семендер? // История СССР. 1968. № 4. С. 232-233.

283. Владимов Г.Генерал и его армия. Екатеринбург: УФактория, 1999.

284. Воробьев М.В. [Рецензия] // Народы Азии и Африки. 1962. № 3. С. 199-201. Рец. на кн.: Гумилев Л.Н. Хунну. М.: ИВЛ, 1960.

285. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа X–XIII вв. СПб.: Изд-во С.Петербург. унта, 1994.

286. Гальковскш Н. Борьба хриспанства съ остатками язычества въ Древней Руси // Записки Императорского Московскаго археоло гическаго института имени императора Николая II. Т. XVIII. М., 1913. С. 1—308.

287. Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991.

288. Геноцид русских в бывших республиках СССР. М.: Традиция, 2010.

289. Герцен А.И.Былое и думы. М.: Худож. литература, 1973.

290. Гоголев А.И.Тюркская культура: прошлое и будущее // Молодежь Якутии. 1989. 20 апреля. // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение [Электронный ресурс]. URL: http://gumilevica.kulichki.net/ debate/Article38.htm (дата обращения 15.10.2011).

291. Головникова О.В., Тархова Н.С. «И все-таки я буду историком!» (О новых следственных материалах по делу Льва Гумилева и студентов ЛГУ в 1938 году, найденных в Российском государственном военном архиве) // Звезда. 2002. № 8. С. 114-135.

292. Головникова О.В., Тархова Н.С. «Иосиф Виссарионович! Спасите советского историка…» (о неизвестном письме Анны Ахматовой Сталину) // Отечественная история. 2001. № 3. С. 149-157.

293. Гончаров В.А., Нехотин В.В. Неизвестное об известном. По материалам архивного следственного дела на Н.В.Тимофеева-Ресовского // Вестник РАН. № 3. 2000. С.249-257.

294. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая орда и ее падение. М. — Л., 1950.

295. Губайловский В.А. Наука будущего // Новый мир. 2010. № 11. С.

208—212.

296. Губайловский В.А. Строгая проза науки // Новый мир. 2002. № 12. С. 137-144.

297. Гудаков В.В. Восприятие идей Л.Н. Гумилева зарубежной наукой [Электронный ресурс] // Информационноаналитический сайт «Союз Православных Граждан Казахстана». URL: http://spgk.kz/VospriyatieideyiL.N.Gumilevazarubezhnoyinaukoyi.html (дата обращения 15.12.2011).

298. Демин В. Лев Гумилев. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 81.

299. Джилас М. Лицо тоталитаризма. М.: Новости, 1992.

300. Дмитриев Л.А. К спорам о датировке «Слова о полку Игореве» (по поводу статьи Л.Н. Гумилева) // Русская литература. 1972. № 1. С. 83-86.

301. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Л.: Наука, 1985. Т. 28. Кн. 2.

302. Дроздов О.А. Этнос и природная среда // Природа. 1970. № 8. С.75-76.

303. Дугин А.Г. Консервативная Революция [Электронный ресурс] // Издательство Арктогея. URL: http://www.arctogaia.com/public/konsrev/dream.htm (дата обращения 12.12.2011).

304. Дугин А.Г.Конспирология: Великая война континентов [Электронный ресурс] // Издательство Арктогея. URL: http://arctogaia.com/ public/consp/consp1.htm (дата обращения 28.01.2012).

305. Дугин А.Г. Мистерии Евразии [Электронный ресурс] // Издательство Арктогея. URL: http://www.arctogaia.com/public/mistevr/mistevr2.htm (дата обращения 28.01.2012).

306. Дугин А.Г. Основы геополитики. М.: Арктогея, 1997.

307. Дугин А.Г.Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить пространством. М.: Арктогея, 2000.

308. Дугин А.Г. Пути Абсолюта [Электронный ресурс] // Издательство Арктогея. URL: http://www.arctogaia.com/public/putiabs/ (дата обращения 02.07.2011).

309. Думан Л.И.[Рецензия] // Народы Азии и Африки. 1962. № 3. С. 196-199. Рец. на кн.: Гумилев Л.Н. Хунну. М.: ИВЛ, 1960.

310. Дьяконов И.М. Огненный дьявол // Нева. 1992. № 4. С. 225-228.

311. Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. М.: Наука, 2004.

312. Евтушенко Е. Возвращение стихов Гумилева // Литературная газета. 14 мая 1986. С. 7.

313. Ежов В.А., Гей Ю.П., Лейкин А.Я., Харитонов П.В. Из истории комсомольской организации Ленинградского университета (1928-1949 гг.) // Очерки по истории Ленинградского университета. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1968. Вып. 2. С.63-82.

314. Енишерлов В. Возвращение Николая Гумилева. 1986 год: [история публикации стихотворений Н.С. Гумилева в журнале «Огонек»] [Электронный ресурс] // Историко-культурный журнал «Наше наследие». URL: http://www.nasledierus.ru/podshivka/6809.php (дата обращения 10.10.2011).

315. Ермолаев В.Ю. К проблеме численной оценки уровня пассионарного напряжения суперэтноса [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumile

vica.kulichki.net/EVU/evu12.htm (дата обращения 10.10.2009).

316. Ермолаев В.Ю. Сумерки на голубом небе: Казахстан и «евразийские» легенды [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/EVU/vu09.htm (дата обращения 10.10.2009).

317. Ермолаев В.Ю. Черная легенда: имя идеи и символ судьбы // Гумилев Л.Н. Черная легенда. Друзья и недруги Великой степи. М.: Айрис-пресс, 2007. С. 5-24.

318. Ефремов Ю.К.Важное звено в цепи связей человека с природой // Природа. 1971. № 2. С. 77-80.

319. Ефремов Ю.К.История, открытая искусством // Природа. 1976. № 12. С. 136. Рец. на кн.: Гумилев Л.Н.Старобурятская живопись. М.: Искусство, 1975.

320. Заболоцкий Н.А. «Огонь, мерцающий в сосуде». М.: Педагогика Пресс, 1995.

321. Загоскин Н.Очерки организации и происхожденія служилаго со словія въ допетровской Руси. Казань, 1875.

322. Зенина Л.В. Н.В. Кюнер, историк Дальнего Востока // Очерки по истории Ленинградского университета. Л., 1962. Вып. 1.

323. Зорин А. Из истории восстания киргизов и казахов в 1916 г. // Борьба классов. 1932. № 7-8. С. 81-87.

324. Зыков Л. Николай Пунин – адресат и герой лирики Анны Ахматовой // Звезда. 1995. № 1. С. 77—103.

325. Иванов Г.Собрание сочинений: в 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 3.

326. Иванов К.П. Взгляды на этнографию, или Есть ли в советской науке два учения об этносе // Известия ВГО. 1985. Т. 117. Вып. 3. С. 232-239.

327. Иванов К.П. Основные направления и задачи этнологических исследований [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/fund/fund18.htm (дата обращения 20.11.2011).

328. Иванов К.П. Проблемы этнической географии [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumile vica.kulichki.net/IKP/ipk1.htm (дата обращения 20.11.2011).

329. Иванов К.П. Этнос: категория или бытие? [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http:// gumilevica.kulichki.net/IKP/ipk202.htm (дата обращения 20.11.2011).

330. Иванов С. Лев Гумилев как феномен пассионарности //

Неприкосновенный запас. 1998. № 1. С. 5.

331. Иеромонах Арсений (Соколов). Дневник миссионера. 1997.[Электронный ресурс]. URL: http://geo.1september.ru/2007/06/18.htm (дата обращения 14.05.2011).

332. Ильф И., Петров Е. Метрополитеновы предки // Ильф И., Петров Е. Как создавался Робинзон. М.: Текст, 2007.

333. Историк, географ, этнолог (к 60-летию Льва Николаевича Гумилева) / С.В. Калесник, З.А. Сваричевская, Б.Н. Семевский, Н.С. Чо чиа // Вестник ЛГУ. Сер. Геология и География. Вып. 4. 1972. Декабрь. С. 166-167.

334. Итс Р.Ф. Несколько слов о книге Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера Земли» // Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. С. 3—13.

335. Итс Р.Ф., Флоринский Ф.Ф. Национальные и интернациональные традиции Ленинградского университета // Очерки по истории Ленинградского университета. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1982. Вып. 4. С. 3—14.

336. Каминская А.Г. О завещании А.А. Ахматовой // Звезда. 2005. № 5. С. 190-204.

337. Карамзин Н.М.История государства Российского: в 3 кн. СПб.: Кристалл, 2000.

338. Каргалов В.В. Конец ордынского ига. М.: Наука, 1984.

339. Каргалов В.В. Монголотатарское нашествие на Русь. М.: Просвещение, 1966.

340. Каргалов В.В. На границах Руси стоять крепко! Великая Русь и Дикое поле. Противостояние XIII–XIII вв. М.: Русская панорама, 1998.

341. Катаев В.П.Алмазный мой венец // Катаев В.П. Трава забвения. М.: Вагриус, 2000.

342. Кедров Б.М., Григулевич И.Р., Крывелев И.А. По поводу статьи Ю.М. Бородая «Этнические контакты и окружающая среда» // Природа. 1982. № 3. С. С. 88-91.

343. Клейн Л. Горькие мысли привередливого рецензента // Нева. 1992. № 4. С. 228-246.

344. Клейн Л. Загадка Льва Гумилева // Троицкий вариант – наука. № 78. С. 11.

345. Ключевский В.О. Сказания иностранцев о московском государстве. М.: Прометей, 1991.

346. Ключевский В.О. Сочинения: в 9 т. М.: Мысль, 1987. Т. 1.

347. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы евразийских степей: от древности к Новому времени. СПб.: Петербургское востоковедение, 2009.

348. Коваленко С. Анна Ахматова. М.: Молодая гвардия, 2009.

349. Козлов В.И. О биологогеографической концепции

этнической истории // Вопросы истории. 1974. № 12. С. 72-85.

350. Козлов В.И. Об академике Юлиане Владимировиче Бромлее – ученом и человеке // Этнографическое обозрение. 2001. № 4. С. 3-9.

351. Козлов В.И. Пути околоэтнической пассионарности (О концепции этноса и этногенеза, предложенной Л.Н. Гумилевым) // Советская этнография. 1990. № 4. С. 94-110.

352. Козлов В.И. Что же такое этнос? // Природа. 1971. № 2. С. 71-74.

353. Козлов В.И., Покшишевский В.В. Этнография и география // Советская этнография. 1973. № 1. С. 3-13.

354. Козырева М.Г. Из цикла «Портреты» // Звезда. 1997. № 6. С. 62.

355. Козырева М.Г. Лев Гумилев и семья Рерихов // Рерих. Наследие. Труды конференции VI. 150 лет школе К. Мая. Проблемы сохранения культурного наследия. СПб.: Рериховский центр СПбГУ, 2008. С. 434-442.

356. Козырева М.Г., Воронович В.Н. Лев Николаевич Гумилев не мог не писать стихи! // Гумилев Л.Н. «Дар слов мне был обещан от природы»: [Полное собрание художественного творческого наследия] / вступ. статья, подгот. текста и коммент. М.Г. Козыревой и В.Н. Вороновича. СПб.: Росток, 2004. С. 7-20.

357. Конрад Н.И. Восток и Запад. М.: Главная редакция восточной литературы издва «Наука», 1966.

358. Кошелев В. Алексей Степанович Хомяков. Жизнеописание в документах, в рассуждениях и разысканиях. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

359. Крючков В.А. Личное дело. М.: Олимп, 1996. Ч. 2.

360. Кудрова И. Гибель Марины Цветаевой. М.: Изд-во «Независимая газета», 1995.

361. Кузин Б.С. О принципе поля в биологии // Вопросы философии. 1992. № 5. С. 148-164.

362. Кузнецов Б.И.Проверка гипотезы Гумилева // Природа. 1971. № 2. С. 75.

363. Кузьмин А. Священные камни памяти. О романе Владимира Чивилихина «Память» // Молодая гвардия. 1982. № 1. С. 252-266.

364. Куренной В.Н. Пассионарность и ландшафт // Природа. 1970. № 8. С. 77.

365. Кычанов Е.И. История приграничных с Китаем древних и средневековых государств (от гуннов до маньчжуров). СПб.: Петербургское лингвистическое общество, 2010.

366. Лавров С.Б. Лев Гумилев. Судьба и идеи. М.: Сварог и К, 2000.

367. Ларюэль М. Когда присваивается интеллектуальная собственность, или О противоположности Л.Н. Гумилева и П.Н. Савицкого // Вестник Евразии. 2001. № 4 (15). С. 5—19.

368. Ларюэль М. Опыт сравнительного анализа теории этноса Льва Гумилева и западных новых правых доктрин[Электронный ресурс] // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. Русское издание. 2009. № 1. URL: http://www1.kueichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss11.html (дата обращения 12.05.2011).

369. Ле Руа Ладюри Э. История климата с 1000 года: пер. с франц. Л.: Гидрометеоиздат, 1970.

370. Лингвистика в годы войны: Люди, судьбы, свершения: материалы всероссийской конференции, посвященной 60летию победы в Великой Отечественной войне. СПб.: Наука, 2005.

371. Лукницкий П.Н. Всадники и пешеходы. М.: Советский писатель, 1935.

372. Лукницкий П.Н. Таджикистан. М.: Молодая гвардия, 1957.

373. Лурье Я.С. Древняя Русь в сочинениях Льва Гумилева // Звезда. 1994. № 10. С. 167-177.

374. Лурье Я.С. К истории одной дискуссии // История СССР. 1990. № 4. С. 128-133.

375. Люблинский В.С. Книга в истории человеческого общества. М., 1972.

376. Люблинский В.С., Варбанец Н.В. Античные авторы в изданиях XV в. СПб., 2007.

377. Макарова В.Г., Матвеева А.М. Геософия П.Н. Савицкого: Между идеологией и наукой // Вопросы философии. 2007. № 2. С. 123-125.

378. Малиновский А.А. Общие вопросы строения систем и их значение для биологии // Проблемы методологии системного исследования. М., 1970.

379. Маркс К.Разоблачения дипломатической истории XVIII века [Электронный ресурс] // Научнопросветительский журнал «Скепсис». URL: http://scepsis.ru/library/id-878.html (дата обращения 20.02.2012).

380. Марченко А. Ахматова: жизнь. М.: Астрель, 2008.

381. Махнач В.Л. Историко-культурное введение в политологию [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Нетда». Библиотека «Белка». URL: http://www.netda.ru/belka/texty/mahnach/index.htm (дата обращения 20.08.2011).

382. Машбиц Я., Чистов К.Еще раз к вопросу о двух концепциях «этноса» // Известия ВГО. 1986. Т. 118. Вып. 1. С. 29-37.

383. Мизун Ю.В., Мизун Ю.Г.Тайны будущего. М.: Вече, 2002.

384. Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953-1985 годы. М.: Новое литературное обозрение, 2003.

385. Мичурин В. Возрождение Ирана в свете теории этногенеза // Наш Современник. 1992. № 8. С. 124-128.

386. Мункуев Н.Д. [Рецензия] // Народы Азии и Африки. 1972. № 1. С. 185-190. Рец. на кн.: Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства (Легенда о «государстве пресвитера Иоанна»). М.: Главная редакция восточной литературы издва «Наука», 1970.

387. Мурсалиев А. В декабре на площади Брежнева // Комсомольская правда. 1990. 2 сентября.

388. Нефедов С.А. Реформы Ивана III и Ивана IV: османское влияние // Вопросы истории. 2002. № 11. С. 30-53.

389. Новикова О.Г. Бежецкий край – родина Льва Гумилева [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/fund/fund30.htm (дата обращения 20.09.2011).

390. Новикова О.Г.Русский солдат. Л.Н. Гумилев на Великой Отечественной войне // Лев Гумилев. Судьба и идеи. М.: Айрис-Пресс, 2008. С. 489-509.

391. Новикова О.Г.Светский апологет. Апология Бога – ключ к жизни и научной деятельности Льва Гумилева [Электронный ресурс] // Портал Credo.ru. URL: http://www.portalcredo.ru/site?act=fresh&id=632/ (01.12.2011).

392. Новикова О.Г.Хроника жизни и творчества Л.Н. Гумилева, Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой в сопоставлении с событиями истории XX в. [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/NOG/nog07.htm (дата обращения 10.01.2012).

393. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука, 1990.

394. Огрызко В. Великий пассионарий // Татарский мир. 2009. № 8. С. 5.

395. Очерки по истории Ленинградского университета. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1968. Вып. 2.

396. Павлов В.А., Козлов А.А., Шабанов И.В. Зарождение пассионарной России. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2005.

397. Паин Э.А. Этнополитический маятник. Динамика и механизмы эт нополитических процессов в постсоветской России. М.: Институт социологии РАН, 2004.

398. Панченко А.М. Идеи Л.Н. Гумилева и Россия XX века // Гумилев Л.Н. От Руси до России. СПб.: ЮНА, 1992. С. 6—12.

399. Панченко А.М. «Настоящий двадцатый век» // Звезда. 1994. № 4. С. 170-176.

400. Петров Н., Янсен М. «Сталинский питомец» – Николай Ежов. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008.

401. Пихоя Р.Г.Советский Союз: история власти. 1954-1991. М.: Изд во РАГС, 1998.

402. Полушин В.Л. Гумилевы. 1720-2000. Семейная хроника. Летопись жизни и творчества Н.С. Гумилева. XX столетие. Родословное древо. М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2004.

403. Полушин Д.В. Феномен Льва Гумилева, или Как открытия рождаются под нарами [Электронный ресурс] // Красноярское общество «Мемориал». URL: http://www.memorial.krsk.ru/Work/Lect/polus3.htm (дата обращения 04.04.2011).

404. Померанц Г. Смена типажей на авансцене истории и этнические сдвиги // Общественные науки. 1990. № 1. С. 188-202.

405. Проханов А.А. Господин Гексоген. М.: Ad Marginem, 2002.

406. Пюрвеев Д. Ценная книга // Искусство. 1977. № 7. С. 69-70.

407. Разумов А.Я. Дела и допросы // «Я всем прощение дарую». Ахма товский сборник. М. — СПб.: Альянс-Архео, 2006.

408. Ржевская Е. Берлин, май 1945. Записки военного переводчика. М.: Изд-во ДОСААФ, 1975.

409. Рубинчик О. Das EwigWeibliche в советском аду // Наше наследие. 2004. № 71. С. 107-129.

410. Руденко С.И. К вопросу об историческом синтезе. По поводу одной дискуссии: доклад в Географическом обществе, состоявшийся 28 марта 1963 г. // Доклады по этнографии Всесоюзного географического общества. Вып. 1 (4). Л., 1965. С. 59-65.

411. Рыбаков Б.А. О преодолении самообмана // Вопросы истории. 1971. № 3. С. 153-159.

412. Рыскулов Т.Р., Бройдо Г.И. Восстание казахов и киргизов в 1916 году: сб. материалов [Электронный ресурс] // http://www.kyrgyzel.kg/downloaddocument/3vosstaniekirgizv1916godu.html (дата обращения 10.09.2011).

413. Савицкий П.Н. Континент Евразия. М.: Аграф,1997.

414. Сарнов Б. Случай Мандельштама. М.: Эксмо, 2006.

415. Сайфуллин Р.Г. Теория этногенеза и всемирный

исторический процесс (опыт естественнонаучной периодизации истории): в 2 кн. Казань: Изд-во ООО «Мастер Лайн», 2002. Кн. 1.

416. Седов В.В. Этногенез ранних славян // Вестник РАН. 2003. Т. 73. № 7. С. 594-605.

417. Семанов С. Клио – муза истории // Наш современник. 2006. № 1. С. 266-273.

418. Семевский Б.Н. Взаимодействие системы «человек – природа» // Природа. 1970. № 8. С. 74-75.

419. Семенов Ю.И. Разработка проблем истории первобытного общества в Институте этнографии АН СССР в «эпоху» Бромлея (воспоминания и размышления) // Этнографическое обозрение. 2001. № 6. С. 3—20.

420. Сенчин Р. Елтышевы. М.: Эксмо, 2010.

421. Сергеев С.М. Пришествие нации: кн. статей. М.: Изд. группа Ски менъ, 2010.

422. Советский Союз. Таджикистан: Географическое описание в 22 т. / отв. ред. Д.А. Чумичев. М.: Мысль, 1968.

423. Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Екатеринбург: УФактория,2007. Кн. 1-3.

424. Солженицын А.И. В круге первом // Солженицын А.И. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Терра, 1999. Т. 2.

425. Солженицын А.И.Двести лет вместе: в 2 т. М.: Русский путь, 2002. Т. 1-2.

426. Соловей В.Д.История России: новое прочтение. М.: АиироXXI, 2005.

427. Соловьев С. История России с древнейших времен. М.: АСТ, 2008.

428. Степугина Т.В. Предисловие // Васильев К.В. Истоки китайской цивилизации. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1998.

429. Степун Ф.А. Россия между Европой и Азией [Электронный ресурс] // Азиопа: Сайт против евразийства. URL: http://www.nationalism,org/aziopa/stepunrussiaeuropeasia.htm (дата обращения 20.12.2010). («Новый журнал», 1962, № 269, с. 251-277)

430. Сувчинский П.П. Страсти и опасность // Россия и латинство. Берлин, 1923.

431. Тименчик Р.Д. [Рецензия] // Новая русская книга. 2000. № 6 (7). С. 67-69. Рец. на кн.: Кралин М. Победившее смерть слово. Томск: Водолей, 2000.

432. Толстов С.П. А.Н. Бернштам // Советская этнография. 1957. № 1. С. 178-180.

433. Толстой Ю.К. Спор о наследстве А.А. Ахматовой // Правоведение. 1989. № 3. С. 62-74.

434. Толль Н.П. Скифы и гунны: из истории кочевого мира. Прага: Евразийское книгоиздательство, 1928.

435. Топоров В.Н. Николай Сергеевич Трубецкой – ученый, мыслитель, человек (к столетию со дня рождения) // Советское славяноведение. 1990. № 6. С. 51-84; 1991. № 1. С. 78-100.

436. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. М.: Прогресс: Универс,1995.

437. Тюрин А. Письмо в редакцию // Нева. 1992. № 4. С. 223-225.

438. Удальцова З. Против идеализации гуннских завоеваний // Большевик. 1952. № 11. С. 68-72.

439. Флоровский Г. Евразийский соблазн // Современные записки. Париж. 1928. Кн. 34. С. 312-346 // Азиопа: Сайт против евразийства [сайт]. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nationalism,org/aziopa/florovskyeurasiantempt.htm (дата обращения 20.12.2010).

440. Фроловская Т. Евразийский Лев: повесть-исследование // Простор. 2003. № 7-9. [Электронный ресурс]. URL: http://prstr.narod.ru/texts/num0703/1fro0703.htm; http://prstr.narod.ru/texts/num0803/1fro0803.htm; http://prstr.narod.ru/texts/num0903/1fro0903.htm (дата обращения 11.11.2011).

441. Фрумкин К.Пассионарность: Приключения одной идеи. М.: ЛКИ,2008.

442. Хара-Даван Э. Чингисхан как полководец и его наследие: культурноисторический очерк Монгольской империи XII–XIV веков. Белград, 1929.

443. Хёйзинга Й.Осень Средневековья / пер. с нидерландского Д.В. Сильвестрова. М.: Айрис-Пресс, 2002.

444. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года / пер с англ. А.А. Васильева. СПб.: Алетейя, 1998.

445. Чемерисская М.И. Лев Николаевич Гумилев и его научное наследие // Восток. 1993. № 3. С. 165-181.

446. Чемерисская М.И. [Рецензия] // Восток. 1991. № 5. С. 201-209. Рец. на кн.: Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1989.

447. Черных В.А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М.: Индрик, 2008.

448. Черных В.А. Родословная Анны Андреевны Ахматовой // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1992. М.: Наука, 1993. С. 71-84.

449. Чивилихин В.А. Память. М.: Современник, 1983.

450. Чистобаев А.И. Этнологи, опередившие свое время (К 90летию Л.Н. Гумилева и 50летию К.П. Иванова). СПб.: НИИ химии СПбГУ, 2002.

451. Шанин ˆ. «Советская социология была похожа на двугорбого верблюда» // Экономическая социология. Т. 9. № 3. 2008. Май. С. 8—16.

452. Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868-1891). М.: Индрик, 1998.

453. Шенталинский В. Преступление без наказания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007.

454. Широкогоров С.М. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений. Шанхай, 1923. [Электронный ресурс] // Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН. URL: http://www.kunstkamera.ru:8081/ siberia/ShirokogorovEthnos.html (дата обращения 08.08.2011).

455. Шлямин Б.А. Каспийское море. М.: Географгиз, 1954.

456. Шнирельман В.А. Введение // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 3-7.

457. Шнирельман В.А. Евразийцы и евреи [Электронный ресурс] // Научнопросветительский журнал «Скепсис». URL: http://scepsis.ru/library/id-952.html (дата обращения 20.12.2010).

458. Шнирельман В.А. От «пассионарного напряжения до несовместимости культур» // Этнографическое обозрение. 2006. № 3. С. 8—21.

459. Шнирельман В.А., Панарин С. Лев Николаевич Гумилев: основатель этнологии? // Вестник Евразии. 2000. № 3 (10). С. 5—37.

460. Шноль С.Э. Герои и злодеи российской науки. М.: Кронпресс, 1997.

461. Шопенгауэр А. Избранные произведения. Ростов н/Д: Феникс, 1997.

462. Шубинский В. Николай Гумилев: Жизнь поэта. СПб.: Вита Нова, 2004.

463. Элез А.Й. Критика этнологии. М.: МАИК «Наука/ Интерпериодика», 2001.

464. Эльзон М. О судьбе редакционного дела Л.Н. Гумилева [Электронный ресурс] // Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение. URL: http://gumilevica.kulichki.net/Tripus/Article07.htm (дата обращения 12.11.2011).

465. Янов А. После Ельцина. М.: Крук, 1995.

Электронные ресурсы

466. Агентство политических новостей (АПН) // http://

www.apn.ru.
467. Арктогея. Философский портал // http://arctogaia.com.
468. Библиотека Якова Кротова // http://krotov.info.
469. Википедия. Свободная энциклопедия // http://ru.wikipedia.org.
470. Восточная литература. Библиотека текстов Средневековья// http://www.vostlit.info.
471. Жизнь и творческое наследие Л.Н. Гумилева // http://levgumilev. spbu.ru.
472. Николай Гумилев. Электронное собрание сочинений // http:// gumilev.ru.
473. Официальный сайт Российской национальной библиотеки // http://www.nlr.ru.
474. Официальный сайт Александра Севастьянова // www.sevastianov.ru.
475. Сайт Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН // http://www.kuntskamera.ru.
476. Сайт научнопросветительского журнала «Скепсис» // http://scepsis.ru.
477. Традиция. Русская энциклопедия // http://traditioru.org.
478. «Ты выдумал меня…». Сайт, посвященный творчеству Анны Ахматовой // http://akhmatova.org.
479. Центр Льва Гумилева. Современное евразийство // http://www.gumilevcenter.ru.
480. Энциклопедия Козельска. Народный проект // http://www.kozel skcyclopedia.ru.
481. Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрение // http://gumilevi ca.kulichki.net.
482. Wikipedia. The Free Encyclopedia // http://en.wikipedia.org.

Содержание

Вместо предисловия 5
Часть I
Гнездо на ветру 10
В петрограде 22
Бежецк 25
Воспитание дофина 31
Три школы и университет в березовой аллее 35
Фонтанный дом 39
Пунин 42
Часть II
Первый бестион 46
Хамардабан 50
Таджикистан 55
В москве 64
«Уж сколько раз твердил нам Енгельс…» 72
Старая профессура 74
Студенты 83
Дворяне и бомбы 88
Друзья гумилева 94
Арест 1935 99
К счастливому тридцать седьмому 107
«Мой предок был Татарин косоглазый…№ 113
Молодой востоковед 117
Дар слов 120
Часть III
Большой террор и арест 1938 127
Второе следствие, первый срок 130
Первый лагерь 135
«Спасите советского историка…» 138
Пассионарность и пасионария 141
Шпенглер и гумилев 144
Шопенгауэр и камариные песни 147
«Я был один Под вечной вьюгой…» 149
Глазами барона мюнхгаузена 153
Писатель гумилев 157
Новое средневековье 164
Город женщин 168
Часть IV
Бритва и страшный суд 173
Веселый солдат 176
Две военные загадки 186

«Европа надоела до чертиков» 189
Часть V 194
Возвращение в Ленинград 194
Осьминог 200
Защита дисертации 208
Двойник гумилева 213
Гумилев и его дамы 217
Удивительнейшая из птиц 223
Часть VI
Арест 1949 239
Старичок профессор 244
Камышовый лагерь 245
Плоды просвещения 249
История срединной азии 253
Всемирная история 257
«На лютне труна…» 260
Этнографический заповедник 263
Почтовый роман 268
Эмма 281
Конфуцианские письма 285
Неконфуцианскаие письма 289
На пути к «замку» 292
Часть VII
Невстреча 298
Бесмысленно и беспощадно 301
Версия Гумилева 306
Версия Ахматовой 311
Плодоносящая смоковница 313
Часть VIII
В цветном мире 318
Советское востоковедение 321
Савицкий 324
Хунну 327
Кто виноват? 334
Докторская диссертация 338
Навоз на заднем дворе, или гению всё дозволено 340
Академический бестселлер 343
Часть IX
Страшная тайна Восточной европы 349
Друг бесценный 353
Открытие Хазарии 356
Подводная археология 361
Итиль и Семендер 367
Время, назад! 370

Почему Гумилев не попал в «анналы»? 373
Часть X
Пунические войны 377
Завещание Ахматовой 382
«Какое злодейство…» 386
Часть XI
Троян как Уч Ыдук 391
Глава № 13 394
Перфектологичекий роман? 398
Повседневная жизнь советского ученого 408
Старший научный сотрудник 415
Несоветский человек 422
Часть XII 426
Что такое этнос? 426
Этнос как система 430
Этническая иерархия в теории гумилева 431
Этногенез 435
Фазы этногенеза 436
Фазы этногенеза по основным сочинениям Л.Н.Гумилева 439
Пассионарии, гармоничные люди, субпассионарии 441
Пассионарность в этногенезе 445
Пассионарность и естествознание 447
Между зубром и львом 451
Возмутитель спокойствия 457
«Надвое рассеките признающих два естества!» 461
Ландшафт и этнос 463 Трамвайный анекдот и академический институт 467
Часть XIII
Самая страшная книга Гумилева 470
Химера на Хуанхэ 472
Мультикультурная химера 475
«Распался железный обруч…» 477
Часть XIV
Комплиментарность 483
Серебряные часы и аркольский мост 487
Вторая докторская 491
Скандал в музее этнографии 494
Универсальное оружие 496
Часть XV
Этногенез и биосфера 502
Православный еретик? 506
Гумилев и демоны 512
Лучший друг сатаны 515
Антисистема 518

Гумилев, филонов и заболоцкий 521
Лекции Гумилева 524
Начало популярности 533
Часть XVI
Новая квартира без старых друзей 536
Верный ученик 543
Малый двор 548
«Мера всему – четвертинка» 557
Часть XVII
Марксистская мысль 562
Русская партия 565
«Зигзаг истории» 567
Часть XVIII
Миролюбивые завоеватели 585
Как убивают гостей 587
«Великий кавалерийский рейд» 590
«Память» 592
Писатель против сочинителя 595
Татаро-монгольское иго 598
Нечто полосатое 601
Черная легенда и светлый миф, или ненаучная фантастика 604
Арсланбей 607
Часть XIX
Глухие годы 611
Бармалей 613
Две теории, или несколько слов о плагиате 617
О пользе чтения 619
Смерть с газетой в руках 622
Изпод глыб 625
Между юбилеями 629
Высокий покровитель 632
Время Гумилева 635
Часть XX
«От руси до россии» 642
Евразийство 648
Гумилев и евразийцы 657
Змей Тугарин 660
Евразийское братство 663
Бой после победы 667
Гибель империи 670
Российский суперэтнос и Средняя Азия 674
Монархист и демократ 679
Невзоров 682

Часть XXI
Прощание с Петербургом 686
Гумилев и животные 689
Последние дни 692
Часть XXII
Без наследников 697
А где же наука? 700
Дугин и Гумилев, или фальшивый наследник 705
Нищета философии 710
Комедия ошибок 713
Историки и Гумилев 716
Гумилев и Запад 722
Эпилог
Именной указатель
Библиография

notes

Примечания

1

Имеется в виду «тетя Шура», Александра Степановна Сверчкова.

2

Орест Николаевич Высотский – сын Николая Гумилева и Ольги Высотской.

3

Путь с Фонтанки до Кондратьевского проспекта намного короче, чем до Парголова 1-го, но все-таки и он очень долог. Общество чернорабочих и кондукторов вряд ли было интересно книжному мальчику. Правда, Гумилев там получал небольшую зарплату и хлебную карточку, но вставать ранним утром и отправляться на северо-восточную окраину города, на далекое трамвайное кольцо, было мучительно. Поздняя осень и начало зимы в России – самое темное время. Ленинград в те годы был освещен слабо, так что бóльшую часть пути Леве приходилось проделывать в темноте. Наконец, у Льва совершенно не было опыта физической работы. Словом, никаких оснований задерживаться в «Службе пути и тока» у Гумилева не было, а потому он уже в декабре 1930-го меняет ее на курсы коллекторов при Центральном научно-исследовательском Геологоразведочном институте (ЦНИГРИ).

4

Только Сергей Лавров, собрав сведения о самой экспедиции, о ее руководителях, попытался этот рассказ дополнить, но и его история была слишком краткой, отрывочной. Чтобы понять истинное значение этой поездки Гумилева, надо обратиться к методу самого Гумилева – дополнить сведения немногословного источника исторической реконструкцией.

Само слово «Таджикистан» появилось лишь в 1925 году, когда на месте Восточной, или Горной, Бухары (юго-восточной части бывшего Бухарского эмирата) решением Сталина была создана Таджикская Автономная Советская Социалистическая республика (Таджикская АССР), которая сначала стала частью Узбекской ССР. В 1929 году Таджикистан преобразуют в союзную республику (Таджикскую ССР).

О дружбе народов в тех краях еще не слышали. Воинственные узбеки – среднеазиатские тюрки – оттеснили родственных персам таджиков в предгорья Памира и западного Тянь-Шаня и в заболоченные долины Вахша и Пянджа. Хотя таджикское население сохранилось в древних городах – Бухаре, Самарканде, Ходженте и в благодатной Ферганской долине, но военная и политическая сила была на стороне узбеков. Узбеком был эмир бухарский, самый сильный правитель Средней Азии, сохранивший самостоятельность даже после того, как русские генералы Черняев, Кауфман и Скобелев завоевали Туркестан и установили там власть Белого царя. Русские, правда, запретили эмиру торговать рабами, сажать людей на кол и бросать их в ямы с клопами, а так он оставался вполне независимым правителем.

В сентябре 1920 года Красная армия «пришла на помощь трудящимся Бухары», и эмиру пришлось бежать за горы, в Гиссарскую долину, в ту самую Восточную Бухару. Своей новой столицей эмир сделал большой кишлак Дюшамбе, который прежде был известен разве что расположенной неподалеку могилой мусульманского святого Мавлоночорки. Очередную войну с отлично обученной, закаленной в боях гражданской войны Красной армией эмир Сеид-Алимхан и «главнокомандующий войсками ислама» Ибрагимбек проиграли и бежали в Афганистан.

Сталин, единственный человек в Политбюро, разбиравшийся в национальном вопросе настолько, что мог отличить узбека от таджика, разделил Туркестан между пятью народами, каждый получил по национальной республике. Как всегда бывает при дележе земель, остались обиженные. Особенно недовольны были

таджики, потому что Самарканд и Бухара, которые таджики считали своими, достались узбекам. Этой обиды таджики не забыли и не простили и много десятилетий спустя.

5

Вахш – горная река. Он начинается в горах Памира и течет в его теснинах с огромной скоростью, но, выйдя на равнину южного Таджикистана, замедляет свое движение и последние 100 километров до впадения в Пяндж (Амударью) становится уже сравнительно спокойной рекой с заболоченными берегами. Эти болота рождали миллионы комаров. Население долины поголовно болело малярией, встречалась и москитная лихорадка.

6

Советская пропаганда обвиняла во всех бедах басмачей, но басмачи базировались за границей, в соседнем Афганистане, и туда же, в Афганистан, переселялись жители южного Таджикистана. Не просто переселялись – бежали, иногда целыми кишлаками. Бежали от коллективизации. В 1928 году в Средней Азии появились первые колхозы и совхозы, их число росло каждый год. Баев в Средней Азии изводили так же рьяно, как в России кулаков.

Таджики и узбеки воинственны, поэтому сопротивление советской власти не стихало здесь больше десяти лет. Свою ненависть к большевикам басмачи переносили и на всех русских, при случае вырезали «урусов» поголовно, поэтому даже участники советских научных экспедиций еще в начале тридцатых обязательно вооружались винтовками и наганами, которые им нередко приходилось пускать в ход.

Разумеется, геологи, зоологи, географы в большинстве своем не отличались хорошей военной подготовкой. Лукницкий так описывает боевые качества своих товарищей: «…некоторые впервые садятся в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид… у иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты. Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или вогнать наганную пулю в круп лошади».

Одна научная экспедиция в полном составе попала к басмачам в плен. Советские ученые спаслись только тем, что назвались врачами, а людей этой профессии в Средней Азии ценили высоко.

Меньше повезло ленинградским геологам, приехавшим на Памир в 1930 году и разбившим лагерь в горах Заалайского хребта. Басмачи атаковали лагерь, разграбили его, перебили всех русских, а нанятые экспедицией рабочие киргизы то ли разбежались, то ли присоединились к басмачам. Из всей экспедиции, сообщается в «Очерках по истории Ленинградского университета», уцелел только один студент-практикант, который собирал образцы горных пород вдалеке от лагеря. Его просто не заметили.

7

Холодной и голодной зимой 1920 года Николай Гумилев и Осип Мандельштам добивались благосклонности актрисы Александринского театра, красавицы Ольги Арбениной-Гильдебрандт. Арбенина оставила воспоминания, очень непосредственные, эмоциональные, местами похожие на дневник гимназистки. Герой ее воспоминаний – конечно, Гумилев. Прежде всего герой, воин и путешественник, а потом уже поэт.

Зимой 1920-го Арбенина не раз вспомнит их незабываемую встречу 1916 года: «Мне так хотелось того, прошлого! И военные шпоры, и Георгий на груди». В турнире поэтов за сердце прекрасной дамы победил Мандельштам. «Стихи (неожиданно) меня ошеломили. Может быть, мой восторг перед этими стихами был ударом в сердце Гумилеву?» Стихи Мандельштама к Арбениной («За то, что я руки твои не сумел удержать», «Мне жалко, что теперь зима», «Когда ты уходишь, и тело лишится души») Ахматова называла «изумительными».

Дальнейшее сложилось по неведомым человеку законам судьбы: Гумилеву оставалось несколько месяцев до гибели, Мандельштам с Надеждой Хазиной, ставшей его женой, уехал в Москву. Ольга Арбенина вышла замуж за писателя и художника Юрия Юркуна, расстрелянного в 1938 году по «ленинградскому писательскому делу».

Впрочем, слишком широкий научный кругозор Кюнера имел и обратную сторону. Его профессионализм некоторые синологи ставили под сомнение. Всеволод Сергеевич Колоколов, востоковед и переводчик, много лет преподававший в Военной академии имени Фрунзе, утверждал: «Кюнер мало знал китайский, ссылаться на него нельзя. Из уважения к нему мы обходим молчанием его ошибки».

Кюнер стал профессором ЛГУ в 1925 году. С 1932 года основным местом работы Кюнера был Институт этнографии Академии наук, но он продолжал читать в ЛГУ несколько курсов, в основном факультативных. Кюнер был хорошим лектором, вел семинары, к тому же охотно помогал студентам, заинтересовавшимся какимлибо из его многочисленных курсов, раздавал им свои переводы.

9

Михаил Илларионович Артамонов – востоковед, один из основоположников советской археологии.

10

В 1936-1937 годах издадут двухтомную «Историю античного общества» Ковалева. Мало того что курс Ковалева был пока схематичным и сырым (вышедший после войны курс истории Древнего Рима будет намного лучше), так его еще и напечатали на плохой бумаге, с массой опечаток. Но все-таки это было первое марксистское учебное пособие по античной истории. Дальше дело пойдет быстрее. В сентябре 1937-го Греков выпустит свою «Историю СССР», в 1938-м курс «Истории СССР» опубликует Мавродин. В 1938-1939 годах выйдет учебник по истории Средних веков, подготовленный совместно О.Л.Вайнштейном, А.Д.Удальцовым, Н.П.Грацианским, Е.А.Косминским и И.И.Подольским.

11

В СССР до Конституции 1936-го не существовало даже формального равенства. Бывшие дворяне и буржуи были ограничены в правах. Лишенцы в большинстве своем сидели тихо, справедливо опасаясь худшего. Необходимые советской власти «спецы» (инженеры и ученые) получали приличное содержание, но имели все основания ненавидеть режим и, даже в большей степени, простых рабочих, которые платили им той же монетой. Еще недавно прошли «Шахтинское дело» и процесс Промпартии, человек в мягкой шляпе или фуражке инженера считался «классовочуждым элементом», рабочие ненавидели интеллигенцию настолько, что, по словам Дьяконова и Герштейн, инженеры из страха спарывали с фуражек свою профессиональную эмблему (молоток и гаечный ключ) или надевали пролетарские кепки, многие вовсе меняли работу – становились чертежниками.

12

А не 22 октября, как полагает В.А.Черных. 22 октября был выписан ордер на арест Гумилева.

13

Виталий Шенталинский – поэт и прозаик, председатель комиссии по творческому наследию репрессированных писателей.

14

В 1937-1938 годах подследственных избивали и пытали, в 1934-1935-м больше распространены были методы психологического давления. Вот как разговаривали следователи с Лидией Корнеевной Чуковской – ее не арестовали, а всего лишь предложили сотрудничать с «органами», то есть стучать. В кабинете сидели двое, русский и кавказец, оба с револьверами. На письменном столе вместо чернильницы – початая бутылка пива. «Ноги в высоких сапогах, пахнувшие потом и гуталином, болтались недалеко от моих плеч и лица». На Чуковскую кричали, ее оскорбляли, затем начали стрелять в нее холостыми. Чуковская была уверена, что ее отправят в тюрьму, и мечтала уже о тюремной камере, только бы вырваться с этого допроса, но вдруг услышала: «Чего сидишь, неблагодарная тварь! Убирайся!»

«Психологические» методы использовали и в 1934 году против арестованного Мандельштама. Надежда Яковлевна рассказывала позднее: «Ему устраивали инсценировки, будто бы за стеной расстреливают "соучастников", возмущенный Мандельштам кричал: "Как вы смеете расстреливать Эмму Герштейн? Она совершенно советский человек"». Сам Осип Эмильевич рассказывал Эмме несколько иначе: следователь кричал на него: «Как вы смеете клеветать на Эмму Герштейн, вполне советского человека».

15

Возможно, Руфь Зернова перепутала фамилию, тогда речь идет, вероятно, об Ахилле Григорьевиче Левинтоне (1913-1971), переводчике и литературоведе, который как раз с 1935-го по 1940-й учился сначала с ЛИФЛИ, а затем на филологическом факультете ЛГУ.

16

В конце XIX в. по рекомендации Департамента герольдии правительствующего Сената из фамилии Грумм-Гржимайло изъяли «лишнюю букву "м"». После революции 1917 года географ и путешественник Григорий Ефимович Грум-Гржимайло вернул себе букву и начал подписывать свои работы фамилией «Грумм-Гржимайло». Эту фамилию унаследовал и его сын Алексей Григорьевич. Остальные представители старинного рода оставили «Грум-Гржимайло».

17

В исторической литературе есть несколько версий, объясняющих Большой террор. Встречаются конспирологические, антисемитские, даже мистические. Ищут там, где не прятали. Между тем один из главных организаторов террора Вячеслав Михайлович Молотов все доходчиво объяснил: «…мы после революции рубили направо-налево, одержали победу, но остатки врагов разных направлений существовали, и перед лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли объединиться».

31 апреля Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило подготовленный наркомом внутренних дел Николаем Ивановичем Ежовым приказ НКВД СССР № 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов». Как пишут Н.Петров и М.Янсен, чекисты должны были «раз и навсегда покончить» с «антисоветскими элементами» и их «подлой подрывной работой против основ советского государства». В приказе говорилось о двух категориях преступников: к первой относились «наиболее враждебные элементы», этих надо было как можно быстрее арестовать и расстрелять. Остальных причисляли ко второй категории, их следовало отправить на пять – десять лет в лагеря. В областные и краевые отделы НКВД были спущены «лимиты» на аресты по первой и второй категориям, причем в ходе операции эти «лимиты» выросли, особенно по первой, «расстрельной» категории.

Но рациональный расчет обернулся непредсказуемыми, не просчитанными последствиями, которые лишили террор даже политического смысла. Много лет спустя Молотов будет настаивать: «Мы обязаны 37-му году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны». Но верил ли он собственным словам? Пятая колонна в годы Великой Отечественной была огромна, причем многие враги народа (да хоть тот же Лев Гумилев) сражались против немцев, а, казалось бы, благонадежные, проверенные люди подняли оружие против СССР. Я уж не вспоминаю о повальном дезертирстве первых месяцев войны.

18

Есть такое понятие – «сталинский нарком». Так обычно называют не всякого наркома или министра тридцатых-пятидесятых годов, а только людей особого социально-психологического типа. Характерна для такого начальника необыкновенная работоспособность, жестокость, воля железная, природный ум, который позволял восполнить недостаток образования. Такими были Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Вячеслав Малышев, Семен Тимошенко, Дмитрий Устинов и еще несколько человек. Последний настоящий «сталинский нарком», Николай Байбаков, умер в 2008 году, окруженный почетом и всеобщим уважением.

Авраамий Павлович станет министром и заместителем Председателя Совета министров уже после смерти Сталина, но его характер и стиль руководства лучше всего соответствовали этому идеалу «сталинского наркома».

«Зверь был отменный», — напишет о нем Солженицын, впрочем, детально не знавший биографии Завенягина. Зверь – пожалуй, но не злодей, не садист вроде Ежова, Фриновского или Гаранина, а талантливый организатор, хозяйственник. В марте 1941-го Завенягин уйдет на повышение, станет первым заместителем Берии, а с 1943-го под руководством Берии начнет курировать советский атомный проект. Он будет руководить поиском урановой руды, вербовкой немецких ученых-ядерщиков, строительством Арзамаса-16, Семипалатинского полигона, Обнинской АЭС (первой АЭС в мире), испытаниями ядерной бомбы и, по одной из версий, умрет от хронической лучевой болезни. Прах его замуруют в Кремлевской стене.

19

На блатном жаргоне у слова «чума» несколько значений: «кокаин», «проститутка» или «опустившаяся воровка» и, наконец, «неуравновешенный человек, готовый к совершению неожиданных поступков».

20

В 1966 году Быстролетов предложил свое «творческое наследие» – 5000 машинописных листов – на хранение в Государственную библиотеку имени Ленина, но сотрудники Ленинки, просмотрев рукописи, вернули их автору. Впрочем, Быстролетову вскоре удалось пристроить их в Отдел рукописей Публичной библиотеки. Рукописи у Быстролетова принял тот самый А.С.Мыльников, что так помог Пуниным в тяжбе за ахматовское наследство.

В начале девяностых часть этого необъятного сочинения опубликовали, но интерес к «мемуарам» неизвестного разведчика вскоре угас. В Российской государственной библиотеке я заказал одно из самых первых изданий Быстролетова – книгу 9 под названием «Пир бессмертных. Человечность». Тираж большой – 67 000, но у попавшего в мои руки экземпляра даже не были разрезаны страницы.

И повезло Быстролетову, что «Пир бессмертных» издали лишь после его смерти и что Гумилев в глаза не видел этого сочинения. Лев Николаевич, усвоивший в лагере кое-что из воровской системы ценностей («я ведь сам на три четверти блатной»), заставил бы автора горько пожалеть…

21

Николай Александрович принадлежал к той же категории ученых, что и Гумилев и, например, Чижевский или Гурвич. Идеи и открытия этих ученых подчас выглядят уж очень непривычно, странно. Коллеги не всегда их понимают, случается, подозревают в шарлатанстве, даже называют «псевдоучеными».

Чижевского еще при жизни многие серьезные ученые считали выдающимся естествоиспытателем, сравнивали с Леонардо да Винчи, выдвигали на соискание Нобелевской премии, называли его «одним из гениальных натуралистов всех времен и народов», а в 1939-м заочно избрали почетным президентом 1-го Международного биофизического конгресса. В то же время другие ученые ставили его не слишком высоко, считали в лучше случае «романтиком», а, например, М.М.Завадовский, выдающийся биолог, называл Чижевского «авантюристом» не только в диспутах с коллегами, но и, что гораздо хуже, в кабинете следователя НКВД.

Положение Козырева в научном мире было столь же неоднозначным. Он был довольно известным ученым, астрофизиком, но его идеи о вулканической активности на Луне и особенно о природе времени в науке встретили скептически. Тем более что Козыреву не удалось найти экспериментальные подтверждения своим гипотезам.

22

Норильск считался глубоким тылом, хотя война уже давно шла даже в советском Заполярье. В августе 1942-го, когда астрофизик Николай Козырев читал своим товарищам по лагерю Гумилеву, Штейну, Рейхману и «бывшим партийным работникам из Пензы» лекции о Космосе, Солнце и времени, немецкий тяжелый крейсер «Адмирал Шеер» и несколько подводных лодок проникли в Карское море – началась операция «Страна чудес». Немцы еще никогда не проникали так далеко – до западного побережья Таймыра. Под угрозой оказались Северный морской путь и слабо защищенные советские тыловые порты – Диксон и Амдерма. Беззащитный караван советских и британских танкеров и сухогрузов, обнаруженный было немцами в Карском море, перехватить не удалось. Добычей немецкого рейдера стал только плохо вооруженный ледокол «Александр Сибиряков»: 25 августа советский корабль погиб в неравном бою, не спустив флага. Диксон был последней возможностью хоть как-то оправдать операцию «Страна чудес». Сопротивления не ожидалось. Реальный урон бронированному «Адмиралу Шееру» могла нанести только батарея № 569 – пара 152-миллиметровых орудий, спешно замаскированных в прибрежных скалах. Опытные и умелые немецкие моряки должны были легко расправиться с батареей и советскими судами. Но бой выиграли советские артиллеристы: огонь двух почти беззащитных пушек заставил немецкий рейдер после нескольких атак поставить дымовую завесу и уйти в море. Слухи об этих событиях достигли и Норильлага, о чем мы можем прочесть в воспоминаниях Гумилева.

23

В кружке учеников и друзей Гумилева до сих пор живет легенда о поездке Льва Гумилева в Прагу летом или осенью 1945-го. Эта легенда перекочевала в книгу Татьяны Фроловской «Евразийский Лев», где приобрела и вовсе фантастическое содержание: «Он прибыл сюда не за туристическими впечатлениями. Пренебрегая опасностями и навлекая на себя пристальное внимание спецслужб, он пытается разыскать великих евразийцев: Г.В.Вернадского – сына В.И.Вернадского – и П.Н.Савицкого».

На самом деле представление Гумилева о евразийстве в те времена было весьма туманным. Как бы он собирался найти Савицкого в Праге, не зная адреса, не имея даже самых приблизительных сведений об этом человеке? Все знания Гумилева о Савицком тогда ограничивались одной-единственной статьей 1928 года. Наконец, кто бы мог отпустить рядового Гумилева в такое путешествие? Командование части могло наградить Гумилева новым обмундированием, могло освободить его от нарядов (и действительно наградило и освободило), но никак не туристической поездкой. Легенда о пражской поездке не только противоречит логике и здравому смыслу, но и совершенно не подтверждается источниками. В августе 1966-го Лев Николаевич и в самом деле приедет в Прагу. О своих впечатлениях он напишет Василию Абросову и Оресту Высотскому. Он будет сравнивать Прагу 1966-го с Ленинградом 1929-го. Если бы Гумилев побывал в Праге еще в 1945-м, он, конечно, не мог бы не сравнить Прагу с Прагой, 1945-й с 1966-м. Но ничего подобного в письмах Гумилева нет.

24

Татьяна Дервиз, автор интереснейших воспоминаний о довоенном и послевоенном Ленинграде, оставила нам описание продуктовых карточек: «…листы плотной бумаги, меньше тетрадного, разграфленные на квадратики. На каждом написано: жиры 200 г или хлеб черный 500 г.

А наверху жирно: рабочая, или детская, или служащая, или иждивенческая карточка, дневная норма, месяц и год. Часть этого же листа занимает миниатюрный бланк – так называемая стандартная справка. Ее надо было заполнить (ФИО, адрес прописки, паспорт) и в конце текущего месяца заверить в домоуправлении. Вырезать ее заранее запрещалось – будет недействительна. По ней выдавались карточки на следующий месяц». Продукты завозили не каждый день, но в газетах печатали объявления, что с такого-то числа в такие то магазины поступят мясо или сахар. Ленинградцы внимательно следили за этими объявлениями, благо газеты были доступны – их вывешивали тогда на улицах на огромных деревянных щитах.

Так что каждый ленинградец, просто чтобы не умереть с голоду, должен был проделать несколько действий, отнимавших массу времени и сил: заверить карточки в ЖАКТе (жилконторе), найти нужное объявление, отправиться в нужный магазин, отстоять длинную очередь и, наконец, получить заветные продукты. Свободное время проводили в очередях, ведь хлеб, например, нельзя было купить впрок: в магазине выдавали только дневную норму. Излишне говорить, что Ахматова не могла адаптироваться к такому образу жизни. Все необходимые манипуляции с карточками проделывали или Ирина Пунина, или Лев, которому приходилось отрывать время от научных занятий.

25

За слабое знание языков пострадал, кстати, не один Гумилев. Весной 1946-го, когда Гумилев только поступал в аспирантуру, на защиту кандидатской вышел Михаил Михайлович Дьяконов, брат Игоря Михайловича. Но академик Крачковский, а за ним членыкорреспонденты АН Александр Арнольдович Фрейман и Нина Викторовна Пигулевская обвинили того в незнании языков и, следовательно, источников. Михаил Дьяконов, изучивший, как и Гумилев, только новоперсидский, переводил их не с латыни, древнегреческого, сирийского и арабского, а с европейских переводов.

26

В начале XVIII века недалеко от современного Литейного проспекта располагалась Немецкая слобода. Ее жители, лютеране, построили деревянную церковь Святого Петра, по другому названию – кирху на Литейном дворе, а при ней устроили школу для детей немецких переселенцев. Каменное здание возвели в 1785 году и назвали церковью Святой Анны, а школу при ней – училищем Святой Анны – Анненшуле. В 1852 году указом императора Николая I школе был присвоен статус гимназии. В разные годы Анненшуле окончили этнограф и путешественник Н.Н.Миклухо-Маклай, востоковед В.В.Струве, врач и педагог П.Ф.Лесгафт, юрист А.Ф.Кони, поэт И.А.Бродский, гроссмейстер В.Л.Корчной. В сороковые годы XIX века в Анненшуле училась Анна Сниткина, будущая жена Ф.М.Достоевского.

27

В 1857 году в Императорской публичной библиотеке Санкт-Петербурга создали отдел первопечатных книг. Его разместили в специально построенной по проекту архитекторов И.И.Горностаева и В.И.Собольщикова «готической зале». Она была стилизована под кабинет ученого позднего Средневековья, а потому за ней скоро закрепилось название «Кабинет Фауста».

«Пестро расписанные крестообразные своды плафона опираются на массивный серединный столп, составленный из четырех соединенных в одно колонн. Две стрельчатыя оконницы с своими розетками и трилистниками из цветного стекла; громадные шкафы, которых далеко выдающиеся карнизы поддерживаются витыми колонками, возвышаются до самаго свода; тяжелый стол и кресла, пюпитр для письма, какой можно видеть еще на старинных ксилографах… скамья для чтения книг, обложенных цепями: всё, до неуклюжих растопыренных петель и запоров на боковых дверцах и до чернильницы, напоминает монастырскую библиотеку пятнадцатого "типографскаго" столетия». См.: официальный сайт Российской национальной библиотеки.

28

До 1949 года карьера Владимира Сергеевича Люблинского складывалась успешно. Было два ареста (в 1927-м и 1928-м), но с короткими сроками заключения (16 и 37 дней). Ему, выходцу из буржуазной семьи, можно сказать, повезло.

Талантливый юноша, недавний гимназист, он в 1918 году начинает трудовую жизнь простым рабочим на предприятии, до революции принадлежавшем его отцу. Но уже в 1919-м Люблинский – студент исторического отделения факультета общественных наук Петроградского университета. После окончания преподает историю в школе. В 1922 году поступает на службу в Публичную библиотеку по рекомендации знаменитого петербургского медиевиста О.А.Добиаш-Рождественской. Люблинскому не приходилось кривить душой. Он был просветителем по призванию, к тому же хорошим организатором. По его предложению при библиотеке создали экскурсионное бюро. Люблинский его возглавил и часто сам проводил экскурсии по библиотеке, знакомил посетителей с фондами, с редкими книгами, а главное, учил нового советского читателя пользоваться каталогом, искать нужную книгу. С этой же целью издали подготовленный Люблинским «Спутник читателя и посетителя библиотеки». Доработанный им в 1947-1948 годах в сотрудничестве с Варбанец каталог «Античные авторы в изданиях XV века» при его жизни не будет напечатан. После ухода из библиотеки Люблинский зарабатывал переводами, преподавал. С 1957-го и до конца жизни он был директором Лаборатории консервации и реставрации документов при Академии наук СССР, специалистом международного класса.

29

Андрей Андреевич Андреев и в самом деле был упорным, твердокаменным сталинистом. В 1953 году на июльском пленуме ЦК он, кажется, единственный из выступавших высказался против словосочетания «культ личности», которое уже вовсю использовали другие делегаты. До марта 1953-го Андреев был заместителем председателя Совета министров СССР, то есть одним из заместителей Сталина в правительстве. Но после смерти Сталина Андреев этой должности лишился, с тех пор его карьера пошла под гору. В 1953 году он станет членом президиума Верховного Совета. В сущности, это была почетная отставка.

Заметим, что недоброжелательно настроенные к ней друзья и биографы Гумилева – Лавров, Панченко, Полушин – сами не были знакомы с Ахматовой и не испытали на себе ее чары.

31

До сих пор жива легенда, будто Гумилев стал учеником Савицкого. По самой забавной версии, это ученичество началось в мордовских лагерях, то есть в Дубравлаге, где отбывал срок Савицкий. Но Гумилев сидел совсем в других лагерях, далеко от Мордовии, и с Петром Николаевичем встретиться не мог даже теоретически. В 1956-1968-м, в годы переписки, об ученичестве не могло быть и речи: Льву Николаевичу в 1956-м исполнилось сорок четыре года, поздновато для ученичества, да и чему мог научиться он у Савицкого?

Последний евразиец, а именно Савицкий достоин такого определения, никак не Гумилев, был человеком исключительно образованным, но подготовки востоковеда не имел. Гумилев и в самом деле позаимствует у Савицкого и его покойного друга и соратника князя Трубецкого некоторые идеи и понятия (о влиянии евразийских идей на Гумилева речь впереди), но в любом случае не собирался становиться его учеником.

32

Точнее, досуг и служба для Бичурина поменялись местами. Несмотря на монашеский сан, отец Иакинф не отличался набожностью и при случае пропускал обедню даже в стенах благословенного Валаамского монастыря: «Отец игумен, идите уж лучше один в церковь, я вот более семи лет не имел на себе этого греха», — будто бы говаривал он настоятелю. А ведь в монастырь его направили как раз «китайские» грехи отмаливать.

В Пекине отец Иакинф был сам себе начальником, а потому оставил дела православной миссии на попечение Господа и двенадцать лет даже не вел богослужений. Здание миссии сдал под игорный дом, сам же ходил по городу в китайской одежде и собирал древние китайские манускрипты. Бичурину удалось собрать столь обширную коллекцию рукописей и книг, что для ее перевозки в Россию пришлось нанять караван из пятнадцати верблюдов. Эти богатства предназначались для Императорской публичной библиотеки и Азиатского департамента Министерства иностранных дел.

Отец Иакинф был плохим монахом, но хорошим ученым. Именно Н.Я.Бичурин стоит у истоков отечественной синологии. Способный к языкам (до приезда в Китай он знал латынь, греческий, немецкий, французский), Иакинф выучил не только китайский, но также маньчжурский и монгольский, составил китайскорусский (многотомный) и маньчжурскорусский словари, написал первый в России учебник китайского языка.

Лауреат Демидовской премии и член-корреспондент Академии наук, хороший знакомый Пушкина и Гоголя, Бичурин печатался в «Отечественных записках», «Русском вестнике», «Москвитянине», «Телескопе», но в историю науки он вошел как исследователь и переводчик древних и средневековых китайских хроник. Составленное им трехтомное «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (тематическая подборка цитат из китайских исторических сочинений, касающихся истории народов Центральной Азии) более чем на сто лет станет важнейшим источником для всех исследователей Центральной Азии, не знавших китайского языка. И теперь трудно найти серьезную монографию о Центральной Азии и Северном Китае в Средние века, в которой не было бы ссылок на Бичурина.

33

В Средние века о хазарах много писали арабы, гораздо меньше – греки, совсем мало – русские. От самих хазар сохранилось только два документа, они написаны не на хазарском, а на древнееврейском. Первый – письмо хазарского малика (царя, но не кагана) Иосифа Хасдаю ибн-Шапруту, придворному врачу халифа Андалузии и дипломату, этническому еврею, который по мере сил пытался защищать права своего народа. Другой документ – письмо неизвестного хазарского иудея все тому же ибн-Шапруту. Оно оказалось в Кембриджском собрании древних рукописей, поэтому его автор и называется в исторической литературе «Кембриджским анонимом». Письма были переведены на русский, опубликованы и прокомментированы Павлом Константиновичем Коковцевым, известнейшим востоковедом-семитологом.

Средневековые мусульманские историки и географы вопрос о происхождении хазар только запутали. Они писали, что хазары происходят от Яфета, сына Нуха (Ноя). Но к Яфету возводили родословие всех северных народов, от тюрков до славян, а историки берут сведения о происхождении из исторических источников, то есть у тех же арабских ученых и византийских хронистов, поэтому все попытки связать происхождение хазар с тюрками, савирами или другими древними народами – это чистые реконструкции, основанные на вольных интерпретациях и домыслах.

34

На рубеже пятидесятых-шестидесятых годов XX века уровень Каспия снижался от года к году, и ученые уверенно прогнозировали его дальнейшее падение. Начали возвращаться к появившейся еще в XIX веке идее поворота Оби, Иртыша и рек русского севера на юг, чтобы принести воду в полупустыни Казахстана и «спасти» Каспийское море. Хотя известна была и другая точка зрения. Академик Л.С.Берг еще много лет назад утверждал: «Ни о каком беспрерывном падении уровня Каспия за историческое время не может быть и речи. Период низкого стояния, начавшийся после 1820 г. и продолжающийся и поныне, должен, по всем видимостям, смениться периодом высокого стояния».

Тем не менее в 1971 году часть стока Печоры решили перебросить в Колву, реку бассейна Камы, а значит, и Волги. Чтобы облегчить постройку канала, даже взорвали ядерный заряд («мирный ядерный взрыв в интересах народного хозяйства»), отравив радиацией приуральскую тайгу. А в конце семидесятых уже приступили к разработке окончательного проекта поворота рек. Над ним работало 112 институтов, в том числе 32 академических! Повороту помешали не только протесты общественности, не только заключение Бюро отделения математики АН СССР «о научной несостоятельности методики прогнозирования» уровня Каспийского моря и не только недостаток государственных средств, но и сама природа. Каспийское море с конца 1970х начало стремительно прибывать, затапливая прибрежные постройки. За двадцать лет его уровень повысился более чем на два метра. К началу нулевых его уровень немного понизился, но в последние годы опять начал повышаться.

Как оказалось, Берг, Абросов, Гумилев были правы, а связана ли новая трансгрессия Каспия с переменившимся направлением циклонов, должна ответить уже современная наука.

Разумеется, эти исследования и сами еще нуждаются в перепроверке, а статьи Гумилева об этноландшафтных регионах Евразии и гетерохронности надо воспринимать критически.

Например, исследования советских и российских археологов подтверждают выводы Гумилева лишь отчасти. Академик В.В.Седов в своем докладе об этногенезе славян рассказывал о настоящей экологической катастрофе, постигшей лесную (гумидную) зону в IV-V веках: «…резкий рост увлажненности почвы, что было обусловлено и увеличением осадков, и трансгрессией Балтийского моря. Повысился уровень рек и озер, поднялись грунтовые воды, разрослись болота. Многие поселения римского времени оказались затопленными или подтопленными, а пахотные земли – непригодными для земледелия. Значительные массы населения вынуждены были покинуть Висло-Одерский регион…»

Примерно такую же картину описывал Гумилев. Но переувлажнение лесной зоны должно совпадать с усыханием степной, а здесь начинаются расхождения. По мнению Гумилева, в III-IV веках была засуха, но в V веке циклоны вернулись на юг, а значит, переувлажнение закончилось. Болота должны были отступить, реки – вернуться в старые русла. Однако Седов утверждает, что пик переувлажнения был как раз в V веке.

36

Квинт Фабий Максим, римский полководец, участник Второй пунической войны, консул и диктатор, получил это прозвище за избранную тактику: он не ввязывался в большие сражения с непобедимым тогда Ганнибалом, а старался истощить карфагенскую (то есть как раз пуническую) армию мелкими стычками, долгой партизанской войной. За это его и прозвали Кунктатором («Замедлителем»). Однако ничего общего с деятельностью этого неутомимого и мудрого воина поведение Льва Николаевича не имело: «…он совершил предательство: бросил бумаги у Пуниных на 3 месяца», — записала в дневнике Лидия Чуковская 26 июня 1966 года.

37

Кажется, одним из первых с Гумилевым согласился Николай Васильевич Глотов, ученик Тимофеева-Ресовского. В сентябре-октябре 1968-го Глотов впервые в жизни побывал в Восточной Германии и написал о своих наблюдениях Гумилеву. Эти наблюдения так интересны, что не удержусь от цитаты:

«Глядя на немцев, я сделал такой вывод: "каждый из них (почти каждый) мог бы быть русским, но все вместе они – немцы". <…> Вся жизнь строится на великом множестве мелких несходств. Вот входишь в автобус – и начинается… если есть свободное место, ты обязан (здесь и далее подчеркнуто Глотовым. – С.Б.) сесть; обращаясь к кондуктору, не можешь не добавить "пожалуйста"… отсутствие "пожалуйста" – катастрофа… никто не передаст деньги на билет… никто не "готовится" к выходу… Каждая из мелочей в отдельности – пустяк, зная о нем, ничего не стоит сделать "как все". Но всех мелочей узнать нельзя. Поэтому довольно скоро заметят, что "что-то" не так, потом доброжелательно спросят: "Иностранец?"»

Что отделяет одну нацию от другой? Где барьер? «Барьер – тысяча мелочей… а совокупность их, наверное, называется **поведением**. Вот она – сигнальная наследственность!» – писал Н.В.Глотов.

38

Александр Миронов, кандидат медицинских наук, клеточный биолог и один из создателей сайта «Гумилёвика», дал пассионарности свою профессиональную оценку: «…вся "соль пассионарности" заключается в поведенческих реакциях, которыми определяется тип характера конкретного человека или, например, собаки (агрессивный, тихий и т. д.). Эти реакции обусловлены специфичным для каждого индивидуума набором нейромедиаторов и соответствующих рецепторов в головном мозге. Воспитание может только модифицировать то, что уже есть. Если человек – трус, то его нельзя сделать героем. Научить преодолевать страх можно, но научить безрассудным поступкам нельзя. А т. к. все эти рецепторы и медиаторы являются белками, то информация о них заключена в генах».

39

Биографы Тимофеева-Ресовского – Гранин, Шноль, Бабков и Сака нян – слишком снисходительны к нему, а современникинедоброжелатели, распространявшие зловещие слухи, слишком предвзяты и злы. В любом случае клеветникам верить не стоит. Только вот что наводит на размышления. В 1987 году сын Тимофеева-Ресовского Андрей потребовал реабилитации отца. Его поддержали академики Вонсовский, Яблоков и другие ученые. Как раз в это время появилась повесть Даниила Гранина «Зубр». Писатель ученого оправдал совершенно, но Главная военная прокуратура подняла документы, собранные следствием еще в 1945 году, когда Тимофеев-Ресовский был арестован и этапирован в СССР, и – неслыханное для тех времен дело – Тимофеева-Ресовского не только не реабилитировали, но еще раз, уже посмертно, обвинили в измене Родине, которая выразилась «в форме перехода на сторону врага». Тимофеев-Ресовский будто бы «лично сам и совместно с сотрудниками активно занимался исследованиями, связанными с совершенствованием военной мощи фашистской Германии». Речь шла об участии в немецком урановом проекте и даже в развитии «расовой теории фашизма». Последнее обвинение, впрочем, можно предъявить многим специалистам по генетике популяций.

Эти слова Гумилева я цитирую по памяти. Я услышал эти слова Гумилева в одной из программ Ленинградского телевидения в 1990 или 1991 году. Похожие мысли Гумилев высказывал в своем интервью журналу «Сельская молодежь». 1988. № 2. С. 4449.

41

Проверим наше предположение на материале, который Гумилев не использовал, но исследовал его ученик Владимир Мичурин. В конце сороковых годов XIX века в Иране появилась секта во главе с Али Мухаммадом из Шираза, который отменил законы шариата и хотел поставить на их место свои собственные. Он провозгласил себя Бабом (Вратами Познания) и предтечей Махди, а позднее и самим Махди – мессией, обновителем истинной веры.

Он нашел себе много сторонников, причем стереотип поведения бабитов резко отличался от господствующего у персов. Среди проповедников нового учения были даже женщины, например, Курет эль-Айн из Казвина. Проповедуя бабитскую мораль, она публично сбросила чадру.

Когда правительство попыталось с сектой расправиться, то с сожалением для себя выяснило, что бабиты и сражаются намного лучше других персов, и победа дорого стоила правительственным войскам. Баба казнили солдаты-армяне, так как мусульмане отказались в него стрелять. Оставшиеся в живых бабиты эмигрировали.

Но дальнейшая история некогда «сонного» Ирана показала, что новый виток этногенеза там все-таки начался: три революции и создание совершенно уникального для нашего времени государства, одновременно демократического и теократического – это слишком много для этноса мемориальной фазы. Все равно как если бы седобородый старик начал на стометровке опережать профессиональных спортсменов. Значит, старик вновь стал юношей. Новый пассионарный толчок обновил иранский этнос.

42

Между прочим, не только Гумилев жаловался на студентов. Если верить критику Виктору Топорову, в середине шестидесятых – студенту германского отделения филфака ЛГУ, жаловались будто бы и на самого Гумилева.

Из книги Виктора Топорова «Двойное дно. Воспоминания скандалиста»: «Преподаватели у нас были сильные и знаменитые. То есть одни сильные, а другие знаменитые. Старческим маразмом и смертельной скукой веяло от лекций прославленного Проппа. Студенты с соседнего востфака при малейшей возможности прогуливали лекции Льва Гумилева и говорили о них: сплошное занудство».

У Льва Гумилева много критиков, которые обвиняют его в легковесности, излишней литературности, даже в шарлатанстве. Но я больше не встречал обвинений в занудстве. Однако гораздо больше удивило другое: преподавание Гумилева на восточном факультете.

Я уже было решил, что Виктор Топоров что-то путает, когда мне в руки попал интересный документ. Это характеристика на старшего научного сотрудника НИГЭИ ЛГУ Гумилева Льва Николаевича, составленная перед его поездкой в Венгрию и утвержденная на заседании парткома 28 июня 1967 года. В характеристике есть и такие слова: «Лев Николаевич ведет педагогическую работу на историческом и восточном факультетах Ленинградского университета…»

Если составители служебной характеристики не ошиблись, то возникает много вопросов. В какие годы Гумилев читал на востфаке? При какой кафедре он читал? Как назывался курс лекций? Пришлось отправиться на Университетскую набережную. Едва я начал рассказывать секретарю о своем деле и произнес фамилию «Гумилев», как меня пригласил к себе в кабинет солидный господин. Он оказался деканом восточного факультета, доктором наук, профессором Евгением Ильичем Зеленевым. Профессор Зеленев рассказал мне, как сам слушал Гумилева на теоретическом семинаре «по вопросам истории Центральной Азии». Но дело было не в шестидесятые, а в 1978-м или 1979-м году. И выступление Гумилева на семинаре было единственным. А мог ли Гумилев читать в шестидесятые годы целый курс лекций на восточном факультете? Декан навел справки. Ответ был такой: курс лекций Льва Гумилева на востфаке шестидесятых годов – нечто почти невозможное. Другое дело, что позднее, в семидесятые и восьмидесятые годы, многие востоковеды бегали

на геофак слушать лекции Гумилева. Но это были совсем другие лекции.

43

Профессорского звания Лев Николаевич никогда не имел, хотя очень многие люди, даже близкие знакомые, такие как Сергей Снегов, называли его именно профессором.

44

Ямщиков ошибочно называет 1969 год, но обстоятельства знакомства позволяют датировать его именно 1968 годом, так как памятник на могиле Ахматовой был установлен Гумилевым в октябре 1968-го. Значит, встреча со Смирновым и Ямщиковым в Пскове произошла летом 1968-го.

45

Лев Николаевич путает. На самом деле Марк Красс погиб в битве с парфянами, а почти всё его войско было или уничтожено, или пленено.

46

Выдающийся древнеперсидский художник и поэт, основатель маникейства.

47

Есть версия, будто бы «Якобсон» – псевдоним, которым почему-то подписывался Яков Агранов. Но эта версия очень сомнительна. Следственное дело – не роман, к чему тут псевдонимы?

48

Сибиряк, сын железнодорожного кондуктора, еще в детстве лишился отца, жил в бедности, с тринадцати лет работал слесарем, окончил техникум на станции Тайга. Он сумел поступить в престижный, почти недоступный Московский университет. В 1954-м талантливый очеркист и начинающий писатель получил место в «Комсомольской правде». Вероятно, помогли связи его двоюродного брата Анатолия Чивилихина, который был в пятидесятые годы довольно значительным функционером в Союзе писателей.

Владимир Чивилихин рано начал печататься, его приняли в Союз писателей. Книги не только издавали, но и награждали премиями. Последнюю, Государственную премию СССР, Чивилихин получил за вторую часть романа «Память».

49

В дискуссиях семидесятых-восьмидесятых годов позиции Гумилева и его оппонентов – Бромлея, Козлова, Чистова и Машбица – казались непримиримыми. Между тем для современного европейского исследователя все они одного поля ягоды, хотя бы потому, что считали этнос реальным явлением. На Западе такой взгляд становился все более одиозным. Поэтому Марлен Ларюэль, лучший европейский знаток теории Гумилева, пишет: «Гумилева вполне можно считать носителем этницистских и натуралистских концепций, полностью вписывающихся в традицию советской этнологии».

Но традиция советской этнологии – слишком широкое понятие, речь ведь о взглядах десятков докторов и кандидатов наук. Попробуем сузить предмет до обозримых размеров. Статья в энциклопедии – это квинтэссенция научной мысли, это самое бесспорное, выведенное годами исследований определение. И в статье об этносе в Большой советской энциклопедии находим такие строки:

«Сформировавшаяся Э[тническая]. О[бщность], выступает как социальный организм, самовоспроизводящийся путем преимущественно этнически однородных браков и передачи новому поколению языка, культуры, традиций, этнической ориентации и т. д.».

Как это похоже на этническую традицию Гумилева! А ведь эту статью написал Виктор Иванович Козлов, тот самый Козлов, последовательный и неутомимый противник Гумилева. Значит, теория Гумилева была не так уж далека от основного русла отечественной научной мысли, так что полемика Гумилев – Козлов и, особенно, Бромлей – Гумилев могла бы закончиться компромиссом. Но она закончилась трагедией.

Интересно, что через сто лет «трамвайный апартеид» возродился на рубеже восьмидесятых и девяностых, только теперь русские и узбеки поменялись местами. Случалось, что в Ташкенте водитель переполненного автобуса «просил всех русских выйти, чтобы автобус смог продолжить движение», — пишет Семенова.

51

Эльзон называет их «штурмовиками Невзорова». Последнее не совсем точно. «Народноосвободительное движение "Наши"» появилось в ноябре 1991-го. В него вступали и коммунисты, и антикоммунисты, военные в отставке и бывшие члены общества «Память».

История опровергает фантазии философов, поэтому философы ее и не учат. Дугин пользуется совершенно другими источниками познания: собственной интеллектуальной интуицией, трудами европейских эзотериков, мистиков, философов и, наконец, откровениями каких-то темных личностей. В «Консервативной революции» Дугин рассказывает о встрече с «таинственным человеком», «крупным деятелем масонских и оккультистских организаций». Этот господин, представившись «братом Маркионом», поведал автору одну великую конспирологическую тайну. Трудно представить Савицкого или Вернадского на месте Дугина, внимающих откровениям первого встречного.

53

Самые популярные книги Гумилева появились на рубеже восьмидесятых и девяностых, когда научные представления о реальности начинали вытесняться астрологией, йогой, альтернативной историей («этруск – это русский» и т. п.), альтернативной археологией, даже альтернативной медициной. Физиков и математиков из некогда популярного «Очевидного и невероятного» на телевидении вытеснили астрологи и экстрасенсы. В газетных киосках привычную «Науку и жизнь» заменил журнал «Свет». Книжные прилавки заполонили брошюрки Павла Глобы, переводы катренов Мишеля Нострадамуса, пророчества Раньо Неро и сочинения менее известных магов и колдунов. Книги Гумилева (как, впрочем, и новые издания Павла Флоренского, Льва Шестова, Николая Бердяева) продавались на одних и тех же лотках с паранаучной чепухой, попадали к тем же читателям. Одна и та же волна выбросила на берег грязные водоросли и золотых рыбок.

Теория Гумилева теперь известна многим не по книгам, а по цитатам или, того хуже, по отдельным словам. Чаще всего используют два: этногенез и пассионарность. Но значение этих слов не всегда понимают даже ученые люди. Профессора и доценты употребляют слово «пассионарность» в совершенно диких, невозможных сочетаниях: «пассионарная матрица», «пассионарная идеология» и т. п. Чего же тогда требовать от простых читателей? Инна Прохорова случайно услышала свару двух соседок на питерской коммунальной кухне. Одна кричала: «Я пассионарий, а ты – субпассионарий!», а другая отвечала ей: «Б… ты, а не пассионарий».